

Леонид

Плющ

На

карнавале

истории

ЛЕОНИД ПЛЮЩ
НА КАРНАВАЛЕ ИСТОРИИ

LEONID PLYUSHCH

HISTORY'S CARNIVAL

OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE LTD.

— 1979 —

ЛЕОНИД ПЛЮЩ

НА КАРНАВАЛЕ ИСТОРИИ

OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE LTD.

— 1979 —

LEONID PLYUSHCH
HISTORY'S CARNIVAL
(in Russian)

© Russian edition, 1979

OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE LTD
40 ELSHAM ROAD, LONDON, W14 8HB

All rights reserved.
No part of this publication may be
reproduced or translated, in any
form or by any means,
without permission.

ISBN: 0 903868 17 2

*Printed in the U.K. by Multilingual Printing Services (UPL)
200 Liverpool Road, London, N1 1LF*

ОТ АВТОРА

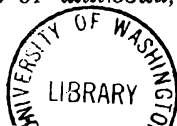
Перед вами не исповедь и не документально-историческое произведение. Это рассказ об еще одном пути к свободе. Это описание Советского Союза глазами его жителя, прошедшего путь от фанатической веры в советскую власть до борьбы с ее ложью и террором. Я попытался также показать, как и за что борются наши товарищи в СССР, как их преследуют.

Я не хотел бы, чтобы мои свидетельские показания о реальности «социализма» послужили «моральным» оправданием всякой фашистской сволочи, ибо враг моего врага не всегда мой друг. Но если правды бояться, значит считать, что на неправде можно построить гуманное общество. Ведь неважно, в какой цвет окрашено зверство!

Для того, чтобы моя книга не послужила «вещественным доказательством» против оставшихся там, я сознательно смешал события, менял имена, давал условные названия, совмещал несколько реальных людей в абстрактное лицо или же приписывал одному то, что сделал другой, не пожелавший выступить открыто.

В новых изданиях книги я кое-что приоткрыл, раскрыл псевдонимы некоторых людей (они либо умерли, либо эмигрировали, либо стали «открытыми»). Некоторых негодяев или просто трусов-подлецов я тоже назвал. Исходя из призыва героя Солженицына «Родина должна знать своих стукачей» (и палачей), я восстановил их подлинные имена. Я рассказал об «антисоветчине», «антикоммунизме» некоторых из них, вовсе не опасаясь, что «донесу» в КГБ. Эта организация уже стала неосталинской и потому не придирается к «мелочам» — антисоветизму или нацизму своих агентов. Так что их не покарают!

Главное для меня в этой книге — показать путь освобождения личности от иллюзий, мифов, от страха, от



всех видов несвободы. Я думал закончить свой рассказ впечатлениями от Запада. Но даже сейчас, для новых изданий книги, когда я многое увидел, но все еще не зная «иностранных языков» — было бы несерьезно писать о Западе. Я убедился лишь в том, что свобода передвижения и видения мира не только через прессу, кино и другие средства массовой информации — одна из самых важных свобод для судеб всех наций. Когда своими глазами видишь чужую — но не чуждую — страну, когда смотришь на нее доброжелательно, лучше постигаешь свою, ее достоинства и пороки. Как мне хотелось бы, чтобы наши там, в родном аду, увидели этот «ад», вовсе не похожий на его советско-пропагандистское изображение, и этот «рай», о котором мечтают многие из протеста против родного «рая». Здесь, на «свободном» Западе (кавычки только для западного читателя, ибо он знает, что свобода и здесь несколько сомнительна), я чувствую только один свой внеличный долг — свидетельствовать (так, как свидетельствуют на суде) мне, марксисту, о «марксистском аду» на моей родине — Украине, в России и других республиках СССР. И, свидетельствуя, бороться со всеми нелюдскими действиями в всех правительствах на Западе и на Востоке вместе со всеми думающими и честными людьми, партиями, профсоюзами, церквями и различными гуманистическими организациями.

Я благодарен всем на Родине и на Западе, кто спас меня, спас и спасает людей во всех странах, благодарен Франции, которая приютила нашу семью, благодарен ФЕН — французским профсоюзам учителей, которые материально помогли нам прожить первые полтора-два года и дали возможность бороться не за свое физическое существование, а за свободу и жизнь других людей.

Гуманистам, пролетарским и непролетарским, я хотел бы посвятить эту книгу. Я не уверен, что они победят, но только их борьба, только их жизнь имеют смысл человеческой жизни в XX столетии.

Париж, 15 августа 1977 г.

Мысль написать эту работу возникла у меня впервые весной 1968 года, когда я находился в доме Павла Литвинова, где праздновали его день рождения. Поздно вечером гости и хозяин ушли, остались мы вдвоем с неизвестным мне молодым человеком. По-знакомились. Молодой человек оказался Владимиром Дремлюгой, рабочим, в прошлом — студентом Ленинградского университета. Из университета его изгнали за «неблагонадежность».

Завязался этакий типично российский разговор обо всех «вечных» проблемах. Затем мы спустились на грешную землю и рассказали друг другу немного о себе. Нас обоих поразило то, насколько мы различны. Разное социальное происхождение, резко противоположная деятельность в юности — в школе и в университете, взаимоисключающие характеры. В юности у нас было только одно общее — антисемитизм.

И вот наши пути сошлись здесь. И впереди у нас одно будущее — тюрьма (мы не могли и вообразить себе, что за тюрьмой последует еще одно общее — эмиграция).

Не сговариваясь, мы подумали оба, что интересно проанализировать, какие пути ведут человека в СССР к борьбе против существующего режима. Интересно было также проанализировать: что же всех нас объединяет — при той противоположности взглядов, которая существует в советском демократическом движении. Об этом я много думал и в Днепропетровской психтюрьме.

И вывод мне сейчас видится более или менее ясно. Я изложу его здесь, предваряя рассказ о моем личном пути в тюрьму и в эмиграцию.

*

Существует легенда-быль о великом индусском мыслителе, святом конца XIX столетия Рамакришне.

Однажды Рамакришна увидел, как батогами бьют человека по обнаженной спине. От бичей на спине избиваемого появлялись кровавые полосы. Такие же полосы появились на спине Рамакришны . . .

Что это такое? Это обнаженная, ничем не защищенная совесть человека. Такая совесть не разрешает уйти в самого себя, в личную жизнь или спрятаться за какой-нибудь хитромудрой идеологией, позволяющей не видеть мук ближнего. Такая совесть не дает приспособиться к окружающему личность обществу.

Есть некоторая доля истины в утверждениях советских психиатров и кагебистов, что все, кто решается в СССР выступить против существующего режима, — психически ненормальные люди. В самом деле — обнаженная, болезненная совесть, невозможность жить «во лжи» и зле, слабая адаптируемость к такому обществу — это признаки выхода за пределы нормы конформизма, мещанства. Неслучайно поэтому, что среди участников демократического движения есть настоящие истерики, психопаты, шизофреники и т. д. Но таковые были во всех крупных народных, религиозных и политических движениях. Достаточно напомнить, как много народовольцев сошло с ума в тюрьмах и каторгах царской России!

Я хотел бы напомнить величайшую героиню Франции Жанну д'Арк с ее «видениями», которые сопровождали весь ее подвижнический путь.

КГБ пытается спекулировать на психической ненормальности некоторых участников демократического движения, пытается использовать психически больных людей для следствия и суда, а также для дискредитации оппозиции.

Но для вдумчивого человека как в СССР, так и на Западе спекуляция на сумасшедших — лишь показатель циничной безнравственности советской тайной поли-

ции, партийного и государственного бюрократического аппарата.

*

Родился я в семье рабочих. Отец мой был дорожным мастером, мать — чернорабочая. Отец погиб в 1941 году на фронте. Мать в конце войны со мной и моей младшей сестрой переехала из г. Фрунзе на родину отца, в Борзну, маленький городок на Украине, к бабушке, матери отца.

Нет смысла рассказывать о жизни того времени: все население страны, за исключением бюрократической верхушки, вело голодное или полуголодное существование.

Бабушка моя была глубоко верующим человеком. Верующими стали и мы с сестрой. Я помню, с каким трепетом прочел в 6 лет детскую книгу об Иисусе Христе. Мать — атеистка — делала попытки убедить нас, что Бога нет. Но ее доводы разбивались о наш собственный жизненный опыт. А заключался этот опыт в том, что наша бабушка была ворожкой. Она читала особую молитву над ребенком, болеющим «младенческой болезнью» (как я сейчас понимаю, болезнь невротического характера), испугом или «сглазом» (вот это мне непонятно и сейчас). Моя мать посмеивалась над медициной бабушки, но ничего не могла сказать против очевидного факта — почти все дети действительно выздоравливали. Более того, врачи больницы, в которой работала мать, научились распознавать признаки «бабушкиных» болезней и направляли соответствующих больных к бабушке.

В восемь лет я заболел костным туберкулезом. Мать написала письмо Хрущеву с просьбой устроить меня в туберкулезный санаторий (местные врачи ничем не смогли помочь). Я получил путевку в санаторий (мать до сих пор глубоко благодарна Хрущеву за это, я — не очень: в стране, где медицинская помощь бесплатна, направление в санаторий должно быть нормой, и для этого не нужно беспокоить правительство).

Очень памятен мне первый день в туберкулезном санатории. Привели меня в палату как раз к обеду. На первое выдали борщ, на второе — картофельное пюре, на третье — виноград. После полуголодной сельской жизни обед показался роскошным. Виноград я видел впервые и потому сразу же набросился на него, потом с жадностью стал поглощать борщ. И вдруг в мою тарелку упал кусок хлеба, за ним — второй, затем пошли обглоданные кисти винограда. Я растерянно оглядывался по сторонам, ища врага. Бросали многие, но я долго не мог увидеть бросающего. Наконец враг найден, я перелезаю к нему на кровать и начинаю избивать. Что мог сделать мне, здоровому деревенскому мальчишке, он, годами прикованный к кровати?

Зашла медсестра и, увидав избиение, поволокла меня в изолятор, палату-«одиночку». Я разревелся и объяснил ей, что не виноват. Она обругала нас обоих и ушла.

Со всех кроватей стало доноситься слово «тёмная». Я почувствовал в этом слове угрозу и попросил мальчика с наиболее симпатичным лицом объяснить, что это такое. Он объяснил, что ночью придут старшие мальчишки из других палат с костылями, накроют меня одеялом и будут бить.

— Но за что?

— Ты — сексот.

— А что это такое?

— Ябеда.

Это слово я знал. Я стал доказывать ему, что это несправедливо, что они сами во всем виноваты. Он терпеливо объяснил, что взрослые всегда против детей и нельзя им помогать наказывать детей. Это я понял, согласился с ним, но объяснил, что так как я не знал об этом, то меня можно простить. Он не согласился.

Вечером я с ужасом ожидал ночи. Единственное спасение видел только в том, чтобы спрятаться под кровать. Однако спрятаться я не успел. В палату ворвались большие мальчишки, лет 11-12, с костылями. Но... направились они не ко мне, а к мальчику, который больше

всех требовал «темную». Они шутили постукали по нему костылями и ушли. Мои переговоры с мальчиком с симпатичным лицом оказались успешными.

Что означает слово сексот, я узнал лишь став взрослым.

В санатории, естественно, велась интенсивная атеистическая пропаганда. Так как большинство из нас были из деревни, то, естественно, почти поголовно мы были религиозными.

Нам попался умный воспитатель. Он приходил к нам после уроков и очень умно объяснял, почему Бога нет. Все, кроме меня, быстро признали его правоту. Я не вступал с ним в спор, но после его ухода рассказывал о различных чудесах (не только о бабушкиных). Во время следующей беседы воспитатель с удивлением видел, что все опять верят в Бога и приводят ему новые аргументы. Наконец он узнал, что главный противник — я. Он быстро сломил мое сопротивление относительно чудес из жизни Христа, «обновления» икон и т. д. Но с бабушкой и ему трудно было справиться. Он уходил, обещал объяснить то или иное явление в следующий раз. (Как я догадываюсь сейчас, он уходил почитать соответствующие книги.) Наконец все мои аргументы были разбиты с помощью теории внушения и гипноза. Но сдаваться в споре никогда не приятно. Я долго думал и придумал решающий аргумент. Дело в том, что бабушка лечила, в частности, грудных детей.

Я спросил воспитателя, как можно что-либо внушить ребенку этого возраста. Он растерялся. Затем пообещал объяснить и это, но попозже. Прошло много дней, пока он выполнил свое обещание.

Объяснение было таково: внушение в данном случае производится по отношению к матери ребенка. Мать начинает верить в выздоровление ребенка, и от этого у нее резко улучшается качество молока. И вот-де от такого особо полезного молока дитя и выздоравливает.

Так я стал атеистом. Бабушке я послал дипломатичное письмо, в котором объяснил, что Бога нет, и

просил ее извинить меня за мой новорожденный атеизм. (Бабушка мечтала передать свою магическую молитву именно мне, но вынуждена была передать ее моей тете, которая вовсе не собирается становиться колдуньей.)

Рассказывать о жизни в санатории неинтересно — тоска, мечты о воле, о родных, разговоры, книги, учеба. Это нечто вроде тюрьмы, но с хорошей пищей, с ласковым отношением персонала к заключенным (за редким исключением, это все были люди, которые тепло и жалостливо относились к нам).

Отмечу только то, что сыграло большую роль в моем духовном развитии.

Воспитание наше было «инкубаторским». Весь мир мы познавали только через книги, учебу и беседы с учителями, поэтому слово, мысль, идея играли в нашей жизни главную роль. Идеология, в которой нас воспитывали, была гуманна. Эта идеология воспринималась нами в чистом виде, так как не сталкивалась с жизнью. В плане этическом я не видел противоречия между моральными принципами моего раннего, христианского детства и новыми.

В начале 7-го класса я впервые влюбился. Произошло это так: девочек из соседней палаты привезли на кроватях к нам поиграть. Играли мы в «почту». Игра заключается в том, что каждый пишет кому-нибудь, не указывая своего имени. Получивший отвечает наугад. Чтобы привлечь к себе внимание, я стал писать девочкам грубости. Те отвечали наугад, возникали смешные ситуации. Наконец все они догадались, кто это писал, и стали забрасывать меня ответными грубостями. Особенно яростной оказалась Маша. В нее-то я и влюбился. Я предложил ей «дружить». Она согласилась. (У Маши был туберкулез тазобедренного сустава. Таких девочек мы жалели больше, чем горбатых: врачи говорили, что они никогда не смогут родить.)

К концу 7-го класса меня выгнали из санатория, и я стал жить недалеко от него. Писал Маше письма, но она не отвечала. Решил съездить к ней на трамвае. Но

как ехать на трамвае, я не знал. У меня было три рубля, но хватит ли этого на трамвай — неизвестно. Вторая проблема — где покупать билеты? Я шел пешком и мысленно ругал писателей: почему нигде в книгах не описана покупка билетов в трамвай (нас ведь учили, что литература — учебник жизни). Спрашивать прохожих было стыдно: я понимал, что смешно не знать таких мелочей.

Когда подошел к санаторию, попросил вызвать Машу. Она долго не выходила, наконец вышла и спустила на нитке записку (первую в моей жизни «ксиву»).

В записке она рассказала о том, что одна девочка недавно получила письмо от мальчика. Письмо перехватила воспитательница и при всех высмеяла девочку за «любовь». Маша просила больше ей не писать и не приходить.

Я вернулся домой, проклиная коварство девочек...

Ханжество в вопросах пола тесно связано с политическим ханжеством официальной идеологии.

Во 2-м или 3-м классе я задумался над проблемой деторождения у вождей революции. У Ленина была жена, но зато не было детей. Значит, Ленин хороший. У Сталина были дети — воспитательница нам об этом говорила. Значит... об этом страшно подумать... Я пытался найти Сталину какое-либо оправдание, но не смог. Лишь классу к 7-му я простил товарищу Сталину столь непристойный грех...

Я уже упомянул, что из санатория меня выгнали. И выгнали вот за что.

В нашем классе был 20-летний парень. Воздействие его на класс было очень сильным. Он крутил романы с санитарками и рассказывал нам сексуальные подробности этих романов. Слушали мы его с восторгом, мечтая поскорее вырасти. Санитарки ему приносили вино, которым он делился и с нами.

Под его влиянием дисциплина в классе катастрофически упала. Дело дошло до того, что один ученик бросил в учительницу чернильницей.

Сам я никогда не хулиганил и не очень грубил. Но, на мое несчастье, мы изучали Конституцию СССР. Когда я узнал, что все граждане имеют право на свободу слова, я стал осуществлять эту свободу на практике.

Как только учитель допускал, на мой взгляд, какую-либо ошибку, я подымал руку и вежливым тоном уличал его в этой ошибке. По сути я систематически поддерживал нарушения дисциплины в классе, т.к. придирался к любому неточному выражению учителя, когда он кричал на хулиганов.

В результате было создано школьное собрание, которое постановило снизить мне оценку по поведению «за грубость в обращении с обслуживающим персоналом», а тому, кто бросил чернильницей, вынести выговор по школе. Непропорциональность наказания глубоко меня возмутила, и я стал вести себя еще наглее.

В это время в санаторий прибыл новый главный врач. У него была идея-фикс быстрого излечения туберкулеза. Для такого излечения он стал делать одну за другой операции, после которых больной сустав становился неподвижным. Неподвижность сустава — вот что нужно для излечения костного туберкулеза (через несколько лет пришел новый главврач, у которого была диаметрально противоположная идея лечения — постоянное движение сустава)!

Вопрос об операции был поставлен и передо мной. Колебался я недолго, выбор был прост: или еще несколько лет санатория, или калека на всю жизнь, зато — свобода. (Через много лет передо мной была поставлена подобная дилемма: или еще несколько лет в психтюрьме на Родине, или свобода вне Родины. Тут я колебался гораздо дольше.)

Через несколько месяцев после операции мне разрешили ходить. Пять лет я не видел земли и поэтому в первые же дни решил выйти из санатория. В санатории был карантин, и выходить во двор запрещали. Меня на лестнице поймала медицинская сестра и повела к главврачу. И надо ж было случиться тому, что по дороге

к ней присоединилась воспитательница и пожаловалась, что я развращаю детей — играю с ними в карты. Главврач выслушал обеих и сказал, что я вылечен и могу убираться из санатория . . .

Характеристику мне выдали плохую. Хорошие способности, но ленив, мнителен и груб с персоналом. С этой характеристикой я пошел в нормальную школу. Завуч сказал, что плохих учеников у них достаточно и он не примет меня в школу.

Пришлось рассказать, за что выдали такую характеристику (свобода слова и прочее). Он посоветовал, чтоб я делал замечания учителям наедине, после уроков, иначе я подрываю дисциплину и авторитет учителя. Я согласился.

В этой школе преподавание велось хуже, чем в санатории, и здесь я стал считаться неплохим учеником.

Не успел я освоиться с вольными детьми и вольной школой, как пришло ужасное известие. 5 марта умер Вождь. Весь класс рыдал вместе с учительницей. Я понимал ужас происшедшего и думал о том, как мы будем теперь жить в капиталистическом окружении. К этим терзаниям добавились угрызения совести: все плачут, а я не могу выдавить из себя ни слезинки.

Социальное положение нашей семьи и инкубаторское воспитание ставили меня в двусмысленное положение, создавали раздвоенность восприятия действительности.

С одной стороны, я понимал, что живу в самой прекрасной стране мира, возглавляемой самым мудрым и гениальным вождем всех времен и народов — Сталиным.

С другой стороны, я жил на социальном низу. Моя мать работала кухаркой в санатории в Одессе. Получала она 30 рублей в месяц. На такую сумму теоретически невозможно жить. Но практически можно. Мать не могла содержать двоих детей, и потому Ада жила у родственников матери в г. Фрунзе. Так что сестры своей я почти не знал.

В 7-м классе, по выходе моем из санатория, мы с матерью ютились на одной кровати в женском обще-

житии. По вечерам к девушкам приходили парни — один день матросы, другой день милиционеры. Они оставались спать с девушками. Мать пыталась заглушить для меня всякие неприличные звуки, вроде того, как в СССР глушат зарубежные радиостанции, но столь же безуспешно.

Когда я был уже в 9-м классе, у нас появилась собственная комната.

Вокруг себя я видел такую же нищету, а у некоторых товарищей по школе и того хуже. Ведь я мог ходить в столовую к матери и там есть то, что не доедали больные.

Противоречие между идеологией и окружающей жизнью было вопиющим. Но усомниться в правдивости книг и учителей я не мог. Оставалось искать промежуточный выход. И он был найден, как самостоятельно, так и с помощью взрослых. Как живут наши правители, народ не знает, так как это является государственной тайной. Зато мы сталкивались со слоем населения, который жил лучше. Это были продавцы (получали они мало, но зато воровали), учителя, врачи и курортники. Основную массу этих «зажиточных» людей составляли в те времена в Одессе евреи. Естественно было стать антисемитом. Слепой национальный или социальный протест в России часто приводил и приводит к антисемитизму (Энгельс недаром назвал антисемитизм «социализмом для дураков»).

Учился я отлично и считал, что все, кто учится плохо, — лодыри и негодные комсомольцы и с ними надо бороться. Боролись мы (активисты класса) двояким способом. Во-первых, на комсомольских собраниях я вынимал специальную записную книжку, из которой зачитывал фамилии тех, кто подсказывал, пользовался шпаргалками или списывал у соседа. За такое поведение плохие ученики прозвали меня «жандармом школы». И я гордился этим прозвищем. Некоторые ученики решались бросать мне упреки прямо в лицо. Тогда на комсомольском собрании я говорил об этом, доказывал, по-

чему мое поведение является правильным, и требовал, чтобы мои оппоненты доказали обратное. Они молчали, я издевался над их трусостью. Решения собрания принимались почти единогласно, при нескольких воздержавшихся.

Во-вторых, после уроков я оставался с отстающими учениками и занимался с ними по математике, помогал им готовить уроки.

Похвалы учителей вскружили мне голову. Развилась непомерная гордыня и честолюбие. Они усугублялись тем, что большинство учителей были удивительно глупыми (за все 10 классов я с любовью и благодарностью вспоминаю только трех учителей), и я считал, что лучше их разбираюсь в предмете.

Я мечтал совершить переворот в математике и философии. (Все свои мечты я излагал в дневнике. КГБ этот дневник в 1972 г. изъял, а мои столь обычные глупые юношеские мечтания послужили основанием для утверждения, что у меня с юности был «бред мессианства».)

В стране царил культ Вождя и вообще сильных людей, гениев, которые ведут народ к сияющим вершинам коммунизма. Неслучайно поэтому моими кумирами были Робеспьер, Держинский, Кармалюк (украинский разбойник типа Робина Гуда) и почему-то Наполеон, а не Петр I.

Дореволюционную литературу я почти не любил (кроме «Что делать?» Чернышевского и «Отцов и детей» Тургенева). Во-первых, потому что писание идиотских сочинений о литературе по заданному плану вызывает отвращение к изучаемому автору. Во-вторых, мне было скучно читать всякие глупые переживания героев Толстого, Тургенева, Гончарова и др. То ли дело Павел Корчагин! Кристально ясные мысли и поступки, никаких тебе гнилых интеллигентских рефлексий. Писать о «Матери» Горького было скучно, но и здесь нравилась большевистская твердость Власова. Каюсь, Маяковский не нравился — слишком сложно писал...

В области половых отношений после чтения Дидро

пришел к выводу: «Долой стыд!» (что и проповедовал соученикам и учителям). И вообще всю мораль нужно рационализировать, выбросив из нее все формальные приличия и предрассудки. Природный стыд помешал внедрить новую мораль в повседневную жизнь. (Моральные поиски диктовались не только стремлением к математизации морали, но и протестом против ханжества взрослых.)

В конце девятого класса произошло чрезвычайное происшествие. Одна из одноклассниц родила ребенка. Мы узнали об этом лишь в начале нового учебного года. Все подруги перестали посещать ее и с негодованием обсуждали ее «проступок». Я предложил собрать по этому поводу комсомольское собрание. Обычно на комсомольских собраниях присутствует классный руководитель. Но я заявил классному руководителю, что ему на этом собрании делать нечего и он только помешает честному разговору (вообще я очень нагло обращался с учителями, а они прощали мне дерзости как лучшему ученику).

На комсомольском собрании я рассказал о поведении подруг «преступницы». Я сказал, что секс — личное дело каждого, что, конечно, она неразумно поступила, но ей надо помочь. Закончил я свою обличительную речь словами о том, что большинство учениц нашего класса лишь случайно избежали участи «пострадавшей», что они сами достаточно свободно ведут себя с матросами. Никто не возразил, и собрание приняло решение помочь молодой матери.

Энергии у меня было много. Не поглощалась она ни учебой, ни чтением книг, ни комсомольской деятельностью в школе. К этому времени я прочно усвоил истину, что коммунист должен искать основное звено в обществе и все силы бросать на это звено. Основным была угроза войны, шпионаж и т.д. Одесса — пограничный город. Естественно было прийти к мысли помогать ловить шпионов. В это время существовали «бригады содействия пограничникам», в которые входила моло-

дежь. Бригады эти по ночам ходили на границу, тренировались в ловле шпионов, в стрельбе. Это было немного скучновато, но зато соответствовало взглядам на задачи в жизни.

Кончилось мое участие в бригаде печально. В ночь на 7-е ноября 1955 года нас вызвали на заставу и сообщили, что ожидается высадка шпиона.

Нас расположили между пограничниками на расстоянии видимости. Лежим, ждем. Проходит несколько часов. Вдруг видим три фигуры. Я кричу: «Стой, кто идет?»

Оказалось, что это двое пограничников покинули свои посты и ведут пьяного в дым начальника заставы.

Первая реакция — донести на начальника заставы. Вторая — сомнения в целесообразности нашей бригады.

Окончательно я порвал с бригадой после того, как начальник заставы цинично изложил историю Берии. Он смаковал сексуальные похождения Берии, насилия над женщинами-политзаключенными. Одинаково омерзительными стали как Берия, так и начальник заставы.

Наступил 1956 год. К нам домой зашел один морячок, мичман. Рассказывал всякие истории. Между прочим сказал, что Ленин — очень хороший человек, а Сталин — гораздо хуже. Я вскипел и заявил ему, что если он будет говорить подобное, то заявлю куда следует.

Через некоторое время я написал заявление в КГБ с просьбой принять меня в школу КГБ. Цель простая. Главное звено — война. Я не смогу воевать (костный туберкулез). Но со шпионами бороться смогу (о внутренних врагах не думал, так как казалось, что они могут быть только шпионами).

Меня вызвали в КГБ. Я долго объяснял, что являюсь отличником, активным комсомольцем и т. д. Хочу вот, дескать, быть следователем. Мне ответили, что в следователи принимают после службы в армии, а так как я туберкулезник, то мое желание несбыточно. Я начал объяснять, что готов быть кем угодно, лишь бы работать в КГБ. Шифровальщиком — так как обладаю математи-

ческими способностями. Переводчиком — так как имею «5» по немецкому языку. Это не такое уж хорошее знание языка, но я готов изучить его в самом деле отлично. Они ответили отказом, ссылаясь все на тот же туберкулез.

Теперь я понимаю, что им было не до меня. Шел 1956 год, и каждый из них думал только о том, как бы не попасть в тюрьму за свои преступления. Ведь могли бы они мне предложить стать стукачом, секретным сотрудником. Думаю, что с удовольствием согласился бы.

Перехожу к центральному для моего внутреннего развития моменту.

Как-то после уроков ко мне подошла моя близкая подруга, «соратница» по всяким комсомольским мероприятиям, дочь крупного пограничного начальника, и сказала, что она хочет мне рассказать что-то очень важное и секретное.

Она рассказала о секретном докладе Хрущева. Хотя она не знала и десятой доли того, что сказал Хрущев, но и рассказанного было достаточно, чтобы мгновенно рухнула основа всей моей идеологии — вера в гениальность и безграничную доброту к трудящимся товарища Сталина.

До вечера я ходил возбужденный по улицам, потом вызвал товарища и рассказал ему (он тоже был высокоидейный, и поэтому ему можно было все сказать). Мы пробродили всю ночь, обсудили все с разных сторон и в итоге пришли к выводу, что «все они — негодяи». Они знали и молчали — значит, они трусы, не коммунисты, и Хрущев пал вслед за Сталиным. А если Сталин был мерзавцем, то нужно было молча исправить совершенное им и не говорить об этом вслух. (Впоследствии я встречал немало взрослых кретинков, которые утверждали то же самое.)

В конце 10-го класса я принял участие в областной математической олимпиаде. Лучшими участниками олимпиады оказались еврейские юноши. Они были образованнее меня. Я сблизился с ними, так как мой анти-

семитизм был социальным, а не зоологическим. Дружба с одним из них пробила первую брешь в моем антисемитизме. Антисемитизм других стал вызывать у меня протест.

Когда я сдавал документы в университет, то услышал такой разговор между девушками, принимавшими документы: «Украинка? По морде видно, что еврейка. Спрятаться ей не удастся, провалим на экзаменах».

Эти слова глубоко поразили меня. Значит, те, кто управляет страной, — антисемиты. Но ведь они коммунисты, они не имеют права быть антисемитами (себе, как частному лицу, я позволял быть антисемитом).

Возвращусь назад. В 9-м классе я съездил в Борзну, к бабушке. Я опять увидел, как она лечит детей, и прежние проблемы опять встали передо мной. И, конечно, я вспомнил о теории «особо ценного молока кормящей матери». Начал читать книги по внушению и гипнозу. Стал гипнотизировать своих товарищей. Но внушение и гипноз не смогли объяснить излечения грудных детей. На первом курсе университета наткнулся на дореволюционную книгу о телепатии. «Феномен» бабушки стал проясняться. Я увлекся телепатией, а затем йогами.

Учиться в университете было легко. После лекций оставалось много свободного времени. Комсомольская работа внутри университета не удовлетворяла — борьба за успеваемость, коллективные посещения театров, кино. И всё...

Мы, несколько студентов, прочитали о математическом кружке в Московском университете, где студенты решали серьезные научные проблемы. Стали перед профессорами настаивать, чтобы и у нас открыли такой кружок. Открыли. Возглавляла его довольно глупая женщина (в Москве занятия проводили крупнейшие ученые). Она давала нам задачи из учебников. Было скучно. Кружок захирел и распался.

К комсомолу в это время я относился отрицательно, протестовал против демагогии, ура-оптимизма, против

того, что пребывание в комсомоле сводится к оплате членских взносов.

Но один из моих друзей убедил меня, что нужно не критиковать комсомол, а собственной деятельностью переделывать его. Такую деятельность он видел в «легкой кавалерии». (В дальнейшем наши пути резко разошлись: он ушел в чистую науку, я пытался балансировать между научной и общественной деятельностью. Несколько раз он приезжал в Киев, хотел ко мне зайти, но друзья предупредили его, что это опасно, и он не решился. Ну что ж, каждый имеет право на страх, если не моральное, то юридическое: он защитил диссертацию, стал заведующим лабораторией, получал почетные премии.)

«Легкая кавалерия» состояла из студентов и молодых рабочих. Занималась она тем, что ловила проституток, воров, спекулянтов, «стиляг». Стиляг ловили и усовещали. Если это не помогало, им стригли волосы, разрезали брюки, срезали подошвы.

Я презирал стилияг за духовную пустоту, но протестовал против расправы над ними. И в этом мне удалось добиться своего — мы перестали их ловить.

Когда удавалось поймать спекулянта, мы отнимали у него товар, прятали в специальный сейф и передавали спекулянта милиции. Отнимать товар мы не имели права, но милиция нас в этом поощряла. Если спекулянту или вору удавалось замести следы, его били. Штаб наш находился в бомбоубежище. Когда наступало время бить, часть из нас, «слабонервные», удалялись из комнаты, затем включалась сирена, и начинались побои. Бить мы тоже не имели права, но милиционеры советовали бить, если нет прямых улик. Один из подростков, член нашего отделения кавалерии, очень увлекался побоями. Я это заметил и стал настаивать, чтобы его удаляли во время побоев, — ведь из него растет садист.

Мы, несколько студентов — членов штаба, стали протестовать против побоев. Но большинство очень логично

доказывало, что мы — гнилые интеллигенты, что бить этих мерзавцев надо.

Нам было стыдно за свои слабые нервы...

Однажды мы поймали молодого вора. Он предложил свою помощь: «Я знаю места, где собираются бродяги, проститутки, воры, я помогу вам вылавливать их, если вы примете меня в штаб». Это предложение большинству из нас показалось омерзительным, и мы отказали ему. Было ясно, что воров он стал по романтическим мотивам, а наш штаб привлекал его тем же — романтика поиска, культ силы.

Пребывание в «легкой кавалерии» постепенно открывало глаза на многое, очень ярко изобличало методы и сущность борьбы с преступностью в СССР.

Я руководил торговым сектором. Мы заходили в столовую и заказывали еду и напитки. Затем заставляли официантов взвешивать поданное нам. Обычно оказывалось, что поданное гораздо меньше заказанного. Составлялся протокол. Директор или шеф-повар отзывал нас в отдельную комнату и предлагал водку, роскошные закуски и даже свои часы. Мы, как идейные комсомольцы, и его предложения записывали в протокол.

Больше всего нам приходилось бороться со спекулянтами. Я предложил вывесить в штабе плакат с цитатой Ленина: «Спекулянт — враг народа». (Вера в магическую силу слова была столь велика, что я думал, будто большинство молодых спекулянтов, увидев слова самого Ленина, поймут глубину своего падения и исправятся.)

После Московского фестиваля (1957 г.) в Одессе появилось много негров, арабов и других иностранцев. Резко возросла проституция. Нас бросили на борьбу с проститутками. Мы ходили по паркам и вылавливали парочек из-под кустов. Было очень стыдно, но что поделаешь — *надо*.

Помню, поймали одну девушку и привели в райком комсомола. Секретарь райкома стал держать перед ней громовую речь о чести советской девушки. Напирал он

главным образом на то, что она подрывает престиж страны. Девушка упорно стояла на том, что ее половые органы принадлежат только ей и не дело комсомола вмешиваться в утилизацию их (говорила она, конечно, более грубо). Однако после угрозы тюрьмой она сдалась и признала свою вину.

Был у нас один рабочий парень, лучше всех усощавший преступников. Однажды мы поймали студентку техникума, развлекавшуюся в парке с солдатом. Наш оратор завел ее в отдельную комнату и стал говорить ей о девичьей гордости, чести и прочем. Мы стояли за дверью и помирали от смеха — настолько это все было по-книжному банально. Но говорил он очень заразительно. Девушка забилась в истерическом плаче. После беседы мы предупредили ее, что в случае повторения преступления мы сообщим в техникум и ее от туда выгонят. Она поклялась, что никогда больше не будет этим заниматься.

Моя школьная учительница как-то попала в больницу. После выздоровления она рассказала мне следующее. Главврач больницы, еврей (она это подчеркнула), держит в специальной палате здоровых людей. Их якобы лечат. На самом деле после «лечения» им выдают справки о наличии у них тяжелых заболеваний. По этим справкам они получают различные льготы — бесплатный курорт, пенсию по болезни, освобождение от работы и т.д. Об этом знают все медсестры и врачи, негодуют, но боятся выступить против главврача. Учительница попросила, чтобы я расследовал это дело. Но, предупредила она, у главврача сестра — заведующая здравотделом района. Если она узнает, что им заинтересовались, он будет переведен в другую больницу.

Я написал заявление в милицию, в котором предупредил о необходимости провести расследование очень скрыто. Милиция обещала разобраться. Только через четыре месяца меня вызвали в милицию. Там сообщили, что главврач уже четыре месяца как не работает в больнице и что мои сведения не подтвердились.

Мой друг К. поймал с поличным трех человек, которые воровали стройматериалы (они вывозили их целыми машинами). Двоих из них он привел в милицию. Он *заставил* милиционеров составить протокол допроса. Милиция обещала прислать следователей на стройку, с которой воровали стройматериал. Следователи приехали на стройку через месяц. Естественно, они не обнаружили хищений.

Весной состоялся слет «легкой кавалерии». На этом слете мне вручили похвальную грамоту ЦК ЛКСМУ. Но, увы, мне было стыдно принимать эту грамоту: на слете случилось крайне некрасивое происшествие. Один из «кавалеристов» поймал шпиона. Настоящего шпиона. Он сдал его милиционеру. «Кавалеристу» вручили такую же грамоту, как и мне. А милиционеру были вручены *именные* золотые часы. Все «кавалеристы» знали эту историю и с негодованием восприняли все эти грамоты...

Моя подруга стала секретарем штаба. Однажды начальник штаба и его заместитель предложили ей импортные туфельки, конфискованные у спекулянта. Затем они намекнули, что будут снабжать ее еще более ценными вещами (им трудно было скрывать от нее свои операции). Она отказалась.

Мы начали тайное следствие. Обнаружилось, что начальник и его заместитель спекулируют вещами, отобранными у спекулянтов. Из-за нашего математического педантизма следствие это затянулось.

Наступила экзаменационная сессия, и мы перестали ходить в штаб. После экзаменов узнали, что начальник штаба и его заместитель заволокли в штаб проститутку и изнасиловали ее. Райком комсомола распустил наш штаб, даже не созвав всех членов штаба: они не хотели, чтобы слухи об этом происшествии распространились широко. Насильники не были даже привлечены к судебной ответственности.

Удар был очень силен — удар по вере в возможность как-либо бороться с мерзостью в нашем обществе.

В газетах сообщили, что должен открыться XIII съезд комсомола. Мы, несколько комсомольцев факультета, написали письмо к съезду. В этом письме мы писали о формализме в комсомольской работе, о том, что большинство комсомольцев ничего не делает в общественном плане, а в своем быту многие позорят звание комсомольца. Основное предложение заключалось в открытой беспощадной чистке комсомола от всякой мещанской дряни, в усилении требований при приеме в комсомол. Дальше шли предложения найти настоящие, захватывающие дела. Например, собирать силами комсомольцев средства для постройки космической ракеты.

После жарких дискуссий к нам присоединился секретарь комсомольской организации факультета. Он написал в письме свое особое мнение, немного отличное от нашего, менее радикальное.

Мы с волнением ждали ответа из ЦК ВЛКСМ. Ответ пришел благоприятный. Нам сообщили, что наше письмо обсуждалось в ЦК и будет обсуждаться на съезде.

Мы с нетерпением ждали съезда. Увы, на съезде даже краем не затронули проблемы, выдвинутые нами. На этом съезде, как и на всех других, царил барабанный бой по поводу грандиозных свершений комсомола на целине. От своих товарищей, поехавших поднимать целинные земли, мы уже знали, что в большой мере то, что пишется в газетах о целине, является очередной демагогией.

Преподаватель истории КПСС на семинаре предложил обсудить решения XIII съезда комсомола. Я выступил и назвал съезд «съездом трепачей». После семинара преподаватель отозвал меня в сторону и объяснил, что за такие слова у меня могут быть большие неприятности. Я гордо отвечал, что теперь не сталинские времена и каждый имеет право говорить все, что хочет. Преподаватель лишь пожал плечами.

Под воздействием XX съезда и Венгерской революции 1956 г. по всем крупным университетам прошла волна свободомыслия. В Московском, Ленинградском и Киев-

ском университетах стали возникать подпольные и полуподпольные организации. Они были разгромлены. Но мы, студенты младших курсов Одесского университета, ничего об этом не знали. О событиях в Венгрии мы судили по газетам.

Волна свободомыслия предстала в Одесском университете в виде стенной газеты «Мысль». Эпиграфом к газете служило изречение Декарта «когито эрго сум» («мыслю — значит существую»). Вышло два номера газеты, вызвавшие огромный интерес у студентов. Я приготовил статью в третий номер.

В газете обсуждались вопросы о джазе, Есенине (тогда мы впервые прочли его стихи), футуристах.

До нас дошли слухи, что было заседание партийного бюро факультета, на котором осудили газету за буржуазную идеологию. Одним из аргументов послужил злополучный эпиграф. «Почему не «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»? Почему идеалистический аффризм?»

Я встретился с секретарем комсомольского бюро факультета и взволнованно потребовал, чтобы тот объяснил, за что запретили газету. Секретарь сказал, что редакторы газеты — стилиаги, что у них, кажется, были связи со спекулянтами. Увы, я удовлетворился таким объяснением. На старших курсах прошли комсомольские собрания, на которых редакторов газеты исключили из комсомола, а следовательно, и из университета.

Через несколько лет я прочел детективную повесть популярного в то время советского «детективщика» Ардаматского, в которой эта история пересказывалась. Статьи в газете были поданы в совершенно лживом свете. Ардаматский в повести связал редакторов газеты со спекулянтами, а спекулянтов с ворами и шпионами.

На третьем курсе меня избрали секретарем комсомольской организации курса. Но я не успел на этом посту почти ничего сделать.

У нас были шефы — рабочие одного из заводов. Не помню точно: может быть, мы были их шефами. Мы

договорились, что будем проводить совместные культурные мероприятия. Они просили также, чтобы мы помогли нескольким из них поступить в университет. Был конец учебного года, и единственное, что я выполнил, была подготовка одного рабочего на физико-математический факультет университета.

К 3-му курсу у меня появилось много интересных друзей неуниверситетского круга. Один из них был знатоком идеалистической философии разных направлений. Мне было очень интересно с ним спорить, но я всегда терпел поражения, т.к. он лучше меня знал даже ту единственную философию, с которой я был немного знаком, — марксистскую.

Приблизительно в это же время я подружился с дочерью моего бывшего школьного учителя логики — Сижорского. Он бросил школу, стал писателем, членом Союза писателей. Писал и пишет он бездарно. Взгляды его представляли смесь украинского национализма и официальной демагогии. Национализм — с ним я столкнулся впервые — меня шокировал (сейчас я понимаю, что кое-что он говорил справедливо). Официальная демагогия была еще более отталкивающей.

Но человек он был все же сравнительно умный, и поэтому спорил я с ним увлеченно.

Однажды я рассказал ему о моем друге-идеалисте и объяснил, что нам так плохо преподают философию, что мы не способны дискутировать с идеалистами. Я добавил, что нужно преподавать в институтах и идеалистическую философию.

В другой раз я высказал ему сомнение в глубине ленинского определения материи (в «Материализме и эмпириокритицизме»), а также энгельсовского определения жизни. Приблизительно через месяц после нашей последней встречи меня вызвали в отдел кадров университета. Заведующий отделом кадров (обычно это бывшие кагебисты, но тогда я об этом не знал) очень радушно меня принял и стал расспрашивать о моих планах на будущее. Я сухо отвечал, так как было не-

понятно, зачем ему это нужно. Наконец я напрямик спросил его, зачем он вызвал меня. Он объяснил, что все мои преподаватели так восторженно обо мне отзываются, что ему захотелось познакомиться с таким необыкновенным студентом. Помимо того, что это было явной неправдой, моя гордыня к тому времени уже побавилась, и мне было неприятно выслушивать столь лестные слова. Я насторожился.

Он перешел к моим взглядам. Я отвечал еще более сдержанно (хотя вовсе не видел для себя какой-либо опасности: я верил, что времена Сталина ушли безвозвратно). Наконец он спросил, есть ли у меня друзья-идеалисты, а затем — есть ли у меня знакомые в таком-то институте (именно там, где работал мой друг). Сразу все стало ясно — донес Сикорский (никому другому об этом друге я не рассказывал). Я с облегчением вздохнул: фамилии друга Сикорский не знал. Моя тактика в этой беседе стала мне ясной. Я решил играть роль эдакого тщеславного дурачка и болтуна.

Я начал многословно пересказывать все, что читал по марксизму. Он делал вид, что в восторге от моей эрудиции, но все время наводящими вопросами сбивал на нужные ему темы. Глупость так и выпирала из его комментариев насчет моих излияний. Было весело играть в эту несколько опасную игру. Перешли к «Материализму и эмпириокритицизму» (он сам спросил об этой работе). По поводу определения материи я спросил у него совета, как мне разобраться в нем, — это так гениально, что простому студенту малодоступно. Он искренне признался, что ему это тоже сложно.

Затем он вновь заговорил о друзьях. «Есть ли у вас друзья в университете?» Я объяснил, что так углубился в изучение математики, что не имею времени на друзей.

— Но ведь есть же люди, с которыми вы беседуете о философии?

— Да, конечно.

— Среди них, видимо, есть умные люди? Я бы хотел с ними познакомиться.

— Пожалуйста. У меня есть знакомый писатель, Сикорский. Мы с ним часто встречаемся и спорим.

Он спросил адрес. Я дал. Затем завкадрами спросил, какие проблемы мы обсуждаем.

— Есть ли жизнь на Марсе. Сикорский доказывает, что нет, а я обратное.

Я многословно объяснил ему, что моя точка зрения и есть истинно марксистская. Он согласился.

Теперь я думаю, что поступил тогда нехорошо, так как не было стопроцентной уверенности, что донес Сикорский.

Завкадрами спросил, не пытался ли я встретиться с кем-либо из известных людей. Я решил над ним поиздеваться и рассказал о своей поездке к Кржижановскому Глебу Максимилиановичу.

Я в самом деле ездил к Кржижановскому, другу Ленина, человеку, который выступал против Сталина. Мне хотелось узнать, как объясняет сталиниану ленинец. Но, когда я приехал к Кржижановскому, мне открыла дверь старая женщина и сказала: «Я ихняя служанка, Глеб Максимилианович тяжело болен и лежит в Кремлевской больнице». Меня настолько поразил тот факт, что у ленинца есть служанка, что я и думать перестал о встрече с ним.

О служанке и о том, что Кржижановский — друг Ленина, я не сказал.

Очи завкадрами заблестели от удовольствия, он вынул записную книжку и попросил сказать адрес, фамилию и прочие данные. Я злорадно дал их. Когда он записал все, что я рассказал, я с невинным видом сообщил ему о том, что Кржижановский — старый большевик и прочее. У товарища на мгновение проскользнуло разочарование, но затем оно сменилось восхищением личностью Кржижановского. Он окончательно понял, что я безопасный дурак, и поспешил закончить беседу. Мы стояли на пороге и сердечно жали друг другу руки. Под занавес я спросил его, зачем все же он вызвал меня. Он повторил, что безумно жаждал по-

знакомится с таким необыкновенным студентом, и предложил заходить к нему всегда, когда у меня возникнет сложная идейная проблема.

Так прошел первый в моей жизни допрос. В 1964 году я попытался повторить эту тактику болтуна-дурачка, но следователи были умнее, и номер не удался.

Вторая история с Сикорским тоже занимательна.

Я прочел его новую повесть. В ней рассказывалось о том, как простой советский парень стал семинаристом и начал деградировать умственно и морально. Каково же было мое удивление, когда я узнал в этом семинаристе себя — большое число моих идей, которые я проповедовал Сикорскому, было вложено в уста семинариста. Но возмутило меня то, что он соединил мои идеи с противоположными. Я спросил дочь Сикорского об этой повести. Она подтвердила, что отец уверен, что я стану религиозным человеком и плохо кончу. (Все дело было в том, что я тогда заинтересовался проблемой смысла жизни, а в тогдашней официальной литературе эта проблема считалась сугубо религиозной.)

Однажды мы узнали, что в Доме литераторов состоится доклад бывших священников, отрекшихся от религии. Мы с товарищем пошли послушать. Молодые священники рассказали о своей учебе в семинарии и дальнейшей службе батюшками. В центре доклада были сексуальные похождения библейских святых. Осветив эту проблему, они перешли к сексуальным похождениям знакомых им священников. Мы с другом, атеисты, были возмущены скабрёзностью «отреченцев». Особенно гнусным была реакция женской половины публики — поэтесс и писательниц. В самых пикантных местах они похотливо хихикали.

После доклада мы подошли к Сикорскому и завели речь о его повести. Нас перебила какая-то молодая девица. Она заявила ему, что узнала себя в семинаристе, привела Сикорскому несколько цитат, тождественных ее словам. Затем она с возмущением указала на те идеи, которых она никогда не проповедовала. Мы с другом

рассмеялись и объяснили ей, откуда у семинариста эти идеи. Сикорский стал объяснять интимный процесс творчества и «синтезный» образ семинариста. Мы заявили, что простое смешение противоречащих идей ведет к извращению этих идей и является примитивным способом дискредитации идеологии противника. Он на-пророчествовал мне и девице мрачное идейное будущее. (Интересно, что сейчас с нею?)

После окончания третьего курса я задумался о будущей работе. Основная идея времен десятого класса оставалась прежней: нужно найти самое важное звено. Добавилась мысль о том, что каждый должен честно делать свое дело на своем месте. (Только через несколько лет я узнал, что это называется «философией малых дел» и в свое время противопоставлялось народо-вольцам.)

Какое же звено было самым важным? В то время много говорили о диспропорции между сельским хозяйством и промышленностью, о большой отсталости сельского хозяйства. Я и сам видел нищенскую жизнь колхозников. Поэтому вывод был сделан быстро — нужно ехать в сельскую школу и подымать культуру крестьян. Положение с преподаванием обстоит очень плохо. Нищенская зарплата, отсутствие творчества отпугивает юношество от профессии учителя. Но если часть молодых учителей в городе все же достаточно энергична и умна, то на село едут самые пассивные и глупые, неудачники. У меня были математические способности, была энергия, и потому мне казалось, что я смогу принести пользу в селе.

Я пришел в областной отдел народного образования и попросил направить меня в сельскую школу. Заведующий отделом посмотрел на меня как на идиота, но направление все же дал.

Село находилось в 60 км от Одессы. Село маленькое, одна улица. В школу ходили ученики и соседнего села. Школа — так называемая растущая (раньше это была четырехлетка, сейчас шестилетка, а будет восьмилет-

кой). Я преподавал арифметику, геометрию и физику в 5-м и 6-м классах. В пятом классе одиннадцать учеников, в шестом — двадцать.

Зарплата — 50 рублей, из которых половину я отдавал своей хозяйке на приготовление пищи. За кровать в хате платил колхоз.

Больше всего меня вначале поразила нищета крестьян. В селе треть — туберкулезные. У некоторых крестьян — собственные коровы. Но все молоко они сдавали в колхоз. У моей хозяйки была дочь лет шести. Она почти никогда не пила молока.

С коллегами было скучно: мужчины говорили лишь о выпивке, а женщины — об огородах, которые им выделил колхоз, и об одежде. Отдушиной стала учительница русского и немецкого языков Алла Михайловна. Она закончила Педагогический институт и, как и я, первый год преподавала. Мы проводили с ней вечера, беседовали о литературе, учениках и порядках в школе. Порядки казались нам дикими.

Директор школы — пьяница. Нередко пьяным приходил на уроки. Он постоянно вмешивался в наше преподавание и требовал, чтобы мы ставили даже самым плохим ученикам хорошие отметки.

Осенью нам систематически срывали уроки — всех учеников забирали на поле помогать колхозу убирать урожай.

Вспоминается яркая картина. Мы чистим кукурузу. Вдали на дороге появляется фигура директора на велосипеде. Он падает. Ученики комментируют: «Бардюг снова пьян».

Дисциплина в школе очень плохая. На уроках — гам. На замечания учителя почти никто не реагирует. Ученик пятого класса на мое замечание как-то ответил: «Я тебе вторую ногу перелломаю». В отсутствии дисциплины был повинен и я. Я не сумел найти меру между строгостью и лаской. Мне казалось, что нужно воздействовать только на разум детей и давать им возможность свободно развиваться в умственном отношении. Они меня

любили за юмор на уроках, но почти не слушались. Учительницу русского языка слушались и того меньше.

В каждом классе сидели переростки. В пятом классе, например, была девица лет восемнадцати, в шестом классе — парень и девушка по 19 лет (мне было 20). Оба переростка из шестого класса — туберкулезные. Девушка из пятого класса — просто ленивая и глупая баба.

Вот весь пятый класс решает контрольную работу. Она встает и подает чистый лист бумаги: «Леонид Иванович, я ни ... не понимаю». Я краснею, внимательно изучаю классной журнал. Класс затих — ждет моей реакции. Наконец я срывающимся голосом прошу ее выйти из класса. Она отказывается. Я пытаюсь силой вытолкнуть ее. Она нагло улыбается и старается своими грудями дотронуться до меня.

Некоторые ученики приходили на уроки пьяными.

В школе не было ни одного прибора. Я настаивал, чтоб их закупили, но директор и ухом не вел. Однажды я должен был рассказать детям о сообщающихся сосудах. На урок пришел учитель украинского языка. Я рассказал на пальцах о сообщающихся сосудах, а в качестве примера указал на шестнадцатилетнего парня, который часто приходил на уроки пьяный. Вот он спускается к отцу в подвал, достает шланг, вставляет его в бочку и пьет вино. Он и бочка — сообщающиеся сосуды. Класс в восторге от такой физики.

После урока коллега меня утешил: «Вот видите, вам удается обходиться без приборов».

Мы с Аллой Михайловной говорили с другими учителями о необходимости изменить порядки в школе. Всего было 9 учителей, из них 4 поддержало нас, 3 — против: директор, его жена и учительница ботаники, бывший агроном, которая была благодарна директору за то, что он помог ей избавиться от каторжного труда агронома («легкий» хлеб учителя не прошел ей даром: после учебного года она отправилась в санаторий лечиться от невроза, приобретенного за год преподавания).

После первой четверти я в 5-м классе поставил пять двоек, учительница русского языка — 10 (из 11 возможных). На диктанты по русскому языку было страшно смотреть. Лучшие ученики делали по двадцать ошибок, худшие — по 70 и более. До Аллы Михайловны русский язык преподавала жена директора — совершенно неграмотное существо.

Положение стало невыносимым.

Мы с Аллой Михайловной написали письмо в райком партии и в районный отдел народного образования с изложением дел в школе.

О письме узнал директор и заявил, что из-за нашего заявления пострадает только мы. Еще не поздно поехать в районный город и забрать заявление.

Слух о письме разошелся среди колхозников, отношение ко мне стало теплее. Однажды утром меня разбудила хозяйка и сказала: «Вечером к Бардюгу приехали из района и целую ночь пили вино». Стало ясно, что мы проиграли.

Комиссия пришла на урок не к директору, а к нам. Аллу Михайловну заставили провести диктант. Вечером мы вдвоем сели проверять его. Если в диктанте 70-80 ошибок, то неизбежно пропустишь часть ошибок. Сначала тетрадь проверяла она, потом я, потом снова она. И, несмотря на такой тройной фильтр, несколько ошибок было пропущено, что и было поставлено ей в вину. На следующий день было проведено педагогическое собрание. Оказалось, что нас только двое, — остальные либо сохраняли нейтралитет, либо выступили против нас.

Основное обвинение нам — несоблюдение методики преподавания. По отношению ко мне это отчасти было справедливо: во-первых, я не изучал методики в университете, во-вторых, многие из методических указаний, о которых говорил мне директор, казались мне (да и сейчас кажутся) нелепыми. Относительно Аллы Михайловны такое обвинение было ложью — в институте ей за пробные уроки всегда ставили «отлично».

Далее нас обвинили в склочничестве, и в заключение педагогическое собрание вынесло нам троим (и директору все же) по выговору с занесением в личное дело. (Через некоторое время мы узнали, что директору выговор остался устным.)

Алла Михайловна стала настаивать на том, чтобы мы покинули школу. Я доказывал, что у нас нет морального права покинуть учеников. Но учеников она ненавидела теперь почти так же, как учителей (она была беременной, и это усиливало ее переживания из-за беспорядков на уроках). Я пытался приучить учеников к чтению художественной литературы. Она зло высмеивала эти попытки и, в частности, мои художественные вкусы (в этом последнем она была по существу права). В конце концов она уехала. Я посетил ее позднее в Одессе. На нее страшно было смотреть. Ребенок родился мертвым (врачи объяснили это нервным перенапряжением).

Она стала мизантропкой.

Я мог бы обратиться в Облоно — там работали мои друзья. Но бороться с помощью блата казалось мне аморальным.

После ухода Аллы Михайловны стали распределять ее предметы между учителями. Началась перетасовка всех уроков. Мне предложили физкультуру. Я объяснил, что в школе был освобожден от физкультуры. Затем предложили военное дело, труд, пение, рисование. От всех этих предметов я отказался (ставка делалась на то, что, если я стану зарабатывать больше, я стану покладистее).

Наконец мне предложили немецкий язык. Я плохо знаю немецкий, но остальные учителя еще хуже. Для детей я все же лучший вариант. Согласился. Но в учительскую ворвалась учительница ботаники и стала обвинять меня в том, что я забираю у нее уроки. Я предложил ей забрать немецкий язык себе. Директор вынес соломоново решение: ей 3 урока немецкого в 6-м классе, мне 2 урока — в 5-м. Договорились.

Я дал несколько уроков немецкого, когда учительница

ботаники предложила поменяться — ей, дескать, трудно. После обмена она попросила меня помочь подготовиться к первому уроку в 5-м классе: «У вас ведь уже есть опыт». Я пришел к ней домой, она поставила на стол вино, и, попивая его, мы стали готовиться к уроку. Оказалось, что немецкий она изучала в школе, в институте учила английский и в итоге не знает ни того, ни другого.

Меня душил смех: из алфавита она знала только о, а, е, і. Наконец она русскими буквами написала в учебнике немецкие слова, а под ними — перевод.

Анекдоты мне всегда нравились, и поэтому я попросил разрешения присутствовать на уроке. Она разрешила.

На уроке я сел за парту с самым хулиганистым парнем. Учительница начала читать текст. Ошибка за ошибкой. Лучшие ученики (они ведь одну четверть учились у Аллы Михайловны и знали немецкий язык в пределах изученного) стали поправлять. Затем урок стал превращаться в травлю учительницы — самые плохие ученики поправляли ее как хотели.

Хулиган рядом со мной толкнул меня под бок (они со мной не больно церемонились) и произнес: «Да ведь она ничего не знает». Я взглянул на него строгим, «педагогическим» взглядом, но педагогично ответить не смог.

Я ожидал, что после такого урока она отдаст мне немецкий язык. Не тут-то было! На перемене она спросила меня: «Ну, как?» Я остолбел от такой невозмутимой наглости и пролепетал: «Да ничего для первого раза. Вот только неудобно, что ученики поправляют учителя». — «Что же мне делать?» Я, поколебавшись, посоветовал: «А вы скажите им, что вы специально делаете ошибки для того, чтобы проверить их знания».

На следующей неделе ко мне на перемене подошли пятиклассники и хором сообщили: «Леонид Иванович, знаете, что она придумала? Хитрющая какая!» И они рассказали о «ее» уловке.

В конце учебного года она дала ученикам годовую контрольную работу — диктант, который должна была

отослать в районный отдел народного образования. Директор попросил меня помочь ей проверить диктант (думаю, что он догадывался о положении с успеваемостью). Я сел рядом с ней и начал проверять тетради. Это было нечто чудовищное. В каждом большом слове 2-3 ошибки. И масса ошибок у лучших учеников — признак того, что это ошибки учителя. Например, все существительные писались с маленькой буквы.

Подошел директор, и я объяснил ему ситуацию. Выход он через некоторое время нашел: «Вы исправляйте ошибки красными чернилами, а вы — синими». Мы последовали его совету. Но отсылать такой диктант в район нельзя. Она дала этот же диктант во второй раз. Подозреваю, что она написала его на доске, а ученики списали (о таких диктантах в некоторых школах я слышал). Во всяком случае, ко мне она больше не обращалась.

Может возникнуть вопрос: как я мог пойти на подлог с диктантом, начав с протеста против завышения отметок?

Прошел целый учебный год, я присмотрелся к положению дел в школе, к директору. Я убедился в том, что по сути директор не так уж виноват. Мы, например, требовали выгнать из 5 класса двух великовозрастных учеников, т.к. они разлагают остальных. Осталось бы 9 человек в классе. Как нам объяснили, в таком случае класс был бы закрыт. За этим последовало бы закрытие школы. Ученикам пришлось бы ходить в соседнюю школу, в 10 км от нашего села, как ходили ученики 7-10 классов. Колхоз отказывается выделять машины для перевозки детей. По дороге ученики курят, дерутся, часто вовсе не доходят до школы. Для малышей 1-6 классов все это было очень плохо. Если бы отметки ставились правильно, то нас бы всех разогнали за плохую успеваемость, прибыли бы такие же плохие учителя и ничего бы не изменилось. Сам директор смертельно скучает на своей работе, у него давно уже нет иллюзий, что он может что-то изменить. Источник средств для

обеспечения семьи главным образом — личный огород. Его пьянство — попытка уйти от безрадостной и бессмысленной жизни.

Нужно менять не директора, а всю систему образования, построенную на демагогии, очковтирательстве, процентомании и т.д. Систему образования нельзя изменить, если не изменить всего общества. Но я не видел тогда людей, которые боролись бы за изменение общества. Я выбрал для себя новый путь — путь в науку, философию, искусство. Я понимал, что это бегство, но не видел другого выхода, выхода хотя бы чисто личного. Решил вернуться в университет. Я все больше ощущал недостаток своего образования, узость понимания искусства, философии и т. д.

После отъезда Аллы Михайловны стало вовсе невыносимо. Школа занимала 2-3 часа в день, полчаса — подготовка к урокам. Книг почти нет (на 25 рублей много книг не купишь). Разговаривать не с кем.

Я подружился со сторожем школы, в прошлом учителем арифметики. Это был совершенно безграмотный старик. Но с ним хоть о чем-то можно было говорить. Он рассказывал о довоенной жизни, о войне, любил рассуждать о любви и смерти.

Затем я познакомился с учеником 10-го класса. Мы подружались, так как он интересовался очень многими вопросами. Знаний у него было мало, зато он с удовольствием слушал меня и даже вступал в споры. Я рассказывал ему о высшей математике, философии, телепатии, литературе, обучал различным играм. Вся его семья, и он в том числе, болела туберкулезом легких. Он дружил с моей ученицей из 6-го класса, 19-летней девушкой. Из-за туберкулеза она не могла учиться систематически. Мы собирались у нее дома и все вечера проводили за играми или рассказами.

Я посоветовал ей самой скоростным методом изучить предметы за 7-й класс и сдать экзамены в соседней школе, чтобы с нового учебного года поступить в техникум. Стал диктовать ей тексты по русскому языку. Вна-

чале она делала по двадцать ошибок, затем по 2-3 ошибки. Подготовил ее также по алгебре и геометрии. Все экзамены она сдала на «хорошо».

Весной в колхоз приехали молодые специалисты — зоотехник и агроном. Они собирались после работы, очень уставшие, и обдумывали грандиозные планы преобразования колхоза. Я завидовал их усталости и планам. Они посмеивались над моей беспомощностью в школе. В это время шел кинофильм «Коллеги» по книге Василия Аксенова. В этом фильме молодые специалисты наталкиваются на всякие препятствия, но мужественно преодолевают их. Мои новые друзья, ссылаясь на этот фильм, стыдили меня за намеченный побег из села. Было стыдно, но сил оставаться в селе уже не было.

Через год они тоже сбежали от «идиотизма деревенской жизни».

КИЕВ

Покончив со своей педагогической карьерой, я переехал в Киев, так как к этому времени женился.

В Киеве я поступил на 4-й курс университета. В Киевском университете преподавание математики велось на более высоком уровне, и потому было интереснее.

На 4-м курсе преподавали диалектический материализм. Преподаватель оказался умным, вел преподавание не по книгам, с акцентом на диалектике. Увлечение философией стало более серьезным. На семинарах по философии вспыхивали споры, в которых активно участвовали 3-4 студента. Проходили мы также политэкономии капитализма. Первые главы «Капитала» Маркса оказались очень интересными, но затем стало скучно, так как преподаватель оказался неумным, а самостоятельно изучать «Капитал» не хотелось. На семинарах по политэкономии мы постоянно фрондировали: задавали преподавателю каверзные вопросы, проводя параллель между капитализмом и тем социализмом, в котором все мы жили.

Хотелось лучше познакомиться с философией йогов и близкими ей философско-религиозными течениями, а также телепатией. Для этого я поехал на месяц в Москву. Там достал у знакомых билет в библиотеку имени Ленина. Оказалось, что в библиотеке этой — огромные книжные богатства и, в частности, по интересующим меня вопросам. Но именно по этим вопросам книги почти не выдавали. Мне посоветовали выписывать книги по специальному каталогу, по которому эти книги почему-то выдавали. Мистикой я быстро пресытился, стало скучно: фантазия человеческая довольно ограничена, а отсутствие каких-либо критериев истины в ми-

стических писаниях делает эти фантазии беспочвенными. С этих времен у меня остался интерес лишь к художественной стороне мистических произведений (большинство из них бездарны и в этом отношении, но отдельные книги великолепны, например, произведения Шюре). Психология йогов объясняла кое-что из психологии обыденной жизни. Очень важной показалась мысль о том, что психику нужно развивать, что психикой надо управлять. Сразу же напрашивалась связь с идеей марксизма о необходимости создания общества, в котором прогресс определяется сознанием людей, а не механическими законами политэкономии.

По раджа-йоге начал было заниматься сосредоточением. Но после двух недель занятий как-то на лекции вдруг оказалось, что я настолько сосредоточивался на одной мысли, что терял всякую связь с действительностью. Я испугался, так как понял, что без опытного руководителя я могу испортить свою психику.

Очень большое влияние оказала этика йогов. Впервые я столкнулся с тонким анализом отношения человека к себе, к другим людям, к Богу и т. д. Тезис йогов: «тело — храм духа, и потому нужно бережно относиться к телу» противоположен традиционно-христианскому пренебрежению и даже презрению к телу. Хотя по характеру своему я ближе к христианству в этом плане, йоговское отношение к телу казалось и кажется мне более близким науке.

Первый самиздат, с которым я столкнулся, был самиздат по йоге, теософии и антропософии, хиромантии. Лишь после окончания университета попались первые произведения художественного самиздата — стихи Волошина, Цветаевой, Мандельштама, выступление Паустовского в защиту Дудинцева.

На почве увлечения йогой я познакомился с одним инженером. Сблизил нас также интерес к научной фантастике.

Мой новый друг увлекался абстрактной живописью. Мне она была непонятна, но к тому времени я научился

уже с уважением относиться ко взглядам и интересам других людей. Он мне пытался объяснить смысл абстрактной живописи, но я так ничего и не понял. Зато пришло увлечение Врубелем, Рерихом, Чюрлёнисом и поздним Ван-Гогом. Я, наконец, осознал, что попытка постичь прекрасное с помощью одной только мысли обречена на провал (мысль приходит вслед за интуитивным постижением).

По мере погружения в литературу о телепатии интерес к паранормальным явлениям возрастал. Мы с группой товарищей пошли на кафедру психологии и предложили организовать кружок телепатии. Один из преподавателей психологии заявил: «Ну, что ж, увлечение телепатией лучше, чем некоторые другие увлечения студентов». И согласился помочь нам в организации экспериментов.

Я сделал доклады по телепатии в нескольких институтах, чтобы привлечь специалистов разных профилей в наш кружок.

К этому времени в советской печати появились первые статьи о телепатии. Из них я узнал о том, что в Москве живет сотрудник академика Бехтерева — Б. Б. Кажинский, который вместе с Дуровым и Бехтеревым проводил эксперименты по телепатии в 20—30-х годах. Я списался с Кажинским и приехал к нему. Кажинский встретил меня очень радушно, так как видел во мне одного из молодых людей, которые продолжают то, что было сделано в телепатии до войны. За столом сидело нас четверо — Кажинский, его жена, молодой медик Э. Наумов и я. Наумов, улучив минуту, предложил помочь ему в псевдотелепатическом эксперименте — подталкивать его в нужные моменты ногой. Я согласился. Во время демонстрации фокуса Кажинский пытался обнаружить обман, но нам удалось надуть его. Он серьезно поверил в то, что это телепатия. Мне было очень стыдно перед ним, но выхода из создавшегося ложного положения я не нашел.

Интерес к Кажинскому сразу пропал. Я пришел к

принципу, которого всегда придерживался впоследствии в парапсихологии: «парапсихолог обязан в экспериментах заранее предполагать обман либо самообман и ставить эксперимент так, чтобы обман стал невозможен. Парапсихолог не имеет права верить на честное слово».

В эту же поездку я познакомился с одним из лучших фантастов Советского Союза — палеонтологом Ефремовым. Художественно его произведения очень слабы, зато фантазия казалась действительно научной. Как и Циолковский, Ефремов в своей фантастике пытается рассматривать те или иные научные гипотезы, развивая их за пределы научно установленного, оставаясь всегда на почве основных научных принципов сегодняшнего дня. В «Туманности Андромеды» Ефремов изобразил коммунистическое общество, изобразил столь ярко, как никто другой до него. Я спросил его о некоторых идеях, которые затронуты в романе вскользь. Особенно меня интересовала «третья сигнальная система». Как я понял его, этим термином он обозначил сближение чувственного и разумного начала в психике человека будущего (телепатия входит в это понятие как особый элемент).

Затем мы обсудили проблему достижения физического бессмертия научным путем. Ефремов отрицал такую возможность, я пытался доказать обратное. Сошлись мы только на бессмертии человечества и на том, что утверждение Энгельса о неизбежности смерти человечества недиалектично.

Ефремов рассказал, что интересы в фантастике у него сместились. В центре его внимания — ближайшие перспективы развития общества, в частности, высоко развитые антигуманные общества (он написал впоследствии роман «Час быка» на эту тему), и психология человека, ее неизученные области — психология прекрасного, парапсихология и т.д. (на эту тему он написал роман «Лезвие бритвы» — самый плохой художественно и лишь в отдельных местах интересный научно).

Ездил я также в Ленинград к парапсихологу профессору Васильеву. Васильев рассказал об очень интерес-

ных опытах, которые он проводил до войны. Рассказывал и о разгроме советских парапсихологов при Сталине. Я задал ему вопрос о телепатических экспериментах на американской подводной лодке «Наутилус», о которых писала советская пресса. Васильев сказал, что у него есть достоверные сведения о том, что сообщения об этих экспериментах выдумали западные журналисты, но он считает целесообразным сослаться на эти сообщения, чтобы заинтересовать государство телепатией (если советские власти узнают о том, что американские военные занялись телепатией, то обязательно организуют телепатические лаборатории. И в самом деле впоследствии было создано несколько засекреченных и полузасекреченных лабораторий).

В конце 1961 года я получил письмо от чехословацкого парапсихолога Милана Ризла. Ризл сообщал, что приедет в Киев на 3 дня и хотел бы сделать доклад о парапсихологии, а также обменяться мнениями о различных ее аспектах.

Я в разговоре с секретарем комсомольского бюро курса упомянул об этом. Он встревожился и предложил поговорить с партийным организатором факультета, чтобы подумать, как принять чеха. Парторг растерялся — все-таки иностранец — и позвонил в райком партии. Те, видимо, тоже не знали, что сказать, и позвонили в КГБ. Ну, а эти уж точно все знали. Меня вызвали в ректорат университета, где через полчаса я встретился с кагэбистом Юрием Павловичем Никифоровым. Тот расспросил меня о переписке с Ризлом, а затем объяснил, что хотя Чехословакия — социалистическая страна, но все же Ризл — иностранец, а значит, может оказаться темной личностью. Он предложил все три дня звонить ему, Никифорову, по телефону и сообщать, где мы находимся, а также рассказывать о разговорах, которые ведет Ризл.

Сообщать о разговорах я, конечно, не собирался, но звонить, увы, согласился (моральные мои принципы тогда были все еще «социалистическими»). Никифоров попросил также, чтоб я не отходил от Ризла ни на шаг.

Первой фразой Милана Ризла было: «Я здесь только три дня и хотел бы, чтоб мы были все время вместе». Я про себя рассмеялся — желания КГБ, мое и Ризла совпали. Ризл оказался очень симпатичным человеком, бесконечно влюбленным в парапсихологию. Его не интересовала ни политика, ни литература. Не он, а я заводил разговоры на политические темы, но он к ним оказался глух. Беседы с ним были так интересны, что три дня пролетели очень быстро.

Мы бродили по Киеву, говорили о парапсихологии, смотрели архитектуру города. Совершенно случайно я заметил, что мы постоянно наталкиваемся на одно и то же лицо. Я догадался. Это был первый в моей жизни шпик.

Я позванивал Никифорову регулярно.

На вокзале, когда я провожал Ризла, я опять увидел все то же лицо шпики. Это немного будоражило нервы, было интересно (как в детективах!).

На следующий день я встретился с Никифоровым. Он выслушал мой рассказ о Ризле (парапсихолог, говорит только о парапсихологии и т.д.) и спросил, не заметил я что-либо подозрительное у Ризла. И тут мне захотелось поиздеваться над этим болваном. Я сказал, что какой-то человек все время следовал за нами, и высказал подозрение, что это английский либо американский шпион. Никифоров сказал, что это мне, видимо, показалось. Он предложил мне написать докладную записку о парапсихологии для КГБ. Я согласился. В конце беседы он спросил, не знаю ли я такого-то студента. Я догадался, что он хочет меня завербовать в секретные сотрудники, и подчеркнуто твердо заявил, что не знаю. Он спросил о другом студенте. Я ответил то же. Он догадался, и разговор окончился.

Докладную записку я написал. В ней я пытался объективно описать положение дел в парапсихологии, отрицательно отозвался о ясновидении, телекинезе и т.д. Особый упор сделал на возможном военном применении телепатии. К этому времени я понимал, что мы

живем в плохом обществе, но считал, что существует опасность войны со стороны империалистических государств и что поэтому нужно делать все для укрепления военной мощи государства. Сейчас я с радостью думаю, что все мои идеи в плане военного применения телепатии нереальны. В «Заповеднике имени Берия» Валентина Мороза рассказано, как капитан Круть высказал мечту о том, чтобы научиться читать мысли политзаключенных. Слава Богу, телепатия им в этом не поможет.

Несколько лет после нашей встречи мы с Ризлом переписывались. Он присылал свои статьи. За разработку метода тренажа телепатических способностей он был награжден международной премией по парапсихологии.

Кажется, в 1966 г. московские парапсихологи мне сообщили, что Ризл бежал в США. К тому времени он заведовал лабораторией парапсихологии в Праге. Но, конечно, ему не давали средств для работы, вмешивались в дела лаборатории. А он настолько влюблен в парапсихологию, что не обращает внимания на существующий строй, идеологию и т.д. Он хотел только с полной отдачей работать в парапсихологии. На рождество я получил от него поздравительную открытку из Дюкского университета. Я тогда уже занялся распространением художественного и политического самиздата и не хотел привлекать внимание органов госбезопасности к себе. Поэтому я не ответил ему, так же как не отвечал на письма американских и индусских парапсихологов. Если бы эти письма пришли после 1968 года, я бы ответил на них, т.к. уже выступал в самиздате открыто.

На 5-м курсе мы изучали политэкономия социализма и исторический материализм.

Политэкономия социализма поразила меня своей ненаучностью — слова, слова, слова. Ни статистики, ни каких-либо глубоких постулатов, ни принципиальных,

обоснованных логически законов. На семинарах мы фрондировали еще больше.

В это время мы изучали (в который раз уже!) «Государство и революцию». Обычно дают задание законспектировать ту или иную главу. И какой же студент прочитает больше заданного? На младших курсах я читал Ленина без удовольствия. Меня раздражали постоянные повторы, отступления, обилие партийных дразг, внимание к мелочам и т.д. Но на 4-5 курсе я полюбил стиль Ленина. Настойчивое повторение одной и той же мысли является способом всестороннего ее рассмотрения и диалектического развития. Известный украинский критик, ныне политзаключенный, Евгений Сверстюк уподоблял этот способ изложения мысли Ленина спирали, которая ввинчивается в мозг слушателя или читателя. Ленину удавалось таким способом доносить до массового читателя очень сложные идеи. У Сталина и еще более у Мао Цзе-дуна этот метод изложения сменился простейшими силлогизмами, которые за счет бесчисленных повторов вдалбливаются в головы людей, как формулы гипнотизера. Ленин, а еще более Маркс, показывают, какая глубокая связь существует между мыслью и формой ее изложения. Когда я впоследствии познакомился с «Философско-экономическими рукописями 1844 г.» Маркса, то был поражен художественной глубиной формул Маркса. Красота стиля Маркса принципиально отлична от притчевого стиля Христа и Ницше. У Маркса — диалектический стиль, в котором тонкая игра слов, подвижность слова, его многозначность отражает диалектическую подвижность мысли, ее многогранность, что в свою очередь отражает диалектику природы и общества. Например, формула «религия — опиум для народа» в советской атеистической пропаганде расшифровывается только как наркотическая, одурманивающая функция религии. И этот смысл действительно есть в этой формуле. Поразительно, что Лев Толстой также пришел к этому выводу в применении к церковной религии (Толстой говорил о

хлороформе). Но ведь опиум является также и обезболивающим средством. И в самом деле Маркс, развивая свою мысль, говорит о том, что религия есть «сердце бессердечного мира». Последняя мысль не находит никакого развития в советской официальной идеологии.

Когда я прочитал «Государство и революцию» несколько раз, то более всего меня поразило требование платить любому чиновнику не выше средней заработной платы рабочего. Тогда я не оценил всей важности этого требования для социалистического государства, но само требование настолько резко расходилось с практикой советского государства, что на семинарах по политэкономии я постоянно ставил этот вопрос. Преподаватель постоянно уклонялся от дискуссии на эту тему. Единственным аргументом с его стороны был совет не считать все мысли Ленина абсолютной истиной (Ленин-де тоже мог ошибаться).

Такой аргумент был совершенно верным, но я настаивал на требовании Ленина как требовании справедливым (тогда я не понял политического значения этого требования, хотя у Ленина это изложено достаточно ясно и просто).

Изложение исторического материализма было на еще более низком уровне, чем политэкономия социализма. Я посетил несколько лекций и семинаров и перестал ходить на них. Преподаватель как-то поймал меня в коридоре и спросил, почему я не посещаю его лекций. Я ответил, что исторический материализм для меня настолько важный предмет, что я не могу мириться с профанацией его. На экзаменах он поставил мне и еще одному студенту «неудовлетворительно». Я ответил ему на все вопросы билета и на дополнительные вопросы. Споткнулся на вопросе о государствах «национальной демократии». Тезисы Совещания рабочих и коммунистических партий по этому вопросу я читал, но определение пропустил. Отвечал я, исходя из названия и, как потом убедился, в целом правильно. Когда он поставил

2, я спросил его: «За что?» — «Надо было посещать лекции и семинары».

Другому студенту была поставлена неудовлетворительная оценка за «сомнительное» выступление на семинаре. Этот студент происходил из крестьянской семьи, имел очень ограниченный объем знаний по гуманитарным наукам, но зато обладал самобытным мышлением. Он задал преподавателю вопрос, очень неясно сформулированный. Преподаватель не понял. Выступил я и объяснил, что этот студент спрашивает о материалистическом решении проблемы смысла жизни. Преподаватель заявил, что весь курс исторического материализма посвящен ответу на этот вопрос. Студент настаивал на более определенном ответе. Преподаватель ответил, что смысл жизни человека в построении коммунизма. Студент указал на неполноту ответа, так как неясно, каков же смысл жизни при коммунизме. Дальнейший ход спора стал совершенно пустым, так как обе стороны все более удалялись от основного вопроса. Студент этот позволил несколько замечаний, изобличивших алогизм преподавателя (несмотря на свою общую неграмотность, студент был все же математиком, и не плохим, и поэтому смог тонко проанализировать логические просчеты преподавателя).

Пришлось пересдавать экзамены. На повторном экзамене были заданы те же вопросы и отвечали мы так же. Обоим было выставлено «хорошо». Стипендии мы оба лишились. Для меня это было ударом: жена получала 60 рублей, из которых 30 шло на оплату комнаты, снимаемой в частном доме. Для него стипендия была единственным средством к жизни. Мы оба убедились в значении материи для понимания истинности духа марксизма.

На 5-м курсе я прочитал несколько докладов по телепатии в разных институтах, в том числе в Институте кибернетики АН УССР. Это дало мне возможность познакомиться со многими учеными, в частности, с академиком Глушковым, профессором Амосовым, физио-

логом Ивановым-Муромским. Большинство знакомых мне сотрудников Института положительно относились к парапсихологии и йоге.

С некоторыми сотрудниками Амосова я сблизился.

Вспоминается забавный эпизод.

В начале шестидесятых годов стала возрождаться советская генетика (благодаря мощной поддержке физиков). Появились первые статьи, критикующие теорию Хрущева. Один из лысенковцев послал письмо в кибернетический журнал с протестом против поддержки антипартийных течений в биологии, т.е. против генетиков. Журнал разослал письмо 30-ти крупнейшим ученым страны с просьбой ответить на него. Амосов, получивший это письмо, поручил ответить своему сотруднику, биофизику. Мы вместе составляли ответ и хохотали над собственными остротами по поводу мистического материализма лысенковцев.

Через несколько лет Амосов поручил этому же сотруднику написать критические замечания о статье самого Амосова. Тот пригласил меня помочь ему в математической и философской части критики. Когда мы принялись за изучение статьи, мы были поражены вопиющей неграмотностью этой статьи. В каждой фразе была какая-либо ошибка — грамматическая, биологическая, математическая, физическая или же философская. Но самое удивительное было в том, что в целом статья содержала интересные и разумные идеи. Мы называли статью Амосова «надежной системой из ненадежных элементов» (название работы одного американского кибернетика).

На V-м курсе встал вопрос о дипломной работе. Я был знаком с математиками Института физиологии. Они предложили мне тему «Математические методы диагноза психических заболеваний». Заместитель заведующего Лабораторией математического моделирования предложил такую идею. Я в дипломной работе разработаю математическую модель образования понятий. Затем мы вместе создадим кибернетическую машину, создающую

понятия. Затем он станет разрушать те или иные звенья машины, чтобы изучить причины тех или иных ошибок в понятиях. Это и будет модель «психически ненормального образования понятий». Сравнив машинные заболевания с реальными, удастся найти механизм психических болезней. Я тогда почти ничего не понимал в кибернетике, но был поражен фантастичностью замысла. Ведь для того чтобы создать достаточно серьезную модель образования понятий, нужен многолетний труд целого института.

Но тема меня заинтересовала, и мы, трое математиков, отправились в психбольницу им. Павлова, чтобы своими глазами посмотреть, как ставится диагноз заболевания.

Нас встретил профессор Фрумкин, человек умный и честный. Он с несколькими врачами предложил нам присутствовать на заседании комиссии, устанавливающей диагноз.

Вначале нам рассказали историю болезни. Больная, врач-гинеколог, много лет работала в этой же больнице. Больные женщины год назад стали на нее жаловаться. Они говорили, что она с ними ведет себя цинично, делает грязные сексуальные предложения и т.д. На эти жалобы не обратили внимания, считая их проявлением бреда.

Но когда число жалоб возросло, их проверили и выяснили еще более мрачную картину, чем была обрисована в жалобах. У больной, помимо сексуальной патологии, — мания преследования. Она говорит, что ее соседи — английские шпионы, которые по заданию английских империалистов подбрасывают ей в квартиру синих клопов с длинными хвостами.

Вообще это очень интересная тема — сюжет бреда больных. Мне казалось еще до попадания в психтюрьму, что бред больных в среднем отражает общественное сознание и подсознание. Так, в средние века основным содержанием бреда были происки дьявола, договоры с дьяволом и т.д. А у нас в стране, в наше время — происки империалистов, сионистов, врагов народа, телепа-

тия, радиовнушение и прочее. Когда я попал в Днепропетровск, то воочию убедился в этом. Есть, конечно, и бред, общий для всех стран и времен — главным образом, всевозможные сексуальные извращения.

После ознакомления с историей болезни привели больную. Изможденное лицо, испуг, растерянность.

Попросили ее объяснить, почему она находится в больнице. Она, жалко улыбаясь, стала рассказывать. Она работала в этой больнице, затем здоровье ее ухудшилось, и коллеги решили, чтоб она отдохнула. Даже нам, математикам, было видно желание уйти от вопроса, спрятать от себя и других горький для нее факт психического заболевания (у нас в стране отношение к психически больным со стороны обывателя презрительное, и поэтому заболевшим психически трудно примириться с тем, что они попали в самую презренную категорию людей — хуже убийц, растлителей детей и т.д.).

На прямой вопрос врача, почему ее поместили именно в психбольницу, она ответила, что в санаторий трудно попасть, а коллеги были столь добры, что помогли устроиться в «Павловку» (так называют больницу киевляне). Врач попросил больную рассказать нам о ее соседях. Она дала краткий, очень благоприятный для соседей, отзыв. Мы переглянулись (лишь в психушке я понял, что больные часто интуитивно чувствуют, чего нельзя говорить врачам, чтобы не дать фактов для диагноза).

Фрумкин попросил ее объяснить поговорку «за деревьями леса не видно». Она, не задумываясь, объяснила, что если слишком близко подойти к дереву, то оно заслонит все остальные деревья. Впоследствии я узнал, что такое объяснение свидетельствует о «конкретности мышления». Но и без того было видно, что это симптом заболевания.

Следующий вопрос: «Разгадайте загадку — угольный мешок, но белый». Мы опять переглянулись: никто из нас не мог разгадать это. Естественно, больная также ответила, что не знает.

Оказалось, что это мешок из-под муки! Нац. шеф,

заведующий лабораторией моделирования, высказал шепотом подозрение, что сами психиатры несколько ненормальны. (В психушке эта мысль мне часто приходила на ум.)

Больную попросили вычесть из 81 тринадцать. Пока мы подсчитывали в уме, она ответила. Правильно. Затем опять из результата нужно было отнять 13. Ответ снова верный и опять быстрее математиков. В третий раз отнимать она отказалась, так как ей надоело (как оказалось, каждый из нас также решил, что с него довольно).

Больную увели.

Началась дискуссия врачей. Профессор Фрумкин сказал, что это типичная шизофрения, и указал на соответствующие признаки. Я где-то в популярном журнале читал о шизофрении, и поэтому понял, что диагноз слишком расплывчат, т.к. видов шизофрении очень много. Сказать «шизофрения» — явно недостаточно для последующего назначения метода лечения.

Следующий врач опроверг Фрумкина и доказал, что перед нами типичный случай МДП (маниакально-депрессивного процесса).

Третий врач доказывал, что это ПП (прогрессивный паралич).

Фрумкин подытожил: «Вот видите, в каком положении современная психиатрия». Мы понимали, что выбран был особо сложный случай, что врачи несколько сгустили краски, чтобы сагитировать математиков заняться психиатрией. Но все же впечатление от экспертизы было тяжелое.

Мог ли я думать тогда, что попаду сам в руки психиатров, причем более невежественных и недобросовестных, врачей-преступников?

Государственные экзамены в университете закончились. Меня направили на работу учителем в среднюю школу, преподавать математику. Мне вовсе не хотелось возвращаться в школу, и я начал искать работу в научно-исследовательских институтах. Тут мне повезло.

Я был знаком с начальником Лаборатории применения математических и технических методов в биологии и медицине, кандидатом технических наук Антомоновым. Антомонов увлекался йогой, мы познакомились на одном из моих докладов по телепатии. Узнав, что я ищу работу, он предложил поступить к нему, обещая большую свободу в выборе тематики моей работы, а также поддержку в организации исследований по телепатии (во внеурочное время).

Во время беседы о моем трудоустройстве я заметил, что он почему-то колеблется. Я догадался и прямо спросил его, не в пятом ли пункте дело. Он, смущаясь, подтвердил мою догадку. Я заверил его, что у меня ни капли еврейской крови. Мы пошутили над антисемитизмом администрации и на этом закончили беседу.

Когда я уже работал в лаборатории, то часто сталкивался с подобными случаями. Приходит устраиваться на работу человек с еврейским лицом. Начальник, человек достаточно либеральный, не решается заглянуть в паспорт и потому предлагает прийти ему через неделю. После ухода расово сомнительного все присутствовавшие пытаются определить — еврей или нет. Если решают, что еврей, то через неделю ему сообщают, что мест в лаборатории нет.

Я высказывал возмущение этой практикой, но большинство считало, что хоть это и непорядочно, но нужно мириться с указаниями начальства.

Работа в лаборатории оказалась для меня неинтересной. Мы занимались математической обработкой данных по балансу сахара крови в организме, биопотенциалами в «китайских точках» (точки, в которые вставляют иглы при чженьцзютерапии), распознаванием речи с помощью специальных приборов (как я прочел впоследствии в «Круге первом» Солженицына, эта работа велась еще в сталинских тюремных научно-исследовательских лабораториях и велась на более высоком научном уровне и с большим успехом без всякой кибернетики).

Чем ближе я знакомился с этими темами, тем больше было разочарований. Я убедился в ограниченности возможностей применения математического аппарата в биологии и психологии. Мы составляем, например, дифференциальные уравнения изменения уровня сахара в крови. Но, не говоря уж о грубости оценок уровня сахара в крови, сами уравнения выбираются эмпирически, опираясь на примитивные биологические идеи (более сложные идеи не поддавались математической обработке). И хотя в своих статьях мы писали о возможности поставить лечение диабета на математическую базу, я видел, что это несерьезно. Столь же невелико теоретическое значение этих работ. Я тогда впервые понял ленинский термин «математический идеализм» — исчезновение сущности вещей, материи за формулами. Вначале необходимо разобраться в явлении в содержательном плане, а затем лишь формализовать полученные данные. Так развивалась физика, и таким должно быть нормальное развитие любой науки. В кибернетике же нередко делают наоборот: достаточно произвольно создают формулы, а затем пытаются подогнать под эти формулы экспериментальные данные. Когда впоследствии я познакомился с экономическими кибернетиками, то узнал от них, что в экономике дело обстоит, пожалуй, еще хуже. (Большинство прочитанных мною в переводе работ западных кибернетиков в области биологии и психологии мало чем отличаются от советских работ.)

Первый год работы в институте был годом XXII съезда КПСС. На этом съезде говорили о сталинизме открыто. Мы впервые узнали многие факты из трагической истории Октябрьской революции. Многим, наконец, стало ясно, что Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Каменев и другие ближайшие соратники Ленина были оклеветаны (до сих пор в официальной историографии есть совершенно абсурдное противоречие. С одной стороны, Ленин — гений, непримиримый к врагам, с другой стороны, почти все его соратники — антикоммунисты, ревизионисты, оппортунисты и прочее).

Разоблачение банды Молотова, или, как ее мягко называли, «антипартийной группы», было отрядным явлением, но то, что с ними расправились втихую, не дав возможности отстаивать в печати свои взгляды, показало, что методы борьбы внутри партии остались во многом прежними. Я вспоминаю, как еще в Одессе мы узнали об «антипартийной группе». За что их выгнали со всех постов, было неясно, но из чувства противоречия мы с товарищем встали на сторону этой группы. Более того, мы впервые, пойдя на выборы, решили вычеркнуть из бюллетеней фамилии неизвестных нам кандидатов и поставить фамилию Молотова. Через некоторое время мы спросили у нашей знакомой, принимавшей участие в проверке и регистрации бюллетеней, не было ли каких-либо происшествий на выборах. «Нет, — отвечала она, — за выдвинутых кандидатов голосовали единогласно».

Через месяц один знакомый историк подробно рассказал нам о деятельности Молотова в сталинские времена. Мы поняли, что всякое участие в выборах глупо (нужно знать, за кого голосуешь, нужно иметь возможность организовать голосование за своего кандидата, а такая организация будет расценена как антисоветская, нужно иметь возможность контролировать регистрацию голосов и много других «нужно»). С тех пор я никогда не ходил голосовать ни за, ни против «блока коммунистов и беспартийных».

Возмутило нас в XXII съезде также то, что говорили главным образом о гибели «выдающихся деятелей партии и государства», а не о гибели миллионов ни в чем не повинных «простых» людей.

Совершенно не марксистской казалась концепция «культ личности». Нельзя объяснять сталиниаду только личными качествами вождя и «объективными» причинами — необходимостью борьбы с оппозицией, изоляцией страны и т. д.

Очевидно было, что это не просто культ, а возрождение самодержавия на новой классовой и экономической

основе. Необходимо было искать классовые корни *перерождения* революции, а не фиксировать отдельные искривления в руководстве партией и народом. Необходимо было выработать гарантии соблюдения Конституции и принципы новой Конституции.

Было объявлено, что в СССР уже не диктатура пролетариата, а общенародное государство. С позиций классического марксизма это — нонсенс, и следовало дать марксистский анализ такого принципиально нового, неожиданного для марксистской теории понятия. Ведь государство — «машина в руках одного класса для подавления других классов». Общенародное государство — это круглый квадрат.

Незаконченность, половинчатость критики Сталина показывала, что во многом КПСС будет идти по проторенному Сталиным пути. Так оно и оказалось. Более того, уже при Хрущеве, буквально через год, начался отход назад, к Сталину.

К этому времени все больше появлялось в официальной литературе критических статей о временах Сталина. Большое впечатление произвела книга Эренбурга «Люди, годы, жизнь», в которой было подробно рассказано об уничтожении деятелей культуры, партии, советского аппарата. Смущал несколько поверхностный анализ событий, хотя и было ясно, что Эренбург не имел возможности честно проанализировать прошлое.

Интеллигентские круги обошел рассказ о том, что и сам Эренбург несет моральную ответственность за репрессии против деятелей еврейской культуры в период антисемитского погрома 1947-1952 гг. Рассказывали, что после статьи Эренбурга о необходимости для евреев ассимилироваться он стал получать массу писем протеста. Все авторы писем были посажены. Я пытался выяснить, насколько эти обвинения справедливы, и в конце концов пришел к выводу, что сам Эренбург не передавал этих писем в НКВД, а их перехватывали и прочитывали на почте. Индивидуальная же трусость самого Эренбурга в тот период была общим явлением

и не может быть строго осуждена (хотя в то время я жестко относился к трусам).

Появились первые самиздатские политические или полуполитические вещи. Первой я прочел речь Паустовского в защиту Дудинцева. «Не хлебом единым» Дудинцева была первой книгой о нашем времени, которую я прочел. Мы с другом буквально выхватывали ее из рук друг у друга. Книга не обладала высокими художественными достоинствами, но нас тогда интересовала только правда, правда факта.

И как же мы были ошеломлены, когда на Дудинцева обрушилась хрущевская пресса. Это был еще один удар по вере в возвращение на демократический путь.

Вторым произведением политического самиздата было «Открытое письмо Сталину» Федора Раскольниковова. Там говорилось как о том, что мы уже знали, так и о том, о чем молчала официальная печать (искусственный голод в 33-м году, нежелание помочь испанским республиканцам после поражения революции в Испании и т. д.). Часть этого письма была опубликована впоследствии в газете «Известия».

*

Точка зрения Раскольниковова на голод 33-го года как на искусственно созданный поразила меня. Я начал искать тех, кто видел этот голод.

Мой дед рассказал мне, что в те времена он был дорожным рабочим и видел в одном из сел самой богатой области Украины гору умерших от голода. Когда рабочие спросили об умерших своего начальника, латышского стрелка времен гражданской войны, тот хладнокровно сказал: «Это кулацкая демонстрация».

Знакомый, проводивший в те времена коллективизацию в Сибири, приехал в 33-м году на Украину. Родное село его было почти вымершим. Он зашел к себе в хату. Пусто. Позвал: «Есть ли кто дома?» С печи спустился младший брат, который рассказал, что едят они сейчас кору деревьев, траву, лебеду и ловят диких

кроликов. Мой знакомый спросил брата: «А что же вы будете есть, когда кроликов больше не станет?» — «А мама сказала, что если она умрет, чтобы мы ели ее». Этот же знакомый рассказал мне о нескольких случаях людоедства, с которым он столкнулся в те времена. Его рассказы настолько ужасны, что у меня нет сил пересказывать их.

Я спросил его о причинах голода.

Во-первых, голод начался еще в 1931 году. И начался он тогда по двум причинам. Середняки и кулаки не хотели идти в колхоз. Стали проводить изо дня в день собрания, на которые насильно сгоняли крестьян. На этих собраниях ставили вопрос так: «Кто против колхоза, тот против советской власти. Проголосуем. Кто против колхоза?» Смелчаков почти не оказывалось. В колхозы пошли 90-100% (это частично показано в «Поднятой целине» Шолохова). Зная о том, что им придется сдавать в колхоз лошадей и коров, крестьяне стали резать животных. Лошадей многие жалели и потому просто отпускали в поле. По всей Украине бегали одичавшие голодные лошади. В ответ на эти действия крестьян власти усилили экономический и полицейский нажим. Помимо общего государственного налога ввели дополнительный, который назначался сельсоветами. Председатель сельсовета нередко облагал налогами своих личных врагов, невзирая на степень их зажиточности. Если крестьянин не сдавал зерно по этому налогу, к нему приходили активисты и производили обыск. Так как активисты были односельчанами облагаемого налогом, то им нетрудно было найти запрятанное зерно. Если зерно находили, то специальными палками разрушали трубу на хате — в знак того, что здесь живет кулак или подкулачник, саботирующий мероприятия советской власти. Налог могли наложить на того же человека во второй или третий раз — пока у него не исчезнет весь хлеб.

Собранный хлеб хранился в специальных зернохранилищах. Много хлеба при этом погнило. Зернохрани-

лица охранялись войсками. Если голодные люди пытались проникнуть в эти хранилища, по ним стреляли.

Много хлеба экспортировали за границу. Знаменитый командир Якир поехал в Москву с требованиями раздать хлеб голодающим. Сталин заявил ему, что не дело военных вмешиваться в политику. Мне об этом рассказывала жена Ионы Якира Сара Лазаревна.

В 1933 г. ко всем этим причинам добавилась засуха, неурожай.

Голодные люди бросились в города или в другие республики. На границах Украины стояли войска и не пропускали голодающих. В городах хлеб выдавали по карточкам, так что горожане не могли помочь голодающим крестьянам. Многие горожане сочувствовали крестьянам, но часть злорадно напоминала гражданскую войну, когда голодали горожане, а крестьяне либо вовсе не давали хлеба, либо меняли его на самые ценные вещи.

Когда начался голод, многие украинские писатели разъезжали по селам, чтобы описывать цветущую жизнь крестьян в колхозах. Многие из них, увидав действительность, стали переходить в ряды оппозиций. Другие же настолько перепугались, что именно в эти годы стали яростными попутчиками, а затем и активными «строителями социализма».

Писать о голоде в то время было нельзя. Если кто-то писал о голоде в письмах в другие республики, то нередко попадал в тюрьму за антисоветскую пропаганду. Посылки на Украину часто возвращались назад.

Никому точно не известно, сколько умерло от этого голода людей. Одни — партийные люди — называют цифру 5-6 миллионов (т.е. столько же, сколько евреев уничтожили гитлеровцы), другие — украинские националисты — говорят о 10-ти миллионах. Истина, видимо, где-то посередине.

Сведения о голоде, которые я собрал в 62-63 годах, были настолько ошеломляющими, что перед ними побледнело уничтожение почти всей партии большевиков, руководителей советской власти, профсоюзов и армии

ленинского периода. Кажется, в начале 60-х годов появилась циничная поговорка: «За что боролись, на то и напоролись». И в самом деле, ошибки ленинского периода выросли в преступления сталинского и послесталинского периода. У уничтоженных большевиков была все же некоторая вина перед народом. Но за что гибли миллионы ни в чем не повинных простых людей? Миллионы от голода, миллионы на войне, миллионы в лагерях и тюрьмах. МИЛЛИОНЫ. Гибель одного человека ужасна. В морали неверно неравенство $1\ 000\ 000 > 1$, но все же миллионы загубленных — это выходит за все границы ужаса. И об этом должны помнить левые на Западе, в капиталистическом мире. Они должны думать о тех средствах, которыми они собираются строить «светлое будущее» (или «хрустальный дворец» по Достоевскому).

*

Но возвращаюсь к 62-му году.

Льва Толстого я в те времена не любил: зубрежка в школе, сочинения о положительных и отрицательных героях — все это отталкивает большинство учеников от писателей, которые изучаются в школе. Тургенев, например, я полюбил случайно. Мне попалась книга без первых страниц. В ней была «Песнь торжествующей любви» и «Стихотворения в прозе». Я не знал, что это Тургенев, и был в восторге от прочитанного. Когда же узнал, что это Тургенев, было поздно — я полюбил его. Но «Записки охотника» до сих пор не могу читать — сразу всплывают формулировки из учебника и прочая псевдорационалистическая шелуха.

Как-то мне попалась «Исповедь» Толстого. Она поразила меня беспощадной критикой современной науки, искусства, церкви, промышленности, а также четкой постановкой проблемы смысла жизни. Я стал искать его другие философские произведения. Восхищение перед Толстым-философом возросло. Встал вопрос, почему же Ленин, восхищавшийся его художественными произве-

дениями, так пренебрежительно отозвался о нем как о философе. Перечитал статьи Ленина о Толстом. Они показались мне неубедительными (кажутся неубедительными и сейчас, когда к Толстому-философу я отношусь уже отнюдь не восторженно). Очень близким было стремление Толстого к системе, к точности определений, к сознанию этики, построенной на принципах разума, отвращение к мистике.

Как мне кажется, многое, сказанное Толстым, должно войти в сокровищницу человеческой мысли. Сюда я отношу, например, учение о грехе, о похотях, соблазнах, гипотезу о «заражении» в искусстве, постановку проблемы смысла жизни, некоторые педагогические идеи.

Увлечение Толстым длилось года три.

На непотворение злу насилем вначале я вовсе не обратил внимания. Но потом стал изучать этот вопрос и убедился, что Толстой по сути так и не ответил на основные возражения противников. В быту этот принцип имеет некоторый смысл, если зло обращено по отношению ко мне лично. Но что делать, если я вижу, как некто бьет женщину? Уговаривать? Он посылает меня матом. Я продолжаю уговаривать. Он бьет меня и продолжает бить ее. Милиции поблизости нет (да и не совсем хорошо ее призывать на помощь: она применит насилие более мощное, чем если бы я побил его. К тому же: «не судите!»). Сколько раз я ни ставил этот вопрос перед толстовцами, они ничего вразумительного ответить не могли.

Гораздо ближе мне была позиция индусского философа Вивекананды, который также проповедовал непотворение злу насилем, но признавал необходимость насилия в исключительных случаях.

В самом деле, какие мирные средства возможны по отношению к фашистской Германии? Только насилие либо угроза насилем. Против фашизма нужна сила, сдерживающая его агрессивность, либо уничтожающая агрессора.

Затем меня очень поразила идеологическая нетерпи-

мость Толстого, напоминающая нетерпимость христиан средневековья, в частности, нетерпимость многих еретиков.

Очень шокировало отношение Толстого к половым отношениям. Толстой столь яростно нападал на блуд, использовал столь циничные образы в изобличении сексуальных пороков, что становилось неприятно его читать. (Впоследствии, когда я познакомился с психоанализом, я понял, что ярость и цинизм в борьбе за сексуальную чистоту есть преодоление своей собственной подсознательной глубокой порочности.) С требованием поставить разгулу сексуальных потребностей какие-то нравственные преграды я был и остаюсь согласен. Но когда Толстой начинает выступать даже против половых актов, направленных на деторождение («Крейцера соната»), это выглядит чудовищным этическим максимализмом.

И, наконец, вопрос о Боге. По сути у Толстого Бога нет. Есть только заповеди Христа, а Бог в его системе взглядов является ничем не наполненным словом. У Толстого этика, а не религия.

Тесно связана с безрелигиозностью Толстого рационалистическая тенденция его философии. По сути Толстой является одним из последних могижан Просвещения, когда верили в то, что если воспитать людей на основе разума, то все общество изменится в сторону Добра, Красоты и Разума.

Остановлюсь на эволюции моих художественных вкусов. В школе моими любимыми писателями были Николай Островский, Фадеев, Горький-романтик. Вершиной художественного творчества казалась поэма Горького «Человек», написанная ритмической прозой, близки были также его романтические «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике», легенда о Данко (последнюю я люблю и сейчас). Товарищ Сталин сказал, что «Девушка и смерть» почище «Фауста» Гёте. Раз «товарищ Сталин сказал», то так оно и было. Но «Фауста» я не читал и верил вождю на слово, а «Девушка

и смерть» показалась скучной. Разница во вкусах с «гением всех народов и времен» меня удручала, но я утешал себя тем, что дорасту до понимания глубины мысли этого произведения. «Мысли», потому что ничего другого в литературе нам не показывали. «Художественные особенности» тех или иных писателей, о которых нам рассказывали на уроках, обозначали лишь те или иные рациональные способы выражения мысли и были скучны, напоминая классификацию силлогизмов в логике. Эпитеты, метафоры, синонимы и прочее, казалось, приближались к математическим понятиям, но в них не было задачи, загадки, которую нужно разрешить. А без задачи классификация «художественных» особенностей повисала в воздухе, казалась ненужной.

В литературе я искал лишь мысль, и мысль математически ясную, «простую, как мычание». Теория социалистического реализма требует по сути того же.

На первом курсе я прочел Есенина, который совсем недавно был признан советским поэтом. Есенин пробил первую брешь в стремлении к четкой, ясной мысли в литературе. Есенинские метания, недоумения перед действительностью, тоска по истине были близки нам, тем, кто вошел в жизнь под знаком крушения веры в наше светлое общество.

Появились первые рассказы Василия Аксенова, пьесы Розова, которые более или менее верно изображали наше поколение. Меня в этих произведениях привлек только один феномен, который авторы верно изобразили, — исковерканный русский язык молодежи, насыщенный жаргонными словами. Самого меня эта болезнь почти не затронула, но большинство друзей переболело этим.

Болезнь эта объяснялась просто. Протест против лживой литературы, прессы вылился в протест против самого языка, на котором преподносилась эта ложь. Слова «любовь», «дружба», «социализм», «патриотизм» и т.д. казались насквозь фальшивыми и заменялись блатными или близкими к блатным. «Погуляем» — «прошвырнемся», «поговорим» — «потреплемся»... «Здравствуй»

передавалось словами «приветик», «хэллс»; «друг» — «корешок», «девушка» — «чувиха». Самые невинные слова также заменялись более грубыми.

За грубым выражением отношения к другу или любимой скрывалось целомудренное желание охранить свои чувства от грязи и фальши окружающей жизни.

Стали публиковать произведения Ремарка. Мы почти все с жадностью набросились на них.

«Потерянное поколение» Запада протянуло руку нам, «потерянному поколению» советскому. Отвращение к государственной морали, политике, целям и противопоставленные им элементарные человеческие стороны жизни — чистая, неханжеская, печальная любовь, дружба, товарищество, болезнь и смерть, опять же очищенные от словесной шелухи, — все это было нам так знакомо и близко.

Хемингуэй, кроме «Старика и моря», не понравился тогда. Видимо, сложен был. Полюбил я его лишь в Киевском следственном изоляторе КГБ в 1972-1973 годах.

Совершенно новым на фоне советской литературы показался Паустовский. От боевой романтики Горького я перешел к романтике лирической. Социалистический романтизм — явление более художественное, чем социалистический реализм. Законы реалистического искусства требуют адекватного отображения действительности. Реалист может лишь выделить те или иные стороны действительности, опустив другие. На романтика такие жесткие требования не налагаются. Он волен не только выбирать из действительности особо яркие явления и образы, но может внести в них сказку, легенду, должное вместо реального. Соцреалист изображает действительность одномерно, подтасовывает ее под идейный замысел. Он привносит в эту действительность то, что ей несвойственно. Одномерность и нереальность образов не только искажает действительность, но вступает в противоречие с языком и реалистическими элементами произведения. У романтика приподняты над обыденной жизнью все элементы произведения. Логика

и пропорции ненатуральны, но удовлетворяют законам правдоподобия, так как все элементы согласованы между собой по особым правилам, правилам романтического искусства. Согласование с реальностью присутствует, но согласование не со всей жизнью, а лишь с романтическими гранями, явлениями в жизни. Соцреалистам удастся написать более или менее художественное произведение, когда они изображают героическую действительность («Как закалялась сталь» Н. Островского, «Молодая гвардия» А. Фадеева). Но в этом случае они по сути становятся на позиции романтизма. Не случайно Ленину первое произведение соцреализма — «Мать» — не понравилось. Ленин упрекал Горького в идеализации интеллигенции. Следовало бы добавить — и рабочих.

После Паустовского пришел черёд Александра Грина. Стали более ясны достоинства и недостатки Паустовского. У Паустовского романтика книжная. Удалось ему лишь несколько рассказов («Корзина с еловыми шишками») и отдельные куски повестей (например, легенда в «Золотой розе»). В других произведениях все то же негармоничное сочетание элементов реальности с «выдумкой». Сущность художественного метода Грина ясно изложена в «Алых парусах». У героя возникает мечта, он ждет воплощения этой мечты-сказки в жизнь, ищет в жизни эту сказку или же создает эту сказку. «Корзина с еловыми шишками» Паустовского — одно из немногих произведений автора, в которых он приближается к Грину благодаря воплощению в рассказе именно этого принципа.

Тематика у Грина та же, что и у Ремарка: простые человеческие чувства и отношения — основа жизни. Оба они отталкиваются от того, что стоит над человеком, — идеология, государство, Бог.

Грин долго оставался кумиром советской молодежи. Во многих городах создавались клубы «Алые паруса». Любовь к Грину для большинства молодежи означала первый, сознательный или бессознательный, протест

против лжи «взрослых». Грин — это детство, чудом перенесенное в жизнь взрослых.

Один из друзей подарил мне книжечку «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Это произведение осталось на всю жизнь самым близким. Я перечитывал его десятки раз и каждый раз видел новую мысль, новое в восприятии жизни. До сих пор остаются неясными некоторые места. Я, например, воспринимаю грустную красоту ухода Маленького принца на свою планету, но перевести эту красоту на язык мысли не могу. А может быть и не нужно это делать...

Особенно глубокой мне казалась и кажется сцена приручения Лиса Маленьким принцем. За столь примитивным понятием, как «приручение», скрывается глубочайшая мысль о психологии таких тонких человеческих отношений, как любовь и дружба.

Второй идеей «Маленького принца», оказавшей влияние на мои взгляды, было: «главное — невесомо». Я понял это как утверждение того, что нужно уважительно относиться к бесконечности во вселенной и к потенциальной бесконечности духовной жизни человека. Это не означает отказа от создания рационалистических схем, моделей этой бесконечности. Но мы должны быть скромными и понимать, что любые наши модели являются лишь грубыми обрубками действительности, приближением к истине, но не самой истиной. Сталкиваясь с технической интеллигенцией, я видел, что огромные достижения точных наук породили гордыню у технических специалистов: нашим формулам и нашим машинам все доступно; долой всякую идеологию; мы решим все мировые проблемы с помощью математических и технических наук. И в самом деле, если человечество не погубит само себя, оно должно будет поставить свое дальнейшее развитие на какую-то рациональную научную базу. Но при этом должна сохраниться и, более того, возрасти роль таких «иррациональных вещей», как мораль и эстетика. Маркс писал, что в будущем должна развиваться натуралисти-

ческая наука о человеке и человеческая наука о природе и что обе эти науки должны слиться в единую науку.

Размышления над образами Экзюпери шли параллельно размышлениям над Библией. Л. Толстой заставил меня прочесть Евангелие, притчи индусских йогов подготовили почву для принятия евангельских притч. Я пришел к выводу, что соцреализм неправомочен, в частности, потому, что художественная литература по своей природе притчевая. Каждый образ имеет множество интерпретаций. Надолго в истории человечества остаются лишь те художественные образы, которые несут в себе множество смыслов. Каждое новое поколение находит в таком образе то, что близко ему (и может даже найти такой смысл, о котором сам автор не подозревал).

Помимо глубины притч Иисуса, привлекли внимание противоречия Ветхого Завета (эта часть Библии недоступна мне и по сей день, кроме Екклесиаста и книг пророков) и Нового Завета. Официальная атеистическая пропаганда постоянно спекулирует на противоречиях Библии. В самом деле, в Библии есть бессодержательные противоречия, но есть ведь и глубокие диалектические противоречия, отражающие диалектику природы и общества. Меня вначале привлекла притча о хлебах, которые раздавал Христос. Противоречие с житейской практикой здесь настолько очевидно, что диву даешься: неужели наши предки, среди которых были такие глубокие мыслители, как Фома Аквинский, не видели абсурдности рассказа? Как можно было накормить несколькими хлебами тысячи людей (при этом, как известно, осталось несколько коробов остатков хлеба)? Вопиющее нарушение законов сохранения.

Я пришел к выводу, что нужно искать в природе явление, по отношению к которому несправедливы законы сохранения. И такое явление нетрудно было найти. Это информация. Если профессор читает лекцию студентам, то они приобретают новую информацию, а он ее не теряет (на самом деле я упрощаю здесь ситуа-

цию, но в целом это, кажется, верно передает парадокс информации). Остатки хлеба интерпретировать сложнее, но возможно.

Еще более интересным мне показалось другое противоречие в Евангелии.

В Евангелии от Матфея сказано:

«Не думайте, что Я пришел нарушить закон, или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить». Но в этой же главе Христос начинает нарушать закон Моисеев. Вот один из примеров:

«Вы слышали, что сказано, око за око, и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому».

Так как эти противоположные высказывания находятся в одной главе, то не мог же Матфей (или кто-либо из составителей и редакторов Евангелия) не видеть противоречия. Значит, он видел разрешение их.

Я долго бился над проблемой разрешения этого противоречия, пока не нашел для себя ответа.

Христианство возникло в момент, когда Римская империя находилась в состоянии глубокого разложения. Правственные, социальные связи между людьми все более и более разрывались, на их место встал безудержный эгоизм и связанное с ним стремление к наслаждениям ради наслаждения, стремление, ничем не сдерживаемое, которому греховный разум открывал все новые пути к удовлетворению (этот разум шел дальше — он создавал новые, самые противоестественные формы наслаждения). Загнили, разложились все классы, и не было ни одного класса, способного возродить общество путем изменения производственных отношений. Требовалось изменение самих ценностей общества, требовалась мораль, способная дать не индивидуальный, а общезначимый смысл жизни, способная обуздать эгоизм и неразумные притязания разума. Эта новая мораль не могла возникнуть из пустоты, она *диалектически* отрицала предыдущую, т.е. не просто отменяла, а развивала ее.

Новую мораль принесло христианство, так же, как на

Востоке принесли новую мораль буддизм и магометанство. Эти три религии существенно различаются между собой, но общее у них есть — это система нравственных табу, наложенная, как цепи, на эгоизм человека.

Вопрос другой, насколько новая мораль была реалистической и как она справлялась со своей социальной функцией.

*

Наступил 1963 год. В газетах славили вождя советского народа Никиту Сергеевича Хрущева. Вышел на экраны фильм «Наш дорогой Никита Сергеевич», где славословие Хрущева достигло апогея. Он и помощник Сталина, он и спаситель от Сталина, он и выдающийся военачальник, он и вдохновитель побед на трудовом фронте. Новый культ личности нарастал с каждым днем.

Хоть новый культ был не столь кровавый, но столь же отвратительный. Стало ясно, что культ личности — закономерность этого общества. Началось с культа Ленина в 20-х годах, точнее, еще с веры народа в «добрых царей», защитников от помещичьего произвола. Я прочел стенограмму съезда КПСС, состоявшегося перед смертью Ленина, и убедился, что почти все вожди партии совершенно непристойно славили Ленина. Обожествление личности вождя началось уже тогда и продолжило путь культу Сталина. Исключение составляли речи Троцкого и Сталина. Эти люди уважали себя и не холуйствовали перед Лениным. Я ненавижу Сталина, но должен признать, что вел он себя на этом съезде — в смысле формального отношения к умирающему вождю — прилично. (Формального, потому что даже из опубликованных в 5-м издании собрания сочинений Ленина писем видно, что Ленин заметил опасность Сталина для революции и пришел к блоку с Троцким против Сталина. И Сталин знал это.)

Уже к концу весны 63-го года стало ясно, что урожай будет плохим. Летом была засуха. Мой знакомый, украинский писатель, поехал к себе на родину, в село. Его удивило, что колхозники равнодушно относятся к не-

урожаю. Он спросил об этом парторга колхоза. Тот ответил, что в 62-м году был хороший урожай, но государство забрало почти весь хлеб. Поэтому крестьянам безразличен результат их труда — все равно им почти ничего не достанется.

Из иностранных радиопередач мы узнали, что начались закупки зерна в Канаде. Было грустно и смешно: самая хлебоборобная страна, в дореволюционное время вывозившая хлеб за границу, закупает хлеб.

Среди биологов и кибернетиков распространились слухи о том, что Хрущев поддерживает Лысенко в борьбе с генетиками. Все более нарастала угроза сталинизма в науке и технике.

В духовной жизни всё большее место занимал «Новый мир». Художественный уровень писателей «Нового мира» был не столь уж и высок, но была правда — чуть-чуть, была настоящая литература. После соцреализма возвращение к реализму воспринималось как шаг вперед. Огромное, но противоречивое впечатление произвел «Один день Ивана Денисовича».

Мой слух, воспитанный на советско-христианском ханжестве, был покороблен «фуяшками» — чуть завуалированным матом. Но не это было главным. Почему Солженицын выбрал героем повести не кавторанга — истинного коммуниста, интеллигента, не сломленного духом борца за справедливость, который способен был бы осознать происшедшее с революцией и сказать читателю о причинах сталинизма? Ведь Иван Денисович уже до лагеря жил жизнью трудовой лошади, и для него мало что изменилось. Мне казалось тогда, что глазами Шухова нельзя увидеть всей глубины трагедии Октября.

Такова была реакция интеллигента, воспитанного в духе сталинского презрения к «человеку массы» комсомольца, на правду о народе, забитом, живущем растительной жизнью (но сохранившем элементарно-человеческие качества).

Была еще одна причина протеста против шума, под-

нятого прессой вокруг Солженицына. До публикации «Ивана Денисовича» громили «Не хлебом единым» Дудинцева. Но Дудинцев критиковал сталинизм с партийных позиций, во имя идеалов Октября. Он оставлял надежду на будущее. Я тогда смутно чувствовал, что после «Одного дня Ивана Денисовича» возможен только пессимизм, что Солженицын — антисоветчик, что он раскрывает лживость самых основ советской власти, а не ее извращения Сталиным.

Странно было слышать похвалы Солженицыну после ругани в адрес Дудинцева. Я хотел было написать письмо в «Литературную газету», в котором собирался вскрыть этот парадокс официальной критики. До сих пор радуюсь, что не сделал этой ошибки, т.к. уже в следующем году частично понял художественную глубину «Одного дня».

«Новый мир» опубликовал «Дневник Нины Костериной» — реальный дневник реальной Нины Костериной, дочери коммуниста Алексея Костерина, осужденного как «враг народа». Была близка и понятна ее чистая комсомольская вера в свое общество, ее реакция и боль в связи с арестом отца, повторение ею — несмотря на чудовищное преступление власти против отца — подвига Зои Космодемьянской.

*

Прошло несколько лет, и я прочел самиздатские статьи Алексея Костерина о сталинизме, о трагедии крымско-татарского народа. Приехав летом 68-го года в Москву, я узнал о Костерине много биографических подробностей, которые усилили интерес и уважение к нему. Зинаида Михайловна Григоренко предложила съездить к нему домой. Пришлось выбирать между деловыми свиданиями и встречей с Костериным. Я выбрал «дело», а не человека. Вокруг было так много прекрасных людей, что интерес еще к одной личности был недостаточно велик, чтобы перевесить «дело». Казалось, что впереди еще много времени и я успею с ним встретиться.

После Октябрьских праздников мне позвонил Петр Якир и сообщил о смерти Алексея Евграфовича Костерина. Я поехал на похороны. В крематории собралась масса народу. Чиновник крематория подгонял всех нас с похоронами: стояла очередь с другими умершими. Очередь — как за хлебом или пивом — и смерть!

Вокруг — шпики. Я тогда еще не умел их распознавать. Мне их показывали. Шпики, как ни странно, сняли гнетущую атмосферу чиновничьего похоронного учреждения. Враг восстановил значимость минут.

Выступил Петр Григорьевич Григоренко. Мы отвыкли от пафоса, но его пафос не казался фальшивым, режущим ухо — опять-таки благодаря присутствию врага, агентов КГБ. Чиновник замер: в стране давно отвыкли все от искренних революционных слов. К нему подбежал шпик, и чиновник начал кричать, чтобы освободили место для следующих похорон.

Все разъехались. Часть поехала к генералу Григоренко домой. Там тоже выступали — чечен, евреи, русские. Чеченский писатель Ошаев рассказал о борьбе Костерина в партизанском отряде в гражданской войне на Чечне.

За столом сидела жена Костерина. Она плакала. Меня подвели к ней и познакомили: «с Украины». Стало неловко — представитель украинцев, а не просто человек.

Через год я познакомился с дочерью Алексея Евграфовича Костерина — Еленой, сестрой Нины. Она немного рассказала об отце и о Нине. О Нине помнила немного, в основном ссоры с ней.

Рассказала о смерти отца. После вторжения в Чехословакию отец очень переживал. Наконец не выдержал и отправил в ЦК партии письмо с партбилетом, т.к. оставаться в этой партии уже не было сил: всякие надежды на ее возрождение исчезли.

Лена пришла к матери и сообщила о выходе Алексея Евграфовича из партии. Мать сказала, что он этого не выдержит, умрет. И, в самом деле, через неделю Костерин умер.

Я спрашивал у Лены: «Что это — фанатизм?» Видимо, нет. Но когда в конце жизни понимаешь, что собственная жизнь, идеалы потерпели крах, — это невыносимо. Даже в лагере он сохранил веру в здоровые силы партии, но возрождение сталинизма развеяло последние иллюзии.

После моего ареста Лену вызывали в КГБ и допрашивали о встречах со мной. Естественно, она ничего не сказала им. А я в заключении часто вспоминал наши встречи, прогулки по Киеву...

*

Я нарушил хронологию событий, т.к. важнее причинная, точнее — духовная, а не временная связь событий. Возвращусь в 1963 год.

Появилась статья Ермилова о «Людях, годах, жизни» Эренбурга. Тогда еще не было «Архипелага ГУЛАГа», и потому книга Эренбурга значительно расширила наше представление о временах, мягко называемых «периодом культа личности». Эренбург обрисовал широкую панораму уничтожения Сталиным культуры, партии, советского аппарата. Он писал о том, что «мы знали, но молчали». Что ж, не совсем моральная позиция, но зато честное признание. Большинство официальных разоблачителей либо сами когда-то поддерживали культ, либо сидели в норах, но почти никто не покался в своей вине. Ермилов обрушился на Эренбурга именно за честность, за «теорию молчания».

«Комсомольская правда» опубликовала статью «Куда ведет хлестаковщина» — о «я»-честве Евтушенко, о потере им партийности и еще каких-то добродетелей. Мы достали самиздатскую «Автобиографию» Евтушенко, которая вызвала столь бурную реакцию газеты. «Я»-чество действительно было, хлестаковщина тоже, но была и искренность (которую он потерял в конце 60-х годов, когда стал официально признанным «оппозиционером», ездящим за границу, чтобы помочь КГБ сохранять декорацию либерализма).

В газетах опубликовали выступление секретаря ЦК партии по идеологии Ильичева. Ильичев обрушился на формализм, абстракционизм, на чуждые советскому народу идеи поэзии Есенина-Вольпина.

В воздухе запахло очередной «охотой за ведьмами».

У меня к тому времени появились знакомые писатели, поэты. Они рассказывали подробности погрома.

Никита Сергеевич посетил выставку современных советских художников в Манеже. Последовала речь вождя перед писателями. Хрущев, в частности, напал на писателя Виктора Некрасова. Обвинялся Некрасов в двух грехах. В своем рассказе о путешествиях во Францию и США Некрасов описал разговор с американцем. Американец сказал, что нехорошо, когда советские журналисты, увидев Америку, изображают ее лишь черными красками — есть ведь и белые. Пишите «фифти-фифти» — черное и белое в американской действительности. Теория «фифти-фифти» возмутила Хрущева своей беспартийностью. Никита Сергеевич сострил: «Некрасов, но не тот».

В своем рассказе Виктор Некрасов похвалил замечательную художественную находку в кинофильме «Застава Ильича». Сын погибшего на фронте видит призрак отца и спрашивает его: «Что делать?» (все зрители понимают, что сын выражает растерянность и основной вопрос нашего поколения, вошедшего в жизнь после XX съезда). Отец вместо ответа спрашивает сына, сколько ему лет, а затем говорит: «А мне было 20». Любому сколь угодно невежественному зрителю было ясно, что отец посоветовал сыну самому искать свой путь, свой ответ.

Но мудрый литературовед ничего не понял. Он с гневом и пафосом сказал, что даже собаки учат своих щенков. Невежество мудрого партийного руководства, наглое вмешательство в литературу и живопись возмутили интеллигенцию.

Украинские правители последовали вслед за Москвой.

Подгорный тоже выступил против Виктора Некрасо-

ва. Набросились на формализм Драча, Коротича, Винграновского. Мы с женой почти ничего не знали о возрождающейся, молодой украинской поэзии и поэтому были благодарны критикам за указания, что и в украинской культуре появилось что-то свежее, честное. Прочли всех критикуемых. И в самом деле — хорошо.

Мне Драч показался гораздо более талантливым, чем мой тогдашний кумир Евтушенко.

На общем фоне погрома культуры зловецким фарсом показалось выдвижение Солженицына на Ленинскую премию. Особенно возмутили меня слова об истинно народном герое Солженицына — Иване Денисовиче, о пафосе... рабского труда.

Главной психологической пружиной моего протеста против восхвалений Солженицына было не то, что не понравилось у Солженицына, а то, что он нравился этому Гришке Распутину (именно так я ощущал Н. С. Хрущева в то время). Лишь через год я понял свою ошибку и старался в дальнейшем не подходить ни к жизни, ни к искусству с позиций политической ситуации сего дня.

В библиотеке Академии наук устроили собрание. Выступил официальный украинский художник Касиян. Он взалел (от восторга) рассказывал о посещении Хрущевым выставки в Манеже, о встрече Хрущева с писателями и художниками. Касиян достал свою записную книжку и вычитывал из нее фразы Хрущева. Мне все время казалось, что Касиян, сознательно притворяясь дурачком, издевается над вождями — настолько ясно вырисовывалась картина хамского глумления над художниками и писателями, тупость вождей и благородство таких, как скульптор Эрнст Неизвестный. Вот Эрнст говорит: «Меня ценит Пикассо», возражая утверждению Никиты, что его картины — мазня и патология. Хрущев отвечает: «Ну и катитесь туда, где вас ценят».

Обращаясь к молодой поэтессе (кажется, Белле Ахмадулиной) Никита говорит: «А ну-ка, содержимое

красной кофточки, подойдите сюда поближе». Цитирую все по памяти, а потому неточно.

Затем Касиян рассказал об аналогичных диалогах Хрущева с Аксеновым и Вознесенским.

После своего рассказа Касиян пообещал ответить на вопросы. Вначале Касиян прочел записку о том, что ослаблен партийный контроль над киевскими художниками. В ресторане «Метро» стены покрыты формалистическими фресками. Еще более буржуазные фрески на автовокзале и в аэропорту Борисполь. Касиян сообщил, что уже приняты соответствующие меры.

Послал ряд вопросов и я.

«Ермилов — это не тот, что травил Маяковского?»

Касиян ответил пословицей: «Кто старое помянет, тому глаз вон». Я с места выкрикнул вторую часть пословицы: «А кто старое забудет, тому два».

Во втором вопросе я противопоставил Ивану Денисовичу Нину Костерину и спросил: «Кто же из них народный герой?» Касиян невразумительно объяснил всю глубину народности в образе Ивана Денисовича.

Далее я спрашивал о причинах закономерности превращения талантливых писателей и поэтов в ничтожества после признания своих ошибок и возвращения на истинно партийный путь. В качестве примера привел Д. Павлычко и П. Тычину.

Касиян ничего не понял и ответил, что партия не против таланта, а за правильную направленность таланта. Зал рассмеялся.

После собрания мы с женой поспешили на автовокзал и в ресторан. Опоздали. В ресторане фрески сбили уже, а на автовокзале осталось худшее.

*

В разгар этих событий на «идеологическом фронте» мы познакомились с вором Артуром Кадашевым. Этот вор попал под поезд, ему отрезало ногу. Мы хотели ему помочь. Он решил «завязать», а для этого нужно было

устроиться на работу и прописаться, т.е. получить право на жительство в Киеве.

Артур переехал к нам, в нашу комнату, которую мы снимали по высокой цене.

Биография Артура довольно типична для нашей страны. Чечен, вместе с родителями был выселен в Среднюю Азию. Голодал вместе со всеми, ненавидел русских. Лет в 10 пристал к цыганскому табору, стал воровать. Ну, а дальше — тюрьмы, лагеря.

Подробно рассказывал о воровских законах, о поножовщине, проститутках и т. д.

Нас поразили в нем большая гордость, уважение к себе и воровским моральным принципам, чувство юмора, удивительное чутье на фальшь. Он очень быстро указал нам на фальшь нескольких наших друзей — через некоторое время мы убедились в справедливости его слов.

Я начал готовить Артура в школу; по его словам, он закончил 6 классов в лагере. Поразительно быстро он усваивал математику. Геометрия давалась ему легче, чем арифметика, так как он умел немного рисовать. Заниматься с ним было приятно. Мы, увидев его склонность к романтике (в нем было что-то от Челкаша Горького), стали читать ему Паустовского, раннего Горького и Грина. Паустовский ему не понравился, зато Грина он полюбил.

По вечерам он пел великолепные блатные песни — ни слова, ни звука пошлости. Особенно нам понравилась известная блатная русская песня, которую он пел по-чеченски. По-русски она была намного хуже. По-чеченски песня была особенно мелодичной, звуки как-то сталкивались между собой, плавно переходили друг в друга.

Артур очень страдал от того, что сидит у нас на шее: он видел, насколько мы бедно живем, и удивлялся — ведь мы люди с высшим образованием. Еще больше удивлялся он тому, что наш общий знакомый, писатель Ф. А. Д., живет еще беднее. Он всегда думал, что советские писатели — богачи. Мы объяснили ему, что это

верно для таких, как Корнейчук, Шолохов и им подобные.

Ф. А. Д. однажды обворовали карманники. Артур был возмущен — разве можно воровать у бедных? Мы смеялись: ведь вор обычно не думает, на какие гроши придется жить обворованному.

Артур стал чинить обувь нам и всем нашим знакомым. Это создавало иллюзию, что он хоть чем-то расплачивается с нами.

Мы с женой пошли в райком комсомола и рассказали об Артуре. Мы попросили помочь ему в прописке и устройстве на работу. Секретарь райкома загорелась состраданием к Артуру, но объяснила, что райком ничего не сможет сделать.

Я вспомнил о Ю. П. Никифорове, кагебисте, с которым я встречался по поводу телепатии. Я позвонил ему. Он назначил свидание в Софийском соборе, недалеко от здания республиканского КГБ и от будущей моей тюрьмы. Юрий Павлович объяснил, что КГБ не имеет власти давать прописку. Когда я спросил, есть ли смысл обратиться в обком партии, Никифоров посоветовал пойти в обком комсомола: они-де моложе и лучше поймут наши намерения. Столь трезвая оценка кагебистом бюрократической глухоты обкомовских партийцев меня поразила.

Пошли в обком комсомола. Секретарь областного комитета комсомола сразу спросил: «Зачем это вам нужно?»

Мы терпеливо объяснили, что нужно помочь человеку встать на путь честного труда. Он опять спросил: «Но вам-то это зачем нужно?»

Пришлось повторить газетные штампы о борьбе за каждого человека. Кажется, понял и направил в ЦК комсомола. Нас принял второй секретарь Кулик. Опять тот же вопрос, но еще большее непонимание. Мы еле сдержали свой гнев и в который раз повторяли свое отношение к людям. Наконец случайно мы нашли формулу: мы — педагоги и хотели бы участвовать в

воспитании вора. Ему «все стало ясно», и он позвонил министру внутренних дел. Отвечал ему заместитель министра. Того волновал все тот же вопрос — наши мотивы. Кулик объяснил все нашими педагогическими интересами. После телефонного разговора Кулик рассмехался. Оказывается, замминистра обещал устроить прописку, если ЦК комсомола устроит Артура на работу. Кулик объяснил, что невозможно устроить на работу, если нет прописки. Заколдованный круг. Затем комсомольский вождь обратился к сидящему в кабинете парню: «У вас на Киевской ГЭС не хватает рабочих рук. Устрой его на работу». Парень, секретарь комсомола ГЭС, резко запротестовал: «Мы и так не знаем, что нам делать со своими хулиганами и алкоголикам». Пришлось уйти ни с чем.

Прошло шесть лет, и я вновь встретился с тем самым секретарем ГЭС. Он был уже одним из самых видных участников украинского сопротивления. Я напомнил ему о нашей первой встрече. Он не помнил, но признал, что в те времена был действительно «твердокаменным» комсомольским деятелем.

Мы пошли в Верховный Совет, на прием к «знаменитому» партизану Ковпаку. Стояла очередь. Секретарша выслушала нас и объяснила, что Ковпака нельзя тревожить по таким пустякам. Кроме того, Киев — столица, и отбывших наказание в нем не прописывают.

Мы решили написать письмо Хрущеву. В письме мы описали кратко жизнь Артура, намекнули на ответственность правительства за трагедию чеченов и описали наши злоключения с пропиской. Подписали пятеро — мы с женой, моя сестра и Ф.А.Д. с женой.

Артур стал терять все надежды, его стыд быть грузом на нашей шее нарастал.

Вместе с ним мы пошли в ЦК партии. Нас приняла женщина-юрист. После секретаря райкома комсомола это был второй человек, который не задавал вопроса о наших мотивах. Она вспомнила 30-е годы, когда она помогла какой-то проститутке. Артур не зашел к ней,

ожидал в приемной. Она попросила, чтоб он зашел. У Артура великолепное чутье на людей, он интуитивно чувствует, кому что нужно говорить. Он не бил на сострадание, он шутил. Товарищ из ЦК была покорена настолько, что тут же позвонила какому-то деятелю ЦК, ведающему пропиской. Того не было на работе. Она объяснила, что завтра уезжает в Крым и потому лишь через месяц сможет взяться за прописку Артура. Я вспыллил, но сдержался и вежливым тоном попросил подождать день, так как Артур уже не выдерживает безделья и не хочет жить на наши деньги. Она была шокирована моей дерзостью и объяснила, что билеты уже куплены и что ее дети будут недовольны задержкой.

Мы поднялись и не простившись вышли.

Артур смеялся над нашей наивностью. Он сказал, что у нас вообще ничего не выйдет и ему придется жить «собственным трудом» — воровать. Долго уговаривали, чтоб он и думать об этом перестал.

Через неделю-две нас вызвали в Министерство внутренних дел (тогда — охраны общественного порядка). Артура тут же стали допрашивать. У всех бывших эзков сохраняется ненависть и презрение к милиции. Грубый тон майора возмутил Артура, и он сказал что-то резкое. Нас развели в разные комнаты. Стали допрашивать и нас.

Опять мотивы, но уже с собственными предположениями: мы-де хотим погреть на этом руки, Артур нам заплатил, и мы хотим помочь ему заниматься темными делами. Жена моя стала кричать, что он — жандарм (я про себя подумал, что она напрасно так оскорбила жандармов).

В заключение майор показал нам наше письмо к Хрущеву и сказал, что милиция не может позволить уголовникам жить в Киеве.

Что оставалось делать? Отправили Артура в Одессу, к моему другу, решили ждать даму из ЦК.

Артур вернулся из Одессы раньше времени. Он решил

шить обувь на продажу. Пошел на базар, закупил сапожные инструменты и кожу. Вернулся с базара поздно. Сообщил, что встретил знакомых воров. Те якобы угрожали ему. На следующий день он скрылся. Я позвонил в МВД майору и сообщил об исчезновении Артура. Не дослушав меня, майор заявил, что Артур, как он и думал, связан, видимо, с шайкой. Тут же по телефону он стал меня допрашивать о приметах друзей Артура. Я обозвал его идиотом. Майор пообещал отдать меня за оскорбление под суд. Я сказал, что буду рад на суде доказать вину милиции, ее бездушность.

Жена предложила позвонить даме из ЦК — авось, уже вернулась из Крыма. Звонила на этот раз она сама, не доверяя моим нервам. Дама была дома, но раздраженно заявила, что готовит детей в школу и поэтому не может разговаривать об Артуре. Моя жена высказала ей все, что мы думали о ЦК партии.

На следующий день пришла повестка Ф.А.Д., нам и Артуру явиться в паспортный отдел. Заведующая паспортным отделом встретила очень приветливо и сообщила, что получено разрешение прописать Артура. Мы объяснили ситуацию. Она разволновалась и стала расспрашивать об Артуре, его жизни и т.д. Ф.А.Д., растроганный заботой паспортистки, дал ей прочесть биографический рассказ об Артуре.

Через день всех нас вызвали в уголовный розыск. Начальник угрозыска выслушал наш взволнованный рассказ и заявил, что Артур — типичный мошенник.

*

В Одессе после переезда в Киев у меня оставалось несколько друзей. Один из них некоторое время был самым близким. К. вырос еще в большей нищете, чем я, и был гораздо более непримирим к советской буржуазии. В 9-10 классе, когда я был «комиссаром» бригады содействия пограничникам, он помогал матери, работая ночным сторожем рыболовецкого колхоза, и учился одновременно в школе.

В конце 10 класса он обнаружил всамделишного шпиона и участвовал в поимке его.

Вместе с ним я ходил в «легкую кавалерию», учился в университете, переживал «измену» друзей, т.е. уход от общественной деятельности в учебу, семейную жизнь и т. д.

Летом 1964-го года мы с женой пришли к нему домой и стали обсуждать хрущевяну. К. защищал Хрущева, указывал на достижения в поднятии целины. Закупки хлеба за границей сводил лишь к засухе. Немало теплых слов было сказано о восстановлении ленинизма. Перешли к Евтушенко. К. обвинил Евтушенко в хлестаковщине, в непартийности. С хлестаковщиной я согласился, но отстаивал значение попыток Евтушенко оторваться от платы «за корм», вернуться на позиции пореволюционной поэзии 20-х годов. К. обрушился на формалистические «выкрутасы», подменяющие содержание. Я знал, что К. любит Маяковского, и напомнил значение футуриста Хлебникова для Маяковского, значение поэтических формалистических поисков в творчестве самого Маяковского. Незаметно спор перешел к значению Бриков в жизни Маяковского, а затем к евреям.

К. стал приводить случаи стяжательства, коррупции, спекуляции евреев, в частности, говорил о взятках, которые берут еврей-профессора Мединститута. Я признал все эти случаи, но связал антисемитизм К. с антисемитизмом фашистов: ведь и их антисемитизм не беспочвенен, они тоже обыгрывали частные случаи.

У нас в Киеве заменили старых продавцов-евреев комсомолками — украинками и русскими. Очень быстро они освоились со спецификой своей профессии и стали воровать и обвешивать покупателей. В некотором отношении стало еще хуже: обвешивают более нагло, в больших размерах. Те обманывали вежливо, эти грубо. Поди скажи расово чистой комсомолке-продавщице, что она недовесила, — она поднимает такой скандал, что и рад не будешь.

— Ты же марксист и должен знать, что причины

коррупции, спекуляции, воровства социальные, а не национальные. Продавцам дают столь малую заработную плату, что не воровать они не могут. Их воровство — заслуга Никиты.

Спор накалялся изо дня в день, пока мы не расстались, обменявшись оскорблениями: я назвал его советским фашистом, он меня — советским мелким буржуа.

Я очень мучился разрывом и пытался объяснить причины разрыва для себя.

«Социальные источники» нашей дружбы одни и те же. И антисемитизм, в частности, имел социальные основания. Путь до 3-4 курса у нас совпадал, протест против официальной лжи, попытки бороться со злом в рамках комсомола тоже совпадали. И вот он стал апологетом бюрократии, антигуманитарием, остался антисемитом, а я стал противником режима, «юдофилом».

Почему?

Я вспомнил первые годы дружбы с ним.

Я любил Лермонтова, «Лесную песню» Леси Украинки, он — Маяковского. Споры о поэзии вращались вокруг «грубой честности и прямоты» (его позиция) и «красоты», вокруг «чахоткиных плевков» старого мира, которые вылизывал Маяковский, и моего протеста против рекламных стихов и агиток Д. Бедного и Маяковского. И вот сейчас некоторая инверсия: я за антисталинские (с намеком на антихрущевские) агитки Евтушенко, он за апологию «возвращения к ленинским нормам». Но и прежде у нас осталось: я подчеркиваю художественные достоинства некоторых «вывертов» Евтушенко, К. — только за «правильное» содержание.

Вспоминались прежние «афоризмы» К.: «Плевать на розы, соловьев и вздохи при луне. Для розы нужен навоз, и это главное. А ты хочешь нюхать только розы. Запах авиационного бензина или ацетона приятнее духов. Звуки шторма — музыка лучшая, чем симфония какого-нибудь Чайковского».

Во всем этом было и мне нечто близкое, но я пытался ему доказать, что симфония все же важнее для культу-

ры, чем звуки шторма, и что не стоит отрекаться от соловьев и любовных вздохов.

На год-два наши эстетические споры прекратились: К. влюбился и полюбил Есенина, Грина, Экзюпери. Вместе мы пережили «Не хлебом единым» Дудинцева.

Потом произошел разрыв К. с нею. К. очень трогательно, отнюдь не «по-пролетарски», переживал это.

И вдруг вернулся на прежние позиции.

Вспомнилось презрение К. ко всякой «болтовне» философов, к этике, эстетике, к интеллигенции.

В этом я вижу психоидеологические истоки его нынешней позиции — недостаток культуры, слепота социального протеста, неумение мыслить диалектически, вульгарный материализм.

После свержения Хрущева я попытался вернуть дружбу, ведь факты теперь доказали мою правоту.

Увы, К., признав политические «ошибки» Хрущева, остался антисемитом. Он, правда, попытался протестовать против бюрократии, стал даже изучать Гегеля, чтобы постигнуть философские причины сталинизма-хрущевизма. У него были неприятности с парткомом университета, дело чуть не дошло до насильственного помещения в «психушку». Но обошлось, т.к. он бросил философствовать, заниматься комсомольской работой и стал еще большим юдофобом.

Последнее явление очень важно для понимания трансформации социального протеста низов в апологетику строя.

У меня был очень умный и честный учитель Н. Он все время конфликтовал с дирекцией школы. К 1965 году в школе случайно сконцентрировалось много учителей-евреев. Они стали травить Н. и в конце концов выжили его из школы.

Когда я с ним встретился, он люто ненавидел евреев. Я пытался напомнить ему, что он член партии, коммунист. Ничего не помогало — «евреи виноваты в извращениях власти». Я напомнил ему, что «еврейская клика»

в его школе травила и учительницу русского языка, *еврейку*.

— Только за то, что она изменила еврейству и любит русскую культуру. Я ведь не обвиняю всех евреев. У меня есть друг-еврей, который тоже не любит одесских евреев.

Я не буду приводить многолетних споров с Н. о евреях и власти. Все это так знакомо всем, кто интересовался антисемитизмом.

Споры закончились, как и с К., взаимным навешиванием ярлыков. Я Н. очень любил и люблю, но поддерживать прежние отношения стало трудно для обоих.

Дочь Н. — М. тоже пострадала от «еврейской клики»: в школе ей стали занижать отметки. Н. вынужден был пригрозить клике судом, коллективным письмом родителей в ЦК партии. Клика отступила.

М. под влиянием этой истории также стала анти-семиткой. Начались споры с ней: очень искренняя, умная девушка, и мне хотелось переубедить ее.

Я пытался объяснить ей причины возникновения «клики» — духовная атмосфера в стране, крайне низкий моральный уровень чиновников просвещения, сталинские методы борьбы за теплое местечко. Напомнил все о той же учительнице-еврейке. В отличие от отца-коммуниста комсомолка частично поняла мое объяснение одного этого случая, но сослалась на взяточничество при поступлении в Одесский мединститут:

— Ведь и твоя сестра не поступила в мединститут только потому, что бедная и нееврейка?

Я указал на те же явления в *нееврейском* университете, куда трудно поступить евреям и бедным.

Она рассказала о всемирной еврейской солидарности, коррупции, непатриотизме евреев и прочем. Я осторожно спросил ее, не слышала ли она о всемирном еврейском заговоре. Нет, не слышала, но не исключает его возможности.

Пришлось рассказать о фальшивке русских фашистов

— «Протоколах сионских мудрецов», где эта идея детально разработана.

Но даже параллель с фашизмом не действовала как следует: если не антисемитская идеология, то юдофобские эмоции у М. остались.

Пришлось прибегнуть к эмоциям.

Во время очередной дискуссии М. сказала, что я нечестен, защищаю евреев потому, что моя жена наполовину еврейка.

В коляске заплакал мой сын-младенец. Я заорал на него:

— Ах ты, жидовская морда! Опять гадишь русскому народу! (М. — русская.) Жиденок пархатый!

М. заплакала от обиды — кому же хочется признаться в близости к фашизму!..

Успокоившись, она упрекнула меня в жестокости к людям, в нечестности приемов полемики.

Я ответил, что с фашистами нельзя говорить вежливо, это я оставляю Сталину, Хрущеву и Брежневу.

Наши споры все же заставили М. думать. Она стала научным работником, столкнулась с официальным антисемитизмом и кое-что поняла. Махнув рукой на евреев и власть, ушла в науку, спряталась в чистоту физических формул.

*

То ли в 61-м, то ли в 62-м году в «Литературной газете» появилось письмо читателя «Долой Муху-цокотуху». Автор письма рассказывает, что его ребенок читал эту самую «Муху-цокотуху». Отец решил проверить, что читают по совету учителей дети, и... пришел в ужас. Вся страна борется с мухами-переносчиками инфекции. А у Чуковского муха — положительный герой, и комар, пьющий, как известно, кровь людей, переносчик малярии, — тоже положительен. Более того, брак мухи с комаром — брак противоестественный. Автор намекал (разве может советский человек говорить о таких ужасных вещах вслух, прямо?), что дети

могут, прочитав такое, научиться чему-то вовсе дурному.

Через некоторое время появилась статья Чуковского. Чуковский писал, что вначале он воспринял письмо о мухе как неудачный фельетон. Но потом он стал получать письма, в которых другие читатели поддерживали протест против героизации разносчиков заразы. Он вынужден был поэтому написать ответ.

Я рассказываю об этом по памяти, т.к. мою коллекцию благоглупостей в прессе нам не удалось вывезти на Запад. Казалось, что эта дискуссия говорит лишь о том, что дураки в земле русской (как, впрочем, и во всех прочих землях) еще не перевелись.

Не тут-то было. Через несколько месяцев после дискуссии в «Литгазете» в Министерстве просвещения УССР обсуждалась новая программа для детских садов. Моя жена работала методистом по дошкольному воспитанию в методическом кабинете министерства и занималась вопросами методики подачи и подбора художественных произведений для детей. И вот встал вопрос о списке рекомендованных книг для детей дошкольного возраста. Одна из работников министерства сказала, что, к сожалению, в сказках воспеваются вредители сельского хозяйства: мышки, зайчики, суслики, и, более того, даже (!) волк, уничтожающий колхозный скот, бывает положительным героем. Ее поддержали преподаватели Педагогического института.

Разгорелась дискуссия. Незначительным большинством голосов вредители сельского хозяйства отстаивали свое право на существование хотя бы в сказках. Но потери они понесли: было решено уменьшить их долю в сказках, а за счет этого увеличить долю маленького Володи и большого Ленина.

Прошло время. В той же «Литературной газете» появилась очередная статья негодующего читателя, если не ошибаюсь, доктора или кандидата экономических наук. Ученый экономист увидел, что сын его увлекается «Томом Сойером» Марка Твэна. Бдительный страж литературных интересов сына прочел книгу и пришел в

ужас. В книге воспеваются хулиган и бездельник Том и высмеивается добросовестный ученик, воспитанный мальчик, брат Тома Сид. Автор с благородным пафосом в конце статьи спрашивает: на каких примерах воспитываются наши дети?

Редакция, видимо, встревожилась, так как ответила юмористической статьей.

Редакция-де, воодушевленная примером товарища экономиста, решила проверить содержание всей мировой литературы. И — о, ужас! От древних греков до Пушкина и далее в качестве положительных героев выступают аморальные люди.

Где-то уже в 69-70 гг. в газете «Литературная Россия» появилась статья «О чем поет Высоцкий?». Статью написал какой-то спец по культуре.

Оказывается, Высоцкий поет от имени хулиганов, воров и алкоголиков, издевается над духом русского народа (у Высоцкого есть песня о русском духе, вылезающем из водочной бутылки). На этот раз никто не ответил блюстителю порядка в культуре. Опасно было. Совсем недавно судили Синявского и Даниэля, отождествив взгляды сатирических героев со взглядами авторов.

Все эти смешные истории — лишь наиболее яркие, выпуклые образцы соцреалистических требований к искусству. Социализма в стране нет, но в литературе он должен быть. Да, существуют отдельные недостатки в стране, но это либо пережитки старого, либо влияние гнилого Запада, либо культ, волюнтаризм и т. д. Не столь важно, как пишет художник, важно, что он пишет.

Литература должна быть народной, т.е. общедоступной.

Литература должна быть партийной, т.е. следовать за очередными указаниями очередных вождей.

Литература должна учить на образцах положительных героев, т.е. создавать культ героев и «винтиков» государственного механизма.

Литература должна изображать жизнь в ее револю-

ционном развитии, т.е. врать о том, чего нет в действительности, но есть в газетах.

Стоит различать теорию и практику соцреализма. Теория не столь уж плоха, если не считать чрезмерного рационализма и отсутствия эстетической характеристики нового направления искусства. Если содержание ново, «эстетическая форма» должна соответствовать ему, т.е. быть новой. В 20-е годы это понимали многие, и за это их били в 30-е годы.

В широком смысле слова литература всегда партийна, т.е. отражает чаяния, сознание и подсознание, эстетику тех или иных наций, классов, групп и т. д. Литература не должна быть, а всегда партийна в этом смысле. Но прямого соответствия между групповой принадлежностью автора и тем, что он изображает, нет. Известны слова Маркса о Бальзаке, который, сам того не желая, благодаря своему гению, отражал и выражал психологию части буржуазии. Как бы предвидя глупость своих последователей, Маркс писал, что поэт — соловей, его нельзя сажать в золотую клетку, если мы хотим, чтобы он пел.

Тезис о народности тоже не столь уж глуп, т.к. выражает тот факт, что каждый действительно крупный писатель черпает красоту, мысль, мечту не только из собственной души, но и из родного языка, истории, окружающей его жизни, выражает не только себя, но и нечто общее для его народа. Но, во-первых, он не должен быть народным, а не может быть ненародным, если он действительно талантлив. Во-вторых, он выражает не простейшее, всем понятное, а новое, оригинальное, он выражает народную душу через «магический кристалл» своей души, а оригинальная личность писателя далеко не всегда проста для восприятия. Странно, что наукам нужно учиться, а восприятию искусства — нет (тут, правда, есть опасность «обучения» искусству, дрессировки. Это есть в соцреалистическом воспитании, где учат расшифровке мысли автора в ключе сиюминутной линии партии).

Требование реализма, т.е., на практике, подлакированного натурализма, противоречит глубокому пониманию реальности. Театр абсурда реалистичен, т.к. адекватно отражает абсурдные стороны мира. Но это не отрицает реалистичности «натурализма» Солженицына.

Требование положительного героя в целом нелепо, т.к. в некоторых жанрах положительного героя просто не может быть (сатира), некоторым писателям свойственно талантливо изображать только отрицательные явления, в некоторые эпохи не видно позитивного направления развития общества, не видно носителей позитивных идей. Неудача Гоголя со второй книгой «Мертвых душ» очень показательна: Гоголь пытался выдумать положительного героя, т.к. не видел его в жизни. При другом «магическом кристалле» (индивидуальном видении мира) выдумка дала бы возможность создать сказочного, утопического героя. Ранний Гоголь отразил сказочного героя, т.к. в украинской народной жизни было нечто от него. В чиновничьем Петербурге он не мог увидеть сказку оптимистическую (а пессимистическая сказка — уже не сказка).

По ассоциации с темой сказки я вспомнил самое значительное, позитивное, сыгравшее огромную роль в нашей (т.е. моей и Тани, моей жены) духовной жизни событие — мы познакомились с художницей И. Д. А. Она была в 20-е годы актрисой Леся Курбаса, гениального украинского режиссера, создателя театра «Березиль». Русская по национальности, она очень любила Украину, украинскую культуру, украинское Возрождение 20-х годов. Но ее эстетические, культурные запросы не сводились к любви к Украине, любила она и французское, и японское, и — короче говоря — искусство всех народов, от примитива до абстракционизма. Я подчеркнул именно украинское, т.к. благодаря ей интерес мой к моему народу, моей национальной культуре вышел за пределы любви к украинским песням, Шевченко и Лесе Украинке. Благодаря ей я осознал не только великий духовный потенциал украинцев, но и узнал, что этот

потенциал в 20-е годы был частично выявлен поэтом Тычиной (мог ли я раньше поверить, что эта бездарь Тычина в молодости был гениальным поэтом?), драматургом М. Кулишем, кинорежиссером и сценаристом Довженко, художниками Кричевским, Петрицким, Бойчуком, Падалкой.

Политическими и даже философскими проблемами она совсем не интересовалась, хотя ее основная в жизни потребность — эстетическая — не только не исключалась, а углублялась глубоким интеллектом и — я не боюсь этого слова — мудростью.

Было дико мне узнать после выхода из психтюрьмы, что КГБ считал, будто она воспитывает молодежь и, в частности, нас с Таней в антисоветском духе, — политика ей всегда внушала отвращение. Если считать антисоветским духом любовь к прекрасному, к русскому и украинскому народу, то они, конечно, правы. По отношению к нам — не совсем, т.к. мы до встречи с ней развивались в том же направлении постижения прекрасного в природе, человеке и искусстве, понимания значимости народной культуры для культуры сколь угодно утонченной, элитарной, культуры личностей. И. Д. А. стала лишь катализатором нашего духовного развития, помогла мне быстрее разорвать цепи плоского, бездушного рационализма.

Увы, в музыке мы не сделали никаких успехов, зато в живописи несколько продвинулись. Кубизм, абстракционизм так и остались за семью печатями, зато стала близкой не только живопись Ван-Гога, Врубеля, Рериха, но и Чюрлёниса и Линке.

Марк Шагал был долгое время недоступен. Но однажды мне удалось попасть на лекцию французского филолога в университете. Француз рассказывал о развитии французской поэзии XX века. Звучало это примерно так. Родился символизм, привлек к себе большой интерес, появилась соответствующая мода. Но развеялся туман, и все увидели пустоту. На смену символизму пришел дадаизм и сюрреализм. Характеристика та же,

и конец такой же. Аполлинер — те же слова (с вариациями). Лектор похвалил поэтов Сопротивления за содержание, но художественную форму охарактеризовал отрицательно. О послевоенной поэзии отозвался как о тупике. Было противно слушать французского филолога, который не увидел ничего хорошего в родной современной поэзии.

Каково же было мое удивление, когда я узнал, что он привез два документальных фильма — «Марк Шагал» и «Гобелены Ж. Люрса». Он показал их для узкого круга в Институте этнографии. После просмотра фильмов я ходил зачарованный Шагалом и Люрса, несколько дней ни о чем другом не думал и не говорил.

Вспоминаются рассказы московских абстракционистов об Ильичеве, секретаре ЦК партии по идеологии, хрущевском палаче современного искусства. Оказывается, у Ильичева тонкий художественный вкус, он увлекается абстракционизмом, сюрреализмом, примитивизмом — короче, всеми направлениями «загнивающего» буржуазного искусства. Хрущева нетрудно понять: его художественный вкус ниже вкуса крестьянина, т.к. крестьяне, например, на пысанках (традиционно расписанных яйцах) изображают нередко сложные «абстрактные» символы, воспринимая их чисто эстетически, т.к. мифологическое их значение давно забыто народом. У Хрущева вкус хама, обывателя, мещанина, подпорченный вдобавок соцреалистическими представлениями о задачах искусства. А Ильичев? Да, таинственна ты, душа «расейского человека» . . .

Интерес к искусству усилил мой интерес к философии, особенно к этике. Проблема смысла жизни стала для меня центральной в философии. Я пытался сочетать свои кибернетические интересы с философскими и этическими. Вначале это не удавалось. Удалось только связать теорию отражения с проблемой сущности человека и его смысла жизни.

Я был членом бюро комсомольской организации Лаборатории математических методов в биологии и медицине в качестве «идеолога». Мне поручили руководство философским семинаром и функцию пропагандиста. Пропагандист обязан проводить политинформации о внутриполитических и международных событиях. Я бы не взялся за эту неблагодарную работу, но для пропагандистов Академии наук читают специальные лекции профессионалы-пропагандисты, лекторы ЦК, профессора истории, возвратившиеся из-за рубежа специалисты-инженеры. На лекциях этих рассказывают немало фактов, о которых не принято писать в газетах.

События в Индонезии. Нам рассказали о том, что индонезийская компартия проводила антисоветскую пропаганду, что «хунвэйбинство» зародилось в индонезийском комсомоле, о том, как индонезийская компартия решила уничтожить тайком всех враждебных им генералов, как коммунист, начальник охраны Сукарно, убил 16-летнюю и 5-летнюю дочерей генерала Насутиона, как китайцы-торговцы провозили из КНР оружие коммунистам.

Затем следовал рассказ о реакции генералов, о расправе над коммунистами, членами левых профсоюзов, китайцами. Об этой расправе говорилось лишь в категориях количества — сколько убили, сколько посадили. Никаких подробностей о жестокости расправы. Никаких выводов. Но лекция была построена так, что было понятно, что расправу коммунисты, все левые и китайские буржуа заслужили. В течение всей лекции ни слова сочувствия ни дочерям Насутиона, ни жертвам генералов.

Еще более интересной была лекция о методах нашей дипломатии. Читал лектор ЦК партии.

Начал он с ответа на вопрос: «Правда ли, что Насер — фашист?» Лектор рассказал о том, как Насер вышвырнул американские базы не только из Египта, но и из других арабских стран. Опирался он при этом на какой-то закон шариата, запрещающий чужеземцам

«что-то» делать в мусульманской стране. Насеру удалось убедить магометанских вождей, что Магомет, в частности, под этим «что-то» имел в виду чужеземные военные базы. Лектор хитро улыбнулся: «фашист ли Насер?». Затем он рассказал, что радио ОБС («Одна Баба Сказала») сообщило Насеру, что Хрущева скинули якобы за то, что он дал звание Героя Советского Союза фашисту Насеру. Насер рассердился и вернул медаль героя советскому правительству. Пришлось послать в Египет специальную делегацию, чтобы объяснить Насеру, что Хрущева ругали за то, что он наградил Насера самолично, а по закону это прерогатива Президиума Верховного Совета. Чтобы доказать свое благорасположение Насеру, наградили Героями СССР многих помощников Насера.

Кто-то из слушателей спросил лектора: «Но ведь за год-два до награждения Насера в «Правде» писали, что Насер посадил в тюрьмы всех египетских коммунистов?» Лектор опять улыбнулся: история-де не стоит на месте, Насер тоже меняется.

Следующий рассказ о Нигерии. Наши актеры приехали в соседнюю с Нигерией страну. С Нигерией не было в то время дипломатических отношений. Нигерийцы пригласили актеров к себе. Очень понравились нигерийцам балалайки — простенький русский струнный инструмент. Нигерийцы попросили продать им балалайки. Им подарили 20 000 балалаек, а за это потребовали удалить из Нигерии американские базы. Нигерийцы согласились. «Вот видите, как благодаря уму наших дипломатов дешево досталась нам победа».

Следующий рассказ лектора не был для меня новостью — я слышал об этой истории от знакомого с одним из действующих лиц.

«Простая» советская девушка, дочь советского дипломата, училась в университете во Франции (кажется, в Сорбонне). Она подружилась с иранской студенткой, потомком древнего шахского рода. Приехал во Францию молодой шах. «Наши» познакомили его с потомком.

Шах влюбился и увез невесту к себе во дворец. Через некоторое время «простая» советская девушка пригласила шахиню к себе на дачу, в Крым. Шахиня приехала. «Простая» задержала шахиню надолго. Влюбленный шах не выдержал и неофициально приехал в Крым. Там с ним случайно встретились члены советского правительства. Шах, между прочим, пожаловался на финансовые трудности. «Как, но ведь у вас огромные запасы полезных ископаемых, например, нефть?! Мы вам поможем разыскать месторождения, но ведь у вас там американские базы! Нехорошо, не по-соседски». Шах пообещал удалить базы. В Иран послали большое число геологических партий. Открыли несколько месторождений. Предложили провести нефтепровод из Ирана в СССР.

Лектор опять улыбнулся: нефтепровод проходит через большие пространства Ирана. Попросили шаха разрешить поставить советских военных охранять нефтепровод. Шах согласился. Через каждые 10 (точно не помню) километров — советский пост. Пол-Ирана — как на ладони...

Третью лекцию читал профессор-экономист, проживший в США 5 лет. Всех слушателей интересовала экономика США, роль рабочего класса, революционные движения.

Профессор объяснил, что против войны во Вьетнаме выступают студенты, профессора, врачи и т. д. Однажды он видел, как навстречу друг другу двигались две демонстрации: одна маленькая, интеллигентская — против войны, а другая, большая, рабочая, — против закрытия какой-то военной базы («ведь увеличится безработица», — заметил лектор). Рабочие профсоюзы настроены в целом расистски, так как не хотят конкуренции со стороны негров и пуэрториканцев.

В компартии США — 10 000 человек, молодежи почти нет, 25% членов партии — агенты ФБР.

Тут профессор покончил с фактами и перешел к теории. Он сказал, что буржуазные идеологи делают из

подобных фактов вывод, что тезис о рабочем классе как «могильщике» всякой эксплуатации неверен. Но ведь жизнь не стоит на месте. Сейчас интеллигенция в целом эксплуатируется. В рабочий класс входят и учителя, и врачи, и инженеры. Они-то как раз наиболее революционно настроены, и, значит, передовая часть рабочего класса по-прежнему революционна. Нереволюционность остальной части объясняется политическим невежеством многих рабочих, а также тем, что американский империализм выкачивает из других стран капитал и часть прибыли идет американским рабочим. Они-де поэтому сыты и нереволюционны.

Была еще какая-то лекция об истинном лице титовской компартии, но я ее вовсе забыл: что-то уж больно нечеткое, двусмысленное.

На политинформациях я никогда не комментировал фактов, которые я узнавал из лекций. Все достаточно грамотно, чтоб сделать выводы, а комментарии — повод для обвинения во враждебной пропаганде.

Философские семинары должны проводиться по стандартному плану, из года в год повторяющемуся. Мы решили составить свой план (это в принципе дозволено, нужно лишь утвердить его в парткоме, но в первые годы я и этого не делал из-за лени).

Самым забавным на наших семинарах было то, что я один отстаивал материалистическую точку зрения на этику и эстетику. Единственный член партии на семинары не ходил, так как ему было скучно слушать наши споры. Одни исповедовали веданту, другие — толстовство, большинство молча слушало либо задавало вопросы. Семинары проходили интересно, почти никто не уходил, ведь основной вопрос семинаров — о смысле жизни.

Кроме этики и эстетики, рассматривали философские проблемы моделирования жизни и мышления.

Во внерабочее время мы с товарищем стали по методу Милана Ризла развивать телепатические свойства с помощью гипноза. Трудно было найти добровольцев. Ма-

лый процент из них удавалось довести до глубокой стадии гипноза. Те немногие, кто был подходящим гипнотиком, вскоре теряли интерес к сеансам тренировки, т.к. они ждали чуда, а чуда не было. Мы изыскивали средства удержать гипнотиков, но, кроме оплаты за сеансы, ничего не могли придумать. А платить нам было не из чего — мы не были официальной группой. Несколько официальных исследовательских групп появились в разных городах Союза, но вскоре все они были засекречены. Вначале мы тоже хотели получить материальную поддержку государства, но с течением времени стали понимать безнравственность целей государства в этой области.

С нашими исследованиями по телепатии было связано много анекдотов.

Вольф Мессинг опубликовал в «Науке и религии» рассказ о своих телепатических достижениях. Он приводил совершенно фантастические случаи из своей практики. В конце воспоминаний он обратился к ученым Союза исследовать его телепатические возможности.

От имени профессора Амосова к нему обратились с приглашением приехать в Институт кибернетики, чтобы провести эксперименты под наблюдением специальной комиссии. Мессинг ответил, что вскоре он приедет на гастроли в Киев и согласен подвергнуться исследованию.

Собрались все интересующиеся телепатией. Постарались учесть все критические замечания по поводу телепатических экспериментов как советских, так и западных ученых. Подготовка аппаратуры для связи с «передатчиком» и «приемником», для наблюдения за обоими и т. д. заняла несколько недель.

Мессинг прибыл. К нему в отель пошел Иванов-Муромский. Мессинг принял его сухо, заявив, что не имеет времени на эксперименты.

Что ж. Решили провести проверку во время публичных выступлений.

Метода Мессинговых чудес оказалась элементарной.

Один из зрителей подает в жюри, проверяющее результаты Мессинга, записку с изложением задачи. Затем Мессинг берет его за руку и ведет в зал. Он подходит к какому-нибудь месту и совершает какие-нибудь действия. Обычно эти действия совпадают с заданными. Причина угадывания: Мессинг по микродвижениям руки, по дыханию и другим физическим реакциям догадывается, что нужно делать: когда он идет не в ту сторону, рука оказывает сопротивление, когда он подходит к задуманному месту, рука перестает сопротивляться. Если на этом месте сидит человек, то Мессинг начинает водить руку задумавшего вдоль тела, пока не остановится возле кармана, затем лезет в карман. Техника общеизвестна.

Но мы знали, что на двух вечерах были случаи, необъяснимые с точки зрения теории микродвижений. Например, он поставил на книге задумавшего автограф. Не доходя до одной девушки, он позвал ее к себе.

В один из вечеров на сеанс пришли все «телепаты» Киева — из Института кибернетики, из Мединститута, из Института полупроводников и т. д. Почти все жюри было наше, почти все участники сеансов тоже наши. Все задумали что-либо принципиально неразрешимое с помощью микродвижений.

И все же он угадывал.

Наконец вышел мой напарник. Мессинг быстро подошел ко мне, вывел меня на сцену, взял из моих рук книгу и стал перелистывать. Он быстро нашел страницу, задуманную нами, и стал водить рукой напарника сверху вниз. Дошел до номера страницы, остановился. Пока все было правильно. Верно назвал номер страницы вслух. Мы молчим. Написал автограф. Загадка автографа прояснилась — это задание одно из типичных. Долголетняя практика научила его, что типичных заданий не так уж много, и он путем перебора может отыскивать нужное.

Мессинг произвел еще несколько действий. Не угадал. Послышался жалобный голос: «Ах, Боже мой, что вы

со мной, стариком, делаете!» Было жалко, и мой напарник не выдержал — подсказал, что нужно сложить номера открытых страниц. Мессинг сложил. Я волком посмотрел на сердобольного исследователя «загадочных явлений психики». Он виновато потупил глаза и не выдал последней части задания — нужно было записать цифры полученной суммы в обратном порядке. Голос знаменитого чудодеев стал еще жалобнее. Мы были непреклонны. Но тут поднялся один из «наших» в жюри, он также оказался сердобольным, и объявил залу, что задание выполнено верно. Телепатия Мессинга стала понятной.

Однажды ко мне пришел взволнованный товарищ и рассказал, что своими глазами видел, как его сотрудник приподнимает табурет, не притрагиваясь к нему. В телекинез и левитацию я никогда не верил, но решил все же посмотреть на «чудо поднятия табуреток». Таня тоже заинтересовалась, и мы отправились к чудотворцу, одному из крупнейших инженеров Союза по сантехнике. По дороге товарищ рассказал, что чудотворец в особом состоянии духа способен заставить летать по воздуху любые предметы.

Пришли. Специалист по сантехнике предложил нам сесть возле табуретки и положить руки на нее, лишь слегка касаясь ее. Положили, ждем. Гляжу на Таню — ей, как и мне, неловко участвовать в этом мистическом эксперименте. Хозяин начинает просить табуретку приподняться. Табуретка ни гу-гу. Он повышает голос, начинает повелительно кричать на строптивую. Табуретка не шелохнется. Так бился он около получаса. Наконец, весь мокрый от пота, сказал, что сегодня ничего не получится. Вдобавок, табуретка с гвоздями. А спиритическая наука учит, что нужен предмет без малейших примесей железа.

По дороге товарищ клялся, что в предыдущий раз табуретка приподнималась. Мне было еще более стыдно, чем ему: зачем я послушался М. Ризла (он меня просил,

как только встречу с явлением телекинеза, написать ему) и пошел смотреть на чудо.

Через несколько дней пришло новое объяснение неудачи: кто-то из нас был скептиком. Увы, там было целых два скептика.

Меня познакомили со скульптором Василием Степановичем. Образования у него специального не было, а работал он скульптором, делал в основном памятники Ленина на заказ. Я часто бывал у него в мастерской. Единственной эстетической категорией у него был метраж: «Ленин двухметровый», «Ленин метровый» и т. д. Он лично предпочитал двухметровых — работа почти та же, а платят больше. К Ленину относился с некоторым уважением, но не слишком большим: работа приучила его к равнодушию к вождю. Памятники он делал быстро — набил руку. Но задерживал художественный совет: без его одобрения никто не мог закупить памятник (покупали колхозы, совхозы, районные и городские советы). Основным художественным критерием, по словам Василия Степановича, была степень отклонения от принятых стандартов — Ленин, сидящий в раздумье, Ленин, стоящий и указывающий рукой вдаль, Ленин, стоящий и держащийся за кепочку, и еще два-три варианта. Если рука повернута на несколько градусов в сторону от принятого стандарта, памятник считался плохим.

В самом начале нашего знакомства он рассказал мне, что после фронта у него было очень плохое здоровье, врачи махнули на него рукой, но он спасся благодаря занятиям хатха-йогой. Теперь он каждый день по два часа занимается йоговской гимнастикой. Он научился выделять жизненную энергию — прану, с помощью которой может снимать любые боли, понижать температуру больного. О его возможностях я рассказал заведующему отделом биокибернетики профессору Амосову. Амосов заинтересовался.

Василий Степанович встретился с сотрудниками Амосова и высказал свою заветную мечту: если ученые

уверятся в его способностях, то он был бы рад забросить «искусство» и работать штатным сотрудником института, чтобы все время посвящать изучению на себе возможностей йоги.

Амосов выделил ему 10 послеоперационных больных, чтобы Василий Степанович снял послеоперационные боли. У 9 больных боли действительно исчезли. Амосов поблагодарил его, но сказал, что эксперимент ни о чем не свидетельствует, так как не исключена возможность внушения. Василий Степанович обиженно сказал, что это задача ученых исключить в эксперименте все известные науке факторы обезболивания, а сам он только подопытный.

Через несколько месяцев мы с Василием Степановичем пошли на лекцию Амосова.

После лекции посыпались вопросы. Какой-то юноша спросил: «А правда, что у вас были проведены эксперименты с каким-то йогом?»

Амосов ответил: «Да, проводили. Ничего не получилось. Этот йог потребовал деньги за свое участие в эксперименте. Какой же это йог, если жаждет денег?» Публика рассмеялась.

Ради красного словца господин профессор не постеснялся оболгать честного человека.

Среди либеральной публики Амосов считается ужасным радикалом, блестящим ученым. На самом деле — Хлестаков от науки, блестящий дилетант. Сейчас он, при всем своем радикализме, уже академик и депутат Верховного Совета.

Амосов был учеником физика, академика Лашкарева, который до войны увлекался телекинезом. Амосов рассказывал мне, что у Лашкарева летали по комнате различные предметы. Несмотря на свое скептическое отношение к телекинезу, я с рекомендацией Амосова пошел к Лашкареву домой. Лашкарев встретил приветливо, с интересом спрашивал о наших телепатических опытах. Я попросил его рассказать о довоенных экспери-

ментах. Лашкарев отказался — это было давно, ему более интересны мои планы, моя методика.

Ученики Лашкарева объяснили мне, что Лашкарев и его друзья были в свое время посажены за свои опыты в концлагерь и теперь Лашкарев не хочет ворошить прошлое. Через несколько лет Н. В. Суровцева, которая знала Лашкарева по лагерю, подтвердила это.

На этом мои встречи с «телекинезом» не закончились. Как-то случайно мне попала газета «Киевский пролетарий» за 1925 год. В газете рассказывалось о «чуде на Саперной слободке». К одинокой женщине приехала ее сестра. Однажды сестры увидели, как по квартире стали летать предметы — мыльницы, поленья и т. д. Женщины перепугались и вызвали милицию. Милиционер пришел, посмотрел на беспорядок в воздухе, вытащил пистолет и выстрелил в потолок.

Что еще мог сделать милиционер в борьбе с телекинезом? . .

Поленья и мыльницы не испугались . . .

Пришли агенты ГПУ. У этих логическое мышление развито поболее, поэтому они тут же арестовали сестругостью, но вскоре отпустили, т.к. предметы продолжали хулиганить в ее отсутствие. Пригласили ученых. Невропатолог академик Маниковский и какой-то профессор приехали, посмотрели и сказали, что наука знает такие факты, но пока не может их объяснить. Ничего сверхъестественного в этом нет, и в будущем будет найдено материалистическое объяснение.

Я навел справки о Маниковском и узнал, что его сын, профессор Маниковский, работает в Октябрьской больнице. Когда я спросил у профессора о случае, описанном «Киевским пролетарием», он мрачно посмотрел на меня и сухо заявил, что подобными вещами он не интересуется. Я вспомнил академика Лашкарева . . .

Но хватит о чудесах, ведь я подошел уже к октябрю 1964 года. На пленуме ЦК КПСС скинули Хрущева. На радостях на работу я пришел выпивши. Один из сотрудников спросил — с какой стати я выпил? Я объяснил.

— Дурак! Я думаю, будет хуже.

— Возможно, но чем чаще они будут свергать друг друга, тем скорее рухнет режим.

Я написал письмо в ЦК партии.

В письме было несколько разделов.

Первый назывался: «Довольно!». Смысл состоял в том, что-де довольно советскому правительству позорить свою страну, довольно культов, довольно волонтаризма, довольно антисемитизма и т. д.

Второй назывался: «Мы требуем!». Здесь я изложил требования оплаты чиновников не выше средней зарплаты рабочего, введения территориального принципа построения армии (чтобы не повторились новочеркасские события, в которых, после отказа русских и украинцев стрелять по рабочим, заставили стрелять солдат из Средней Азии и Закавказья; чтобы не проводилась русификация нерусских солдат), публикации тайных договоров — т.е. предреволюционные требования большевиков.

Письмо это я передал через знакомую своему другу Эдуарду Недорослову, жившему в Одессе. В конце письма была приписка: «Добавь, убавь, что хочешь. Если считаешь более целесообразным, то в виде прокламаций распространим без подписи в Университете и Политехническом институте».

Нас, пропагандистов, созвали на лекцию о Хрущеве в здании ВПШ. Лекция состояла в основном из общих, расплывчатых фраз. Учитывая, что мы ученые, нам говорили, в основном, о вмешательстве Хрущева в дела науки. Хрущев, оказывается, навязывал Космическому центру сроки запуска ракет, исходя лишь из соображений политической конъюнктуры. Хрущев подерживал академика Лысенко в его борьбе с генетиками. Хрущев хотел лишить Академию наук автономии (как будто эта автономия была до или после Хрущева). Советское правительство заботится о том, чтобы ученые были материально обеспечены и всю энергию отдавали науке. А Хрущев хотел отменить надбавку за канди-

датскую или докторскую степень, за звание академика.

В лекции опять-таки было учтено, что в зале много украинцев, и поэтому лектор усиленно подчеркивал, что Хрущев грабил Украину, особенно колхозников, выкачивая все зерно в Россию.

Затем рассказ коснулся барской жизни Хрущева. Оказывается, у Хрущева было 33 дачи по стране, и дачи эти были отнюдь не скромными.

Я послал лектору записку. В ней был вопрос, почему зародился новый культ и нет ли в этом закономерности. Второй вопрос затрагивал проблему гласности: почему в газетах нет изложения причин снятия Хрущева.

Я напрасно ждал ответа.

Примерно в это же время Виктора Платоновича Некрасова вызвали к Шелесту. Шелест выразил Виктору Платоновичу сочувствие по поводу нападок на него Хрущева (о нападках Подгорного Шелест забыл). Некрасову было предложено написать статью о Хрущеве. Не задумываясь, Некрасов ответил отказом: «Мертвых я не трогаю». Затем был разговор с Козаченко, секретарем парторганизации Союза писателей Украины. Тот объяснил, что когда парторганизация хотела выгнать Некрасова из партии, то все, конечно, были в душе на стороне Виктора Платоновича, «но ты ж понимаешь...»

Через 3-4 недели после того, как было отправлено письмо в Одессу, я получил телеграмму от Эда. «Ничего не предпринимаю. Подробности письмом».

На следующий день я сидел в лаборатории и что-то писал. Открылась дверь и появилась добродушно улыбающаяся физиономия Ю. П. Никифорова, «старого приятеля» из КГБ, с которым мы когда-то обсуждали проблемы телепатии. Сердце неприятно защемило. Но я тоже улыбнулся и спросил его, зачем он здесь. Юрий Павлович попросил выйти и поговорить. Я ответил, что за 5 минут покончу с делами. Он вышел. Я быстро запрятал самиздат.

На улице с двух сторон подошли «товарищи в штатском» и, улыбаясь, провели к машине. Уже сидя в ма-

шине, я спросил Юрия Павловича, о чем будет разговор. Юрий Павлович начал расспрашивать о работе, об экспериментах по телепатии. Сердце радостно ёкнуло — видимо, хотят создать секретную лабораторию. Наконец-то! Но и тревога осталась, непонятно почему.

Зашли в здание республиканского КГБ, завели в кабинет. Вошел еще один.

— Леонид Иванович, расскажите о ваших планах, о проблемах, которые вас интересуют.

Я начал с телепатии. Кагебисты заскучали и через 10-15 минут стали расспрашивать о философских интересах. Я рассказал о семинаре. Они стали расспрашивать детали, но вскоре опять заскучали. Был задан наводящий вопрос о Толстом. Я обрадовался — видимо, кто-то донес только о моем увлечении Толстым, его философией. Подробно изложил им, что ценного вижу у Льва Николаевича (свою критику Толстого опустил). Они спросили, какие недостатки я вижу у советской молодежи. Я указал на рост преступности и попытался высказать свои предположения о причинах этого явления: увеличение свободного от работы времени, идеологический вакуум, скука официальной пропаганды, недостаток культурных запросов и т. д. О социальных причинах предпочел промолчать, указав лишь на тот факт, что моральное разложение особенно затронуло детей зажиточных, чиновных родителей. Они попросили указать соответствующие факты. Я напомнил несколько нашумевших дел, о которых в прессе ничего не было, но о которых знал весь Киев.

Беседа длилась около двух часов. Я заметил, что у меня противно дрожат палец и голос. Было неприятно, т.к. на уровне сознания я был спокоен, уверенный в том, что у них нет против меня никаких серьезных данных.

Наконец меня перевели в другой кабинет и задали вопрос о зарплате чиновникам и рабочим. Я понял — письмо у них. Палец сразу же перестал дрожать, голос

окреп — страшит ведь не столько реальная угроза, сколько неопределенность угрозы.

Я процитировал Ленина о том, что необходимо, чтобы оплата любого чиновника была не выше, чем средняя зарплата рабочего. Никифиров заметил, что не все, что говорил Ленин, верно. С этим смелым заявлением сотрудника тайной полиции я, естественно, согласился, но парировал тем, что Ленин подчеркнул, что по вопросу о государстве ленинский принцип оплаты чиновников — самое важное. Я объяснил, что это создает материальную гарантию против погони за чинами, теплыми местечками, против бюрократизации социалистического государства. Кагебист рассмеялся: «Но это же наивно желать, чтобы кухарка получала больше министра». Сердце от удовольствия сжалось — сейчас я выдам этому «охраннику социализма-ленинизма!..»

Я процитировал слова Ленина: «Понижение оплаты высшим государственным чиновникам кажется «просто» требованием наивного примитивного демократизма. Один из «основателей» новейшего оппортунизма, бывший социал-демократ Эд. Бернштейн не раз упражнялся в повторении пошлых буржуазных насмешечек над «примитивным демократизмом»».

И не удержался от насмешки:

— Вот в какую сомнительную компанию вы попали.

Он не выдержал и прекратил свободную дискуссию — положил мое письмо на стол.

— Это вы писали?

— Да.

— Зачем?

— Я думал послать его в ЦК.

— Только в ЦК?

— Нет, если Недорослов посчитал бы это глупым, то я думал распространить письмо среди студенческой молодежи.

— Зачем?

— Я это объяснил в письме. До каких пор вы будете издеваться над народом, над идеалами коммунизма?

Естественно, я не могу вспомнить диалог точно. Я пытаюсь лишь передать смысл аргументов с обеих сторон.

Никифиров перешел к отдельным фразам в письме.

— О каком расстреле рабочей демонстрации вы пишете?

— О новочеркасском.

— Откуда вы знаете об этом?

— Мои знакомые ездили туда и знают об этом от очевидцев.

— Что именно они рассказывали?

— Повысили по всей стране цены на мясо. А на новочеркасских заводах снизили оплату труда рабочим. Рабочие вышли на демонстрацию. Против рабочих обком партии выслал гарнизон. Начальник гарнизона, полковник, позвонил в Москву к Хрущеву и спросил, можно ли не подчиниться обкому и не стрелять в демонстрантов. Хрущев приказал стрелять. Полковник застрелился сам. Солдаты и офицеры отказались стрелять. Тогда вызвали солдат-азиатов и кавказцев. Они расстреляли демонстрацию. Вскоре после этого по городу прошли аресты зачинщиков.

— Кто это вам рассказал?

— Знакомые.

— Какие?

— На этот вопрос я не хочу отвечать.

— Вы же математик. Как вы можете доверять тому, что кто-то сказал?

— Я не виноват, что столь важные события не описываются в прессе либо фальсифицируются. В таких случаях я пытаюсь получить информацию от разных людей, с разными взглядами. У меня нет времени и денег, чтобы поехать в Новочеркасск. Возможно, часть фактов изложена мною неверно, однако сам факт расстрела мирной демонстрации известен всей стране.

— Ну, вы все же подумайте — можно ли писать в ЦК, исходя из непроверенных фактов?

— Я настаиваю на том, что основной факт, расстрел,

точен и что русские и украинские солдаты отказались стрелять. А об этом только я и писал в ЦК.

— Вот вы здесь пишете об отсутствии свободы печати. Но вы ведь знаете, что печать у нас партийная, народная и не может печатать антисоветских статей.

— Ленин писал, что при социализме каждый волен говорить и писать все, что ему вздумается, без малейшего ограничения свободы слова и печати.

— Вы начетчик, Леонид Иванович. Вы вырвали одну фразу Ленина и не прочли его статью о партийности литературы.

Мне опять стало весело — и эту партию я выиграл, и сейчас кагебист окажется на лопатках.

— Дело в том, что я процитировал вам именно из этой статьи.

— Как же так? Ведь даже само название статьи говорит о противоположных взглядах Ленина.

— Вы не поняли этой статьи. Во-первых, Ленин писал, что любая книга, с любым содержанием является партийной, т.е. в конечном итоге отражает взгляды той или иной группы, слоя, класса, нации. Во-вторых, Ленин говорил, что если ты член компартии, то не можешь проповедовать в своих книгах антикоммунистические взгляды. Если же ты не член партии, то у тебя есть право писать, что хочешь. Это зафиксировано и в Конституции.

— Где вы видели антисемитизм?

— При поступлении в университет, в нашем институте, мне говорили об этом знакомые преподаватели университета, мои знакомые, молодые евреи, не могли поступить на Украину в институты, а они очень способные.

— Леонид Иванович, мы ведь живем на Украине и должны думать о том, чтобы евреи не преобладали в институтах. (Никифиров — русский.)

Тут он прервал разговор, куда-то вышел. Вернулся и сказал, что рабочий день в КГБ окончен и что я должен

прийти через день. Никифиров предупредил также, чтобы я никому не рассказывал о нашем разговоре.

(Перечитал я сейчас эту беседу и, к сожалению, увидел, что, верно изложив ее смысл, я улучшил его аргументы — они были расплывчатее, бессодержательнее. Да и я, кажется, отвечал менее четко.)

Придя домой, узнал, что за Таней тоже приезжали и возили ее в КГБ. Ее спросили, знала ли она о письме. Она ответила: «Да».

— Поддержали ли вы мужа в намерении писать это письмо?

— Нет, так как считаю, что такие письма не могут принести никакой пользы.

— Согласны ли вы с содержанием письма?

— С некоторыми мыслями — да. Культ Хрущева не должен повториться. С антисемитизмом я тоже сталкивалась. Но политикой я не интересуюсь и потому о существе взглядов моего мужа сказать не могу.

На следующем допросе расспрашивали о том, кто помогал писать письмо, кто знал о нем.

Я говорил лишь о тех, кого они уже знали: о жене, об Эде, о девушке, которая передала письмо.

Затем они стали расспрашивать подробно о моих взглядах на советские порядки.

Я охотно отвечал. Увы, это делают почти все новички в КГБ. Трудно поверить, что улыбающийся тебе человек совсем уж глуп и подл, и кажется, что можно его убедить если не в истинности своих взглядов, то в своей честности, в отсутствии антисоветчины.

Они стали требовать в подтверждение моего тезиса о плохом материальном положении рабочих и крестьян статистических данных.

Я ответил, что у нас в стране вовсе нет нужных для выводов статистических данных, они засекречены.

— А вы искали?

— Искал.

— Где?

— В библиотеке Академии наук.

В конце концов они все-таки мне доказали, что я плохо искал статистические данные. Я признал это.

— Странно, вы же математик, а не любите использовать цифры о состоянии экономики, зарплаты и т. д.

— Ну, что ж, помогите мне найти эти данные.

— Что вы, у нас и без этого много работы! Советуем вам не спешить с выводами и ничего не писать, пока не изучите статистику.

Как математик я согласился с советом.

Впоследствии, сколько ни искал нужных данных, так и не нашел либо находил слишком обобщенные цифры, которые не дают возможности изучить разрыв в оплате чиновников, рабочих и крестьян.

Кое-что забавное в методах советской статистики все же обнаружил. Например, «оказалось», что в США производство сахара не только не возросло, но и снизилось. Я навел справки. В самом деле, цифры не врут: у американцев достигнут необходимый для удовлетворения потребностей населения уровень производства сахара.

Темпы паровозостроения в СССР гораздо выше, чем на Западе, потому что на Западе перешли на... тепловозы, на электровозы и потому что большая часть населения предпочитает ездить на автомобилях.

Когда говорят о снижении преступности, то приводят, видимо, верный процент снижения. Вся соль в том, что за исходную точку отсчета принимают послевоенное десятилетие с типичным для военного и послевоенного времени высоким уровнем бандитизма, воровства, спекуляции, хулиганства и т. д. Приводят только процент, а не число преступников. (Однако ничто им не мешает публиковать две различающиеся между собой статистики: одна — для ЦК, Верховного Совета, Совета Министров, КГБ и МВД, другая — для народа и заграницы.)

После беседы в КГБ было собрание в лаборатории. Здесь не доказывали, что я неправ по существу, — с этим молча соглашались, либо не интересовались, — а говорили о бессмысленности таких писем, об угрозе для всей лаборатории, о том, что нужно каждому зани-

маться своими профессиональными делами, а не лезть в области, где ты дилетант. Я поставил вопрос о семинаре и политзанятиях.

— Но ведь как пропагандист ты не выступаешь против власти? Мы будем настаивать перед КГБ, чтобы ты остался пропагандистом.

Все видели парадокс, что я, единственный марксист в лаборатории (не считать же марксистом члена партии, он просто не интересовался идеологией), являюсь единственным неблагонадежным. Кто поумнее — посмеивался над этой ситуацией, кто поглупее — удивлялся: чего же мне надо, если я признаю официальную идеологию?

Через несколько дней приехала из Одессы «связная» Н. Она рассказала о том, что привело нас в КГБ. Отец Эда — пограничный чин. Когда разоблачили Берию и Сталина, он и его сотрудники очень переживали — нет ли и на их совести греха против невинных людей? Они перебирали все случаи поимки шпионов — не было ли среди них «лжешпионов». Вот вспомнили — и неделю мучаются. Затем находят доказательства его вины — совесть успокаивается.

Жена отца, мачеха Эда, его не любит, т.к. считает неудачником (он вместо института поехал на целину, затем работал на заводе).

Наша «связная» Н. спросила мачеху: «Где Эдик?»

— Нет его. А что вам нужно?

— Я привезла ему письмо.

— Давайте, передам.

— Нет, я сама.

На следующий день Н. передала Эду письмо в руки. Тот прочел и оставил в кармане. Мачеха обыскала все его вещи и нашла письмо. Прочла и отдала отцу. Отец хотел поговорить с Эдом, но мачеха настаивала отнести письмо в КГБ. Отец отказывался — мачеха стала упрекать его в отсутствии принципиальности. Отец показал письмо знакомым из КГБ и уговорил их провести допрос в домашних условиях.

Эд утром просыпается и видит перед собой отца и двух «в штатском».

Отец показал письмо и заявил, что нужно будет обсудить письмо.

Эд вышел умыться и увидел плачущую мачеху. Расстрогался — не ожидал, что мачеха так близко к сердцу примет угрозу, нависшую над пасынком. Но из слов, прорывающихся сквозь плач, выяснилось, что мачеха плачет из обиды на отца. Она хотела присутствовать на допросе, но отец выгнал. Тогда она залезла под кровать, чтобы послушать. Ее обнаружили и заставили вылезть. Неудовлетворенная любознательность запротестовала против фаллокрации — слезами.

Эду стало тошно на душе. Безразличен стал допрос: на фоне патологии родителей угроза попасть в лапы КГБ казалась даже спасением.

Допрашивали 7 часов, с перерывами.

На следующий день еще 6-7 часов, на этот раз в здании КГБ.

Вопросы почти те же, что и мне.

Телеграмму мне не посылал. Послали ее они сами — так боялись, что я успею распространить наше письмо.

В КГБ вызвали Н., писателя Федора Андреевича Диденко, сидевшего при Сталине в лагере. Но ничего нового обо мне не узнали.

После этой истории я решил более тщательно относиться к тому, что пишу на политические темы: проверять факты, собирать статистические данные, всесторонне изучать историю партии, марксистскую философию. И писать для самиздата только под псевдонимом — «залечь на дно», как сказано в песне Высоцкого.

Перечитал «Государство и революцию» Ленина. В начале казалось, что основное в социалистическом государстве экономически — оплата по труду, а политически — антибюрократические гарантии (выборность, сменяемость, оплата ниже среднего рабочего, свобода критики руководящих органов) и постепенное отмирание государства. Попытался хотя бы приблизительно под-

считать, сколько непосредственно сжирает партийная верхушка народных денег. Оказалось, не так уж много. Куда же идет прибавочная стоимость? На расширенное воспроизводство, на подготовку войны, на ветер (пропаганда, «мыльные пузыри» вроде космических достижений, огромные страйки с малой производительностью труда, нерентабельные предприятия), на полицейский аппарат и т. д.

Обратился к Марксу. Лучшее, что я читал о необходимости свободы слова, печати, союзов, собраний и т. д., — это статьи Маркса. Стало ясно, что эти свободы — политическая гарантия от перерождения социалистической революции.

Из «Философско-экономических рукописей 1844 г.» Маркса узнал, что все, созданное человеком, имеет тенденцию выходить из-под власти человека, становиться не только независимым от человека, но и чуждым, враждебным ему. Это и отчужденная идея, и труд, и продукты труда, и человеческие организации, и, наконец, государство. Когда Ленин говорит о государстве как машине подавления одного класса другим, то он видит лишь наиболее бросающуюся в глаза функцию эксплуататорского общества.

Маркс и Энгельс видели сущность государства глубже Ленина. Они указывали, например, на такие эпохи в истории, когда государство встает над классами, становится более или менее автономным. Оно балансирует над классовыми противоречиями, опираясь на несколько враждующих классов.

Я написал свою первую самиздатскую работу «Письма к другу». Псевдоним — Лоза.

Было написано 10 писем-глав. 11-е не дописал, так как пришел к выводу, что не следует в одной работе рассматривать все проблемы советского государства.

Основные тезисы Лозы были: необходимость демократии для социализма, советское государство — абстрактный капиталист, экономически СССР — государственно-капиталистическое общество, по форме — идеократия,

переходящая в идолократию, т.к. идея уже мертва в государстве (но не в народе, у народа она — инстинктивный протест против идола, сожравшего идею, но взявшего на себя имя идеи), бюрократы — не новые эксплуататоры, а лишь слуги абстрактного капиталиста-государства, которое делится с ними своей прибылью (т.к. абстракция должна опираться на, осуществляться через живых людей, как Бог древнего Египта опирался на жрецов, чиновников, фараонов, армию и полицию).

Не было под рукой данных о зарплате высших чиновников, поэтому я указывал главным образом на неофициальные доходы, льготы наших властителей. У высших чиновников есть так называемые «распределители» — специальные, скрытые от населения магазины, в которых «слугам народа» продают товары высшего качества или дефицитные и по цене в 2-3 раза дешевле, чем в обычных магазинах. У жены на работе были две сотрудницы, пользовавшиеся такими распределителями (их мужья работали чиновниками в Совете Министров УССР). Одна завидовала другой, т.к. их мужья пользовались разного ранга распределителями, и они, не стесняясь сотрудников, делились, что им «давали»: та, что повыше рангом, хвасталась перед другой.

Знакомый профессор-физиолог, напившись, как-то стал передо мной каяться и негодовать на свою судьбу. Он был учеником одного из крупнейших чиновных академиков-павловцев. Благодаря этому он работал в специальной клинике для ЦК партии, Верховного Совета и Совета Министров Украины. Он пользовался всеми благами распределителей, курортами, дачами, машинами и т. д. Достаточно было попросить своего пациента «слугу народа», и любое почти желание исполнялось. Но в советской физиологии шла борьба за власть, и победил противник учителя моего приятеля. Над приятелем сгустились тучи. Спасли пациенты. Более того, он пошел в гору, т.к. получил доступ к тайному борделю ЦК партии (тут же прервал рассказ: «Поедем? У меня осталось сейчас несколько подруг из этого бардака.

Класс-бабы!»). Увы, это его и погубило. Одна из цеховских девочек забеременела. Друг из ЦК попросил его взять отцовство на себя. Он гордо отказался, т.к. ведь не только он пользовался ее прелестями. По национальности жертва страстей «слуг народа» была полькой. Перехватили письмо моего профессора, где он обзывал ее «польской шлюхой». Она пожаловалась Ванде Василевской, советской польской официальной писательнице, жене А. Корнейчука, «звезды» украинской литературы, тоже чиновного.

Возникло дело о шовинизме. К нему добавили идеологические диверсии в области физиологии, на каковые и перенесли удар. Но были уже либеральные времена — ограничилось устным выговором. Великосветский бордель прикрыли.

Слышу его пьяный комментарий: «Да и зачем он им? Все бабы к их услугам. Правда, сил у них на баб мало — староваты. Приходится прибегать к заграничным возбудителям! Особенно сильный возбудитель — бирманский, колоссальные деньги платят, не свои, конечно. Хочешь, достану тебе? Я сейчас получаю 400 рублей. Я понимаю тебя — я тоже ненавижу буржуазию. Они покупают меня. С... я хотел на их деньги. Я пропиваю их — у меня ведь тоже есть совесть».

Он выпил еще стакан, обидевшись, что я мало пью. Полез обниматься, восторгаясь моей «революционностью». Я сам был достаточно пьян от спирта (таково обыкновение во всех медицинских и биологических учреждениях: почти весь спирт идет экспериментатору и его друзьям), но было противно. Он опять стал настаивать, чтобы поехали к «класс-бабе», «цекистке». Позвонил ей, несмотря на мои протесты.

— У нее уже гость. Ладно, едем к другой.

Я возражал, но был настолько пьян, что он затащил меня в такси и... поехали. Приехали к нему домой. Знакомит с женой.

Сдуру я перепугался — неужели он предлагает... Оказалось, что он все перепутал и забыл о своем намерении...

Наша знакомая — воспитательница московского детского сада для детей «слуг народа». Чиновники делятся на «чадолюбивых» и «нечадолюбивых». Последние отдают своих детей (и внуков) в детсады кругло-суточные и забирают их лишь по воскресеньям и субботам. «Чадолюбивые» отдают лишь на восемь часов. Знакомая наша работала в детсадике для «чадолюбивых». У каждой группы детского сада свой автобус, и дети на нем ездят в лес, на луг, на поля, к речке, в музеи и т. д. Каждый день им дают свежие фрукты и овощи, которые привозят специально самолетами из Крыма. Игрушек, конечно, обилие. Короче, микрокоммунизм для детей борцов за коммунистический рай на земле.

Воспитательница жаловалась на свое положение. Она тоже пользовалась благами, но расплачивалась за это постоянным напряжением. Дети-то понимают свое значение в жизни страны. Так, внук Громыко, если ему сделают замечание, поднимает крик и грозит: «Мой дедушка посадит тебя в тюрьму». Однажды мальчик (менее чиновный) прищемил дверью пальчик громыченка. Поднялся гром-плач. Приехала бабушка. Маленького «княжича» отвезли к одному из лучших врачей. Тот ничего не обнаружил, но лечение назначил. Нависла угроза над всем персоналом. Отделались легко — была уволена только одна воспитательница.

Однажды Таня участвовала в награждении медалью детского сада кондитерской фабрики за образцовую работу. После официальной части был банкет. Руководители фабрики подали «товарищам из министерства» правительственные конфеты и печенье. Названия этих продуктов те же, что и в обычных магазинах для простонародья. Но качество гораздо выше. (Известно, что мед для «слуг народа» получают на специальных пасеках, находящихся в садах и полях, не отравленных химикалиями...)

Другая знакомая, инженер-строитель, участвовала в

строительстве дач для украинского начальства в пригороде Киева Конча-Заспе. Она рассказывала, что огромные деньги тратятся не только на то, чтобы были все мыслимые удобства, но и на то, чтобы вождь *видел*, как ему хорошо жить, чтобы благоустройство было выпячено и даже гипербололизировано.

Моя жена разъезжала по всей Украине, проверяя работу детских садов. В Тернопольской области показали ей место, где находится тайный публичный дом для областного начальства. Домом этим часто пользуется и приезжающее начальство из Киева. Окрестное население знает об этом домике отдохновения от государственных дел, и нетрудно представить, что оно думает о советском правительстве.

В 1970 или 71 г. в Николаеве было республиканское совещание, посвященное работе детских садов в сельской местности. Участвовали в нем представители ЦК, Министерства просвещения, заместители председателей областных советов трудящихся, председатели многих колхозов Украины. Николаевскую область выбрали потому, что там состояние детских садов было самое лучшее. Показывали незадолго до этого созданные детские сады, неплохие, построенные по специальным проектам здания. Но, когда готовили совещание, оказалось, что почти во всех детских садах отсутствуют площадки для игр, нет никакого оборудования и игровых материалов. Материалы срочно закупили, а оборудование для площадок заказали в близлежащих концлагерях. Заключение и здесь помогли созидать «потемкинские деревни» социализма.

Эти и многие другие факты дали мне основание для вывода, что у нас в стране создана новая форма эксплуататорского общества.

*

Самиздат в те времена был преимущественно художественным и философско-религиозным, и потому, мо-

жет быть, моя первая работа не получила широкого распространения. Лишь через несколько лет я узнал, что где-то нашли эту работу и дали за нее срок, т.к. там были слишком резкие выражения. Во всех последующих работах я пытался облекать злую критику в эвфемистические слова: зачем говорить, что Андропов — бандит и что по нему плачет Нюрнберг, можно ведь написать, что организация его антиконституционная, антисоветская и т. д. Смысл тот же, зато читателю дадут, может быть, меньший срок.

На работе в это время было спокойно. Лаборатория искала свою тематику, разбрасывалась по самым различным проблемам. Я все больше убеждался в том, что математика явно неспособна пока внести существенный вклад в развитие биологии, медицины и психологии.

Профессор, страдающий от укоров совести из-за своей буржуазности, познакомил меня с профессором П. из Института физиологии.

П. изучал китайские точки. Он разработал прибор, измеряющий их биопотенциалы. Оказалось, что при заболеваниях внутренних органов в связанных с ними точках наблюдается резкое повышение потенциала. П. хотел разработать соответствующую диагностику заболеваний. Но какие-то постоянные помехи путали картину. Оказалось, что потенциал в точках зависит от магнитных бурь на солнце. П. попросил меня доказать статистически, что такая связь существует. Я начал с того, что попытался проверить, не являются ли «чакры» — энергетические центры по теориям йогов — разновидностью китайских точек чжень-цзю терапии. И в самом деле, вдоль спинного хребта мы обнаружили 12 точек с повышенным потенциалом, соответствующих чакрам.

П. дал мне данные за несколько лет, данные о потенциалах в различных точках и данные о магнитных бурях. Я сопоставил их и на самом деле показал ярко выраженную количественную связь между этими данными (хотя сам материал был очень хаотичен, и при-

шлось решать множество проблем, чтобы упорядочить его).

В это время пришла брошюра корейского профессора Ким Бон Хана о кенрак-системе. Начинаясь она очень забавно. Под руководством мудрого Ким Ир Сена корейские ученые осуществили призыв вождя и объединили древнекорейские и современные научные достижения. Благодаря этому удалось найти объяснение чжень-цзю терапии. Оказалось, что, кроме нервной, кровеносной и лимфатической системы, существует 4-я проводящая система, связывающая энергетические центры организма — китайские точки. Ким Бон Хан доказывал это с помощью гистологических срезов. В брошюре приводились соответствующие фотографии.

Я загорелся и стал агитировать П. проверить и развить идеи корейцев, чтобы мы смогли опереться на новые данные в исследовании китайской и индусской древней медицины. П. указал, что брошюра написана на крайне низком научном уровне.

— Тем более вы должны все это проверить.

Вскоре состоялась Всесоюзная конференция по чжень-цзю терапии. П. приехал оттуда в юмористическом настроении. Новейшие достижения корейской социалистической физиологии оказались очередным блефом.

Фотографии ничего не показали, нужно было вооружиться диалектико-материалистическими очками, чтобы заметить четвертую проводящую систему (как это в свое время произошло с О. Лепешинской, которая увидела, как бесклеточное вещество превращается в клеточное).

Конференция окончилась смехом, но партия запретила публиковать выводы: это могло поссорить СССР с Ким Ир Сеном. Тут уж не до смеха.

В это время по соседству с нами появилась строго засекреченная биокibernетическая лаборатория под руководством Кия и Колесникова.

Раньше они входили в отдел Амосова. Я был еще студентом, когда меня познакомили с ними. У них возникла

идея снимать биотоки с какого-нибудь органа здорового человека и передавать их на соответствующий орган больного человека, после чего он сможет, например, двигать парализованной ногой. Таким же способом удастся лечить импотенцию. В своих мечтах они шли дальше: вводить электроды в мозг и с помощью радиосигналов управлять поведением человека. Однажды я прочел о подобных опытах американского ученого Дельгадо. Показал Кию. Они пошли в ЦК партии, показали статью и объяснили, что американцы смогут найти метод радиуправления массами людей и мы не должны от них отставать. Секретарь ЦК по делам науки отдал соответствующие распоряжения. Серьезные ученые нашего института пытались охладить пыл молодых энтузиастов, составить осторожный план работы, научно обоснованный. Но напор Кия и Колесникова, поддержанный ЦК, был настолько силен, что оба «ученые» получили автономию в отделе биокibernетики. Они стали вести интриги против Амосова, против его сотрудников. Дело доходило до борьбы даже за туалет. Наконец Амосову удалось выгнать их из отдела. Они создали самостоятельную лабораторию. Работа лаборатории была окутана тайной. Даже простые техники почти не говорили с нами (наши лаборатории находились рядом). Начались интриги против нашей лаборатории. Заведущему нашей лаборатории Антонову было трудно с ними бороться: он не обладал заслугами и чинами Амосова. Да и плести контринтриги он не очень умел, хоть и пытался.

Над нами нависли тучи.

В это время к нам поступил на работу молодой техник. Он был кандидатом в члены партии. Я был комсомольским деятелем, и потому он попросил меня уладить его несколько запутанные дела с поступлением в партию. Я осторожно расспросил его и увидел, что это честный, наивный парень.

Я спросил его прямо:

— А зачем тебе это нужно?

— Не нужно. Просто уговорил парторг в армии.

Я осторожно напомнил ему о Сталине, о Хрущеве. Он понял и попросил помочь отделаться от высокой чести быть членом партии. Это оказалось нетрудно (хотя небольшие неприятности у него все же были потом).

Однажды по институту разнесся слух: будут проверять работу лаборатории Кия и Колесникова. Антомонов вошел в комиссию.

Оказалось, что лаборатория эта заключила договор с Министерством обороны и под честное слово закупила на огромные суммы множество приборов. (Один из них впоследствии перекачывал к нам — суперсовременный спектроскоп, купленный за большие деньги в ФРГ. Мы спрашивали у сотрудников Колесникова, зачем он был им нужен. Оказалось, что прибор купили на всякий случай, была идея, что с его помощью будут исследовать какие-то излучения тела. Какие — никто не знал.)

Комиссия установила, что, пользуясь секретностью, Кий и Колесников писали нелепые статьи, переполненные военными грезами. Эти статьи читали только чины армии. Понимали они только грезы, а всю научную муру оставляли исполнителям.

После проверки было проведено совместное профсоюзное собрание нашей и их лаборатории. О выводах комиссии нам не говорили.

На собрании обсуждались интриги их руководства, всевозможные подлости, которые они делали нам и амосовцам. Нас поддержали их рядовые сотрудники.

На собрании присутствовал представитель от партбюро института, человек явно не глупый и, кажется, честный. В конце собрания он подытожил все наши обвинения и предложил слить лабораторию.

Затем произнес:

— Сейчас проведем закрытое партийное собрание. Коммунистам остаться.

Все чуть не рассмеялись — остались только те, кого только что громили (единственный наш член партии давно уже перешел в другой институт; сотрудники уго-

варивали меня поступить в партию, т.к. нехорошо, что в лаборатории нет ни одного члена партии, но я отказался).

Наш техник подошел и поблагодарил меня:

— Спасибо, что сейчас я не с ними.

Кия и Колесникова, а также парторга Бухарина выгнали из лаборатории «за авантюризм в науке».

*

Я сблизился с несколькими бывшими сотрудниками Колесникова.

Один из них рассказал мне о порядках, царивших у них.

Однажды его вызвали Колесников и Бухарин.

Колесников спросил: «Вот ты часто встречаешься с этим жидом — Х. Разве у тебя нет друзей среди русских и украинцев?»

— А какое значение имеет его национальность? Он интересный ученый.

— Евреи в науке всегда работают только на себя. Например, даже у Эйнштейна не было своей научной школы. А Ландау?

Парторг только поддакивал.

Колесников после войны служил в войсках НКВД и принимал участие в борьбе с бандеровцами (у нас в стране официальная пропаганда не делает различия между разными течениями националистического партизанского движения на Украине. Бандеровцами называют и тех, кто был с фашистами, и тех, кто боролся с фашистами, и тех, кто ни с кем не боролся и никого не поддерживал, в частности, советскую власть).

Пьяный, он рассказывал о методах борьбы НКВД. Вот им дали список партизан данной местности. Они врываются в хату и спрашивают:

— Иван дома?

— Нет. Я брат его . . .

Брата расстреливают, а в списке против Ивана ставят крестик — враг уничтожен.

Бывали случаи, когда «Иван» уничтожался по 3-4 раза.

Самое парадоксальное, что этот Колесников презирал советскую власть, коммунистическую идеологию, «быдло» — рабочих, крестьян. Но жил он по своей любимой пословице: «С волками жить, по-волчьи выть».

Мой шеф, Антомонов, человек в некоторой степени честный, пытался убедить Колесникова, что методы его борьбы с конкурентами в науке не совсем чистоплотны. Он всегда отвечал ему этой пословицей.

Незадолго до моего ареста я узнал, что Колесников благополучно устроился в одном из биологических институтов, а Кий перешел в другой отдел нашего института. Ведь они — верные генеральной линии партии люди.

У меня накопилось много наблюдений о моральном облике ученых. Большинство из них и умнее, и честнее Колесникова. Мне бы не хотелось очернять советскую интеллигенцию. Но не случайно, что среди академиков не нашлось почти никого, кто поддержал бы Сахарова, среди писателей — Солженицына.

*

В последнее время в Советском Союзе среди интеллигенции усиливается тенденция не участвовать в злодеяниях государства. Честные, думающие ученые пытаются не лгать в науке, не помогать развиваться военной промышленности. Честные педагоги предпочитают преподавать точные науки: там не надо лгать.

Моя жена по тем же соображениям с удовольствием перешла из Кабинета дошкольного воспитания в Кабинет игр и игрушек, потому что, казалось, здесь не будет лжи. Шахматы и куклы — вне идеологии.

Но...

Солженицын призвал «жить не по лжи». Этот принцип — один из принципов демократического движения. Но у нас на Родине почти невозможно соблюсти этот принцип, жить по нему практически.

Когда Таня изучила теорию игрового воспитания и практику его в детских садах, то убедилась, что и играми можно лгать.

До последнего времени одним из принципов советской педагогики было ограничение военных игрушек: винтовок, танков, пушек и т. д. Но потом стали проповедовать «военно-патриотическое воспитание», внедрять его не только в школе на уроках, но и проводить через игры, игрушки. Для советских идеологов патриотизм стал почти что синонимом милитаризма.

Проводят военные игры «Зарница» по всей стране и в это же время высмеивают военизацию школ в Китае, обилие военных игрушек в США.

Старые педагоги по инерции бракуют военные игрушки. Их ругают за консерватизм, неправильное представление о воспитании игрой.

Маленьким детям постоянно подсовывают «идейно» насыщенные игры: «Широка страна моя родная», «Октябрьская революция», «Герои войны». Умные педагоги пытаются объяснить, что детям в столь маленьком возрасте почти все «идеи» неинтересны и сложны, нужно закладывать элементы человеческой морали, логики, эстетики, и только на этой базе можно уже в школе обучать истории страны, мира, говорить о тех или иных политических идеях. Но такие высказывания кажутся властям признаком в лучшем случае идейной незрелости.

Невозможность «жить не по лжи» для большинства приводит к мысли о бегстве — в лес, в село, за границу, к Богу — куда-нибудь подальше из царства лжи, страха, идиотизма.

Эта мечта советского интеллигента выражена в «Искуплении» Даниэля:

«Ах, забыть бы всё, что было — не было», уйти,
убежать за кибиткой кочевой [...] Ах, мечта, милая сердцу! [...]

Отвечаю я цыганкам: «Мне-то по сердцу
К вольной воле заповедные пути,
Да не двинуться, не кинуться, не броситься,

Видно, крепко я привязан — не уйти».

... В самом деле, хорошо бы — а куда денешься?

Кругом профорги, парторги, мосторги — эх!»

В газете «Известия» напечатали как-то статью об Электроне Павловиче. Этот Электрон Павлович переехал из европейской части Союза куда-то в тайгу, чтобы спрятаться от цивилизации. 3-4 месяца в году он бродил по тайге и стрелял пушных зверей. Затем продавал пушнину, селился у какой-нибудь вдовушки, брал книги из библиотеки и вел растительный образ жизни. Корреспондент газеты, выслушав исповедь Электрона Павловича, пытался доказать аморальность его образа жизни.

— Почему вы так мало работаете?

— А мне много не надо.

— Но ведь у вдовушки могут быть дети от вас!..

— А я честно ей говорю, что не собираюсь жениться, поэтому дети — ее собственное дело, хочет — будут, не хочет — не будут.

— Но ведь сама она их не вырастит! Государству придется взять на себя их воспитание! Значит, ваши дети будут воспитываться на деньги трудящихся!..

Ответа Электрона Павловича не помню.

Вторым доводом корреспондента было то, что, дескать, государство защищает границы, а значит, и Электрона Павловича. Корреспондент утверждал, что Электрон Павлович не смог ответить на этот вопрос.

Когда появилась эта статья, мы еще не видели тенденции интеллигенции «бежать». И нам казалось, что корреспондент «Известий» прав. Но на наших глазах число «беглецов» увеличивалось, у нас у самих появилось желание «бежать». Но куда?

Я хотел «бежать», спрятаться в науку и философию.

После китайских точек меня перебросили на изучение кривой движения сахара в крови. Наши биологи собрали различные гипотезы о работе печени, поджелудочной железы, почек и других частей тела, связанных с системой регуляции сахара в крови. Составили модель —

вначале на пальцах, в форме чертежа, затем записали в виде математических уравнений. Нужно было проверить, отражают ли эти уравнения действительную работу организма. Для этого наши биологи «сосали кровь» (так они выражались) у кроликов, чертили графики, а математики на специальной аналоговой машине отображали свои уравнения, а затем, на глаз манипулируя различными электроническими схемами, получали на экране осциллографа кривую, похожую на полученную биологами. Это и называлось моделированием. Вначале мне казалось, что это и есть наука. Но чем дальше, тем больше было разочарование. Оказалось, что машина дает возможность подтвердить верность противоположных гипотез работы биологических систем — достаточно подыскать соответствующие параметры машины.

А затем главное: в конце каждой своей статьи мы обещали, что медики смогут лечить диабет не вслепую, а точными математическими методами. Но постепенно мы убеждались, что наши модели не имеют отношения к практике медицины.

Диабет лечат на основании теоретических биологических представлений о сахарном балансе в организме или эмпирически, на опыте врачей-практиков.

Мы же — в лучшем случае — воспроизводили теории биологов формально. Если эти теории хороши, то и наши формулы (в лучшем случае) хороши; если теории плохи, то и модели наши не годятся. А биология сейчас все еще во многом лишь становится наукой. Если не изучено содержание, то что отображают формулы? Ленин писал о «математическом идеализме», когда за формулами исчезает материя. Этот «математический идеализм» пронизывает биокибернетику в СССР (да и не только био).

«Кибернетика» все более превращается в «словесность». Возникает множество околкибернетических наук. Философ Копнин однажды съязвил: «Не хватает лишь чемоданологии». Всеобщая идеологическая ложь вливается в «кибераду». Мечта о Боге почему-то у

многих трансформируется в «математически-физически-технократическую» примитивную мифологию и магию, веру в «волшебный пруттик», кибернетическую магию формул, машин и заклинаний.

Увлечение йогами и парапсихологией — лишь крайнее выражение мечты о «научной мистике». И даже не совсем крайнее: появились «уфисты» (УФО, НЛО, или Неопознанные Летающие Объекты). С запозданием (мы всегда отстаем от моды) возникли они и в СССР. С крупнейшими «учеными-уфистами» я встречался. Интересно, как жаждут чудес даже умные люди, как это желание блокирует научный скепсис, осторожность, логику факта и вывода. Особенно много уфистов среди... математиков, физиков и астрономов, т.е. людей «точного» мышления.

Однажды ко мне пришел физик, по совместительству парапсихолог и уфист.

— Есть шанс телепатически связаться с летающей тарелкой. Они давно уже наблюдают за землянами и, видимо, не хотят сами вмешиваться в нашу историю. Ты разбираешься в политике, мы тебя свяжем с ними, и ты от имени Земли поговоришь с ними.

Я с серьезным видом ответил:

— Передайте им, чтоб они магнитными лучами прикончили охрану в лагерях и тюрьмах.

— Это идея! Но они, видимо, гуманны и не пойдут на это.

— Хорошо, я подумаю. Может, просто пусть усыпят вертухаев.

Смешно? Не очень, т.к. та же направленность мышления даже у академиков-кибернетиков, например, у академика Глушкова. Он проповедует идею создания единой всесоюзной АСУ (Автоматическая система управления). Машины заменяют глупое правительство — вот подтекст этой идеи. Еще глубже — я, Глушков, буду управлять социалистическим, т.е. кибернетическим, государством. Хватит идиотов — вождей народа.

Глушков считает (искренне, кажется) себя марксист-

том. И не понимает азбучной истины: есть экономические исторические законы, есть классы, социальные группы, есть психоидеология этих групп и индивидов, есть масса других «базисных» и «надстроечных» факторов, и они, а не разум господ кибернетиков решают судьбу общества. АСУ будет подчиняться не только разуму технократов, но и их страстям, их логическим просчетам. АСУ будет плевать на конкретных, живых людей, а те, в свою очередь, будут обманывать АСУ, страдать от АСУ, а может, и бунтовать против АСУ, если кибернетически-социалистический рай станет слишком адским.

«Кибернетический» миф все более вытесняет в СССР миф «социалистического рая». Прогресс ли это? Поклонялись камням, затем предкам и животным, затем Афродитам и Зевсам, наконец Христу. Пришли к выводу, что не нужно поклоняться — и стали поклоняться прогрессу, рабочему классу, вождям. Теперь — формулам, машинам. Вначале шла линия восхождения — к Христу, затем линия нисхождения — к «научному язычеству», магии. Не случайно поклонение формулам переплетается нередко с традиционным оккультизмом, черпающим идеи из древней магии, каббалы и прочее.

Как-то мы с женой познакомились с профессором ботаники К. Привлекло к нему его парадоксальное мышление. Марксизм он относил к разряду мистики (к другим видам мистики профессор относился скорее положительно). Диалектику предлагал заменить полиалектикой.

Я пытался выяснить, что означает сей термин, но К. отвечал метафорами.

В те времена встал вопрос о существовании генетики в СССР, и я спросил его, как он относится к лысенковизму.

- А что это такое?
- Течение в ботанике.
- Такого я не знаю.

После моих напоминаний «шутник» вспомнил:

- Я не психиатр. Это какое-то заболевание, в них я

не разбираюсь. Недавно в Академии наук защищал диссертацию один ботаник. После его доклада я объяснил собравшимся, что изучал в свое время черную и белую магию и считаю, что докладчик действительно сказал нечто новое, но не в ботанике, а в магии.

В начале наших споров с К. мы с Таней только начали «узнавать» историю советской науки, поэтому парадоксы профессора нас занимали.

Он любил рассказывать анекдоты из лысенковской практики, рассуждать о важности введения категории цели в физику, критиковать Эйнштейна с позиций теософии. Неплохо знал он украинскую историю, поэзию и прозу. После встречи с ним я познакомился с некоторыми теософами Киева. Среди нелепых теософско-йогических фигур было интересно видеть и слушать глубоко мыслящих людей. Их было немного — умных, но они давали пищу для размышлений о проблемах, ранее мне не знакомых.

От большинства теософов отталкивалоприятие ими действительности в виде ступеньки, трамплина к теософическому раю. Жена К. однажды, выслушав мои гневные тирады о преследованиях украинской культуры, рассказала притчу.

... Дьявол увидел, как крестьяне обрабатывают землю. Из зависти к их солидарности в труде он набросал на поля камни. Крестьяне по внушению Ангела, явившегося им на поле, собрали камни и сложили из них храм Божий. Так люди даже сатанинское Зло превращают в Добро.

Я зло рассмеялся (20 деятелей украинской культуры были в это время осуждены в лагеря, и у меня поэтому поубавилось оптимистических надежд):

— Вы забыли продолжение... Построив храм, крестьяне вошли в него и воспели хвалу Богу. Но посреди песнопения они услышали издевательский хохот Ангела — то был Сатана. Крестьяне бросились к нему с поднятыми кулаками, но дверь храма была заперта...

Они построили Храм-тюрьму, «хрустальный дворец» Достоевского.

— Леня, как вы можете жить с таким апокалиптическим пессимизмом?

Она выдала тайну их «теософии»: им нужно спрятаться от мерзости нашего времени за идеологическими галлюцинациями, и они прячутся, используя христианство, теософию, марксизм, кибернетику, любые достижения человеческой мысли в качестве розовых очков, через которые они смотрят на мир. В ушах у них тоже фильтры и трансформаторы, превращающие вопли ближних в «музыку сфер».

Но не сладость, не патос-патока парадоксалистской философии теософско-ботанического профессора окончательно оттолкнули нас от него.

Как-то К. дал нам почитать свои стихи. Оказалось, что ученый давно уже пописывает украинские стишки под псевдонимом До-го. Стишки сю-сюрреалистические, помесь соцреализма и теософско-украинского пафоса. Но дело даже не в художественной фальши. Оказалось, что перед нами один из палачей украинской культуры 20—30-х годов, партийный попутчик, «прыплентач», критик До-го.

Их было несколько наиболее ретивых палачей — писатель Микитенко, критик Коряк и поэт-критик До-го.

Микитенко, истребляя украинскую литературу и литераторов, погиб на боевом посту критика-доносчика — покончив с собой, почуяв, что скоро придут и за ним. (Он имел несчастье сражаться в 37-м году в Испании. Почти все советские участники испанской гражданской войны оказались «врагами народа», даже пожиратель испанских троцкистов сатирик Михаил Кольцов.)

Коряк таинственно исчез — видимо, где-то в лагерях Сибири.

Самым умным оказался До-го — он превратился в ботаника К., сообразив, что идеологом быть опасно, даже «прыплентачем».

Но и новая его профессия оказалась сомнительной:

после войны возобновились атаки на генетику. К. опять успел спастись, уйдя подалье от «горячих» точек науки.

Ныне он может думать, что хочет (в узком кругу знакомых). Полиалектика спасает его не только от необходимости думать о ближних (он хорошо знал украинского ученого, критика Евгения Сверстюка, который ныне находится в лагере), но и от возможных угрызений совести по поводу собственных преступлений перед украинским народом.

Я пишу об этом потому, что мало кто хочет помнить о прошлом, особенно у нас, в СССР.

«Родина должна знать своих стукачей», — сказал герой Солженицына. Можно добавить: «и палачей».

Имена Микитенко и Коряка овеваны были среди части патриотически мыслящей молодежи ореолом «мучеников Украины». О профессоре К., то бишь поэте До-го, почти никто не знает, а те, кто знает его лично, уважают его за антимарксистский критицизм.

Молодежь в этом не повинна, она уважает «мучеников», не зная их истории. Напрасно, конечно. Среди «мучеников» немало дураков, а есть и «мучители». «Муки» — не заслуга, не показатель ума, честности или мужества.

Был как-то в Киеве вечер памяти художника Украинского Возрождения (1917-33 гг.) Петрицкого. Масса молодежи. Аплодисменты каждому намеку на мерзости сталинизма. Я бы и сам аплодировал, но рядом сидел участник Возрождения и комментировал речи и ораторов.

Актер Василько говорил «крамолы» больше всех и аплодировали ему потому чаще. Он гневно клеймил равнодушных и гонителей Петрицкого.

А я уже знал, что он, бывший актер гениального режиссера Курбаса, не только отрекся от него, но и участвовал в травле Курбаса, драматурга М. Кулиша и других.

Почти все ораторы, «друзья» Петрицкого, были либо равнодушными зрителями его жизненной трагедии, либо

помогали его гонителям. И рядом выступала плачущая жена Петрицкого, растроганная посмертным признанием заслуг ее мужа перед украинской культурой.

Глядя на нее, я вспомнил слова Ивана Карамазова о матери, простившей палачам своего ребенка. Не надо им прощать хотя бы тут, на Земле, иначе уж больно легко им будет жить, заглушая угрызения собственной совести. И не в этом даже главное — им легче начать новый круг преступлений, т.к. реабилитируется морально их участие в «круге первом».

Характерно, что почти никто из «инженеров человеческих душ» не покаялся публично в соучастии в преступлениях власти. Я могу вспомнить лишь аварского поэта Расула Гамзатова, который в «Моем Дагестане» публично показался перед своим народом и перед Шамилем, вождем горцев Кавказа против русских захватчиков, в том, что участвовал в клеветнической кампании против Шамиля. Сосюра перед смертью не каялся, но публично прочел отрывки из своей поэмы «Мазепа», и тем косвенно отрекся от своих прокультовских стихов.

В сталинские времена каялись многие — из страха, из-под пытки, из любви к благополучию, из желания не отставать от народа, уверенно идущего к сияющим вершинам.

Но не хотят каяться из-за угрызений совести. А только такое покаяние не ломает личности, а освобождает ее от груза собственной вины, от зависимости от «мнений света».

В лучшем случае покаяние замещается самоубийством или алкоголизмом.

*

Когда отчаяние от окружающего нас безразличия к трагедии страны, революции, частных людей стало во все невыносимым, вдруг в самиздате появилось выступление Ивана Дзюбы на вечере, посвященном В. Симоненко, рано умершему поэту зарождения украинского сопротивления.

Оказалось, что где-то совсем рядом (в буквальном смысле: мы жили в нескольких кварталах от его дома) есть человек, который так близко воспринимает происходящее, более того, смело, вслух говорит о том, что думает.

У нас есть такое обыкновение: жив самобытный талант — о нем не знают либо постоянно травят. Умер — и начинают «они» из него делать икону. Дзюба от имени действительных почитателей и друзей Симоненко сказал: Василь — «не ваш», и «вам» не удастся убить его «любовью».

Я с товарищем пошел к Дзюбе домой. Я увидел перед собой умного, скромного человека, аполитичного по натуре. Последнее несколько огорчило, т.к. стало ясно, что он лишь честный, смелый литератор. А нужно ширить самиздат, сознательно распространять информацию среди населения, нужны «политики».

Таня поехала в Москву и там случайно познакомилась с Виктором Красиным.

Приехала из Москвы радостная: удалось получить от Красина «Доктора Живаго» Пастернака. Мы дали взамен «Цитадель» Экзюпери, самиздатскую, конечно.

Красин учился в сталинские времена в университете. Отец, профессор, преподаватель Киевского университета, был расстрелян в 37-м году. Виктор с несколькими друзьями образовал кружок по изучению философии Ганди. За это их судили и отправили в лагерь.

О своей первой встрече с Красиным расскажу позже, а сейчас перейду к двум другим встречам, которые подтолкнули нас к борьбе. Одно дело — когда читаешь о преступлениях Сталина и его подручных, и совсем другое — психологическое воздействие очевидцев.

Знакомый писатель, отсидевший срок за то, что кто-то заявил о том, что у него изменена фамилия, познакомил нас с чекистом 20—30-х годов Карлом Ивановичем Шальме, латышом.

Вырос Шальме в купеческой семье. В гражданскую войну бежал от родителей, попал в Красную Армию,

затем в ВЧК. По его словам, ни разу не уничтожал невинных.

В 1937 г. стали забирать его начальников, друзей, знакомых. Однажды вечером жена сказала ему: «Что творится? Вчера арестован Иван Иванович. Но ведь он — настоящий большевик!»

— Если органы берут, то знают за что. Невиновен — разберутся.

Он не успел закончить мысль, как в дверь постучали «характерным» стуком.

Вошли трое.

Шальме:

— На каком основании?

Удар в морду.

— Вот основание!!!

Перевернули всю квартиру. Побили посуду, порвали подушки. Украли все деньги.

Карла Ивановича увели в Лукьяновскую тюрьму.

В камере сидеть невозможно, все стоят. Сокамерники сразу же спросили:

— За что?

— Не знаю, я невиновен.

— Фамилия, имя, отчество???

— Карл Иванович Шальме.

— Фашистский шпион. 10 лет лагерей.

Шальме понял: перед ним заклятые враги советской власти, нужно молчать, иначе узнают, что чекист, — убьют.

Так промолчал он в лагере 20 лет.

Жена бедствовала, т.к. никуда не принимали на работу. Двое детей, всегда голодны.

Пришли немцы. Соседи посоветовали: сообщить, что мужа забрали большевики. Не пошла. Бедствовала еще больше. Немцы в конце концов угнали детей на работу в Германию.

После войны искала детей — не нашла. Ждала мужа.

И вот они оба перед нами. Карл Иванович страстно любит скрипку. По его словам, есть у него собственный

Страдивариус. Мы не очень верили в Страдивариуса, но верили, что страдания очистили Шальме, — недаром любит музыку.

Карл Иванович попросил принести ему Шопенгауэра. Я принес «Афоризмы и максимы». Через неделю пришел забрать. Шальме блаженствует над «Афоризмами», читает оттуда лучшие мысли — женоненавистнические, детоненавистнические. Я пытаюсь оспаривать «Афоризмы», но Карл Иванович приводит из своей лагерной жизни сотни примеров мерзости человеческой. Жена приводит свои примеры. Нам не по себе становится, но пытаемся оправдать его тем, что он пережил.

Каждый раз, когда мы у него в гостях, наши интеллектуальные споры прерываются — Карл Иванович выбегает на балкон и кричит на соседей. То дети кричат, то пыль трясут на его балкон. Детей мы пытаемся обелить, но убеждаемся, что любовь, тоска по своим загубленным детям не только не вызвала любви к чужим, но и породила ненависть к ним.

В районе Киева, где они живут, — на Чеколовке (Первомайский массив) возникла группа хулиганствующей молодежи. Они напиваются, оскорбляют и бьют прохожих, по ночам залезают в квартиры. В одной из квартир жил парализованный. Однажды хулиганы залезли в квартиру через балкон и на глазах мужа стали цинично приставать к его жене.

Карл Иванович — заместитель председателя товарищеского суда Чеколовки. Он уговаривает всех жителей подать жалобу на хулиганов, но все боятся. Милиция пытается что-то сделать, но нет оснований для ареста или штрафа, т.к. нет свидетелей. Все боятся...

И надо ж было такому случиться, что после очередной дискуссии мы с Таней и Карл Ивановичем увидели развлекающихся возле дома юношей и девушек. Пьяных. Карл Иванович стал бурчать о распущенной молодежи. Я вступился за них:

— Они никому ничего плохого не делают.

Вдруг один из развлекавшихся подошел к нам и спросил Шальме:

— Ну, чего вылез, старый? Делать нечего?

Я попросил его обращаться к старшему на «вы» и не грубить.

— Ты, засранец, заткнись, я не с тобой говорю!

— Тут женщина, прошу не выражаться.

Парень развернулся и стукнул меня. Мне много не надо, чтоб я упал. Когда я встал, вокруг уже была толпа. Я, вне себя от бешенства, кинулся к хулигану. Шальме обхватил меня и шепнул:

— Успокойтесь. Им займется милиция.

Подбежала старуха, мать хулигана. Стала упрашивать его не хулиганить. Сын грязно выругался.

Наконец всё успокоилось, и мы разошлись.

Шальме на следующий день стал упрашивать меня подать в суд. Я не хотел, т.к. после «легкой кавалерии» не питал к милиции никакой симпатии. Тогда Шальме стал упираться на то, что это единственный способ припугнуть эту группу, терроризирующую жителей.

Я согласился и написал жалобу.

Меня и жену вызвали к следователю, записали показания. Следователь был крайне любезен, и я забыл даже, что это «лягавый».

Затем очная ставка с хулиганом. Жалкая, заискивающая улыбка, весь как побитый, чуть не плачет. Я повторил свои показания, слегка смягчив. Парень подтвердил все, кроме того, что он обругал свою мать:

— Я ее люблю, я единственный сын у нее.

Дали подписать протокол. Подписал я не глядя: не будут же они врать!

Парень поколебался и стал читать протокол допроса. Следователь подгонял: «Хватит, все и так ясно». Дочитав, парень с укором сказал:

— Я ж сказал, что мать я не ругал.

Следователь нехотя вписал его слова в протокол.

Когда я пришел к Шальме, тот стал объяснять, что я дал неудачные показания следствию. Во-первых, надо

было показать, что было групповое хулиганство. Какой же иначе смысл подавать на него в суд? Посадят его, а остальные будут на воле. Их тоже надо припугнуть. Во-вторых, майор КГБ из этого же дома видел всю сцену и слышал звон металла. Он думает, что у кого-то из них был кастет.

Я спокойно объяснил, что группового хулиганства не было, «звон» также неубедителен.

Суд. Выступаю я. Повторяю свои показания. Затем жена. Шальме развил версию о групповом хулиганстве, рассказал о том, что *видел* кастет в руках одного хулигана. Стало ясно, что парню угрожает большой срок. Мы с женой стали смягчать показания, от некоторых утверждений отказывались, категорически отрицали кастет и групповой характер хулиганства. Адвокат поняла нашу тактику и стала понуждать признаться в том, что мы почти всё придумали. Судья, кричавшая до этого только на подсудимого, стала кричать на меня. Пришлось прикрикнуть на нее: «Будьте вежливее, вы меня пока не судите». Подействовало.

Смешная ситуация сложилась из-за моих показаний о «нецензурных словах».

Судья:

— Какие слова он произнес?

— Выругался.

— Вы написали, что нецензурно. Это так?

Я веду линию на смягчение:

— Просто выругался.

— Цензурно или нет?

— Мне трудно сказать.

— Вы же математик, у вас высшее образование, а вы не можете определить нецензурность.

— Вы юрист. Дайте мне определение «нецензурности».

Прокурор глубокомысленно:

— Слова, которые не печатаются в книгах.

Я, обозлившись и приглушая смех:

— В книгах можно встретить любое слово.

Прокурор:

— Да, вы правы.

Затем растерянно:

— Ну, как же нам решить?

Я: — Ну что, процитировать его слова?

Судья: — Нет, не надо. Гм... А как вы думаете сами — можно?

Я: — Пожалуйста! Засранец.

Минута молчания.

— Да, не совсем цензурное.

Я: — Думаю, что не очень уж плохое.

Адвокат: — Это слово распространенное.

Последовала обвинительная речь прокурора. Начал, он с последних постановлений партии. Затем связал хулиганство с политическими преступлениями и, наконец, потребовал 7 лет.

Мы содрогнулись от ужаса.

Адвокат доказывала, что преступления вовсе нет, есть неприятное недоразумение, и потребовала оправдания.

Суд удалился на совещание. Парень заплакал. Мать его подошла к нам и извинилась за его поступок. Мы сами чуть не разревелись: ведь по нашей вине он получит от этих... 7 лет.

Приговор гласил: один год условно. Мы облегченно вздохнули — показалось, что не так уж и страшно.

Выйдя из здания суда, мы со стыдом смотрели друг другу в глаза. Ведь бандиты-то — следовательно, судья, прокурор, Шальме. Хулиган — ягненок по сравнению с ними. И мы были вместе с бандитами против ягненка...

Мы также поняли, что и сейчас легко возобновить фальсифицированные процессы. Достаточно трем мерзавцам договориться между собой, и любого неугодного властям легко посадить. Подтверди мы кастет, групповое хулиганство, и парень получил бы большой срок, лишь потому, что «надо для блага населения».

Шальме я встретил после 68-го года, когда уже на меня самого стала наплывать угроза тюрьмы.

Он узнал меня и упрекнул, что не прихожу.

Я объяснил, что тех, кто помогает властям стряпать

фальсифицированные процессы, мне не хочется видеть.

— Значит, пусть хулиганят и убивают?

— Нет. Но виновата в этом власть, те, кто мучил вас и вашу жену. Бороться нужно прежде всего с причиной хулиганства — кагэбистами и милицией, а потом уж с хулиганством.

Через полгода я узнал, что Шальме — в психбольнице. Кажется, паранойя...

*

Еще сильнее подействовала на нас история еврейской писательницы Н.

До войны она дружила с Верой Игнатьевой Гедройц. Вера Игнатьева — ученица знаменитого врача, исследователя Ру. Училась она в Швейцарии, встречалась с эсэрами, меньшевиками, большевиками, с самим Лениным. Ру хотел оставить ее у себя, но она поехала в Россию. Там заведовала царским госпиталем. Дружила с последней императрицей и до конца жизни сохраняла к ней уважение и любовь.

Во время гражданской войны ее однажды повели на расстрел — просто так, за дворянское происхождение. Спас ее начальник ЧК — узнав в ней врача, прятавшего его от охраны в царском госпитале.

Вера Игнатьевна дружила с писателями А. Толстым и М. Пришвиным, критиком Ивановым-Разумником. Писала под псевдонимом Сергей Гедройц воспоминания. Вышло три небольших тома. Но тут, на несчастье, к ней обратился писатель Константин Федин с просьбой. Он заболел туберкулезом легких и хотел поехать лечиться в Швейцарию. Она написала своим швейцарским друзьям, и Федина устроили в санаторий. Его вылечили.

Готовился к печати 4-й том воспоминаний Веры Игнатьевны. Федин прочел, остался недоволен и... «запретил».

Через несколько лет Вера Игнатьевна получила из Швейцарии приглашение возглавить госпиталь Ру. В письме говорилось, что она — лучший хирург мира, и

могла бы, живя в Швейцарии, сделать многое для развития науки.

Но Гедройц не хотела покидать Родину, даже такую, какой она была в те годы.

Умирая, она попросила Н. и ее мужа сохранить ее письмо. «Придет время, когда любовь к России не будет считаться предосудительной. И это письмо послужит России как признание достижений русской науки. Дайте мне слово, что сохраните письмо».

В 1938 г. к Н. пришли. Нашли письмо Веры Игнатьевны. Мужа Н. забрали как «международного шпиона» — ведь письмо из Швейцарии, значит, *международный* шпион. Допросили 24 свидетеля. Только один дал плохие показания — дворник. Как-то зимой он разгребал снег. Муж Н., проходя мимо, сказал: «Какой тяжелый у вас труд!». Дворник интерпретировал в НКВД эти слова как антисоветскую пропаганду.

На допросах муж Н. держался мужественно: ни одного признания. Сокамерники называли его «Христосиком»: глупо было молчать под пытками, все советовали признаться. «Христосиком» стали звать его и следователи.

На допросы следователи приходили пьяными. Скучно, когда последственный молчит. Развлекались тем, что бросали бутылки из-под водки и вина в голову — кто попадет в «Христосика»?

Наконец выпустили: один свидетель только; последственный не признался. Предупредили, чтобы молчал.

Пришел домой весь трясущийся, исхудавший. Н. к нему — рассказывай. Палец ко рту и целый день молчал, показывая на стены, потолок, двери.

Ночью укрылись одеялом и... он рассказал.

Через неделю Н. напомнила ему о клятве Вере Игнатьеве. «Христосик» умолял забыть. Заставила позвонить в НКВД (выпуская, в НКВД пообещали вернуть все бумаги). Не дослушав, следователь закричал: «А... твою мать Христовую. Опять захотелось к нам?» Тут и Н. поняла свою жестокость.

10 лет он умирал потом от пролома черепа.

Сколько таких семей мы встречали за эти годы... Вначале, после XX-го съезда, была горечь и ненависть к тайной полиции за то, что уничтожили революцию. Но потом ненависть углубилась, превратилась в ненависть ко всем *палачам народа*. Те-то, революционеры, либо сами переродились, либо вовремя не остановились в своей ненависти к эксплуататорам, либо пели в одних рядах со своими катями «Интернационал», либо... да мало ли каких «либо» было. «За что боролись, на то и напоролись».

За что погибли миллионы неревolucionеров?

За то, что хотели жить немного лучше, не хотели лезть в рай, или хотели, но не в такой, или вовсе ничего не хотели от благодетелей?

Ненависть к Сталину породила почти патологический интерес к его жизни. Перечитал все его произведения — нудно. Катехизисное мышление (знакомая нам игра в вопросы и ответы в школьных сочинениях), до богословия не дорос.

Знакомая, сотрудница музея Ленина, рассказала о своей поездке к нему на дачу в 1953 году.

Она обожала вождя, глаза выплакала по нему. И вот задание — подобрать материалы для превращения Киевского музея Ленина в музей Ленина—Сталина. Дача поразила аскетическим мещанством. («Что ж они? Не могли создать ему условия для жизни, украсить высокохудожественными картинами и скульптурами — ведь ему-то не до того было!») Заштопаннные носки, дырявые валенки, в которых бежал с каторги...

Гора пластинок. Просмотрела. На всех надписи — Его рукой. Двухбальная система: «Хорошо, плохо». «Хорошо» — народные песни, хор Александрова. «Плохо» — симфоническая музыка.

Книги. Все с дарственными надписями. «Девушка и смерть» Горького. Прочла знаменитое: «Это почище «Фауста» Гете». Ниже под афоризмом вождя запись,

никому неведомая: «С этим полностью согласен. Климент Ворошилов».

Она сталинистка, но с некоторым эстетическим вкусом. Стало не по себе от духовного убожества кумиров. Утешилась: «Когда они могли развивать свои вкусы? Вся жизнь в революции, в борьбе».

Я прокомментировал ее рассказ каламбуром: «Недоучившийся Бог ослов». Обиделась.

*

В 1965 году я поехал в Москву, к Красину. Он сообщил, что арестованы какие-то писатели, которые публиковались за границей под псевдонимами. Одно из них звать Синявский, другой — Даниэль. Красин знал содержание одного из произведений Даниэля и пересказал мне.

Я попытался достать книги арестованных. Стал спрашивать у всех знакомых москвичей. Один из них обещал достать — он учился у Синявского, слушал его лекции. Я спросил его мнение о лекциях.

— Очень интересно было.

Тут же позвонил по телефону:

— Принеси мне что-нибудь Синявского.

Я ошалел от его наглости:

— Куда ты звонил?

— В обком комсомола. Там приятель работает.

Достать все же ничего не удалось, даже в обкоме.

По Киеву разнесся слух об арестах среди украинской интеллигенции.

4 августа 1965 г. в кинотеатре «Украина» демонстрировали кинофильм режиссера Параджанова «Тени забытых предков» (по одноименной повести Михаила Коцюбинского). От имени киевлян создателей фильма приветствовал Иван Дзюба.

После нескольких слов приветствия Дзюба повернулся в зал к зрителям и сообщил об аресте двадцати деятелей культуры. Дзюба заявил, что надвигается 37-й год.

К Дзюбе подбежал директор кинотеатра и стал вырывать микрофон. На помощь Дзюбе пришел Параджанов:

— Не мешайте ему говорить!

Когда стало ясно, что микрофон почему-то не работает, в зале стали выступать молодые люди, поддерживая Дзюбу.

Я очень жалел, что не присутствовал там, но многие знакомые, люди разных взглядов, рассказали мне об этом событии примерно одно и то же.

В марте 66-го мы узнали, что состоялся суд над студентом Киевского медицинского института Гевричем Я. В.

Он получил 5 лет лагерей строгого режима за «антисоветскую националистическую пропаганду и агитацию».

Зарубежное радио сообщило, что Дзюба арестован. Я пришел к нему на работу. Он смеялся — целый день звонки со всего Киева и даже из Львова, все проверяют.

— Перепутали, видимо, со Светличным.

*

23 марта 66-го г. я узнал от одного товарища, связанного с милицией, что 25-го будет новый суд — над О. Мартиненко, И. Русиным и Е. Ф. Кузнецовой.

Сообщил Дзюбе. Он не поверил, т.к. родных и свидетелей по делу не вызвали еще на суд. Долго пришлось убеждать, что сведения достоверные.

Утром 25-го возле здания суда собралось человек 15. С некоторыми я уже был знаком раньше. Были поэты Л. Костенко, И. Драч, Л. Забашта (жена чиновного поэта А. Малышко), критик Е. Сверстюк, писатель-фантаст О. Бердник, жена Ивана Светличного, украинского переводчика и критика, также арестованного в 65-м году, но почему-то не представленного на суд.

У дверей суда стояла милиция и никого не пускала. Завязалась дискуссия — по какому праву не пускают в зал, ведь суд по закону открытый.

Милиция не могла что-либо объяснить. Ссылались на постановление суда.

5-6 человек пошли к Прокурору республики. В приемной сидело много людей. Вышла старая женщина, плачет: секретарь к прокурору не пропустила, т.к. бабка не могла толком объяснить, зачем ей нужно к столь высокому начальству. Секретарь вышла вслед за ней, выговаривая за бестолковость. Она увидела нас и спросила, по какому мы делу.

Дзюба объяснил, что мы из Союза писателей и что нам надо попасть на суд над нашими товарищами. Секретарь широким жестом пригласила к себе, без очереди: писатели все-таки, инженеры человеческих душ.

— Ваши товарищи зверски убили кого-либо?

Улыбается с сочувствием.

— Нет.

— А!? Изнасилование малолетней??

— Нет.

— Так что же?

Продолжает ласково улыбаться...

— Статья 62-я Уголовного кодекса.

Стала искать статью. Улыбка сменилась холодом, гневом.

— Антисоветская пропаганда и агитация?!

Стали ей объяснять, что обвинение ложное, ведь такое уже было в 30-х и 40-х годах, что по закону суд по этой статье не может быть закрытым, что мы имеем право присутствовать на суде.

Секретарь попросила на время выйти — она созвонится с начальством.

Ко мне подошла Л. Забашта и стала упрекать меня за мой русский язык. Я терпеливо объяснил, что жил в Киргизии, Одессе и Киеве, в местах, где почти не слышно украинской речи, и потому мне трудно говорить по-украински.

— Но ведь вы украинец?

— Да.

— Значит, вы должны говорить на родном языке!

— Но ведь не в этом главное, главное в борьбе с преследованием за мысль.

Спор прервался, т.к. нас вызвала секретарша. Она объяснила, что суд закрытый по закону, что прокурор занят и что нужно пойти либо к Макогону, либо к Гапону, областному начальству по части прокурорского надзора.

Фамилия Гапон вызвала невеселый смех. Лина Костенко саркастически напомнила «Процесс» Кафки.

Вышли ни с чем. В меня опять вцепилась Забашта.

Подожли к зданию суда. Милиционеры стояли лишь у дверей, ведущих в залы, где проводятся судебные разбирательства. Воспользовавшись этим, мы рванулись на лестницу, ведущую к областному прокурору. Подбежали два милиционера.

— Граждане, вы куда?

— К прокурору.

— Здесь присутственные места.

От словосочетания «присутственные места» пахло седой древностью, царскими временами.

Я прокомментировал:

— Ну, вот, скоро милиция будет называться жандармерией, а КГБ — охранкой.

Дзюба заявил милиционерам, что нам сказали, что вход к областному прокурору свободен всегда.

Милиционеры потоптались и заявили, что вышвырнут нас на улицу:

— Есть указание вас не пускать.

При этом показал почему-то на меня.

— А в указании есть моя фотография? Откуда вы знаете, что именно меня нельзя пускать?

— Вас всех велено не пускать.

Мы все же прорвались к прокурору.

Дзюба спросил:

— Почему нас не пускают? Что за указание нас не пускать к прокурору?

— Как это не пускают? Зачем вы обманываете? К нам всех должны пускать.

В дверь заглянул милиционер.

— Да вот он говорит об указании не пускать. Ведь так?

Милиционер подтвердил.

— Видно, указание от другого ведомства. Что вы хотите?

— Нас не пускают на суд по 62-й статье. На каком основании суд закрытый?

— По закону.

— Но в законе сказано, что суд закрытый только в трех случаях: если есть опасность разгласить государственную тайну, если суд над подростком, если дело о сексуальном разврате. Почему же закрыли данный суд?

— В законе сказано, что решение о закрытом характере суда принимает суд.

— Но только на основании закона, т.е. в трех только случаях. На каком же основании...

— На основании закона...

— Но ведь в законе...

— На основании постановления суда.

— Но ведь...

Зациклились.

Дзюба спросил:

— Итак, суд закрытый?

— Да.

Опять цикл: закон — постановление суда — закон.

Вдруг истерический крик Л. Забашты:

— А почему вы говорите с нами по-русски?

— Я русская.

— Но ведь вы на Украине. А Ленин сказал...

Дзюба прошептал мне:

— Господи, вот с такими дураками приходится иметь дело...

Я кивнул головой — ее волнует, на каком языке разворачивается абсурд «Процесса», а нас — судьба живых людей.

Разгорелась дискуссия о ленинской украинизации административного аппарата.

Наконец нас попросили выйти.

Вышли все и подошли к входу в здание суда. Милиция уже не пускала в само здание.

Подошел поэт Драч и стал рассказывать содержание кинофильма «Перед судом истории». Это фильм о знаменитом «крайне правом» монархисте Шульгине, который был лидером правых в Государственной Думе, затем одним из деятелей Добровольческой армии Деникина, затем участником антисоветских заговоров. Шульгина играет... сам Шульгин.

В фильме идет спор между белой идеей Шульгина и красной — старого большевика.

В ходе спора показываются эпизоды истории, и Шульгин под напором фактов истории постепенно сдается.

Но как! Например, признавая, что Ленин спас Россию, он вздыхает о потере Финляндии, Польши. На поверхности фильма — сдача белой идеи перед красной, а по сути — признание белогвардейцем Шульгиным заслуг большевиков перед белой идеей.

После II-й мировой войны Шульгин вернулся в СССР и стал проповедовать правоту большевиков, оставаясь приверженцем единой и неделимой России, православия и т. д. Он не изменил своим взглядам, изменили своим — наследники большевиков. Так как против основной, белой идеи фильма стали протестовать украинские интеллигенты, то на Украине фильм почти не шел, а в России тоже вскоре был снят с проката.

Одна моя знакомая посетила Шульгина в 1970 г. и спросила его:

— Вы все еще за монархию?

— Я за моно...

Один из деятелей партии кадетов Мейснер, вернувшись в СССР из эмиграции, описал в книге «Миражи и действительность» допрос энкаведистами заместителя Деникина, генерала Шиллинга. Генерал на вопрос: «А что же вы почувствовали, когда увидели нас на улицах Праги?» ответил:

— Увидел генералов и офицеров с золотыми погонами, солдат, по форме одетых, перекрестился и подумал — стоит Россия!

И Шульгин, и Шиллинг увидели то, что есть, — «стоит Россия», «единая и неделимая», с «золотыми погонами» офицеры, с солдатами, «по форме одетыми», и приняли это: для их «белой идеи» этого достаточно — исчезли анархия в армии, жидовское засилье, а гибель миллионов людей — пустяк.

(Мейснер с восторгом описывает счастье возвращения белых в Россию и замалчивает об обмане «возвращенцев» — ведь их почти всех посадили в лагерь.)

Дзюба и другие товарищи продолжали требовать доступа в зал суда. Милиционеры объясняли, что зал мал и весь заполнен.

Наконец объявили:

— Пять человек могут войти.

Стали спорить, кому войти. Долго искали Сверстюка. Пошло четыре, пятого не пустили.

Лина Костенко стала записывать слова подсудимых, судьи, прокурора и адвокатов.

К ней подошли милиционеры и забрали блокнот.

Не долго думая, она бросила подсудимым букет цветов. Когда букет летел, все милиционеры и судейские в испуге пригнулись... бомба...

Пригрозили выгнать.

Остальные стояли у здания суда. Прошел слух, что придет «сам» А. Мальшкко, а может быть, и Гончар, тоже чиновный, либеральный писатель. Конечно, не пришли.

Украинский «патриотизм» Мальшкко был проявлен его женой, Забаштой.

О. Мартиненко получил 3 года, Русин — год, Кузнецова — 4 года строгого режима.

Стали известны подробности этого и других процессов. Оказывается, при чтении приговора суд был назван «открытым». Многие каялись, признавали вину и даже выдавали товарищей.

Я спросил у Дзюбы: почему так плохо держатся... Вспомнили о гораздо худшем поведении декабристов. По пальцам можно перечислить тех, кто держался мужественно. Остальные говорили друг о друге все, что угодно, выгораживая себя.

Дзюба сказал, что плохо держатся те, у кого под ногами нет твердой идейной почвы, чей протест был, главным образом, эмоциональным.

*

После суда мои контакты с украинскими патриотами углубились и расширились.

Прочел несколько самиздатских статей.

Появились первые украинские письма-протесты против незаконных арестов. Одно из них было подписано известным авиаконструктором О. Антоновым.

Я написал подобное письмо и решил собрать подписи среди русской и еврейской интеллигенции.

Показал двум ученым. Они одобрили, но посоветовали, чтоб первыми подписали академик Глушков и профессор Амосов («тогда легко собрать подписи менее известных ученых»). Пошел к Дзюбе и договорился, что вместе посетим Глушкова. Позвонили в Президиум Академии наук УССР, т.к. Глушков — вице-президент Академии, член ЦК КПУ и обычно после обеда не бывает в Институте.

Глушков появился через час. К сожалению, с Дзюбой мы разминулись, пришлось идти одному.

Глушков, увидев меня, сухо заявил, что занят:

— Вы по какому вопросу?

— Опять судят за убеждения. Я хотел бы, чтоб вы подписали письмо протеста.

— Хорошо, давайте прочту. Но у вас только пять минут на беседу.

Прочел.

— Да, вы правы: суд над Синявским и Даниэлем нанес удар по престижу страны. Но я говорил уже об этом в ЦК. Они со мной согласны. Нужно было судить за уголовщину.

— ??? — Как? При чем здесь уголовщина?

— Мне говорили, что они занимались валютными операциями. О каких киевских процессах вы пишете?

— Неделью назад был суд над украинскими патриотами.

— А, это те, что хулиганили в кинотеатре.

— Они не хулиганили.

— Там какой-то Дзюба выступал, а его молодчики не выпускали из кинотеатра тех, кто струсил. Они с кулаками набрасывались на трусов. Трусить плохо, но что ж это за борцы за свободу, если они запрещают свободу бояться?

— Я знаю этих «дзюбовских молодчиков». Это хуленькие интеллигентные парни и девушки, они не только не хотят, но и не умеют драться.

— А вы там были?

— Нет.

— Что же вы за математик, если основываетесь не на фактах?

— А вы там были?

— Нет, но мне рассказывал сотрудник Президиума, который все это видел.

— А мне рассказывали с десяток людей, в том числе те, кто ненавидит и боится украинских патриотов. Вы же член партии и должны знать, что классовое положение может исказить видение фактов. У меня более достоверные факты, т.к. и свидетелей больше, и среди свидетелей — противники украинских патриотов.

— Мы оба не были там, и потому не стоит продолжать спор. Вы знаете, что такое ОУН?

— Организация украинских националистов.

— Да, бандеровцев. Они вместе с фашистами уничтожали тысячи русских и евреев.

— Нет, не все шли с фашистами. Большинство украинских крестьян выступили против Сталина только потому, что помнили голод на Украине. Увидев Гитлера, они восстали и против фашистов.

— Вы не знаете историю или подтасовываете ее. Го-

лод был и на Дону (я сам оттуда и видел голод), и на Кубани, и в Сибири. Этот голод был по вине кулаков.

— Да, но на границах Украины стояли войска и не пускали голодающих в Россию.

— Откуда вы это знаете?

— Мне рассказывали об этом те, кто проводил коллективизацию.

— У меня нет больше времени. Об украинских процессах я узнаю все детали и вызову, если понадобится, вас.

После Глушкова пошел к Амосову.

Предварительно показал письмо его сотрудникам.

— Не ходи — он тут же позвонит в КГБ. Ведь он член Верховного Совета.

— А если я приду с Линой Костенко?

— Может быть, подпишет: он жаждет славы у гуманитарной и технической интеллигенции.

— Кто из вас подпишет?

Один смотрит на другого. Наконец самый смелый говорит:

— Если подпишет Амосов, то и мы все подпишем. А так — страшно.

Чтобы объяснить, что такое Амосов, они рассказали одну историю.

Сотрудница отдела биокibernетики проводила опыты в барокамере. Начался пожар. Дверь барокамеры заклинило. Позвонила, видимо, по телефону — не работает. Так и сгорела. (Я знал её...)

Началось следствие. Обвинили в халатности Э. Голованя. Эмиль пошел к Амосову: «Мы ведь все виноваты, и вы тоже. Я просил у вас добиться ремонта всех приборов, вы были заняты... и вот...»

— У меня депутатская неприкосновенность. Выпутывайтесь сами.

Голованя спасло то, что следователь установил «алиби».

— Это и есть прогрессивный, «левый» Амосов.

Такая характеристика со стороны любимцев Амосова убедила меня в том, что не стоит рисковать.

Растроенный, я вернулся к тем, кто посоветовал получить подписи боссов науки. Выслушав, один из них запротестовал:

— Мерзавцы. Но мы-то что, не имеем достоинства? Зачем нам страховаться? Подпишем и без них...

Итак, две подписи уже есть, не больно маститые, правда.

Очень печальная картина открылась передо мной, когда я встретился с другими. Собрал всего... 7 подписей.

На следующий день один из подписавших признался, что его жена устроила скандал из-за того, что он подписал.

— Но я все же оставлю подпись.

У него было виноватое лицо. Совесть — с одной стороны, жена — с другой. Что делать мне? Вижу, смертельно трусит. Значит, только 6 подписей.

— Хорошо, я сожгу письмо, т.к. все равно мало подписей.

Он согласился с моим решением — мало...

Рассказал о своей «подписантской Одиссее» Дзюбе. Он очень жалел, что не пошел к Глушкову поговорить о дзюбовских молодчиках. С тем, что мало подписей, не согласился со мной: не в количестве дело. КГБ должен знать, что не все будут молчать.

Приехавшие из Москвы привезли отрывки из стенограммы процесса над Синявским и Даниэлем.

Ощущение кафкианы нарастало.

Кафка в это время стал среди молодежи очень популярен. Несколько его вещей опубликовали в журналах. Вышел том Кафки с «Процессом» тиражом в 9 тысяч экземпляров, из них 6 тысяч пошло за границу.

Поразило, насколько глубоко Кафка отражает абсурд нашего мира, столь знакомого — советского в каф-

кианском «брёде». Было очень смешно читать наших критиков о певце «отчуждения в гниющей феодально-капиталистической Австро-Венгрии»: если мы узнаём в этом отчуждении свое, то какой же мир у нас, при «социализме»?

Философские работы об отчуждении росли, как грибы. Вначале писали о том, что это ранний Маркс, еще не марксист. Потом писали, что-де буржуазные философы говорят, что ранний Маркс — гуманист, а поздний — антигуманист.

Раскопали в «Капитале» места, ясно указывающие на то, что и у позднего Маркса есть идеи об отчуждении, но только более зрелые.

Знакомый философ рассказал, что выясняется, что прежние переводы «Капитала» на низком уровне, они почти не передают слов о теории отчуждения. Сейчас делают новый перевод.

Он же сообщил, что есть много подготовительных рукописей Маркса к «Капиталу». Оказалось, что Маркс в начале работы писал философскую часть, философские строительные леса «Капитала». В самом же «Капитале» философия почти вся удалена, осталась наука. Рассказчик был в восторге от этих «лесов»:

— Для современной философии не вошедшая в «Капитал» часть ценнее самого «Капитала».

Обещал достать почитать... Где они сейчас, строительные леса «Капитала»?

Теория отчуждения все более связывалась с современной западной художественной литературой.

Опубликовали «Носорога» Ионеско, затем «В ожидании Годо» Беккета.

Все мои друзья, и я в том числе, были захвачены театром абсурда. Это ведь и есть настоящий реализм. Абсурдность XX столетия невозможно изобразить с помощью критического реализма.

Появились «Пьесы» Сартра. Моим друзьям они не

очень понравились, мне же некоторые показались великолепными*.

До «Пьес» опубликовали «Слова» Сартра, а также несколько произведений А. Камю. Воздействие Камю на нас было более сильным.

Когда я насытился новыми для меня художественными направлениями, стал замечать новые негативные явления как в своем сознании и пристрастиях, так и у окружающих.

Увеличился пессимизм, скептицизм, нигилизм и цинизм. Заметил, что у меня появился эдакий мазохизм. Эстетическими, высокохудожественными стали для меня произведения, где герои издеваются над собой и своими идеями, где идеал превращается в свою противоположность, где за святыми словами скрывается омерзительная действительность, где герои гибнут без всякого героизма, а если и есть героизм, то абсурдный. Любимым словом в философии стало «дерьмо», советский вариант библейского слова «суета».

Немного поддерживали песни Александра Галича и Высоцкого. У Высоцкого понравилось несколько песен — политических либо передающих атмосферу духовного разложения общества. Галича принял целиком.

На первый взгляд, Галич отражал основное — пессимизм интеллигенции нашей страны. Именно это и привлекло вначале к нему. Но, слушая его день за днем, мазохистски наслаждаясь трагедией абсурда нашей революции, издевательствами над всеми «святыми слова-

*) В июне 1977 г., во время приема, устроенного президентом Франции Жискаром д'Эстеном в честь Брежнева, французская интеллигенция устроила в театре Рекамье прием нам, советским диссидентам. Франция была с нами, а не с Брежневым. С нами были и Эжен Ионеско, и Сартр, и Симона де Бовуар. С дочерью Ионеско я познакомился раньше, на демонстрации румын, протестовавших против репрессий в Румынии. Слова Ионеско о моей книге растрогали меня. Глотая слезы, я смог только пробормотать что-то о том, что она появилась благодаря в чем-то его «Носорогу». Какие странные петли делает судьба, сколько удивительных встреч с людьми, которые сыграли роль в моем становлении, — Ионеско, Сартр, Тамара Дойчер — жена Исаака Дойчера, Ив Монтан, Хомский, Александр Галич! Мишель Фуко организовал контрбрежневскую встречу. Таня с Галичем участвовали в спектакле Армана Гатти о психушках, о Гулаге.

ми», я опять пришел к вере в простейшее, человеческое, в то, что так любил у Ремарка и у Генриха Белля: живого человека, его любовь, товарищество, кусок хлеба, в прекрасное в человеке, в природе, искусстве.

У Высоцкого отталкивало падение в мир блатных, блатной жаргон ради жаргона.

Когда Галич использует жаргон и мотивы блатных песен, то он отражает то, что вся страна пронизана лагерями и тюрьмами, вся страна под полицейским надзором и отношение каждого к милиции и КГБ близко отношению вора к милиционеру. На самом деле и это лишь поверхностный слой песен Галича.

Глубже — философское значение блатных мотивов. Уголовник, сидящий в тюрьме или лагере, если он не просто подонок, мечтает о самых важных для человека вещах, элементарно-человеческом, на которое надстраивается утонченная культура, высоко духовное: воля (свобода), уважение к себе и товарищам, женщине. Уголовник в лагере не только вне прав, но и вне условностей официальной лжи. В лагере все обнажено — вот угнетенные, вот угнетатели, вот стукачи (не хотелось бы преувеличивать достоинств лагерной жизни — и там есть ложь, условности, рабский труд, но легче уйти от социальной фальши, найти товарищей, которые не продадут. Именно здесь падение человека — падение без маски. Зато, если ты человек, все твои достоинства выпячиваются, твое человеческое просвечивает через самые незначительные поступки).

Увлечение абсурдом, литературным, модерном естественно сочеталось с увлечением сюрреализмом и абстрактной живописью.

Мне лично сюрреализм нравился мало из-за моего чрезмерно рационалистического сознания, но Линке и Шагал просто завораживали своей близостью.

У Линке — «Крыши кричат», крик муки поляков во время войны, переданный криком разрушенных зданий Варшавы.

У Шагала — непессимистический сюрреализм, и поэтому Шагал тоже стал духовной опорой.

Абстракционизма я не воспринимал и не воспринимал. Если что-то и нравится, то на чисто сенсорном, недуховном уровне, как нравятся блики солнца на листьях, на воде, как нравятся замысловатые корни деревьев.

Возрастающий скептицизм и нигилизм, отчаяние привели к тому, что любовь к Евангелию сместилась к Екклесиасту, а затем к Откровению святого Иоанна. К последнему, правда, интерес был недолговременен — что-то уже патологическое мне виделось тогда в нем.

Спасло меня от окончательного поглощения души апокалиптическим видением мира, от цинизма и нигилизма то, что мне удалось, наконец, найти тему, связывающую мои математические и философские интересы.

Как-то на семинаре Антомонов рассказывал о критериях самоорганизации, предложенных американским кибернетиком Ферстером. Антомонов развил эти идеи. Выступил я и указал на чрезмерный схематизм, формализм, бессодержательность предложенных критериев. В ходе полемики пришлось выдвинуть свою программу исследований организации, свое определение организации. Исходным для меня был тезис, что если хотя бы элементы философии можно развить до уровня науки, то такая философия имеет право на существование. Иначе это схоластика, а не философия.

Дискуссия с Антомоновым длилась с месяц. И постепенно мне удалось сформулировать свои основные тезисы об организации и информации.

Основным недостатком многих кибернетических теорий является то, что вверх ногами стоит соотношение математической и содержательной частей теории. «Нормальные» естественные науки шли от описания к содержательной теории явления, и лишь при достаточно развитой содержательной теории появлялась формализация, математизация теории, которая в свою очередь позволяла углублять представление о явлении.

Математическая теория информации была разработана на основе технических систем связи и описывает, в основном, количественную сторону информационных процессов. Я не встречал ни одного плодотворного применения теории информации для изучения живых систем.

Связав понятия информации и организации, опираясь на теорию отражения, намек на которую был дан Дидро и немного развит Лениным, а потом философами-кибернетиками, мне удалось посмотреть на информационные процессы под другим углом зрения.

После наших философских споров мне удалось немного формализовать, математизировать часть своих философских идей об организации и информации. Удалось, в частности, вывести новую формулу количества информации, принципиально отличную по содержанию от классической, но чисто математически оказавшуюся обобщением ее.

Исходя из этой формулы, удалось математизировать еще ряд содержательных моделей организации и информационных процессов.

Антомонов очень заинтересовался моей работой, т.к. его интересы были тематически близки моим.

Договорились написать вдвоем полуфилософскую, полуматематическую работу по теории организации и информации (обе теории слились у нас в нечто единое).

Случайно я прочел критику идей философа Богданова, которого Ленин разгромил в работе «Материализм и эмпириокритицизм». Оказалось, что Богданов после революции развивал «Всеобщую организационную науку, или тектологию». Прошло около года, пока удалось достать его книгу. Философская часть мне не понравилась, т.к. была слишком механистической.

Но зато Богданов предвосхитил некоторые постулаты кибернетики. Кое-что показалось полезным для моей работы.

И еще один для меня важный вывод сделал я из его книги. Если философ достаточно оригинален и умён, то сколь бы далекой ни была от тебя его философия, всегда

можно найти в ней то, что даст толчок собственной мысли.

Вначале работа шла очень хорошо. Дискуссии с Антфмоновым, доклады, статья.

Но потом вышло первое недоразумение с Антомоновым. Он, не спросив меня, пригласил журналиста. Тот предложил написать обо мне, о моих работах в разделе «Трибуна молодых ученых». Я вспыхнул и резко ответил журналисту, что научно-популярные журналы профанируют науку. Он растерялся. Пришлось извиниться и объяснить уже спокойнее, что работу я не довел до конца и что поэтому ее пока нельзя популяризировать. Журналист ушел.

Антомонов заявил мне, что ни одна тема не может быть разработана до конца и моя «честность» приведет лишь к тому, что я вообще ничего писать не буду. Вторым доводом было благо лаборатории: выход в популярные журналы помогает приобрести вес в обществе, т.к. статьи в специальных журналах читают только узкие специалисты. Я язвительно напомнил ему Амосова, который постоянно заманивает журналистов, презирая их. Когда ожидается в отделе биокибернетики журналист, то в ту комнату, в которой он будет беседовать с кем-либо из сотрудников Амосова, переносят самые сложные, внушительные машины, чтобы воздействовать на фантазию журналиста: вот, дескать, каков у нас уровень техники, не то, что у «простых» биологов. Антомонов смеялся вместе со мной, но пытался доказать, что у него другой, неблефовый подход к газетчикам.

*

Через несколько месяцев появилась журналистка из «Науки та життя». Она раскопала где-то сведения о «чуде на Саперной слободке» и хотела, чтобы это чудо прокомментировали кибернетики (у обывателей кибернетик обозначает высшую степень учености; математик

внушает почтение тем, что способен решать ужасно сложные задачи, но он не чудодей, а некий оторванный от жизни чудака). Я расспросил о ее взглядах на «чудеса». Она оказалась верящей во все мистические чудеса, знающей множество всякого рода волшебников в Киевской области.

Несколько сотрудников института написали комментарии к «чуду». Я отрицал телекинез, но писал, что наука не должна закрывать глаза на непонятные ей явления, если эти явления не есть плод буйной фантазии.

В это время на страницах газет и журналов разгорелся спор между «телепатами» и «антителепатами». С обеих сторон аргументы были схоластическими. Обе стороны исходили из прецедентов и аналогий. И, конечно же, обе стороны опирались на диалектический материализм. Бросалась в глаза ненаучность мышления и тех, и других. Одни *хотели* чуда, другие *не хотели*. Не осторожное, уважительное отношение к явлениям, а желание было в основе видения явлений.

То же в споре о проблемах «Есть ли жизнь на Марсе?» или «Были ли пришельцы на Земле?».

Эти дискуссии убедили меня в том, что даже в естественных науках не хватает трезвого скептицизма. Он заменен верой.

У нас любят говорить о том, что диалектика, диалектическое мышление является базой для взлета научной мысли. Но странный факт: с конца 30-х годов в СССР не было создано ни одного принципиально нового направления в науке, сравнимого с кибернетикой или структурным анализом. В 20-х годах — задолго до западного структурализма — появился Пропп, в 30-х годах — работы Выготского и Узнадзе по психологии.

То же и в искусстве, в литературоведении и т. д.

В 20-х годах — Бахтин, театр абсурда (Введенский, Хармс). В генетике — Вавилов и Кольцов. Циолковский!.. Трудно перечислить то, что или возникло, или было продолжено советскими учеными в 20-х годах.

Окончательная же победа «диалектического мате-

риализма» привела к механистическому, волюнтаристскому неоламаркизму Лысенко, к механистической, волюнтаристской «диалектике» Сталина, к плоско-рационалистической теории соцреализма. Ни одной свежей идеи в философии (я не говорю о тех философах, которые лишь прикрываются марксистской фразеологией, или о младомарксистах, возникших после XX съезда).

Как-то еще на 4-м курсе я спросил одного преподавателя философии о причинах этого явления. Он ответил, что наша официальная философия на самом деле метафизическая и что диалектики больше у буржуазных ученых.

Возникает вопрос — а как же успехи в космосе, в физике и математике? Ведь в этих областях уровень советской науки не ниже западного.

Причин этому много.

Ломоносов жил в отсталой, варварской стране. Если бы его не обучали западные ученые, то, очевидно, он бы не стал большим ученым. Наши крупнейшие физики учились у крупных дореволюционных физиков и у западных. Ведь и перед революцией без всякой «диалектической» базы были Менделеев, Бутлеров, Лобачевский.

Успехи космонавтики были подготовлены дореволюционными работами мистически, гилозоистски настроенного Циолковского. Техническая сторона успехов в космосе объясняется преимуществами государственной собственности, которая позволяет концентрировать всю экономику, фокусировать ее развитие в одном направлении. Отставшая от германской военной промышленности советская за несколько лет стала передовой даже при «мудром руководстве Сталина». Но и Петру Первому удалось варварскую отсталую страну превратить в могучую варварскую же страну опять-таки благодаря вмешательству государства в экономику, благодаря концентрации сил.

Причиной успехов теоретической физики и математики было то, что математика базируется как раз

на формальной логике. Диалектика входит в нее в снятом, формализованном виде. Но кто ввел диалектику в математику? «Буржуазные» ученые Ньютон и Лейбниц, Кантор и Лобачевский, Рассел. А что диалектического внесли в математику математики-марксисты? Некоторые из них издевались над достижениями математической логики, которая вышла за пределы аристотелевой логики. Это было их единственным оригинальным вкладом в философию математики.

Теоретическая физика более близка к природе и поэтому должна быть более диалектичной, чем математика. Но в основе теоретической физики лежит все та же математика, т.е. формальная логика. Диалектика соотношения эксперимента и теории была наиболее разработана как раз западными физиками.

Теория относительности и квантовая теория, их диалектика — заслуга западных ученых, «буржуазных» физиков.

*

Почти полное совпадение научных и философских интересов с темой работы в Институте сделало 66-67 гг. для меня счастливыми. Но с середины 67-го года я натолкнулся на математические трудности — никак не мог доказать теоремы, важной для моей диссертации по математике.

Я бился над ней около полугода. Антомонов нервничал, пытался уговорить меня опубликовать уже полученное в теории организации и информации. Но мне казалось недобросовестным публиковать наметки, а не сравнительно цельную вещь. Отношения с Антомоновым ухудшались.

Все же я стал готовиться к защите диссертации. Сдал кандидатский экзамен по философии. Для этого необходимо было написать реферат по какой-либо теме.

Когда философ, принимавший экзамены, прочел мой реферат, он предложил мне защищать диссертацию по философии. Я рассказал ему о своих планах в области

разработки проблемы смысла жизни, отталкиваясь от теории развития, теории отражения и некоторых кибернетических идей. Он был физиком по образованию и потому не считал возможным оценивать мои взгляды на проблемы этики. В Институте философии есть «прогрессивные» молодые философы, занимающиеся подобными проблемами. Он назвал фамилии трех из них. Одного я знал раньше, он занимался самиздатом, правда не политическим.

Этим «прогрессивным» молодым философам я и прочел свои тезисы. Они заинтересовались, но сказали, что это не наука, а философия.

— Почему у тебя нет ссылок на Фрейда?

Я ответил, что не считаю Фрейда серьезным ученым.

— А Павлова, которого ты цитируешь?

— Он, конечно, нанес вред психологии, но в нейрофизиологии заслуги его бесспорны.

Согласились.

— У тебя очень много ссылок на Энгельса. Неужели нет ничего поновее?

— Например?

— Витгенштейн? Читал?

— Да, но проблемы, которые он рассматривает, и его подход к философии мне не интересны.

Они стали доказывать, что марксизм — одно из мистических учений.

Я, конечно, спорил, но в душе смеялся: самиздатчик доказывает официальным советским философам разумность марксизма. Парадоксы разлагающейся идеологии, напоминающие времена, когда папы римские были атеистами.

Через несколько лет после встречи с этими молодыми киевскими логическими позитивистами я познакомился с крупнейшим советским философом Асмусом. Он расспрашивал меня о самиздате, о демократическом движении, об отношении к марксизму. Я изложил свои взгляды. Он был удивлен:

— Странно, что среди молодежи остались марксисты.

Оказалось, что он всегда считал себя неокантианцем, но т.к. в марксизме есть общие с кантианством элементы, то он может почти не кривя душой писать «марксистские» труды. Более умные партийные философы подозревают его в ереси, но доказать это не могут:

— Ведь их не интересует смысл. Лишь бы цитаты из Маркса, Энгельса и Ленина были.

Уже после 68-го года был у меня интересный разговор с одним киевским позитивистом.

Положение в современной советской философии он изобразил следующим образом.

— Сейчас у нас есть все течения философии — от религиозных до марксистских. Среди них есть небольшая часть партийных философов, т.е. не философов, а цитатчиков, следящих только за последними указаниями. Их все презирают, но почти не боятся: они ничего не понимают.

«Бьют только младомарксистов. Так вам и надо — может, хоть теперь что-нибудь поймете. А бьют вас потому, что это единственная философия, революционная в своем содержании. Все другие могут бунтовать, но бунт не вытекает из их философии».

Я поблагодарил его за столь лестные для нас, молодо-неомарксистов, слова.

Во времена хрущевской «оттепели» он имел доступ к архивам Ленина. По его словам, там хранится немало неопубликованных работ Ленина, в частности, философских («безграмотных, конечно», — добавил он).

Встречал я также «марксистов-сартристов», теософов. Наиболее многочисленны логические позитивисты, т.к. их поддерживают ученые и сам процесс возрастания роли науки, математики, в частности.

Прячутся они очень просто. Если я хочу развить ту или иную мысль Сартра, я должен отдать поклон основоположникам (достаточно одной цитаты) и начать громить Сартра. И необязательно при этом лицемерить — любой толковый последователь Сартра в чем-то с ним не согласен. Об этом он и пишет, развивая параллельно

другие идеи Сартра. Внешне это развитие выглядит опровержением этих идей.

Это один из методов философского «эзоповского» языка. Другой метод «эзопа» — тарабарские философские слова, понимание которых доступно немногим специалистам. Есть и другие «методы».

Но, как показывает опыт, кроме первого метода, «эзоп» не всегда срабатывает: партийные философы, не улавливая крамолы в содержании (из-за неумения мыслить самостоятельно), чуют крамолу в стиле изложения, языке.

Во всех социально-гуманитарных науках есть «зоны молчания», т.е. темы, о которых не положено писать. Такой темой долгое время были половые отношения. О сексе писали под заголовками «о любви и дружбе», причем рассматривалось лишь равенство мужчины и женщины, материнство, воспитание детей, помощь женщине со стороны мужчины. О самих же половых отношениях стыдливо молчали: неудобно как-то признаться, что не только буржуазия занимается этим греховным делом. Сексуальное ханжество было продолжением идеологического, тотальная идеологизация привела к идеологизации пола.

С «зонами молчания» у меня была связана одна забавная история.

Однажды мне позвонили из парткома и попросили зайти к ним и рассказать о семинаре, которым я руководил.

Я подумал, что кто-нибудь донес о моих «методах» пропагандиста.

В парткоме спросили, почему мы ведем семинар не по общему плану. Я объяснил, что нельзя же каждый год рассматривать одни и те же проблемы: это отталкивает от семинара.

Стандартные темы мы изучали в институтах, на семинарах предыдущих лет.

По этой причине я выбрал темы, по сути не изучаемые, но интересные ученым — проблемы этики и эстети-

ки: «ведь мы боремся за всестороннее развитие людей».

Последняя демагогическая фраза успокоила партийных надзирателей за идеологией.

Они предложили мне выступить на совещании пропагандистов Академии наук, рассказать о моих принципах и методах пропагандистской работы.

Я обдумал тему своего выступления. Врать и не хотелось, и опасно — они могут узнать о том, что я иначе веду семинары, чем рассказываю. Но не хотелось и отказаться от семинара.

Совещание проводилось в здании райкома партии. Руководила секретарь райкома. Темой были формы пропагандистской работы.

Пропагандисты рассказывали о проценте посещаемости, о повышении идейности ученых после политзанятий и прочую чушь. Нудно, как и на всех других официальных совещаниях.

Пригласили меня.

Я начал с того, что после разоблачения культа, после нудных лекций по философии в институтах у молодых ученых выработалось презрение к философии и политике. И с этим сталкивается каждый пропагандист (зал дружно закивал). Нужно изменить формы пропагандистской работы. И я, дескать, исхожу в своей работе из следующих положений:

1. Нужно, чтоб было свободное посещение. Кто не хочет, пусть не ходит. Вначале это приводит к отсеву, а затем, наоборот, увеличивается процент посещения, если семинар интересен.

2. Нельзя и ученым, и людям со средним или даже начальным образованием давать одну и ту же программу политпросвещения. Нельзя из года в год давать все ту же программу.

(Было смешно и стыдно говорить банальности, но эти кретины воспринимали все это как нечто смелое и оригинальное).

3. Нужно искать новые темы, как связанные с профессиональными интересами, так и отдаленные от них.

4. Нужны не доклады, а дискуссии.

5. Если ставится тема «В чем сущность искусства?», то она почти неизбежно провалится, т.к. это тема для профессионалов. Эту тему можно сформулировать в виде вопроса: «Есть ли искусство у марсиан?». По сути это та же тема, но сформулированная остро, необычно, вызывающая дискуссию и позволяющая заглянуть в самую суть проблемы.

Тут я взглянул на руководителя. Она расплывалась в восторге от «новаторских» идей. Я осмелел и решил подкинуть «крамолу».

— К сожалению, все пропагандисты сталкиваются с «зонами молчания», с темами, о которых не принято говорить или можно говорить лишь общими фразами. Например, «национальный вопрос».

Тут я просто кожей почувствовал ужас зала, секретарь райкома даже пригнулась: все ожидали повторения слов Дзюбы. Но это не входило в мои намерения — кого здесь пропагандировать за Украину? Может быть, 3-4 человека молча поддержат. Нужно спасти семинар.

Я продолжал:

— По национальному вопросу повторяют лишь слова Ленина. Ленин, как известно, стоял за украинизацию Украины. Но времена изменились. Нужно ли критиковать Ленина или же развивать его идеи? Нам, пропагандистам, постоянно задают этот и подобные вопросы.

Напряжение в зале возросло.

Даю отбой.

— Видимо, нужны специальные семинары по национальному вопросу для пропагандистов, нужно разрушить «зону молчания».

Секретарь райкома опять заулыбалась — опасность крамольной речи миновала. Перед ними — наивный, но преданный делу партии человек. (Одним из мотивов вторжения в «запретную зону» было желание получить материал о фактических установках ЦК КПУ по национальному вопросу, ведь на таких семинарах говорят

гораздо больше правды, и для самиздата я имел бы кое-какие новые факты великодержавного национализма КПСС.)

После совещания секретарь райкома горячо благодарила меня за «смелое, свежее выступление» и предложила написать развернутую статью о «новых методах пропагандистской работы».

Если они найдут других «творческих пропагандистов», то издадут целый сборник статей на эту тему. Я согласился.

Через неделю-две мне позвонили из парткома и попросили прислать автобиографию для ЦК партии. По секрету они сообщили, что ЦК желает выдать мне премию, почетную грамоту и вывесить мою фотографию на доске почета города как лучшего пропагандиста Киева.

Когда я рассказал всю историю Дзюбе и другим «неблагонадежным», стоял дружный хохот. С женой мы представляли, как КГБ приходит с обыском, а я указываю им на почетную грамоту ЦК — кого вы, дескать обыскиваете, сволочи!

Но мы недооценили КГБ. КГБ сообщил в ЦК, кто я, и больше я никогда не слышал о почетной грамоте.

Я делал и другие попытки «легализировать крамолу», хотя и относился насмешливо к «легалистам». Но мне казалось тогда, что легальная крамола «Нового мира» приносит больше пользы для развития мысли в СССР, чем весь самиздат.

Дальнейшие события показали, что надежды на эзоповскую литературу, на легально-официальную оппозицию необоснованны.

Власти очень хотят оживить свою мертвую идеологию, но не способны, т.к. сами мертвецы. Оживить же с помощью молодежи и бояться (а вдруг что-нибудь из этого выйдет «уклонистское»!), и не могут, т.к. творческая молодежь не с ними.

Ярким примером борьбы их желаний и страхов является история дискуссионного клуба в г. Киеве, который разогнали после двух дискуссий: о морали и прогрессе,

о морали и науке. Там не было крамолы, но страх у них всегда побеждает, во всех областях. Официальный советский марксизм — это самая трусливая идеология. И не идеология даже, а фразеология. В качестве пропагандиста мне часто приходилось встречаться с деятелями комсомола и партии.

Первым интересным деятелем был член парткома Института кибернетики. Перед культурной революцией он проповедовал маоизм. Многие из его рассказов было интересно и говорило в пользу КПК. Когда началась культурная революция в Китае, я спросил его о смысле этой революции. Он пытался объяснить, но не мог, т.к. информации было мало. Покаянное письмо Го Мо-жо убедило его в том, что КПК идет по сталинскому пути душения культуры. Он признал себя побежденным.

Был у нас в Институте китаец, который всегда гордился своей нацией. Когда началась культурная революция, он сник и стал всем объяснять, что он не китаец, а уйгур.

Однажды на комсомольском собрании я поругался с одним из партийных деятелей института из-за его демагогии и даже обозвал «провокатором». Он предложил встретиться и поговорить. Я согласился. Мы стали встречаться.

Его основной тезис: «Октябрьская революция — революция хамов. Нужно выгнать из руководства тупиц. К власти должна прийти техническая интеллигенция. Хватит нам «кухаркиных детей»».

По поводу хамской революции я напомнил слова русского писателя Мережковского о «грядущем хаме».

— Ну и что. Он верно предвидел.

— Но потом Мережковский бросился в объятия хамов Муссолини и Гитлера!

На это он ответил, что это не перечеркивает справедливости его мысли о рабоче-крестьянской революции.

Примерно через месяц он сказал, что говорил обо мне с партийными тузами Академии, и предложил мне вступить в партию.

— Ты умеешь трепаться на их языке, знаешь все догмы, и поэтому мы сможем сделать тебе карьеру. Такие, как ты, нужны для борьбы с бюрократами. Не исключено, что удастся постепенно захватить власть в ЦК, вышвырнуть дураков и заменить их умными людьми.

На месяцы растянулась дальнейшая дискуссия. Я доказывал, что власть технократов будет ничем не лучшей, чем бюрократическая, что утопично мечтать о том, что честный человек сможет стать членом ЦК, не став негодяем.

Я давал ему весь самиздат, который имел. И наконец он сдался.

— Хорошо, что мне делать?

— Одним из принципов демократии является самостоятельное мышление. Найди себе деятельность по душе в самиздате.

Он заскучал и с тех пор стал отдаляться и от меня, и от партийной работы.

Им так хочется не думать самим, так хочется вождей, пусть «демократических», но фюреров.

Другой партийный босс был еще интереснее.

В свое время он по поручению ЦК ЛКСМУ был одним из руководителей культпросветработы. Но после разгона «Клуба творческой молодежи» (из которого вышло большинство видных киевских патриотов-оппозиционеров) он локализовал свою деятельность в рамках своего института. Он проводил интересные мероприятия культурно-политического характера.

Познакомившись с ним, я стал использовать его связи в партийных и комсомольских кругах для улучшения культурнической работы в нашем институте.

Он очень интересовался Дзюбой, Светличным и другими участниками украинского движения. Я давал ему самиздат, он приносил редкие или малодоступные книги.

Потом несколько лет мы не виделись и встретились в 69-м году, когда я уже не работал.

Он был очень пьян, но меня узнал и сразу же стал ругаться.

— Такие, как ты, Дзюба и Светличный, нужны Украине. ЦК КПУ охраняет Дзюбу и Светличного от ареста, а вы лезете на рожон. Я могу познакомить тебя с секретарем ЦК Овчаренко. Он мой друг. Ты пообещай, что не будешь шуметь, и он устроит тебя на более выгодную работу.

Я сослался на то, что Овчаренко — подлец. И вообще я не собирался отказываться от своих взглядов.

Он стал насмехаться над марксистскими иллюзиями.

— Я руковожу 300-ми коммунистами. Это бараны. Им нужна плетка, сильная рука. У власти должны стоять математики, физики, техники. Только таким образом Украина станет самостоятельной.

Плетку и сильную руку я прокомментировал как гитлеровскую идею.

-- А что, Гитлер разве был глупым человеком? Не все, что он говорил, глупо.

Спор стал бессмысленным.

— Ну что ж, прощай, утопист. Мы ведь хотим вам помочь.

Это было первое знакомство с партийным националистом-технократом. Впоследствии мне рассказывали о партийном боссе такого же плана, но с маоистским уклоном.

*

Как-то Антомонов собрал всю нашу лабораторию и сообщил, что дирекция института считает темы нашей работы неактуальными (и в этом она была права) и собирается лабораторию распустить. Но есть выход. Президиуму Академии наук УССР поручено развернуть работы по космической медицине, биологии и психологии.

Президиум предложил взять эту работу нашему институту. Глушков не желает этим заниматься и по-

тому хочет ограничить участие института в этой теме одной нашей лабораторией.

Антомонов прочел примерный план работы. Это был план работы для целого института, и он включал задачи, явно не разрешимые при современном уровне науки.

Я съездив:

— Нужно пригласить Станислава Лема в лабораторию — у него много идей.

Антомонов объяснил, что есть другой выход — перейти в Институт физиологии и заняться медициной.

Итак, здесь — психология, там — физиология.

Незначительным большинством прошла психология.

Тематика оказалась секретной. Подали заявления в отдел кадров на допуск. Антомонов дал мне очень лестную характеристику. Но допуска не дали. Антомонов предложил работать «негром», т.е. решать те или иные задачи, не зная их конкретного содержания.

Начался период перестройки работы лаборатории, изучения литературы по психологии восприятия, памяти, эмоций, внимания, воли и т. д.

Я предложил взять на работу психолога.

Антомонов запротестовал:

— Вы же знаете, психологи ничего не понимают и не умеют. Вы вполне справитесь с ролью психолога, ведь вы математик.

Первое задание Космического центра было написать книгу об основных положениях психологии человека, об инженерной психологии и т. д. Распределили между всеми разделы. Мне достались восприятие, память и внимание. Времени на работу было много, и, как это бывает обычно, мы принялись изучать вопрос за неделю до сдачи. Не будучи специалистами в психологии и не представляя, что важно для космонавтики, из горы исследований и теорий мы выбрали нужное наугад, каждый на свой вкус.

Сдали. Пришло новое задание — почти то же, но с требованием математизировать, углубить и развить предыдущую работу.

Углубляли тем же способом, т.е. выписывали из книг. Развивали тем, что с ходу придумывали гипотезы и выдавали за теории.

Математизировать я не хотел. Пришлось пойти на острый спор с Антомоновым. Он признал, что все это несерьезно, но нужно спасти лабораторию. Я ответил, что не могу же брать формулы из воздуха, каждая новая формула должна быть получена после кропотливого психологического исследования. Он посоветовал как-нибудь прилепить мою формулу информации. Было тошно от лжи, но аргумент «блага лаборатории» подействовал — я прилепил свою формулу. Центр остался довольным.

Наконец спустили новое задание — изучить проблему сложности той или иной работы оператора (шофера, летчика, космонавта и т. д.). Я попытался использовать свои предыдущие работы об информации. Мой товарищ по моим рекомендациям сделал прибор для экспериментов по «сложности». В самом Центре должны были провести эксперименты по зависимости «сложности» от условий работы (пониженное давление, недостаток кислорода, невесомость и прочее). Я придумал формулу «сложности», годную лишь для узкого круга действий оператора.

Почти все понимали, что мы помогаем медикам и биологам Космического центра обманывать Академию, которая обманывает ЦК, который обманывает народ...

Из Центра пришло новое задание — придумать биологическую или психологическую задачу, для которой понадобилась бы электронно-счетная машина в космической ракете. И это только для того, чтоб в космос взлетела первая ЭВМ, советская (американцы все-таки и тут опередили, не знаю с какой целью)!

Благодаря связям лаборатории с Центром стали известны некоторые детали подвигов советских космонавтов. Оказалось, что гибель трех космонавтов — на совести правительства: оно настаивало на определенном сроке запуска ракеты, когда еще не был подготовлен

запуск, не была проверена надежность системы. Ученые возражали, но ведь у нас наука партийная, и потому цели рекламы стоят над научными целями.

Унав эти подробности достижений советской космонавтики, я стал говорить Антомонову, что мы не только помогаем лгать, но и участвуем в подготовке гибели новых космонавтов. Антомонов оборонялся слабо, т.к. знал обо всем гораздо лучше меня — у него был допуск, а мне рассказывали далеко не всё.

Стало известно о совещании руководителей космических исследований. Обсуждался вопрос о причинах отставания в космонавтике. Один из ученых указал на отставание в электронике и других технических науках — нельзя перегонять американцев только в одной области, если отстают другие. Концентрация сил на одном участке дает лишь кратковременный успех, если отстают другие. Другой ученый как на причину отставания указал на вмешательство невежественных людей в управление космонавтикой (все понимали, что имелся в виду Центральный Комитет).

Стенограмму совещания послали в ЦК. Никакой реакции.

Однажды к нам приехали товарищи из Центра проверить работу и обсудить различные проблемы «биологической и психологической» космонавтики. Почти все были в разъезде. Волей-неволей пришлось беседовать со мной. Я предупредил, что не имею допуска.

— Почему?

— Политическая неблагонадежность.

Расспросили, посочувствовали, поругали за наивность.

— Ведь все равно ничего не сможете сделать.

Они рассказали о своих экспериментах. Меня буквально потряс рассказ об одном из экспериментов.

Добровольцы в подопытные для опытов по «космонавтике» получают огромные суммы, поэтому от желающих нет отбоя. Одна женщина сидела в специальной камере 70 дней. На 68-й (или 69-й) она увидела, что потолок начинает опускаться. Она, естественно, пере-

пугалась. Все ее реакции были зафиксированы электроэнцефалографами, электрокардиографами и другими приборами.

— Зачем нужен такой эксперимент? — спросил я.

— Как зачем? Чтоб изучить реакцию на опасность. Когда Леонов и Беляев провели свой эксперимент в космосе, они чрезвычайно трусили.

— Но ведь перед всяким экспериментом предлагают ряд альтернативных рабочих гипотез. Эксперимент отбрасывает часть из них. У вас были такие гипотезы? Что вы проверяли?

— Ничего. Просто мы изучали реакцию.

— Хорошо, но ведь она могла получить невроз или разрыв сердца от ужаса.

— Мы проверили ее сердце. К тому же наука без жертв не бывает.

Перешли к проблеме управления эмоциями. Оказалось, что страх, и очень сильный, есть у всех космонавтов. Часть из них в этом честно признается, часть набивает себе цену своей смелостью.

Но эмоции страха мешают управлению кораблем.

Как снять страх?

Я сказал, что западная психология (насколько я знаком с ней) не может пока решить эту проблему, но в раджа-йоге есть подходящие методы управления подсознанием. Порекомендовал литературу.

Где йога, там и телепатия.

Они рассказали о том, что американский космонавт проводил успешные эксперименты по телепатической связи с Землей на ракете.

Затем они спросили: «А можно, чтобы наша ракета подлетела к американской, приклеила мину и спокойно удалась? Американцы при этом чтобы ничего не заметили?»

Глупость и мерзость «мечты» ученых-медиков поразили меня. Но я спокойно объяснил, что если телепатическая связь и возможна, то уровень связи, который им нужен, будет, видимо, достигнут через сотни лет. Они

пообещали похлопотать о создании секретной телепатической лаборатории.

В конце беседы я не выдержал и стал упрекать их в том, что они хотят работать на войну.

— Но ведь если мы не будем усиливать свою мощь, то американцы нас обгонят!

— Но ведь и американские ученые так рассуждают. Вооружение с обеих сторон будет возрастать, и не может же оружие долго лежать без дела. В конце концов оно будет применено.

— Но нельзя же сдать перед ними?

— Нужно сделать все для обоюдного разоружения. Сейчас так много оружия у обеих сторон, что, если даже у нас будет в два раза больше, чем у них, мы не победим, погибнут обе стороны и нейтралы, разве что папуасы останутся.

Они укоряли меня утопизмом.

— Но ведь на Западе часть ученых бойкотирует военные исследования. Почему у нас этого нет? Потому что мы за мир?

Через несколько месяцев мы с товарищем получили предложение создать парапсихологическую лабораторию при морском ведомстве. Мы поняли, что нужно выбирать — интересную работу или совесть.

На дискуссии по телепатии в одном из учреждений я заявил, что изучал телепатию много лет и убедился в том, что телепатических явлений нет.

Телепаты Киева посчитали мое заявление предательством, но затем поняли мотивы и тоже прекратили эксперименты. Закрылись впоследствии Ленинградская, Московская, Новосибирская лаборатории. Причин закрытия я не знаю.

На опыте с биокибернетикой и телепатией я убедился, что нельзя бежать в науку: все равно участвуешь либо во лжи, либо в полицейско-милитаристской промышленности.

Моя жена пыталась «жить не по лжи», уйдя в изучение психологии и педагогики детских игр. Но и здесь

приходилось лгать или воспитывать в «военно-патриотическом духе».

Мы наблюдали, как увеличивается число «бегущих» от общественной и официальной деятельности, из военной промышленности, от научно-технической лжи.

Некоторые меняли работу на более честную, нужную людям. Но это помогало мало — всюду ложь.

Мой школьный товарищ бросил работу инженера и пошел в рабочие: и зарплата больше, и не нужно ругаться с рабочими, заставлять их работать, и ответственности меньше, и красть можно (правда, он сам так почти и не крал, став рабочим). Он рассказывал о порядках на заводе и делал вывод:

— Нужен порядок, нужен Сталин или Гитлер.

Я долго расспрашивал его, чего он хочет. Оказалось, что его удовлетворил бы и либеральный капитализм — лишь бы не бордель Хрущева и Брежнева. Он техник по мышлению и хочет участвовать в развитии более или менее разумной экономики.

Рассказывал он еще об одном явлении. Разогнали артели — маленькие кооперативные предприятия, производившие мелкие товары. Артельщики пошли в колхозы и создали специальные мастерские. Производительность труда таких мастерских была настолько высока, что они стали получать огромные деньги. Но такие суммы одному лицу нельзя получить по закону. Тогда стали записывать фиктивных работников. Такой рабочий появлялся в артели два раза в месяц, за зарплатой, расписывался, например, в получении 300-400 рублей, а на деле получал 50-100 рублей. Остальное шло действительным работникам. Колхоз тоже был в выигрыше — он получал большой доход, иногда превышающий даже доход всего колхоза.

При этом было подмечено и интересное национально-психологическое явление. Если фиктивным рабочим был украинец или русский, то рано или поздно он попадался (чаще всего из-за пьянства: трудно не напиться на даровые деньги) и выдавал «работодателей». Если же это

был еврей, то гарантия безопасности для артели была гораздо больше, и выдавали евреи реже.

О таком же национальном явлении рассказывали мне валютчики в Московской и Киевской тюрьме.

Разочарование в возможности честного, творческого труда толкало к дальнейшим размышлениям о сущности нашего государства. Самиздатская литература давала исторический материал для этих размышлений, показывала психологию общества, различных его слоев.

*

Вспоминается огромное счастье «Ракового корпуса» — счастье эстетическое и нравственное.

Первые страницы были трудны и заставили отложить книгу. Я попытался понять, почему трудно читать. Язык. Он показался мне каким-то нерусским. Но чем — было неясно. Читал дальше, заметил, что это ощущение неправильного языка исчезло, язык вообще исчез — осталась жизнь и мысль. И только к концу книги я понял свою первую реакцию. Мы так уже пресытились беллетристикой, что правильные, гладкие фразы со стандартными словами легко входят в сознание и столь же легко уходят из него — как вода сквозь песок. «Шероховатость» языка «Ракового корпуса» задевает, «царапает» сознание и заставляет вслушиваться, сосредоточивать внимание на каждой фразе.

Но не то же ли у Достоевского: тяжело построенные фразы еще более трудны для восприятия, но именно это создает напряженное внимание, и затем, когда уже с этой трудностью частично справишься, Достоевский вытягивает в страшный и светлый мир своих героев-идей, завораживает почти магнетически настолько, что исчезает не только язык, но и идеи (они приходят потом, как собственные) — остается жизнь героев-идей.

Я не филолог и потому не хочу проводить анализ произведения. Рассказываю лишь о своей реакции. Художественная глубина «Ракового корпуса» вначале заслонила мысль Солженицына. Радостно было, что на-

конец возродилась великая русская литература и достигла высоты Гоголя, Достоевского, Толстого.

И еще одна сторона, чисто художественная, поразила. До Солженицына натурализм казался мне чем-то нехудожественным и даже патологическим в некоторых случаях, он как бы подготавливал свой антипод — декаданс.

И вот «натурализм», но особенный, притчевый, потому, может быть, что вся история наша — огромная притча, включающая в себя Христовы и все, все другие притчи.

Я встретил потом человека, знавшего больницу, описанную Солженицыным. Он говорил мне, что узнал врачей и многое другое — настолько все списано с действительности, пережитой Солженицыным. Вывод из этого он делал отрицательный: «фотография».

Глупый, конечно, вывод. До чтения книги я и сам думал то же о натурализме. Но «ненатуралистическая» его, неудачная, по-моему, пьеса «Свеча на ветру» показывает, что у Солженицына особое видение мира: он не отдается воле фантазии, а через явления, детали увиденного в реальности проникает в духовное содержание целого мира. В этом, как мне кажется, и есть суть притчи. Подтверждением этого для меня являются и другие неудачи Солженицына — Сталин в «Круге первом», Ленин в «Ленине в Цюрихе». В этих произведениях есть, правда, и другая причина художественной неудачи — ненависть. Ненависть, как и другие сильные эмоции, видимо, необходимы настоящему художнику, но не затемняющие видение, прошедшие через «магический кристалл» художника, иначе это крик, или гротеск, или что-то иное, но не художественное. Гротеск может быть художественным, но он не свойственен гению Солженицына.

Мне трудно писать об этом, т.к. тут нужны особые слова, чтобы точно и ясно выразить ощущение солженицынского творчества. Таких слов я не знаю и не встречал даже у профессиональных литературоведов и критиков. Все они скользят по поверхности Солжени-

цына, да и упрекать их нельзя в этом: пойдя, подступись к загадке гения.

Много споров в нашем кругу вызвали женские образы «Ракового корпуса», особенно Вега. Мне казалось тогда, что здесь Солженицын ниже своего гения.

Когда сидишь в заключении, то образ женщины преследует тебя. Но не цельный образ, а раздвоенный — нечто далекое, таинственно-прекрасное, ослепительно-возвышенное, связанное со всем дорогим для тебя в себе и вокруг тебя, и... баба, самка, лишенная каких-либо черт, кроме одной. И не случайно Вега — Вега, т.е. Звезда, да еще с какой-то особой звуковой мелодией тайны.

Сейчас мне не кажется, что Вега — неудача. Да, она лишена черт, делающих ее живой женщиной. Это мечта эка, и ее Солженицын выразил глубоко.

Большое значение для моего духовного развития имела мысль Шулубина: «Именно для России, с нашими раскаяниями, исповедями и мятежами, с Достоевским, Толстым и Кропоткиным, один только верный социализм есть: нравственный».

Мысль, вырванная из контекста, сразу же потускнела, т.к. не нова. Именно в контексте повести она стала для меня новой, вернее, продолжила то, что мне дал ранее Толстой. Одна из причин поражения Октября — нравственная. Пренебрежение общечеловеческими моральными ценностями, вытекавшее из абсолютизации классовости, относительности морали, привело к этическому релятивизму в теории и бесчеловечности на практике.

Вообще эта глава в повести столь же важна для меня по мысли, как глава о споре Ивана с Алешей (в трактате) в «Братьях Карамазовых» Достоевского.

Через месяцы после прочтения «Ракового корпуса» вдруг в сознании вынырнули слова Шулубина о Бэконовских идолах. И до чтения Солженицына я понимал значение мифов в советском обществе. Но Солженицын дал сильный толчок мысли в эту сторону. После Шулубина я стал внимательнее к мифам и их значению в

нашей жизни, значению их в трагедии всех революций.

В «Новом мире» появилась статья Кардина о некоторых легендах Октябрьской революции, в частности, о знаменитом выстреле «Авроры», которого на самом деле не было, как не было по сути штурм Зимнего дворца — его взяли голыми руками. На Кардина напали за развенчание легенд.

Но это всё безобидные легенды. Мифы о партии, вождах, о лучшем в мире строе, о фашисте Троцком, гестаповском агенте Тито, народах-предателях, прогрессивных царях, о полководце Суворове, Ермолове-полудекабристе (душителе Кавказа), о предателях (?) Шамиле и Мазепе и тысячи других больших и малых мифов — эти идола и мифы безобидные.

«Идола театра — это авторитетные чужие мнения, которыми человек любит руководствоваться при истолковании того, чего сам он не пережил»... Всплывают в памяти один за другим идола: Марр, сдушивший языкознание до марризма, и Сталин, уничтоживший языкознание вовсе, вместе с марристами; Лысенко, Павлов, классики марксизма-ленинизма-сталинизма; Маяковский, Пушкин и Шевченко в качестве полицейских дубинок в литературе — одни идола. И дело не в тех, кто стал идолом. Ермилов, травивший Маяковского, использовал Маяковского в качестве идола — фильтр мысли и формы. Гениальный Павлов, Кобзарь Украины, талантливый Марр и ничтожный Т. Лысенко обращаются в идола, если положено им поклоняться. Сама диалектика превращается в словесную эквилибристику, прячущую волюнтаризм и механицизм, метафизику и схоластику. Революционная партия стала жандармом и духовным надзирателем потому, что попыталась монополизировать власть, уничтожить диалектику общества, уничтожая свою противоположность. Диалектика истории отомстила господам диалектикам.

Толстой изучал методы борьбы бюрократии (церковной) с вероучителем.

Нужно объявить все идеи вероучителя вне критики,

абсолютно истинными. Тогда любое слово вероучителя непогрешимо, можно выдвинуть на первый план ошибку или второстепенное слово, отодвинув основное, умалчивая о нем.

Нужно между паствой и вероучителем поставить специалистов по истолкованию премудрости, не доступной простому люду. Интерпретаторы-богословы или пропагандисты, философы и секретари по идеологии, политруки, манипулируя со священным текстом, без труда докажут, что из любви к ближнему нужно его жечь на костре, а «смычка рабочих с крестьянами» означает насильственное превращение крестьянина в коллективизированного крепостного, преследование униатов и баптистов — свободу совести, антисемитизм и депортация народов — интернационализм, дважды два — чего угодно и т. д. и т. д.

Читая об идолах у Солженицына, видишь, что это все уже было — у Толстого, у Бэкона, а дальше, вглубь истории, — мифы, застилающие глаза, искажающие опыт.

«Истина должна быть конкретной» — этот догмат марксизма превращен в схоластический, с помощью метафизической «диалектики». Сегодня это отказ от какого-нибудь принципа марксизма («изменилась действительность»), завтра же — игнорирование факта, т.к. он отрицает «генеральную линию партии».

Всеобщая ложь использует правду и ложь, абсолютное и относительное, гений Маркса и ничтожество Хрущева, искренность молодежи и корыстность буржуа, все пороки и достоинства людей. А над и под всем этим — страх. «В серых тучах — навислое небо страха».

Государство лжи, страха, мелкобуржуазной корысти — логическое развитие татарско-монгольского ига, прогрессивных параноиков Ивана Грозного и Петра Великого, огосударственной церкви, автократии, опричнины.

После «Ракового корпуса» прочли «Пасхальный крестный ход» и «Крохотные рассказы».

Здесь открылась почти не увиденная в «Раковом корпусе» сторона мысли Солженицына — христианство.

И оно выявило себя даже в языке — в слове и построении фраз. Фальшь слова преодолена отошедшими, казалось, навсегда, словами и оборотами. Притчевость стала еще более осознанной.

«Воистину: обернутся когда-нибудь и растопчут нас всех!» — это о хулиганах-атеистах.

И насколько все опять точно, натуралистично...

Мы совсем недавно, перед чтением рассказа, видели с женой крестный ход в Киеве, у Владимирского собора, — еще более гнусные картины издевательства молодых хулиганов над верующими.

А еще раньше я попал как-то на собрание баптистов, кажется, прокофьевцев.

*

Один из сотрудников лаборатории, Н., рассказал о своей новой знакомой, баптистке. Он небрежно опровергал христианство, чтоб высказать свое знание истинной философии. А она стала наизусть читать ему Маркса — такого, о каком он и не слышал, — все «немарксистское».

— И все говорит мне о молодом Марксе. Как ты думаешь, врет или не врет в цитатах?

Я подтвердил достоверность цитат (такова уж духовная атмосфера в стране, что и противники Маркса не могут обойтись без «цитаток» священных текстов «Капитала»).

Н. сказал, что баптистка пригласила его на богослужение в лесу, за Дарницей.

Я поехал. Мне до этого случая думалось, что сектанты — темные, забытые люди, более безграмотные, чем верующие официальной, православной церкви. И вдруг Маркс, да еще молодой, о котором не все-то официальные философы знают, и что еще удивительнее — понимание этого, гораздо более сложного Маркса (хотя бы из-за остатков гегелевско-фейербаховского языка).

Сошел с электрички и, чуть углубившись в лес, увидел в кустах залегшую милицию.

Но куда идти дальше? Где-то близко, если милиция здесь. Услышал пение.

Подошел. Масса людей — простые крестьянские лица, младенцы на руках. Мелькают и тонкие интеллигентные черты. Не видно постного благообразия, нет также столь типичного выражения забитости.

На деревьях плакаты — какие-то религиозные фразы.

Поют. Удивило, что мелодии светские, даже из знакомых советских песен. В словах ничего особого, знакомые христианские идеи о любви, братстве, сострадании.

Чуть поодаль группа молодежи. Смеются, курят. Подошел к ним: хотелось курить, а баптисты не курят.

Прислушался к разговору.

— У них тут должен быть преподаватель Политехнического (один из крупнейших на Украине вузов). Прячется...

Мат спокойным голосом. Среди молодежи — девушки. Я инстинктивно вздрогнул: мат при девушках. Но девушки не слышали, видимо.

Один из группы — седой, с интеллигентным нервным лицом. К нему обращаются на «Вы», но сам он держится простецки. Из разговора начинаю понимать, что это студенты во главе с преподавателем. Видимо, по поручению обкома.

Преподаватель игриво:

— Не курят, не пьют, и вообще... Скучно. Вот есть секты, там сразу после молитвы — по кустам парочки. Вот туда бы и я вступил.

Парни дружно ржут, девушки чуть смущенно хихикают. Вначале я даже с симпатией слушаю их — нормальные веселые ребята, свои. А те — какие-то чужие, непонятные. Дико в XX веке веровать в Бога, креститься, бормотать молитвы.

Смущает меня только мат и цинизм.

Но я давно уже эмансипировался в области секса и

сам посмеиваюсь над остатками собственного морализма.

Но вот глава атеистов приблизился к верующим. За ним паства атеистов. Начинают подшучивать над благоглупостями сектантов, вполне добродушно.

Но и добродушные задевает почему-то сектантов. Они говорят:

— Почему вы нам мешаете? Не курите здесь, лес большой, отойдите. Мы вас не трогаем.

Добродушные шутки переходят в насмешки. Появляются грязные намеки о той или иной богомолке.

Разбиваются на группы спорящих.

Я послушал — скучно. И те, и другие просто не слушают аргументов друг друга. Но у верующих — жалость к атеистам и оскорбленное чувство, а у атеистов и чувств-то нет, кроме навязчивой сексуализации аргументов.

Увидав, что я бросил курить (стыдно стало, что я с *этими* вместе), подошла девушка с тонкими, одухотворенными чертами. Спросила, кто я, зачем я здесь, верую ли. Ответил. Она рассказала о себе. Учится в техникуме. Год назад заболела, потрясенная мучительной смертью матери. Все забросила, мучилась одна. Пришли баптисты, помогали по хозяйству, утешали духовно.

— Красиво у них и дружно. Все помнят друг о друге, заботятся. Я пою в хоре, рисую плакатики.

— Но ведь скучно должно быть, это все так несовершенно, примитивно.

— Да, бывает скучно. Но ведь это от меня зависит. У нас много интересных книг, и в хоре интересно — много молодежи.

— А почему мелодии светские? Ведь старинные церковные мелодии ближе духу религии и красивее кажутся.

— Мне эти больше нравятся. И слова хорошие. Мой товарищ сам сочиняет и музыку и слова.

Вдруг все образовали полукруг.

Вышел молодой парень, «брат» из Одессы.

Говорил он нервным, взволнованным голосом.

Оказалось, что по тюрьмам сидит очень много «братьев» и «сестер». Обращались к Микояну и Косыгину. Микоян обещал выпустить, если те не виноваты. Дальше шли гневные слова на грани обвинения власти. Но придаться было трудно: обвинение было между слов и в тоне.

Выступил второй.

— Скоро новый учебный год. Наши младшие сестры и братья пойдут в школу. Там их ожидают оскорбления, издевательства, запугивание. Помолимся, чтоб Бог послал им выдержку, силы.

Я никогда до этого не слышал о преследовании за веру. И вдруг...

Опять возобновился диалог. Атеисты еще более распоясались. К пастырю атеистов подошла старая женщина. Она ласковым голосом объяснила ему, что они ничего плохого не делают, наоборот, борются с пьянством и развратом. Затем прочла свои стихи — очень примитивные, но трогательные по смыслу. Я не люблю сентиментальности, но на фоне «безбожных» аргументов как-то особо близкими показались эти стихи.

Преподаватель ответил тоже стихами. Рубленный стих а ля Маяковский — «агитатор и горлан». Что-то примитивно-атеистическое, по содержанию — хуже стихов Демьяна Бедного.

Она спросила, чьи стихи.

— Мои.

И тут я не выдержал:

— А кто вы такой?

Он видел, что я курю, и потому дружески ответил:

— Я русский поэт! Владимир Сталь!

Ненависть к этой самодовольной свинье так и брызнула из меня, и я, заикаясь, путаясь в словах, стал каламбурить:

— Оно и видно, что сталинист. А я — русский математик и говорю вам, что все вы — негодяи и хамы. Зачем вы тут?

Он растерялся. А мне стало стыдно за пафос, заикание, за неудачный каламбур.

Верующие испуганно смотрели на неожиданного «защитника». Ведь они старались не дразнить зверя, а я спровоцировал скандал. Я понял это и быстро ушел на станцию.

Узнав от меня обо всем этом, одна моя знакомая, научный сотрудник, рассказала свою историю.

По поручению парткома она ездила как-то в другой лес атеизировать другую группу сектантов. Ей наговорили об изуверствах, фанатизме секты. Увидела она ту же картину, что и я.

Стала мягко агитировать, но наткнулась на спокойную уверенность в своей правоте, простую убедительность веры, увидела бессилие своей учености перед нравственными аргументами этих простых и «суеверных» людей.

Стала ходить на каждое собрание. Увидев ее терпимость и уважительное отношение к ним, стали приглашать к себе домой — на чай.

Она полюбила нескольких, они ее.

Когда одну семью начали преследовать, она помогла устроиться на работу, присматривала за детьми.

Я просил познакомить меня с ними, но как-то не получилось. Видимо, боялись, что наведу на них КГБ.

*

«Крохотные рассказы» (или «Крохотки») покорили нас новыми гранями гения Солженицына.

Я воспитан в духе классовой ненависти и никогда, видимо, от нее не избавлюсь. Поэтому меня наиболее затронуло «Озеро Сегден». Так все знакомо, ничего нового по содержанию, но как хорошо о «слугах народа»:

«Лютый князь, злодей косоглазый, захватил озеро: вон дача его, купальни его. Злоденята ловят рыбу, бьют уток с лодки». Но без последних слов рассказа это неполно:

«Озеро пустынное. Милое озеро.

Родина . . .»

И вся страшная история Родины встает перед тобой Слова и обороты сказки переливаются в слова «современные» — дача, купальни, и видишь тождество злым ханов, князей, царей и наших вождей.

Странно, что все сейчас валят на идеологию. Ведь у татаро-монгольских ханов, православных государей и «большевистских» пастырей народа идеологии разные, а суть очень близкая.

Когда читаешь историю государства Российского, «воссоединения» Украины с Россией и самиздат о лагерной России, России ГУЛАГа, то так и рвется из тебя крик:

«Милое озеро. Родина милая».

Вот автор смотрит на тех, кто делает утреннюю гимнастику. И кажется, что молятся — кланяются, ритуально двигают руками, сосредоточены. И догадка — поклоняются телу. Но почему не духу?

Вот оно, то, что давно уже брезжило в сознании, а тут раскрыто лаконично и прозрачно: главный порок нашей цивилизации — ее буржуазность.

Солженицын вряд ли согласится с таким пониманием его. Но гений потому и гений, что отражает жизнь гораздо шире и глубже, чем говорит его собственное сознание, его идеология. И каждый видит в великих произведениях то, что он видит в жизни сам или мог увидеть. Не только отдельный читатель, но и каждая эпоха по-своему понимает Евангелие, «Фауста», «Кобзаря».

Достоевский в сознании своем политически был в самом деле «архиреакционером» — антисемит, антиполяк, сторонник реакционно-славянофильского захвата новых земель во имя спасения славян и т. д. Но ведь не это, не политическое сознание — главное у него. Как художник он показал Россию над пропастью, в пасквиле на революционеров, в «Бесах», предсказал бесовщину сталинианы. И это лишь малая частичка его прозрений.

Даже в самых реакционных его идеях было зерно

правды гуманизма. Лишь поверхностность художественного мышления, партийные очки-мифы помешали увидеть революционным демократам и их продолжателям эту правду.

Еще перед «Раковым корпусом» появилась в журнале «Москва» «Повесть о пережитом» Дьякова. Она была частично опубликована раньше с посвящением Хрущеву, гуманисту, который восстановил-де ленинские нормы и реабилитировал настоящих коммунистов.

Дьяков писал о лагере, приводил новые страшные факты садизма лагерного начальства. Но было что-то патологическое в подходе «истинного коммуниста» к лагерной тематике.

Кругом столько настоящих врагов — власовцев, бандеровцев и белогвардейцев, и среди них мы — истинные, твердокаменные, преданные, невинные. Что ж, лагерь и должен быть суровым (значит, и садизм надзирателей должен быть!), но только к виновным.

Вот среди зэков проводят подписку на государственный заем. Враги — не хотят. А мы, истинные, радуемся: значит, в нас верят, считают нас советскими людьми. Один «истинный» не имеет денег и переживает по этому поводу.

Вот бывший военачальник гражданской войны, командир корпуса Тодоров достал где-то «Краткий курс ВКП(б)» и радуется. Он читает об XI съезде партии и чуть не плачет от умиления: ведь на этом съезде Ленин похвалил книгу Тодорова.

Один из героев воспоминаний Дьякова, белогвардейский офицер, слушая как-то «истинных», сказал, что коммунисты, как караси на сковородке: их жарят, а они прыгают от радости.

Эти «истинные» ничем принципиально не отличаются от своих палачей, а может, и похуже, т.к. только человек с вывихнутым сознанием может быть в восторге от книги, написанной их палачом, книги, заведомо лгущей о них же, об их революции, об их идеологии.

Мы прочли эту книгу искреннего, честного сталиниста

и пришли в ужас: как миф может исказить все человеческие чувства, не говоря об идеологии! Ничего человеческого, кроме идеи-идола: мучают их и настоящих врагов, а они оправдывают садизм по отношению к собратьям по несчастью. Жертва ближе к палачу, чем к другой жертве, лишь потому, что палач называется тем же словом, что и он сам!

Повесть в «Москве» вышла без посвящения Хрущеву-волюнтаристу. Дьяков, видимо, решил, что он был неправ по отношению к партии, и исправился вместе с «генеральной линией», он ведь «истинный», и ошибки партии — его ошибки.

То же явление — нестигаемая вера в слово и очень «гибкую» «генеральную линию» — описано и в другой самиздатской вещи, в «Крутом маршруте» Евгении Гинзбург. Она, сталинистка, ехала на каторгу в «стольпинском вагоне». Ввели новых заключенных женщин. Все так и ахнули — полголовы сбрито. Кто-то сказал, что в царское время жандармы были гуманнее. «Истинные» возмутились «антисоветчиной»! Ведь тогда полностью сбрасывали, а теперь половину — значит, гуманнее. (Кстати, обе стороны не правы в факте — и при царизме, бывало, сбрасывали полголовы! Мне говорили об этом каторжане, побывавшие и в «реакционной» каторге, и в «гуманной», советской).

Завязался спор между «истинными» и врагами. Истинные не вынесли антисоветчины и, заглушая врагов (вот откуда произошло глушение зарубежного радио!), запели... «Широка страна моя родная». «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Они едут на каторгу, в каторжном вагоне, и радуются... как карасти на сковородке... своей свободе.

*

Это невозможно понять не «истинному». Тихонов сказал: «Гвозди бы делать из этих людей». Вот оно. Это же не люди, а железо. Сверху — «железные» Дзержинский

и Ежов, а внизу — «твердокаменные», «несгибаемые» «винтики». Это слова соцреализма, «истинной» философии, это они сами так себя называли! И очень точно определили свою нечеловечность: сверху донизу супермены.

Человеческое для них — «абстрактный буржуазный гуманизм», «интеллигентская слякоть, гниль», «буржуазные предрассудки». Эта «слакоть» «колеблется», «сомневается», «жалееет», «рефлексирует», и — о святой Сталин! — способна любить женщину, классово чуждую. А «винтики» (термин Сталина), чеканя «пролетарский шаг» в строю («Кто там шагает правой? Левой! Левой!»), «напролом прут» к «сияющим вершинам», т.е. в лагерь, тюрьмы, психушки, чтобы там презирать и ненавидеть «интеллигентов», «в очках» которые.

Тычина писал: «Загостренням, сталинникам» — против врага (сталинникам — неологизм от Сталина и стали).

Им страшно только одно. «Ужас из железа выжал стон — по большевикам прошло рыданье».

Не то что стон, а дичайшие вопли под пытками своих товарищей-чекистов, но не вопли боли или ненависти к товарищам-палачам, а гнева и презрения к... себе и своим подельникам. Рыдали над своими несовершенными преступлениями против Иосифа Виссарионовича и мудрой партии, над своей изменой революции, народу, своей шпионской деятельностью. Железо оказалось плаксивым, самооплевывающимся, предающим все на свете.

А «гнилой», «мелкобуржуазно, абстрактно гуманистический» поэтишка-жидишка Осип Мандельштам бьет по морде пьяного палача и «левого» эсэра Блюмкина, пишет стихи против оберпалача Сталина и умирает в лагере, читая стишки какого-то Петrarки.

И сколько же их, таких противостояний духа «мифу о железе»?!

*

Украинец, интеллигент с «рефлексией», режиссер Олесь Курбас. Он за революцию, пока она несет освобождение Украине и трудящимся. Революция перерождается в контрреволюцию, за нею, т.е. за «генеральной линией», рабски следуют «як скеля непорушни» (Тычина), а «мягкотелый» Курбас вдруг становится непокорным, «негибким» и . . . погибает на Соловках, не предав, не продав никого и не отрекшись ни от одной из своих идей.

Курбас создал новаторский театр «Березиль». Больше, чем театр, — это было началом «Академии» украинской культуры. Как режиссер он не копировал ни классика научного театра Станиславского, ни новатора Мейерхольда, он выражал украинский дух в его трагической революционности, в новых эстетических формах.

Чем ближе голод и уничтожение революции, украинской культуры, тем дальше он отходит от революционно-контрреволюционной партии. А гениальный Тычина, «скеля», наоборот, закаляется «сталинням» и превращается сначала в прыплентача, а затем в политического подонка и поэтическое ничтожество.

История Курбаса раскрыла нам глаза на Украину, на значение «рефлексии», сомнений, культуры для силы духа.

Постепенно я стал осознавать себя украинцем.

*

Вспоминается Одесский университет, 3-й курс (1959 г.). Очередная вспышка партийного «укаинофильства», уговаривают преподавателей читать лекции по-украински. Но все они интернационалисты и упорно держатся за язык, которым «разговаривал Ленин».

Один только парторг факультета Либман пытается говорить коверканным украинским языком. Подымаюсь я и издевательски прошу не портить прекрасный украинский язык.

Мне было в высшей степени наплевать на родной язык, но «интернационализм» мой не вынес, чтоб какой-то жид учил нас украинскому языку, уже отмирающему под напором языка будущей, коммунистической Земли.

Но даже в те мои антисемитски-интернационалистские годы что-то украинское теплилось во мне — «Лісова пісня» Лесі Українки, «Кобзарь», пафос, слезы на глазах от украинских песен.

Но лишь чуть-чуть, с каждым годом отмирая.

В Киеве я узнал о молодом Тычине, том самом, примитивными стихами которого нас мучили в школе. Открылось что-то настолько глубокое в украинской культуре, какой-то загадочный оптимизм, неплачущая нежность, глубоко религиозная мысль, сугубо украинская.

Оказалось, что на Украине было две вершины поэзии — Шевченко и Тычина, два полюса украинского духа, где-то в истоках и на вершине сливающиеся.

Это невозможно перевести на другие языки, стихи Шевченко и Тычины. Разве что музыку их и мысль.

Сборник «Солнечные кларнеты», опубликованный в начале 20-х годов, — вершина гения Тычины, дальше он падает, сначала ниспадает к не всегда удачной формальной утонченности и словотворчеству, а затем к эстетически-политическому самоотрицанию — до нуля, а может, и ниже, превращаясь в минус-Тычину, в антикультуру-соцреализм.

Вспоминается смешной эпизод. Как-то я сказал другу о том, что любимым стихотворением моим до школы было «А я у гай ходила». Он вспомнил: «А, Тычина!»

Я был поражен отсутствием у друга чувства стиля, языка поэта. Ведь ничтожный Тычина не мог бы написать такое стихотворение. Держали пари. Я проиграл пари и никак — до чтения «Солнечных кларнетов» — не мог понять, как Тычине удалось хоть одно стихотворение.

В этом эпизоде отразилась вся пропасть между молодым и зрелым Тычиной.

Встает вопрос о психологических и социальных при-

чинах деградации гения Тычины, таланта Шолохова и Суркова и тысяч других поэтов и писателей.

Украинский поэт и критик Василь Стус, находящийся сейчас в ссылке, написал работу «Нисхождение на Голгофу». Стус показал поэтапное падение Тычины, указал на социальные и некоторые психологические причины этого падения. Но психологическое исследование этой проблемы еще ждет своей очереди.

Тычина, драматург Мыкола Кулиш, украинские художники 20-х годов только приоткрыли для меня потенциальные богатства украинской культуры, но сам я осознал себя русским, как и моя сестра.

Вскоре после процессов 66-го года вышла в самиздате работа Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация»? До этого нам с Таней казалось, что в национальной политике, кроме антисемитизма и депортации малых народов, КПСС ведет правильную, «ленинскую» политику. И вдруг узнаем, что Ленин говорил о необходимости «украинизации украинских городов», что не только позволено самоопределяться, но и *нужно* развивать украинскую культуру. Дзюба рассказал нам также о том, как были уничтожены «украинизаторы» в КПУ. Дзюба привел массу примеров сознательного и бессознательного проявления великорусского шовинизма. Многие поразило (например, фраза: «Недавно праздновали даже 450-летие «добровольного присоединения» Казани, той самой, которую вырезал под корень Иван Грозный»).

Кое-что казалось нам вначале преувеличением, например, что, говоря по-украински, можно услышать в ответ предложение говорить «по-человечески» (т.е. по-русски).

Но вот я сам стал говорить на родном языке под воздействием книги Дзюбы. Говорить было трудно, т.к. знание языка было, но активный словарь был очень бедный. К тому же, когда все говорят по-русски, то не с кем почти разговаривать, практиковаться в языке.

И вот однажды в библиотеке Академии наук я попросил по-украински молодого человека подать мне

книгу. И услышал в ответ: «А по-человечески ты не умеешь говорить?»

Кровь бросилась в голову. Тут-то я и стал окончательно украинцем, как становятся евреями советские евреи под влиянием «антикосмополитской» или «антисионистской» пропаганды.

Спустя некоторое время я услышал ту же фразу во второй раз, но не оскорбился, т.к. к тому времени появилась национальная гордость.

Моя жена, полуеврейка-полурусская, прочтя Дзюбу, поняла, что, пока есть антисемитизм, она все же еврейка, хотя с еврейской культурой была знакома лишь по произведениям Шолом Алейхема, Переца Маркиша, которых она любила, как и я, украинец, как любила русских, французских, английских писателей.

В одном из городов Украины учительница истории, еврейка, рассказывала своим ученикам правду о всем происходящем в стране — о процессах, о лжи соцреализма, о деградации общества и т. д. Но когда ученики спросили ее о национальном вопросе, она отослала их к официальным источникам: «Это неинтересно. Тут все понятно».

Через несколько месяцев она прочитала Дзюбу. На очередном уроке извинилась перед учениками:

— Я ничего не понимала в национальном вопросе.

И пересказала им работу Дзюбы.

29-го сентября 66-го года меня пригласили на митинг в Бабьем яру.

Еле нашли место, где собрались люди. Огромная толпа, человек 400-500, все время подъезжают и отъезжают такси.

Кругом — кучи мусора, пепла (кто-то сказал, что это пепел сожженных немцами, я удивился его глупости, но что-то напоминающее трагедию Бабьего яра, в этих кучах пепла действительно было).

Вокруг милиция. Стоят спокойно, смотрят.

Толпа разбилась на кучки, о чем-то говорят. Стоит и плачет старая женщина: здесь расстреляли ее детей.

Одна из групп стала увеличиваться. Мне сказали, что выступает Виктор Некрасов. Пока я пробился к нему, он закончил. Некрасов говорил о том, что власти не хотят строить памятник жертвам Бабьего яра. После Некрасова выступил Дзюба. Толпа вокруг него была настолько большой, что до меня долетали лишь отдельные слова.

Один старик, услышав украинскую речь, разволновался (украинская речь в Бабьем яру свидетельствовала ему, что выступает антисемит; это обывательское представление не было тогда исключением: евреи Киева помнили «еврейский погром» 1947-52 гг., когда Корнейчук и другие маститые украинские писатели клеймили «космополитизм»).

— Что он говорит? Кто он такой, по какому праву? Пусть лучше ответит, почему нет памятника.

Я, еле сдерживаясь, ответил:

— Он о памятнике говорит.

Он удивленно спросил:

— Хорошо, скажите вы, почему нет памятника?

Я уже зло бросил:

— Антисемитское государство не может ставить памятник евреям.

Мой собеседник попятился и стал уходить.

Я вдогонку зло бросил:

— А это вторая причина отсутствия памятника — потому, что вы боитесь.

Выступление Дзюбы в Бабьем яру опубликовано на Западе и потому не буду пересказывать его. Суть его в протесте против антисемитизма, он говорит о попытках власти посеять рознь между украинцами и евреями, о необходимости единства всех народов Союза в борьбе за свои национальные права.

После Дзюбы выступил писатель Антоненко-Давыдович, отсидевший при Сталине в лагерях за украинский буржуазный национализм. Антоненко-Давыдович рассказал, как группа украинских писателей добилась запрещения антисемитской книги Кичко «Иудаизм без

прикрас». — Хрущев хотел украинскими руками преследовать евреев. В конце он грустно добавил, что книга Кичко все же продается в магазинах, несмотря на формальное запрещение.

К Дзюбе подошла старуха и закричала:

— Меня здесь расстреляли. Я два дня лежала под трупами, а потом выбралась. Моя квартира рядом, из окна виден Яр. Я не могу здесь жить, мне страшно здесь. Уже столько лет я добиваюсь новой квартиры, пишу властям. Помогите мне.

Потом она рассказала, что она — одна из нескольких спасшихся, видевших происходившее. Она ходила в Союз писателей, просила записать ее свидетельство. Не захотели.

— Запишите и напишите вы.

Они обнялись. Она записала адрес Дзюбы.

Я спрашивал у Дзюбы позднее, приходила ли она к нему. Нет...

На бугор вскочил молодой еврейский парень. Он начал со слов, что антисемитизм есть один из видов антигуманизма. И поскольку борьба против человека часто начинается с борьбы против евреев, то евреи должны быть первыми в борьбе за гуманизм, а не думать лишь о себе.

Как пример истинного, а не словесного гуманизма он привел «волшебную сказку страны волшебника Андерсена» — о том, как король и королева Дании, а вслед за ними весь датский народ надели желтые звезды, после приказа фашистов надеть евреям «могендовид». Немцы растерялись — такого они не ожидали. Евреев удалось морем вывезти из Дании.

Эту историю я тогда услышал впервые; впоследствии она стала достоянием широких кругов.

Кто-то пытался заснять выступления киноаппаратом. Но пленку милиционеры засветили, как только он отошёл от Бабьего яра.

После митинга Дзюба и Свертюк поехали возложить

венюк на могилу М. Грушевского, выдающегося украинского историка, президента Украинской народной республики времен Центральной Рады. 29 сентября его день рождения.

Через несколько дней на работу к Е. Сверстюку (он был редактором «Украинского ботанического журнала» — после изгнания из Института педагогики за выступление против дискриминации украинской культуры) пришел полковник КГБ.

— Куда вы ездили 29-го сентября после Бабьего яра?

— На Байково кладбище, чтобы возложить цветы на могилу Грушевского.

Кагебист начал говорить о контрреволюционной деятельности Грушевского и всякие другие несуразицы.

Сверстюк спокойно вынул из стола газету «Литературна Украина»:

— Прочитайте, что тут пишут о научных заслугах Грушевского.

— Да как они посмели!..

Разговор окончился. После этого действительно больше никто в советской печати не писал ни одного доброго слова о Грушевском.

Дзюба мне рассказывал еще одну интересную деталь его выступления в Бабьем яру.

К нему подошел некто в штатском, представился работником уголовного розыска и тихо шепнул:

— Тут много кагебистов. Берегитесь!

*

Я все чаще встречался с украинскими патриотами разного толка. Я буду о некоторых из них рассказывать в дальнейшем, а сейчас остановлюсь на «культурниках» и «хуторянах». Культурники — художники, музыканты, литераторы, артисты и режиссеры и другие представители искусства. Они развивают украинскую культуру, собирают фольклор, устраивают хоры, возрождают старинные обряды.

Однажды меня повели в частный музей скульптора Ивана Гончара. Гончар у себя дома собрал большую коллекцию предметов народного искусства и старинную утварь запорожских казаков, рушники, картины, иконы, «пысанки», казацкое оружие и т. д.

Места у него мало, поэтому он с трудом размещает только часть своей коллекции.

Когда заходит гость, то ему ставят магнитофонные записи народных украинских песен, казацких дум.

На столе — книга отзывов. Я видел уже три тома. Записи не только украинцев, но и немцев, японцев, русских, евреев, крымских татар; записи на многих языках.

На меня многое произвело впечатление чего-то нового, чего нет в официальных музеях.

Хирург Эраст Биняшевский собрал несколько тысяч «пысанок». Пысанки — яйца, которые покрывают различными узорами и рисунками и приурочивают к Пасхе. Но обычай идет еще с древних, дохристианских времен и связан с украинскими мифами. (Пысанки — одно из наиболее оригинальных и прекрасных произведений украинского народа.)

Не только в каждой области, но и в каждом селе прежде была своя традиция расписывания яиц, свои рисунки. Но сейчас на Восточной Украине пысанок все меньше, и их эстетическая ценность падает, т.к. рисунок становится постепенно мещанским и соцреалистическим. На Западной Украине искусство пысанок тоже падает, но все же можно найти высокохудожественные, а среди них древние по мотивам.

Биняшевский добился издания альбома «Пысанок». Большинство тиража ушло за границу: валюта нужна, да и пропаганда расцвета украинского искусства при советской власти нужна.

Биняшевский мечтал о втором альбоме, дополняющем первый новыми видами пысанок, но вряд ли ему это удастся: КГБ перешло в наступление и против «культурников».

Формально к культурникам примыкают «хуторяне»,

или «галушечники» (аналог русским «квасным патриотам»). Их патриотизм заключается в ношении «формы» украинца (казацкие усы, вышитая рубашка) и в пении украинских песен. Они боятся и не любят таких, как Сверстюк, Мороз, — зачем дразнить власть, навлекать на Украину гнев Москвы. Многие из них, украинских либералов, ненавидят другие народы. Ненависть часто исходит из комплекса неполноценности и страха.

Одна из «хуторянок», И. И. С. — потомок знатных украинских фамилий, чуть ли не из Рюриковичей, первых киевских князей. Она — символ старой Украины для многих патриотов, даже «культурников» (мы, украинцы, — народ сентиментальный).

Однажды, вскоре после судов 66-го года, она рассказала нам трогательную историю.

Ее, Антоненко-Давыдовича, литератора Оксану Иваненко и еще нескольких старых писателей пригласил министр торговли УССР. Антоненко-Давыдович не пошел.

Министр произнес революционную речь:

— Товарищи! Приезжает в Тбилиси иностранец и ест грузинский шашлык, в Армении пьет коньяк, а в Киеве он ест то же, что и в Москве. Но ведь есть же украинская национальная кухня! Предлагайте, что можно сделать в этом плане.

Тронутые «украинизатором» пищеварения патриоты стали выступать столь же революционно.

Оксана Иваненко раскритиковала названия кондитерских изделий.

— Что это такое: «Дайте мне 300 грамм «Чапаева» или . . . 200 грамм «Мечты»?

Некто пошел дальше:

— Ресторан «Поплавок»! Неужели нет подходящего украинского названия?

Были внесены предложения построить ресторан «Витряк» (ветряная мельница), «Хата» и еще какие-то. (Кое-что потом было осуществлено и даже неплохо.) И. И. С. предложили обучить шеф-повара ресторана «Столич-

ный» рецептам украинской кухни. Она сияла от радости: наконец добились от власти уступок.

Я смотрел на нее и думал:

— Какой ценой? В этом году двадцать человек пошли в тюрьмы и лагеря. А для успокоения «патриотов» бросили кость — частичную «украинизацию» ресторанов. И они довольны — победа!

Вначале И. И. С. относилась ко мне неплохо. Когда я стал говорить по-украински, вдруг разгневалась.

Я стал замечать, что некоторые уважаемые мною патриоты избегают меня. Пораскинув мозгами, догадался и прямо спросил И. Светличного:

— Это И. И. С. что-то сказала обо мне плохое?

Он уклонился от прямого ответа.

— Но вы ведь знаете ее. Можно ли доверять ее словам?

Он подтвердил, что нельзя.

Потом уж узнал, что, по ее словам, я — агент КГБ и пытаюсь втереться к украинцам в доверие:

— Да и жена у него еврейка!

Основной чертой «хуторян» и шовинистов является глупость и всевозможные комплексы. КГБ умеет использовать эти черты и выжимать из них нужное. Не случайно, что именно «хуторяне» и шовинисты чаще всего выдают своих друзей кагебистам. Не избежала этого и И. И. С. в 1972 году.

Одна моя знакомая, еврейка, однажды рассматривала картины украинских художников. Два «патриота», решив, что она русская, завели разговор:

— Сколько раз гетман Сагайдачный палил Москву?

— Семь раз.

Дальше пошли доказательства грузинского происхождения Петра I и прочая «критика» ничтожества русских.

Одного из них я знал довольно хорошо. После 68 года его не стало ни видно, ни слышно.

Я здесь затронул только одну причину политического молчания или предательства — либерализм (хуторяне — частный случай): трусливое мышление и практи-

ческое бездействие либо непоследовательность, незаконченность действия.

Но более тесно я соприкоснулся с другим явлением — с ролью неверия, пессимизма в развитии политического индифферентизма, конформизма и даже предательства.

*

Все началось у нас со споров вокруг Достоевского, в частности, — «Бесов».

Еще в 26-летнем возрасте я не мог читать Достоевского: сентиментальность, эмоциональный и сюжетный сумбур, тяжеловесные периоды — все это отталкивало.

Любовь к Достоевскому пришла внезапно, как-то сразу. Кафка, Ионеско, сюрреалисты подготовили почву для восприятия Достоевского.

Я стал глотать одно за другим произведения Достоевского, как наркоман. Увлечение Достоевским охватило и ближайших друзей.

Вначале все споры сводились к обмену восторгами, к анализу тех или иных идей.

Главные идеи, вокруг которых разгорались споры: «бесы» революции и контрреволюции; «если Бога нет, то, значит, все позволено»; отдаю билет в царство Божие, если нужно простить палачей, если к царству Божию нужно пройти по мукам тысяч людей; если «хрустальный дворец» будущего, будущее современного общества будет строиться хотя бы на одной «слезинке» ребенка, то отвергаю, не хочу принять это будущее.

Если эти идеи, на первый взгляд, и утопичны, то вполне гуманны.

Но когда начал читать «Дневник писателя», увидел ту самую реакционность, о которой писал Ленин. Была она и в художественных произведениях, но скрадывалась гением художника, образами «униженных и оскорбленных», гуманизмом Достоевского.

В «Бесах» вина всему — «бесы» Верховенские, жидишки, полячишки, глупый либерализм и за всем этим

«Интернационалка», т.е. иностранцы. В других произведениях — католицизм, порождающий материализм, Бернардов, социализм. Все это противостоит богоизбранный русский человек, он же всечеловек (любимая идея советского шовинизма: русский национализм есть интернационализм).

Таких реакционных идей у Достоевского я стал замечать все больше и показывать друзьям. Это вызывало гневное обвинение в оплошленном восприятии искусства, в марксистском недомыслии, в математическом засушивании восприятия.

Я возражал, говоря, что нужно все же различать идеологию писателя и его художественное видение мира. Я люблю Достоевского как глубокого мыслителя-художника, но не политика. Как политический идеолог он противник собственного христианства.

Но сразу же возникает вопрос: как от гуманистических принципов, от сострадания к «униженным и оскорбленным» Достоевский пришел к антисемитизму, к поддержке лицемерно-славянофильской политики царизма, к дружбе с такими, как Катков, князь Мещерский и Победоносцев, — оплотом того строя, который порождает унижение и голод?

Ответ на это дает сам Достоевский, разбирая «шигалевщину»: из требования абсолютной свободы вытекает абсолютный деспотизм.

То же и в «достоевщине», т.е. системе политических взглядов Достоевского. Достоевский, как и его антипод Шигалев, — моральный максималист, только основные моральные ценности у них разные. Максимализм Достоевского также приводит к взглядам, противоположным исходным.

Нельзя, чтобы какое-нибудь страдание личности возникало из-за борьбы за лучшее общество. Но ведь невозможно, чтобы какая бы то ни было деятельность не затрагивала интересов других людей, не доставляла им страданий. Став на позиции этического максимализма, мы либо обрекаем себя на равнодушие, бесплодие (в От-

кровении святого Иоанна сказано о равнодушных: «Ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч!»), либо переходим на позиции поддержки той или иной античеловеческой идеологии.

Мои друзья опротестовывали этот аргумент тем, что я навязываю всем идеологию. Я попросил предложить альтернативу. Было предложено толстовство и отказ от всякой идеологии. Я считал, что у толстовцев не любовь к ближнему, т.е. активные попытки помочь людям, а доброта, т.е. всего лишь неделание зла (сам Толстой был выше своего толстовства и потому активно боролся против смертной казни, против антигуманистической науки, техники, промышленности и т. д.). А неделание зла — то же равнодушие.

Отказ от всякой идеологии как раз Достоевским и опровергается: «Если Бога нет, то, значит, все позволено». Под Богом мы подразумевали духовное основание для жизни, для морали. Если нет смысла жизни, то не только все позволено, но и вообще все в жизни бессмысленно, абсурдно.

В течении года-двух мой основной противник пришел и в самом деле к тому, что «все было, есть и будет дерьмо».

Этот друг-противник — человек необычайной силы духа; но мало кому удается удержаться в духовной атмосфере абсолютного пессимизма, абсурда и не скатиться к какой-либо идеологии отчаяния и вытекающей из нее поддержке той или иной антигуманной позиции.

Я утверждал, что этим они и закончат.

Обе стороны пользовались аргументами Достоевского. Каждый спор поздно ночью кончался обменом фразами из него. Я на прощанье бросал: «Если Бога нет...»

Эта мысль мне казалась особенно важной не только по теоретическим соображениям. Я видел подтверждение ее в повседневной жизни.

С каждым годом нарастала преступность. В прессе вначале молчали об этом, но потом стали писать о... преступности на Западе. Среди книг и статей о пре-

ступности в США были очень интересные по фактам и по анализу.

Большое впечатление произвела книга Трумэна Кэпота «Обыкновенное убийство». Меня поразила качественная тождественность процессов в развитии преступности в СССР и США. Совпадали даже детали. Например, в США два солдата вышли на дорогу и стали расстреливать проезжающих — под Киевом произошло то же самое. И там, и у нас они делали это, потому что ... скучно жить. «Жизнь — дерьмо», — говорит сержант Йорк у Кэпота, объясняя причину своих преступлений. Эти слова — простонародное выражение мысли Достоевского.

Бескорыстие, безэмоциональность, вообще отсутствие видимой мотивации преступления — это то новое качество, которое возникло в наше время.

В Киеве два парня, школьники, пришли к соученице, связали ее, обложили бумагой и подожгли. Не спеша, покуривая, они дождались ее смерти и, даже не заметая следов, ушли. Это третье качество «прогресса» в преступности — равнодушие к наказанию: им своя жизнь так же безразлична, как и чужая. Я расспрашивал тех, кто знакомился с психиатрическим исследованием этих парней. Оказалось — психически нормальны.

Я стал собирать материал для статьи о преступности и причинах, ее порождающих. Познакомился для этого с крупным специалистом по женской преступности — доктором Н.

Н. дала прочитать протокол допросов малолетних проституток.

Один из них особенно выпукло выражает специфику «модерной» преступности.

Девушка приехала из села учиться в город в техникуме. На следующий день учебы сокурсник предложил ей «переспать». Она отказалась. Через неделю, после крупной попойки, она отдалась ему. Через день он привел товарища, и вдвоем с товарищем они с ней переспали. Потом по 5, 6, 7 и т. д. человек каждый день.

Слава о ее «выдержке» разнеслась по техникуму, затем по городку. Пошли по 12-15 человек.

Приехала в город футбольная команда, и все скопом посетили рекордсменку.

Наконец у нее стали болеть половые органы.

Однажды в лесу к ней пристала группа из 10-12 человек. Она попросила:

— Мне больно, не надо.

Парни стали насмехаться:

— Что, слабо?!

Подошла вторая группа, поменьше, и выручила, отбила ее. Она предложила удовлетворить их другими способами — и с тех пор уже никому не отказывала.

Стала расстраиваться нервная система, все сильнее болели половые органы.

Пришла в больницу. Врачи послали в милицию.

Следователь спросил ее:

— А зачем тебе это было нужно? Неужели так вкусно?

— Не очень.

Н. объяснила, что эта девушка психически нормальная, отнюдь не нимфоманка.

Здесь бросается в глаза не только «от скуки», но и то, что за все шесть месяцев этой эпопеи не нашлось ни одного человека, который заинтересовался бы ею не сексуально и помог бы уйти от угрожающего здоровью разврата. Весь техникум, весь городок знал — или молчали, или «пользовались».

И еще элемент «на пари», элемент рекорда, неважно какого: кто дальше плюнет, кто больше съест, кто больше... Это тоже от духовной пустоты — спорт рекордов.

Я спросил у Н. о причинах роста преступности в СССР.

— Понимаете, ведь статистики и научного статистического анализа преступности у нас нет, даже у меня, специалиста. Но по моим наблюдениям в разврат чаще всего кидаются девушки без отца или матери.

— Это несерьезное объяснение. Безотцовщина может объяснить лишь незначительный процент преступности, тем более что в этих случаях безотцовщина лишь один из факторов, и не главный. Должны быть более общие причины. Вы — марксистка и потому не можете не искать социальных причин. На них, в частности, указывает качественное тождество роста преступности в США и в СССР.

— Причины у них и у нас разные. Я не думаю, что социальные причины объясняют советскую преступность.

Примерно через полгода после наших споров появилась статья в «Новом мире». Разбирались разные теории преступности у западных ученых. Каждая глава-«теория» начиналась соответствующей цитатой Достоевского из «Преступления и наказания». Автор доказывал, что ни одна из теорий не объясняет общего в преступности, ограничиваясь частным.

Меня удивило, что основной-то мысли Достоевского, т.е. «если Бога нет, то, значит, все позволено», автор не привел. Как мне кажется, это-то «Бога нет» и есть основная причина роста преступности во всем мире. Ницше писал когда-то о том, что Бог умер, но весть об этом не дошла до наших ушей. До кучки интеллигентов она дошла уже в его время. Сейчас же эта весть проникла в народные толщи. Бог умер, а ничего достойного Бога не создано.

У нас в СССР некоторое время Бога заменяла для масс идея «построения коммунизма». Теперь в нее или вовсе не верят, или верят по привычке, вполне совмещая со своей отнюдь не социалистической жизнью.

Есть, конечно, и другие причины. Фальшь моральных призывов руководства, разрыв в распределении благ, мелкобуржуазная психология, хамская культура, т.е. полуобразованность. Преступность детей верхушки — «с жиру бесятся»; внизу — зависть к верхушке, протест против угнетения, рабского, бессмысленного труда, отсутствие серьезных увлечений, заполняющих досуг.

Рост алкоголизма, наркомании, психических заболеваний — еще один фактор.

Но все они срабатывают на едином фоне, на общей основе — отсутствие оснований для моральных табу.

Я часто спорил с теми, кто был помоложе нас, о том, что можно, чего нельзя. Доказать, что какое-либо табу имеет смысл, почти невозможно. Некоторых спасает моральная интуиция. Но она закладывается в раннем детстве. Если даже она есть, то полуобразование дает рас-судку возможность разрушить табу, покоящиеся на моральной интуиции.

Основание для морали большинства — полиция вместо Бога, т.е. страх перед наказанием. Но этого страха недостаточно. Когда юноша попадает в лагерь за легкое преступление, по случайности либо выпивши, то из лагерь-я он чаще всего выходит уже сознательным пре-ступником. Поэтому растет число рецидивистов. Лагерь, тюрьма есть школа преступлений, разврата, сколь угодно дикого, наркомании и т. д.

Рост преступности служил моим главным аргументом и в защиту необходимости иметь идейную позицию, участвовать активно в самиздате, и против защитников существующего строя. Последним я подчеркивал общность процессов развития преступности в СССР и на Западе, которая свидетельствует о более глубоком един-стве советской и капиталистической систем, — общность, подтверждающую, что это две разновидности одного общества.

*

Разочарование в возможности честной и плодотворной работы в науке, протест против происходящего, воспо-минание о временах сталинизма — все это привело меня к решению заняться систематическим изучением исто-рии, в частности, истории партии, анализом причин ги-бели революции, анализом современного Запада и со-стояния дел в СССР, а в перспективе — к разработке программы действий.

Все эти задачи требовали тесной связи с украинским и московским самиздатом, печатания и обмена текстами самиздата.

Мне вовсе не хотелось быстро попасть в КГБ. Казалось, что более продуктивной и длительной будет незаметная работа в самиздате.

В мае 1967 года мы получили из Москвы «Письмо IV Всесоюзному съезду Союза советских писателей» Солженицына.

Огромная эмоциональная сила, точно найденные аргументы и слова, сам стиль произвели на всех читавших письмо впечатление ослепительного света, прорвавшегося сквозь плотную завесу партийной демагогии и словоблудия. Меня лично поразило сочетание блестящей, неотразимой логики со страстностью. На многих это письмо произвело впечатление большее, чем художественные произведения.

Вскоре появились отклики на это письмо. 84 писателя послали коллективное письмо съезду в поддержку Александра Исаевича.

Пришло в Киев и замечательное письмо Георгия Владимова съезду.

Появилась надежда, что интеллигенция, хотя бы гуманитарная, проснулась и не будет больше молчать. Не рассеял этой надежды и сам съезд писателей. Ясно ведь было, что никто не позволит зачитать письмо на съезде и обсуждать его, поэтому молчание «инженеров человеческих душ» казалось естественным.

*

В год 50-летия Октября мы узнали о том, что в г. Прилуки был бунт рабочих. В ноябре я познакомился с женщиной, брат которой работал на одном из прилуцких заводов. Она сама была в Прилуках 6-8 ноября. Со слов брата и знакомых она подробно рассказала о бунте.

На одном из заводов работал недавно вернувшийся из

армии парень. Остроумный, добрый, он пользовался любовью всех знакомых.

Однажды он пошел на танцы. На танцы обычно приходят пьяные хулиганы, часто завязываются драки, «подрезают» кого попало ножами. Одна такая хулиганская компания стала приставать к девушкам. Парень этот вмешался. Обладая большой силой и внушающей страх фигурой, он, безоружный, заставил хулиганов спрятать ножи. Хулиганы ограничились матом и угрозами.

Подросла милиция. Хулиганы быстро исчезли. Парень, не чувствуя никакой вины, остался. Милиционеры скрутили ему руки, втащили в машину и повезли в отделение. Там они били его как только хотели. Проломили череп. На утро он умер от побоев.

Милицейский врач установил, что смерть — от разрыва сердца.

Труп выдали родственникам. Никто не поверил версии милиции, т.к. на теле были явные следы побоев, голова обезображена.

Весь завод вышел проводить гроб на кладбище. Похоронная процессия двигалась мимо милицейского участка, в котором произошло убийство.

На свое несчастье, из дверей участка вышел начальник. То ли он ухмыльнулся, то ли не так посмотрел на процессию — в таких случаях это неважно, одного его появления оказалось достаточным. Какая-то женщина закричала: «Долой советских ээсовцев!» Ее поддержали другие женщины, за ними — мужчины. Толпа бросилась в участок, разбила все, что попало под руки, избива милиционеров.

Рабочие других заводов также присоединились к бунтующим. Власти города направили против бунтовщиков небольшую воинскую часть, размещенную в городе. Толпу рабочих стали обливать из брандспойтов, арестовали пять человек. Рабочие подожгли пожарные машины, которые использовались военными для разгона толпы.

Три дня бастовали все предприятия (на одном из заводов нашелся единственный штрейкбрехер, да и тот приходил и стоял у станка, ничего не делая: он боялся и рабочих, и администрации).

Начальство города удрало. Рабочие пытались захватить тюрьму, где сидели пятеро арестованных, но побоялись штурмовать ее (характерно, что когда ворвались в милицейский участок, то оружие милиционеров уничтожили, а не взяли с собой).

Рабочие послали письмо в ЦК партии с требованием выдачи убийц народу, выпуска арестованных и увольнения всего партийно-советского аппарата города. Если же власть вышлет войска, то прилучане взорвут проходящий через город газопровод.

Если же требования будут удовлетворены фальшиво, только на словах, а затем начнутся аресты, то Прилуки опять подымутся (рабочие напомнили Брежневу то, что было гордостью города: в свое время прилучане голыми руками выгнали фашистов из Прилук).

В ответ на письмо прилетел какой-то генерал из Москвы. Он выступил перед толпой, на глазах у всех сорвал погоны с начальника милиции и топтал их ногами (актеры они все у нас, слуги народа!). Он приказал выпустить арестованных, разогнал городское начальство, но убийцу выдать не согласился — это был бы самосуд. «У нас существуют строгие законы для убийц, и поэтому мы накажем его по закону».

Выслушав этот рассказ, я обратился к Дзюбе: у него и его друзей были связи со многими городами Украины, а я не могу туда поехать, т.к. никого не знаю в городе.

Нужна была точность в описании событий для самиздата — ведь малейшая ошибка угрожает потом и автору репортажа, и читателям обвинением в «клевете».

Но, увы, поездку в Прилуки организовать не удалось.

От нескольких партийных руководителей я слышал рассказ об этих событиях, в основном совпадающий с вышеописанным, но не столь детализированный.

СРЕДИ «ОТЩЕПЕНЦЕВ»

Новый, 1968 год начался счастливо. Слушая по радио новогоднее «Обращение к народу» вождя (то ли Брежнев, то ли Косыгина, то ли кого другого), мы весело смеялись над ним: земля уже шатается под ними, из Чехословакии уже доносится запах весны.

Мы почти ничего не знали о предшествующих весне событиях — лишь отрывки. Я мог бы сейчас использовать весь имеющийся на Западе материал о событиях в ЧССР 1967-1968 годов. Но для анализа эволюции взглядов интеллигенции имеет смысл писать лишь о том, что мы знали в то время, что влияло на участников демократического движения в Киеве (москвичи знали гораздо больше). Я не хочу даже проверять точность тех или иных сведений, что мы имели тогда. (Ведь часто в СССР на людей, на их поведение и взгляды сильное воздействие оказывает неточная информация. Это неизбежно, даже если стремишься пользоваться только достоверной информацией: так мало доступа к ней, так малы возможности проверки сведений.)

Поляк, приехавший в Киев, рассказал о том, что их молодежь и интеллигенция стали выступать с демократическими требованиями. Давление было настолько сильным, что Гомулке пришлось прибегнуть к старому, испытанному средству — к антисемитской пропаганде среди рабочих. И это дало некоторые плоды, частично изолировав интеллигенцию («жидов» или «жидовствующую поляков»).

Под напором интеллигенции и словацких патриотов часть коммунистов в руководстве КПЧ выступила против диктатуры Новотного, сняла его с поста руководителя партии и заменила Дубчеком. Новотный остался президентом (в «социалистических» странах руководитель партии выше по своему значению, чем президент

или премьер-министр, т.е. представитель части населения обладает большей властью, чем формальный представитель всего народа; в ЧССР в 68-м году этот антидемократизм помог демократизации).

Генерал Шейна попытался совершить военный переворот против ЦК партии, но офицеры и солдаты не поддержали его, и он вынужден был бежать... в США. Не в СССР, т.к. он понимал, что битая карта не интересует Брежнева и он может продать его Дубчеку.

О Шейне мы прочли в случайно попавшейся чехословацкой газете.

О всех новостях Пражской весны по утрам я рассказывал в лаборатории. Все с интересом следили за событиями.

Утром, когда я узнал о Шейне, я поздравил всех с победой Дубчека:

— Шейна забил кол в могилу Новотного, он доказал, что сталинисты продают коммунизм на каждом шагу. Новотному не быть президентом.

И дальнейшие события подтвердили это. Застрелился связанный с Шейной зам. министра обороны. Новотный потерял всякую власть вначале фактически, затем юридически.

Но радостное ощущение весны омрачалось слухами о процессе над Галансковым, Гинзбургом, Лашковой и Добровольским. Мы получили письмо Ларисы Богораз и Павла Литвинова «К мировой общественности». В этом письме была описана противозаконность, сфабрикованность процесса.

Одновременно до нас дошли слухи, что провокатором оказался один наш старый товарищ, знакомый по Киеву, Павел Радзиевский. Я знал его неплохо и не поверил слухам. Решил поточнее разузнать о процессе и, в частности, о нем.

В Москве сразу поехал к Красину. Тот был взволнован и чехословацкими событиями, и судом.

Красин дал почитать чехословацкие газеты: об отмене

предварительной цензуры, о повышении роли профсоюзов, о рабочих советах и т. д.

Красин, который еще выносил даже мой марксизм, задумчиво прокомментировал статьи:

— Что ж, Дубчеку, кажется, удастся доказать, что коммунизм может существовать на практике.

Дал он мне почитать несколько самиздатских статей и книг.

Я с жадностью прочел «Фантастические повести» Андрея Синявского. Вспомнились газетные статьи, посвященные его произведениям. Поразила наглость лжи судей и «общественных» обвинителей — писателя Васильева (бывший гебист) и критика Зои Кедринной, а также многочисленных журналистов.

Основной метод обвинения — приписывать авторам слова отрицательных сатирических героев.

Например, в «Графоманах» герой, страдающий манией преследования, злобно отзывается о Чехове. Эту злобность на суде приписали самому Синявскому. Были еще более абсурдные «обвинения».

Удалось прочесть «Искушение» Даниэля. Основная мысль «Искушения» оказалась очень близкой: вина, грех лежит не только на палачах и стукачах, но и на не участвующих и даже на *невинных* жертвах. И вторая мысль-символ: отставник, кагебист хранит свой мундир — еще позовут, еще пригодится.

И третья: хрущевцы, либералы-то как раз и не видят своей вины, они взваливают вину на других, даже виновных в той же мере, что и они сами, — пользуясь слухами, догадками и т. д.

Была еще одна книга из трех частей: «Откровение Виктора Вельского».

Автор утверждает, что поскольку Христос — идеальный человек, то Его история есть история *каждого* человека. У каждого есть своя благая весть и своя Голгофа.

Он, Вельский, воспитывался в семье профессора

средневекового искусства. Поступил при Сталине на философский факультет. Там он вынужден был стать стукачом, доносил на невинных людей («Вельскому» удалось нарисовать тонкую психологическую картину условий, порождающих стукачей). До стукачества он был переполнен страхом, комплексами неполноценности. Став стукачом, почувствовал себя сильным, удачливым — никаких угрызений совести, наоборот, чувство освобождения от груза интеллигентских табу — «все дозволено» . . .

После смерти Сталина у Вельского появились угрызения совести, чувство вины. Он ищет выхода. Нашел — бежать в мир свободы. Притворяется преданным, идейным журналистом, попадает в мир свободы, и . . . благая весть — бегство на Запад — оказывается неподходящей. Это «не наша» свобода, нужно жить в свободной России. Он возвращается из Западного Берлина в Москву. Родная мать, чтобы устроить младшего сына в Москве, решает забрать у Виктора квартиру, а для этого сажает его в сумасшедший дом.

Весь этот «Апокалипсис» — стилистически и логически развивающееся безумие, фразы становятся бессвязными, мысли путаются. Художественные достоинства книги невелики, зато психологический анализ страха интеллигента, а затем стукача, кающегося беглеца и, наконец, сходящего с ума — очень глубок и страшен в своей достоверности.

Жена Красина сказала мне, что она знает автора, — он вышел из сумасшедшего дома и вылечился от «психологии», стал самодовольным фатом и хамом.

Начитавшись самиздата, я попросил рассказать историю Радзиевского.

Красин сообщил, что Радзиевский вышел через 3 месяца отсидки в Лефортовской тюрьме и стал расхваливать КГБ и ругать подельников. Именно благодаря Радзиевскому попался Добровольский, а затем Гинзбург, Галансков и Лашкова. Он привел несколько показаний Радзиевского о товарищах. Все доказательства прово-

каторства Радзиевского меня не убедили: уж больно много логических аргументов и мало фактов, да и Павла я все же достаточно знал, чтобы не поверить так быстро.

Я поехал к Павлу и, делая вид, что я ни о чем не знаю, стал расспрашивать о следствии.

Павел подробно рассказал о том, как попался, как вел себя на допросах, как был обвинен Петром Якиром в стукачестве.

Добровольский принес Павлу несколько статей сам-издата:

— Отпечатай на «Эре».

— Здесь нет ничего опасного? Я не ручаюсь за печатников.

— Нет. Тут материалы заседания старых большевиков. (Статьи были в папке с фамилией «Добровольский».)

Павел, идя на работу, просмотрел бегло статьи, одна показалась опасной, остальные — нет. Их он и отдал отпечатать на «Эре».

Через неделю к нему пришли, нашли папку с фамилией Добровольского, взяли Добровольского и Павла, затем остальных.

Павел высказал подозрение, что провокатором был Добровольский («а может, просто сумасшедший, у него не все в порядке с головой»).

Рассказ о допросах в тюрьме показал мне, что действительно Павел допустил несколько несущественных ошибок, которые могли быть использованы следствием. Но ведь все подсудимые, даже имевшие некоторый опыт «бесед» с КГБ, допускали ошибки в своей тактике на следствии.

Добровольский, например, передал записку Галанскову, где просил последнего взять вину на себя, т.к. Добровольскому-де нельзя садиться сейчас. Галансков, «князь Мышкин» демократического движения, как говорили о нем друзья, по доброте душевной взял связи Добровольского с НТС на себя и тем помог КГБ состряпать процесс. На суде он опроверг свои показания, но было

поздно: он сам получил 7 лет лагерей, Гинзбург — 5 лет, Добровольский — 2 года, Лашкова — 1 год.

И не помогли блестящие выступления адвокатов, которые опровергли все существенные обвинения против Гинзбурга, Галанскова и Лашковой (я не останавливаюсь подробно на процессе, весь материал о следствии, суде и откликах печати и общественности собран Павлом Литвиновым в книге «Процесс четырех», изданной в 1971 г. издательством «Фонд имени Герцена» в Амстердаме).

Когда Радзиевского выпустили, то он всем рассказывал о своем поведении на следствии, о своем впечатлении от следователей («Вежливы, улыбаются на допросе. Лишь один раз надзиратель кричал на меня. Они изменились со сталинских времен»). Это наивный подход, но он не может служить основанием для обвинения в предательстве.

Я попросил Радзиевского познакомить меня с Якиром. Мы зашли в несколько домов. В одних не хотели нас принимать, в других говорили, что не знакомы с Якиром. Я уже было решил обратиться к Красину, но Якир сам позвонил и назначил мне свидание.

Вначале Петр Якир явно подозревал меня в какой-то нехорошей игре, под конец разговора смягчился, перестал меня подозревать в связях с КГБ, но по отношению к Радзиевскому его сомнения не развеялись.

Под конец разговора спросил:

— А с кем в Москве вы знакомы?

— С Красиным.

— А, из христиан. Вы тоже?

— Нет. Марксист.

— Член?

— Нет.

— Ну, я тоже слегка марксист.

Уже уходя, я спросил его, почему Бухарин, Иона Якир, Тухачевский и другие так позорно вели себя на допросах и суде.

Якир напомнил о пытках. Привел «гипотезы» о спец-

химикалиях, гипнозе (в 36-37 годах таинственно исчез знаменитый гипнотизер Орнальдо).

По поводу гипноза я усомнился: под гипнозом нельзя сломать человека, если он не сломался без гипноза.

Когда в феврале я опять заехал к Красину, то застал у него Павла Литвинова. Было приятно, что потомки старых большевиков (как и часть старых большевиков) с нами.

Литвинов показал ответы на письмо «К мировой общественности».

Ответов, которые получили Литвинов и Богораз, было очень много. И только одно письмо, «клеящее» Литвинова и Богораз позором. Из Киева...

Вернувшись домой, я посоветовался с друзьями. Поддержать протесты?.. Это казалось нецелесообразным. Но было невозможно молчать, видя начало новой волны сталинианы. Победили эмоции, несмотря на уговоры части друзей.

8 марта я написал письмо в «Комсомольскую правду» в ответ на одну из многочисленных клеветнических статей в прессе о суде. Я базировался в этой статье только на достоверных фактах, какие нетрудно было проверить, если б меня вздумали судить за «клевету» (сохранились еще иллюзии о суде).

Перед отправкой письма я показал его еще раз жене. Решался вопрос о дальнейшей судьбе и ее, и детей. Никто не сомневался, что в конце пути, на который я встал, — тюрьма. Жена считала бесполезными такие письма, но сказала мне, что раз иначе я не могу, то должен отослать письмо.

Прошел месяц, два. Оказалось, что по инициативе сотрудника нашего института, кандидата физико-математических наук Виктора Боднарчука было написано письмо протеста против процессов 65-68 гг. Из этого письма я узнал, что в 1967 г. был осужден журналист Вячеслав Черновол за книгу «Горе от ума» — о тех, кого судили в 65-66 гг. на Украине.

В середине мая к нам попал первой номер машино-

писного журнала «Хроника текущих событий», выпуск 1, 30 апреля 1968 г. Он был посвящен процессу над Галансковым, Гинзбургом и Лашковой, письмам протеста и первым преследованиям «подписантов» (сразу же возникло новое слово).

Кроме уже известных всем дел, из «Хроники» мы узнали о «деле Краснопевцева» (1957 г., «нелегальный марксистский кружок»), о суде с 14 марта по 5 апреля в Ленинграде над Всероссийским социал-христианским союзом освобождения народа. Оказалось, что еще в ноябре 1967 г. были осуждены по этому делу четверо руководителей ВСХСОН — Огурцов, Садо, Вагин и Аверичкин.

Из Москвы привезли книгу Анатолия Марченко «Мои показания», в которой описаны современные концлагеря, не сталинские. Стало известно, что не с Синявского и Даниэля, а с 56-го года политлагеря стали вновь наполняться и что в лагерях царят бесчеловечные порядки. Перед ужасом, описанным Марченко, побледнел для нас даже «Один день Ивана Денисовича».

Я купил машинку и стал перепечатывать Марченко. Печатал целый месяц.

20-го мая меня вызвали в партком Института. Там сидел мой давний приятель, читавший и одобрявший мое письмо в «Комсомольскую правду».

— Ты не знаешь, зачем вызвали? Из-за письма?

— Кажется, нет. Да, у тебя нет «Ракового корпуса»?

— Есть. Принесу.

Зашел замсекретаря парторганизации, кандидат биологических наук Кирилл Александрович Иванов-Муромский. С ним в 61-м году мы жили в одной квартире (снимали смежные комнаты у одной хозяйки). Алкоголик, наркоман. Алкоголиком стал потому, что 16-летним парнем попал на фронт, видел столько горя и подлости, что спился. Профессор Васильев рассказывал мне о его загубленном таланте — школьником он читал лекции студентам (по физиологии). В начале войны принимал участие в усовершенствовании какого-то оружия.

После войны работал секретарем райкома партии в Одесской области и попутно занимался электросном.

В Институт кибернетики поступил сразу же после организации института. Очень умен, но растрчивает себя в борьбе за карьеру. Амосов некоторое время ценил его, но потом разочаровался и в конце концов выжил из своего отдела.

Мы с ним когда-то часто выпивали и спорили. Он всегда издевался над моими «коммунистическими иллюзиями».

Кирилл начал со слов:

— Я уважаю твои патриотические чувства, но советую не ходить 22 мая к памятнику Шевченко.

22 мая — дата перевоза тела Шевченко из Петербурга в Канев через Киев (эта дата отмечалась прогрессивной украинской интеллигенцией еще до революции).

С середины 60-х годов в этот день у памятника Шевченко собирается общественность Киева, главным образом — студенты Киевского университета. Собравшиеся поют украинские песни, песни на слова Шевченко, читают стихи Шевченко, свои стихи.

В 1967 г. милиция задержала 4-5 человек, выступавших у памятника. Собравшиеся пошли к зданию ЦК партии. У ЦК их стали обливать водой из брандспойтов. Это не помогло. В 12 часов к толпе вышел один из руководителей ЦК и стал уговаривать разойтись.

Выступила старая женщина и сказала, что все пришли к памятнику, чтобы чествовать Шевченко. Непонятно, почему задержаны люди.

Стали требовать освобождения арестованных.

— Хорошо, я позвоню в милицию, и если задержанные ничего не сделали преступного, их выпустят. А вы разойдитесь.

— Нет, пока их не выпустят, мы не разойдемся.

Толпа пошла к городскому отделению милиции. Задержанных выпустили.

Я сам никогда не ходил к памятнику и потому был удивлен предложением «не ходить»:

— А почему мне нельзя идти туда?

— Там будет антисоветская демонстрация. Если ты появишься, это будет расценено как антисоветская акция с твоей стороны.

— Но откуда известно, что будет антисоветская демонстрация?

— По всему городу разбросаны листовки с призывом к антисоветской демонстрации.

— Если это так, то, значит, само КГБ их распространяет. Я не верю, что это сделали патриоты.

— Я сам читал листовку, найденную в Голосеевском парке. Там было написано: «Братья! Сойдемся к памятнику Шевченко 22 мая и скажем: Долой москалей и жидов из Украины!»

— Я знаю украинских патриотов и не встречал из них никого, кто бы так думал. Это провокация.

— Нет. Не советую тебе идти, пожалеешь.

— Почему?

— Лишишься работы.

— Я пожалуюсь.

— Кому?

— В ЦК партии.

Он насмешливо рассмеялся.

Я, уже вспыхнув:

— Если не поможет, то и в ООН обращаюсь — о дискриминации украинцев.

— Подумай все же. У тебя жена, дети.

— Хорошо. Я сегодня же наведу справки о демонстрации. Если характер ее будет шовинистским, то не собираюсь идти: мне вовсе не хочется, чтобы выгнали из Украины мою жену и детей, ты же сам понимаешь.

— Хорошо, я тебе завтра позвоню.

Я зашел к Сверстюку, рассказал ему. Оказалось, предупредили многих. В некоторых учреждениях запретили идти кому бы то ни было, в других — отдельным лицам, в третьих всех *обязали* идти (например, Институт педагогики). Листовки были, но о шовинистских ло-

зунгах он не слышал. Только на стенах университета были две-три надписи русофобского содержания. Но где же нет дураков!

Я зашел в Институт педагогики, затем в университет. В университете висело объявление о том, что все студенты приглашаются на Фестиваль дружбы народов 22 мая в 6 часов вечера к памятнику Шевченко.

21-го Кирилл позвонил:

— Ну, что ты решил?

Я рассказал о «фестивале» и прочем.

— Если пойдешь, пожалеешь!

— Я рассматриваю это заявление как шантаж и дискриминацию.

— Как хочешь.

(В этот же день он звонил жене, чтобы она меня «не пускала» к памятнику. Жена ответила ему, что не видит оснований для запрета и не понимает, почему я не должен идти.)

Утром 22-го меня вызвали к директору института Глушкову.

Глушкова не оказалось, предложил поговорить его заместитель, академик Пухов.

Пухов заявил, что я дерзко беседовал в парторганизации и хочу-де участвовать в антисоветской демонстрации.

Начался спор. В одном месте я обмолвился и вдруг увидел изумленно, что почтенный кибернетик вытянулся от радости — «поймал». Превращение академика в полицейского следователя было совершенно неожиданным — давали знать мои иллюзии о солидных ученых.

Пухов, наконец, выложил «козырь»:

— Ваш заведующий был сегодня у меня. Он говорил, что вы плохой работник и ничего еще не сделали в кибернетике. Он просил вас уволить.

— Я совсем недавно получил премию за отличную работу. Антомонов ни разу не обвинил меня в том, о чем говорите вы. Вызовите его, и пусть он скажет мне это сам, в глаза.

— Я занят. Вот вы работаете уже 6 лет и все еще простой инженер.

— У меня несколько иные представления о науке и карьере.

— Плох тот научный работник, что не мечтает о карьере. Вы — нерастущий работник. Нам такие не нужны. Советую подать заявление об уходе с работы по собственному желанию.

— Я буду жаловаться.

— Хоть в ООН.

Я сразу же пошел к Муромскому и в присутствии его подчиненных сказал ему, что он подлец, т.к. донес о моих словах об ООН, которые я ему сказал как бывшему приятелю.

Приехав в лабораторию, встретил Антомонова.

Антомонов сообщил, что ему предложили меня уволить под любым предлогом. Он также посоветовал уйти «по собственному желанию». Ведь все равно выгонят — и с плохой записью в трудовой книжке.

— Я вовсе не собираюсь помогать им меня преследовать.

Пошли разговоры с другими сотрудниками. Все сочувствовали, но некоторые говорили, что из-за меня разгонят лабораторию. Как потом выяснилось, многие из «подписантов» увольнялись «по собственному желанию» именно из-за этого аргумента. Я же считал, что если моим сотрудникам своя шкура дороже совести, то у меня есть моральное право пренебрегать их шкурой ради несотрудничества с КГБ в расправе над свободной мыслью.

Особенно мне было стыдно за дочь украинского художника Пустовийта, которого преследовали в 37-м году. Она деликатно стыдила меня за неморальное отношение к интересам лаборатории. Такая мораль у нее, испытавшей в свое время остракизм дочери «врага народа», показалась мне несколько странной.

На время затихло — со мной.

По всему Союзу прокатилась волна собраний, на ко-

торых осуждали «подписантов», выгоняли из партии, выгоняли с работы. Все это достаточно хорошо изложено в «Хрониках текущих событий», и поэтому я не буду останавливаться на событиях лета 68-го года в Киеве.

Некоторые «подписанты», спасая себя, стали «отреченцами» — они каялись.

Один кандидат наук в Киеве сказал, что подписал, будучи пьяным.

Доктор наук заявил, что письмо принесла красивая девушка, Ира Заславская (кандидат физико-математических наук):

— Не мог же я ей отказать.

Эта фраза стала крылатой, пословицей киевлян.

Я встретился с Виктором Боднарчуком, показал ему свое письмо в «Комсомолку». Он рассказал, что выгнать хотят из нашего института четырех: троих за письма, а инженера Иваненко — за создание хора с «националистическим уклоном».

В Киев приехал Петр Якир с дочерью Ирой и зятем Юлием Кимом. Юлий был одним из лучших «певцов оппозиции». Политические его песни были малочисленны, и это было одной из причин, что, в отличие от Высоцкого и Галича, песни Кима знали немногие. Вместе с поэтом Ильей Габаем и Якиром они написали одно из лучших писем протеста.

С Якиром мы пошли к Виктору Некрасову. Прекрасный рассказчик, он в лицах воспроизводил перед нами картины прошлого. Запомнилось — о «космополитизме».

На заседаниях писателей в 1948-49 гг. разоблачали «псевдонимы» и вообще космополитов, то бишь евреев. Было много трагикомических эпизодов.

Клеймят Э. Встает украинский поэт М. Бажан и пытается доказать, что Э. не космополит. Вечером собирается партийное собрание, где разбирают отсутствие бдительности у Бажана. Бажан признаёт, что за дружескими отношениями с Э. не заметил его космополитизма. Но в конце концов оказалось, что Э. не еврей, а немец. А разве немцы — космополиты? Э. вышел сухим

из воды, тем более что и сам стал громить космополитов.

История, как всегда, упорно и скучно повторяет самую себя. В разгар борьбы с сионизмом (67-68 годы) Бажан опять проштрафился. Он опубликовал в журнале «Вітчизна» поэму «Дебора» — о гражданской войне. Все было «правильно», по-партийному, кроме того, что положительной героиней поэмы оказалась... еврейка Дебора. В час-пик борьбы за интернационализм Бажан опять утратил свою бдительность. В своих заблуждениях он пошел еще дальше — выдвинул кандидатуру еврейского писателя Финкельштейна (и еще какого-то расово не чистого) в Секретариат союза писателей Украины. Редактор журнала «Вітчизна» Дмитерко получил выговор, а Бажана усовеждали. На сей раз он не разоблачился перед партией.

Среди выступавших было принято не ограничиваться абстрактными рассуждениями о космополитизме. Нужно было разоблачить хотя бы одного еврея.

Друг Виктора Красина, писатель Натан Забара имел несчастье писать на идиш. В те годы некто З. Либман, знаток идиша, специализировался на том, что выискивал в книгах еврейских писателей какие-либо намеки на симпатии к евреям, на сострадание к мукам еврейского народа или похвалу великим евреям — Эйнштейну, Кафке и другим (Марксу можно было, но не превышая меру).

Как только Либман находил космополитизм-сионизм, жертва его бдительности попадала в тюрьму или лагерь. Забара тоже «загремел» в лагерь, где и встретился с Виктором Красиным, а через некоторое время с... Либманом.

Несколько жертв Либмана однажды попытались задушить стукача полотенцем, но пожалели.

Либман вышел на волю вместе со всеми, сейчас работает в университете, пишет ядовитые статьи против разлагающейся буржуазной культуры (вместе с сыном бывшего «врага народа» Дмитрием Затонским) и даже комментирует У. Сарояна.

Якир рассказал о письмах, полученных Л. Богораз и П. Литвиновым, — «жидовским отродьем», как называют их в письмах. Тожественность борьбы с космополитизмом и с сионизмом не вызывала сомнения. Вначале «жиды» были ростовщиками, кровососами-капиталистами, потом социалистами, большевиками и чекистами, затем космополитами, а тепер — сионистами. И всегда — плохими русскими патриотами. Но русское правительство всегда было справедливо: оно отмечало заслуги хороших евреев перед Родиной.

Через день Якиру сообщили по телефону, что умер В. Павлинчук, подписавший «Письмо 224-х», физик из Дубны, имевший много неприятностей с партийным начальством.

Якир не мог ни о чем-либо говорить, ни что-либо делать — так любил и уважал он этого «марксиста». Мы сразу же поехали в Бориспольский аэропорт. Билетов не было, пришлось возвращаться.

Якир показал нам машину — «они едут за нами». Настолько велик гипноз слов о демократизации страны, что я подумал про себя:

— Ему нравится играть в «казаки-разбойники». Откуда он знает, что это их машина?»

(Когда машины стали ездить за мной, я понял, что угадать, где их машины, не так уж и трудно. И понял его реакцию тех дней: первые шпики, первые машины чуть-чуть возбуждают эдаким спортивным интересом к ним, толкают подразнить, поиграться с ними в прятки. Потом интерес пропадает и появляется либо страх, либо скука.)

Когда мы проезжали через лес, Якир предложил сойти с автобуса и походить, собрать грибов. Мы сошли. Машина тут же свернула в лес.

Якир ухмыльнулся:

— Пойдем им навстречу?

— Пошли.

Из лесу выскочил молодой человек в спортивном костюме, с лицом уголовника (эта примета, клеймо со-

ветского сыщика, мне впоследствии помогала «их» обна- руживать. Бегающие глаза, порочное лицо, черты деген- еративности — сигнал для интуиции; вероятность того, что перед тобой «шпик», «филер», «подметка», «топтун», возрастала во много раз).

Увидев нас, он замурлыкал песенку, нагнулся за цветком, а потом не спеша повернул к машине.

Мы углубились в лес. Грибов не было, шпика не слышно. Побродив, увидели автобус, идущий в направ- лении к шоссе, но не туда, откуда мы зашли в лес.

Петр обрадовался:

— Оторвем «подметку»!

Когда автобус вынырнул где-то в километре от остав- ленной нами «подметки», мы увидели... «нашу» машину.

— Ага, у него был специальный передатчик. Он со- общил, куда мы выедем.

*

Мы с семьей уехали в отпуск, в Одессу. Я осторожно намекнул матери на возможность остаться без работы. Для нее, всю жизнь мечтавшей, что хоть дети будут жить хорошо, это было ударом. Она уговаривала нас с женой не заниматься политикой.

— Ведь это бесполезно. Подумайте о себе, о детях, обо мне.

Пришлось успокоить тем, что я постараюсь удержаться на работе и буду заниматься только наукой.

Она рассказала о том, как видела Троцкого в Средней Азии во время его ссылки, о сочувствии рабочих Троцкому.

— Ведь даже он ничего не сумел сделать.

Я рассказал в ответ о преследованиях Крупской, бра- та Ленина Дмитрия, других родственников и друзей Ленина.

Она верила и не верила:

— Откуда ты знаешь?

Когда я напал на Хрущева, мама стала защищать его:

— Ведь он дал тебе путевку в санаторий!

6 июля я приехал в Москву и сразу же попал на день рождения Павла Литвинова.

Была масса людей, из которых я знал только Красина и Павла.

Почти всех я уже знал заочно. Нечаянно обронил украинское слово — сразу же подошли Петр Григорьевич Григоренко и Володя Дремлюга.

О Григоренко я знал, что он сидел в психтюрьме за листовки против Хрущева и безответственного руководства сельским хозяйством.

Познакомился с Ларисой Богораз, но почти не успел поговорить.

Особенно близко сошелся в тот вечер с Гришей Подъяпольским, кандидатом геологических наук, и его женой Машей.

Мы весело посмеивались над кутящими и, конечно же, как все интеллигенты в СССР, перемывали косточки вождям и рассказывали анекдотические истории о собраниях против «подписантов».

С неделю еще я пробыл в Москве, знакомясь с участниками протестов.

С Петром Григорьевичем Григоренко провел целый день. Он рассказал о своей жизни, о том, как пришел к выводу о необходимости бороться за «социализм с человеческим лицом». Первые шаги — выступление на Московской партконференции (результат — перевод из Военной академии им. Фрунзе, с поста заведующего отделом кибернетики, на Дальний Восток); затем создание подпольного «Союза борьбы за возрождение ленинизма» и, наконец, психиатрическая тюрьма с 1964 по 1965 год.

Еще в Киеве мы прочли ряд документов о борьбе крымских татар за возвращение на родину. Самым сильным документом была статья Алексея Евграфовича Костерина.

Петр Григорьевич показал свое выступление 17 марта

1968 г. на банкете, устроенном представителями крымско-татарского народа по случаю 72-летия Костерина.

Основной мыслью выступления было: «То, что положено по праву, не просят, а требуют!» и «Требуйте восстановления Крымской автономной советской социалистической республики».

Петр Григорьевич изложил свою и Костерина точку зрения на эффективные методы борьбы: использование свободы слова и печати, собраний, уличных шествий и демонстраций, установление контактов со всеми прогрессивными людьми всех наций Советского Союза, обращение к прогрессивной мировой общественности и к международным организациям, к ООН и к Международному трибуналу.

Банкет окончился здравницами в честь Крымской АССР и пением «Интернационала».

Я впервые видел столь энергичного, мужественного человека с глубоким политическим умом.

К сожалению, малое распространение и в самиздате, и на Западе получило письмо Григоренко и Костерина «Участникам Будапештского совещания коммунистических и рабочих партий». В этом письме глубоко и точно проанализированы некоторые причины сталинизма, недостатки XX съезда и продолжение сталинизма после съезда, рассказано о черносотенных настроениях, о необходимых мерах борьбы коммунистических партий со сталинизмом.

Увы, авторы не получили ответа на свое письмо ни от одной компартии. И мы никогда не слышали, чтоб оно обсуждалось компартиями Запада. А на пороге уже стояло удушение Чехословакии... Молчавшие тогда способствовали чехословацкой трагедии.

Я рассказал Григоренко о том, что войска уже стоят у границ ЧССР (на Украине), что среди приграничного населения распускают слухи о том, что чехи якобы систематически вторгаются в нашу страну малыми вооруженными группами. Как было не вспомнить аналогичные заявления перед вторжениями в Польшу в 1939

году и в Финляндию?! Никто и в Москве, и в Киеве уже не сомневался, что Брежнев и К° придут «на помощь» пятой колонне и удушат чехословацкий народ в братских объятиях — как немцев, как венгров.

Петр Григорьевич показал мне письмо в ЦК КПСС председателя колхоза «Яуна Гварде» (Латвийская ССР) Ивана Антоновича Яхимовича. Яхимович с позиций члена партии заявил, что процессы Синявского и Даниэля, Гинзбурга, Галанскова и Лашковой повредили социализму, десталинизации, престижу страны.

Письмо Яхимовича, написанное классическим языком марксистского публициста прежних времен, рассматривалось многими как самое сильное из всех открытых писем по аргументации и по эмоциональному накалу.

Яхимович — филолог по образованию, добился, чтобы его колхоз стал передовым, — благодаря тому, что делал все возможное, чтобы повысить уровень жизни колхозников. Он одним из первых в стране стал оплачивать труд колхозников деньгами. В свое время о нем много писала пресса. Когда колхоз выбился в передовые, райком пытался заставить колхоз сдавать государству продукты намного больше обязательств. Яхимович отказался, т.к. считал, что только личная заинтересованность крестьян повысит производительность труда в колхозе.

Крестьяне его очень любили, они видели в нем одного из немногих честных, думающих о человеке коммунистов.

Познакомился я в этот приезд и с протоколом обыска у Гинзбурга и еще раз убедился, что никаких шапирографов и прочего «шпионского» снаряжения у него не было.

Очень интересной оказалась встреча со старым членом партии, который хотя и не был в левой оппозиции, но сочувствовал ей. В 26-м году Н. однажды увидел идущую по улицам Москвы демонстрацию с большевистскими лозунгами. Он присоединился к демонстрации против «генеральной линии» партии.

Пройдя несколько улиц, демонстранты увидели скачущую наперерез кавалерию. Все так и замерли — вспомнили царскую конную полицию. Неужели они будут стрелять?

Когда отряд подъехал вплотную, кто-то крикнул:

— Да здравствует создатель Красной Армии товарищ Троцкий!

Кавалеристы в ответ прокричали «Ура!»... и завернули за угол.

Н. участвовал и в похоронах Иоффе, покончившего с собой из-за того, что «аппаратчики» убили революцию.

Здесь тоже кто-то крикнул о Троцком, чтобы привлечь на свою сторону солдат. Но это уже были красноармейцы, не участвовавшие в гражданской войне. Поэтому никакой реакции со стороны красноармейцев не было.

Н. рассказал много историй расправы над большевиками и все время подчеркивал, что нельзя отождествлять уничтоженных троцкистов со сталинизмом.

У Н. была большая марксистская библиотека, и я у него впервые познакомился с «Уроками Октября» Троцкого, сборниками статей Сталина, Зиновьева, Каменева, Крупской против «Уроков» (жалко выглядела Крупская: она защищала Ленина от Троцкого, который-де недостаточно говорил о роли Ленина и т. д. Чувствовалось, однако, что Крупская не совсем на стороне «аппаратчиков»).

Прочел я также политическое завещание Ленина и «Азбуку коммунизма» Н. Бухарина.

Бухарин показался мне ближе Троцкого своей симпатией к крестьянству, требованием *постепенной* коллективизации.

И тот, и другой брали в завещании Ленина то, что соответствовало их взглядам.

У Бухарина по сути ни словечка о проблемах демократии. И слишком много культа Ленина. От последнего Троцкий гораздо свободнее, что и задело, видимо, Крупскую.

Н. дал также почитать брошюру «рабочей оппозиции», но ее я не успел прочесть. Только просмотрел и увидел, что во многом их положения не устарели и по сей день.

Прощаясь, Н. заплакал и со слезами на глазах еще раз просил не отрекаться от Октября:

— Да, мы потерпели поражение. Причины его нужно изучать, а не взваливать бездумно на Октябрь все происшедшее, как это делают молодые. Вы первый из знакомых мне молодых, кто знает историю партии хоть немного, кто пытается ее анализировать. (В первый вечер он несколько часов рассказывал мне общеизвестные факты из истории партии. Лишь когда я не выдержал и стал дополнять изложенное другими фактами, он убедился, что кое-что я все же знаю.)

Я дал Н. адрес другого старого члена партии с тем, чтобы через того я получал от Н. книги оппозиционеров 20—30-х годов.

Н. предостерег:

— Наше поколение столь изломано, что я советую вам быть со старыми членами партии осторожнее.

И в самом деле мой «протеже» впоследствии был разоблачен как агент КГБ: через него КГБ пыталось «руководить» демократическим движением.

Вскоре после возвращения в Киев нам передали второй выпуск «Хроники». Он был посвящен преследованиям «подписантов», положению крымских татар. Стало известно о марксистской группе в Ленинграде, издававшей журнал «Колокол» в 64-м году.

«Хроника» с первого выпуска стала ценным источником информации о событиях в стране, давала возможность ознакомиться с общим положением дел, с методами КГБ, с теми или иными течениями оппозиции. Благодаря сведениям «Хроники» можно было узнать, в каком городе есть люди, близкие по духу.

Когда я вернулся в Киев, ко мне пришел сотрудник лаборатории и сообщил, что меня выгнали с работы «по сокращению штатов».

Антомонов на профсоюзном собрании заявил:

— Мы должны сократить одного сотрудника. Плюща все равно выгонят — вы знаете, почему. Мы теряем двух, если сократим не Плюща, или одного — Плюща.

Арифметика была убедительной, но все же никто не хотел голосовать за мое «сокращение».

Антомонов предложил «американское» голосование: всем раздают список сотрудников лаборатории, и каждый поставит крестик против фамилии жертвы. Большинство поставило крестик около своей фамилии. Но при этом достаточно было двух-трех крестиков против моей фамилии, как я автоматически набираю максимум голосов.

Так и получилось. Нашелся только один человек, который сказал, что лучше пусть разгонят всех, чем участвовать в этом подлом деле. Именно он и пришел предупредить меня.

Я просмотрел трудовое законодательство и убедился, что по пяти-шести пунктам меня не имеют права сокращать.

Я пришел в лабораторию и потребовал нового профсоюзного собрания, т.к. первое велось без меня, и не было даже протокола заседания. Я показал Трудовой Кодекс и указал, почему они не могут сократить меня. Наконец, разъяснил, что мне безразлично, кто выгонит — сотрудники или администрация. Если сотрудники, то мне трудно будет доказать что-либо на суде против администрации.

Собрание постановило, что предыдущее собрание было незаконным, что «Плющ — нужный для лаборатории сотрудник».

Затруднение было в следующем:

— Кого же сокращать, если не меня?

Это ставило меня в некрасивое моральное положение: я вынуждал кого-то добровольно взять на себя жертву.

Я объяснил собранию, что профсоюз имеет право не допускать сокращения кого бы то ни было.

Так и записали в протокол собрания.

После собрания опять была дискуссия об «аморальности» ставить лабораторию под удар и «моральности» молча смотреть на то, как расправляются с людьми за их взгляды. Некоторые товарищи пытались доказать мне, что все не так плохо, что я преувеличиваю симптомы возвращения сталинизма.

С протоколом собрания я поехал в отдел кадров. Там мне сообщили, что через две недели я буду уволен. Я заявил, что они не имели права увольнять меня, т.к. у меня двое детей.

— Кто же виноват, что вы не сообщили в отдел кадров, что у вас родился второй ребенок?

— Ничего подобного, у вас это записано, потому что по праздникам мне выдают подарки на обоих детей. (Это такая традиция в СССР — забота о детях... по праздникам выдается кулек конфет.)

— А я говорю вам, что второй ребенок не записан.

Я подошел к картотеке и стал искать свою карточку.

Заведующая канцелярией отдела кадров подбежала ко мне и стала кричать, чтобы я не смел рыться в бумагах.

Я вытащил свою карточку и указал на то, что оба сына записаны.

Заведующая стала кричать, что я хулиган, нахал и тому подобное. Она кричала голосом оскорбленной женщины. В комнату стали заглядывать — впечатление было такое, что ее кто-то пытался изнасиловать.

На минуту я действительно ощутил себя подонком, издевающимся над сединой этой женщины. Но чувство вины быстро исчезло — я вдруг вспомнил, кто кого насилует на самом деле.

Зашел в местком и показал протокол.

— Вы не знаете закона. Решает вопрос не профсобрание, а местком.

— Зачем же вы приказали провести профсобрание?

— Это не имеет значения.

— Но вы же по закону не имеете права меня увольнять.

Я перечислил все свои «льготы», показал блестящую характеристику, данную Антомоновым несколько месяцев тому назад.

Тут вмешался в разговор посторонний:

— Я из обкома профсоюза. Сейчас уже поздно что-либо решать в месткоме. Вы можете в десятидневный срок подать на администрацию в суд.

— Хорошо, буду судиться.

Я поговорил с художницей Аллой Горской, которую вместе с друзьями выгнали из Союза художников. Они тоже хотели судиться — за клевету на них со стороны Секретариата Союза.

Но у Аллы ничего не получилось, т.к. другие художники не захотели подавать жалобу в суд. Один из руководителей Союза пообещал, что им оставят мастерские, будут давать заказы на оформление городов Украины, если они будут сидеть тихо. Одной же Алле не хотелось судиться.

Я стал искать адвоката, т.к. хотел сделать процесс политическим. В Москве адвоката, который бы согласился честно говорить о политической подкладке моего «сокращения» на суде, найти трудно, но можно. В Киеве же я проискал подходящего адвоката все 10 дней. На 12-й день один юрист мне объяснил, что по закону я должен был за 10 дней подать заявление в суд, а поиски адвоката можно было продолжать после.

Но шел август 68-го года, и собственная судьба отходила на задний план.

Как-то в одном доме я встретился с чехом. Я стал спрашивать его о тех «фактах», которые указывались нашими газетами в качестве доказательства угрозы контрреволюционного, антисоциалистического переворо-

та в ЧССР. Он убедительно опроверг все аргументы и «факты» советской прессы.

В частности, по поводу известного письма девяноста рабочих автозавода, в котором авторы писали об угрозе контрреволюции и просили «братской» поддержки Советского государства, он объяснил, что почти все они либо бюрократы, либо работники охраны завода.

Утверждение об агрессивных намерениях ФРГ его только насмешило. Кто же не понимает, что ФРГ настолько боится СССР, что и мечтать не может о какой-либо агрессии против ЧССР, даже имея «пятую колонну»? К тому же, столетия взаимоотношений с немцами для чехов и словаков слишком памятливы.

— Чехи и словаки никогда не отвернутся от России.

— Да, но СССР собирается на вас напасть.

— Нет, это невозможно. Мы — братские народы. Мы — социалистическая страна.

— Плохо же вы знаете своих братьев. Брежневу даже в голову не придет воспоминание о столетних связях и дружбе. То же с социализмом. (Достаточно вспомнить о процессе Сланского.) Для них социализм — ширма, чтоб сохранить власть. А вы расшатываете их власть.

— Может быть. Но не пойдут же советские солдаты против коммунистов и славян!

— А Венгрия? Для чего же они клеветают каждый день на КПЧ, если не для подготовки солдат и народа к нападению на «контрреволюционеров»?!

— Нет, это невозможно.

— А зачем наши танки стоят у границы?

— Я видел, когда переезжал границу. Они хотят запугать Дубчека, чтоб тот был сговорчивее.

Спор закончился ничем. Он слишком верил в слова «дружба» и «интернационализм». Я не верил ни одному слову наших вождей. А народ... Что он знает? Ему врут каждый день, он верит и не верит. Он верит тому, что «мы всех кормим; мы спасли чехов и словаков, поляков и болгар от немцев. А они, неблагодарные...», и не верит в честность тех, кто говорит ему это.

Даже в моей лаборатории я слышал слова:

— За что *мы* проливали кровь? Чтоб они отдали страну немцам?

— Господи, зачем же чехам и словакам отдавать свои земли ФРГ?

И это говорили люди, знавшие историю советской внешней политики.

Еще в мае, когда только появились первые признаки агрессивных намерений Брежнева, я решил написать для самиздата «Историю международной политики Сталина в изложении газеты «Правда»».

Я хотел составить последовательное изложение отношений с Англией, Францией, Германией, Польшей, Финляндией, Прибалтийскими республиками, Румынией и Китаем в цитатах из «Правды» с весны 39-го по июнь 1941 года. Цитаты эти я подавал без комментариев: они были достаточно красноречивы, т.к. читатель наперед знал, что все это закончится Отечественной войной.

Результаты моей подборки превзошли все ожидания.

Прежде всего сам способ изложения событий. Все нужное для подтверждения правильности политики СССР «Правда» излагала устами... буржуазных политиков и журналистов. Я догадывался, в чем тут дело, а приехав на Запад, утвердился в догадке.

Среди политиков и журналистов, сколь угодно ненавидящих Советы, так много разногласий, а в прессе так много лжи и погони за сенсациями, что совсем нетрудно найти цитаты, выгодные СССР на сегодняшний день. Помимо этого, всегда можно втиснуть почти в любую газету любого направления необходимые госбезопасности идеи, сведения и т. д.

Например, весь журналистский мир сейчас знает, что некий Виктор Луи, советский подданный, систематически передает на Запад соответствующие информации и даже «самиздат» (когда нужно опорочить Солженицына или Хрущева). И что же? Луи работает «кором» в буржуазной газете, как будто он не советский подданный. Зачем это нужно газете, её читателям?

Многие западные газеты с удовольствием печатают то, что нужно КГБ, т.к. это либо сенсация, либо «новые сведения», «новая точка зрения». Потом подсадная «утка» возвращается домой, на страницы «Правды», в виде того, что «даже реакционная пресса признала, что Н. — агент гестапо, а страна М. готовит заговор против мира» и т. д., и т. п.

В самиздате ходит работа западного автора о Тухачевском. Автор рассказывает, как белый генерал Скоблин, задумав задушить большевиков их собственными руками, установил связь с гестапо и НКВД, чтобы сострять «дело Тухачевского». НКВД подбросило идеи Скоблину и его жене (давнему агенту ВЧК), Скоблин договорился с гестапо. Гестапо подготовило «улики» и подбросило их президенту Чехословакии Бенешу, тот, будучи другом СССР, передал их Сталину. Кольцо замкнулось, Сталин уничтожил талантливейших полководцев армии (и Скоблина как ненужную «улику»).

Почти вся эта история излагалась и в советской печати, за исключением сговора НКВД и гестапо.

Но более интересны не методы подачи материала, а сам материал газеты «Правда».

Еще весной 39-го года «Правда» печатала антифашистские статьи. Она возмущалась (умеренно) предательством Запада по отношению к Чехословакии.

Но постепенно «антифашизм» стихает. Появляются «объективные» статьи о фашистской Германии.

И все же переход к пакту о ненападении, о мире и дружбе был слишком резок и пропагандистски недостаточно подготовлен. «Правда» опубликовала несколько выдержек из речей Гитлера против Польши. Гитлер разглагольствовал об империалистическом Версальском договоре, которым хотели поставить немецкий народ на колени, о полицейской политике польского правительства по отношению к нацменьшинствам — немцам, украинцам и белорусам. Комментариев к речам Гитлера «Правда» не давала, но подборка речей и цитат из

«Фёлькишер беобахтер» красноречиво говорила о симпатии к Фюреру со стороны Вождя.

Не успели подписать Пакт о ненападении, как фашисты ворвались в Польшу. Англия и Франция объявили Германии войну. «Правда» подала материал объективно: большие выдержки из немецкой прессы и маленькие из английской и французской.

«Правда» сообщала о разгроме польской армии, о бегстве правительства. И вдруг появились статьи о преследовании украинцев и белорусов со стороны поляков, о нарушении советских границ польскими войсками, о том, что польская подлодка пряталась где-то в прибалтийском порту.

И тут... советские войска перешли границу, чтобы спасти единокровных украинцев и белорусов (от поляков или от новых друзей?). «Несуществующему» польскому правительству послали ноту.

Простые советские граждане, солдаты и журналисты стали писать возмущенные письма о том, что озверелые польские офицеры имеют наглость... стрелять по красноармейцам.

Наконец победа доблестных советских войск (о победе немцев почти не пишут), западные украинцы и белорусы просят принять их в состав Союза, выборы на Западных землях в советы. (Здесь, на Западе, от украинских эмигрантов я узнал, под какой аккомпанемент чекистских выстрелов и пыток шли эти «выборы».)

Параллельно возникает прибалтийская проблема. Заключаются договоры о поддержке прибалтийских республик Советским Союзом. В некоторые прибалтийские города вводятся советские войска. Через несколько месяцев руководители прибалтийских армий и правительств опровергают «измышления западной прессы» о советизации Прибалтики. (Бедный Ульманис, президент буржуазной Латвии, эстонский генерал Лайдонер! Они опровергали то, что все уже видели, — их недалекую гибель.)

Через три месяца после начала 2-й мировой войны на

очередной сессии Верховного Совета выступает Молотов. Он объясняет диалектику истории — за эти три месяца агрессорами стали Англия и Франция. Они ведут «религиозную войну» по типу средневековых — против нацизма. Молотов издевается над Англией и Францией: разве можно бороться пушками с идеями?

Появляются статьи о преследованиях французских коммунистов за их «антивоенные» выступления.

Писатель-коммунист Т. Драйзер протестовал против того, что США экономически помогают Англии и Франции, несмотря на свой нейтралитет.

Что-то негодующее написал Андерсен Нексе, тоже писатель и тоже коммунист.

Короче, руками западных коммунистов Сталин решил заклеймить англо-франко-американскую агрессию против национал-социализма.

Поэт Асеев в стихках против Польши зарифмовал речь Гитлера в Данциге (не упоминая, правда, о Гитлере).

Точно так же лживо освещалась война с Финляндией. Начались переговоры с финнами. Им предложили ту же помощь, что и прибалтам. Финны уже видели судьбу Польши и Прибалтики и потому отказались от обмена землями и от военной помощи.

Появились сообщения о каком-то выстреле из пушки со стороны финнов, о вторжении финских войск на наши земли. Послана гневная нота Финляндии.

Финляндия робко попросила создать комиссию для изучения инцидента с выстрелом. В ответ — гневные письма трудящихся СССР, гневная нота.

Все это напоминает басню Крылова «Волк и ягненок», аргументацию с обеих сторон — волка и ягненка.

Наконец войска Ленинградского военного округа (не Красной Армии, а округа!) перешли границу без объявления войны. Финны имели наглость объявить войну (так что агрессор — они).

Через несколько дней в Финляндии создано народное правительство (на территории, захваченной Красной

Армией). Новое правительство, не успев возникнуть, подписало нужный договор. «Правда» поместила карту земель, отошедших Советскому Союзу и Финляндии. Всем читателям было видно благородство Союза: маленький Карельский перешеек нам, а большой кусок Карелии — им. Финские войска спешно отступали, старое финское правительство куда-то исчезло. Когда шведы робко попытались примирить воюющих, то им заявили, что уже заключен договор с *настоящим* правительством Финляндии.

Опубликовали выдержки из «Фёлькишер беобахтер» о том, что берлинцы радуются победами союзника. (Правда, Муссолини при этом поставлял оружие финнам. Англия и Франция также поддерживали Финляндию.)

Постепенно статей о доблестных успехах в Финляндии поубавилось, а затем они и вовсе исчезли. Пошли статьи о боях за то или иное село. Забыли о народном правительстве. Вдруг вынырнуло старое, ненародное правительство, с которым и заключили мир.

Странно, что читатели того времени не поняли, что Красная Армия слаба, если не способна оказалась победить Финляндию. Как не поняли связи сталинизма с гитлеризмом, слабости «пятой колонны» в Финляндии?

21 декабря весь мир отмечал 60-летие Вождя всех народов.

На видном месте «Правда» поместила поздравление вождю от фюреров — Гитлера, Чан Кай-ши и словацкого Тиссо.

Выписок о захвате Бессарабии, присоединении Прибалтики, о войне в Китае я не успел сделать: отпуск, сокращение штатов, а затем 21 августа — все это не дало мне закончить статью.

В «Правде» от 21-го анонимка, просьба о помощи со стороны неназванных руководителей КПЧ. «Пятая колонна» работала.

Задолго до этого в самиздате появились «2 000 слов», речь Вацулика на съезде писателей Чехословакии, «Программа действий КПЧ» и другие переводы из чехо-

словацкой прессы, особенно из «Литерарных листов». Нарасхват шла «Дукля» — журнал украинцев Словакии. К сожалению, в нем анализировали только национальные и религиозные проблемы в новой Чехословакии. Националистическая ограниченность журнала сказывалась во всем. Когда украинца В. Биляка выбрали секретарем словацкой компартии, украинцы Словакии радовались. Но когда Биляк публично отрекся от своего украинства по сути предупредив о готовности предать все народы ЧССР), «Дукля» обрушилась на него.

Но радость «весны» настолько заливала страницы «Дукли», что можно было даже не знать других газет и журналов Чехословакии, чтобы понять, что «весна» действительно пришла.

Демократизм, гуманизм, правдивость «Программы действий КПЧ» убеждал нас тогда больше, чем что-либо, что чехословацкая компартия на самом деле начала строить «социализм с человеческим лицом».

Название это мне не нравилось, т.к. оно подразумевает возможность социализма с нечеловеческим лицом. Последнее — не социализм, а новая форма эксплуататорского общества. По этой же причине мне кажется неудачным термин «казарменный коммунизм». Как идеология такой «коммунизм» возможен, но как строй он либо невозможен, либо не есть коммунизм, т.к. должны быть люди, заинтересованные в сохранении его бесчеловечности, выходящие за рамки «равенства, братства и свободы», имеющие политические и экономические льготы. Они должны быть *самыми* равными и свободными «братьями».

Нападки на ЧССР с каждым днем усиливались. Все мы ждали: если начнется война, скажут ли свое слово друзья ЧССР — Румыния и Югославия, а также враги — «империалистические государства».

Ходили слухи, что Румыния и Югославия обещали военную помощь Дубчеку на случай вторжения. Югославия начала вооружать свое население на случай войны с «братьями» по крови и идеологии.

Но мы знали, что войска чехословаков стоят не у границ СССР, а у границ с Германией, что их пушки обращены на Запад. Дубчек вовсе не готовился к отпору агрессии со стороны Советов.

ФРГ не только не собиралась вторгнуться на помощь «контрреволюции», но из страха перед провокацией со стороны стран Варшавского договора на всякий случай провела военные маневры подальше от ЧССР, хотя ранее намечала провести их у границ Чехословакии.

Самым гнусным выглядело в наших газетах изложение статей западных журналистов о ЧССР.

Произвольные домыслы «Вашингтон пост», «Дейли мейл», «Темпо», «Нью-Йорк таймс», австрийских и других газет выдавались за саморазоблачение империалистов. Свобода фантазировать и *лгать*, которую имеют западные журналисты, была использована *несвободной лживой* печатью Советского Союза. В который раз «свобода» помогла антисвободу. Лживость западных журналистов всегда на руку советским фальсификаторам. Обратное тоже верно. Западная пресса неоднократно использовала советскую ложь для борьбы против социализма.

И вот сообщение — войска Варшавского договора вторглись в Чехословакию. Поздно вечером мы сидели у приемника и слушали чехословацкие радиостанции. 21-24 августа сливаются сейчас в памяти в одну длинную ночь кошмара, стыда и отчаяния.

Мы слушали информацию о реакции чехословаков на братскую помощь. Выступил Людвик Свобода. Он плакал из-за трагического повторения оккупации 38-го года, проводил параллель между 38-м и 68-м годами. Мы все плакали вместе с ним, т.к. кроме слез и бесильной ненависти к своим «вождям», ничего не могли противопоставить силе.

Было мучительно стыдно быть советским, быть марксистом. На душе только страх за ЧССР, СССР, за будущее всего мира, ощущение наступления длительной зимы, ночи сталино-фашизма.

На улицах подходили малознакомые люди и говорили с ненавистью и злобой:

— Почему американцы молчат? Хоть бы китайцы развязали войну!

— Нужно бросать бомбы. Самиздат и всякая пропаганда — кобыле под хвост, это игрушки.

И наиболее злые, отчаянные слова говорили наиболее умеренные, либералы.

Я пытался как-то успокоить друзей, отговорить от тех или иных авантур. Но сам был склонен пойти на какую-нибудь авантюру.

Жить в этой мерзкой стране стало невозможно, т.к. не видно было реальных эффективных методов борьбы с властью бандитов. Если даже организованная, политически развитая страна, единомышленная во взглядах на право идти своим путем, на право независимости, со своим правительством, армией и т. д. ничего не смогла сделать, то что может сделать жалкая кучка советских оппозиционеров?

Я решил идти в чехословацкое консульство — просить гражданство. Оказалось, что несколько киевлян опередили меня, но консула не было — он уехал в Москву. Его заместители благодарили за моральную поддержку со стороны советских граждан, но советовали не выступать, чтобы не дать повода обвинить консульство в «подстрекательстве». Они сами ничего не знали о событиях в ЧССР и сутками сидели у радиоприемников. Они сказали, что чехословацкий посол в Москве подкуплен *нашими* оккупантами.

Я решил пойти в югославское консульство. Оказалось, что такого на Украине нет.

Было предложение устроить демонстрацию. После долгих дискуссий решили не делать этого: нас в Киеве так мало, что арест демонстрантов частично парализует самиздат.

Решили только поддержать чехов и словаков единственным, чем могли, — как можно более широким распространением документов «весны».

Ночью 21-го или 22-го мы с женой возвращались на такси домой. Перед мостом Патона машина вынуждена была остановиться — по восту шла бесконечная колонна с пушками и ракетами.

Таксист зло сказал:

— Румынов едут давить!

Мы так и замерли. Ведь румыны, видимо, не потерпят «братской помощи». Значит, начнется война...

В те дни забрали в армию многих парней. Их обрабатывали ложью о Румынии, о ее контрреволюционном правительстве (оно-таки контрреволюционно, но не в брежневском смысле).

У границ Румынии стояли наши войска.

У некоторых киевлян появилась идея — пойти добровольцем в армию, чтобы потом примкнуть к румынам в случае войны. Но идея была очень наивной — кто поверил бы в такой «энтузиазм»?

*

Пришла, наконец, книга Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе».

Великолепно сформулированы основные проблемы, стоящие перед миром, видна бесстрашная смелость в разоблачении неосталинской политики в СССР. Очень наивной показалась футурологическая часть — предложения реформ во внутренней и внешней политике. Сейчас, после 21-го августа, особенно ясно видна была невозможность каких-либо существенных реформ сверху.

Особенно сомнительными мне показались слова о сближении СССР и передовых капиталистических стран. Да, «конвергенция» возможна, но какая? Тенденции реальности говорят о сближении к точке падения в бездну. В СССР нарастает сознательная и бессознательная тенденция к отказу даже от слов социализма, к переходу в государственный капитализм в его оголенно-бесчеловечной форме. Если Запад и станет прибли-

жаться к СССР, то скорее по пути усиления антидемократизма, еще большей концентрации капитала и сращивания государства и монополий*.

Да Сахаров и сам эту опасность видит и говорит в своей статье, что сближение не должно стать сговором правительств**.

Статья Сахарова широко разошлась по научным институтам и среди литератов. Вокруг нее велось много дискуссий. Но было не до дискуссий, т.к. уже 26-го позвонил П. Якир и сообщил, что 25-го на Красную площадь вышли на демонстрацию Лариса Богораз, Виктор Файнберг, Павел Литвинов, Наташа Горбаневская, Константин Бабицкий, Владимир Дремлюга и Вадим Делоне. Они вышли с плакатами протеста против оккупации ЧССР. Их арестовали и, видимо, обвинят либо в «антисоветской пропаганде», либо в «клевете на власть», либо в нарушении «работы транспорта и государственных учреждений».

Мы радовались, что нашлись люди, заявившие, что не все в СССР поддерживают агрессию.

Многие жалели, что вышел на площадь Литвинов, — он так нужен самиздату. Но все понимали, что в данном случае «здравый смысл» был откинут во имя чувства протеста, из-за невозможности молчать — соучаствовать в агрессии. Многие завидовали им, несмотря на понимание важности тихой самиздатской работы.

По всем учреждениям проводили собрания в поддержку «братской помощи» и «спасения социализма» в ЧССР. Некоторые не являлись, другие воздерживались, третьи протестовали.

Несогласных стали репрессировать.

В Институте кибернетики академик Глушков выступил с осуждением чехословацких оппортунистов и контрреволюционеров и поддержал вторжение. Кто-то из сотрудников пригласил журналиста. Когда Глушков

*) Увы, усиление тоталитаризма в Латинской Америке, в Азии и Африке подтверждает это. И США не один раз помогали фашистам.

***) Чем уже стал Белград.

увидел магниевую вспышку фотоаппарата, он побледнел и замолк.

После собрания он передал Виктору Боднарчуку, уже изгнанному из института, что он не хотел, чтоб его выступление стало широко известным. Ведь все сотрудники понимают, что он вынужден был это сделать ради Института, ради науки (на . . . нужна такая наука?).

Даже этот беспринципный человек не хотел, чтобы о его поддержке агрессоров знали в мире.

Третий номер «Хроники» поместил информацию о протестах против агрессии. В письме газетам «Руде право», «Унита», «Морнинг стар», «Юманите», «Монд», «Вашингтон пост», «Нойе цюржер цайтунг» и «Нью-Йорк таймс» Наташа Горбаневская рассказала о плакатах, которые держали демонстранты, об избиениях демонстрантов и т. д.

28 июля был арестован Анатолий Марченко за нарушение паспортного режима (он сидел с 1960 по 1966 гг. в лагере, а выйдя на волю, не имел права ездить в Москву). На самом деле его судили за книгу «Мои показания», за письмо от 26 июля в чехословацкие газеты о клеветнической компании против ЧССР и об угрозе интервенции.

21 августа Марченко получил год лагерей.

*

В конце сентября в Киев приехали представители крымских татар — физик Роллан Кадыев и врач Зампира Асанова. От своего народа они имели специальные мандаты, в которых было четко сформулировано, что они должны отстаивать. На поездки в Москву или в Киев народ выдавал представителям деньги.

Роллан и Зампира приехали с поручением передать письмо украинскому правительству. Они рассказали, что агенты КГБ распространяют среди крымских татар слухи о том, что в Крым их не пускают «украинские националисты». Мы смеялись:

— Какие? Шелест или Дзюба, которого Шелест преследует за национализм?

А в Крыму КГБ распространяет слухи, что татары хотят выгнать украинцев и русских из их домов...

Пошли к Виктору Некрасову. Зампира поблагодарила его от имени народа за поддержку.

Некрасов рассказал забавный эпизод.

Однажды в Крыму, в номере гостиницы, он шутил со своим другом, писателем Н.:

— Давай устроим здесь революцию. По обычному плану: прежде всего вокзал, телеграф, банк. Затем выгоним русских и украинцев, объявим независимую Крымскую республику. Попросим у татар убежища и будем жить в свободной стране.

Однажды с Н. провели беседу по поводу того, что тот отказался выступить против Некрасова. Н. всерьез напомнили:

— Вы думаете, мы не знаем, как вы с Некрасовым хотели сделать революцию в Крыму?!

*

Мы решили познакомить Зампиру и Роллана с украинскими патриотами.

Татары встретились с Дзюбой и Зиновией Франко, внучкой известного украинского революционера, поэта Ивана Франко. Они пообещали собрать среди украинской интеллигенции подписи под требованием вернуть татар на их родину. (Многие, помимо Дзюбы и Франко, сделали для татар, что могли. Иванычук, например, написал историческую повесть «Мальвы» о периоде дружбы Украины и Крыма. «Интернациональная» советская власть запретила повесть — за «национализм». Чей?..)

Я с Зампирой и Ролланом пошел по домам писателей, чтобы привлечь их внимание к крымско-татарской проблеме. Побывали у многих. Чем менее чиновным был писатель, тем искреннее он откликнулся на наши слова.

Пришли к Андрею Малышко. Встретила нас его жена, поэтесса Любовь Забашта, та самая, что упрекала меня в 66-м году за русский мой язык . . .

Роллан рассказал ей, как уничтожают памятники крымско-татарской старины, попросил обратиться с протестом в Общество охраны памятников старины.

— Я в Крыму часто отдыхаю и не видела разрушений!

Роллан показал ей фотографии разрушений. Только пушкинский Бахчисарайский фонтан оставили, ибо он пушкинский. (Спасибо, товарищ Пушкин!)

— Хорошо, в следующем году я поеду туда в санаторий и посмотрю.

Вошел Малышко. Она подбежала к нему и что-то шепнула. Тот быстренько прошел в спальню.

Забашта объяснила нам, что у Малышко ночью был сердечный приступ и он не может поговорить с нами.

— Он, конечно, сочувствует вашему народу.

От Малышко пошли к Бажану. У подъезда стоял милиционер. Мы рассмеялись — как берегут таланты.

— Вам к кому?

— К Бажану.

— Он в Конча-Заспе (местность под Киевом, где находятся правительственные дачи и санатории).

В целом у Роллана сложилось очень хорошее впечатление от украинской интеллигенции, особенно от Дзюбы. Он сказал мне после всех визитов: «Политически Москва делает для нас больше, чем Киев, но украинцы нас лучше понимают».

После отъезда представителей крымских татар пришли хроники-бюллетени их борьбы. В них описывались политические преследования татар и борьба народа за свои права.

21 апреля в г. Чирчике (Узбекистан) крымские татары собрались у памятника Ленину отметить его день рождения. Войска и милиция стали разгонять собравшихся дубинками, ремнями, поливали щелочной водой из брандспойта. Били, не щадя ни женщин, ни стариков. Досталось и узбекам, и даже русским.

Русский капитан, случайно оказавшийся при этом «Мамаевом побоище», закричал:

— Как вы смеете бить людей! Ведь вы же не эсэсовцы! Я напишу в ЦК!

Его так избили, что тут же увезли в больницу. О его дальнейшей судьбе татары так и не смогли узнать. (Где он? Убит? Лечится? В тюрьме или психушке?)

Свыше 300 человек было арестовано.

В мае в Москву приехало 800 представителей крымско-татарского народа.

16-17 мая их арестовали, а потом погрузили в plombированные вагоны и отправили в Ташкент. При аресте протестующих избивали. По ошибке избили подданного Турции. Тот пожаловался своему послу. Советские власти извинились — «перепутали». Посол успокоился — бьют мусульман, но не *наши*. У татар было много надежд на мусульман Турции и Ближнего Востока. Увы, надежды эти были обмануты.

Заехал к нам Гомер, шофер по профессии.

Он рассказал о своей личной судьбе, типичной для крымского татарина.

Как их вывозили из Крыма в 44-м году, он не помнит. Остался без родителей, жил в детдоме в Узбекистане. На всю жизнь запомнил, как разгневавшись, воспитательница выгнала его на холод, в зиму, босиком на снег — педагогика!

После 56-го года жил хорошо, много зарабатывал. Женился. Тесть — богатый человек, тоже крымский татарин. Когда началось национальное движение, Гомер стал помогать деньгами. Но не утерпел, стал участвовать активно — распространять самиздат и т. д.

Тесть и жена стали ругаться с ним.

— Но я не могу лишь материально поддерживать. Я никогда не забуду им, як выгоняли меня на снег.

С Гомером мы зашли к Некрасову. Он предложил Гомеру выпить. Гомер отказался:

— Мы не можем пить, т.к. запах алкоголя будет дока-

зательством нашего хулиганства. КГБ и милиция арестовывают нас и без повода.

Гомер и другие рабочие из крымских татар поразили всех нас высоким уровнем политического сознания, пониманием таких вещей, которые недоступны «среднему советскому интеллигенту».

Гомер уехал, и у нас настало относительное затишье.

*

Часто звонил Якир и сообщал новости. Чаще печальные.

В августе арестовали Иру Белогородскую за распространение письма об аресте Марченко. Ира забыла в такси сумочку с большим количеством экземпляров письма. КГБ получил сумочку, а с нею — улики против Иры.

27 сентября был обыск у Ивана Яхимовича, который за письмо в ЦК был уволен. Его жену Ирину уволили из школы. Обыск был по подозрению в ограблении Госбанка. Под столь же фальшивым предлогом обыскали ленинградца Юрия Гендлера, юрисконсультанта. После обыска его арестовали, т.к. нашли самиздат.

Пользуясь затишьем, я стал искать работу.

В. Боднарчук, пользуясь связями со многими математиками из разных институтов, предложил два института. В этих институтах нужно было разрабатывать математические модели тех или иных процессов.

В каждом институте были люди, которые знали о судебных процессах, о подписантах. Они говорили, что работа есть. Я вместе с ними шел в отдел кадров. Там, посмотрев на мою трудовую книжку, на запись «уволен по сокращению штатов», сразу же спрашивали: «Почему?»

Я не очень убедительно врал о своем желании работать по тематике данного института.

— Хорошо, приходите через неделю.

Через неделю оказывалось, что мест нет.

Боднарчук учил меня, как сделать мою устную версию «сокращения» убедительной. Я пытался, но врать было противно, да и не верил я, что КГБ выпустил меня из поля зрения.

Зашел в другие институты — та же история.

В некоторых институтах завотделом сразу же спрашивал:

— Подписант?

— Да.

— Я постараюсь уладить.

Но ничего нельзя было уладить.

В Институте психологии администратор сказал моему приятелю:

— Мы еле спасли своих подписантов, а вы предлагаете нам чужого.

В одном биологическом институте встретил старого товарища, профессора. Он расспросил о политических событиях и даже посочувствовал:

— Знаешь, если я порекомендую, то откажут точно. Я лучше через посредников. И извини, спешу на собрание, читаю доклад о новых формах буржуазной антисоветской пропаганды.

Посмеялись вместе — кто читает?! Я смеялся не очень весело . . .

Встретился с директором и врал даже убедительно. Директор заинтересовался; моя предыдущая работа частично совпадала с тематикой института.

Через день мне сообщили, что мест нет . . .

Пошел в издательство «Высшая школа», устраиваться редактором в отдел математической литературы. Одновременное знание украинского языка и математики — редкость, и потому такие «энциклопедисты» ценятся. Увы, повторилось прежнее.

Наконец, корректор из редакции «Наукова думка» сообщил, что им требуется редактор математической и технической литературы.

Опять — «придите завтра».

Пошел на прием к президенту Академии наук УССР

академику Патону. Его не было. Зашел в партком Академии. Там прямо изложил причины увольнения. Завязался политический спор. Я им об угрозе ресталинизации, они мне о буржуазной пропаганде. Я, наконец, поставил вопрос об их обязанности устроить меня на работу, т.к. юридически не было права увольнять меня. Рассказал, как не принимают с записью «по сокращению штатов».

— Хорошо. У вас что-нибудь на примете есть?

— Есть.

— Что?

Я замялся.

— Но мы вам хотим помочь!

Сказал о «Науковой думке».

— Приходите завтра.

«Завтра» оказалось, что уже взяли человека на это место. Я проверил — еще не взяли.

Написал заявление в Объединенный комитет профсоюза Академии наук и высших школ.

Говорил со мной очень симпатичный товарищ:

— Зачем вы все изложили в заявлении? Нужно было иначе все объяснить.

— Но я уже пытался иначе. Все равно кому надо — узнают.

— Да, вы правы. Но что мы можем сделать? Я постараюсь подыскать вам работу, но обещать не могу — знаете, политика все же . . .

Пошел в ЦК профсоюзов. Там почти те же слова — о бессилии профсоюзов. Посоветовали покаяться.

Пришлось махнуть рукой на работу и становиться репетитором. В университете пообещали рекомендовать меня отстающим студентам, но ни одного «болвана» (так их у нас называют) я так и не нашел.

Знакомые порекомендовали школьницу, готовить в университет. Она пришла два раза, а потом исчезла. Оказалось, ее предупредили, что из-за встреч со мной ее не примут в университет. Она «и так еврейка», а

связь с «неблагонадежным» — стопроцентная гарантия непоступления.

Я понял: мне остается одно — становиться оппозиционером-профессионалом. Это дает только тюрьму — не деньги, но это тоже работа, и по сути более нужная. И главное — не надо будет раздваиваться на строителя светлого будущего и оппозиционера мрачному настоящему и будущему, не надо лгать.

Единственное, что было трудно, — сидеть на шее у жены и уходить от науки. И не очень хотелось становиться профессиональным политиком. Политическая деятельность кажется мне суетой, борьбой с препятствиями, а не раскрытием своей индивидуальной сущности, не развитием своих сущностных сил. К тому же — компромиссы, столкновение с грязью политической жизни.

Но и уйти в сторону, заткнуть уши, не видеть, молчать, забыть — это тоже невозможно.

Напряженность политической борьбы нарастала.

5 сентября судебно-психиатрическая экспертиза Института им. Сербского под руководством проф. Д. Р. Лунца признала Горбаневскую невменяемой. Прокуратура прекратила возбужденное против нее дело и передала ее на попечение матери...

7 октября позвонил Якир и сообщил, что 9-го начнется суд над демонстрантами. Я обошел всех знакомых и собрал немного денег для москвичей. Лишь одна женщина отказалась вначале дать:

— Это для националистов? Не хочу.

Я отказался брать ее деньги и для москвичей.

Украинские патриоты собрали сколько смогли: многие уже были лишены работы.

Этот процесс хорошо описан в «Полдне» Натальи Горбаневской, и поэтому я ограничусь деталями, которых в «Полдне» нет, но которые мне кажутся важными для передачи атмосферы преследований инакомыслящих в СССР.

Утром мы натолкнулись на оперативный комсомольский отряд во главе с явным кагебистом, но «под интел-

лигента» — черная бородка, попытка говорить «культурно».

На наши вопросы он охотно отвечал. Он инженер, комсомольский работник Александров.

«Александров» пытался говорить с классовых позиций (о классовом чутье, необходимости труда и т. д.).

Его спросили:

— А почему же вы не работаете? Я вас видел во время *всех* московских процессов у здания суда.

Инженер насмешливо осклабился:

— Я тебя тоже видел у суда.

— Послушайте, за бороду вам платят особо, как за вредность?

На второй день суда Зинаида Михайловна Григоренко и другие друзья не пустили меня к зданию суда, так как случай с Алтуняном показал, что приезжим из других городов угрожают провокации (Алтуняна и П. Г. Григоренко пытались ввязать в драку с провокаторами).

Мы поговорили с Алтуняном о нем, о его друзьях.

Генрих — член партии, майор, радиотехник, преподавал в Военной академии в Харькове.

9 августа у него и у его девятиррых друзей были произведены обыски в связи со встречами его с Григоренко и Якиром, с «разговорами» и самиздатом.

*

Я пообещал наладить постоянную связь с Харьковом — их мало, им трудно доставать самиздат. Так как большинство его друзей — марксисты, то встреча обещала быть для меня особенно интересной.

Приехал в Москву Яхимович. Меня он поразили своей целеустремленностью, энергией и верой в будущее. Последнее было редкостью.

Яхимович рассказал, как его снимали с поста председателя колхоза и выгоняли из партии.

Вначале было партийное собрание колхоза. Выступил член райкома партии и рассказал коммунистам о том,

что Яхимович клеветал на Советскую власть в своем письме в ЦК. Потребовал исключить его из партии.

Никто не проголосовал за это решение.

Собрали второе собрание. Проголосовал «за» только парторг колхоза. После собрания, не спрашивая колхозчиков, его все же сняли с поста председателя колхоза.

Жена парторга ушла от мужа из-за его трусливого поведения во всей этой истории.

Колхозники до сих пор привозят Яхимовичу продукты.

Увидев царящие в Москве попойки, Яхимович решительно стал бороться с ними: ведь попойки вредят делу. Мы все посмеивались над ним — сразу видно марксиста. За строгость к товарищам некоторые прозвали его «троцкистом» (о Троцком, правда, никто не имел ни малейшего понятия, кроме легендарных рассказов и слухов).

Из Москвы удалось привезти много литературы. Это были речи адвокатов, защищавших Гинзбурга и Галанскова, очерк Н. Горбаневской «Бесплатная медицинская помощь» (о пребывании в психиатрической больнице), письмо П. Г. Григоренко главе КГБ Андропову, в котором Петр Григорьевич рассказывает о преследованиях, допросах и прочих столь же приятных вещах.

К концу года прибыл 5-й выпуск «Хроники». «Хроника» начала давать обзор самиздата. Эта рубрика нецензурна — читатель узнаёт о новинках самиздата и может целенаправленно искать их.

Я отметил для себя «Новый класс» Джиласа и «Технологию власти» Авторханова. Обе книги удалось достать — Авторханова в виде фото пленки, Джиласа — отпечатанным на машинке. Встали трудности с перепечаткой. Авторханова делали около 4-х месяцев, Джиласа — два. Джилас распространился по Киеву шире, чем Авторханов.

Джилас произвел на меня впечатление менее сильное; к большинству его идей я пришел давно. (Ценными казались только факты истории Югославии и СССР.)

Я не разделял его основного тезиса — о новом эксплуататорском классе. Я думаю, что верхушка бюрократии, управляющая СССР, еще не оформилась во вполне самостоятельный класс. Ведь не являются особым классом менеджеры в капиталистических странах! Как и полиция, как и военные чиновники, так и администрация разного рода предприятий являются «слугами» капиталиста. Капиталист лишь отчисляет им часть прибыли, привлекает на свою сторону против пролетариата, подкупает. Так же подкупает абстрактный капиталист — советское государство — «слуг народа» брежневых, андроповых, косыгиных и прочую шваль.

Пример Хрущева очень показателен.

Казалось, он был самый могущественный и богатый представитель «нового класса». Скинули — и что осталось от него? Сравнительно небольшая пенсия (300 рублей; советские «юмористы» из КГБ любят шутить тридцатью сребрениками), квартира, дача.

Класс определяется своим отношением к производству и распределению продуктов производства. В производстве советская олигархия несет лишь функцию управления и надзора за трудом. Как и весь народ, она получает зарплату (высокую, но не больше зарплаты директора крупного капиталистического предприятия). Льготы, которыми они пользуются помимо зарплаты, — в целом незаконные. Они *крадут* часть народного дохода. Но кража эта не оформлена юридически и так же, как и *обычных воров*, не делает их экономически особым классом. Они обладают властью, но как калифы на час. Только Сталину удалось стать полновластным хозяином страны, но именно при нем вся бюрократия была на положении «винтиков» самодержавия, не уверенных даже в завтрашнем дне. Всех — и их в том числе — пожирала абстракция, государственная идея.

П. Якир рассказывал о встрече с поверженным «вождем». Он приехал к нему на дачу. Там были зять Хрущева Аджубей, Рада Аджубей — дочь Хрущева и Нина Петровна — жена фюрера.

Хрущев выпил и стал жаловаться:

— Никто не пишет, не приходит. Мишка (Шолохов)!!! Я из него человека сделал, а он даже не позвонит!!!

Потом Никита вытащил самиздат — «Доктор Живаго» Пастернака.

— Какая замечательная вещь! Нужно было, чтобы народ прочел это. Они (т.е. Сусловы и др. члены ЦК) мне подсунули «цитатки» из нее, и я им поверил!..

Якир чуть не дал ему по морде: «Сначала загнал поэта в гроб, а теперь хвалит».

Когда Хрущева хоронили, Петр Якир поехал на похороны — все же Никита много сделал для политзаключенных.

По дороге милиция под каким-то вздорным предлогом задержала его до конца похорон.

Много москвичей хотело посетить могилу Хрущева на следующий день. Власти объявили на кладбище санитарный день: боялись выступлений, проявлений симпатии. По этой же причине не допустили на похороны и Якира.

Вот вам и «новый класс»!

Сейчас в самом деле наметилась тенденция к отказу от лозунгов социалистической революции, к узакониванию льгот и абсолютной власти бюрократов. Но тенденция эта преимущественно у партийной технократии. И пока только тенденция...

«Технология власти» Авторханова посвящена истории борьбы Сталина за абсолютную власть, его методам расправы со всеми потенциальными противниками.

Очень тонкий анализ, много интересных фактов.

Мне не понравились лишь вкрапления «художественного обобщения», слияние нескольких исторических лиц в обобщенные. Это снижает степень доверия к остальным фактам. Часть, посвященная смерти Сталина и началу правления Хрущева, еще менее научна. Слишком большое место занимают догадки, ссылки на слухи. Книга становится не научной, а пропагандистской.

Но несмотря на эти недостатки, книга Авторханова стала пособием по истории партии для многих.

Один знакомый знал ее почти наизусть. В разговорах по телефону мы условно называли книгу «Кратким курсом» или «Стариком Хоттабычем».

Обе книги обнаружили у ленинградцев. Мы знали, что за них грозит большой срок, и потому давали читать только тем, кому доверяли безусловно.

*

17-26 декабря судили в Ленинграде Юрия Гендлера, Льва Квачевского и Анатолия Студенкова за «изготовление, хранение и распространение литературы антисоветского содержания».

Студенков не только раскаялся, но и дал немало показаний. За это ему дали только один год. Гендлер признал себя виновным и «осознал антисоветский характер своих действий» — он получил 3 года. Квачевский отрицал виновность и отстаивал свое право читать любую литературу. Он получил 4 года. То, что заслужил...

Виктор Красин поехал на суд. Его кастетом по голове ударил агент КГБ. Это событие говорило о переходе КГБ к хулиганским методам борьбы. Все вспоминали, как в 30-х годах НКВД убивало людей под видом бандитизма*.

Удалось достать «По ком звонит колокол» Хемингуэя, отпечатанный на папиросной бумаге. С большим трудом прочитали эту замечательную книгу. Один из работников издательства рассказал мне, что книгу не выпускают из-за протеста Долорес Ибаррури против публикации книги в Советском Союзе (до сих пор, даже после дружеских споров с испанскими коммунистами, не знаю, правда ли это).

В начале 69 г. я узнал, что арестован какой-то сио-

* В 76-77 гг. это снова стало нормой, а не исключением в их «хулиганстве в перчатках».

нист. Я встретился с его женой Ларисой и друзьями. Еще в 1967 г. Борис Кочубиевский на лекции о международном положении заявил, что шестидневная война со стороны Израиля не была агрессией. В мае 68 г. его вынудили уйти с работы. В августе он подал заявление с просьбой выпустить его в Израиль. Отказали. Ларису исключили из комсомола и выгнали из педагогического института за «сионизм» (Лариса — полурусская, полуукраинка; отец — работник КГБ). Заместитель декана Гроза сказала Ларисе:

— У меня подруга замужем за евреем и говорит, что евреи пахнут. Вы его любите, вам сейчас ничего, а туда приедете — там вся страна воняет.

На комсомольском собрании педагог Е. Дулуман (бывший кандидат богословия, ныне поэт, преподаватель и специалист по атеизму) спросил Ларису:

— Зачем вы едете в Израиль?

— Я люблю своего мужа и поеду за ним куда угодно.

— Это не любовь, а половое чувство. Я без труда добился бы от вас этого с помощью гипноза.

29 сентября в Бабьем яру состоялся официальный митинг, до этого люди собирались только добровольно. Власти решили «приручить» Бабий яр (как они делали это с митингами у памятника Шевченко 22 мая), организовать официальные демагогические собрания еврейского «народа».

На митинге в основном говорили об агрессивности Израиля. Услышав от обывателя, вдохновленного официальными речами, что немцы убили *мало* евреев в Бабьем яру (75 тысяч!), Кочубиевский протестовал против официального и обывательского антисемитизма, против преследования евреев, желающих выехать из СССР. (Отец Кочубиевского был убит немцами, другие родственники — за «петлюровщину», за «троцкизм»; дед и бабушка — украинской националистической бандой во время войны.)

Проверив, я передал всю собранную информацию в «Хронику».

Еще в октябре мы познакомилась с Кларой Гильдман, студенткой отдела математической лингвистики Горьковского университета. Клара — киевлянка, но, так как на Украине евреев в те времена почти не принимали (сейчас то же положение по всему Союзу), она поступила в вуз в РСФСР.

Три студента исторического факультета Горьковского университета написали работу «Социализм и государство», в которой, опираясь на идеи ленинского «Государства и революции», критиковали советскую действительность. Было проведено комсомольское собрание. На собрании студентов исключили из комсомола, и т.к. «они *лгали*»: оставаясь комсомольцами, писали антисоветскую книгу», то было предложено ректору исключить их из университета (их исключили, некоторые позже были арестованы и осуждены).

На следующий день Клара зашла в комитет комсомола и заявила:

— Вы вчера говорили, что их должны исключить из университета за лицемерие. Если я положу вам комсомольский билет сейчас, вы меня выбросите из университета?

— Выйди, мы обсудим это! . .

После обсуждения Кларе сказали:

— Нет, тебя не выгонят, т.к. ты честно сказала о своем несогласии с линией партии.

Клара получила телеграмму из Киева о том, что ее мать при смерти. Клара пробыла в Киеве месяц, не отходила от матери, находилась вместе с ней в больнице.

В декабре она получила сообщение от подруги о том, что ее исключили из университета. Клара вернулась в Горький. В обкоме партии, куда она ходила жаловаться, ей показали постановление ректората. Там писалось, что ее исключили за непосещение занятий и за участие в пьяной оргии студентов 7 ноября. Она им объяснила, что была в это время в Киеве (предъявила справку из больницы). Но с этим никто не хотел считаться — все было решено *свыше*.

Она поехала в Москву в Министерство высшего образования. Там ей ответили, что «не вовремя она это затеяла». Ничего не добившись, она вернулась в Киев. Вдогонку получила официальный приказ «исключить за поведение, не достойное советского студента».

Клара, хотела она этого или нет, связалась с самиздатчиками.

КГБ такими расправами с любым протестом либо устрашает людей, либо превращает их в активных оппозиционеров. (Слава Богу, Клара уже покинула СССР и живет в Израиле.)

*

В конце декабря нам рассказали, что в городе Умани живет эсэрка Екатерина Львовна Олицкая, написавшая книгу воспоминаний. Заручившись рекомендацией, я с одним крымским татаринцем поехал в Умань.

Екатерина Львовна жила вместе с женой своего брата Дмитрия (о нём упоминает Солженицын в «Раковом корпусе») Надеждой Витальевной Олицкой-Суровцевой (о ней Солженицын часто вспоминает в «Архипелаге Гулаг»; в 3-м томе помещена ее фотография).

Олицкая уже знала обо мне и о крымском татарине из самиздата, поэтому рекомендации оказались ненужными.

Мы провели у них несколько дней, рассказывали о национальном движении татар, о новостях самиздата, о судах. Они рассказывали о своей жизни.

Екатерина Львовна уже в 1923 г. была арестована ГПУ. Потом *обычный* путь — Соловки, Сибирь, ссылка, лагерь. Всего около 30 лет жизни ушло на знакомство с прелестями карающего меча «неабстрактных гуманистов».

Интересно сравнить «Мои воспоминания» Олицкой с «Крутым маршрутом» Евгении Гинзбург. Она встрети-лась с Гинзбург на этапе и описывает, в частности, тот же спор сталинисток с нормальными зэчками о сбритой

наполовину голове и кульминацию спора — пение сталинистками песни «Широка страна моя родная», вопль радости карасей, которых жарят на сковородке. И Гинзбург, и Олицкая удивляются степени поражения психики сталинисток. Но в книге у Олицкой видна пропасть между личностью, воспитанной в дореволюционном революционно-гуманистическом духе, и фанатиком-революционером, мозги которого вывернуты революционным мифом, не только заслоняющим действительность, но и калечащим личность, уничтожающим уважение к себе и гуманное отношение к другой личности.

У Гинзбург ощущается сквозь изумление перед дикостью товарищей по партии некоторое родство, понимание их.

Олицкая же, глядя на своих идейных врагов, ощущает себя «доисторическим животным», «ихтиозавром» (по словам Зинаиды Тулуб, украинской писательницы, едущей в этом же вагоне), сохранившим свою личность.

Олицкая возмущалась рассказом Гинзбург о том, как эсэрка Д. в тюрьме спрашивала одного из руководителей своей партии, можно ли брать папиросы у коммунистки.

— Я знаю Д. Мы не были фанатиками. Фанатики — они! Пройдя через «Крутой маршрут» тюрем и лагерей, Гинзбург ничему не научилась, ничего не поняла в истории гибели своей партии: она повторяет клевету своих палачей на чужие партии, повторяет миф о том, что эсэры — фанатики, истерики и т. д. У нее осталась партийная нетерпимость.

Впоследствии, читая «оппозиционера»-марксиста Василия Аксенова (сына Е. Гинзбург), его повесть «Любовь к электричеству», я вспомнил слова Екатерины Львовны. Аксенов, не задумываясь над историей поражения большевиков, повторяет трафаретные образы истерических эсэров, авантюристов и демагогов. Ни одной светлой личности среди противников — как будто у эсэров не было Веры Фигнер, Каляева, Прошьяна, Марии Спиридоновой, у большевиков же — «железного» Феликса, истерического Зиновьева, распутного садиста

Берии, предателей типа Радека, большевистского Азефа-Сталина, фальсификатора Крыленко (какой длинный список уроков можно составить только из «вождей» партии большевиков!). Сам Ленин высоко ценил Прошьяна — даже после восстания 6 июля 1918 года.

Конечно, кто же в СССР позволит вывести образ эсэра, преданного делу трудящихся, социализму, эсэра умного, честного?!

И Екатерина Львовна, и Надежда Витальевна, тоже встречавшаяся с Гинзбург, всегда подсмеивались над ней, над остававшимися у нее мифами.

И в шутках, и в рассказах о партийцах, о себе, о лагерных товарищах, о палачах видна была удивительная общность Суровцевой и Онлицкой, служивая фоном для поразительного психологического и идейного различия этих революционеров прошлого. Глядя на них, я все время вспоминал двух «единомышленников» древней Греции: Демокрита и Эпикура. Легенда говорит, что Демокрит выколол себе глаза, т.к. глаза видят лишь явления и скрывают сущность вещей. Эпикур же на утверждение о Солнце — огромном, пылающем — отвечал, что для него интересно солнце такое, каким он его воспринимает, — маленькое, теплое, ласковое, дающее жизнь.

Екатерина Львовна всю жизнь искала истину, она правдолюб, Демокрит. Надежда Витальевна — жизнелюб. Если у Екатерины Львовны лагерь — испытание человека, борьба добра со злом, силы духа и силы кулака, то у Надежды Витальевны вся жизнь — до лагеря, в лагере и после лагеря — счастье жизни, счастье встреч с людьми, счастье искусства, родного языка, смеха. Она — Эпикур.

Надежда Витальевна воспитывалась в интеллигентной украинской патриотической прогрессивной семье. Она аристократ в лучшем смысле этого слова, т.е. благородный, культурный человек. Такой аристократ всегда демократичен в сущности своей. Украинский язык ее — синтез утонченной культуры, мощного пласта

народного языка песен, пословиц, шутки и блатного жаргона советских лагерей, без которого невозможно обойтись в описании лагерной эпохи построения социализма.

В ее воспоминаниях лагерь — это прекрасная природа Сибири и Колымы, которую она любит, несмотря на муки, холод и голод, это тупость надзирателей и начальства. Весь кошмар 28 лет лагерей и тюрем видится ее глазами как трагикомедия, в которой побеждает человек, благодаря его умению подняться над нечеловеческими условиями, — побеждает смехом и жизненнолюбимым духовно здорового человека.

У Надежды Витальевны — все в смехе, в деталях, в «пухе истории», сквозь который видишь ту самую сущность, о которой говорит Екатерина Львовна.

Надежда Витальевна, украинка по духу, языку, происхождению, показала мне, что мы имеем будущее, если умеем смеяться над собой, своей болью, своими кумирами, своими пороками и достоинствами. Значит, мы уже поднялись над комплексом национальной неполноценности, национальным провинциализмом и квасным патриотизмом.

(М. Бахтин в своих гениальных работах о Достоевском, Рабле и Гоголе показал все значение народной карнавальной культуры, которая смехом преодолевает отчуждение человека государством, идеологией, страстями, которая умеет увидеть высокое в низком, пошлость в «благородном», смешное в серьезном.)

Как бояться этого смеха провинциальные, затхлые «патриоты», серьезные бюрократы.

Над чем смеются? Над святынями, над народом (русским, украинским, еврейским, каким угодно), над... страх подумать!.. над вождями и жертвами.

Антипод Надежды Витальевны, Олицкая любит ее смех, но строга к себе, к людям, к идеям. Лагерь для нее прежде всего — глумление над человеком, падение человека до уровня палача и стукача, взлет человека в мужестве, в сострадании, в мудрости, борьба добра и

зла, победа над злом благодаря достоинству, высокой нравственности, любви к ближнему.

Я как-то увидел у нее «Феномен человека» Тейяра де Шардена и поразился: ей интересна эта книга. И это после 30 лет лагерей, куда попала она юной девушкой, не успев получить глубокого образования. Она жадно читала «Новый мир», «Иностранную литературу» (лучшее, что там было), книги по философии, литературоведческие исследования, со знанием дела спрашивала меня о кибернетике, о философии математики. Очень любила Кафку, Достоевского, Булгакова. Советовала прочитать Михайловского, Чернова, удивлялась моему *устаревшему* интересу к Фрейду («Ведь мы еще когда прошли это увлечение. Неужели нет ничего поновей?»). Поражало абсолютное отсутствие партийной или моралистической узости. В 70 лет — ясность ума, логика, интерес к новому, терпимость, широта кругозора, непрекращающийся поиск истины и любовь к прекрасному. И никакого самолюбования своим героизмом, умом, никакой железобетонности в убеждениях.

Необыкновенная чистота в помыслах, в поступках. Одна из знакомая, человек очень честный, принципиальный, рассказала однажды, что директор уманского музея проворовался. Его оставили на работе.

— Но как же вы с ним встречаетесь теперь?

— Как всегда. Здороваемся, улыбаемся.

Она, этот «ихтиозавр», реликт честности, принципиальности старых революционеров, не могла этого понять. А мы, новые «принципиальные», не могли до конца понять ее. Разве можно не поздороваться с подлецом-начальником? Ведь это такая мелочь! Зачем же ставить себя под удар по мелочам? Нужно сохранить себя для принципиальных боев.

Пропасть в принципиальности между нами и ею. А какова же она с официальным обществом лжи, аморализма, разложения, подлости!

Как все же жалки выхолощенные абстрактные образы Демокрита и Эпикура перед живыми Олицкой и Су-

ровцевой. Ведь это всего лишь метафизическая притча о фанатике-правдоискателе и плоском эпикурейце.

Екатерина Львовна и Надежда Витальевна — два полюса одной сущности человека, победившего животный страх (человеческий — у обеих есть) за себя, победившего в себе раба, тупость, пошлость и абсурд окружающего. Я встречал также их подругу, анархистку Зору Борисовну, жену известного русского анархиста Андреева, бывшего агента «Искры». Это уже третий полюс, совершенно отличный от Надежды Витальевны и Екатерины Львовны. И та же судьба, та же сила духа, та же победа. Три психологических типа, три идеологии, три личности победителя, три оптимиста. (Боюсь, однако, игры в пустую диалектику триад. Не три их, а тысячи, осуществивших себя, победивших, и миллиарды будущих — если будет это будущее...)

Я видел их только трех таких, протянувших нам, новым, руку от Герцена, Кропоткина, Шевченко.

Мы все, кто знал их, ощущали эту связь с лучшими людьми прошлого и их ничем не истребимый оптимизм. У Надежды Витальевны это оптимизм народного здоровья, смеха, сметающего всю мерзость жизни прошлого, настоящего и будущего. У Екатерины Львовны — оптимизм веры в человека, в любовь к ближнему, победу добра, истины и красоты. У Зоры Борисовны... — я слишком мало ее знаю.

Они все три — товарищи. Но не «ветераны»-каторжане, которые собираются, чтобы пережевывать свое былое, проклинать запоздало врагов, вздыхать над выродившимися «юнцами», проповедовать старческую марзматиическую мудрость столетней давности. Когда встречаются они, то снова спорят, ищут, вспоминают собственные глупости, ошибки, счастье борьбы, трагедию революции и народа, прекрасных людей и сатанизм пошлости, наслаждаются прекрасным в настоящем, пытаются увидеть будущее.

Зора Борисовна познакомила меня с детьми одного из большевистских вождей и с одной старой большевичкой.

— Как вы можете дружить с большевиками, партией, истребившей себя и ваших друзей?

— Сейчас смешно говорить о тех партиях, врагах. Время другое, течения и проблемы иные. Остались люди из всех партий — сохранившие себя в лагерях и тюрьмах, люди честные. Они, как и мы, сделали много ошибок. Они не были негодьями — и потому мы друзья.

Зора Борисовна была в Севастополе, в подполье при белых в 19-м году. Она была хозяйкой кабинета хиромантии. Белые офицеры любили заходить, гадать — она с удовольствием пугала их смертью, узнавала от болтунов военные тайны. Сведения она передавала Махно и другим анархистским отрядам. Белых победили, потом победили махновцев. После окончания гражданской войны гадала по руке большевикам, меньшевикам, анархистам, эсэрам, всем знакомым. Смерть, смерть, смерть... Она испугалась и бросила гадать — так страшна была печать смерти на всех.

Я не вижу никакого разумного объяснения хиромантии, но считаю, что рассказ Зоры Борисовны передает смысл происшедшего — гибель революции, почти всех честных (и многих нечестных) революционеров. Осталась мертвая партия вампиров, остались мертвецы, властвующие над живыми, омертвляющие своим дыханием все живые идеи погибшей революции.

В том же году в подполье в Одессе скрывалась Сара Лазаревна Якир, жена командарма Ионы Якира. Она выполняла ту же работу, что и Зора Борисовна, — собирала сведения у белых офицеров, посещавших ее парикмахерскую (тут же за стеною прятались большевики).

Сара Лазаревна очень переживала, когда слышала в своем доме (а это было каждый день) насмешки над Октябрем, проклятия старым вождям — от сына, от его друзей.

Однажды я спорил об Октябре с товарищем. Я повторил его слова о глупости большевиков в форме гротеска, чтобы показать поверхностность нападок на

Октябрь. Сара Лазаревна, услышав начало, не выдержала:

— Как, и вы, Леня, считаете Октябрь авантюрой и всех большевиков — негодьями? Как вы можете это говорить?

Мне было тяжело — сколько было отчаяния у этой старой женщины, на глазах которой самоуничтожалась революция, семья, Родина, на глазах которой каждый день плюют на ее святыни те, которых она любит, те, за жизнь которых она боится.

Каждый раз, когда я собирался домой в Киев, она просила меня, старая, больная, полуслепая:

— Леня, не берите с собой самиздат. Они вас заберут, они следят за всеми, кто бывает у нас.

Она очень хорошо ко мне относилась, как и вся их семья, — ее сын Петр, невестка Валя, внучка Ира и муж Иры — Юлий Ким.

Всегда было тяжело у них — нечеловеческая нервная напряженность, страх за жизнь друзей, знакомых. И все же я всегда останавливался у них, наперекор чувству безопасности, здравому смыслу, несогласию с Петей, молчаливому протесту против многого в его поступках. Трагедия их семьи, начиная с трагедии Ионы Якира, — это ведь и моя трагедия, их любовь ко мне — моя к ним, и она были сильнее моего рассудочного, политического и этического неприятия Пети. Я еще вернусь к последнему в дальнейшем, а сейчас закончу воспоминания о Саре Лазаревне.

Она почти никогда не вмешивалась в наши дела, споры. И потому я по сути почти не говорил с ней, хоть и желал расспросить об Ионе, о гражданской войне, о 20—30-х годах.

Однажды я спросил ее:

— А вы восстановлены в партии?

— Нет, и не хочу. Вы думаете, что меня выгнали после ареста мужа? Нет. Наши наступали на Варшаву. Был у нас близкий человек, один из командиров. Он полюбил женщину. Она ответила отказом. Ночью перед

наступлением он застрелился. После боя, на следующий день обсуждали самоубийство. Один из товарищей заявил:

— Из-за какой-то бабы застрелился! Не мог отдать жизнь в бою с врагами! Собаке — собачья смерть.

Постановили не хоронить «слабого человека».

Ночью Сара Лазаревна и жена Дубова, помощника Якира, похоронили его, а на утро признались Якиру.

Состоялось партсобрание. Сару Лазаревну и жену Дубова по предложению Якира выбросили из партии.

— И вы с тех пор не возвращались в партию?

— Нет. Иона никогда об этом не заговаривал, а я не хотела быть в партии. И не жалела о совершенном проступке.

Петя рассказывал, что на похоронах Сары Лазаревны было много «подметок».

— Они боялись, что я устрою на похоронах мамы политическую демонстрацию. Бл . . . , не понимают, что я не спекулирую собою, отцом и своими родственниками.

Почему я, рассказывая о Зоре Борисовне, вспомнил С. Л. Якир?

Я всегда сравнивал мысленно честных старых большевиков с Олицкой, Суровцевой и З. Б. Андреевой. Почти все старые большевики — люди в той или иной степени надломленные. И не потому, что они хуже своих противников.

Екатерину Львовну, Надежду Витальевну и Зору Борисовну мучили враги. Враг вначале морально, а потом и политически проиграл. Они же проиграли только политически, зато моральная победа их беспорна.

Врагу легче противостоять, чем палачу-«единомышленнику» (и если б одному, а то ведь нужно было выстоять против своих «партии» и «народа»). Если даже такие, как Сара Лазаревна и Иона Эммануилович, и выстояли во время следствия, то потом не было на что опираться, кроме самого себя, — ведь идея-то их проиграла, ведь под вопросом вся борьба перед Октябрем, в Октябре, в гражданской войне, в 20—30-х годах!

Сколько душевной силы надо, чтобы не сдаться в этом положении перед палачами, не сломиться душевно. Спасение в фанатизме либо в необычайной силе духа, способной пересмотреть идею и всю свою жизнь, найти силы увидеть свои ошибки, своих товарищей, вождей, ошибки в идее и сохранить оставшееся после беспощадной критики идеи.

Людей последнего типа я не видел — кроме Петра Григорьевича Григоренко. Но ему-то было намного легче, чем тем, кто делал революцию, бился с белыми, проводил коллективизацию и индустриализацию беспощадными методами. Совесть-то у него чиста: он не был даже посредником в преступлениях своей партии (вину-то и он ощущает, но вину — за то, что молчал, за то, что не понимал, за то, что верил палачам, за то, что жил в то время, за то . . . , за всё, даже за просчеты в борьбе с беззаконием, с палачами).

Трудно было и Надежде Витальевне. Ведь она тоже была членом компартии, — правда, австрийской.

Она училась в Петербургском университете. В университете работал в то время крупнейший деятель украинского национального движения, историк, академик Михаил Грушевский. Когда Надежда Витальевна от имени украинских студентов спросила Грушевского сразу же после Февральской революции, что делать украинской молодежи, тот ответил, что надо ехать на Украину, бороться за нее.

После Октября Суровцева ездит по селам, агитирует крестьян за Центральную Раду. Совсем не разбираясь ни в аграрной, ни в какой-либо иной политике, она искренне обещает крестьянам все, чего они хотят (через год ей передали слова крестьян: «Попалась бы нам сейчас та панночка, что обещала землю, — мы б ей в . . . напхали земли»). Затем работает в Министерстве иностранных дел Рады, затем на том же посту — у гетмана Скоропадского (передает информацию врагам Скоропадского и немецких оккупантов). После изгнания немцев и Скоропадского участником украинской делегации, по-

сланной на конгресс в Версаль, попадает в Вену. В Вене — уже эмигранткой — бедствует. Закончила Венский университет, защитила докторскую диссертацию по философии (о Шевченко).

Участвует в международном женском движении, в пацифистском, в борьбе с антисемитизмом, сотрудничает с анархистской группой, пишет публицистические статьи. Во время голода на Украине в 20-е годы — заместитель Грушевского в организации помощи голодающим.

Когда в Вену приехал полководец Красной Армии Юрий Коцюбинский, сын выдающегося украинского писателя Михаила Коцюбинского, она познакомилась с расцветом украинской культуры после победы большевиков. Юрий «не агитировал», а только давал читать современных украинских писателей, показывал картины художников.

Она начинает по данным ей материалам агитировать за советскую власть.

Однажды на Запад попала информация о расстреле заключенных в Соловках (1923 г.) — без суда, без вины, из прихоти начальства лагерей...

Правая пресса подняла шум.

Надежда Витальевна бросилась к Коцюбинскому. Тот сам был взволнован, но через некоторое время получил литературу о Соловках. Там говорилось об основах «перевоспитания преступников трудом», об условиях содержания в лагерях. Приводились письма и статьи заключенных о том, как им хорошо живется.

С пылом неопита Надежда Витальевна обрушилась на лживую буржуазную прессу.

Вступила в австрийскую компартию, дружила с ее основателем Коричонером (она рассказывала нам о нем много забавных историй, о его чудачествах, о человечности). Встречалась она с Кларой Цеткин, Бертраном Расселом, с американскими «миллионерами-социалистами».

Советское правительство ценило ее. Однажды ей пред-

ложили поехать в США и Канаду вести пропаганду среди украинской эмиграции.

Она попросила руководство дать ей возможность увидеть расцвет Украины своими глазами — ведь живые детали расцвета помогут ей более эффективно защищать советскую власть, идеи коммунизма.

На Украине Надежда Витальевна с головой окунулась в кипучую литературную жизнь, занимала пост в Наркомате иностранных дел. Дружила со многими деятелями Украинского Возрождения 20-х годов. Расцвет был налицо (как жили крестьяне, она не очень хорошо знала). Взрыв художественного, музыкального, литературного творчества! Театр О. Курбаса «Березиль», Тычина, Хвылевой, Кулиш!!!

Тогда вернулись многие эмигранты, поверив обещаниям власти. В 24-м году вернулся даже президент бывшей Украинской Народной Республики, академик Грушевский и стал продолжать свою научную деятельность.

Все было прекрасно — даже танцы были снова разрешены (новая знать полюбила балы).

В 1925 г. Надежду Витальевну вызвали в ГПУ. Вызвавший ее молодой человек, которого она знала по балам, предложил следить за «троцкистом» Юрием Коцюбинским. Она возмущенно крикнула ему:

— Как вы смеете предлагать мне такое! Коцюбинский — настоящий коммунист, полководец Красной Армии. А вы кто? Беспартийный мальчишка!

— Ну что ж, как хотите. Мы обязаны проверять все поступающие к нам сигналы. Предупреждаем только: никому не говорите о нашей беседе!

Через год ее арестовали по обвинению в связи то ли с австрийской, то ли немецкой разведкой (она танцевала несколько раз с послом).

Н. В. все отрицала. Следователь показал ей эмигрантскую газету, с некрологом . . . о Суровцевой. В некрологе говорилось, что большевики расстреляли националистку Суровцеву, которая вернулась на Украину, чтоб вести подпольную работу.

В 31-32 гг. от нее хотели добиться показаний о контрреволюционной деятельности Грушевского и других участников «националистического подполья». Она отказалась.

В 34-м году узнала о смерти Грушевского, в 36-м — о расстреле без суда председателя Госплана и заместителя председателя Совета народных комиссаров Украины Юрия Коцюбинского — как руководителя «украинского троцкистского блока», блокировавшегося с украинским военным объединением (?).

С кем только она ни сидела, кого только ни видела в тюрьмах, лагерях, ссылках.

В ссылке вышла замуж за Дмитрия Олицкого, который вскоре бесследно исчез где-то в Сибири или на Колыме.

После разоблачения «культа» вернулась в Умань и живет там. Очень много работает, читает, дает уроки французского, английского языков.

Когда она рассказывала о своей борьбе с «клеветой» о расстреле на Соловках, Екатерина Львовна напомнила о том, что она была на Соловках вскоре после расстрела, видела стрелявших и спасшихся от пуль. Ирония судьбы? Нет, «дьявольский водевиль» по Достоевскому...

Что же спасло Надежду Витальевну от надлома? Я уже писал выше о психоидеологических основаниях ее мужества. Думаю, что этого недостаточно было бы, чтобы сохраниться.

Для украинской культуры характерно отсутствие декаданса, надрыва (один-два поэта-декадента не в счет, тем более что это эпигоны русских и западных декадентов)*.

*) Декадентом называют в советской критике Владимира Винниченко. Но это несерьезное утверждение. Винниченко — тонкий психолог, близкий некоторыми гранями своего таланта Достоевскому. Ленинское утверждение о нем как об архиреакционном последователе архиреакционного Достоевского далеко от истины. Душевные метания, поиски, психологический анализ надломов у революционеров и контрреволюционеров не означает ни архиреакционности, ни «достоевщины». Ленинские вкусы в литературе примитивны, неразвиты, не поднялись до поисков Маяковского, даже до Луначарского. Считать «Что делать?» Чернышевского литературой — при-

Надежда Витальевна и в этом — настоящий украинский интеллигент. Очень трудно удержаться под давлением следователей, лагерной жизни, если твоя психика спутана, в твоей душе надлом, если ты в себе несешь следы того разложения, против которого сам выступаешь.

У Надежды Витальевны ясный, трезвый ум, никаких, видимых во всяком случае, комплексов, никакого замолчанного перед собою зла, принесенного людям, нет. Да, ошибалась, да, хвалила «новую» Украину, боролась за нее, помогая тем самым будущим палачам своим. Но нет у нее надрывного покаяния — есть понимание и общей трагедии Украины и революции, и своей невольной вины. Когда покаяние надрывно, то оно неискренне, с претензией на гордыню, на самолюбование. (Я встречал кающегося провокатора, он продолжал работать на КГБ и... каяться.)

Моральное воздействие Екатерины Львовны и Надежды Витальевны на всех нас было необычайным. Самым радостным событием в «психушке» были открытки от них. И самой страшной (после известий о предательстве Якира, Красина и Дзюбы) была весть о смерти Екатерины Львовны.

В «психушке» я часто вспоминал наши споры в Умани, книги воспоминаний Н. В. и Е. Л. и даже мелочи — как я, например, спал под лагерьным бушлатом Надежды Витальевны.

Уезжая из Умани, я попросил Екатерину Львовну и Надежду Витальевну дать их воспоминания для самиздата. Екатерина Львовна вначале отказывалась, ссылаясь на нехудожественность. Я напомнил, что в самиздате есть уже мемуары большевиков, меньшевиков, но нет эсэровских. Она согласилась — отдала.

К сожалению, по моему делу их обыскивали в 1972

знак отсутствия эстетического вкуса. Увы, примитивность ленинских симпатий в искусстве (в живописи, правда, он поднялся от «передвижников» до импрессионизма) сказалась на борьбе примитивного, лозунгового реализма против настоящего реализма и «модернизма».

году (искали «типографию») и забрали оба тома воспоминаний Надежды Витальевны. Украина и самиздат вообще потеряли высокохудожественное произведение, представляющее собой правдивый исторический документ о революции, гражданской войне на Украине, об эмиграции, об украинском Возрождении и его расстреле. Второй том сознательно написан по-русски, т.к. он — о лагерях и тюрьмах Сибири. И хотя он, по-моему, менее ценен исторически, но по-новому описывает лагеря и террор*.

Приехав из Умани, мы тут же стали распространять книгу Екатерины Львовны. Все мои друзья в Москве и в Киеве были захвачены этой книгой. Из Москвы книга вскоре попала на Запад. Многие хотели ехать в Умань. Я просил этого не делать: Екатерина Львовна и Надежда Витальевна под надзором.

*

В Умани мы познакомились и сблизились с молодыми друзьями Екатерины Львовны и Надежды Витальевны — Ниной Комаровой и Виктором Некипеловым. Виктор казался аполитичным; он — поэт. Но трудно быть в нашей стране просто поэтом, не протестовать, не распространять самиздат, если ты честный человек.

Нина и Виктор работали инженерами-фармацевтами. Их выгнали с работы за разговор о чехословацкой весне, и в августе 68 года им пришлось уехать с Украины в Подмоскowie. Там они оба работали в аптеке, познакомились с московскими оппозиционерами. В 1974 г. Виктора осудили на 2 года по обвинению в «клевете на государственный строй». Клевета свелась к распространению 19-го выпуска «Хроники текущих событий» (по показаниям одного из свидетелей, не доказанным на

* Я прошу всех украинских эмигрантов, знавших Надежду Витальевну Суровцеву, читавших ее произведения 20-х годов, прислать мне материалы о ней. Может быть, ее помнят старые австрийские коммунисты и анархисты, деятели пацифистского и женского движения 20-х годов?

суде), к нескольким стихам (с оскорбительными выражениями в адрес Брежнева и Гусака) и рукописным наброскам «Книги гнева» и статьи о психтюрьмах. В процессе следствия, видя, что материала маловато, КГБ организовал провокации — «антисоветские разговоры» с сокамерниками, фальшивые показания сокамерников.

Я узнал об этом в психтюрьме. Было больно, но уверен был, что Витя выдержит, не сломится.

Сейчас он уже вышел. Живут в небольшом рабочем городке под Владимиром, бедствуют материально: Виктор не может устроиться на работу (не принимают даже чернорабочим), дочку даже в детский сад не приняли — «до седьмого колена» антисоветчики. Не дают эмигрировать. И вот-вот опять заберут...

*

В начале марта прибыл самиздат. Прибытие большой партии самиздата сопровождается всегда волнениями: чтение, распределение — кто что берется печатать.

«Хроника», 6-й выпуск, сообщила о суде над И. Белгородской, протестах ее друзей. Как приложение к «Хронике» шла запись суда, сделанная Петром Григорьевичем Григоренко.

Впервые судили за распространение письма протеста — до сих пор изгоняли из комсомола и партии, увольняли с работы. «Законность» продвинулась еще на шаг вперед. КГБ и Прокуратура разрешали защищать Белгородскую только адвокату, имеющему «допуск» (по закону «допуск» нужен только к делам, содержащим государственную и военную тайну).

Новостью для нас было сообщение о том, что в лагерях наказывают за то, что эски называют себя политзаключенными.

«Хроника» описала погром в г. Горьком. Уволены 4 преподавателя университета, исключены несколько студентов — за самиздат.

В Ташкенте готовился суд над десятью крымскими татарами, среди них — Роллан Кадыев.

В Киеве тоже шел процесс. Судили нескольких рабочих Киевской ГЭС за листовки против русификации. Я был знаком с некоторыми свидетелями по этому делу. ГБ использовало «дон-кихотизм» Назаренко.

Есть среди самиздатчиков «князи Мышкины» — люди редчайшей доброты, правдивости, честности. КГБ использует не только недостатки своих жертв (честолюбие, страх, алкоголизм и т. д.), но и достоинства. Назаренко почти что физически не мог лгать. И КГБ ловило его очень просто: «Вот вы сказали то-то. Как вам не стыдно лгать! На самом деле было так-то». И Назаренко признавался (и все же не мог не лгать — вину за все он брал на себя). Честность Назаренко привела к тому, что допросили больше 20 свидетелей, часть которых ГБ не знало. А т.к. ГБ видело, что Назаренко не сдался, то его показания не смягчили его участи, и ему дали 5 лет лагерей строгого режима.

В журнале «Наука и религия» появилось письмо «раскаявшегося» толстовца. Письмо явно искреннее. Толсто-вец описал, как он впал в религиозность, как осознал гибельность толстовства для развития личности и т. д. Видна была психическая изломанность его в дотолстовский период жизни, она осталась и после. Он запутался в «безднах» Толстого, как и в самом себе.

Я написал ему письмо, в котором, соглашаясь с частью его выводов, попытался показать, что официальный атеизм бесплоден и что в «безднах» есть глубокий смысл, которого нельзя сбрасывать со счетов. Письмо это я запустил в самиздат, т.к. многие проблемы религии мне казались и кажутся очень важными. Если не решать эти проблемы материалистически, то марксизм становится бесплодным в области духа.

С проблемами морали я сталкивался практически каждый день. Например, проблема провокаторов. Среди многих людей распространялись слухи, что Н., Х., У. провокаторы. Иван Светличный — провокатор, потому что его выпустили из тюрьмы до суда. Дзюба провокатор потому, что его не берут. Такой-то предложил

что-то слишком резкое — он агент. Другой похвалил Петлюру или Троцкого в большом кругу людей — он агент.

Что же делать? Провокаторы есть, но невозможно что-либо делать, если всех подозревать. Мы выработали такую тактику: о деле говорить только с тем, кто будет его выполнять. И никогда не говорить никому, кто привез, кто печатает и т. д. Но придерживаться этого на практике трудно.

У меня жил несколько месяцев С. (ему негде было жить). И вдруг я узнаю, что С. — агент. Привели достоверные, неотразимые факты. Что делать? Каждый день приносят или забирают самиздат. С. видит их, разговаривает, с приносящими и уносящими, договаривается о печатании.

Выгнать его? А если это все ложь — сведения о нем? Прямо сказать? Я однажды сказал одному физику: я имел стопроцентные доказательства, что он работает на КГБ. Он обиделся, но разумно ответил: «Что бы я тебе ни сказал, все равно не поверишь». Пришлось попросить его больше не приходиться.

Стал присматриваться к С. Ведет себя действительно странно, не соблюдая никаких правил конспирации. Стал его расспрашивать, якобы ни о чем не догадываясь, о фактах, его уличающих. С., ничего не подозревая, объяснил их. Узнал несколько фактов, которые опровергали то, что о нем говорилось. Инстинктивно убеждался, что его оболгали. Потом оказалось, что источник клеветы на С. — лжец-истеричка. Я прямо сказал С. об обвинениях против него. Он был оскорблен, возмущен, очень переживал. Мне тоже было нелегко.

От кампании остракизма С. спасло наше правило говорить каждому только о том, что касается его, и отсутствие страха перед провокаторами. Но сколько нервов стоили месяцы жизни С. у нас в доме!

Как-то пришел ко мне лейтенант Х., член КПСС, житель маленького соседнего городка. Сослался на то, что слышал обо мне по радио «Свобода». Он одинок, всю

жизнь борется с начальством, всю жизнь его гонят с работы, делают гадости. Сейчас обвиняют в антисоветизме. Он хочет участвовать в движении, хочет распространять самиздат.

— Я напишу книгу о своей жизни (раскулачивание, служба в монгольских войсках, воровство и ложь начальства и т. д.), а вы распространите ее.

Я объяснил, что могу только запустить книгу в самиздат, а будет ли она «ходить по рукам широко», ни от кого персонально не зависит. В самиздате нет цензуры, и перепечатывают лишь то, что интересно людям. Это и есть наша «цензура» — степень интереса к книге.

— Хорошо, передайте на Запад.

— Но я не знаю, кто передает на Запад. Если книга интересная будет, то, может быть, попадет на Запад. Да и зачем вам Запад? Вы ведь пишете для наших?

— Да, но я не имею денег. Попросите фонд имени Герцена (я слышал о нем по радио), чтобы мне заплатили.

Вот тут-то я заподозрил в лейтенанте провокатора. Осторожно ответил:

— Как вы, член партии, можете брать деньги от неизвестной организации? Может быть, это шпионская организация. Да и платят ли они, я не знаю. И связей у меня с Западом нет, и не хочу их иметь.

Уезжая, он попросил самиздат, чтобы распространять его в своем городке. Я дал несколько безобидных статей. Посоветовал ему в книге не делать никаких резких антисоветских выпадов:

— Зачем вам это? Вы не политик, не философ, не социолог. Пишите только факты. Люди у нас грамотные, сами сделают вывод. А за резкие слова вам дадут большой срок.

Через несколько месяцев он привез книгу. Были очень интересные факты, мне ранее не известные. Но встал вопрос о достоверности. Если это намеренная ложь, то потом это будет использовано на суде.

И масса нападков на строй — злобные, часто бессмысленные.

Я прочел, а вечером он позвонил:

— Ну как, вы уже передали мою книгу в Москву, в самиздат?

Я предложил приехать поговорить. Но, опасаясь, что он придет с кагебистами, оставил на полях свои заметки: «Плохо. Сомнительно. Несерьезно. Так ли?» и т. д. Я хотел писать: «Антисоветчина, антикоммунизм», но вдруг это честный человек? Тогда мои замечания послужат против него.

Когда мы встретились, я отдал ему рукопись и сказал:

— Вы ведете себя, как провокатор. Говорите по телефону о самиздате, спрашиваете о типографии (он предложил организовать типографию для распространения самиздата), об оплате, пишете ненужно злобные вещи. Может быть, вы и не агент, а просто неумелый человек. В обоих случаях это опасно для моих товарищей.

Он плакал, доказывал свою честность. Было жалко, стыдно за свои слова... Но что я мог сделать? Я еще раз подчеркнул ему, что сказал ему все это только из-за его предложений и действий. Да и ему-то незачем садиться в тюрьму из-за своей неосторожности. Он уехал заплаканный.

Неморально подозревать, неморально не быть осторожным. Нужно выработать такую тактику, чтобы не участвовать в оскорблении людей кличкой провокатора и чтобы не попадать в сети КГБ. Тактика должна быть моральной, мораль — разумной, тактичной, гибкой. Но трудно это. Бывают ситуации неразрешимые, когда приходится рубить узел, клубок противоречий, — и тогда больно всем.

Проблемы морали возникали и в связи с национальным вопросом.

Я написал однажды статью о крымско-татарской проблеме. Показал ее молодому крымскому татарину. Тот прочел и... обиделся. Я, чтобы не повторять оборота «крымско-татарский народ», заменял его словами

«крымцы», «крымчаки» и «татары». Оказалось, что крымчаками называют евреев, живущих в Крыму с древности. А слово «татары» тоже неприятно для крымцев: они не хотят, чтобы их смешивали с казанскими татарами (крымцы ближе к узбекам, чем к татарам казанским). Та же проблема с украинцами. В условиях советского «интернационализма» многим украинцам неприятно, что их путают с русскими (это делают и на Западе, называя всех советских русскими). Если бы не было атмосферы государственного шовинизма, то такая путаница не вызывала бы болезненной реакции. И русские демократы должны бы помнить об этом.

Но клички и названия — это поверхность проблемы. В глубине скрывается историческая рознь, социальные недоразумения, нетерпимость к непохожему и особые условия существования наций в СССР. И в этих условиях, когда встречаешь, например, негодяя-еврея или крымского татарина, то очень трудно дать ему отпор: за его спиной страдания народа, за моей — формальная принадлежность к угнетателям (когда встречаешься с русским негодяем, то тебе вроде бы гораздо легче: ты из угнетенной нации). И если ты публично скажешь еврею-негодяю, что он негодяй, то некоторые твои соплеменники услышат в твоих словах: «Ах ты, жидовская морда!»

Антисемитизм — не только порождение истории, не только слепой национальный и социальный протест, не только «козел отпущения», но и особая установка к чужому.

У меня был знакомый интеллигент-еврей. Как-то он изложил мне свою точку зрения на рабочих. Они грязные, они корыстны, они воры и т. д. Я попытался опровергнуть его. И тогда посыпались «факты». Как часто в таких случаях бывает, он не врал, он рассказывал то, что видел, но я почему-то многих из его фактов не встречал. Он видел сквозь особый фильтр, с определенной точки зрения.

Я сказал, что он — типичный антисемит. Он обиделся:

ведь он сам еврей. Пришлось объяснять, что его видение, его факты, его логика и отношение к людям чуждым — антисемитские. Только «козел отпущения», Сатана у него — рабочие.

Познакомился я с одним молодым поэтом. Есть талант, эрудиция. Монархист. Странно было увидеть живого монархиста у нас, в СССР, да еще молодого.

С ним много спорили, и он стал... демократом. Он познакомился с крымскими татарами, очень сочувствовал им. Через полгода уехал работать в Узбекистан. Когда он вернулся в Киев, то я услышал от него, что узбеки — «зверьки», грязные, некультурные, что «мы, русские, принесли им культуру, а они не благодарны нам». Потом он сказал, что я слишком наивен по отношению к татарам. Он-де видел нескольких интеллигентных татар, русифицированных, и стал поэту сочувствовать им. А крымские татары на самом деле угнетают узбеков («Зверьков», — поправил я. — Странно, что ты позабыл о неблагодарности «зверьков» и стал заботиться о них»). Татары — спекулянты, торгаши. Они захватывают все лучшие места. Они своекорыстны.

Я и его назвал антисемитом. Обиделся. Как-то неприятно интеллигентному человеку услышать — антисемит.

— Но ты сам не заметил, как приписал татарам все антисемитские характеристики евреев. Почему же не пускают татар в Крым? Там-то они никого не будут угнетать — если они и в самом деле угнетают кого-либо сейчас.

Наш друг Александр Фельдман перевел с польского статью Сартра о еврейском вопросе. Эта статья очень заинтересовала меня своим необычным подходом к проблеме. Но мне казалось, что Сартр недостаточно рассмотрел социальные корни антисемитизма. Вторым недостатком, по-моему, было то, что Сартр, развенчивая антисемитский миф о еврее, создает миф об антисемите как Сатане. Я видел много антисемитов. Это были обычные люди, с обычными достоинствами и недостатками,

я не видел среди них дьяволов. Некоторые способны сделать любую гадость по отношению к евреям, не имея патологической ненависти к ним. Если они и есть «дьяволы», то не они имеют решающий голос в политике преследования евреев в СССР.

Сартр отметил интересную закономерность подсознательного антисемитизма. Некто, даже демократ, рассказывая о каком-либо негодяе, добавляет к характеристике: еврей.

И это действительно постоянно встречающийся факт:

— Иванов украл три килограмма мяса. Он — еврей.

— Иванов — честный человек. У него мать еврейка.

И в отрицательной, и в положительной характеристике еврейство всегда подчеркивается. В первом случае как обобщение, во втором как исключение из правила.

Подобный демократ обиделся бы за такую трактовку его «оговорки», но почему-то ведь никогда не вспоминается, что Иванов — украинец, русский и т. д. Национальность русского в официальной пропаганде упоминается лишь когда хвалят. Украинца — если он «бандеровец» или если он высказался за дружбу с русским народом.

Редко-редко можно услышать от националиста-руссофоба:

— Он же русский (о негодяе).

Или:

— Порядочный человек, хоть и русский.

Я себя самого несколько раз ловил на том, что к похвале человеку добавлял: «еврей». В сознании-то — это желание подчеркнуть в атмосфере антисемитизма, что евреи — хорошие люди. Но в этом — и преодоление легенды о евреях. А раз есть преодоление, то есть и наличие в подсознании легенды. И некоторых моих еврейских друзей обижало, когда я хвалил их как евреев, а не как самих по себе, как личностей. И в самом деле: в такого рода «комплиментах» незримо слышится еврейское удивление его порядочности, доброте, бескорыстию, смелости и т. д. Это, быть может, болезненное «слышание»,

но увы, положение евреев болезненно, и оно неизбежно вызывает болезненную реакцию на «расово-чистых» друзей. В меньшей степени, но есть это и у крымских татар, и у украинцев. Есть и у религиозных людей по отношению к господствующей религии — «советскому атеизму».

Когда появились на улицах больших городов негры, то у населения это вызвало несколько форм реакции: любопытство («смотри, живой негр»), сочувствие («бедные, их американцы унижают») и злобу («смотри, черножопый пошел»). Все три реакции были неприятны неграм. Один студент-негр сказал как-то моему другу: «В Америке легче, чем у вас. Там не глазают на тебя как на редкое животное». Но любопытство быстро прошло, сочувствие тоже. Злоба же возросла:

— Они, гады, с нашими шлюхами ходят. (Шлюхами называли всех белых девушек, которых видели с неграми на улице).

Рассказывали всякие гнусные истории о сексуальности черных, об их хамстве, презрении к русским.

К арабам были те же претензии (антисемитизм стал антиарабизмом), но добавлялось: «Мы их кормим, мы воюем за них. А они и воевать-то не умеют. Наше оружие только портят».

На корейцев и вьетнамцев смотрели лучше, но все же переносили на них ненависть к китайцам.

К белым с Запада — чувства раздвоенные. С одной стороны — зависть:

—Зажрались, сволочи! Нажрались!

С другой стороны:

— Мы им покажем. Перед немцами бежали, а теперь на нас лезут.

Нельзя, конечно, это обобщать на все население. Речь главным образом идет о городском мещанстве, со всем его хамством, мелкобуржуазной психологией, ущербностью. И о партийно-административном аппарате, мало чем отличающемся от предыдущей категории шовинистов. У них только больше лицемерия и цинизма.

Партиец редко когда скажет «жид» или «бандеровец». Он обзовет еврея «сионистом», «спекулянтом» или «торгашом», а украинца — «буржуазным националистом» или опять-таки... «сионистом».

С «сионистами» я впервые столкнулся на процессе Кочубиевского 13 мая 1969 года.

Возле здания суда собралась небольшая группа еврейской молодежи. К началу суда подошел «украинский националист» И. Р.

Задолго до суда я столкнулся с недоверием евреев к украинцам. Когда я предложил найти для Кочубиевского московского адвоката, то друзья Кочубиевского сказали, что найдут адвоката сами. Как я потом узнал, они проверяли, кто я, зачем мне, украинцу, «нужно» это дело. На проверку ушло много времени. Я по совету одного писателя предложил киевского адвоката П. Тот вначале согласился, но потом отказался, предложив другого. Не было времени проверять, что тот собой представляет, к тому же мы доверяли П.

На суде над Кочубиевским этот «адвокат» по сути встал на позиции обвинения. Как мы потом узнали, за П. был один грешок, и КГБ заставило П. предложить нам *их* адвоката.

У дверей суда стояли солдаты, на улице и в зале суда было много «шпикив». Ими командовал мой старый знакомый с университетских и кибернетических времен Юрий Павлович Никифоров, оперативник из КГБ. Солдаты подчинялись ему. Они говорили нам, что зал полон. Когда никого не оказалось поблизости, один из них шепнул нам:

— Приказали вас не пускать. А за что его судят?

— За политику.

— А! Говорил о Чехословакии?

— Нет, хотел в Израиль уехать.

— И много ему дадут?

— Нет. По этой статье три года.

— Бедняга. Зачем ему это нужно было?

Подошла старушка. Объяснила, что ее послали ста-

рые большевики, знавшие родственника Бориса, комиссара, расстрелянного в качестве «троцкиста». Мы сказали, что никого не пускают. Старушка постояла, постояла, послушала наши злые реплики и ушла.

Гвоздем суда было обсуждение проблемы «заведомой ложности» высказываний Кочубиевского об антисемитизме. На слова Кочубиевского о том, что если он и ошибался в своих утверждениях, то не было состава преступления в его словах, не было клеветы, т.к. он был убежден в их правоте, прокурор ответил:

— Вы получили высшее образование, сдали кандидатский минимум по философии, знаете Конституцию СССР и поэтому не могли не знать, что всего, о чем вы говорите, в нашей стране не может быть.

Этот аргумент юриста вызвал взрыв остроумия собравшихся у здания суда:

— Ах ты, жидовская морда! По Конституции у нас нет антисемитизма, пархатый.

Брат Бориса вышел из комнаты суда и рассказал, что один из «штатских» шептал ему во время суда: «А ты жид, а ты жид!» (Расчет был, видимо, на то, что брат Бориса что-нибудь выкрикнет истерически-антисоветское. И действительно, им это чуть не удалось.) Я попросил показать мне «штатского интернационалиста». Им оказался Ю. П. Никифоров.

Гвоздем «антисемитизма» суда было выступление заместителя декана института Грозы. Гроза отрицала свидетельство Ларисы Кочубиевской об оскорблении чувств Бориса утверждением, что все евреи дурно пахнут. Она якобы лишь спрашивала Ларису об этом. Суд нашел, что вопрос был вполне законным и не отреагировал на заявления Ларисы и Бориса.

Информацию о суде я передал в «Хронику».

*

С опозданием мы узнали о двух случаях самосожжения в Киеве.

5 декабря (день Конституции) 1968 г. гуляющие по главной улице Киева Крещатику увидели бегущего человека, охваченного огнем. Он кричал: «Да здравствует свободная Украина!» и еще что-то. Я пытался что-то разузнать о нем, но тщетно. Врачам Октябрьской больницы, где он умер от ожогов, было запрещено кому-либо рассказывать о нем. Один из врачей все же рассказал, что он спрашивал умирающего: «Зачем вы это сделали? Ведь никто так и не узнает о вас!»

— Зато мой сын знает и будет гордиться своим отцом! Я — не молчал! . .

В «Хронике» появилась коротенькая заметка об этом. Из нее мы узнали, что самосожженец — узник сталинских лагерей Василий Емельянович Макуха.

Одна старая женщина пересказала мне виденное ею:

— Какой-то дурак поджег себя, бежал по улице и какую-то чушь кричал!

10 февраля 1969 г. около здания Киевского университета попытался сжечь себя Николай Бериславский, также отсидевший при Сталине срок. Его спасли только затем, чтобы дать 2,5 года по статье об антисоветской пропаганде. На суд не допустили даже родственников.

И Макуха, и Бериславский в свое время сражались в рядах Украинской повстанческой армии против немецких и советских оккупантов.

Через некоторое время после самосожжения в украинском самиздате появилась статья о них. Я хотел достать ее для «Хроники», но не сумел.

13 апреля в Латвии, протестуя против оккупации Чехословакии, поджег себя молодой талантливый математик Илья Рипс. Его и председателя колхоза Яхимовича судили по обвинению в антисоветской пропаганде и объявили сумасшедшими.

В апреле я съездил в Москву.

Петр Григорьевич Григоренко рассказал мне о новых формах провокации КГБ по отношению к нему.

В армии, на заводах рассказывали о нем, что он еврей, что, вступая в партию, он солгал, что по национальности он украинец. Это обвинение смешно, конечно, юридически и даже по партийному уставу, но не смешно, когда видишь спекуляцию на измененных инстинктах «масс».

КГБ стал распространять анонимное письмо, якобы написанное крымскими татарами. В этом письме утверждалось, что Григоренко — антисоветчик и сумасшедший.

Как-то Петр Григорьевич показал мне на окна соседнего дома. В них виднелась какая-то аппаратура (они вовсе не скрывали слезку за ним, чтобы запугать приходивших к нему). Однажды к Григоренко зашел западный журналист. В ответ на вопрос о преследованиях Петр Григорьевич показал на свисающий над окном с дерева какой-то предмет.

— Подслушивают! Нагло вовсе — со всех сторон, во всех комнатах!

На следующий день этот микрофон убрали.

17 апреля неизвестное лицо предложило по телефону встретиться. Григоренко не задумываясь ответил:

— Приходите.

В наших условиях не стоит спрашивать: «Зачем?» Бывают случаи, когда такой вопрос провоцирует рискованный ответ: телефон-то подслушивают.

Неизвестный отказался придти к Григоренко и предложил встретиться у комиссионного магазина.

— Я приду с газетой в руке, — сказал «конспиратор».

Зинаида Михайловна, жена Петра Григорьевича, прокомментировала:

— Как всегда, видны ослиные уши КГБ.

И в самом деле, почти всегда сталкиваешься с этими

ушами. То, что плохо работают заводы, институты, колхозы, ЦК и Политбюро, — это еще понять можно. Но душа и суть советского общества, единственно информированная, хорошо обеспеченная и могущая самой себе позволить не лгать, даже она не умеет работать как следует.

Как часто мы смеялись — предложить что ли, чтобы нас взяли консультантами по обучению КГБ «чистой» работе? А то стыдно как-то за опекуна нашего.

Кто-то из друзей предупредил о том, что встреча с «неизвестным» — давно подготовленная крупная провокация.

19-го к магазину подошла большая группа друзей Григоренко. Там уже стояли «ослиные уши» — много старых знакомых по процессам, по обыскам, по слежке. Стояли машины КГБ, в одной из них сидел генерал КГБ, а другая почему-то . . . дипломатическая.

Наши стояли, делая вид, что не узнают друг друга. Они тоже создавали вид случайной толпы.

Наконец появился «товарищ» с газетой. К нему подбежал кагебист, что-то шепнул. Тот поспешно удалился.

За ним разошлись обе группы. Наши, как всегда, смеясь.

Петр Григорьевич обратился с письмом протеста к Андропову, где изложил все факты преследования, шантажа и провокаций. Но ответа не получил.

Петр Григорьевич считал, что нужно искать новые формы борьбы. Самиздат приучил часть молодежи и интеллигенции к мысли о том, что существует право человека на свободу печати. Демонстрации на площади Пушкина (протест против введения антиконституционных статей Уголовного кодекса о «клеветнических измышлениях о государственном строе», о групповом нарушении общественного порядка и работы транспорта, протест против ареста Галанскова, Гинзбурга, Лашковой и Радзиевского), на Красной площади (в августе 68 г.) поставили перед всеми вопрос о конституционном праве на демонстрации. Григоренко считал, что нужно поста-

вить перед общественностью вопросы о свободе митингов, организаций и союзов. Для этого он подал в Московский городской исполком заявление о том, что группа лиц хочет провести митинг о свободах в СССР. По закону горисполком обязан предоставить соответствующее помещение для митинга. Мосгорисполком ответил, что в связи с каким-то комсомольским мероприятием все помещения заняты и отодвинул решение на некоторое время (а потом затянул до ареста Петра Григорьевича).

Однажды к Петру Григорьевичу пришел товарищ из США. Он отрекомендовался как соратник активного борца против войны во Вьетнаме доктора Спока. Он предложил объединить усилия демократических организаций США и СССР.

Американец наивно спросил:

— А у вас есть организация?

Правда, тут же понимающе улыбнулся.

Когда генерал объяснил, что у нас свобода организаций существует только на бумаге, американец спросил: «А почему вы не пробуете требовать официального разрешения демократической организации?»

Этот разговор совпал с планами Григоренко, и он стал предлагать всем знакомым создать организацию, отстаивающую права человека и разъясняющую народу его права. К сожалению, большинство москвичей не поддержало Григоренко, считая это утопией. Я вначале отозвался о плане генерала так же, но потом понял, что развитие правосознания важнее практического результата (в советских условиях действительно утопического) — разрешения правительством такой общественной организации. Я пытался поддержать план генерала, но желающих участвовать в этой затее оказалось мало.

В один из приездов в Москву я познакомился с матерью Александра Гинзбурга — Людмилой Ильиничной. Разговоры с ней мне очень много дали для внутренней психологической подготовки к тюрьме и психушке. Меня поразила ее жизнерадостность и смех. Я видел,

как она страдает за сына, но все же даже самые страшные эпизоды из своей жизни и жизни сына она рассказывала юмористически. Когда я прямо сказал ей об этом, она объяснила:

— А разве можно все это выдержать, если не смеяться?

Людмила Ильична много рассказывала об Алике. Она не переоценивала его. Она просто его любила, но не животной любовью матери, а как прекрасного человека, у которого убеждения есть действия, человека, которого родила и воспитала она. Она не уговаривала его отступить, т.к. уважала его и себя и уважала идеалы — его и свои (даже если они и не совпадали).

У Александра была невеста — Ариша, Ирина Жолковская, которая добивалась регистрации брака (они подали заявление в загс незадолго до ареста Гинзбурга). Пока год и три месяца Гинзбург находился в следственном изоляторе КГБ — в Лефортовской тюрьме, — им сбсिम отвечали, что регистрация в изоляторе запрещена (в законе и инструкциях этого нет!). Ему пообещали, что их брак зарегистрируют в лагере.

В лагере же висела инструкция, запрещающая брак (значит — никаких свиданий).

Началась упорная борьба за регистрацию брака.

Ирину я видел только один раз, она готовила посылку Александру.

Она рассказала, как ее выгоняли из Московского университета (она работала преподавателем русского языка для иностранцев).

На собрании, где обсуждалась ее связь с «НТСовцем» Гинзбургом, одна из преподавательниц заявила:

— Как вы можете его любить? Ведь он хочет, чтоб в нашей стране наступил фашизм!

И с пафосом и дрожью в голосе закончила:

— Представьте, что бы было, если б он пришел к власти? По вечерам он возвращался бы весь в крови коммунистов — в нашей крови, ваших коллег. И вы бы его обнимали!

Знающие Алика представляли эту немыслимую картину: мягкий, человечный Алик, обгаренный кровью железобетонных идиотов, лишающих сейчас, а не в далеком будущем, из «гуманных» соображений, Ирину работы.

Только я вернулся домой, как узнал, что арестован Петр Григорьевич Григоренко.

КГБ арестовал его, завершив весь ряд провокаций последней.

2 мая ему позвонили из Ташкента, якобы по поручению Мустафы Джемилева, и попросили приехать на суд над Джемилевым. В Ташкенте Григоренко узнал, что его обманули (дата суда даже не была еще известна). 7 мая он был арестован узбекским КГБ.

Начались обыски и допросы по делу Григоренко. Из вопросов следователей стало ясно, что готовят ему психушку.

Было составлено и распространено письмо «К гражданам!» в защиту Григоренко. Мы подписали его.

*

В мае на Киевской ГЭС состоялся митинг рабочих по поводу плохих жилищных условий. Митинг проходил под лозунгом «Вся власть Советам!». Руководил митингом и всеми протестами рабочих бывший воспитатель рабочего общежития ГЭС (выгнанный с работы за помощь рабочим в их борьбе за прописку), майор в отставке Грищук.

Когда кагебисты попытались использовать обычный прием — раскол рабочих и интеллигенции, — сказав рабочим, что Грищук с жиру бесится, т.к. является офицером-отставником, то Грищук показал квитанцию, из которой следовало, что он свою пенсию отдает на детский дом, а на жизнь зарабатывает.

ГБ потерпело поражение и на официальном собрании на следующий день. Парторг ГЭС пытался призвать к рабочему самосознанию. Но он неосторожно

сослался на то, что «все мы» должны думать о благе рабочего государства и не слушать «нерабочий элемент». На сцену выскочили разъяренные женщины и стали высчитывать, скольким любовницам парторг устроил жилье. А рабочие с детьми ютились в бараках и вагончиках и каждый год выслушивали обещания партии. Женщины буквально заплевали «совесть и разум» класса.

Я пытался встретиться с бунтовщиками. Мне обещали, но каждый день откладывали.

По Киеву продолжались расправы над подписантами и друзьями рабочих ГЭС Назаренко, Кондрюкова и Карпенко, распространявших листовки и самиздат.

Из университета выгнали студентов Машкова, Шереметьеву, Надийку Кирьян.

В связи с тем, что намечалось Международное совещание коммунистических и рабочих партий, я решил поехать в Москву, собрать тамошний самиздат, привезти туда украинский и предложить свой вариант обращения к Совещанию.

Я считал, что именно западным коммунистам нужно написать не с позиций чисто правовых, а резко разоблачая антикоммунистическую, антинародную суть советской власти. Если бы Григоренко не забрали, он бы сам его написал.

Мои тезисы не встретили никакой поддержки.

Я возлагал надежды на Леонида Петровского, но он предпочитал смягченный, чисто правовой тон и сведение всего к угрозе возрождающегося сталинизма.

После многих споров пришлось подписать «мягкий», неполитический вариант. Подписало 10 человек. Многие не хотели пачкаться — зачем, дескать, к этим прохвостам-коммунистам обращаться?

И в самом деле на наше письмо ответа мы не получили, что подтвердило правильность позиции антикоммунистов. (А потом западные коммунисты удивляются «правизне» советской оппозиции!)

Леонид Петровский рассказал анекдот со шпиком

(Леонид — внук Григория Ивановича Петровского, руководителя фракции большевиков в Государственной думе, позже Всеукраинского старосты, т.е. председателя ЦИК Украины). Леонид несколько дней видел за собой «шпика», который, не скрываясь, следовал за ним. Когда Петровский встал в очередь за билетами в кино, то «шпик», которому стало скучно стоять, предложил: «Давайте куплю билет без очереди!» (имея удостоверение, сотрудники КГБ всемогущи во всем, настолько магически действует название их организации).

Петровский послал в КГБ письмо следующего содержания.

Однажды его дед Г. П. Петровский, руководитель фракции большевиков в Государственной думе, послал письмо начальнику Департамента полиции. Он требовал прекращения слежки за ним и сообщил, что «шпики» настолько обнаглели, что стали заговаривать с ним. Начальник полиции ответил лаконично: «Слежка законами государства Российского не воспрещена».

Леонид закончил рассказ словами: «Неужели с тех времен ничего не изменилось?»

Он сделал явный комплимент Андропову. Изменилось, и в худшую сторону. Л. Петровскому просто не ответили.

У москвичей удалось достать анонимную «Трансформацию большевизма» — типичный для оппозиционных марксистов анализ трагедии революции, т.е. критика советского строя с позиции теоретических и программных работ партии большевиков. Однако было и новое — попытка проанализировать причины деградации революции.

Я попросил познакомить меня с автором.

Только через полгода удалось с ним встретиться. Но разговор оказался не очень плодотворным: я упрекал его в излишней ортодоксальности, он меня — в отсутствии политэкономической научной базы, необходимой для марксистского крыла демократического движения. Я пытался оправдаться тем, что для серьезной социо-

логии и политэкономии нужна статистика, нужны широкие социологические исследования. А где их достанешь и проведешь?

Автор был неплохим полемистом и знатоком теории. Но самоизоляция и изоляция среди москвичей вредила ему. Пренебрежение многих москвичей к марксистской терминологии и цитатам приводило к тому, что статьи марксистского толка не получали широкого распространения в самиздате. Это причина того, что ни «Трансформация большевизма», ни книга Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация?», ни моя первая работа (И. Лоза «Письма к другу»), ни многие другие марксистские статьи не пошли широко по Москве, а значит, и по РСФСР, т.к. Москва связывает оторванные друг от друга группы. Я, например, тщетно искал программную работу поволжских марксистов «Закат капитала». И это понятно — ко всей этой фразеологии выработалась идиосинкразия. И не антимарксисты в этом повинны.

Я говорил автору «Трансформации» об этом, но он не мог и не хотел отказаться от цитат, от надоевших терминов:

— Но ведь они выражают суть.

— Да, но и искажают ее, т.к. СССР — новый тип эксплуататорского общества и нужно искать новые, более адекватные термины. К тому же обновление стиля благотворно отразится на мысли.

В драме таких марксистов повинны специфически советские условия: нежелание антимарксистов слушать марксистскую оппозицию и некоторый догматизм, инертность мышления марксистов. И то, и другое — психологическое последствие официальной пропаганды.

Однажды моя хорошая знакомая, думающая и эрудированная, сказала, что имеет у себя тамиздатскую книгу Троцкого «Моя жизнь».

Я попросил отдать книгу мне:

— Ведь ты же все равно не будешь читать.

— Естественно.

Оказалось, что она куда-то выбросила эту «марксистскую чушь».

Это психологически понятное явление приводит однако к неприятным идеологическим последствиям: понятия «классы», «трудящиеся», «реакционный», «милитаризм» и т. д. символизируют ложь в СССР, но ведь что-то и отражают. Выбрасывая слова, нередко игнорируют явления, понятия, обозначаемые этими словами. Идеология без этих понятий неизбежно становится неадекватной совокупности проблем, эклектичной и нелогичной, непоследовательной.

*

В Киеве меня ожидал сюрприз. 22 мая, как всегда, у памятника Шевченко собралась молодежь. Студенты обсуждали вопрос об антиукраинских репрессиях, пели песни. Наиболее активные «клеветники» были сфотографированы, а их разговоры записаны на магнитофон. В ректорат были вызваны все комсомольские руководители курсов. Им дали прослушать записи, с тем чтобы они узнали «своих» комсомольцев. Большинство комсоров «не узнали». Некоторые же делали это настолько рьяно, что пострадали даже не ходившие к памятнику — их голоса были «узнаны». Индикаторы «голосов» узнавали своих личных врагов. Система доноительства всегда порождает это явление — клевету из личных мотивов.

18—19-го позвонил П. Якир:

— Ты подпишешь письмо в Комиссию прав человека при ООН? Письмо о нарушениях свобод, об антизаконности процессов, о психиатрических тюрьмах.

— Да, конечно. Но с каких позиций оценивается происходящее?

— С юридической, правовой. Нарушения законности. Мы создаем Инициативную группу защиты прав человека в СССР.

Он перечислил более десятка фамилий и предложил

войти в Инициативную группу. Я согласился. Это предложение совпадало с идеей Григоренко.

В июне Таня поехала в командировку в Харьков. Я дал ей адрес Генриха Алтуняна, который вошел в Инициативную группу.

Из Харькова Таня позвонила взволнованная:

— Ты должен поехать в Харьков. Замечательные ребята здесь. Они близки тебе и духовно, и политически.

12 июня по учреждениям, в которых работали подписанты, провели собрания. На них под названием «Письма в ООН» обсуждалось письмо «К гражданам» (о П. Г. Григоренко). Естественно, само письмо на собраниях не зачитывалось.

Партийные руководители били на основной предрас судок «советского патриотизма» — «не выносить сор из избы». Как могли рассказывать о внутренних делах за границе?

На одном из собраний выступавший товарищ сказал, что подписанты обратились в фашистскую организацию.

— Как? ООН — фашистская организация? — удивился осуждаемый.

Ему не дали закончить мысль (ведь и СССР входит в эту «фашистскую» организацию).

Поскольку в письме о Григоренко говорилось о преследовании крымских татар, то на собраниях кричали о «злодеяниях» татар, о том, что их всех надо уничтожить. Попытки объяснить ситуацию татар ни к чему не приводили — говорить не давали. Не слушали даже того, что Верховный Совет официально объявил, что «в жизнь вошло новое поколение татар» (и что поэтому нет смысла взваливать на молодежь вину старших, вину, которой вообще не было, — предатели были у всех народов).

В Харькове я действительно встретил замечательных людей. Мы провели несколько дней в постоянных спорах. Особенно длительными были дискуссии с Аркадием Левиным. Оказалось, что общая характеристика строя у нас совпадала: государственный капитализм экономи-

чески, идеократия — власть идеи (т.е. аналог теократии, которая подразумевает практическую власть особого социального слоя — жречество, бюрократию). Термин «идеократия» мы ввели независимо друг от друга и независимо от Н. Бердяева («Истоки и смысл русского коммунизма»). То же произошло с термином «государственный капитализм». Только здесь харьковчане исходили из анализа Ленина, я же — из молодого Маркса и Ленина.

Философские рукописи Маркса 1844 г. более глубоко вскрывают смысл такого государства, хотя Маркс и употребляет неудачный термин — «грубый коммунизм».

Харьковчане заинтересовались этой работой Маркса.

Я, в основном, излагал свои взгляды на этические проблемы (смысл жизни, соотношение цели и средства и т. д.).

Разница подхода к критике строя была того же типа, как и с автором «Трансформации большевизма», но меньшая: харьковчане интересовались более широким кругом проблем, да и не спешили с выводами. Это нас сблизило.

На моих глазах разворачивалась охота за ведьмами-подписантами в Харькове.

Приходили с работы один за другим подписанты. Их теми или иными методами выгоняли с работы. Алтунян еще в 68-м году был изгнан из партии и уволен из Военной академии после обысков, при которых изъяли «Раковый корпус» Солженицына, Сахаровские «Размышления...», «Хроники» и др.

Над всеми висело дело по статье 187¹ УК УССР (о «клевете» на строй). Их вызывали как свидетелей по делу без обвиняемых. По закону свидетель обязан давать показания правдивые, а обвиняемый может вовсе не отвечать или лгать, не неся за это наказания.

Харьковчане, не будучи как следует ознакомленными с материалами других процессов, вначале давали показания, хоть и требовали сформулировать, кто обвиняется и в чем. Ведь балансируя на различии свидетель —

обвиняемый КГБ заставляет давать показания на себя и друзей. Не зная, в чем хотят обвинить того или иного из свидетелей, можно дать неверные показания, желая выручить другого. Коллизий такого рода много, и КГБ по сути демагогически обходит закон (который, как часто бывает, звучит недостаточно конкретно и четко).

По закону следствие по ст. 187¹ должна вести Прокуратура, а не ГБ. Так что и здесь закон был нарушен.

Когда ГБ провело фактически следствие, оно передало дело в Прокуратуру, Василию Емельяновичу Гриценко (или, как его называли харьковчане, «Васе»). Вася всем говорил «ты» и был «свой парень — душа нараспашку».

Так как я изучил к тому времени довольно много процессов, то я видел некоторые ошибки, допущенные харьковчанами. Они и сами их увидели, но поздно. Защищая один другого, подробно рассказывая мотивацию тех или иных поступков, обосновывая свои взгляды, они обнаруживали перед КГБ свои незащищенные точки, давали возможность выдернуть ту или иную неудачную формулировку, извратить ее.

Основная, принципиальная ошибка была допущена в начале следствия: харьковчане исходили из предположения, что можно что-то доказать, опровергнуть, разбить обвинение в «клевете» или «антисоветчине», что перед ними люди, мало-мальски считающиеся с законами, с логикой, с идеологией, с фактами.

Уже поняв эту ошибку по отношению к КГБ, некоторые пытались в чем-то убедить Васю — «ограниченного, тупого добряка».

Я привез харьковчанам «Интернационализм или русификация?» И. Дзюбы.

Харьков настолько русифицирован, что украинская речь звучит только на рынке, куда приезжают колхозники. У харьковского обывателя украинская речь вызывает реакцию — спекулянт (бандеровец, фашист).

То, что крестьянину приходится торговать, т.к. на колхозные трудодни не проживешь, — обывателя не

интересует. Он видит перед собой человека с другим языком, другой одеждой, «неграмотного хама», смеющегося торговаться о стоимости продуктов.

После всех поездок в Харьков, после процессов над моими друзьями этот город стал для меня символом мерзости: некрасивый, «соцреалистический» архитектурно, шовинистский, с какими-то серыми, безликими людьми. Видимо, это неверно — так относиться к этому городу, но я видел лишь горстку прекрасных людей и полицию, полицейский участок и здание суда (напротив — райком).

Вернулся домой с двойственным чувством: приобрел друзей, которых вот-вот арестуют.

В Киев я привез запись харьковских событий. Таня, смеясь, рассказала мне, что запись сделала она сама... (Опять моральная проблема!)

Приехало несколько друзей, крымских татар, среди них Зампира Асанова. Зампира участвовала 6 июня (на второй день Международного совещания коммунистических и рабочих партий) в демонстрации на площади Маяковского.

Демонстрация шла под лозунгами:

«Да здравствует ленинская национальная политика!» (в 1918 г. был издан декрет Ленина об образовании Крымской автономной республики); «Коммунисты, верните Крым крымским татарам!», «Свободу генералу Григоренко!» и др.

Шпики под видом «простых советских людей» избивали демонстрантов, выкрикивали шовинистские фразы.

Единственной пользой для татар от Совещания господ коммунистов было то, что их не арестовали, а выслали домой, в Узбекистан.

Татары рассказали об узбекских событиях. В мае прокатилась волна убийств «белых». Началось все с футбольного матча, где судья подсуживал русской команде. Узбеки протестовали, бросались драться. После ареста нескольких человек начались волнения. В одну

из ночей в нескольких городах одновременно резали и избивали «белых».

Я попросил объяснить причины ненависти к «белым». Татары объяснили на примерах.

Однажды один из них видел такую сценку в трамвае. Русская кондукторша, увидав паранджу на узбечке, попыталась заставить ее снять это «наследие мрачного прошлого». Узбечка запротестовала, а ее муж, возмущенный наглостью «цивилизаторши», ударил кондукторшу по лицу. Милиционеры-узбеки объяснили женщине в парандже, что это указание обкома партии — не разрешать носить паранджу в городе Ташкенте. Формально они были на стороне пострадавшей, но ограничились внушением «хулиганам».

Постепенное исчезновение узбекской речи в столице Узбекистана также не способствует любви к «старшим братьям».

Когда после землетрясения в погоне за длинным рублем ринулось в Ташкент множество строителей, то среди них преобладали далеко не лучшие представители белой расы. Газеты захлебывались от еще одного проявления братской дружбы, а узбеки были недовольны тем, что в отстроенном, благоустроенном Ташкенте поселилось множество пришлых братьев, что привело к увеличению пьянства, проституции, к усилению количественной национальной диспропорции.

И еще один фактор — пример крымских татар и сочувствие к ним также усилили узбекское чувство «дружбы» к белым.

Так как крымские татары разъезжали по всему Союзу, то мы всё лучше знакомились с национальными движениями в разных республиках.

В Грозном чечены взорвали памятник знаменитому «покорителю Кавказа, прогрессивному генералу, почти что декабристу» Ермолову. У всех «нацменов», в том числе у нас, у украинцев, это вызвало радость — такая борьба с теорией о прогрессивных колонизаторах, палачах и жандармах.

Крымские татары взяли для своего самиздата книгу Дзюбы, а нам передали свои бюллетени, в которых крымско-татарский народ информировался о ходе борьбы за возвращение в Крым.

*

Вся украинская интеллигенция в это время обсуждала роман «Собор» Олесея Гончара. Я долго отказывался читать этот роман, т.к. считал Гончара обычным соцреалистом, никчемным писателем. Но так как споры разгорались, то пришлось прочесть.

Роман с художественной точки зрения никудышний, язык примитивный, стиль — сочетание типично реалистического с типично «радянським» примитивным пафосом, сентиментальностью. Но советский язык не спас Гончара. После первых похвал в прессе начались атаки со стороны партруководителей литературы.

Особенной остроты кампания против Гончара достигла в Днепропетровской области. Отрицательным героем романа выведен «выдвиженец», партдеятель из «трудящихся», и секретарь обкома Ващенко узнал в нем себя (и, как говорят знатоки, портрет, нарисованный Гончаром, в самом деле похож). А так как Ващенко — какой-то там родственник Брежнева, то, чувствуя опору в верхах, он начал травлю романа. Досталось не столько Гончару, сколько тем, кто осмеливался хвалить роман вопреки «генеральной линии» обкома.

Повыбрасывали с работы и исключили из партии журналистов различных газет, учителей, писателей.

17 июня 1969 г. арестовали поэта Ивана Сокульского. У него нашли «Репортаж из заповедника имени Берия» Валентина Мороза, выступление Дзюбы на вечере памяти поэта В. Симоненко и «Письмо творческой молодежи Днепропетровска», где был описан погром, учиненный уязвленным прототипом героя Гончара, а также украинофобство и моральное разложение элиты.

Вот этого последнего простить Сокульскому они ни-

как не могли, и в январе 1970 г. он получил 4 с половиной лет лагеря строгого режима за «антисоветскую пропаганду». (Когда я пишу эти строки, он уже освободился, но перед выходом прошел экспертизу, которая признала его сумасшедшим. Угроза откровенная: не замолчишь после лагеря — пойдешь уже не в лагерь, а в Днепропетровскую психтюрьму.)

За что же такие гонения на «Собор»?

Гончар показал краешек правды об уничтожении памятников украинской старины, о пренебрежении к языку и культуре: убогий, трусливый полупротест, с постоянной оглядкой на власть, с восхвалением власти — лишь бы разрешили сказать эту чуточку правды о разрушении украинской культуры. Убожество художественное соответствовало убожеству политическому. Но даже такая трусливая, а все-таки «укаинофильская» книга вызвала нападки властей и положительные отклики патриотов. Московские самиздатчики перевели «Собор» на русский язык.

Евген Сверстюк написал статью «Собор в лесах», где из намеков, отдельных образов, полумыслей Гончара воздвиг настоящий Собор — глубокую философскую работу, которая была, с одной стороны, развитием «Цитадели» Сент-Экзюпери, с другой — анализом духовного обнищания народа в наше время.

Прочтя статью, я сказал Сверстюку, что у меня ощущение, будто он, проходя мимо кучи дерьма, подбросил туда жемчуг из собственного кармана, а потом извлек его, обчистил и подарил Гончару. Сверстюк только улыбался, слушая мои замечания и просьбы убрать из статьи цитаты Гончара, которые лишь портили «Собор в лесах».

Только критик, поэт и переводчик Иван Светличный соглашался с моей оценкой «Собора» Гончара. Остальные, защищая ту кроху правды, что есть в «Соборе», и Гончара от нападок официоза, сквозь пальцы смотрели на серость.

Мне было неприятно видеть, что на фоне прекрасной

поэзии и прозы молодых украинских патриотов вдруг вознесли какого-то там Секретаря Союза писателей Украины Гончара.

Высокого уровня произведения появились не только в художественной литературе.

Большими событиями, выбившими из меня последние остатки бездумного интернационализма и давшими новое понимание украинского вопроса, были фильм Ильенко «Ночь накануне Ивана Купала» и монография историка Михаила Брайчевского «Воссоединение или присоединение?».

Ильенко был одним из соавторов Параджанова в фильме «Тени забытых предков». И вот появилась ильенковская «Ночь...». Хвалили ее единицы, сравнивали с «Земляничной поляной», самым близким мне фильмом. Только поэтому я пошел на «Ночь...». Фильм оказался, действительно, в чем-то близким к Бергману.

Ильенко создавал его по мотивам нескольких произведений Гоголя. Фильм очень сложный: слишком много символов, почти каждый кадр — символ, глубоко связанный с украинской историей, с трагедией Украины.

Вот за казаками скачет татарская орда под звуки... царского марша. Этот анахронизм передает суть трагедии Украины, зажатой между хищниками-басурманами: татарами и турками — и «братским» православным царем. И эти несчастные гетманы, о которых Петр I имел наглость сказать, что они все предатели. А ведь некоторые из них метались от одного союзника к другому и «предавали» их, поскольку помощь союзников всегда оборачивалась грабежом Украины.

Вот в лодке плывет кукла — Екатерина II, ее фаворит князь Потемкин (заигрывавший с Запорожской сечью, когда она была нужна ему, и ради этого даже ставший казаком Грицьком Нечесою, а потом разрушивший Сечь из страха перед казацкой вольницей), а с ним гоголевский Басаврюк, представитель нечистой силы, сатаны.

Кукла смотрит на берег.

Почему-то на экране появляется веревка. Она разделяется на две части (мы с женой смеемся: цензура выбросила кусок из фильма, но оставила зачем-то обрывок веревки, и от этого «абсурд» фильма и действительности приобрел еще большую глубину — для тех, кто знал, что выбросили. По фильму за лодкой России плывет плот Украины с казаком и его любимой, и казак разрубает веревку).

А вот «матушка-царица» едет по дороге. По бокам — фанерные дома и сады. Это знаменитые «потемкинские деревни» — символ истории Российского государства от Екатерины, которую так уважали европейские вольнодумцы Дидро и Вольтер, до Леонида Ильича Брежнева.

Героиня фильма — молодая мать кормит грудью... топор, русский царизм. Течет кровь.

И встают перед глазами полки казаков, согнанные Петром Великим строить Петербург, новый центр хищного государства, и тысячами легшие костями от голода и непосильного труда.

1933-й год, когда Москва выкачала и сгноила хлеб, а хлеборобы миллионами умирали от голода.

Когда мы с Таней вышли из зала, оба находились почти что в истерическом состоянии.

Ни думать, ни говорить не хотелось.

Я только бросил главное для себя:

— Нужно рвать с этой лодкой!

Михаил Брайчевский воздействовал не на эмоции. Это была первая, по-настоящему марксистская самиздатская книга, анализирующая роль Богдана Хмельницкого и его договора с русским царем. Ни грана национализма. Только факты и классовый анализ проблемы. Брайчевский отбрасывает вульгарно-социологические довоенные писания о Богдане-предателе Украины и послевоенные, русофильские — как о герое. Брайчевский блестяще доказал слова Шевченко, что союз с Москвой поставил украинцев в еще более страшное положение, чем было при шляхетской Польше. Украина из страны поголовной грамотности, развитой культуры, страны, стоявшей

на пороге установления буржуазного строя, фермерски-мануфактурного, попала в кабалу крепостничества.

Но самое важное у Брайчевского — анализ классовой позиции Богдана Хмельницкого, который пошел за помощью к царю только потому, что побоялся опереться на казачество и крестьянство. Тезис советской историографии о том, что Хмельницкий выбрал единственный возможный вариант (т.е. выбрал наименьшее зло — Россию), опровергнут Брайчевским полностью.

К Богдану не применима моральная оценка «предатель». Он любил свою Родину, но смотрел на нее глазами казацкой верхушки, мечтавшей стать новым хозяином оказаченного, свободного крестьянства. Он и не задумывался над вариантом опоры только на силы своего народа. Гораздо более близким союзником был русский царь. Но любовь Хмельницкого к Украине была столь велика, что когда он увидел первые плоды союза с царем, то стал вести тайные переговоры со шведами.

Смерть помешала ему осуществить этот неглупый вариант: Швеция далеко, и Украина была бы в самом деле автономной (а в дальнейшем, окрепнув, имела бы возможность стать независимой).

Мазепа при Петре I пытался осуществить эту идею, но опять неверие в силы и разум народа привели его к поражению и к окончательному закреплению Украины Россией.

Своей работой Брайчевский доказал, что марксистская методология не исчерпала себя, а способна глубоко проникать в историю, если применяется объективно, с учетом совокупности исторических фактов.

В украинском самиздате появилась серия откликов на статью А. Полторацкого «Кого опекают некоторые гуманисты» (об арестованных ранее Чорновиле и Караванском). Василий Стус в своем письме напоминает Полторацкому о его доносительской деятельности в антиукраинских погромах 30-х годов, когда Полторацкий называл известного юмориста Остапа Вишню «фашис-

том и контрреволюционером», «кулацким идеологом» и т. д.

Вообще в 1969 г. украинский самиздат окреп, стал более острым и политическим.

Мы не успевали отпечатывать на машинке, переводить на русский.

К тому же, А. Фельдман переводил с чешского и польского. Он перевел очень интересную статью о процессе Сланского, главы из «Признания» Артура Лондона, книгу И. Дойчера «Неоконченная революция».

В конце июня руководитель демонстрации рабочих на ГЭС майор Грищук был арестован в Москве. Его послали в ЦК КПСС рабочие с жалобой на свои жилищные условия. В «Вечернем Киеве» появилась статья «Двойник Хлестакова». Не называя местности (ГЭС), не говоря ни слова о демонстрации, на Грищука обрушили поток брани и лжи. Оказалось, мол, что Грищук собирал деньги у легковверных людей, обещал квартиры. Он поехал в Москву и там пропивал их. Ссылаясь на его брата, опять же намеками, ставили под сомнение его участие в войне и поведение в фашистском лагере.

Я пытался найти его семью, его друзей, узнать о суде — Грищук провалился, как в воду канул. Так до сих пор о нем, о его судьбе ничего не известно. Воры мне говорили, что встречали его на «этапе» — в Днепропетровскую психушку. Но там его не было. Может, умер, может, убили, может, где-то в психушке, в лагере, тюрьме . . .

*

Арестовали в июле Генриха Алтуняна.

Перед арестом Алтунян ездил в ЦК КПСС, требовал восстановить его в партии. После беседы, где ему недвусмысленно сказали, что он будет посажен, если не замолчит, он передал в самиздат запись беседы. Алтунян запустил в самиздат также свое письмо генералу Бережному, который в Харьковском университете расска-

зывал о националистической подпольной террористической организации Алтуняна (при обыске у отца Алтуняна нашли именное оружие, не годное для употребления, а у Пономарева попросили в Музей революции оружие отца, тоже именное). Алтунян спрашивал, о каком национализме идет речь? Сам он армянин — значит, армянский. Среди его друзей — украинцы, русские, евреи. По месту жительства — украинский, но т.к. шли намеки на еврейство, значит — сионистский?

Перед поездкой в Харьков мы с Таней съездили в Западную Украину, в Карпаты.

По пути в Западную Украину видишь, как меняются колхозники и их хаты. В Восточной часто видишь еще шевченковские хаты, под соломой. Крестьяне хмурые, лица у них стертые, однотипные, без мысли. Но с каждым селом на Запад уменьшается число хат под соломой, они становятся чище, на стенах появляется орнамент, двери, окна и крыши — с резьбой. (Немного напомнили мне Западную Украину некоторые хаты крестьян в Баварии.) Лица более разнообразные, в них — мысль. В самих Карпатах меня поразили гуцулы, древнее племя с очень своеобразным языком и обычаями. Походка стройная, лица — гордые.

Мы останавливались у одного из них на ночь. Денег не взял. Ночью разговорились. Он вначале боялся русского языка моей жены, нашей городской одежды. Что можно ждать от людей в городской одежде и с русским языком? Пропаганды, доносов. Но, увидев, что мы знаем многое из украинской истории, культуры, немного открылся.

Он хвалил австрийские времена (был скот, хлеб, в лесах — много дичи). Хуже отзывался о польских временах: развращение молодежи приезжавшей знатно, облавы на дичь, истребившие немалую часть фауны. Жандармы и их произвол. О советских временах по-малкивал, сказав только, что пограничники совсем уничтожили карпатских диких животных, что нет сена, скота.

Я спросил, подытоживая изложенные им факты:

— Значит, при поляках стало хуже, а при русских — еще хуже?

Он хитро улыбнулся:

— Я в 16-м году был в плену у русских как австрийский солдат. Тогда у русских был хлеб, но не было комбайнов. Но теперь у них есть комбайны...

Договаривать фразу не стал.

Узнав, что мы из Киева, он стал расспрашивать о Параджанове.

Оказывается, все местные гордятся тем, что «Тени забытых предков» снимались в их селе, в Жебьем (новое название — Верховина).

Старик хвалил фильм, но сделал замечание о том, что в одном месте Параджанов не учел украинских обрядов:

— Он свои, кавказские, показал. И потом, разве можно стрелять в церкви? Это самый большой грех.

В заключение спросил:

— А тот Скаба (секретарь ЦК КПУ по идеологии), чего он напал на Параджанова? За то, что сделал украинский фильм?

Я рассказал о помощи Параджанова Дзюбе. Старик, кажется, что-то знал, но предпочел помалкивать и перешел на вопрос о Китае, об Израиле.

В восточнороссийских селах изредка можно услышать споры о внешней политике, но всегда это повторение либо газетных формулировок, либо совершенно диких слухов.

У гуцула же была своя мысль. Видно было, что он внимательно читает газеты и обдумывает. О Китае говорил сдержанно, без злобы и без восторга.

Разговор о хлебе и комбайне напомнил мне разговор знакомых москвичей с другим карпатским украинцем. Старик крепко выпил и, полуслепой, старательно выговаривал, закладывая пальцы:

— При чехах сидел, при немцах сидел, при русских сидел...

Вот это «сидел» объединяло для него всех братьев-

славян с небратьями-немцами и выражало то, что непонятно многим в Восточной Украине: русские — такие же оккупанты, как и немцы. Крестьяне в Восточной, кроме глубоких стариков, смотрят на пришельцев классовыми, а не национальными глазами.

У всех, кого встречал, я осторожно расспрашивал об отношении к Украинской Повстанческой Армии («бандеровцам», как их называет официальная пропаганда). Но кто же прямо скажет, если сражался на их стороне? Те же, кто был нейтральным, чаще говорили об УПА зло: непрерывная партизанская война с немцами и русскими вымотала в своё время силы населения. Партизаны под конец борьбы с русскими ожесточились до предела, часто грабили (как и все партизаны мира) мирное население, убивали по любому подозрению, убивали даже друг друга. Интересен был рассказ одного восточного украинца. Сюда он приехал для коллективизации. Жена «западнячка». Он зло отзывался о многих действиях УПА, но не испытывал симпатий и к освободителям от немцев. Прямо не говорил, но подбрасывал мне факты зверства НКВДистов.

Поездив по городам Закарпатской Украины, мы вернулись в Карпаты. Зачем-то полезли на гору Говерлу. Там нас очень хорошо встретили пастухи. Угостили мамалыгой, сыром. Увидев, что я собираю для сына редкие растения, старик-пастух посоветовал найти пятипалый, который возвращает жизненную силу. Рассказал по ассоциации о какой-то секте сатанинского типа, употребляющей корень и при луне занимающейся ритуальными оргиями. Борется с ними православный священник, бывший учитель математики. Пастухи с удовольствием отмечали высокий моральный авторитет учителя, с которым *даже власти считаются*.

Как часто это можно услышать по селам Украины — посрамление безбожников из райкома, из сельсовета. Легенда, приобретающая форму определенной притчи (конец — либо переход к вере секретаря райкома или учителя, либо болезнь его и излечение священником), а где

и правдивый рассказ с меньшим числом стандартных деталей, но в сути своей совпадающий с легендой. Особенно интересны были легенды о двух трансформациях: секретаря райкома — в священника, а богослова — в специалиста по атеизму. В первом случае подчеркивается жертвенность, аскетизм и нравственный авторитет, во втором — греховность будущего Иуды, еще в бытность его священником.

К сатанизму (о котором я слышал в разных местах) отношение крестьян насмешливое, т.к. весь он сводится к свальному греху. Нет даже морального осуждения — ведь никто от него не страдает, лишь нарушаются заповеди (свальный грех в целом не характерен для украинских сект).

Во Львове мы заехали к знакомым. Муж, талантливый еврейский актер, осуждал мой украинский «национализм». Его постоянно преследуют как еврея, преимущественно украинские бюрократы. Он рассказал о том, что кто-то отбивает носы скульптурам Горького, Пушкина.

— Вот вам национализм! . . .

Я рассказал, что на киевском кладбище для высокопоставленных систематически отбивают нос памятнику жены одного из украинских чиновников.

— Это стихийный протест против надоевшей пропаганды власти.

Ведь недаром часть западноукраинской молодежи отрицательно относится к Ивану Франко за его «московильские» высказывания. Ведь они не знают истории своего народа во всех аспектах. Они видят перед собой только русификаторскую демагогию.

Во Львове, кроме украинцев, русских, евреев и поляков, есть еще одна «нация» — кагебисты. Их около 10%. Пушкин, Горький для львовской молодежи — поэты этой народности (хотя в кагебистской «нации» немало украинцев по крови).

Меня поддержала жена актера. Она напомнила об антисемитизме этой самой народности, антисемитизме

более хладнокровном, о поощрении антисемитизма со стороны власти, власти русификаторской.

Актер рассказал, как при одобрительном молчании советских властей часть львовского населения резала поляков, как только во Львов вошли советские войска.

Я напомнил о том, как в Польше после войны депортировали лемков, одну из ветвей украинской нации, — с молчаливого согласия, если не по инициативе Советов. На Украине униатов заставляли переходить в православие, а в ЧССР по приказу Москвы униатов обращали в римско-католическую веру — лишь бы не было национальной Украинской Церкви.

Когда я осенью опять приехал во Львов, национальная тема снова оказалась в центре споров, на этот раз с украинским патриотом. И опять та же проблема — страшное переплетение исторических обид и споров, субъективизм видения событий. Со всех сторон — факты, факты действительности. И когда в основе взглядов лежат эмоции, то выхода из этого клубка не видно . . .

В Карпатах много плакатов, призывающих ехать в Крым: там не хватает рабочих рук, а в Карпатах безработица. Западные украинцы неохотно едут в Крым: смутно знают о беззаконии по отношению к крымским татарам — беззаконии, так памятном в Западной Украине, ведь их самих целыми семьями депортировали в Сибирь. Да и климат не тот — засушливые степи (а приглашают ведь не на побережье и не в горы). Жалко расставаться со своими горами! И недоумение: ведь к ним в Карпаты едут из Восточной Украины и России геологи, дорожники. Сколько полезных ископаемых найдено, а сколько найдут!.. Западным украинцам непонятно, почему отставники-офицеры из России приезжают жить в города Украины, почему им дают льготы, а украинских хлопцев после армии приглашают на работу в Сибирь, в Казахстан?

В самиздате появилось анонимное письмо «профессора из Уфы к другу Василию», какому-то партийному

чиновнику. Оно стало распространяться под названием «Письмо великодержавного шовиниста».

Профессор рассказывает о многих фактах своих столкновений с национализмом в Башкирии, Грузии, Прибалтике, Молдавии, на Украине, в Средней Азии. И, видимо, в целом не лжет в фактах...

Кончает он словами о «стоголовой гидре» национализма, которая может уничтожить все достижения Октябрьской революции.

Если бы в письме были все факты роста национализма, то я был бы на стороне автора (если не считать слов об Октябрьской революции: великорусский шовинизм проявил себя уже при Ленине, а потом расцвел махровым цветом). Но в самиздате как раз появилось выступление писателя Г. Свирского.

По фактам это было почти то же. Чуть-чуть только (на первый взгляд) иное видение их и еще один факт, переворачивающий проблему с головы на ноги.

У профессора нет фактов великорусского национализма, т.е. русского антисемитизма, антиукраинства, антитатарства и т. д. В этом «белом пятне» видения «интернационалиста» и лежит корень проблемы. Я написал ответ под названием «Россинанту» (образ из песни Галича, где россинантами он называет евреев, выслуживающихся перед правительством, которое игнорирует их усердие).

Я столкнул в статье рассказ Свирского и профессора из Уфы и, опираясь на мысль Ленина, что национализм угнетенной нации порождается великорусским национализмом, показал, что основным источником всех видов шовинизма является великорусский, представителем которого и является уфимский профессор.

Как бы заранее отвечая на это, профессор в своем письме писал: «Но обвинить меня в великорусском национализме нельзя: я украинец, сам нацменьшинство, да и жена у меня — татарка из Башкирии». Я напомнил «украинцу» слова Ленина о том, что по части великорусского шовинизма особенно пересаливают именно нац-

мены (у Ленина — Орджоникидзе, Сталин, Дзержинский).

Интересно, что в своем письме он дважды называет себя русским. А когда понадобилось алиби, вспомнил о своем украинском происхождении. (Недавно этот же финт повторил в «Континенте» Сергей Рафальский. Старая российская традиция.)

Интересна также терминология «интернационалиста». Слово «украинцы» он поставил один раз в кавычки. Он описывает такой случай. В парткоме секретарь разговаривает при нем по-татарски.

«Может, мне следует выйти», — спрашиваю. «Нет, нет, изучайте наш язык» . . . Если это не национализм, то хамство», — заключает автор.

Профессор настолько ясно показывает, что разговоры о республиках, союзе или федерации — фикция, что мне осталось лишь процитировать эти его слова. Хамство говорить по-татарски при русском! . .

Господина «интернационалиста» возмущает, что есть принцип в Башкирии «принимать в вузы больше татар и башкир, а не русских». Странно . . . Если, по словам профессора, в Башкирии русских 50%, то как республике обороняться от русификации, если не давать льгот туземцам? Да и по Ленину так делать следует, чтобы компенсировать практическое неравенство в пользу русских: у них более развитая культура, тысячи своих вузов, издательств и т. д. А если послушать профессора, то из такта, из-за хорошего воспитания нужно в присутствии русских говорить по-русски. А т.к. русские везде, то все должны говорить на работе, на заседаниях, совещаниях по-русски.

И как-то очень ярко в контексте письма уфимского товарища воспринимаются слова русских обывателей: «Я понимаю только по-человечески!» В них — корень советского «интернационализма».

Господин «украинец» прекрасно слышит националистические обороты: «В газете «Советская Башкирия» выступили башкирские писатели и писатели, что живут

в Башкирии, — русские!» Но когда «нацмены» каждый день встречаются в газетах и книгах: «русские и национальные», «советские и русские» и т. д., то «интернационалисты» не слышат этого. Когда русского бьют за то, что он русский, то это плохо (хоть и объяснимо). Но почему не видят такие русские, что бьют евреев, крымских татар, украинцев, грузин, прибалтов? Видят только «отщепенцы» — Костерины, Сахаровы, Буковские!

Как это часто бывает, русские «неофиты», т.е. бывшие украинцы, евреи, грузины, более точно выражают смысл «интернационалистских» лозунгов. «Недавно, в мае, на заседании парткома, опять три руководителя завели разговор *по-своему*. Член парткома, преподаватель гражданской обороны, полковник в отставке, говорит им: “А когда же у вас будет уже один язык и одна нация — советская?”» В этом требовании — смысл всех лозунгов Брежневых о едином советском народе, а развитии национальных культур: «говорите по-человечески». Правда, почему-то когда крымский татарин или еврей говорит «по-человечески», то ему напоминают, что он не русский: один — предал Родину в 1941-44 гг., другой — предаёт сейчас.

Все письмо русофила переполнено доносами на татаро-башкирскую верхушку и требованиями прибрать их к рукам, как и всех, говорящих «по-своему», а не по-советски.

Подписал я эту статью (как и другие свои статьи по национальному вопросу) псевдонимом Малоросс (так называло до революции украинцев царское правительство, так косвенно называют себя партийные украинцы, когда говорят о русских «старший брат»).

Письмо профессора помогло мне чуть лучше понять логику русского национализма и болезненную реакцию нацменов на «дружбу народов».

В конце мая жена поехала во Львов, а я в Москву. Она приехала столь же радостная, как после Харькова. Встречалась с несколькими украинскими патриотами — Славком Чорновилом, написавших о процессах 65-66 гг.

книгу «Горе от ума», Михайлом Осадчим, бывшим инструктором Львовского обкома партии, отсидевшим в лагере за антисоветизм, украинский буржуазный национализм (т.е. за любовь к Родине, за протест против льгот «слугам народа») и написавшим прекрасную книгу о лагере «Бельмо», и другими. Она сказала, что Осадчий и Чорновил близки мне по взглядам и тактике борьбы.

У западноукраинских патриотов есть одно существенное преимущество перед восточным — тесная связь с крестьянством и рабочими, с религиозным движением, борьбой украинских католиков за право на свою церковь. Это преимущество дает им большую моральную силу и приводит к большей политической активности. То, что меня злило у киевских патриотов: излишний филологизм, аполитизм, — в Западной Украине гораздо менее заметно.

Аполитизм восточных украинцев приводил к тому, что о репрессиях в Киеве мы узнавали нередко от львовян или даже москвичей.

Если в Москве происходил арест или обыск, мы узнавали об этом в этот же день или через несколько дней. О киевских событиях нередко мы либо вовсе не знали, либо-кое-что через месяц, два, год. Например, об аресте 20 июля 1969 г. экономиста Бедрила, судимого за украинский самиздат, я узнал лишь осенью от москвичей, а затем от львовян.

(Как показал погром 1972 г., КГБ выполняет в этом отношении и позитивную работу — превращает «культурнический», аполитичный патриотизм в политический. Вопрос лишь в том, не удастся ли им озлобить патриотов настолько, что они станут шовинистами. Судя по самиздату, с 1972 г. эта тенденция наметилась, но в целом украинские патриоты (восточные) политизировались, оставаясь демократами.

Дальнейшее развитие украинской политической мысли зависит также от искренности и ясности национальной программы русской оппозиции. Если они будут дипломатничать или проповедовать *государственное*

единение или, тем паче, богоизбранность русской нации, то все другие национальные движения станут более русофобскими, что чревато братоубийственной резней в будущем и новым ГУЛАГ'ом, на сей раз антисоциалистическим. Русские, опять выиграв в идее русской государственности, останутся рабами в качестве *живых людей.*)

В Москву я привез украинский самиздат, информацию для «Хроники».

Галя Габай, жена арестованного поэта Ильи Габая, автора многих коллективных писем, приехала из Ташкента (там велось следствие по делу Ильи) и рассказала о суде над 10-ю крымскими татарами. Татары еще раз показали нам, демократам, силу движения, поддержанного *все*м народом.

До сих пор на процессах оппозиционеры в той или иной степени смягчали свою позицию — одни из тактических соображений, другие из-за аполитичности, третьи из-за тезиса о бессмысленности дискуссии с псевдосудьями.

Все три позиции обоснованны. Но когда знаешь, что за тобой — весь народ, то твоя судьба, твои взгляды, тактика на суде отступают на задний план.

По сути, впервые политические вели себя на процессе, как политические на дореволюционных процессах. Они разоблачали суд на каждом слове и не скрывали своего враждебного отношения к палачам.

Татары начали бой уже с формальной части судебного допроса: фамилия, имя, отчество, национальность, партийность и прочие анкетные данные подсудимых.

Они потребовали освещения процесса в прессе, присутствия на процессе наблюдателей от ЦК КПСС и Советского правительства (ведь судили-то фактически не десять личностей, а *народ*) и т. д.

В зал вначале впустили только кагебистов. Тогда татары заявили, что не будут участвовать в процессе. Людей впустили. Когда несколько человек стали записывать допрос подсудимых, кагебисты забрали записи.

Милиционеры-узбеки, стоявшие охраной у здания суда, тихо выражали сочувствие татарам и свою ненависть к русским.

Мой старый знакомый Роллан Кадыев, типичный интеллигент (за что над ним дружески подсмеивались его друзья-рабочие, вспоминая, как он, толстяк, прыгал из окна вагона, когда их, представителей народа, этапом везли из Москвы в Ташкент), держал до суда голодовку протеста против отказа тюремщиков дать подследственным юридическую и политическую литературу.

Галя рассказывала, что этот толстяк был худ, как щепка, и еле передвигался. Но держал себя он очень смело и достойно. Он, как и другие, отвел прокурора, известного своими жестокими приговорами и цинизмом (по закону подсудимый может давать отвод всем официальным представителям власти). Отвел он также и судью как члена КПСС — одно из обвинений состояло как раз в выступлениях татар против политики КПСС. Значит, судья как член КПСС является заинтересованным лицом. Юридически это достаточное основание для отвода судьи.

Когда одного из подсудимых спросили, был ли он ранее судим, он ответил: «Да, в 1944 г. вместе со всем моим народом по обвинению в измене Родине!»

Использование формальной советской законности не было новостью в нашем движении. Но татары провели его на этом процессе до конца, по всем почти пунктам.

Судьи и КГБ бесились и, видимо, жалели, что допустили народ в зал и что судят по легкой статье — за «клевету» на советский строй, — до 3-х лет.

Злость свою они выместили на Гале Габай. Ей предложили убраться из Ташкента в 24 часа.

Об окончании процесса я узнал позже. Суд шел около месяца. По окончании процесса крымские татары (500-700 человек) устроили сидячую демонстрацию у здания ЦК КПСС. Милиция разогнала её.

Взволнованный процессом, новыми документами о злодеянии 44 года, разговорами с представителями

крымских татар, я написал большую статью о национальной проблеме татар. В ней я разобрал вначале «реабилитацию» (!?) татар 1967 г. — Указ Верховного Совета. Указ подлый. Во-первых, в нем объясняется, что в жизнь вошло новое поколение (намек на то, что старое поколение — целый народ — преступники и осуждены заслуженно), во-вторых, крымские татары названы «татарами, ранее проживавшими в Крыму» (т.е. как особой нации их больше нет), в-третьих, сказано, что они укоренились в Средней Азии (верх цинизма — за народ решили, что он укоренился на чужой земле). Милостиво разрешено им жить везде по СССР «согласно общему паспортному режиму» (специально, чтобы не дать возможности по «паспортному режиму» им жить именно в Крыму, в крымских селах ввели паспорта; следует отметить, что это не было связано со всеобщей паспортизацией крестьян, начавшейся лишь в 1976 году).

Когда крымский татарин поселяется в крымском селе явочным порядком, то милиция имеет право — согласно «паспортному режиму» — выселить его в 24 часа. Такова диалектика политики в СССР — любую сторону своих законов, гуманную формально или открыто античеловечную, они используют против человека: равенство полов — против женщины, классовую «справедливость» — против рабочих, крестьян и интеллигенции, паспорта — против крымских татар, рабочих, крестьян, диссидентов, отсутствие паспорта — против колхозников. Любая разумная и гуманная идея становится новым приемом угнетения человека.

Но что такое «реабилитация» народа? Это признание, что народ может быть преступным.

Так как эта идея подсудно существует в официальной советской идеологии (украинский или еврейский национализм — всегда буржуазный, а индийский — не всегда), то я попытался в статье разобрать проблему плохих и хороших народов с позиций генетики. Существует ли национальный генотип? Видимо, да. Но означает он

статистическую характеристику нации, т.е. генетически в данной нации преобладают те или иные психические черты: темперамент, экстравертность или интровертность и т. д. Но все эти генетические черты не оценочны, они вне добра и зла. Одна и та же биопсихическая черта социализируется в личную конкретно-историческую черту, положительную или отрицательную. Так у евреев те же национальные психические основы (статистически преобладающие) порождают пророков, Христа, Эйнштейна, Фрейда, Кафку, с одной стороны, и традиционного, ставшего мифом, своекорыстного буржуа, ростовщика — с другой. В тот или иной исторический период у народа под влиянием социальных условий, национального мифа, отношений с другими народами и т. д. может статистически преобладать та или иная отрицательная черта. Но даже если данный народ в массе своей в данный момент делает зло, то как народ он не может быть судим, покаран юридически. Преступна личность, а не народ. И преступники именно те, кто судит и карает народ, т.е. личность за ее принадлежность к данному народу (классу, религии). Ведь это и есть геноцид.

Возникает парадокс — изучение расовых особенностей долгое время в СССР считалось расизмом, фашизмом. И, как это часто бывает, теоретическое отрицание факта мстит за себя тем, что факт признается практически, но в извращенной, слепой форме. Отрицание наличия расовых проблем, расовых различий в СССР идет рука об руку с практически расистским подходом и даже расистской фразеологией (недаром перед смертью Сталина была подготовлена статья для газеты «Правда» «Отрекаюсь от народа-предателя», под которой уже начали собирать подписи знатных, правильных, «редких» евреев).

Этот национальный расизм логически развивался из классового и религиозного «расизма» 30-х годов (а поглубже — из традиционного инквизиторского деления

мира на богоизбранные, или верные Богу народы и народы еретические, басурманские, гяурские и т. д.).

Когда в 30-х (да и в 20-х) годах карали за родственников (семейная круговая порука) или за социальное происхождение, а не за личное преступление, то юридически и этически это было тем же, что и обычный расизм.

Далее я попытался рассмотреть вопрос о микронародах — чукчах, камчадалах, ненцах и якутах. У каждого из них свои проблемы, но объединяет их проблема физического вымирания: они спиваются, увеличивается число детей-уродов, венериков и т. д. У якутов возник обычай: жены с согласия мужей просят у белого «сделать» им ребенка. Даже термин специальный возник для такого ребенка — сахаляр.

В Министерстве просвещения РСФСР рассматривали персональное дело учителя, который «развращал» целое стойбище ненцев. Учитель объяснил: мужья просили его, белого, чтобы он поочередно спал с их женами. Жены тоже просили об этом.

Почему? У ненцев, видимо, потому, что браки всегда заключаются в небольшой группе, все являются между собой родственниками. Рассказывают, что караимские священники запретили браки между караимами по той же причине — физического вырождения. Народ исчезает культурно. Каково священникам было дать такой запрет, уничтожающий их религию через одно-два поколения! . .

Как и почему возник обычай «сахаляров» — непонятно. Знаю только, что якуты считают детей от русских более сильными, приспособленными к страшной жизни в Якутии. Когда туда нахлынула орда белых хищников — на алмазы, на стройки и т. д., принесся с собой сексуальный разгул, алкоголизм, сифилис, поножовщину, случалось, напившись, какой-нибудь вор без видимых причин убивал якута — «якут не человек», да и милиция не очень будет искать «зверька». Пишут в прессе, что культура у якутов развивается. Сомневаюсь.

Видимо, есть свой Союз писателей, художников, но если эти Союзы в европейских республиках в основном борются с культурой, то вряд ли в Якутии они имеют иную функцию.

О чукчах рассказывал мне генерал Григоренко — его к ним сослали после первого выступления в Академии им. Фрунзе.

До революции чукчей спаивал какой-то американец. После наступило равенство народов. Если американец давал спирт на короткий период (заплатив за пушнину), то теперь в магазинчиках водку можно было покупать весь год. Увидев, что чукчи перестали работать, власти стали регулировать выдачу водки (а продавцы — прикарманивать деньги, вымогать пушнину за водку).

Статистика показала, что дети чукчей стали больше умирать. Изучили причины. Оказалось, что чукчи едят полузамороженных, разлагающихся китов. Запретили, стали преследовать. Детская смертность еще повысилась. Опять изучили причины. Оказалось, что китовое мясо содержит нужные организму элементы. И это более важный фактор в условиях Чукотки, чем обилие болезненных микробов в гниющем ките. Детей стали держать вдали от родителей в интернатах. Вряд ли и это благоприятно отразится на судьбе народа.

Общая проблема небольших народов, видимо, в том, что их попытались за одну пятилетку заставить догнать Европу и из первобытного строя перескочить в «социализм». Но культура народа помогает приспособиться ему к особым условиям. Когда этот народ развивается естественно, из себя, его прогресс не приносит вреда. Но, будучи перенесен в культуру другого народа, стоящего намного выше по уровню развития, он теряет равновесие во взаимодействии с природой своей культурой и чужой. Ведь раньше у него язык, обычаи, религия, техника, социальные отношения и природные условия были как-то согласованы. А прыжок через эпоху, да еще в чужое окружение, уничтожает это взаимоуравновешивание; система этой культуры разбалансирована

так, что он не может найти равновесия, ни статического, ни динамического.

Понятны слова полковника Фоссета, что белые с ружьем, с крестом, с алкоголем, даже белые — искренние друзья — при тесном соприкосновении с индейским племенем неизбежно приводили его к гибели. И только белый, ставший членом племени, ставший индейцем по культуре, не разрушал племени. Белый без белых достижений.

Есть ли решение в таком случае? Решение проблемы индейцев, австралийских аборигенов? В Австралии и в Северной Америке находят какие-то позитивные решения, т.к. наличие проблемы признают и поэтому думают, изучают научно, с разных позиций.

А в СССР «проблемы нет»: с одной стороны, все нации стоят уже на социалистическом уровне развития, у них «прогрессивная», национальная по форме и социалистическая по содержанию, культура, с другой — они все сливаются в единый советский народ, проходя через интернациональную стадию двух родных языков. И потому всякого, кто поднимает национальный вопрос, посылают перевоспитываться трудом в лагерь, тюрьму или психушку. И потому же так остро стоит национальный вопрос в СССР.

Не так просто с проблемой смешения двух наций, союзных, родственных или чуждых друг другу по культуре, покорителей и покоренных, но по развитию более или менее равных. Результат зависит от обилия факторов.

Вот крымские татары — киммерийцы, аланы, греки, римляне, евреи, готы, итальянцы, турки, татаро-монголы. Все завоеватели либо ассимилировались, либо ассимилировали. И появился народ со своеобразной культурой.

Хороша ли ассимиляция, плоха ли? Всегда ли возможна, неизбежна, нужна? На этом я обрывал статью, подойдя к самой сложной проблеме культуры — ее национальной форме и содержанию (т.к. утверждение о

том, что культура имеет только социальное содержание, а не национальное, явно несостоятельна).

Статью я показал генетикам — нет ли генетической ереси? В целом соглашались, а когда нет — сами спорили между собой.

Статью я оставил в Москве печатать, т.к. не хотел везти черновик домой — вдруг обещут.

Крымские татары познакомили меня с трагедией месхов. Та же проблема — борьба за возвращение на Родину, на Кавказ. Мне сказали, что месхи — турки. Но турки лишь создали их общность, а происходят они от грузин, азербайджанцев, армян, курдов и туркмен. В 68-м году в Грузии была проведена сессия по истории и этнографии Месхетии: в то самое время, когда этот народ с очень интересной культурой не мог вернуться в свою Месхетию. Что же изучали ученые? И зачем им старая история, когда без раскопок и тонких методов анализа можно взяться за изучение нынешней истории месхсв, чтобы воздействовать на ее ход. Одно дело равнодушно изучать исчезнувшие культуры (что тоже не совсем научно), а другое — равнодушно взирать на исчезновение ее...

Во главе движения стоял председатель Временного организационного комитета по возвращению месхов на Родину учитель Энвер Одабашев. Арестовали его весной 1969 г. Под давлением народа выпустили.

Когда месхам позволили ехать в другие места Грузии (кроме Месхетии), грузины очень хорошо к ним отнеслись. Но вскоре, после милицейской облавы, месхов снова вывезли из Грузии.

*

Москвичи сообщили мне, что Рой Медведев написал книгу о Сталине, но не дает ее в самиздат. Прочсть ее не удалось, т.к. он отказался дать ее мне: у меня не было достаточно «солидных» рекомендаций.

В это же время в математических и физических кру-

гах ходила книга Револьта Пименова о суде над ним и его друзьями в 1957 г. Я прочел её, но мне было сказано, что нельзя давать ее кому-либо вне этих кругов, точнее, надежных людей из этих кругов. Пименов — очень талантливый математик, с глубоким аналитическим умом. Поэтому его анализ ошибок их подпольной группы — до и после ареста — представлял большую ценность для самиздатчиков. Но что поделаешь — пришлось отдать книгу после прочтения. Мне его анализ принес пользу впоследствии, но жаль, что многие не прочли книгу. Я пытался достать также другие его работы: «Как я искал английского шпиона Сиднея Рейли» (попытка доказать, что знаменитый шпион был провокатором ВЧК), «Послесловие к речи Хрущева на XX съезде».

Некоторую сенсацию в Москве произвело выкраденное из партийных архивов письмо Ленина в Политбюро о проведении крупной провокации против церкви.

Шел 1922 год, голод. Доказав (провокацией) крестьянам, что церковь не хочет отдавать ценности в помощь голодающим, можно будет извлечь у церкви огромные деньги и разгромить церковь.

Я решил не делать никаких выводов из письма. Поставил знак вопроса. Не было гарантий в достоверности письма. Но если бы я их имел, то поставил бы на Ленине крест: это уже нечаевщина, маккиавелизм, а не марксизм или социализм, это бесовщина. Если признать истинность письма, то прочерчивается прямая линия от Нечаева через Ленина к Сталину. А если покопаться, нужно отсчитывать от знаменитого Стеньки Разина его подложных писем. Схема очень соблазняет своей простотой, но именно это и настораживает: явление, очевидно, более сложно.

С 68-го года широко распространилась книга маркиза де Кюстина «Николаевская Россия» (в 20-х годах она была издана и в СССР, но в 60-х достать ее было трудно. Пришлось издать ее самиздатски). Маркиз беспощадно рассказывает о порядках в России Николая Палкина:

ложь, воровство, грязь. И так все знакомо, как будто он написал притчу о России, которая отражает ее сущность.

В предыдущей схеме «бесовщины» придется учесть линию царей, татаро-монгольских ханов, Ивана Грозного, Петра I, Екатерины II, Николая I, Николая II со всей совокупностью их пороков.

А Пугачев тогда моделирует будущее перерождение революции 17-го года: борьба с царем и помещиками во имя нового, хорошего царя Пугачева, лже-Петра III. Какая веселенькая получается линия развития Руси Великой. Но тоже однобокая. Откуда же тогда Пушкин, Толстой, Достоевский, Солженицын (во всей их противоречивости, т.к. они выражают своим творчеством не только лучшее в русском народе)?

Интересна фигура Гоголя в русской культуре. Первый этап его творчества — Украина, ее дух, выраженный русским языком. Говорят, что Горький обижался, что второй период — о России — отличается сатиричностью. Да, щедрая сказочка, фантазия и искристый юмор перешли в фантазию сатирика, фантазию на грани болезненности. Правда, были еще миргородские повести, переходные. Но здесь сатира не мрачная, а веселая, даже с симпатией к некоторым «отрицательным» персонажам.

Немного объясняют различие между этапами творчества два письма Гоголя, ходящие в украинском самиздате. Оказывается, Гоголь осознавал себя украинцем и очень страдал, что украинская культура исчезла по сути и никогда не возродится. Может, эта боль и сказалась в преимущественном сатирическом видении России? Когда же он попытался преодолеть свой национализм, увидеть позитивное в Российской империи, то не смог — ни как художник, ни как мыслитель.

С литературоведом, критиком Иваном Светличным мы пытались понять еще одно явление. Украинские мотивы, украинский дух, элементы языка у Гоголя обогатили русскую культуру. Но вот русские поэмы и проза Шевченко прошли бесследно для обеих культур. А ведь

все в поэмах — типично шевченковское. Однако те же образы, те же идеи в украинских его поэмах зачаровывают, вызывают большой отклик у читателя, а в русских — мертвы. Его пафос кажется слащавым, романтизм — сентиментальностью. То, что так прекрасно у Гоголя, — украинские слова, вдруг вырывающиеся из его души, — у Шевченко выглядит дисгармонией, разрушением русского языка.

Взаимодействие двух родственных языков может быть как взаимообогащением, так и взаимопорчей. Недаром русские бывают недовольны «украинизмами» в современном русском языке. Правда, здесь классовое явление: засоряют русский язык как раз верноподданные «хохлы»-москвофилы — Гречки, Подгорные или потерявшиеся на Украине Хрущевы и Брежневы.

Но ведь и украинский язык портят часто по партийно-бюрократической линии. «Взаимообогащение» идет главным образом за счет канцеляризмов, оторвавшихся от стихии живого народного языка. В этом отрыве выражен отрыв самих носителей этого ублюдочного языка от народа.

Гибнущий украинский язык мстит своему поглотителю и иным способом.

Масса русифицированных украинцев-малороссов говорят на искаленном украинизмами — словами, оборотами, акцентами — русском языке и прививает к нему эту малороссийскую смесь. В языковых процессах отражена история отношений людей. Неестественная дружба народов, за которой скрывается обиды, неуважение, презрение, ненависть, зависть, комплекс неполноценности и его обратная сторона — хамство, отражается в несвободной, дисгармоничной взаимной инфильтрации языков.

*

В новый свой приезд в Москву я познакомился ближе с зарождающимся русским национализмом в дурном смысле этого слова. В Москве существовал клуб «Роди-

на». Я не смог встретиться с кем-либо из его членов. Ходили слухи, что «руситы» (как их называли) вздыхали об истинно русском государстве, о государынях Екатерине II, Елизавете и об истинном русском языке.

Мне удалось лишь поговорить с одной девушкой, близкой к «руситам», но не входившей в клуб. Умная, знает немного историю России, неплохо знает русскую литературу.

Она объяснила, что «истинно русские люди» обеспокоены тем, что всякие там евреи, коми, мордва и прочие смеют считать себя русскими, смеют своим акцентом и неграмотными словами портить русский язык.

— Но что же им делать? Советская власть хочет их сделать русскими, а вот истинно русские люди не хотят, чтобы они говорили по-русски. Русские едут к ним, на их землю, почти никогда не учат их язык и требуют, чтобы нацмены отвечали им по-русски. А ведь выгнать в шею «старшего брата» из своей республики не могут — национализм, шовинизм.

Руситка ответила мне, что это украинцы едут в Россию, чтобы захватить крупные посты.

В Москве 4 тюрьмы. И начальники всех этих тюрем — украинцы (я потом проверял — то ли 2, то ли 3).

— Знаете, осуществите тогда дореволюционный лозунг героя одного из романов писателя Винниченко «Геть кацапів з наших українських тюрем!» Выгоните из Мордовских лагерей нацменов (неплохо будет, если и своих выгоните), тогда не будете иметь хохлов во главе государства.

Озлобление русских на нацменов совершенно непонятно. Когда появляется украинский или еврейский шовинизм или гордыня, тесно связанная с шовинизмом, то это от комплекса неполноценности, от неуважения к своему народу и ущемленности, озлобления против угнетающих. И гордыня части украинцев, и мессианизм части евреев неприятны и жалки.

Когда украинец гордо говорит «гетман Сагайдачный 7 раз палил Москву» и подсчитывает, у скольких зна-

менитых русских была доля украинской крови (и даже доказывает, что именно эта половинка, четвертушка, осьмушка сделала его великим), то мне, украинцу, стыдно — неужели мы столь бесталанный народ, что нужно нам искать своих великих среди русских? Но когда это делают русские, когда они доказывают, что они хорошие (какой же уважающий себя человек будет это доказывать?), что они спасли, спасают и спасут мир, что они самые, самые, то становится грустно за их народ (который велик, как и все народы) и смешно до слез: сколько их мучили, сколько они сами себя мучили, а туда же — мы «богоизбранный народ».

Почему же господствующая нация обладает этим феноменом — гордыней? И ведь это не единственный симптом комплекса неполноценности. А метания от западопоклонничества до борьбы с космополитизмом, сопровождаемой подсчитыванием всех «русских» открытий в науке и технике, переименованием городов, приборов (микробиологической чашечки Петри — в чашечку Иванова), научных законов, с зачислением в «русские» математика Эйлера, с разоблачением теории относительности (т.е. еврея Эйнштейна). При Сталине комплекс неполноценности достиг апогея, вершины абсурда: Эйлера превратили в русского, но разоблачили множество великих евреев и выпшвырнули их из русской науки — не наш-де, не русский.

Все гордые, уважающие себя и свой народ русские говорили тогда презрительно о русофилах: «Россия — родина слонов!»

У них было утешение: русофильский комплекс особенно развит у новообращенных в русскую нацию: у грузина Сталина, у множества украинцев, у государственно заслуженных евреев. Это они особенно старались по части фимиама великому русскому народу, на шее которого сидели совместно с правильными русскими вождями.

У Сталина, правда, молитва за русский народ (знаменитый тост) сопровождалась насмешкой — он пил

за великий русский народ, за то, что тот не скинул его, Сталина, со своей шеи, не судил его Нюрнбергским судом.

Это не только национальное явление, — поклонение угнетаемому. Ведь воскуривали фимиам и гегемону рабочему классу, высасывая из него пот и кровь. Если надо было, говорили комплименты крестьянству и даже... «гнилой интеллигенции». Именем Ленина добивали остатки «ленинцев».

Воистину дьяволов водевил! История Святой Руси...

Кстати, моя руситка, которая протестовала против наглости мордвин, евреев и коми, была дочерью венгерского коммуниста, пришедшего делать революцию вместе с Бела Куном (который, по ее же словам, топил в крови Крым, преимущественно русских людей).

Но не спешим с выводами. Вот украинец. Тонкий юмор, тонкий вкус, солидная эрудиция. Он утверждает, что украинцы — нация бандитов (идет масса примеров), ничего не создавшая и т. д. Я узнал его биографию. Оказывается, в Киевском университете о нем распротранили слухи, что он еврей. И стали травить (не только украинцы). Наступили ему на хвост. Он обозлился и... стал украинофобом.

А вот еврей. Ему наступили на хвост евреи и русские. Стал страстным украинским националистом, ненавидящим все еврейское и русское.

Это все шкурная идеология: ударили справа — стал левым, ударили слева — стал правым, ударили с обоих боков — стал пессимистом, эклектиком, циником или кагебистом (именно истерические идеологи, злобные антикагебисты часто становятся агентами КГБ).

Тот приезд в Москву мне особенно памятен именно «национальной проблемой».

Мне рассказали о господине Скурлатове. Скурлатов организовал какое-то комсомольско-философическое общество. Стал кем-то в МК комсомола (по идеологии, что ли). Написал инструктивно-мтеодическое письмо о методах улучшения работы комсомола.

Основной упор на увлеченность. А для этого нужно «окрасивить» идеологию комсомола. И пошла смесь руситства, милитаризма, гегельянства, маоизма, ницшеанства, космической мистики Федотова и правильно понятого брежневизма. Стиль неплохой, красоты философии и новизна.

Разослал брошюру по ЦК республик, по крупнейшим комсомольским организациям, по Академии наук.

Но на беду прочел это кто-то из эрудитов, читавший даже... Геббельса и Розенберга. Увидел цитатки из классиков фашизма. Возмутился и откликнулся. Скурлатова попросили выйти из МК, брошюру осторожно изъяли (не дай Бог попадет в самиздат, позору не оберешься).

Говорили, что, будучи умным человеком и, видимо, искренним, он продумал свои ошибки, выбросил из своей идеологии марксизм и гордо удалился в руситы, к истинно русским людям. А те приняли радушно — умный человек, перевоспитался.

Или Илья Глазунов, знамя руситов Москвы. Монархия, православие, истинно русская культура — опять все те же лозунги. Перефразируя Руссо: назад, к России, к лаптям, к мужичкам, не испорченным «лампочкой Ильича» и почитающим лучинушку, дубинушку и доброго барина с добрым царем.

Я слушал о Глазунове и думал: бедная Русь, зачем тебе патриоты? И куда же ты мчишься (по Гоголю, по Достоевскому) — к Апокалипсису?.. Да ведь он уже есть...

Проходит год-два. В «Литературке» — портрет Альенде пера Глазунова. Выезжаю из психтюрьмы-СССР. Читаю в газете «Русская мысль» сообщение, что Глазунов путешествует по Западу, гордый своей миссией: позволено ему малевать Самого, вождя русских людей и всего прогрессивного человечества — Брежнева.

Круг замкнулся, он перешел на новый виток спирали своей мысли и карьеры, а Русь вступила в новую эпоху самопорабощения.

Все эти печальные абсурды не мешали мне, конечно, видеть «неистинно» русских, например, Буковского, Сахарова. И верить, надеяться в их победу на Руси святой-грешной.

*

Почти сразу из Москвы я поехал во Львов, к Вячеславу Чорновилу, у которого побывала Таня.

Тонкое, нервное лицо, умные, страстные глаза. Ласковая улыбка. Рядом жена, типичная украинка-интеллигентка. Религиозная. Но как я ни старался навести ее на разговор о Боге, не откликнулась. Бог для нее — интимное, свое.

Зато Вячеслав охотно откликался на все темы: культура, история, национализм, социализм, Дубчек, Гусак. К сожалению, он часто отсутствовал, и я оставался лишь с его книгами.

В Западной Украине есть то преимущество, что у людей остались книги, изданные в Польше и Германии до 39-го года. Я смог поэтому прочесть многое по истории политических движений западных украинцев до войны. Из борьбы этих течений и союза между частью их народилась во время войны Украинская повстанческая армия (УПА), боровшаяся с немецкими фашистами и советскими войсками (после прихода их на Украину). Трудно было понять, кто был с кем, кто что делал. Официальная пропаганда всех называет украинскими фашистами, бандеровцами. В эти бандеровцы зачислены и противники бандеровцев. Но что такое бандеровцы, их программу и методы борьбы так и не удалось выяснить.

Ясно лишь было, что западноукраинское население после прихода братьев-освободителей в 39-м году стало относиться к советской власти отрицательно и потому какая-то его часть пошла с немцами, но, попробовав фашизм, встала, за небольшим исключением, на путь борьбы и с теми, и с другими. Левое крыло нацио-

нального движения, в частности, компартия Западной Украины, была придушена советскими НКВДистами (КПЗУ разделила участь польской компартии, будучи обвинена в шпионаже и прочих смертных грехах).

Один современный западноукраинский поэт написал поэму о временах отхода советских войск из Львова. Уходя, братья, видимо, решили доказать львовянам спасительность для Украины гитлеровской армии. НКВДисты во Львовской тюрьме уничтожили всех заключенных. Когда в тюрьму ворвались немцы, то увидели окровавленные камеры. Фашисты были не совсем глупы и ознакомили население со злодеяниями своих врагов-большевиков.

Поэма потрясла меня пафосом гнева, страстью протеста, новой для меня формой стиха и образности, адекватной теме и мысли автора.

Я не знаю, инкриминировали ли автору эту поэму на суде, и потому не называю его фамилии.

От жены я уже раньше знал, что то же сделали советские войска и в Харьковской тюрьме — бросали гранаты в камеры. Уже в психушке мне рассказывали об Уманьской трагедии очевидцы. Немцы созвали пресс-конференцию для журналистов, пригласили население искать в тюрьме среди трупов своих родственников. Братья уничтожили не только политических, но и воров, спекулянтов, хулиганов.

Уже после войны, по словам Хрущева, Сталин мечтал выселить украинцев в Сибирь: так много было «предателей». (Бедная Украина металась между двумя гениальными вождями и не видела выхода.)

Все эти факты, чтение довоенных книг укрепили меня в «самостийности». Одному из львовян я высказал это вслух, но он предложил не говорить этого, иначе меня заподозрят в провокаторстве.

Меня расспрашивали о демократах-москвичих, об их отношении к национальному вопросу. Я же возмущался тем, что так мало информации об украинских событиях поступает в самиздат, что слаба связь с «Хрони-

кой» у национальных движений. В спорах объяснился и этот вопрос. Московская демократическая оппозиция под подозрением у патриотов. Все помнят позицию кадетов, эсэров, меньшевиков, большевиков. Только большевики в той или иной мере поддержали сепаратистов, но на практике там, где могли, вернули отделившиеся республики в лоно Святой Руси. А слов красивых было сказано немало всеми.

Только когда русская оппозиция недвусмысленно выскажется по национальному вопросу без недомолвок (и не устами одиночек — честные русские всегда были, и немало, но исторически они не решали вопроса), если на практике она докажет другим народам, что русские демократы не собираются благодетельствовать, опекают их, тогда возможен будет союз с ними в борьбе за демократию.

Мне привели несколько фактов шовинизма русских демократов.

Кое-что убеждало — слова одного москвича, члена Инициативной группы об общности трех восточно-славянских народов, сказанные им Чорновилу; недоумение многих русских по поводу разговоров об угнетении. «Ведь ваши-то скоро захватят весь ЦК — где же тут угнетение?»

Но часть фактов оказалась несостоятельной.

Мне показали высказывания Белинского о Шевченко, о его плохом языке (диалекте), о том, что Шевченко — пьяный, грубый мужик.

И в который раз я услышал рассказ о Василии Аксенове. В музее Шевченко в Киеве он оставил запись: «Помещение очень хорошее, здесь можно поместить детский сад».

— А кто-нибудь проверял этот факт?

— Да, это видели многие киевляне.

— Но и Светличный и Дзюба думают, что это провокация КГБ.

— Какая же это провокация. Это одна линия — от Белинского до Аксенова.

Я решил все же проверить это через общих с Аксеновым знакомых, старых революционеров. Оказалось, что Аксенов как раз в то время был в Японии и не мог сделать такой записи.

Узнав о провокации, он уже год тому назад послал протест в киевские газеты и в музей. Если б Аксенов мыслил политически, он написал бы об этом в сам-издате.

Чисто эмоциональная реакция на факты всегда приводит к искажению их, к нежеланию всесторонне изучить или хотя бы проверить их.

— Что тут проверять и изучать? Они (т.е. русские, украинцы, евреи) всегда такие.

Однажды вечером сошлись гости — женился недавно вышедший из лагеря сын одного из руководителей УПА С. Отец его остался досиживать свой срок, мать тоже.

В С. сразу бросалась его лагерность — какое-то особое выражение глаз. Но он не производил впечатления «страдальца» или «героя». Он несколько удивленно и застенчиво смотрел на всех окружающих и на свою красавицу-жену. Она шутила, смеялась, а он молча застенчиво улыбался. Когда впоследствии я увидел Ларина, сына Бухарина, то вспомнил глаза С. Это люди ГУЛАГ'а, вкусившие преследования с детства.

В честь молодых пели народные песни (когда в Мон-тре я слушал песни молодых украинцев Парижа, то в глазах стояла семья Чорновила, С. и его жена, поэты Игорь Калынец и Ирина Стасив-Калынец)). В украинских песнях, в думах — может быть, самое глубинно-украинское. Украинiec может называть себя русским, презирать свой народ или даже палачествовать над ним, не знать языка, но если он жил в детстве на Украине, то в песне он опять становится украинцем.

В этот вечер я увидел и новое для себя в их песнях.

У нас, в Восточной Украине, народная песня профильтрована и затаскана по радио, испорчена пропагандистскими певцами. И нет новой песни. А во Львове

я услышал религиозные песни, новые народные. И пели их не так, как у нас по селам, — пьяными, кричащими голосами. В песне западных украинцев виделось необычно нежное, уважительное и теплое отношение к женщине-девушке, жене и матери. Феминизм украинской нации выражен не только в содержании песен, но и в форме, в слове. И этим феминизмом украинцы существенно отличаются от русских.

Не видно ни презрения, ни дворянски-вежливой «куртуазности», ни надрывной страсти, этой патологической смеси обоготворения плоти с чувством греховности, бесовства женщин, нет ужаса перед бездной плоти, доходящего до истерического проклятия своей мечты о женщине. Женщина на Украине, в селе, может быть бита, при гостях может выглядеть послушной. Но наедине с мужем она припомнит ему побои и грубость. Дома — она хозяйка. У интеллигенции эта власть женщины одухотворена и выражается ее большой ролью в патриотическом движении, в феминизме культуры.

И это историческое явление.

Роксолана, дочь простого украинского священника, была выкрадена крымскими татарами и продана султану. Она не только подчинила себе султана (это не диво, это есть в истории всех народов), но и приостановила турецкую экспансию против всех христианских стран. Она вышла из гарема на дипломатическое поприще, встречалась с послами всех стран, знала много языков. Можно ли ее сравнить с патологичными царицами Петербурга, перенявшими все худшее у царей-мужчин и проявившими себя как женщины только на сексуальном поприще и в усилении фаворитства?*

Зная за собой эту слабость, подчинение женщине, казаки не допускали женщин в Запорожскую Сечь,

*) Книга «Неопалимая купина» (из украинского аналога серии «ЖЗЛ»), в которой я впервые прочел о султанше Роксолане, Гулевичвне и других известных на Украине легендарных личностях, ныне запрещена «нелюбовно» за что, т.е. за «украинский буржуазный национализм».

подчеркивали свою независимость от них, бравировали тем, что они «не бабы». У Гоголя в «Тарасе Бульбе» два сына Тараса Бульбы — Андрей и Остап — как бы два психологических типа, порожденных феминизмом культуры украинской. Андрей предает Родину, сражается с козаками, ради прекрасной полячки, а Остап с отцом — типичные запорожские рыцари.

По тем же причинам не было на Украине истерического эмансипаторства у женщин, а была совместная борьба за права человека. И мне кажется, что все тем же феминизмом можно объяснить отсутствие декадентства в украинской культуре.

Игорь Калынец и Ирина Стасив-Калынец — поэты, и потому я ожидал некоторой борьбы у них, конкурентных комплексов. Ничего подобного. Два разных видения мира. Талант у обоих велик, и оба внесли что-то новое в литературу.

Утром следующего дня мы с Чорновилом поехали к Валентину Морозу, который недавно вышел из лагеря. Я знал Валентина только по «Репортажу из заповедника имени Берия» и считал его лучшим публицистом Украины, наиболее оригинальным по мысли и стилю.

Валентин был худ, как щепка: 4 года лагерей, участие в голодовках протеста. Говорить с ним было трудно — я потом сталкивался с этим последствием тюрьмы и лагеря часто. Некоторая неконтактность, уход в себя, отчужденность от окружающего мира. У некоторых она доходит до болезненного отношения к шуму, к машинам, к городу, к неделикатности и любопытству «вольняшек».

О лагере Валентин не говорил. Поспорили о Чехословакии. Я обвинял Дубчека в том, что он не организовал всенародного пассивного сопротивления, что-нибудь вроде чехословацкого варианта гандизма.

Мороз напомнил о неудаче Кинга. Он считал, что все равно народ довели бы до вспышек гнева и тогда бы повторилось кровавое подавление Венгрии.

В споре Мороз то уходил в себя и не слушал нас, то

активно включался, и тогда видна была огромная духовная энергия и беспощадность мысли.

Пробыли мы у него недолго — он устал. На прощанье он предложил мне почитать историю боротьбистов, украинских революционеров, поддерживавших в 20-м году советскую власть, а позже уничтоженных ГПУ.

Один из львовян показал мне параллельные цитаты Маркса, Энгельса и Гитлера о славянах. Я только рассмеялся — я уже встречал такого рода работы: «Маркс — антисемит, германофоб, французофоб и т. д.».

Разница между Гитлером и Марксом как раз в этом — бичевание исторических пороков *всех* наций и отсутствие мессианства одной нации.

Я напомнил о высокой оценке Марксом демократии Запорожской Сечи.

Хотел познакомиться с Михаилом Осадчим, договориться с ним о переводе его книги «Бельмо» на русский язык, т.к. считал «Бельмо» ценной не только политически, но и художественно.

Осадчий принадлежит к той части движения сопротивления, которая пришла в него, ближе познакомившись со «слугами» народа. Он, в частности, в свое время столкнулся с «распределителями» — магазинами для обкомовских чинов. Естественно, человек, искренне исповедующий марксизм, не мог остаться слепым. Антиукраинская политика партии усилила его протест.

Оказалось, с переводом его книги я опоздал, в Москве уже начали переводить.

Львовянам я передал немного самиздата — «Хроники», письмо профессора из Уфы, информацию о деле Алтуняна. В свою очередь они передали свой самиздат. Так как национальный вопрос все более интересовал меня, то я попросил у Чорновила книгу Рабиндраната Тагора «Национализм».

В Киеве разворачивалась кампания против Дзюбы. Появилась статья в «Литературной Украине» Л. Дмитерко, бездарного писателя, но чиновного и «правильного».

Для Запада издали книгу Богдана Стенчука «Что и как отстаивает И. Дзюба?»

«Стенчук» на самом деле был псевдонимом 4-х авторов. Киев потешался над проблемой, которая возникла при переводе на английский. «Стенч» — по английски — зловонный.

Мы с трудом достали эту книгу. Скука, демагогия (когда я позже на Западе прочел аналогичную книгу Дзюбы против Дзюбы, то вспомнил снисходительную улыбку Дзюбы насчет Стенчуков и стенчукизма).

Но что-то полезное Стенчук сделал. Нельзя сражаться цитатами против цитат. Если мы хотим убеждать, то нужно развивать марксизм, теорию наций и т. д., а не повторять классиков. Стенчук в основном опирался на дореволюционного Ленина, Дзюба — на послереволюционного. Нужно было изучить эволюцию марксизма в решении национальных проблем (с анализом исторических причин эволюции), дать развернутую критику теории (практика разобрана у Дзюбы неплохо).

Дзюба отмахнулся: спорить со Стенчуками скучно. Дмитерко ответил Василь Стус статьей «Место в бою или в расправе?» (статья Дмитерко называлась «Место в бою. Про литератора, который оказался по ту сторону баррикад». Дмитерко не мог простить Дзюбе его уничтожающей критики мещанства на примерах из книг Дмитерко в 59-м году). Основная мысль была: на баррикадах — «мы», а Дмитерки вместе с реакцией всех стран и времен уничтожают эти баррикады.

Тон самиздата, резкость его нарастала, исчезали недомолвки, дипломатические фразы.

В сентябре сообщили об арестах двух членов Инициативной группы — религиозного писателя Краснова-

Левитина, активного защитника свободы совести, автора многих самиздатских работ, и Мустафы Джемилева. Непонятно было, почему забирают по одному, почему не делают группового процесса.

А. Э. Краснова-Левитина я видел только один раз. Проснулся в доме Петра Григорьевича Григоренко — надо мной улыбающееся доброе лицо. Поговорили совсем немного, он спрашивал о киевлянах, о Черновиле, с которым был знаком. Человек очень мягкий. Украинской проблемы не понимает, но не любит русское мессианство. Вот и все, что я знал о нем. Из его работ читал только страстную статью о Петре Григорьевиче «Свет в оконце».

Чувствуя, что скоро меня заберут, я стал лихорадочно писать одну статью за другой. Подозревая, что попаду в психушку (а этот метод стал применяться все чаще), начал было биографическое изложение своей духовной эволюции: я не сомневался, что будут спекулировать на всем. Но потом стало скучно доказывать, что не верблюд.

Товарищи переводили на русский язык работу Евгения Сверстюка «Собор в лесах». Я сидел над своей работой «Итоги и уроки нашей революции». Но спокойно работать было невозможно.

Арестовали в Киеве компанию, которая для заработка печатала на «Эре» поэзию, философию, религиозную, политическую и... порнографическую литературу.

Вскоре взяли моего знакомого Олега Бахтиярова, студента Медицинского института. Оказалось, что он давал печатникам что-то политическое. Я пошел на суд «печатников», т.к. их судили и по политической статье. Однако на суд не пустили. Один из свидетелей говорил о Бахтиярове. Я почувствовал, что будет состряпана амальгама — порнография, Бахтияров, а через него — я.

Продумал защиту нападением: поговорить на суде об амальгамах, о методе сексуального опорочивания, о

ханжестве советского воспитания (для контраста — забавные биографические эпизоды на тему секса у Маркса и Энгельса, характеризующие их как людей со здоровой психикой и с ироническим отношением к ханжеству).

Решил превратить суд в сатирическое издевательство над полицией и судом.

Я не сомневался, что у Бахтиярова почти ничего не найдут.

*

29 сентября пошли с женой в Бабий Яр.

Пришли поздно. И сразу окунулись в какую-то сюрреалистическую атмосферу. Молодые одухотворенные еврейские лица и толпа «товарищей» в штатском. Штатских — два вида. У одних лица филеров, т.е. уголовные, с бегающими глазками, с собачьим выражением. Почему-то ощущаешь в них не преследователей, а преследуемых, затравленных. Вторая категория — сытые, тщательно выбритые. Глаза питона, бессмысленно самодовольные.

Штатские задирают: зачем-де пришли, зачем зажигаете свечи. Им отвечают, что в память жертв. Все сгрудилось у камня, на котором записано обещание поставить здесь памятник. У камня кладут цветы.

Два парня принесли треугольные венки из желтых цветов. Положили один треугольник на другой. Получилась звезда Давида.

Что тут поднялось. Штатские забегали, начали кричать, что здесь лежат не только евреи, но и коммунисты.

На это кто-то ответил:

— Вам никто не запрещает прийти с крестом, если считаете себя русскими. Можно и пятиконечную звезду...

К хору штатских присоединился старый еврей. Он стал доказывать, что желтую звезду евреям навязы-

вали враги, что этим клеймили евреев фашисты. Ему напомнили, что когда-то у большевиков вырезали на теле пятиконечную звезду. Молодежь стала рассказывать старику историю звезды Давида. Спор постепенно перешел на идиш. Наконец старик выложил последний аргумент:

— Нам закроют последнюю синагогу.

Он оказался служителем синагоги.

Мне стало его жалко. Но молодежь не щадила и добила его вопросом:

— Зачем нужна синагога, отрекающаяся от истории евреев, от звезды Давида?

Старик смолк.

Кого-то забрала милиция (потом отпустила. Это были те, что принесли звезду Давида).

Я пришел домой и за ночь написал статью по свежим следам: «Над Бабьим Яром памятника нет».

Сюрреализм увиденного состоял в том, что в Яру противостояли потомки красных комиссаров и их наследники. Потомки опять бунтуют, а наследники наследуют дело царской охраны. Только вместо жидомасонов, жидокадетов, жидокоммунистов их жертва называется сионистами (так похоже на «сицилистов»!).

Статью я прочел многим знакомым, т.к. хотел уточнить факты, увиденные мною, и поработать над стилем. Поэтому она в конце концов попала не в самиздат, а в архив КГБ.

Каково же было мое удивление, когда я в исковерканном виде прочел ее в «Исходе» (журнале о борьбе евреев за выезд в Израиль) под названием «29 сентября 1969 г.». Еще забавнее стало, когда мой знакомый по секрету сообщил, что это его статья. Я осторожно спросил его. Он забыл, что слушал мою статью в моем чтении и сам же предлагал исправлять некоторые фразы.

Однажды меня пригласили на вечер-лотерею. Я пошел туда с моей сестрой. (Сестра, проведя почти всю жизнь в среде русскоязычной, считала себя русской, но

из моих рассказов знала о культурническом движении в Киеве, ходила со мной в частный украинский музей Ивана Гончара.)

Было много молодежи. В лотерею разыгрывались скульптуры Шевченко, Франко, стихи Лины Костенко, картина Люды Семькиной «Лыбидь» (легендарная сестра Кия, основателя Киева), народные амулеты-«обережки», керамические и в дереве.

Сестра сразу же выделила Аллу Горскую, художницу-монументалистку.

В Алле удивительно сочеталась мужская энергия, сила, богатырское тело, тонкая духовность, художественный вкус и женская ирония. Она все время шутила и сразу же сломила застенчивость сестры.

Глядя на Аллу, я вспомнил ее насмешливый ответ на мой вопрос о ее убеждениях:

— Я сексуал-демократка.

И в самом деле я не встречал у женщин такой концентрации жизненности, или, как выражаются йоги, праны. Эдакая баба-казак, козарлюга.

Товарищи рассказывали, как она, увидев, что у кого-то не хватает денег на жизнь (выгнали с работы), брала машину и привозила из колхоза картошку, да еще и подшучивала над голодающим.

Когда она встречалась с истерическим национализмом, то боролась с ним насмешкой. Однажды я передал ей слова одного хуторянина-шовиниста о том, что крымских татар покарала судьба за то, что они насиловали наших женщин сотни лет назад.

Она расхохоталась:

— Он дурак, а не кагебист, как говорят многие. Спросите его, кого из его родственников изнасиловали татары в 44-м году.

Моя сестра не сводила глаз с Аллы. Начали разыгрывать вещи. Я поставил целью получить стихи Лины Костенко, которую считал тогда лучшим поэтом Украины. Сестра мечтала о картине Люды Семькиной. За эту картину шла упорная борьба. Наконец остались

Алла и я. Сестра меня умоляла набавлять. Но выиграла Алла, я как безработный не мог с ней конкурировать. Сестра жалобно посмотрела на меня. Алла подошла и подарила ей картину. И столько такта было в ее юмористических комментариях к подарку, что сестра не задумываясь приняла картину.

Сестра всматривалась в отношения между собравшимися. И непрерывно шептала мне о том, что таких людей она еще не видела. Еще бы! Тепло, любовь, никакой рисовки, никаких поз или надрыва.

Немного выпили и, как всегда на Украине, пели...

С сестрой мы зашли в мастерскую к Люде Семькиной. Когда Люду выгнали из Союза художников, она стала подрабатывать шитьем верхней одежды. Но шить по стандартам, по моде она не хотела. Стала искать новые формы. Увлеклась поиском форм современных, но национальных по духу, а не внешне (в отличие от хуторян с их однообразными «вышиванными» рубашками и от соцреалистов, у которых в лучшем случае — этнография). Она стала изучать одежду Киевской Руси, ее внутреннее содержание.

Одежда, которую она начала создавать, была действительно новой: человек в ней преображался, распрямлялся. Она сочетала индивидуальные черты заказчика с чем-то глубинно украинским в материальной культуре.

Вначале заказывали у нее состоятельно украинки-либералки. Их было не так уж много. Но потом пошла мода. Как всякая мода, мода на одежду Люды вызвала подражание.

Совершенно новым для меня оказалось отношение Люды к своему творчеству. Когда она увлекалась, то подробно рассказывала о своем подходе, о поисках. Она создала особую философию одежды. Не берусь ее пересказывать, могу перевернуть.

Люда принимала активное участие в возрождении украинских обрядов, придумывала интересные костюмы к праздникам, маски, символические сооружения.

Когда Люда рассказывала о множестве мелких га-

достей со стороны чиновников от искусства, она очень волновалась, остро переживая аморальность и глупость преследователей. Этим она очень отличается от своей близкой подруги Аллы Горской, насмешливо-спокойной.

Как и в одежде, в своей живописи Люда ищет истоки. Тут она близка к киевским керамистам (в частности, к Гале Севрук), которые в керамике отражают разные стороны украинской и не только украинской истории. Так, у них есть цикл «Знаки Зодиака». Очень интересна серия чертей (гоголевские типы).

Я любил водить по мастерским и музеям приезжавших в Киев москвичей, новосибирцев, хотелось показать им истинную, не казенную Украину.

*

Осенью мы достали большое количество самиздата. Самыми интересными были статьи М. Якубовича.

В 1967 г. он написал письмо Генеральному прокурору, в котором описал, как сфабриковали в 1930-31 гг. процесс по делу «Союзного бюро меньшевиков». Описал цинизм следователей и прокурора республики Крыленко. Под пытками вынудили всех подследственных оболгать себя и других и «создать» в присутствии следователей «Союзное бюро». Играя на социалистическом фанатизме Якубовича, «преданности» рабочему классу, Крыленко уговорил его помочь на суде, если произойдет что-нибудь незапланированное. И Якубович согласился, т.к. не было духовных сил сопротивляться пыткам «единомышленников» и потому что разоблачениями на суде боялся повредить делу социализма (эта идея-фикс осталась у многих левых на Западе — они не понимают, что умолчаниями о сталинизме они как раз и вредят социализму).

Прощаясь, Крыленко цинично бросил ему кость: «Я не сомневаюсь, что вы лично ни в чем не виноваты. Мы оба выполним наш долг перед партией — я вас считал и считаю коммунистом».

Как бы в ответ на это разоблачающее письмо в журнале «Вопросы истории» (1968, № 2) некий Д. Л. Галинков (следователь по особо важным делам с 30-летним стажем работы) как ни в чем ни бывало описывал сталинские измышления о процессе «Союзного бюро».

Если это письмо было интересно для изучения психологии поведения подследственных в те годы, то три других работы Якубовича — о Сталине, Каменеве и Троцком — интересны своими фактами. Впервые я прочел сравнительно объективное изложение биографии, позиции и характера Каменева и Троцкого.

Удивили меня только похвалы Дзержинскому. Уже было известно немало деталей, характеризующих его аморальность. Подчеркивание дружеского отношения Дзержинского к Троцкому лишь бросает тень на Троцкого, а Дзержинского характеризует как человека последовательного, не больше. Он не предал товарища, т.к. не считал его врагом революции.

М. П. Якубович — правнук декабриста А. И. Якубовича, родственник поэта-революционера П. Ф. Якубовича. Видимо, это его немного выручило, когда на него было заведено дело о «клевете» весной 1968 года. А может быть, возраст — 73 года, из которых около 25 он провел в тюрьмах (правда, возраст у нас не помеха: «Хроника» сообщала о суде над 84-хлетним основателем Латвийской социал-демократической партии).

*

Тут я должен вернуться немного назад во времени. Товарищи нашли мне наконец работу брошюровальщика в типографии завода сахарных автоматов. Меня приняли на несколько месяцев, на подмену ушедшей в декретный отпуск женщины.

Работа состояла в том, что мой шеф выдавал мне уже отпечатанный текст, а я разрезал его на машине по листам, раскладывал по порядку в брошюры, а затем скреплял брошюры на другой машине. Несколько

раз в неделю я отвозил готовые брошюры в спецбюро технической информации по производству сахара. Там мне давали новые тексты. Экземпляров десять каждой брошюры рассылались в министерства, ЦК, в журналы и на цензуру — в знаменитый Главлит. Что они «лито-вали» — мне было не ясно: новый способ изготовления сахара, новую гайку в машине для производства сахара? (Таня несколько лет занималась издательской работой в своем кабинете, им приходилось отвозить в горлит и получать разрешение абсолютно на всё: от афиш о проведении конкурсов, методических рекомендаций по частным вопросам производства игрушек или их использования до сугубо ведомственных объявлений. Всё это нелепо: их продукция никак не носила секретного характера, а интерес представляла только для узкого круга специалистов. Но порядок был жесткий — без цензурной визы, без «лита», ни одна типография не принимает текст в набор. В министерстве просвещения главлитовские работники специально проводили лекции: разъясняли, что можно, а что нельзя печатать, приводили примеры «потери бдительности». Например, в одной из брошюр о пионерах была названа местность, где размещалась воинская часть (дети ходили туда в гости). Нельзя было называть некоторые заводы, где изготавливались игрушки: их производили из отходов в цехах предприятий, работавших на военную промышленность. Не имело никакого значения, что на самом деле об этом все всё знают: и что изготавливается, и где, — но... это «государственная тайна». Понятие государственной тайны доходит в СССР до анекдота. Так, однажды Таню послали на целый день в республиканский КГБ, и там она в присутствии сотрудника КГБ восемь часов ставила печать КГБ на пропуск в зал Верховного Совета УССР, дающий право войти на заседание... делегатов ученических бригад, приехавших в Киев для обмена опытом работы.)

Когда-то в Институте кибернетики мы шутя ввели деление профессий на женские и мужские. Женская

работа состоит в однообразной деятельности в среде относительно постоянной. Мужская работа — постоянный поиск в изменчивой среде, где большую роль играют непредвидимые события. Моя новая работа была «женской». Мой шеф, не зная нашей «теории», сразу сказал:

— Вы тут не выдержите. Тут только женщины работают, да и они часто меняются. Только они справляются с работой: зарплата маленькая, и мужчины не хотят вкальвать, ничего за это не имея.

Но я сравнительно быстро овладел навыками складывания листов в брошюры (все остальное делается с помощью машин). Я понял, что не выдержу идиотизма работы, если не научусь все делать автоматически. Кроме быстроты и механичности движений, пришлось продумать порядок действий и способ размещения листов.

Вскоре удалось добиться отключения сознания от работы. Это давало возможность думать о другом. За счет того, что темп работы стал быстрым, удавалось справляться с ней за 4-5 часов, а потом идти по своим делам. Это не положено, шеф сердился, но сам он бывал на работе редко и потому, когда я сказал, что ведь успеваю за 4 часа, он согласился, но попросил на всякий случай придумывать солидное обоснование отсутствия (слава Богу, телефона у нас не было, и потому угрожал лишь непосредственный приезд начальства).

Еще когда я поступал на работу, я понимал, что это — искус (для меня и для КГБ; я-то не поддамся соблазну греха первопечатника, но у КГБ силы воли не хватит).

И в самом деле через некоторое время мой шеф спросил:

— Я тут часто печатаю налево, диссертации фотокопирую, редкие книги. Твоим знакомым не нужна поэзия... или что-нибудь другое? Я дешево возьму.

— Мой товарищ — философ и зажиточный притом. Он все не может достать для себя и друзей одну статью

Маркса (я в самом деле хотел сфотокопировать «Экономическо-философские рукописи 1844 г.», которую трудно достать).

Шеф поскущел и, забыв, что ему безразлично содержание, но не деньги, сказал, что в этом месяце не сможет.

На следующий день он уже печатал какую-то диссертацию.

А через неделю мне сказали, что, т.к. работа была временной, я должен уйти.

Рыбка не клюнула.

Я попросил не ставить отметку в трудовой книжке, иначе каждый начальник, увидав «брошюровальщик» после инженера, поймет, что меня нельзя принимать на работу — вдруг моральный разложенец, вдруг алкаш, а то и похуже — отщепенец-подписант.

Но отметку поставили, и опять я перешел в тунеладцы, что давало время отщепенствовать на полную катушку.

Когда в октябре приехала Ира Якир, я был без работы. Мы провели несколько дней в спорах на те же вечные темы о добре и зле, о принципе партийности и т. д. Перед ее отъездом, вечером, мы увидели ее «хвост», но времени наблюдать за ним не было: мы клеветали и отщепенствовали.

*

Ира уехала, а утром ко мне постучали. Не успел я открыть дверь, как в коридор вскочил мужчина с мужественным выражением лица (почему-то всегда они врываются с видом идущих на смертный подвиг). За ним еще один.

Я строго спросил:

— Что вам нужно?

— Мы, Леонид Иванович, с обыском.

— Я вижу, но почему без понятых? И есть ли ордер на обыск?

Голос мой противно, нервно неровный. Смесь ненависти к ним и растерянности (хотя ведь ждал).

— Ордер, конечно, есть. А за понятиями сейчас сходят.

— По какому делу обыск?

— По делу вашего друга Бахтиярова Олега.

— Статья?

— Для вас это не имеет значения. Мы поищем у вас клеветническую литературу.

В ордере на обыск это и было записано. Я немного успокоился: статья до 3-х лет. К тому же у меня почти ничего нет. Жаль, что не спрятал кое-что вчера, после отъезда Иры.

Привели понятых. Типичный отставник, которого распирало от гордого сознания причастности к поимке шпиона (а кого же иначе, если само КГБ занимается!). И женщина — нянечка из детского сада. Она стала умолять отпустить ее домой, т.к. нужно стирать белье. Ей пообещали, что ненадолго.

Меня удивило, что она сразу, не раздумывая, стала на мою сторону. Даже не любопытствовала, по какой статье. И не вздрагивала, когда я произносил магическое слово «кагебист». Она с любопытством рассматривала стены, коллекции камней и растений. На стене висела картина, и она стала спрашивать о ней. Я решил повеселиться и рассказал историю картины.

Когда моему старшему сыну Диме было 7 лет, он ходил во дворец пионеров учиться рисовать. Три его картины послали на выставку детского творчества. За день до открытия выставки картины осмотрел сам министр просвещения Удовиченко. Ведь есть генеральная линия партии в развитии детской живописи и скульптуры, и сам министр должен следить, чтобы она проводилась без перегибов и загибов. К тому же, выставка — республиканская.

Министр в первом же зале возмущенно спросил:

— Это что такое?

— Написано: «Лис»!

— Это не лис, у лисиц не такие хвосты! Это собака! А деревья какие? Это формализм. Убрать!..

Он пошел дальше. Наша знакомая, бывшая в свите министра, подошла прочесть фамилию нового Эрнста Неизвестного. Уклонист-формалист именовался Димой Плющом.

В следующем зале министр опять углядел искривленные линии партии.

— Корабль? Форма неправильная! И облака такие не бывают! Это абстракционизм!

Тут вступился за малолетнего нарушителя художник, оформлявший выставку.

— Это специфически детское восприятие мира. Многие дети этого возраста видят мир не в форме, а в красках.

— Ну, раз художник считает, что это по-детски, пусть висит...

Наша знакомая опять прочла фамилию художника. Опять Дима. Она взглянула на картину над «Кораблем» и увидела, что вот там-то и скрывалась настоящая крамола Димы, третья по счету, — «Лебедь». И цвет неправильный, и изгиб шеи неверный.

Но министр не взглянул повыше, проявил либерализм к «Кораблю» и отсутствие бдительности. О нем рассказывают, что он был каким-то представителем Украины в ООН. Однажды СССР внес резолюцию. Американцы — другую. Ни та, ни другая резолюция не набрала голосов. Тогда Удовиченко предложил резолюцию от Украины. Она по содержанию не отличалась от советской, но прошла. Говорят, что это было единственное, но гениальное проявление украинского сепаратизма в ООН. Сразу двух зайцев убил: доказал, что Украина независима в своей внешней политике, и помог Москве победить империалистов, не забыв и себя — он стал министром просвещения. Почему просвещения, а не тяжелой промышленности?

Однако оставлю национальную политику КПСС и вернусь к обыску. Обыск как обыск. Скучно, и потому

я развлекался разговорами с понятой. Об Удовиченко я, конечно, ей не говорил, это сейчас вспомнилось...

Она, как и многие люди без образования, питает глубокое уважение к людям искусства (люди со средним образованием и технократы часто заменяют это уважение злобой или презрением к этим «бездельникам и дармоедам»). И потому восхищенная, что семилетний пацан неплохо рисует, прониклась сочувствием ко мне еще большим, настолько, что капитан Чунихин несколько раз ей предлагал прекратить разговор со мной.

Чтоб позлить его, я дополнил свой рассказ двумя деталями.

Когда жена узнала о запрещении «Лиса», она пошла на выставку и попросила отдать картину домой — такая реликвия!..

Художник, смотревший за выставкой, узнав, что Таня — мать Димы, прочувственно сказал:

— У вашего сына несомненный талант, если министр обратил на него такое внимание.

Они посмеялись, а картина теперь висит у нас дома, во Франции, как вещественное доказательство случившегося.

Обыск шел полным ходом. На столе лежали два экземпляра «Россинанту», рядом — письмо самого Россинанта из Уфы, еще рядом — несколько вариантов «Над Бабьим Яром памятника нет». Последнее капитана очень заинтересовало. Что за ящеры, что за вагоны, почему шпики похожи на уголовников? Я предпочел не комментировать: где гарантия, что понятой-отставник не даст потом показаний о моей антисоветской пропаганде при обыске?..

Но Чунихин быстро покинул ящеров, увидав черновик «Итогов и уроков нашей революции».

Начало было все перечеркано и написано в форме парадоксов, поэтому он ничего не мог понять.

— Что за революция?

— Февральско-Октябрьская!..

— Почему она ваша?

— Я считаю себя коммунистом.

Тут в разговор вмешался понятой и стал доказывать, что я против партии, против революции, что мне ничего в стране не нравится, что сын мой плохо рисует. И я допустил глупость, стал злиться (разговор с понятой было успокоил меня) и повышать голос. Чунихин и второй кагебист, роясь в бумагах и книгах, поддерживали отставника. Я стал орать, что они задушили народ, зарезали партию большевиков, оболгали Троцкого и Бухарина.

Отставник, услышав про Троцкого, возликовал: я выдал себя с головой как троцкист и, тем самым, наймит фашизма, сионизма и империализма. Он со смаком стал припоминать все небылицы о Троцком. А я, как последний кретин, орал о гражданской войне, о роли Троцкого в создании Красной Армии и как главнокомандующего.

Я понимал всю глупость и унижительность спора с этими «ортодоксами»-ящерами, но ненависть (а под ней, в подсознании, — страх) душила меня.

Выручила меня понятая — я увидел ее сочувствующий мне испуг (я ведь все время при этом говорил о судьбе крестьян и рабочих, хотя и забыл на время о ней) и остановился.

Отставник попытался продолжить, и тогда я сказал Чунихину, что они здесь не для дискуссии по истории партии. Тот попросил отставника замолчать.

— Вы же видите, что Леонид Иванович нервный!!!

Слово «нервный» окончательно привело меня в норму. Я вспомнил слова юмориста Остапа Вишни о том что одной из заповедей украинского народа является фаталистически-спокойное: «Та якось воно буде!»

Вернулся юмор, тем более, что все время возникали забавные ситуации.

Чунихин добрался до самиздатских стихов.

— Это кто такой Максимилиан Волошин?

— Неполитический поэт начала века.

— Ага, о революции.

— Да, и за нее. Смотрите эту строчку. (Через строфу шло — *против.*)

— А почему тут Бог?

— А про Бога любят писать и атеистические поэты, не всегда даже ругая.

Передал другому. Тот почитал, почитал, увидя философскую муть и непонятные выражения, явно не политические — отдал мне.

Достал несколько машинописных листов из сборника стихов без фамилии автора. Мне жаль было с ними расставаться: тюремные стихи Даниэля.

Хорошо, что машинистка не послушала меня и не отпечатала биографическую сводку о Даниэле, написанную мною.

Чунихин просмотрел и сразу напал на стихи о Родине. Я понял опасность и быстро изложил ему версию о любви поэтов каяться в своих грехах.

— А кто автор?

— Анонимный.

— Почему?

— Не знаю. Может быть, перепечатавающий забыл. Да и у Пушкина были анонимные стихи, не политические.

— Любовные?

— Всякие. Поэтов разве поймешь!?

— А может быть, вы знаете фамилию автора?

— Если б знал, то сказал. Ведь крамолы тут нет.

Я подсказал ему метод поиска — искать слова «партия», «социализм», «вождь», «свобода», «демократия» и т. д. Я исходил из того, что крамола по понятиям КГБ — или произведения на украинском языке, или в несоветской форме (например, стих без знаков препинания, стих с абракадабрами, футуристический стих и т. д.), или о партии (какой дурак перепечатывает о партии похвальные стихи?).

Чунихин передал Даниэля помощнику. Он, скучая, просмотрел, опять увидел слово «Родина», спросил меня об отношении автора к Родине. Я, не покривив душой,

сказал, что аноним ее любит. Он, видимо, усомнился, т.к. опять бегло перечитал. Особого энтузиазма аноним в своем патриотизме не проявлял, но и не клеветал — все о природе больше.

— А все же кто автор? Не скажете — заберем.

— Не имеете права — клевету должны искать.

— Мы можем отдать литератору-эксперту.

— Забирайте, но чтобы отдали. Мне нравятся эти стихи.

Чунихин явно не хотел со мной ссориться из-за каких-то стихов без крамолы: стану вовсе несговорчивым. А кагебистам очень важно по ходу следствия «договариваться» с подследственными или свидетелями по многим деталям допроса.

К тому же улов был неплохой: и сионизм, и клевета на КГБ, на дружбу народов, и украинский национализм (статья Е. Сверстюка «Собор в лесах», русский перевод в черновике), и клевета на революцию (черновик начинался примерно такими словами: «Итак, наша революция потерпела крах, как и идейная контрреволюция. Потерпели поражение все партии». Мысли он не понял, но клевета была налицо. Да и намек уловил — продолжить революцию).

В «Россинанте» его привлекла фраза о том, что пока «Российская империя не превратится в Союз Социалистических Республик (каждое из этих слов должно стать фактом), рознь будет расти». Фразы в скобках он не понял, но клеветническое утверждение о том, что СССР — Российская империя, усёк.

Были также переводы А. Фельдмана из «Литерарных листов», но крамолы там не было, так что явной связи с чехословацкой контрреволюцией не обнаружилось.

Пришел Дима из школы. Он посмотрел на обыскивающих, решил, что это кто-то из самиздатчиков-книгоманов, и побежал играть во двор.

В конце обыска Чунихин нашел мое заявление в ЦК профсоюзов о нарушении трудового законодательства

по отношению ко мне. Поколебался — брать ли? Не взял, а я только позднее понял, что надо было намекнуть, что и там есть клевета. На суде можно было бы использовать факты, приведенные в заявлении. Дело в том, что, не будучи внесенным в протокол обыска, это заявление не будет допущено для прочтения на суде. Если же заявление будет упомянуто в протоколе, то я смогу потребовать прочесть его.

Шмон, наконец, закончился.

Чунихин записал все изъятое, в том числе пишущую машинку. Я прочел. Все по форме. Опытный юрист, видимо, заметил бы что-нибудь незаконное.

Я отказался подписывать, объяснив, что считаю статью 187¹, по которой велся обыск, антиконституционной. Чунихин стал спорить и, наконец, предложил записать в протокол отказ.

Я считаю, что самиздатчик должен заранее определить свою тактику по отношению к КГБ, но не должен придерживаться твердого плана — многое зависит от ситуации. У меня в данном случае была выигрышная ситуация: почти ничего не обнаружили, а все обнаруженное ими удобно использовать на процессе. Поэтому, поколебавшись, я согласился с ним.

Написал, что так как я считаю КГБ антикоммунистической и антисоветской в сущности своей, т.е. антиконституционной организацией, то не хочу вступать с ней даже в формальные отношения, потому что не хочу участвовать в беззакониях.

Столь неуклюжей конструкция получилась оттого, что я пытался предусмотреть возможные перекручивания фразы и в то же время хотел выразить главное в моих будущих мотивировках отказа от дачи показаний. И намерен был это главное сделать основным в процессе *над ними* (т.е. превратить процесс над политическим «преступником» в процесс над полицией и правительством).

Чунихин сообразил свою ошибку и хотел уговорить

меня снять эту формулировку. Но я отказался переписывать свою фразу.

Уходя, он спросил:

— Вам прислать завтра повестку на допрос или придете так?

Я удивился поспешностью вызова на допрос: нужно же изучить изъятое? Но согласился без повестки — скучно заставлять их соблюдать все формальности (хотя и надо: это ведь одна из основных идей движения — заставить блюстителей закона соблюдать свои же законы и бороться с нарушением закона законными методами).

Идя утром в областное КГБ, я захватил с собой статью о допросах молодого Ленина в журнале «Наука и жизнь» и «Крымские легенды» Максима Рыльского. Легенды захватил, чтоб показать, как фальсифицируют историю Крыма (нет даже названия народа, который спасли от турков русские богатыри под руководством Кутузова!).

Чунихин сладко улыбался, встречая меня у проходной. Вел он меня очень долго по каким-то коридорам, лестницам (вверх-вниз). Мелькнула мысль, что это арест, но решил, что пока нет — должны поговорить вначале в надежде на некоторую уступчивость (ведь на свидетеля легче давить психологически).

В кабинете он, все еще улыбаясь, извинился:

— Я должен на минуточку выйти.

Ага! Хочет, чтобы я потерзался в сомнениях об их планах, в выборе своей тактики. Я вытащил Рыльского и стал перечитывать.

Через полчаса заглянул Чунихин.

— Извините, меня задержали.

Он стал хвалить глубину моих статей и смелость. Потом стал дружески увещевать не участвовать в самиздате.

Я вытащил статью о Ленине.

— Мне такие приемы допроса хорошо известны. Вот прочтите, как работала охранка. Первый прием —

лесть, второй — следователь твой друг, хочет помочь, потому что он же человек и тебе сочувствует.

Статью он читать отказался и, не прекращая дружески улыбаться, спросил:

— Как вы думаете, о чем я буду вас спрашивать?

— По изъятым материалам.

— Нет, мы не успели их изучить. Вот тут Харьковское КГБ прислало семь вопросов вам по делу Алтуняна. И сегодня я запишу ваши ответы.

— Прочтите все сразу.

— Зачем?

— Я должен знать, в чем обвиняется Алтунян конкретно, чтобы случайно, неправильно или неточно сформулированной фразой, не помочь КГБ незаконно осудить Алтуняна.

— Так вы знакомы с Алтуняном?

— Вы уже начинаете допрос. Я же сказал вам, чтобы прочли все вопросы.

Его погубила собственная роль «друга-следователя». Ему не хотелось обострять отношения со мной (на первых порах...).

Он прочел. Знакомы ли вы с Алтуняном? Член ли он Инициативной группы? Что такое Инициативная группа? Ее цели? И последний: «О каких других антисоветских действиях Алтуняна вы знаете?»

Как только он задал последний вопрос, я понял: первую партию Чунихин мне продул по своей глупости. Они в принципе не способны считаться с законами, и потому их всегда можно бить законом (правда, вспоминается анекдот: «он меня дубиной, а я его газетой»). Еще по дороге в ГБ я обдумал свою тактику — доказать на примере допроса справедливость своей записи под протоколом обыска об антиконституционности КГБ. И потому на сей раз я подпишу протокол, но откажусь давать показания, использовав ту или иную незаконность. Противно быть крючкотвором, противно даже читать юридическую бездушную формалистику, но что поделаешь.

Я записал свой ответ.

Так как мне был задан вопрос, имеющий «обвинительный уклон» (а по закону допрос должен быть объективным, нельзя задавать вопросов, толкающих на ответ определенного рода) и провокационный характер (ответь я: «больше никаких» — это будет косвенным подтверждением, что Инициативная группа — антисоветская организация, им это на руку, чтобы сами члены группы признали ее антисоветской). А т.к. мне Чунихин сказал, что я тоже член Инициативной группы, то, признав, что группа антисоветская, я дам показания на себя, а тем самым я превращаюсь из свидетеля, обязанного давать показания, в обвиняемого.

Он прочел и понял, что проиграл пока. Опять мило улыбнулся и попросил добавить слова о том, что это были вопросы Харьковского КГБ. Тут улыбнулся уже я.

Еще забавнее была вторая просьба.

— Допишите, что я прочел вам после того, как вы сказали, что откажетесь отвечать, если я не прочту всех вопросов.

Мне не нужно было соглашаться: это уже торговля (уступка за уступку) и в принципе только вредит допрашиваемому.

Но не хотелось спорить по мелочам. Мне было все равно, кому из них влетит за ошибку — харьковчанам или Чунихину.

Я вписал его слова. Он повеселел и обнаглел. Стал расспрашивать об обвинительном уклоне и провокационном характере — в чем они. Я объяснил. Он начал торговаться по поводу слова «провокационный». Пошла дискуссия о слове, о его смысле и т. д.

Увидев, что я не согласен менять формулировку, придрался к фразе о моем участии в Инициативной группе.

— Ведь вы член Инициативной группы? Почему же не хотите писать об этом прямо?

— Потому что не хочу даже косвенно ответить ни на один из вопросов.

Он еще раз перечитал и указал мне на неточность какого-то оборота. Я согласился (ну, думаю, даже мое почтение к грамматике пытается использовать?). Тогда он быстро-быстро стал предлагать свои формулировки, на первый взгляд, более точные. Когда я отказался, удивленно спрашивал: «Почему?» Несколько раз я показал, что его формулировки таковы, что при желании их можно перекрутить на суде как угодно.

В одной из них подвоха я не заметил. Он обрадовался: «Запишете?»

— А собственно, почему вы так заботитесь о грамматической точности моего отказа от дачи показаний?

— Просто так. Ведь так лучше.

— Нет. Менять фразу я не буду, а обдумать лучше — нет времени. Да и не хочется.

Допрос окончен, он пошел проводить меня на улицу.

По дороге я спросил его:

— Зачем вы копируете царскую охранку не только в сути вашей работы, но и в мелочах?

— В каких?

— Повторяете историю с «гороховым» пальто.

— Какое «гороховое пальто»?

— Нужно знать историю своей организации! Однажды всех шпиков охранка одела в одинаковые гороховые пальто. И вся Россия потешалась над ними, показывала пальцем.

— А разве наши агенты в гороховом пальто?

— Нет, они в плащах-болоньях, в ботинках с толстыми подошвами и одинаковых клетчатых галстуках (периодически «форма» меняется: иногда это красные шарфы, а вместо плащей «дефицитные» импортные куртки). Сегодняшние, правда, были какие-то киношные — в макинтошах. Мы с женой наблюдали за ними, когда шли к вам.

— Ну, Леонид Иванович, у вас мания преследования.

— У жены тоже?

— Я хотел сказать, что вы преувеличиваете слезку. Ну, зачем нам нужно было сегодня следить?

— Вот уж не знаю. Может быть, боялись, что мотану за границу.

С допроса я махнул к жене на работу, рассказать. Обоим было ясно, что заберут, — обложили со всех сторон. Я поехал к друзьям, свидетелям по делу Бахтиярова. Разузнал о нарушениях в следствии. Возвращаясь поздно ночью домой, с трудом узнал «подметку»: не было ни «гороховых» признаков, ни уголовных черт лица.

В воскресенье 10 октября просмотрел внимательно уголовный и уголовно-процессуальный кодекс, подготовил серию претензий к следователю по делу Бахтиярова. Теперь-то Чунихину невозможно будет свернуть все на харьковское КГБ.

Комедию на этот раз он почти уже не ломал. Оставался моим благожелателем, но только потому, что роль «следователя-друга» ему наиболее близка (хотя любит орать на колеблющихся свидетелей и подследственных). Опять же надеялся, что я могу помочь ему замять еще какой-нибудь просчет в следственной борьбе со мной. Но я как раз намеревался ударить именно по нему. Другие свидетели по делу Бахтиярова рассказали мне о его гнусных приемчиках — запугивании, крике, предложениях сотрудничать, клевете на их друзей. Да и сам я видел, как он меня пытался запутать. До беседы с ним я рассуждал так: у нас, интеллигентов, есть козырная карта — наше интеллектуальное превосходство над кагебистами, и его-то нужно использовать. Но теперь я понял, что на стороне такого дурака, как Чунихин, — опыт. Он знал все типы интеллигентов, все варианты их тактики, их психологические слабости, и потому он часто побеждал.

Обычно в начале допроса идет «случайный поиск» — метод перебора лучшей методики давления. Вот он увидел, что я как будто иду на человеческий разговор, не обращаю внимания на мелкие, несущественные формальные нарушения, и сразу же стал в ускоренном темпе давать свои формулировки моих же ответов. А

если бы я был уставшим, запуганным, психологически запутанным, то купился бы на его «человечность»? Верно пишет Валентин Мороз Дзюбе, что когда ГБ выжмет из тебя уступку «а», то не успокоится из благодарности тебе, а станет вытягивать весь алфавит уступок — до «я». И они доказали это на самом Дзюбе: сейчас Дзюба уже недалеко от «я» — от формального зачисления в ГБ!..

Итак, Чунихин начал допрос:

— Ну, сегодня мы поговорим о деле Бахтиярова. Я надеюсь, что не будет больше недоразумений и вы можете себе и Бахтиярову в этом деле. Бахтияров мне кажется умным и честным человеком. И вы должны это показать, честно рассказав о нем все, что знаете. («Ага, на правдолюбие бьет. На «князя Мышкина» берёт. Господи, чем занимаются их психологи? Ведь есть у них мои бумаги, записи допроса в 64-м году! Могли бы разобраться, что Мышкин во мне не играет слишком большой роли. Знаю одного психолога — она читает лекции по психологии милицейским следователям. Правда, психология у нее павловская, о животном в человеке.)

— Сначала скажите мне, по какой статье обвиняют Бахтиярова.

— А зачем вам?

— Да так, любопытно.

Он чувствует подвох и начинает сердиться:

— Опять вы хотите увильнуть. Судят ведь не вас, и статья Бахтиярова не должна вас интересовать.

— Тогда я не буду отвечать.

— Но зачем вам?

— Судья по ордеру на обыск у меня, Бахтирова обвиняют в «клевете». Кстати, Горького тоже по этой статье хотели судить, да общественность не позволила.

— Ну и что?

— А если у него эта, 187¹ статья, то вы нарушаете закон. По этой статье следствие должна вести Прокуратура, а не ГБ. А ГБ все время нарушает этот закон.

— Нет, у Бахтирова 62-я — антисоветская пропаганда.

— Но в ордере я прочел: «клеветнические документы».

Немного поспорили («Леонид Иванович, почему вы мне не верите? Я хоть раз вас обманул?»). Он вышел, а я почитал кодекс, захваченный из дому, чтобы травмировать их психику (терпеть не могут этой книги: «Что ты мне права качаешь?» — кричат уголовникам, да и политическим в лагерях).

Пришел с бумагой.

— Вот прочитайте — постановление на арест Бахтирова. Статья 62-я.

Я прочел.

— А где гарантия, что вы не отпечатали его только что? Почему вы так долго отсутствовали?

(Он, бедняга, бегал спрашивать начальство, чтобы не отвечать за ошибку.)

Но я уже понял, что нет смысла настаивать на своем «подозрении». Даже если бы моя версия, в которую я не верил, была справедлива, это можно будет использовать на суде. Ведь смысл этих судов для нас — разоблачать беззаконие, не давать уклониться от закона, формализма юриспруденции.

У меня был козырь, который я приберег для суда над Бахтировым. Не хотелось его тратить сейчас, но пришлось.

— Покажите мне протокол обыска у Бахтирова дома.

— Вот это уж вас не касается вовсе. Зачем вам?

— Да слышал я, что при обыске было допущено много беззаконий.

— Не я его проводил, а лейтенант, опытный юрист. Думаю, что нарушения законов не было.

— Думаете? Следствие ведете вы, и вы отвечаете за законность его и за действия лейтенанта тоже. Вы читали протокол и должны не «думать», а знать, что протокол был составлен совершенно безобразно.

— Вы читали?

— Знаю от свидетелей.

— Но какое имеет значение протокол обыска? Главное в том, что нашли.

— Закон пишется не для упражнения в формалистике, а чтобы лишить следователей возможности творить произвол. Вспомните, что вытворяла ваша организация при Сталине.

— Вы только и вспоминаете 37-й год. Но я тогда не работал.

Началась дискуссия о Сталине. И, конечно же, он вспомнил победу над Гитлером. Пришлось напомнить уничтожение изобретателей «Катюши», генералитета и офицерства, договор с Гитлером, поражения первых лет войны.

Он завел речь о целях демократов. И прямо заявил, что ГБ без труда прихлопнет оппозицию. Тут я ему повторил слова Петра Якира, которые тот сказал своему следователю:

— Тем хуже для вас. Мы играем роль кадетов, конституционных демократов, мы за эволюцию страны в сторону демократии, против того, чтобы в вас стреляли Желябовы, чтобы поднялся Пугачев. Пугачев пере режет ГБ, а потом устроит новый «рай». Когда вас поведут на расстрел, то как раз мы, кого вы хотите придушить, будем за отмену приговора. Если победит народ, большинство, то ему не опасны бывшие гебисты. Вы разгромите нас, а потом придут Каляевы и станут стрелять в вас, затем кто-то скажет «мы пойдем другим путем», и опять разгул ЧК, массовый «античекистский» чекизм.

— Спасибо за совет. Бахтияров тоже так гуманно относится к нам?

— Не знаю. Но думаю, что он против террора, как и все демократы. (Один из свидетелей говорил Чунихину о террористических планах Бахтиярова, но, слава Богу, ему не поверили: уж больно патологическая личность свидетель, легко было доказать это на суде.)

Я прекратил дискуссию и попросил протокол обыска.

Он еще поспорил и пошел к начальству. Принес.

Записи такие: фото пленка непроявленная, 144 страниц машинописи, черновик статьи в 50 страниц и т. д.

Чунихин читал вместе со мной и удивлялся моим ехидным: «Д-а-а-а!»

Он не видел нарушений (но если начальство разрешило показать, то, может, и оно их не видело).

Я стал записывать причину отказа от дачи показаний. Протокол составлен не по форме, и это дает возможность следователю подменить изъятое другими документами, антисоветскими. Фото пленка непроявленная, содержащая, например, стихи Мандельштама, может быть заменена «Майн Кампф» (хотя я и не вижу причин, по которым нельзя читать даже Гитлера или Розенберга). То же и с другими изъятыми документами.

Чунихин вскочил от гнева:

— Как вы можете нас подозревать в этом?

Пришлось опять объяснять значение формы в юриспруденции.

Он перестал дискутировать и побежал к начальству. Вскоре пригласил и меня к полковнику Боровику. Тот играл под гестаповца: жесткий взгляд, переходы от крика к металлу в голосе, угрозы. Да и вид, как у гестаповца из кино.

По его виду я понял, что и мне надо менять тон разговора, переходить «на металл». Боровик заявил, что меня будут судить за запись в протоколе обыска.

Я начал холодным ровным голосом, но потом сорвался на крик и потерял преимущество законника, выдал себя, что подсознательно боюсь их...

Кричал я ему о голоде 33-го года, о 37-м годе, о миллионах лагерников, об уничтожении Октябрьской революции, т.е. обосновывал свою запись об антисоветской и антикоммунистической сути КГБ.

Сорвался я, собственно, после слов Боровика о том, что он не позволит записать мотивы моего отказа от дачи показаний:

— Мы не позволим вам вести антисоветскую пропаганду в протоколах.

Когда я перешел на крик, то допустил обмолвку:

— Ваш Ленин (а хотел сказать — Сталин) уничтожил больше западных и советских коммунистов, чем все фашисты.

Если б я тут же не поправился, может, он и не заметил бы ошибку. А тут он злорадно усмехнулся:

— Вот-вот, вы договоритесь и до этого.

Выиграв эпизод, он успокоился. Успокоился и я. Потребовал записать в протокол мои комментарии к протоколу обыска Бахтиярова и мою мотивировку.

— За ошибки протокола мы накажем лейтенанта. Но если вы такой юрист, то должны сами подчиняться закону. А по закону вы как свидетель должны давать показания. Для контроля за работой КГБ есть Прокуратура. Я позвоню сейчас прокурору области, и он объяснит вам ваши обязанности. Можете изложить ему свои замечания о следствии. Если же вы откажетесь и будете крючкотворствовать, то вас будут судить за отказ от дачи показаний.

Я ухмыльнулся, повеселел: угрожают штрафом, принудительным трудом, вместо «пропаганды» — «отказ от дачи показаний» (за это дают принудительные работы, т.е. вычет из зарплаты в пользу государства 20%).

Он понял мою ухмылку и пригрозил:

— Прокурор сейчас же может подписать ордер на арест по 62-й. Позвоните, капитан.

Чунихин вышел.

Полковник свирепо изучал мое лицо, а я столь же зло, но насмешливо созерцал его. Детские «гляделки...»

Чунихин сообщил, что прокурора нет в городе.

— Хорошо! Уведите! С ним больше не о чем говорить! Озлобленный антисоветчик!

Тоном и видом он подчеркивал, что я задержан до тех пор, пока не будет ордера на арест.

Чунихин жестом показал на дверь и с таким же видом повел по корридорам, в незнакомом мне направле-

нии. Напряжение спало, и я стал обдумывать, чего требовать в камере (я не знал тогда, что тюрьма ГБ на Владимирской, 33, там, где помещался республиканский КГБ).

Но мы подошли к выходу, и Чунихин сказал:

— Мы вас вызовем повесткой.

Оказалось, что они почему-то не готовы к аресту.

Я пошел к жене. Шпика не было видно.

Жена считала, что арест неизбежен и потому стоит махнуть в Москву — за адвокатом. Нас смущала моя запись в протоколе и моя тактика — не смогут ли кагебисты использовать ее чисто юридически? Я не собирался заниматься юридическими проблемами на суде, хотел сделать его чисто политическим, предоставив юридические тонкости адвокату. Но в Киеве смелых адвокатов я не знал. Да и попрощаться с друзьями хотелось, договориться о единстве тактики Инициативной группы: было ясно, что атака на группу усиливается и, видимо, хотят сделать всю группу анти-советской (судя по направленности харьковских вопросов о группе).

Надо было также удалить некоторые дела.

Чтобы отделаться от «хвоста» (они могут взять на аэродроме или даже в Москве), вышел через окно кабинета, где работала жена, и, немного поплутав по склонам города, покатил на аэродром.

В Москве встретился с адвокатом Монаховым. Он все хотел, чтобы я изменил тактику и перешел на чисто законническую почву. Оказалось, после частных определений московским адвокатам за их «непартийную» линию защиты (они часто поддерживали право подзащитных на убеждения, настаивали на соблюдении юридических норм в следствии), коллегия юристов решила не пускать московских адвокатов в другие республики.

Из новостей московских был «лагерный» процесс над Анатолием Марченко. Его раскрутили на новый срок, т.е. устроили в лагере суд по ст. 190¹, сфабрикованный

с помощью показаний надзирателей и уголовников. Дали ему 2 года, хотя лжесвидетели путались, а некоторые раскрыли причины своей лжи. Основным аргументом суда был тезис, что раз следствие проводил помощник прокурора области, то нет оснований сомневаться в объективности следствия.

Вскоре состоялся третий суд над Михаилом Рыжиком. Его судили за отказ от службы в армии. Положенный обязательный срок службы он уже отбыл в 1961-64 гг., а его хотели взять повторно в 68-м, в связи с оккупацией Чехословакии и намерениями вторгнуться в Румынию.

Дважды суд оправдал его. В третий раз его защищал адвокат Монахов.

После суда я встретился с товарищами, присутствовавшими на суде. Монахов очень убедительно доказал юридическую несостоятельность обвинения. И все же Рыжику дали полтора года лагерей. Подоплека суда — нежелание Рыжика стать оккупантом и расовая нечистота (еврей). Следователь Кочеров пересыпал допросы антисемитскими комментариями.

Один из свидетелей, военный, несколько раз начинал свои показания словами:

— Наше третье отделение . . .

Монахов не выдержал:

— Господи, как нам надоело ваше третье отделение...

Каламбур стал крылатым.

Москва не скупилась на события.

Без всякого суда на психиатрическую экспертизу отправили члена Инициативной группы Юрия Мальцева.

Вскоре провели обыски у Н. Горбаневской, Т. Ходорович и А. Якобсона. В Ленинграде еще в июне посадили в буйное отделение психиатрической больницы Борисова, а теперь провели экспертизу и объявили невменяемым.

Петр Якир стал получать «негодующие» письма «народа»: от Сумского горисполкома, от двух учителей Кишинева.

Они явно готовились к уничтожению Инициативной группы — одних в психушку, других в лагеря, по одиночке или группой.

Мы договорились отказываться от показаний и превращать процессы в политические, в процессы о всеобщем беззаконии власти.

Я попросил у Якира в случае посадки ставить мою подпись под письмами Инициативной группы и чтобы не верили ни одному слову о моих «показаниях».

В декабре ожидалось празднование 90-летия Сталина. В газетах и журналах должны были опубликовать юбилейные статьи, в типографиях готовили плакаты с его изображением. Во главе готовящейся юбилейной шумихи стоял академик Трапезников, руководитель отдела науки и вузов ЦК КПСС. «Научной» реабилитацией руководил академик Пospelов.

Им нужен Сталин, чтобы заткнуть рот антисталинской аргументации оппозиции, чтобы вернуть идейную почву для завинчивания гаек, чтобы над страной поднялся вылезший из могилы мертвец. Власть вампиров не надеялась на силу своего вампирского либидо. Им нужен был оплеванный и убитый ими же недоучившийся Бог ослов.

Их «Бог» умер, вся страна слышит его гниение, а они пародируют Воскресение его антагониста — Сына Человеческого, т.е. Божьего. Это не ницшеанская тень Бога, а каменный гость — Медный Всадник — великий мертвец.

Как было не вспомнить слова Маркса о мертвых поколениях, давящих живые?

Александр Галич пел об этом в апокалиптической песне о том, как из запасников встают статуи гения всех времен и народов и по Москве шагает под барабан каменный многочисленный Сталин. И вампиризм Галич подчеркнул, и трансформацию Медного всадника — Каменного гостя в жуткий парад уродов.

Абсурд, апокалипсис служил постоянным фоном для репрессий.

Не случайно поэтому в песнях Галича все большее место занимали исторические аналогии и, в частности, антагонизм Христа и Сталина. (В последнем был, как мне кажется, элемент преувеличения личности Сталина, превращения его в самого Антихриста.)

Каждодневные известия со всей страны совершенно выматывают москвичей. Нервы на пределе.

Вот показательный случай. Я ушел от Якира, пообещал вернуться к 11-ти часам. А вернулся в час ночи. Петр сидел нервный, злой. Он стал кричать на меня за легкомыслие — ведь можно было позвонить. У него, помимо общего для всех нервного напряжения, было и свое: всех вокруг берут, часто за связь с ним (и ГБ, понимая его ранимость, прямо ему об этом говорило), а у него даже шмона не было. То, что говорили о его стукачестве, никого из нас не интересовало и его тоже, но если бы меня забрали из-за приезда к нему, то это его бы доконало. Он переживал за всех и часто поэтому был почти невменяем. . . .

Чрезмерная ранимость его совести меня несколько смущала. Я уже имел некоторый опыт с такими людьми. К тому же некоторые друзья стали говорить, что у него появляются элементы бесовщины. Я бесовщины не видел у него никогда, но боялся, что он не выдержит нервного напряжения.

Всем своим друзьям я часто говорил неприятные вещи прямо в глаза. Но перед Петей останавливался — я чувствовал, что разговор приведет к разрыву. А я очень любил его, не за взгляды, не за деятельность, а просто так. Это чувство переплеталось с сочувствием к жертвам его гнева, его выходок.

Под впечатлением гнетущей атмосферы Москвы я вернулся домой. Здесь не такая нервотрепка. После Москвы я всегда несколько дней отсыпался. Неслучайно и москвичи изредка приезжали к нам отдохнуть, спокойно поговорить обо всем, поболтать на неполитические темы. Часто приезжала Зампира Асанова.

В Киеве меня ждало письмо некоего Розина. Он

москвич, профессор физики, знаком с П. Якиром, участвовал в протестах, но, узнав Якира поближе, захотел всех предупредить о его аморальном поведении: пьянках и других «проявлениях». В письме правда была так хорошо смешана с ложью, что я клюнул. Это письмо давало мне повод написать статью о предательстве либеральной публики. Способ мышления Розина был знаком: заметив те или иные отрицательные черты участников движения сопротивления, они спешат обобщить их на всех, на идеи демократов и этим способом оправдать свое молчание.

Есть еще один способ самооправдания. Однажды я был в гостях у В. П. Некрасова. Одна гостя — я знал ее по институту — выпила, стала говорить мне, что я бесстрашен, титан, что она завидует моему мужеству. Я пытался объяснить, что не так уж много нужно мужества для самиздата. Но она упорно стояла на своем: вы — титан. И тогда я понял, что она просто хочет уважать себя, а трудно, нет оснований для этого. И если я — титан, то она просто честный, достойный уважения человек, все понимающий и сочувствующий. Таким способом можно дешево обрести самоуважение.

Я начал было ответ Розину, но на всякий случай спросил по телефону Якира, в каких акциях протеста участвовал Розин.

Якир удивился:

— Он же киевлянин. Ты разве с ним не знаком? Я как раз хотел спросить тебя, я получил от него аналогичное письмо.

Стало ясно, что это гебистский самиздат. Вскоре Зампира привезла аналогичное письмо к крымским татарам — перечень «порочащих» данных об активных деятелях крымско-татарского движения. О Зампире, в частности, писали, что она на народные деньги разъезжает по Советскому Союзу, входит в гарем одного из лидеров движения, ездит к кавказскому джигиту и украинскому борзописцу.

«Борзописца» я без труда расшифровал как себя са-

мого, а о джигите спросил Зампиру. Оказалось, что это аварский поэт Расул Гамзатов. Все письмо напичкано грязными намеками.

Из Москвы передали листовки, которые разбрасывали 6 октября в ГУМе скандинавские студенты Харальд Бристоль и Елизавета Ли в защиту Григоренко.

Еще в Москве очевидцы рассказывали мне, как эти листовки разбрасывались. Харальд и Елизавета приковали себя наручниками и стали бросать их вниз, со второго этажа. Большинство покупателей не обращало внимание на бумажки. Но многие поднимали и читали. Одни тут же бросали, другие быстро прятали в карман, третьи старались набрать побольше.

Считая, что к тексту невозможно было придаться, я передал листовки в несколько городов.

Появились в самиздате записи общественного судилища над Лесем Курбасом в 30-е годы (участники его — заместитель наркома культуры Хвыля, писатели Л. Первомайский, Микитенко, некоторые актеры театра Курбаса), писательского судилища-собрания над Пастернаком (50-е годы — В. Солоухин, В. Инбер, Б. Полевой и другие), «Программа демократов России, Украины и Прибалтики».

Записи судилищ были очень интересны схожестью атмосферы «товарищеской» травли, подготавливающей административную травлю, хотя события происходили в разное время. Курбас погиб в Соловках, Пастернак умер. А часть их травителей-интеллектуалов нынче ходит в либералах. Я понимал, что такие, как Первомайский и Солоухин, выступали на погромах по молодости лет. Но тогда надо публично покаяться в соучастии в преступлении. Не хотят... Солоухин ударился в «истинно русские» люди, Первомайский помалкивает...

Я задумал издавать подпольный сборник под названием «Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку» (А. Галич). Первый номер был намечен о Курбасе (биографии травивших, биография Курбаса, воспоминания

актера, сидевшего с Курбасом на Соловках). Второй номер — о Пастернаке; третий — об Александре Грине, Марине Цветаевой, О. Мандельштаме и М. Булгакове. Для четвертого материал был готов совсем свежий: 4 ноября исключили из Союза писателей А. И. Солженицына. Но кто-то уже сделал этот, четвертый сборник. Предыдущие номера не удалось собрать из-за отсутствия времени: актуальные события обрушивались на нас, все ускоряясь.

Мы получили запись заседания Секретариата Союза писателей и письмо Солженицына Секретариату. Оно нас ободрило. «Протрите циферблат — ваши часы отстали от века. Откиньте дорогие занавесы — вы даже не подозреваете, что на дворе уже рассветает».

Это было сказано в то время, когда на страну надвигалась тень Сталина.

И сейчас, в 1976 году, видна эта провидческая правда слов Исаича:

«Слепые поводыри слепых! Вы даже не замечаете, что бредете в сторону, противоположную той, которую объявили».

Через несколько месяцев в самиздате появился сборник о деле Солженицына: биография, борьба с Секретариатом Союза, протокол собрания в Рязани. Сборник этот, несмотря на его размеры, стали перепечатывать многие. Были и такие, кто никогда ничего не печатал, считал это опасным, но о Солженицыне все же брались печатать — настолько это казалось главным.

Весь ноябрь прошел в перепечатке самиздата — поиски печатающих, покупка новой машинки, не «запачканной», смена шрифтов на прежних, чтобы не нашли хозяина.

Жена настаивала, чтобы я потребовал от Чунихина машинку (она была ей нужна для работы), но я ждал суда над Бахтияровым.

25-го поехал в Харьков на процесс. Захватил с собой кагебистское письмо крымским татарам.

Вечером мы все собрались обсудить тактику ответов

свидетелей. Выяснилось, что на одной из фраз в письме Инициативной группы следователи останавливались особо, увидав, что харьковчане не могут обосновать ее, — о религиозных преследованиях. У харьковчан было мало самиздата, поэтому многих фактов они не знали. Поэтому же они нечетко представляли тактику судей на процессах.

Из иногородних приехали из Москвы Ира Якир и Славик Бахмин.

Мы рассказали о преследованиях украинской греко-католической церкви, о баптистах. Кто-то из харьковчан вспомнил о закрытии харьковской синагоги.

Во время следствия харьковчане допустили много ошибок из-за остатков веры в то, что у следователей может быть что-то человеческое, что если доказать законность своей деятельности многочисленными фактами, то удастся избежать суда или смягчить приговор друзьям.

Утром мы пошли в суд. Римма, жена Генриха Алтуныяна, с трудом держала себя в руках. И в то же время иллюзий у нее было больше, чем у других.

Мы-то, иногородние, знали приговор — 3 года, максимальный срок по статье. Харьковчане же продумывали, как убедить суд, что нет клеветы в письмах Инициативной группы, в высказываниях Алтуныяна, в найденном у него самиздате (черновик с записями об увольнении с работы, последняя страница выступления академика Аганбегяна о положении экономики страны, письмо «Гражданина» о Григоренко).

Мы были удивлены тем, что всех желающих впустили в комнату, где шел процесс. В комнате — родственники и друзья, они же — свидетели; представители «общественности», т.е. парторги учреждений, в которых работали друзья Алтуныяна, и, конечно же, товарищи в «штатском». Было душно.

Ввели Генчика. Он радостно смотрел на друзей, на жену, подбадривая всех. У него иллюзий, видимо, уже не было.

Закончилась формальная часть. Объявили перерыв. Мы вышли. Но назад нас с Ирой Якир не пустили:

- Вам нельзя.
- Почему?
- Мне начальство сказало вас не пускать.
- Какое?
- Мое.
- КГБ?
- Не знаю.

Подошел офицер. Он объяснил, что мест не хватает. Когда кто-то указал на пустующие стулья, он ответил, что не намерен с нами спорить.

Потянулось мучительное ожидание в коридоре суда. На перерыв выходили свидетели и рассказывали ход процесса. Адвокат Ария навязал Алтуняну оборонительную тактику, Алтунян пошел на это, но, будучи прямым и очень эмоциональным, изредка выходил за пределы своей тактики. Тактика мешала его политической платформе, а политические высказывания — тактике.

Суд затянулся допоздна. Все ожидали, что процесс продлят на второй день. Но суд продолжался. Очень долго совещались.

Наконец всех пустили на чтение приговора.

Начали с «достоинств» Алтуняна — женат, двое детей, язва желудка, 13 лет безупречной службы в армии, 4 медали. Я пробормотал соседке:

— Не только оправдают, но и пятую медаль дадут.

Перечисление достоинств заключили фразой:

«Но в связи с особой опасностью действий Алтуняна...»
Дальше пошел перечень «преступлений»:

— с таким-то Алтунян в 68-м году, идя из книжного магазина, пересекая площадь Тевелева, назвал вторжение в Чехословакию «агрессией»;

— на партсобрании Академии говорил о государственном антисемитизме;

— подделал выступление академика Аганбегяна (т.е. записал его сокращенно; сам академик постеснялся при-

ехать подтвердить свое письменное показание о клеветническом характере записи Алтуняна);

— подписывал письма протеста, составил записи о преследованиях в Харькове, сведения из которых попали в западную прессу.

Я стал надеяться на 1-2 года — зачем же тогда было перечислять «достоинства», смягчающие обстоятельства?

Но было сказано — «три года».

Кто-то из «общественности» сказал громко, что так ему и надо. Я процевил в морду этой общественности: «фашисты!»

В коридоре упала в обморок жена Генчика. Всех нас захлестывала ненависть к палачам-судьям и жалость к Римме, она единственная еще верила властям.

27-го собрались все у Владика Недоборы. На стене — портрет Ленина, много книг, марксистская литература, книги по истории.

Рассказали о недавно раскрытой в Харькове школьной организации. План у папанов был прост: захватить обком партии и всех вождей области прикончить в ванне с серной кислотой. У них нашли какие-то подготовительные схемы здания обкома.

Какой-то харьковчанин вместе со своей женой сбросал листовки с призывом избавиться от засилия евреев в партийном и правительственном аппарате. Бунтарь приветствовал политику партии по отношению к евреям, но считал ее недостаточно энергичной.

А процесс Алтуняна шел под свистопляску слухов о сионистической группе Алтуняна.

Бахмин рассказал, что группа студентов Москвы решила разбросать листовки к 90-летию Сталина. Я пытался доказать, что это нецелесообразно. Систематическое печатание на машинке дает больше, чем разовое разбрасывание листовок. Сил у нас немного, чтобы так запросто отдаваться в лапы КГБ. Сама техника разбрасывания не была на высоте. Конечно, бывают ситуации, когда как раз листовки нужны — после вторжения в ЧССР, при резком поднятии цен на товары, после ка-

кого-нибудь известного и особо гнусного акта правительства.

В конце концов мы договорились, что студентов нужно отговорить.

Разговор велся, конечно, письменно, т.к. не было уверенности, что нас не подслушивают.

Бахмин расшифровывал стенограмму суда. Остальные спорили о романе Кочетова «Чего же ты хочешь?» — типичном «антиингилистическом» романе типа дореволюционных, переполненном сексуализированной клеветой на движение сопротивления. Я провел параллель с «Бесами» Достоевского. Цель «Бесов» вроде бы та же, что у Кочетова, но там гений, видение действительных пороков революционеров и либералов и предвидение сталинианы.

Ира Якир отрицала общее в «Бесах» и в «Чего же ты хочешь?» Один из присутствующих отрицал гениальное у Достоевского. Я как всегда в спорах, пытался найти близкое мне и у Иры, и у её противника.

От Достоевского перешли к Константину Леонтьеву. О нем я почти ничего не знал. Рассказала Ира.

Поздно вечером за окном мы услышали крик. Это кричала Вероника Калиновская. Она шла к нам и увидела милицию. Мы не расслышали ее слов, но стали прятать стенограмму. Не успели — ворвалось около десяти легавых во главе со следователем прокуратуры Василием Емельяновичем Грищенко. У него потребовали ордер на обыск. Он был вовсе не похож на добродушного Васю, каким рисовался по рассказам. Грубил, повышал голос. Легавые встали у дверей, у окна. Малыш Недоборы заплакал. Пришлось прикрикнуть на легавых, чтоб вели себя поприличнее. Стали искать крамолу. Часть стенограммы нашли сразу. Вторую удалось спрятать под их носом.

Искали бездарно. Все время нервничал Вася. Он был охвачен истерическим азартом охотника.

В конце обыска приказал Владуку Недоборе оде-

ваться. И нам, иногородним. Всем поведением подчеркивал, что арестует именно нас.

Мы потребовали ордер на задержание. В протокол обыска мы хотели внести замечания об угрозах и грубости Гриценко. Разрешил записать только жене Недоборы Софе.

Когда нас выводили, на лестнице стоял Аркадий Левин, который прибежал, узнать, что идет обыск. Мы попрощались, сели в «воронок» и поехали. Недобора по направлению догадался, что на Холодную Гору, т.е. в тюрьму.

Что там происходило, я описал в статье «Повесть о том, как мы с Василием Емельяновичем превратили Рабиндраната Тагора в антисоветчика и что из этого вышло».

Нас троих, без Недоборы, после допроса выпустили. Я остался в доме Владика. На следующий день Софа пошла к Гриценко узнать о Владике, я остался дома. На душе было невыносимо. Поставил пластинку Владика «Любимые песни Ленина».

И весь ужас нашей истории обрушился с этих песен. Как будто дьявол разыгрывал этими песнями свой вечный водевиль.

Вот «Слушай!» — о том, как перекликаются между собой в ночи охранники царской тюрьмы. «Спускается солнце над степью . . .» я всегда любил. Это песня колодников, бредущих по этапу.

Но сегодня она звучала особенно страшно.

Динь-бом! Динь-бом!
Слышен звон кандалный.
Динь-бом! Динь-бом!
Путь сибирский дальний.
Слышно там и тут:
Нашего товарища на каторгу ведут.

Итак, ее пел Ленин, любил ее, хотя грусть песни была так несвойственна ему. Пела Олицкая Екатерина Львов-

на. А теперь слушаю я и вижу перед собой Алтуняна и Недобору, бредущих все в ту же проклятую Богом Сибирь.

А перед глазами портрет Ленина (у редких участников движения он висит), в шкафу стоят его произведения.

Слышно «Интернационал»: «Это есть наш последний, наш решительный бой!»

Да, это и наши слова. Но . . . ведь эти слова пели Сталин, Берия, Хрущев, поют Андропов, Гриценко, десятки тысяч негодяев. Пели дочери Яхимовича, когда его забирали. Пел Петр Григорьевич Григоренко.

Но ведь и псалмы, хвалу Богу, пели десятки тысяч палачей, и десятки тысяч их жертв, и миллионы равнодушных . . .

Апокалипсис, кровавый бред сумасшедшего Бога или психанутой матушки Природы? . .

Как поется в одной эковской песне (о Сталине):

Вы здесь из искры раздували пламя,
Спасибо вам, я греюсь у костра.

Разрядился в плаче. С детства не плакал, но тут истерика разрядила апокалиптическое настроение.

(Во Франции меня упрекали за то, что на Конгрессе профсоюзов учителей — ФЕН я пел «Интернационал» и даже поднял кулак. Этот кулак возмутил многих. Смешно, но именно те, кого они боятся, — члены ФКП — не поднимали кулак! А «Интернационал» пели все. Я же видел тогда перед собой комнату Недоборы, проигрыватель. И видел дочерей Яхимовича, ГУЛаг, палачей и жертв, и свой плач над трупом Интернационала.

А почему же пел? Потому что тут же были товаищи из Испании и из Чили. Кулак? Кулак — борьба, Интернационал всех честных людей. Можно и без символического кулака строить ГУЛаг (говорить хорошие слова и точить нож), можно и с кулаком быть гуманным. А здесь были люди, которые все как один радовались спасению жертвы ГУЛага. Кто знает, что будет через 20

лет. Может быть, они станут резать один другого?! Но ведь режут и без Интернационала на устах и своей резней толкают в объятия брежневского Интернационала.

Москвичи уехали. Я остался на день рождения Аркадия Левина — 1 декабря.

Все эти дни шли ожесточенные споры — о тактике борьбы, о политэкономии, о морали, причинах поражения революции.

Через три дня выпустили Недобору. В нем боролось чувство радости с чувством стыда за то, что не посадили. Он боялся, что допустил какие-то ошибки и внушил Гриценко мысль, что выходит из борьбы.

Вечером 1-го мы собрались у Левиных. Выпили. Поспорили. Ясно было, что ребят арестуют: суд вынес частное определение о возбуждении уголовного дела против свидетелей. Когда все разошлись, мы с Аркадием принялись за теоретические проблемы неомарксизма — политэкономические, этические, философские и другие.

Позвонила из Москвы Ира Якир: были обыски у шестерых, в том числе у нее. У Иры забрали мое «Россинанту» и многое другое. Я представил — сколько! Я сам видел у нее горы самиздата. Обыск у Иры — значит, усилилась атака на Петра Якира, на ее отца. Арестовали двух студенток, подруг Иры, — Ольгу Иофе и Иру Каплун. Ира намекнула, что обыски связаны с подготовкой студентов к антисталинским выступлениям.

Часа в 4 Аркадий заснул, а я лег почитать «Тюремные тетради» Грамши, которые Аркадий высоко ценил. В шесть утра — звонок. Типичный, наглый, громкий, непрерывный. Разбудил Аркадия, он открыл двери. Гриценко с компанией.

— А, опять ты!

Я столь же зло:

— Не «ты», а «вы». А вы опять врываетесь в чужие дома. Вы не имеете права в шесть утра приходиться с обыском.

— Опять права качаешь? Одевайся!

Я завел спор о ночном обыске. Он только злобно отмахивался: все, дескать, бесполезно. Мать Аркадия смотрела на меня сочувственно и испуганно. Я понял, что мой спор пугает ее, и замолк.

Она шепнула (я услышал) дочери Тамаре:

— Я соберу ему белье.

Гриценко вел себя так, что все понимали: арестуют меня. Он небрежно рылся во всем: ведь понимал, что самиздата нет.

Окончив рыться, Гриценко написал протокол и забрал Аркадия. Мне лишь бросил:

— Придете сегодня на допрос.

Обнялись с Аркадием — на 3 года, как думалось тогда.

Оставаться дома у Левиных я не мог. Гнусная, садистская тактика поведения Васи на обыске (все думали, что заберут меня) поставила меня в положение виновника ареста Аркадия. Все понимали, конечно, что это не так, но смотреть в глаза родителям Аркадия я не мог. Заехал к Пономареву. У него тоже был обыск. Его взяли 3 декабря.

После процесса в Харькове я стал изучать причины перерождения революций на примере христианской, французской и Октябрьской. Во всех перерождениях было общее, и ясно было, что не идеологии определяли перерождение. Во всех трех революциях перерождение шло по пути захвата власти техническим аппаратом, «слугами народа», соглашательства с врагом (сочетаясь с терроризмом по отношению к врагу и «неверно-мыслящим»). Каутский в «Сущности христианства», по-моему, очень тонко проанализировал трагедию христианства. Но конец у него «забавен». Христиане переродились, т.к. в самом христианстве заложено зерно поражения — соглашательство. А социал-демократы-де победят, т.к. в их теории, марксизме, нет соглашательства. Увы, социал-демократы повторили христианскую трагедию как по части соглашательства (участие в империалистических войнах и т. д.), так и на пути бес-

компромиссности, нетерпимости, и получили свою инквизицию. Общим является оязычивание, национализация, мифологизация идеологии (и научное у Маркса, и этическое у Христа мифологизировалось).

Я прочел несколько работ об инквизиции. Аналогий так много, что они не могут быть случайными.

Одна деталь — сексуальные обвинения, пачкание ими противников при патологической сексуальности самих блюстителей чистоты — привлекла особое внимание, потому что я заинтересовался этим же в произведениях Кочетова и Шевцова.

Шевцов еще в 64-м году написал повесть «Тля» о «формалистах-космополитах». Но там сексуализации политической борьбы не было. Там были евреи, формалисты. В 69-м году вышли два его произведения — «Во имя отца и сына» и «Любовь и ненависть». Если у Кочетова бросалась любовь к слову «зад», фекалиям и эксгибиционисткам, то у Шевцова — фекалии, любопытство сплетенного характера и патологическая ненависть к евреям.

Появилось две пародии на Кочетова: «Чего же ты хохочешь?» и «Чего же ты кочет?». Авторы, З. Паперный и Смирнов, отметили некоторые стороны патологии Кочетова.

Мне захотелось написать юмористический анализ фашизма Шевцова, используя фрейдистскую терминологию. Я думал сделать это за день-два.

Атмосфера в стране была удушливая, и хотелось посмеяться над идиотизмом врага.

Но как только я стал искать у Шевцова наиболее яркие места, то понял, что это серьезно. Классический психоанализ является адекватным его творчеству методом анализа.

Еще больше материала дал Кочетов. Кроме инфантильного интереса к половому акту и обнажающейся женщине, тут наличествует нарциссизм и вытекающие из него мания величия и мания преследования.

Вдруг обнаружился комплекс неполноценности фа-

мии: все, связанное с петухом (кочетом), — отрицательное.

И, конечно же, обмолвки. У Шевцова кандидат наук Арий Осафович из Одессы (т.е. жид) изучает «эмиграцию» рыб. Идея жида у Шевцова столь навязчива, что он выдал себя грамматической ошибкой. Но мне было не до подробного анализа.

*

21 декабря в «Правде» появилась статья о Сталине. Статья осторожная — есть большие заслуги, но... допустил ошибки.

В какой-то степени это было победой противников реабилитации Сталина. Ведь готовили почти полную реабилитацию.

22-го приехал из Харькова на кассационный суд по делу Алтуняна Саша Калиновский.

На суд нас не пустили: заседание суда закрытое.

Мы сидели с Сашей, слушали беседы адвокатов.

Вот вышел из комнаты заседания толстячок-адвокат из Крыма. Он сиял от победы. Его подопечный изнасиловал девушку. На первом суде прокурор потребовал 8 лет, благодаря адвокату удалось снизить до 6-ти. Адвокат добился второго суда, т.к. обнаружил ошибки в следственном деле. После доследования адвокату удалось доказать, что не было физических травм («а у нее все зажило, и по моему совету судье дали на лапу»), и суд снял еще 2 года. Теперь на кассационном суде адвокат доказывал, что насилия почти не было и что пострадавшая путается в показаниях. Суд дал 2 года.

— Вот подам выше и докажу, что ее осчастливили и теперь она довольна, что стала женщиной. Еще медали ему добьемся...

Все адвокаты весело рассмеялись шутке.

Вышел, наконец, Ария. Он добился в приговоре снятия фразы об особой опасности преступления и фразы об искажении выступления Аганбегяна. Но срок оставили тот же...

24 февраля 1970 настал суд над Бахтияровым. Я уже знал, кто какие давал показания.

Один — соученик Олега по школе. Имеет склонность к авантюрам. Милиция поймала его на чем-то и предложила стать осведомителем. Согласился. Стал агентом среди педерастов. Но молодой парень не может все вечера вертеться среди педерастов, чтобы самому им не стать. А потом завербовало ГБ (на суд его не пригласили). Был потом свидетелем у меня на суде, хотя я последний раз видел-то его лет за десять до этого.

Второй — тоже соученик. Спутанный психологически толстолиц (на суде хотели доказать, что религиозным его сделал Олег). У него нашли множество фотопленок самиздата. Основное — две работы Джиласа, отрывок из Авторханова, «Истоки и смысл русской революции» Бердяева и «Дальневосточный заговор» Светланина.

Светланин описывает «заговор» героя гражданской войны Блюхера, свое участие в нем. Не надо даже знать материалов XX и XXII съездов, чтобы понять, что это фальшивка. Блюхер у Светланина говорит языком белого офицера.

Я Олегу советовал даже не прятать эту книгу. КГБ побоится говорить вслух о собственной фальшивке. Олег все же спрятал на всякий случай. Каково же было мое изумление, когда в журнале «Грани» я прочел вскоре хвастливую статью о том, как широко литература НТС распространяется в СССР! Дескать, в Киеве книгу нашего бывшего редактора Светланина «Дальневосточный заговор» обнаружили у Бахтиярова! Глупая фальшивка — на руку КГБ — выдается за заслугу НТС. Человека судят за их фальшивку, а им приятно: как мы активны, не даром тратим деньги! Читал я и программу, рассчитанную на розовых дурачков. Дал ее мне Красин, смеявшийся над нею. Однако сам стал НТСовцем, а затем предателем своих друзей.

Мне было удалось прорваться в зал, но подошел кагебист и вывел:

— Мест нет.

Девушка, знакомая Олега, указала на пустое место.

— Тебе не положено! . .

Олег занял чисто оборонительную позицию, но провел ее безукоризненно.

О книгах сказал, что считал необходимым знать все из первоисточников, — нельзя отстаивать официальную идеологию, не зная противника.

Олег проводил политинформации на курсе. Комсорг рассказал, как блестящи были его выступления о текущих событиях. И никогда в них не было отклонений от официальной линии.

Прокурор ехидно, зло бросил:

— По-вашему, вы не сможете без Бахтирова проводить политинформации!?

— Не так хорошо, — простодушно ответил комсорг.

Все свидетели в один голос расхваливали Олега. Даже те, кто на следствии дал плохие показания, на суде, лицом к лицу с Олегом, постеснялись повторить их. Один из них, наговоривший множество ерунды на следствии, на суде сказал только, что Олег ругал бюрократизм.

— Отдельных бюрократов или строй как бюрократический?

Свидетель сказал, что «отдельных».

Только отец Н. говорил о толстовской пропаганде. Тогда сын не выдержал и сказал, что Олег, наоборот, критиковал Толстого.

Самым трудным для Олега был вопрос о программе, написанной его рукой (свидетель М. из Сибири передал ее в КГБ, сказал, что это написал Олег). Там был параграф о запрещении КПСС в будущем государстве.

Олег объяснил, что он переписал ее из какой-то книги и хотел послушать обоснованную критику программы умным членом партии М.

Адвокат попался удачный. От требовал переквалификации статьи «антисоветской пропаганды» на «клеветническую» и добился своего.

И Олегу дали 3 года по этой статье.

Мне передали, что на меня свидетели по делу Бахтирова тоже дали много показаний, а Олегу во время следствия было сказано:

— Твой шеф Плющ — шизофреник и сейчас в больнице.

Поэтому Олег был удивлен, увидав меня на суде.

Одного из свидетелей, сына генерала, я встречал как раньше. Авантюрист. Уговаривал меня заняться созданием подпольной террористической организации. Я высмеял его тогда, а на следствии свои планы он приписал Олегу и мне. Странно, что эти его показания так и не появились на суде...

Мать Олега предупредили, чтоб она не встречалась со мной, иначе Олегу будет хуже.

Я слетал за самиздатом в Москву.

Прочел, наконец, книгу Роя Медведева о Сталине. Много фактического материала по истории сталинизма, но желание нетенденциозности, объективизма изложения и принципиальная аконцептуальность привели Роя к необъективности в трактовке сталинизма, близкой к хрущевской.

В отличие от Хрущева это честная, но не смелая мысль. Чувствуется желание не видеть причин более глубоких, чем изоляция страны, подрыв производительных сил войной и т. д. Я пришел к выводу, что это еще один вид немарксиста, считающего себя марксистом. Ведь марксист должен быть беспощадно смелым в своем анализе. Если бы Медведев смягчал свой анализ из страха перед КГБ, тогда другое дело. Но он смел в действиях и недодумывает, видимо, искренне.

Москвичи получили тюремные записи П. Г. Григоренко. Избиения, циничные заявления тюремщиков о том, что смерть его им желательна.

Цинизм как метод воздействия на психику политзаключенных проанализирован был в переведенной А. Фельдманом из «Литерарных листов» статье Иво Понделичека «Как убить человеческую личность».

От имени группы коммунистов я написал письмо в

газету «Унита» (копии «Юманите», «Морнинг Стар», кардиналу Кенигу, Луи Арагону, Бертрану Расселу, Ж. П. Сартру, Генриху Бёлю, д-ру Споку и госпоже Кинг). Краткое изложение его было помещено в «Хронике» № 12. В нем были упреки западным коммунистам, которые слишком мягко критикуют действия КПСС. Я попытался также в целом обрисовать положение в стране и призывал коммунистов разработать научную теорию современного общества.

Попало ли оно западным коммунистам — не знаю. Но, если б и попало, мы бы не получили ответа — уже был печальный опыт. И это подрывало всякую веру в то, что коммунисты изменились.

В Киеве нарастала кампания против Дзюбы. В «Литературной Украине» появилась, наконец, ответная статья Дзюбы, в которой клеймился украинский буржуазный национализм эмигрантов.

Начались споры среди друзей Дзюбы, даже среди не знавших его лично.

Я пошел с женой к нему домой. Иван объяснил, что ему показали много статей из эмигрантской прессы, где Дзюбу превозносили, а его марксизм рассматривали как хорошую маску для украинского национализма и даже фашизма (я читал уже здесь, на Западе, некоторые столь же идиотские статьи, помогающие КГБ судить и травмировать людей, которых они, эмигранты, «поддерживают»)

Заговорили о слове «националист», которое Дзюба клеймил. Ведь это слово употребляется КГБ против всех, кто любит свою Родину — не Россию. Лингвистическая неточность Дзюбы поэтому стала политической ошибкой. Дзюба согласился с такой трактовкой. Я советовал ему уточнить свою позицию, выступив против конкретных украинских фашистов, а не абстрактных врагов. И написать это для самиздата, а не для «Литературной Украины», которая переверт. И подчеркнуть свою позитивную позицию по национальному вопросу, т.е. повторить основное из «Интернационализма...» (про-

тив русификации). Дзюба соглашался с этим. Договорились мы с ним также издавать сборник «Бабий Яр» о современном партийном антисемитизме, привлекая материалы из истории дореволюционного антисемитизма. В первой статье мы хотели дать информацию об исторических событиях, связанных с Яром, — человеческие жертвоприношения языческих времен (именно у Яра они происходили), бои Киева с Черниговом, бои сказочного Кожемяки со Змием (рядом — Змеиный Яр), а потом дело Бейлиса (у Яра было найдено тело Ющинского, в ритуальном убийстве которого обвиняли еврея Бейлиса).

Я обратился к друзьям, борющимся за выезд в Израиль. Они ответили: антисемитизм — «ваша болезнь, и ваше дело ее лечить». Помогать в сборе материала отказать. Мы решили издавать сборник силами славянскими. Но, увы, так и не удалось это по разным причинам.

Такая же неудача постигла замысел издавать сборник «Фальсификация как метод». У нас был уже материал из чехословацких газет и журналов. Вот фотография военных времен — группа командиров партизанских отрядов. Следующая — несколько человек исчезло, вместо них пустые места. Следующая — несколько человек осталось. Пустых мест нет, они стоят сплоченно. Были и другие фотографии такого же типа.

Издали недавно книги Бориса Гринченко. В одном из писем Гринченко пишет, что на его музей нападают украиноф[...]. Комментарий редакции — «филы». Странно, Гринченко обвиняли в украинском национализме, а именно *фи*лы против его музея. Ясно, что *фобы*.

Начал подыскивать фотографии из истории революции по типу чехословацких.

Еще интереснее история «улучшений» воспоминаний Горького о Ленине. Исчезает Троцкий, евреи, Бухарин. Но это при жизни. После смерти Горький — с того света — все еще «улучшает» свои воспоминания, не только

убавляя, но и добавляя фразы. Так и хотелось назвать главу: загробные воспоминания А. М. Горького.

Опять-таки и этот сборник не удалось собрать: те-кучка, современные события.

Почти все время отнимали занятия Кочетовым и Шевцовым. Стал разыскивать произведения Фрейда. Что-то было в Институте психологии, что-то в Институте педагогики, что-то в университете, несколько произведений в самиздате.

Чем больше я изучал моих «орлов» (так друзья называли моих подопечных — Кочетова и Шевцова), тем больше понимал глубину Фрейда, а читая Фрейда, лучше понимал «орлов».

Когда я впервые прочел «Любовь и ненависть» Шевцова, я неожиданно ощутил своеобразное психическое отравление. Два дня я был раздражительным, всех подозревал в подлости и гадости. Какая-то ненависть к миру, к людям, к жене, к детям. И тогда я не только понял, но ощутил на себе ужас фашизма в душе каждого человека.

Шевцов несет в себе огромный заряд античеловеческого и провоцирует античеловеческое в душах читателей. Я перешел к анализу духовной неполноценности этих писателей, от их сексуального маразма к не-сексуальному. У обоих — сплетни, доносительство, подглядывание в кровать противника.

Главное в этой психике — презумпция виновности, подлости всех окружающих. Это инквизиторское, подлое сознание. С ним глубоко связан манихеизм — деление мира на абсолютное добро и зло: «наши» и «враги». То, что у «наших» плохо, — приписывается врагу. Внутри «нашего мира» все взаимозаменяемо, не индивидуализировано. Поэтому слова Ленина о Толстом употребляются почти дословно для характеристики Маяковского. Лиля Брик, женщина, которую любил Маяковский, у обоих как жидовка переходит в лагерь врага, такова же судьба «желтой кофты» футуриста Маяковского, сам футуризм отдается жидам. Навязчивая идея Шевцова —

«трое в постели» — позаимствована из сплетенной биографии Маяковского и отдана жидам.

Самое поразительное — в том, что, награждая врага своими пороками (сплетни, клевета, подлость методов борьбы, подглядывание за женщинами, садизм, хлестаковщина у Кочетова), авторы в той или иной степени неосознанно показывают, что и положительные герои страдают ими. В книге Кочетова «Секретарь обкома» отрицательный герой поэт Птушков биографически — Евгений Евтушенко. Но у него все пороки самого Кочетова. У обоих писателей есть плюс-автопортреты и минус-автопортреты. Минус-автопортреты награждаются пороками, всеми символами дурного у авторов (Птушков — *петушков*, подглядыватель). Но у плюс-автопортретов все эти пороки тоже есть, хоть и прячутся автором.

Когда я впоследствии прочел критику К. Юнга, то узнал, что минус-автопортрет известен науке как «Тень», проецируемая на врага.

Манихеизм и инфантилизм у обоих сказывается на штампованности языка. Они оба мыслят словоблоками. Словоблоки несут эмоционально-положительную оценку «мысли». Вот Шевцов дает положительную характеристику плюс-автопортрета — Глебова («Во имя отца и сына»). Читаю и слышу знакомое. Я зубрил это в школе.

«Удивительный сплав противоречий: безумного лихачества и трезвого расчета, почти детской доверчивости и холодной подозрительности, доброты и злопамятности».

Наконец, вспоминаю — да я же за это пятерку получил в школе! Это Фадеев о молодом поколении, молодогвардейцах. Ищу у Фадеева.

Так, но не совсем. Начинаю сличать. Ритм фразы тот, но подпорчен. Слова немного иные. Начинаю понимать, чем хорош метод сличения цитаты и ее искажения: искажение характеризует исказившего. И действительно, все, что я обнаружил у Шевцова другими методами анализа, здесь есть. Тут и инфантильность («почти детское»), и «злопамятство», и «доброта» вместо «любви

к добру», и «трезвый расчет» злопамятного подлеца, и безумие борьбы с противником, и лихие наскоки на Пастернака, футуристов, жидов.

От Фадеева почти ничего не осталось, а в целом звучит как нечто положительное. Молекула, словоблок фадеевский, а атомы шевцовские.

Чем дальше я погружался в анализ сталинизма-фашизма и моих «орлов», тем больше колебался между двумя тенденциями своей статьи. Одна — психоанализ, обоснование для советских читателей научности фрейдского метода. Другая — публицистика, удар по морде нарастающего в стране сталинизма. Одно другому мешало. Научность страдала от красивого словца, острот. Публицистика — от перегруженности фактами, цитатами, доказательствами, от детализации.

Одни друзья ругали за публицистичность, другие — за перегрузку доказательствами.

Бездоказанность некоторых выводов удалось частично исправить благодаря друзьям Шевцова. Когда Шевцов опубликовал в 1964-м году «Тлю», то появилось много ядовитых статей. Так как в книге были лестные слова художника Лактионова о Шевцове, то последний поспешил отмежеваться от «друга». В «Литературке» появилась заметка о том, что он подписал лестную характеристику Шевцову, написанную *самим Шевцовым*, не читая «Тли». А именно такой метод применяли отрицательные герои книги жида-формалисты в «Тле», чтобы использовать громкое имя одного соцреалиста. Так Шевцов сам помог мне обосновать тезис о том, что характеристики минус-героев — самохарактеристики.

Была еще одна проблема. Морально ли это — публично копать в их грязных душах, в их страшных тайниках, в их патологии? Ведь они скорее больные люди: Кочетов — больше психически, Шевцов — социально?!

Так и не решил я тогда эту моральную дилемму — ударить по врагу или пожалеть больных людей.

С этой проблемой была связана и другая. Все, что я обнаруживал в хамской литературе Кочетовых, Шевцо-

вых, Софроновых, есть и в культуре. Долго искал различие, пока не нашел. Да, в каждом из нас сидит Шевцов-Кочетов, но культура преобразует его в человека, а хам наоборот старается затоптать человека в грязь, в говно. Культура пользуется теми же символами и даже приемами, но для того, чтобы очистить человека, пачкая все грязное по сути, но «чистое» по форме. Так делал Рабле, так делает Галич.

*

В марте пришлось опять лететь в Харьков. 10 марта (день рождения Шевченко) судили Владика Недобору и Володю Пономарева. Я уже дал в появившийся самиздатский журнал «Украинский вестник» информацию об аресте Алтуняна. Теперь нужен был новый материал для «Украинского вестника» и для «Хроники». Но главное не это — харьковчане стали мне самыми близкими людьми. Я не мог не поехать, хотя и знал, что пользы от меня будет мало. Тактику ответов на суде харьковчане уже выработали, учтя предыдущие ошибки. И морально трудно быть на таких процессах наблюдателем. И отнюдь не легче от мысли, что самого возьмут неизбежно — завтра, через год-два. (Спустя три года Генчик приехал на мой процесс, уже отбыв срок, а Таня рассказывала мне позже, как она плакала, узнав, что он, возможно, не приедет: только что после лагеря, сложности с работой — и все-таки приехал. Приехал к пустому залу, опять к хамству, угрозам кагебистов, угрозам повторного ареста.)

Когда я появился у здания суда, то увидел, как зло на меня смотрит одна из родственниц подсудимого. Она сказала:

— Он приехал сюда лишь для того, чтобы сделать процесс громким. Им теперь дадут бóльший срок.

Мать Недоборы рассказала о своем разговоре с Гриценко. Тот заявил, что ее сын — хороший человек, но дружит с особо опасным антисоветчиком Плющом. Мать ответила, что в таком случае КГБ делает преступление:

сажает хороших людей, а «особо опасных» преступников оставляет как наживку для поимки «хороших». На вопрос, почему приехал Плющ, ответила, что это она его пригласила на процесс сына.

Самого Недобору намеренно травмировали тем, что, подержав 3 дня, отпустили, зато забрали Пономарева и Левина. Это бросало пятно на Недобору. Ему было очень тяжело за товарищей, уже севших, и из-за «пятна». Ему казалось, что я презираю его за мягкость отношения к Васе, за либерализм, Бог знает за что; было тяжело смотреть в глаза женам и детям заключенных товарищей.

Комедия, разыгранная садистом Гриценко при аресте Аркадия, стала понятнее. Это не личное изобретение Гриценко. «Пятна», раздор, подозрения — это общий метод КГБ.

Писатель Антоненко-Давыдович получил от «русских друзей» предупреждение о том, что Чорновил — провокатор, завалил после поездки в Москву Григоренко.

В Киеве многие получили письмо из «лагеря»:

«Мы выдержали все муки и издевательства, какие только могут выдумать в лагере, но нас беспокоит другое — не забыли ли на воле общее дело, не спекулируют ли на наших добрых чувствах, не греют ли руки на нашем всенародном горе подлые людишки?..»

А дальше нападки на Ивана Светличного, В. Чорновила, З. Франко. Чорновил и Светличный якобы используют для себя общественные деньги, собранные семьям политзаключенных, — особенно переживали кагебисты-псевдолагерники за Мороза.

Но, как говорит Зинаида Михайловна Григоренко, «видны ослиные уши КГБ»: русизмы, украинская машинка (а письмо со штемпелем «Явас», Мордовия), грамматические ошибки-обмолвки («ваш заповедник имени Берия»). Видно было, что писал спец по чтению писем из лагеря, по украинскому самиздату, русский или русифицированный украинец (думаю, что если им дать хорошего украинского писателя в помощь, то и он по-

кажет уши — такова специфика кагебистского сам-издата).

Мать Недоборы рассказала, как она столкнулась с НКВД до войны. Она работала тогда заведующей райздравотдела. НКВД взял несколько врачей и обвинил их во вредительстве. Она, хорошо зная «вредителей», стала их защищать. Ее вызвали. Пришла, ждет у кабинета следователя. Он долго не показывается. Наконец два человека в форме зашли к нему и вышли вместе с ним. Он даже не взглянул на нее.

Она прождала до вечера. Наконец подошел сторож:

— Вы кого ждете, гражданка?

— Следователя Н. по делу врачей.

— Его арестовали как врага народа. Бегите, милочка, отсюда поскорее. Может, забудут.

Эта же ситуация описана в следующем анекдоте. В кабинет к следователю Иванову ворвался следователь Петров:

— Где Иванов? Вот ордер на его арест.

— Он вас пошел арестовать, тоже с ордером.

Глядя на нее, смеющуюся всевозможным анекдотам из нашего политического быта, стало легче за Владика. Она с ним, она его поддержит, а не станет помогать КГБ, спасая... сына от КГБ. А скольким приходится получать удар от родителей...

Тамара Левина рассказала о методе, который применили к ней. После допроса следователь повез ее на машине, по дороге читал стихи, вел светскую беседу. Привез за город, к ресторану, предложил зайти, поужинать. Сначала она не понимала, что к чему, когда же поняла, расхохоталась: «Да вы посмотрите на себя в зеркало! Как вам не стыдно!»

Я просидел два дня в коридоре суда. В первый день Вероника Калиновская пожалела меня и сидела со мной за компанию. К нам подошел милиционер, не пускавший в комнату суда. Он начал «тыкать», доказывать, что нам здесь делать нечего. Я довольно грубо попросил

его убраться. Вероника стала переживать, что я обидел легавого.

— Он ведь хотел понять нас, зачем мы здесь скучаем. А «тыкал» потому, что так привык!

Меня сжало противоречивое чувство уважения к ее доброте а ля «князь Мышкин» и злости на эту абсолютную доброту.

— Ну, что ж, когда придем к власти, предложим тебя в министры справедливости. Будешь спасать кагебистов, палачей от гнева народного.

Прокурор на суде — Лебедев, старый маразматик. В его голове этот процесс — продолжение старых, добротных процессов 30-х годов, в которых он принимал участие. Поэтому он допускает гениальные обмолвки:

— Подсудимый Пономарев, когда вы последний раз встречались с Кировым?

Он имеет в виду, конечно, Петра Якира. Но его подводит общее у Петра Якира и Кирова — слог «кир», убийство Сталиным Ионы Якира и Кирова. Для него это всё враги народа, от Кирова—Якира до Пономарева—Якира.

Маразм общества выражен в маразме прокурора.

— Еврейские евреи . . .

Лебедев хотел похвалить государственных евреев, хороших, оборотом «советские евреи», чтобы противопоставить их плохим — сионистским, демократам (о процессе ГБ распускало слухи, что это сионисты. Когда Пономарев сказал, что он воспитывался в семье революционеров, из зала кто-то крикнул: «Бундовцы, конечно» . . .).

Для прокурора на самом деле нет хороших, советских евреев — они все жидаы, пятая колонна. И поэтому он выдал «евреев в квадрате», т.е. «жидовские морды».

Адвокат Монахов, скучая от глупых речей Лебедева, читает как раз «Город Глупов» Салтыкова-Щедрина. Ему не надо переключать внимание: он читает о том, что видит перед собой, он — житель города Глупова, а перед ним глуповцы за судейским столом, среди публи-

ки. Слова судьи, прокурора продолжают фразы глуповских губернаторов, городских, полицейских. Монахов читает со вкусом, демонстрируя всему залу, что он читает, и ухмыляется словам героев Салтыкова-Щедрина и фразам Лебедева.

Недобора и Пономарев спокойны, зная все последующее. Но врожденное уважение к слову им мешает. Они признают, что в письме «Гражданам» ошибка: написано «политика неприкрытого шовинизма». Нужно было сказать «прикрытого». И это использует прокурор как признание клеветы . . .

Когда свидетель Тамара Левина отвечает на вопрос о религиозных преследованиях, она перечисляет: греко-католическая, униатская . . .»

Судья прерывает — хватит двух церквей. Тамара улыбается: она говорит об одной церкви, употребив разные названия.

Вообще на этом процессе больше юмористического отношения к суду, чем на Алтуняновском. Ведь нет уже иллюзий, и потому меньше возмущения.

Я зашел к Василию Емельяновичу Гриценко за книгой «Национализм» Рабиндраната Тагора.

— Я отдам вам книгу Чорновила, если придете на допрос.

— Покажите вначале постановление прокурора.

— Не получите тогда книгу.

Разговаривает не глядя, уверенный в безнаказанности. А Левина он направил на экспертизу в психбольницу. Тамара устроила скандал, пригрозила, что поднимет шум на весь мир. Он только ухмылялся.

Уже после процесса над Аркадием в журнале «Социалистическая законность» была статья о Гриценко. Оказалось, что Вася — следователь-романтик. Его повысили в чине — он стал старшим советником юстиции. Со страницы журнала смотрело лицо добродушного сельского учителя, и было в нем что-то одновременно и бабье, и садистическое.

Мне удалось увидеть Владика и Володю только два

раза, когда их водили в туалет. Я поднял кулак (тот самый, который так испугал некоторых на конгрессе ФЕН). Владик ответил. Этот кулак связал нас между собой и с дореволюционными поколениями. Это кулак единства и преемственности, а не кулак мщениия.

После приговора 11 марта поздно ночью мы черным ходом вышли во двор. Важно прошагал мимо Вася. Одна из жен осужденных закричала ему:

— Гестаповец! Когда тебя будут вешать, я сама надену на твою шею петлю.

Все стали успокаивать ее:

— Веревка пригодится в хозяйстве. Он сам сдохнет.

Когда она пришла в себя, то жалела о сказанном — мы же не горим мщением.

Мне сказали, что мои слова о «фашистах» стали известны в ГБ и они искали сказавшего («общественность» не знала моей фамилии).

Недобора в последнем слове повторил слова Чаадаева об истинной любви к Родине, о любви с открытыми глазами.

Его судили враги народа, палачи Родины за... клевету на Родину (под которой они понимают губящее Родину государство).

Я остался у Софы Недоборы на несколько дней. Она сказала, что сознательно забеременела, чтобы не выбросили с работы (а за этим сознательным стояло более важное, бессознательное — на всякий случай сберечь от Владика еще частицу). Потом это повторила еще одна знакомая.

Господи, сколько ужаса в этом государстве и сколько человеческой, беспомощной доброты и любви женской у жертв государства, в их бабьих хитростях. Как будто Левиафан посмотрит на их детей, на свои «законы», оберегающие материнство!..

(Кто посмотрел на мать, когда спрятали от родственников маленького сына Надийки Светличной? Мать арестовали, а ребенка запрятали в детский дом, скрывали, где он, и только после решительных протестов от-

дали, но и отдали-то старой совсем уже бабушке в деревню, подальше от города; уже двухлетнему, ему запретили жить в Киеве.

Кто посмотрел на маленькую дочь Игоря и Ирины Кальнец, когда их арестовали только за то, что талантливы, что их стихи — об Украине, о ее страданиях и боли?!)

Слушая Софу, я вспомнил лозунг «пролетарского гуманизма» профессионального гуманиста Горького: «Если враг не сдается, его уничтожают». И сказано это было в 30-е годы!

Не успели прийти в себя после суда, как уже выгнана с работы Тамара Левина (за смелость на суде, за то, что на собрании выступала в защиту Солженицына).

Выгнали по «переаттестации». Аттестационная комиссия проектного института Днипросталь привела в обоснование своего решения следующее:

«Товарищ Левина Т. З. — квалифицированный инженер, хорошо знающий проектное дело. Повышает свой технический уровень чтением технической литературы и занятиями техучебы в отделе... Занимает неправильную позицию в оценке политических событий. Имело место публичное выступление тов. Левиной в защиту писателя Солженицына... Общее собрание коллектива отдела автоматики хлопотало перед месткомом института о лишении Т. Левиной звания «ударника коммунистического труда». Тов. Левина Т. З. по технической подготовке отвечает должности старшего инженера, однако, учитывая перечисленные недостатки, в данное время ей не следует доверять руководящую работу в коллективе».

Из решения комиссии следовало только понижение в должности, но директор института Литвиненко выгнал Тамару с работы.

Еще перед судом выгнали с работы свидетеля Льва Корнилова.

Роман Каплан, друг Левиных, пришел послушать процесс Его не пустили, он без споров ушел. После этого

ему все равно предложили уйти с работы «по собственному желанию». Были и другие друзья, которым только за то, что они остались друзьями, пришлось иметь дело с КГБ.

Когда разбивали одну группу самиздатчиков на 3 процента, преследовали две цели: сильнее их всех травмировать и доказать высшему начальству, что и харьковское ГБ не дремлет: аж три политических дела за полгода! Не исключен расчет, что на последующих процессах и свидетели, и подсудимые будут вести себя менее стойко. Произошло же обратное — у всех исчезла навязная вера в остатки законности. Все стали тверже.

Все эти события происходили под барабанный бой 100-летия Ленина. Не решившись оживить культ Сталина, обновили культ Ленина.

Со всех газет и журналов на вас смотрело его лицо. Он машет народу ручкой, показывает в светлое будущее, держит кепочку, смотрит на карту. И как бы человек ни уважал его, но охватывало отвращение к его лицу, речам.

И то, что его превозносило полицейское правительство, неизбежно связывало его с ложью и террором власти.

Над Москвой ночью вдруг появилась его освещенная прожекторами голова — на тросе, спущенном с дирижабля. «Явление Ленина народу», «воскресение из мертвых».

Народ ответил на атеистическое пародирование Евангелия Ленинианой — серией анекдотов. Большинство анекдотов «святотатственные», насмехающиеся над речами, лысиной, картавостью речи, святочными рассказами о Ленине, большом и маленьком.

Появился итоговый анекдот:

В электронно-счетную машину ввели все анекдоты юбилейного года и попросили выдать среднеарифметический анекдот года. Машина выдала его:

На улице встретились два еврея.

— Здагастуйте, Василий Иванович!

— Здгаствуйте, Владимир Ильич!

Анекдоты рассказывали все, вплоть до кагебистов. Но их даже не надо было сочинять. Их поставляла жизнь.

«Правда» опубликовала тезисы к 100-летию Ленина. Оказалось, что Ленину приписали теорию Отто Бауэра, которую Ленин высмеивал.

Радио Пекина поспешило сообщить об этом советским гражданам. Все бросились сверять. И хохотали над самопародией ЦК КПСС.

ЦК ничего лучшего не мог придумать, как в отдельно изданной брошюре выбросить ссылку на «Ленина»-Бауэра, но . . . оставил выводы из Бауэра-Ленина.

Тут не нужен психоанализ, чтобы понять внутренний смысл «ленинизма» ЦК КПСС.

Еще более анекдотичными были ошибки прокурора Лебедева на процессе над Аркадием Левиным 24 апреля, когда еще не успела затихнуть свистопляска вокруг «Ленина». Процесс как бы демонстрировал, что нужно понимать под словом «Ленин» — разгул беззакония, террора и лжи.

Левина обвинили в составлении письма «Гражданам» и в обращении в ООН.

Когда Тамару не допустили на суд, Аркадий отказался участвовать в процессе.

Монахов в своей речи потребовал освобождения Аркадия из-за отсутствия состава преступления.

Я еще перед судом попросил Монахова, чтоб он обратил внимание на анекдоты. Когда он рассказал, что Лебедев несколько раз назвал Левина Лениным («подсудимый Ленин»), я не поверил. Оказывается, над этой обмолвкой смеялись все — родственники, свидетели и сам Левин вместе с Монаховым. Судья Борисенко покраснела от злости, но так была заморожена этой обмолвкой, что сама ее допустила.

В этой обмолвке выразилась другая сторона понимания Ленина-революционера, беспокойного человека и жидовской морды (Левин-то был марксист, и Лебедев прекрасно это знал), того Ленина, который им ни к чему,

которого бы они с удовольствием расстреляли, стерли из народной памяти: куда как удобнее Сталин или Брежнев.

Кагебисты компенсировали наш смех своим — они хохотали, грубили, свистели, прерывали Монахова: «Нам вас очень жаль», «Нам вообще непонятно, зачем тут присутствует адвокат».

От последнего слова Аркадий отказался, сказав, что не желает участвовать в этой комедии.

Во всех трех процессах основным аргументом обвинения подсудимых в клевете было то, что у них высшее образование и потому-де они не могли не знать, что пишут и подписывают клевету.

Несмотря на сплетни, распускаемые по городу, нашлось немало людей, передававших поклон подсудимым и даже дававших деньги, чтобы поддержать семьи. После процессов некоторые знакомые отошли, зато пришли новые, узнавшие о процессах. Даже «общественность» в лице двух-трех человек поняла происшедшее и (в душе!) встала на сторону подсудимых.

Уезжая из Харькова, я вспомнил слова Аркадия при прощании:

— Слава Богу, наконец выплюсь в лагере.

*

Ира Якир, приезжавшая на процесс, рассказала о событиях в России.

Судили Петра Григорьевича Григоренко. Профессор Детингоф, давший в Ташкенте заключение, что Петр Григорьевич здоров, на суде заявил, что его заключение было ошибочным. Зинаида Михайловна Григоренко написала открытое письмо ко «всем демократическим организациям» и ко «всем свободолюбивым гражданам мира».

Судили Илью Габая и Мустафу Джемилева. На процессе Джемилев и Габай потребовали вывести агентов КГБ, оказывающих давление на суд и мешающих близким и друзьям присутствовать на суде. Илье и Мустафе

удалось превратить процесс в политический. Они говорили о разгуле великодержавного шовинизма, о безнаказанности клеветников и погромщиков типа Грибачева и Кононенко. Мустафа закончил свою речь словами:

— Родина или смерть!

Этим спаренным процессом над евреем и крымским татаринцом КГБ помог борьбе с элементами антисемитизма (в 20-е годы велось переселение евреев «на землю», в крымские степи, был план создать Еврейскую автономную республику в Крыму).

Ира рассказала, как взяли Славика Бахмана. Нескольким человек обсуждало вопрос о листовках к 90-летию Сталина. Решили уничтожить уже подготовленные листовки. Славик до дома не дошел — уничтожение листовок, повода к аресту, не входило в планы КГБ.

В Рязани, в Саратове раскрыли подпольные марксистские группы с программным документом «Закат капитала», написанным Юрием Вудкой. Достать «Закат капитала» мне так и не удалось.

В Горьком продолжалось дело студентов и преподавателей. Историк Владлен Павленков был направлен на психэкспертизу. Его жена Светлана написала заявление, предупреждая, что, если мужа объявят невменяемым, она покончит с собой самосожжением. Владлена признали здоровым.

Работу горьковчан «Государство или революция» я к тому времени уже прочел. Это работа в духе «Трансформации большевизма»: анализ несоциалистического характера СССР на основании работ Маркса, Энгельса и, главным образом, Ленина.

В январе 70-го судили Сокульского, Кульчинского и Савченко — за изготовление и распространение «Обращения творческой молодежи Днепропетровска», за распространение «Репортажа из заповедника имени Берия» В. Мороза, статьи академика Аганбегяна «Советская экономика» и других самиздатских материалов.

В то же время, что был суд над Левиным, осудили на

новый срок (еще 5 лет в дополнение к недосиженному) Святослава Караванского во Владимирской тюрьме.

С. И. Караванского впервые приговорили к 25 годам в 44-м, за участие в националистической организации в Одессе (организация принадлежала к подполью, равно антифашистскому и антисоветскому). В 1961 г., когда по новому кодексу максимальный срок стал 15 лет и часть 25-летников стали выпускать, выпустили и Караванского. Но стоило ему написать несколько писем протеста против русификации, и в 1965 г. Генеральный прокурор Руденко опротестовал снижение срока — Святослава без суда отправили отсиживать неотбытый остаток 25-ти лет. Теперь час его выхода еще больше отдалялся.

Почти одновременно мы получили три работы Валентина Мороза:

«Среди снегов» — памфлет о первом шаге Дзюбы в сторону соглашательства с властями, о его статье в «Литературной Украине»;

«Моисей и Датан» — ответ белорусской поэтессе Евдокии Лось, где Мороз стыдит ее за измену Белоруссии, показывает вторичность ее белорусскости, отказ от развития белорусской культуры;

«Хроника сопротивления» — о русификации на Западной Украине.

Все три написаны убедительно и блестящим языком. Впечатление эти работы произвели на всех огромное.

Упреки Дзюбе казались мне чрезмерными. Мы обсуждали с друзьями тезис Мороза о том, что Украине нужны «мученики», «апостолы» и т. д. Я считал, что ошибка Дзюбы как раз поможет исчезновению «культы Дзюбы», «дзюбизма». Когда однажды один знакомый показал фотографию Дзюбы, его жены и дочери, то мне стало тошно от преклонения перед «святым семейством» (он не был даже их близким другом). Многие «дзюбисты» сидели в кустах и только втихую поклонялись «герою» и «апостолу».

Украине нужны разумные массы украинцев. Оди-

ночки-герои лишь ведут за собой стадо баранов, если героям поклоняются.

А «мученики» вовсе ни к чему. Их делает власть тысячами.

Эмоциональная убедительность страсти борца, логика фактов и анализа, прекрасный язык оказали большое воздействие на всех. Такого уровня публицистики мы на Украине не видели. Даже те, кто полностью под-держивал Дзюбу, соглашались, что Мороз убедителен, доказывая, что нельзя идти ни на какие компромиссы с властью.

Дзюба не хотел отвечать Морозу, т.к. не хотел раскола.

Однажды, в конце мая, у меня собрались друзья. Кто-то постучал. Вошел Валентин. Он не был похож на того, каким я видел его во Львове. Не так худ, исчезла угловатость движений, отчужденность в разговоре.

Мороз рассказал об обысках, о слежке. Ясно было, что арестуют его со дня на день. Был сосредоточен, спокоен. Весь отдавался той теме, о которой говорилось, — о преследовании униатской церкви, расхищении национальных культурных ценностей, запрещении крестьянам продавать «пысанки».

Среди нас была девушка, знавшая о патриотическом движении лишь понаслышке и потому боявшаяся самого слова «националист». Сколько я ни доказывал обратное, она связывала национальное движение с русофобством. И вот Мороз, может быть, самый страстный патриот, зачаровал не только нас, но и ее. Он обладает огромной силой духа, которая проявляется в жестах, выражении лица, в тоне, в аргументах. Когда-то писали о личном магнетизме таких людей. Даже не соглашаясь с Валентином, покоряешься обаянию его личности.

Мы обсудили целый ряд практических проблем и пошли провожать его. Я стал защищать Дзюбу. Он говорил о нем с большим уважением, но считал его статью большой ошибкой, уничтожающей авторитет Дзюбы, дающей основание таким, как поэт Драч, оправдать свое соглашательство с властью. Ведь сам Дзюба когда-то

обвинял Драча в соглашательстве. Драчи, Евтушенки, Павлычки исходят из тезиса: «90% стихов для КГБ, 10% — для народа». А народу и эти 10% не нужны будут.

Я вспомнил слова одного из них: «Я к советской власти применяю политику кнута и пряника». На деле это к ним применяют эту политику. Им позволяют писать либеральные стишки, демонстрировать Западу «прирученную оппозицию» и свободу ее творчества. Когда они выходят за рамки дозволенного либерализма, их стегают кнутом, и они возвращаются на стезю советской добродетели. С каждым годом рамки дозволенного свободомыслия сужаются.

Когда Евтушенко в порыве искреннего чувства послал в ЦК протест против вторжения в ЧССР, то уже на следующий день пожалел о своей искренности. На вопрос западного корреспондента: «Правда ли, что Вы послали письмо в ЦК?», он ответил: «Нет, письма я не посылал!» Столь хитрым ответом он был сам восхищен и всем кому не лень рассказывал об этом (посылал-то он телеграмму, а не письмо!).

По дороге к метро за нами шли кагебисты, было их много, и они не скрывались, рассчитывая испугать. Валентин только улыбался, хотя видно было, что садиться ему не хочется.

Все шли молча, понимая, что эту личность они из рук не выпустят, не простят ему его силы и бесстрашия...

Простились тоже молча — но желать выдержать новый срок никто не мог, а говорить «до свидания» было бы ложью.

1 июня Валентина Мороза арестовали.

В мае в Бутырской тюрьме покончил с собой Владимир Борисов, организатор легального «Союза независимой молодежи» г. Владимира (1968 г.). Этот союз подал заявление о регистрации (согласно ст. 126 Конституции) в горисполком:

«Основная цель Союза независимой молодежи — все-

мерно способствовать развитию социалистической демократии и общественного прогресса в нашей стране».

Вместе с Борисовым мы как-то ночевали у П. Якира. Он рассказывал о смысле борьбы за разрешение Союза. Его подход совпадал с точкой зрения П. Г. Григоренко: нужно на каждом шагу требовать выполнения обещаний Конституции, объяснять населению, особенно молодежи, что у народа есть права и эти права должен *использовать народ*. Не должны они быть только пропагандистским крючком для западных либералов.

Борисова посадили в психушку. Я испытал страх перед психушкой в тюрьме и знаю те минуты отчаяния, которые могут довести до самоубийства. Психиатры и КГБ заинтересованы в таком конце: это доказывает суицидальность заключенного. Об этом писал Григоренко в своих тюремных записях.

Тяжело слышать о смерти и мучениях незнакомых людей. Но вдвойне, когда знал человека. Втройне, во много раз страшнее, когда знал человека хорошо.

В мае улетел в Израиль Юлиус Телесин. Юлиус — математик, уволенный в 69-м году из Центрального экономико-математического института. Как и все, уволен незаконно.

Я с ним встречался у Якира. Юлиус блестяще бил кагебистов знанием законов. Профессор Цукерман, его друг, издал в самиздате серию писем, написанных им в различные инстанции. Как определял их Юлиус — «юридические симфонии». Цукерман доказывал отсутствие законности во всех сферах жизни. Он отмечал какое-нибудь нарушение закона и посылал об этом заявление в низшую инстанцию. Оттуда ему отвечали, игнорируя закон, или вовсе не отвечали. Тогда он посылал выше, изложив незаконность ответа низшей инстанции. Потом еще выше, пока не доходил до Генерального прокурора Руденко.

Так он своими «симфониями» (заявлениями и ответами) практически доказал всеобщность беззакония — по горизонтали (все сферы закона) и по вертикали (все

уровни власти). Несмотря на всю мою нелюбовь к су-конному языку лживых советских законов, я испытывал эстетическое наслаждение от новой формы сатиры на строй, новой разновидности эзоповского языка. [Сейчас появились две новые формы сатиры — логическая А. Зиновьева («Зияющие высоты») и «пьяная» В. Ерофеева (повесть «Москва — Петушки»)].

Эти симфонии пересказывались из уст в уста, превращались в легенды. К сожалению, у меня не было всех симфоний, всех «дел», которые вел Цукерман с властью. Особенно прекрасной была увертюра о статье в газете «Известия» «Иржи Гаек мотается по свету». Цукерман, ссылаясь на закон, запрещающий вести пропаганду против братских социалистических республик, клевету на них, обратил внимание Генерального прокурора Руденко на особую опасность нарушения закона газетой «Известия».

Тут Цукерман несколько отошел от юридического языка, откровенно издеваясь над прокурором, цитируя, например, Ленина о том, что нельзя молча смотреть на преступление.

Телесина незадолго до моей зимней поездки в Москву обыскали по рязанскому делу (марксистская группа). Взяли у него огромное количество литературы и пишущую машинку.

Он обещал мне новый самиздат, и я пошел к нему домой. Захватил портфель, вытрусив из него самиздат, уже собранный.

На станции метро «Маяковская» вдруг услышал:

— Пройдемте!

Оглядываюсь — две легавых.

— А куда и зачем?

— Вот тут на станции наше отделение. Проверим ваши документы.

За столом — штатский. Типичное лицо кагебиста-следователя.

— Вчера на станции молодой человек ограбил женщину и ударил ее по голове.

- А я тут причем?
- У вас такой же плащ.
- Таких плащей много. Что вам от меня нужно?
- Мы общаем вас.
- А кто вы такой?
- Я из уголовного розыска.
- Ваши документы?
- Нет, давайте ваши!
- А у вас есть право требовать мои?

Поторговались. Показал. Капитан угрозыска Кузнецов.

- Вы зачем приехали в Москву?
- А зачем вам это знать?
- Отвечайте!
- В гости к Петру Якиру.
- А кто это?
- Вы сами знаете.
- Показывайте, что в портфеле.
- А понятые, а ордер на обыск?
- За понятыми пошли. А ордер не нужен, если срочно разыскивается преступник.

Поспорили о толковании законов. Я потребовал кодекс.

- У меня здесь нет.
- А что вы у меня ищите? Орудие удара по голове женщины или ее чемодан?
- Ишь, веселый какой!!!

Подождали понятых. Зашли два растерянных парня.

- Ваши фамилии?

Парни молча смотрят.

«Кузнецов» (?):

- Вам это не нужно!
- Нужно. Я буду жаловаться в Прокуратуру о том, что КГБ использует угрозыск для своих целей.
- Обыскать насильно.

Драться не хотелось. Показал портфель. Вынул книгу.

«История великой французской революции» Кропоткина. Зачем вам революция? Кто такой Кропоткин?

- Есть станция метро его имени.

— А-а-а! Что еще в портфеле?

— Ничего. Смотрите.

Смотрю сам и вижу какой-то самиздат.

Но капитан уже понял, что остался с носом, и даже не заглянул в портфель.

Я потребовал составить протокол.

— А зачем, если ничего не нашли?

— По закону положено. Я буду жаловаться на ваши действия.

— Жалуйтесь. Ишь как полюбили жаловаться. То в ООН, то фашистам...

Я пошел к Юлиусу.

КГБ люто ненавидел Цукермана и Телесина за законничество, за их дотошность, формализм. У Телесина забрали в декабре 70 наименований книг и самиздата. Он стал преследовать их сатирически-юридическими жалобами. Из него пытались выкачать сведения о Рязани, а он требовал наказать за беззаконие следователей. Благодаря незаконности ведения обыска, даже те материалы, которые представляли для них интерес, потеряли силу вещественного доказательства. Он логично спрашивал их: «А может, это вы подкинули?» Ему прямо заявили: или Израиль, или тюрьма. Он, естественно, выбрал Израиль.

Телесин уже раньше собирал материал на капитана Кузнецова. Тот проделывал такие обыски не один раз. Я написал с помощью Телесина жалобу: для «дела Кузнецова».

В тот приезд я зашел к Ане Красиной. Виктора судили в декабре 69-го года «за тунеядство» (прошел год и три месяца, как его выгнали с работы). Аня на суде доказывала, что муж ее не тунеядец, он зарабатывает переводами, помогает ей и детям (прокурор обвинял Красина в том, что он не заботился о детях, не ходил на родительские собрания в школу, не был на дне рождения сына).

Когда я зашел к ним, все три сына с радостью бро-

сились ко мне и тут же стали рассказывать о суде. Виктора они очень любили.

— Дядя Леня! После суда мама заболела, и мы вызвали врача. Врачиха пришла и стала кричать на маму — почему не она, а я открыл дверь: «Это невежливо». А мама болела.

— А мне учительница поставила тройку, а я не сделал ошибок.

Учительница другого сына, наоборот, стала относиться к ребенку лучше.

Красину дали 5 лет высылки. Весь вечер тянулся разговор о папе, милиции и учителях. Аня рассказывала о тяжелом физическом состоянии Виктора (сердце, язва желудка после первого лагеря).

К пиджаку моему был приколот значок — чехословацкий флаг.

— Дядя Леня, а зачем вы *ихнее* носите?

Объяснил. Успокоились — дядя Леня не за «них».

Обстановка нищенская, одна комнатуха, где спят все вместе — трое детей и мать. Даже не квартира, а какая-то пристройка временная, без отопления, обогреваются маленькими электрическими плитками.

Вот такие грустные воспоминания возникли при известиях о Борисове и Телесине.

От ежедневных известий об обысках и арестах, об усилении полицейской психиатрии становилось все тяжелее на душе. Мы решили отдохнуть в Одессе, у мамы с сестрой.

В Одессе жила Нина Антоновна Строкатова-Караванская, жена Станислава Караванского.

Я приехал к ней как раз в разгар событий. Тюремный суд вынес частное определение о Нине Антоновне — якобы она передала на волю тайнопись — рукописи мужа. В деле было много загадочного. Рукописей было очень много, — странно, откуда у него было так много времени, и в тюрьме-то, при постоянном надзоре. Откуда он взял лекарства для тайнописи? Не было графологической экспертизы. Адвокат доказывал отсутствие со-

става преступления. Но не только Караванскому добавили срок, а еще и Нине Антоновне угрожали судом.

Я несколько раз приезжал к ней. В «Черноморской коммуне» появилась статья о ее связи со «шпионом». В Мединституте состоялось собрание. Я зашел к ней после собрания.

Нина Антоновна насмешливо рассказывала о демагогических выступлениях сотрудников. Оскорбления, обвинения, фальсификация дела Караванского и ее завлений.

Один из сотрудников, армянин, заявил:

— Нина Антоновна, я вижу в вас прекрасную украинскую женщину. Но я не вижу в вас русской женщины.

Наивный Россинант выдал обмолвкой суть требования быть «советским». На его месте русский демагог сказал бы «советской женщины» — язык-то он лучше знает.

У Нины Антоновны собралось тогда несколько друзей. Один из них, Притыка, с огромными усами (я таких называл «усатиками», ибо для некоторых усы были единственной формой протеста против русификации, — «усы как вторичный национальный признак»).

Притыка слушал, слушал и не выдержал:

— А на каком языке они говорили?

Как будто не ясно, что в Одессе все говорят по-русски. Этого человека интересовал язык, на котором издевались над Строкатовой. Не человек, не античеловечность важна, а язык античеловечности.

Я удивительно посмотрел на Нину Антоновну: «Что за идиот?» Она пожала плечами...

Такие истерические националисты обычно и предают своих товарищей. Так случилось и с Притыкой в 1971 году, когда он не только рассказал все, что знал о национальном движении, о Нине Антоновне, но и лжесвидетельствовал.

Нина Антоновна была готова к лишению работы, написала протест.

Однажды она сообщила мне, что в нескольких портах Черноморья началась эпидемия холеры. Будучи бактериологом, она удивлялась, что Одессу не закрывают и, более того, из зараженных портов приезжают в Одессу люди. Рассказала нам, какие меры надо предпринимать для профилактики. Она забыла о тучах над ней и думала только об угрозе всесоюзной эпидемии. Собиралась сама практически бороться с холерой в Одессе (что холера появится здесь, она не сомневалась).

Через несколько дней она сообщила, что город закроют такого-то числа. Эту же дату сообщили отдыхающим в санаториях. Моя мама работала в санатории и сказала, что врачи посоветовали отдыхающим поспешить уехать из Одессы. Строкатова возмущалась: городское начальство не думает о распространении холеры на весь Союз, а хочет лишь облегчить себе задачу размещения и прокормления отдыхающих, контроля за их состоянием и т. д.

— Они никогда не думают о людях, о стране, а только о себе . . .

У нас тогда отдыхала Зампира Асанова. Зампира поспешила на вокзал. Там уже стояли огромные очереди за билетами. Такие же очереди на аэродроме, на автовокзале. Мы встали в очередь за билетами на автобус. Зампира, увидав, что не успеет купить билет на единственный и последний автобус, нужный ей, куда-то скрылась. Она боялась остаться в холерной Одессе: КГБ может воспользоваться ситуацией и устроить любую провокацию.

Через 10 минут она прибежала с билетом.

— Эх вы, интеллигенты! Я дала три рубля уборщице, и она принесла билет.

Зампира сама интеллигент, но постоянные стычки с милицией, необходимость срочно куда-то ехать, прятаться от КГБ помогли ей преодолеть отвращение к взятке милиции, кассирам, кому угодно.

В Одессу, холерную ловушку, попала жена В. Мороза Раиса с сыном. Я встретился с ней. Она волновалась, что вынуждена будет остаться в Одессе без всяких сведений о Валентине. Я спросил ее согласия на ответ Валентину о поведении Дзюбы. Объяснил, что не считаю неморальным дискутировать с тем, кто сел. Наоборот, *этим* я подчеркиваю то, что он не ушел из жизни, что его идеи живут в движении сопротивления (термин ввел в украинское движение именно Мороз).

Она согласилась.

Время показало и то, что Мороз точно предсказал падение Дзюбы, и то, что не все, поддерживающие Мороза в споре с Дзюбой, проявили стойкость. Единомышленники Мороза в какой-то мере заострили его позиции, извратили их до фанатизма, истерии (чего не было у самого Мороза). Один студент, например, пришел к Дзюбе бить ему морду за измену.

Было и худшее — раскол между «киевлянами» и «львовянами» («восточниками» и «западниками»). Среди «киевлян» были «львовяне» и наоборот. «Львовян» справедливо возмущал недостаток политической активности «киевлян», «киевлян» столь же справедливо, помоему, возмущала излишняя эмоциональность «львовян». Лишь аресты 1972 г. соединили и разъединили всех по другому критерию — стойкости.

Морозу я так и не ответил, отсоветовал Иван Светличный. Ответ, действительно, мог на время обострить отношения. Да и филологизм «киевлян» меня больше раздражал, чем излишняя эмоциональность «львовян».

После закрытия города объявили карантин по санаториям. Всюду появились объявления о «желудочно-кишечных заболеваниях». Страх перед правдой и тут победил все разумные соображения медицинского характера. Писали о дизентерии, тифе и лишь изредка — о холере. По телевизору читали лекции «о желудочно-кишечных заболеваниях» и почти не упоминали о холере. Кого обманывали?

В это время я как раз читал Кочетова «Чего же ты

хочешь?». Положительная героиня с презрением и смехом отвергает слова буржуазной пропаганды о том, что в СССР бывают эпидемии... чумы. Как в воду глядел Кочетов. Прошло полгода после появления его книги, и началась эпидемия холеры.

Все вдруг вспомнили известную дореволюционную поговорку: «А теперь поговорим за холеру в Одессе». Среди населения ходили самые дикие слухи.

Ко мне как-то подошла соседка:

— Знаешь, откуда холера?

— ???

— Жиды подсыпают.

У соседа, полковника-отставника, члена партии, была своя теория: «Американцы начали бактериологическую войну. С самолетов спускают».

Я спросил:

— Порошок холерный?

— Не знаю.

Среди моряков и рыбаков, несмотря на их традиционный антисемитизм, ходила арабская версия, менее нелепая:

— Вот кормили, кормили их, оружие им возили, а от них только холеру завезли.

«Знатоки политики» говорили о том, что вообще надо прекратить пускать черномазых, косоглазых и арабишек в Союз — грязные, некультурные, наглые и неблагодарные...

Город явно не был подготовлен к каким-либо стихийным бедствиям. Не было достаточного количества хлорки. В начале вспышки эпидемии санитарное состояние города почему-то резко ухудшилось (телевидение постоянно говорило об этом, показывали спекулянтов хлоркой — ее продавали на «черном рынке» по баснословным ценам).

Из санатория, в котором мы жили, нельзя было выходить, но продуктов не было, и выходить приходилось. У центральных ворот стоял пост, но все ходили через проломы в стене.

Запретили купаться в море, не объяснив почему. Ходил слух (врачи сообщили медперсоналу), что в море обнаружили вибрионы холеры. Я не поверил и разрешил сыну купаться. Лишь позднее Нина Антоновна подтвердила мне, что вибрионы обнаружены в местах стока нечистот в море.

Появились смертные случаи. Недалеко от нас, в интернате, открыли больницу для всех, у кого появился понос. Ада была мобилизована туда как медицинская сестра. Я ходил к ней, хоть и запрещено было.

Она рассказывала о том, что им сообщали. Число умерших то преувеличивали, то преуменьшали. Беспорядок, антисанитарию стали преследовать полицейскими методами. Нескольких директоров столовых судили за несоблюдение санитарных правил. У дорог стояли кордоны, чтоб никто не бежал из города. Какого-то председателя колхоза застрелили при попытке прорваться к себе в село (у него были какие-то срочные дела).

Слухи ширились, один другого фантастичнее.

Те автобусы, что выехали из города перед его закрытием, были задержаны в поле. Там было совсем плохо — нечего есть, пить, негде спать, жара.

Население поговаривало о том, что, если так же готовятся к войне, мы все погибнем от недостатка товаров, от неподготовленности. Полицейскими мерами можно частично бороться с эпидемией, но невозможно решить проблему снабжения питанием, снабжения водой и всем остальным.

Делать было нечего. На море нельзя, к друзьям ходить не стоило (если бы увидели охранники санатория — наказали бы).

Жена в это время работала над большой статьей о методике игровой деятельности. Их Методический кабинет игр и игрушек утверждал в производство новые игры, создавал методику. Таня захватила в Одессу много книг по педагогике и психологии дошкольника.

В это время у нее на работе начались неприятности. Директор начала вести себя по-хамски по отношению

к сотрудникам. Не разбираясь глубоко в дошкольной педагогике (она попала на должность директора, т.к. была сестрой одного из крупных работников аппарата ЦК партии Украины), человек по натуре слабый, она применяла нечестные методы, поощряла плохие игрушки, заказывала работы, не нужные для дела. Положение ухудшилось еще и тем, что по непонятной прихоти она взяла на работу, своим заместителем, не только не специалиста, а, как выяснилось позднее, личность авантюристическую, уголовную. Не понимая специфики работы, заместитель пытался ввести в стиль работы кабинета угрозы, слезку, начал придумывать ненужные авантюристические занятия для работников (например, загорелся идеей изготовить большого размера план республики, с обозначением предприятий, изготавливающих игрушки, — на это были выброшены большие деньги, время).

Сотрудники все чаще скандалили с обоими начальниками. В ответ посыпались выговоры за опоздания, поручения писать в кратчайший срок статьи по сложным проблемам детской психологии.

Тане поручено было написать работу по сенсорному воспитанию. Тема ее заинтересовала. Она погрузилась в исследования профессора Венгера о сенсорном развитии детей. Но, т.к. она не успевала, подключился я. Некоторый опыт с играми я имел: писал рецензии на так называемые «настольные игры типа шахмат».

Когда я прочел часть Таниных книг, то увидел, что большинство из них представляет либо набор пышных фраз, либо узко методические инструкции, часто ничем не обоснованные. Педагог должен принимать их на веру. Некоторые из них противоречили здравому смыслу и моим знаниям психологии.

Мы задумали разработать на основе выводов Венгера систему игр, которая целенаправленно бы развивала восприятие ребенка. Для этого необходимо было основательно разобраться в специфике игровой деятельности.

Не стоит, однако, излагать подробно ход всей нашей

работы по игре. В дальнейшем я буду отмечать только основное (мое увлечение игрой, ее психологией, созданием новых игр дало в конечном итоге академику Снежневскому в 1972 г. основание поставить мне диагноз: «мания изобретательства в области психологии»).

Большую помощь в работе над игрой принесли труды Фрейда, книги Выготского, Эльконина.

Пока мы работали, холера нарастала. Но и порядок был в конце концов милицией наведен. Из санатория уже нельзя было выйти — нагнали милиции аж из Киева. Мы посмеивались над нашим «Болдинским летом».

В Киеве ожидала нас масса дел по самиздату. Таня же окунулась в борьбу, в склоки на работе. Им удалось добиться удаления заместителя, что лишь обострило ненависть директора. Она стала понемногу выгонять сотрудников. Вдруг всех поддержала сталинистка, старая интриганка. В отличие от либералки-директора, она обладала своеобразной честностью. Не разбираясь в существе спора, она видела хищничество либералки. К тому же, она не могла ей простить предложения уйти на пенсию. Бояться ей было нечего: она старый сесксот (с гордостью рассказывала молодежи, что работала во время войны в контрразведке в партизанском отряде на Западной Украине). В Кабинет попала сразу после войны за «партийные» заслуги, т.к. образования не только педагогического, но и среднего не имела. Именно ей было поручено наблюдать за Таней. Часто ее видели в спецотделе Министерства, да она и не скрывала связей со спецотделом. Как-то она забыла свою записную книжку. Случайно ее открыли (сотрудникам выдали одинаковые) — там были записаны все посетители Тани и даже поминутно время их прихода и ухода (во время допросов Тани эта информация выплыла).

Мы помирали со смеху, когда она звонила мне, считая меня тонким политиком, и советовалась относительно действий против директора.

Директриса явно побеждала (брат в ЦК — хорошая

опора), пока не допустила просчета. Она добилась на конкурсе премии для игрушки, уже оплаченной. Целью было получить деньги для себя, а чтобы сотрудники молчали, включила и их соавторами. Когда она об этом сообщила сотрудникам, те возмутились и предложили ей аннулировать заявку. Но директор настолько была уверена в себе и в том, что никто от даровых денег не отказывается, что подала список на оплату в бухгалтерию. А там уже лежал донос сексотки об этой махинации. «Соавторы», когда пришел срок получать премии, отказались. Донос наложился на отказ от денег. За молчать дело не могли — слишком много людей уже знало об этом. Было собрание — после проверки дела ревизионной комиссией. На собрании сотрудники рассказали об атмосфере травли, созданной директрисой. Ей предложили срочно уйти на пенсию (по просьбе брата из ЦК до суда дело не дошло).

Чтобы не возвращаться к этой истории, тянувшейся до весны 71-го года, расскажу ее продолжение, оно интересно для характеристики атмосферы в стране.

В свое время студентки группы, где училась Таня, обнаружили, что одна из них посещает Владимирский собор, а в портфеле носит религиозную литературу. Было комсомольское собрание — Л. выгнали из Пединститута. Она перешла на заочное отделение, окончила его. Таня участвовала в комсомольском собрании и потом часто вспоминала этот грех и мучилась. Спустя десять лет представился случай искупить его.

Однажды директор спросила Таню об Л.: «Она хочет поступить к нам на работу, но говорят, что в институте она верила в Бога?»

— Это было давно. А я о ней слышала как о хорошем работнике.

Л. приняли. Но т.к. начальство интересовалось слухами о том, что она продолжает ходить в церковь (уже будучи работником Министерства просвещения УССР), то Таня решила предупредить ее. Объяснила свое нынешнее отношение к религии, ведь тогда, в 55 году, она

была, как все. Л. ничего не сказала Тане, но сотрудникам высказала жалобу, что Таня хочет выжить ее с работы. Таня перешла работать в Кабинет игр и игрушек. А вскоре заместителем директора (после выгона авантюриста) стала Л. После увольнения директрисы она стала директором. И начала мстить Тане, ее друзьям. Но действовала глупо, мелко, злобствуя, восстановила против себя весь коллектив и в конце концов тоже погорела на финансовых махинациях. Ее сняли с поста директора, уволили из Министерства.

Я часто заходил в Кабинет, изучал новые игрушки, писал рецензии (под чужой фамилией). С Л. мы только здоровались. Но во время следствия 72 г. она свидетельствовала, что я вел с ней антисоветские разговоры. Ее показания фигурировали в обвинительном заключении.

Типичная «сложная советская натура». Смесь в психике всего самого противоположного. Она оставалась верующей, делала карьеру, воровала, лжесвидетельствовала против личного врага, забывая, что ее преследовали за веру как раз враги ее «врага». И ведь не Таня разоблачила ее воровство, а сексотка. А месть — Тане (сексотку она презирала, а к Тане испытывала зависть и злобу; как-то в момент случайной откровенности высказала ей свое жизненное кредо — «надо уметь приспособливаться»).

Осенью меня вызвали в райисполком. Это означало, что собираются завести дело о тунеядстве. Они предложат неподходящую работу, я откажусь, и тогда можно судить как нежелающего работать.

Я ожидал провокационных вопросов, разговоров о причинах увольнения и т. д. Но, когда увидел лицо начальника отдела по трудоустройству, понял, что это хуже ГБ: ниже по интеллектуальному уровню. С ним невозможно разговаривать, что-либо доказывать. Это впечатление подтверждалось разговором с двумя девушками, который он вел при мне. Их тоже вызвали по поводу работы. Проститутки, бывшие работницы фа-

брики. Он с ними благосклонно заигрывал, бросал скабрезные шутки. Они отвечали полупрезрительно, полупуганно. Работать они явно не хотели, но искали компромиссное решение, приспособлялись.

Моральный уровень моего работодателя был настолько низок, что я решил: буду говорить «да» или «нет», не входя в объяснения.

Когда мы остались одни, он спросил фамилию.

— А! Хотите работать?!

— Да.

— Что умеете?

— У меня высшее образование, математик. Могу работать в исследовательских институтах, на заводе, математиком. Могу преподавать математику в вузах, техникумах, технических училищах, школе. Могу быть редактором или корректором на украинском или русском языках. Но согласен и кочегаром.

— А! Кочегаром? Сейчас позвоню в кочегарку...

Быстро договорился с заведующим кадрами какого-то военного подразделения.

Завкадрами сразу отрезала:

— Но ведь вы хромой. А это тяжелая работа. Кочегарка на угле, надо лопатой бросать уголь.

— Знаю.

— Ваше образование?

Я замялся. Она посмотрела в паспорт.

— Инженер? Но зачем вам работа кочегаром?

— Мне рекомендовали... врачи...

— Гм... Политика?.. Не бойтесь сказать, все равно нельзя принимать с высшим образованием.

Меня прорвало:

— Но ведь из райисполкома послали к вам!..

— Да, а потом этот же дурак будет меня ругать.

— А не можете вы это ему сказать по телефону сейчас, при мне, чтобы он не морочил мне голову?!

Она позвонила и обругала «товарища» дураком:

— Вы же сами постановили не принимать на физическую работу с высшим образованием.

Прощаясь, спросила сочувственно:

— Сказали что-нибудь кому-нибудь?

— Да.

— То-то. Осторожнее надо. Доносят многие.

Приехал в райисполком.

— Вы что, не знали, что у меня высшее образование?

— Ничего! Посмотрите список свободных мест.

Несколько мест кочегаров, два места воспитателя в женских заводских общежитиях. Эту проблему властей я знал. Ни один воспитатель долго не выдерживает в таких общежитиях. Положено проводить беседы, следить за моральным обликом молодых строительниц коммунизма, водить их в кино, театры — одним словом воспитывать. Им скучны такие воспитатели. И в конце концов воспитатель «морально разлагается».

Я сказал, что могу быть воспитателем. Но он и ухом не повел (щучку бросить в воду — воспитывать работниц! Хватит им майора Грищука).

Пригласил зайти через неделю. Приезжаю.

— Хотите учителем математики?

— Да.

— Есть место.

Звонит в районный отдел народного образования.

— Можете ехать.

В роно выяснилось, что нужен только учитель украинского языка.

Я поскандалил и махнул рукой на исполком.

В эти же дни вызвали в милицию Ивана Светличного. Полковник потребовал отчитаться в средствах, на которые существует Иван.

Тот показал договоры на переводы, различные квитанции и т. д.

— Хорошо, но советую куда-нибудь устроиться, хотя бы формально.

Почти в то же время Сверстюку в Институте ботаники сказали, что он работает не по специальности.

Ясно было: разворачивается кампания, чтобы поставить нас в безвыходное положение — одних выгнать с работы, других привлечь к суду за тунеядство.

*

События нарастали. Пришла работа братьев Медведевых «Кто сумасшедший?». 29 мая Жореса Медведева насильственно поместили в психушку — без суда, без следствия. В борьбу за Медведева включились крупнейшие генетики, Солженицын, Сахаров, Твардовский, старые большевики.

Я встретился с другом Жореса Медведева. Он считал, что на этот раз была самодеятельность местного ГБ по наущению лысенковцев. Они не могли простить Жоресу Медведеву его книгу о Лысенко и «мичуринской биологии», ее методах ведения «дискуссий», где решение научных споров было в руках партийных босов и тайной полиции. Они показали Жоресу, что тайная полиция — все еще серьезный аргумент в руках «умных» ученых.

Рой Медведев, описывавший события со своей стороны, совершенно точно в беседе с психиатром Лифшицем определил творчество И. Шевцова как творчество психически больного человека. Но ведь ясно было, что больным является все общество. И поэтому оно считает (или делает вид, что считает) больными здоровых людей. И поэтому больной Шевцов является рупором государства. Он адекватен сути общества.

Благодаря энергии друзей, Жореса Медведева удалось спасти. Друг Жореса рассказывал, что академик Сахаров на конференции (или съезде) по генетике обратился к генетикам выступить в защиту их коллеги. Молодежь, откликнувшуюся на его призыв, он уговорил не выступать — для этого есть ученые, охраняемые частично своим званием.

Гнусна была роль академика Дубинина. Дубинин сам испытал на себе лысенкиаду, но в эти годы уже вошел в роль чиновника от науки, пользовался лысенковскими

методами борьбы за власть в науке (где, кроме нашей страны, поймут это выражение — власть в науке, в искусстве, в философии?) и даже пытался сблизиться с Лысенко. Дубинин пытался вытолкнуть Сахарова из зала, Сахарова, который одним из первых выступил против засилия лысенковцев в биологии, провалив некоего Нуждина при выборах в академики. (В самиздате ходил протокол заседания Академии наук, на котором Сахаров выступил против кандидатур ЦК КПСС — Нуждина и писателя Леонова.)

За победой в деле Медведева последовала новая — награждение Солженицына Нобелевской премией.

Мы не отходили от приемника, слушая «дело о Нобелевской премии».

К Нобелевской премии, после награждения ею Шолохова, отношение было несколько насмешливое. Но когда развернулась газетная кампания против «реакционной» Шведской Академии, то отношение к ней изменилось. Когда вручали премию Шолохову, Академия была вполне прогрессивной. А тут ей припомнили все грехи (а мы простили ей шолоховский грех).

Со стороны Шолохова было бы логичным бросить в лицо «политиканам» — шведам и норвежцам — свою премию. И мы со смехом обсуждали эту, так и не осуществленную возможность. Политика политикой, а денежки «великому» соцреалисту важнее.

*

В Москве возник Комитет прав человека (Сахаровский комитет, как его сокращенно называли) в составе Сахарова, Чалидзе, Твердохлебова. Я как раз был в Москве, когда появились первые документы Комитета. Все мои друзья посмеивались над чрезмерным законничеством и формализмом Комитета. Наиболее поразило всех заявление о том, что Комитет намерен содействовать «органам государственной власти в области создания и применения гарантий прав человека». Многие из нас были легалистами, но слова о помощи незаконным

блжостителям закона звучали смешно. Законы — наше оружие, но не наша иллюзия.

Один из членов Инициативной группы зло сказал по поводу этой декларации Комитета.

— Ну, ничего. Товарищи физики померзнут на морозе у суда, посмотрят на пьяную морду закона, прослушают матерное изложение Конституции, получают парочку ударов по голове и... перестанут консультировать КГБ по проблемам юриспруденции.

Мнение Инициативной группы хорошо выразил в своем письме А. Э. Левитин-Краснов, который рассматривал декларацию Комитета как академические «рассуждения ученых либералов», как «шаг назад в развитии русского демократического движения».

Но первые практические шаги — теоретические работы Комитета — показали, что какая-то польза от их «юридизма» есть.

Трудно было продаться сквозь частокор юридической терминологии, но некоторые работы помогли более точно сформулировать наши требования. Все эти тонкости, толкования, логику юриспруденции нужно усваивать. Если бы эти работы излагались более человеческим языком, практической пользы для участников демократического движения было бы гораздо больше.

С течением времени Комитет в своей практической деятельности стал приближаться к демократическому движению. К сожалению, и многие москвичи стали приближаться к принципу аполитизма Комитета. Мне казался тогда и кажется сейчас неверным тезис о том, что борьба за права человека есть неполитическая деятельность. Право — часть структуры государства. Если мы требуем от беззаконного государства выполнения законов, то мы требуем изменения его содержания, превращения в правовое государство, демократическое. А требовать этого — и есть политическая деятельность.

Не нравится слово «политика»? Это уж просто несерьезно, хотя и отражает психологию многих участни-

ков движения. Неосознанная политическая платформа неизбежно хуже той же по содержанию, но осознанной политики.

*

В середине ноября судили Валентина Мороза. Туда вызвали свидетелями киевлян Дзюбу и писателя Антоненко-Давыдовича, а также Вячеслава Чорновола.

Так как суд был закрытый, то эти свидетели, как и сам Мороз, отказались от дачи показаний суду.

Следствие пыталось спекулировать на том, что «Среди снегов» было направлено против Дзюбы. Но Дзюба заявил, что эта статья — личное дело Мороза и Дзюбы, а не антисоветская пропаганда.

Следствие пыталось использовать обиду кинорежиссера Сергея Параджанова на несправедливое обвинение Мороза, что Параджанов участвовал в хищении государством иконостаса в закарпатском селе и других памятников украинской культуры. На самом деле, Параджанов официально протестовал против того, что государство присвоило иконостас из сельской церкви, взятый для съемок фильма «Тени забытых предков».

ГБ предложило Параджанову выступить на процессе свидетелем обвинения: Мороз-де его оклеветал (а дальше суд без труда обобщил бы клевету на отдельное лицо как клевету на режим) — Параджанов отказался. Он объяснил, что Мороз, неправильно информированный, ошибся, а не клеветал на него. КГБ не простил Параджанову его несговорчивости: в 73-м году его посадили по уголовной статье, за гомосексуализм, и дали 5 лет лагерей.

Мороза приговорили к шести годам тюрьмы, трем — лагерей особого режима (т.е. самого страшного) и пяти годам ссылки за «антисоветскую пропаганду».

В украинском самиздате появились заявления-протесты свидетелей, друзей и знакомых Мороза, стихи, посвященные Морозу.

Не успело дело Мороза распространиться в самиздате, как случилось самое страшное.

Я был как раз дома, когда позвонили:

— Убили Аллу Горскую. Приезжай к ее дому — там все соберутся.

У дома уже стояло много людей. Подходили новые. Прилетали из Львова, Ивано-Франковска. Ждали мужа Аллы, Зарецкого, который должен был привезти тело. Никто не знал, как и кто убил. Появилась первая версия — убили кагебисты. Версия рождалась у меня на глазах, и я не верил. Зачем это нужно КГБ? Запугать? Тогда нужно это сделать, чтоб все поняли, кто и за что. За что? Алла была для всех патриотов опорой духа — благодаря своей энергии, внутренней силе, здравому уму. Она участвовала в протестах, в развитии культуры. Но этого недостаточно для убийства. (Сейчас, после нескольких убийств диссидентов кагебистами, моя уверенность в непричастности КГБ к убийству Аллы несколько поубавилась.)

То, что Алла убита, обнаружилось случайно. К ней в г. Васильков приехали сестра Ивана Светличного Надийка и Евгений Сверстюк. Дома никого не было, хотя Алла должна была быть. Они добились у милиции, чтобы открыли дом. Аллу нашли в погребе.

Милиция вела себя, как всегда, глупо, что дало некоторое основание считать виновной власть.

Идеей-фикс милиции является подозрение на первых попавшихся ей людей. Такими были Сверстюк и Н. Светличная, а также муж Аллы Виктор. Вначале хотели обвинять их, но на железнодорожных рельсах милиция нашла свеakra Аллы с отрезанной головой. Милиция выдвинула версию, что это он убил Аллу и сам бросился под поезд. Рассказывали, что он часто ругался с Аллой, считая, что она повредила своей антисоветской деятельностью карьере сына. К Виктору, действительно, хорошо относились в ЦК ЛКСМУ. Было известно, что ГБ не-

сколько раз беседовало со свекром. КГБ неоднократно использовал людей с расстроенной психикой против движения сопротивления. А у свекра Аллы случались расстройства психики. Так что даже в случае истинности милицейской версии на КГБ остается косвенная вина.

Когда Аллы уже не было в живых, в одном из институтов города лектор обкома партии заявила, что у Горской и скульптора Ивана Гончара устраивают сборища националисты.

Милиция долго не выдавала тело для похорон. Выдали умышленно в понедельник, 7 декабря, рассчитывая на то, что мало людей придут хоронить.

Но пришли многие. У дома, где находятся мастерские художников, стояли сотни людей. В мастерской — выставка произведений Аллы. Самодеятельный хор «Гомин», пел песни. Никто почти не разговаривал — стояли, думали, смотрели картины Аллы.

Подъехали автобусы. В них разместилось более сотни людей. Поехали далеко за город, на новое кладбище. Там уже ожидал официальный оркестр. Рядом хоронили мальчика. Мать кричала, рвалась к нему в могилу...

Оркестранты, приглашенные Союзом художников, невпопад то начинали, то прекращали траурный марш. Им было скучно, холодно...

Выступил товарищ из Союза. Он болтал о достойной художнице, воспитанной комсомолом и «преданной идеям». Гнусная ложь человека, принимавшего вместе с другими членами Союза участие в травле Аллы. Ее дважды выгоняли из Союза художников. В 1964 г. она участвовала в создании Шевченковского витража в университете. Шевченко, по мнению комиссии, принимавшей витраж, оказался за решеткой. Художников обвинили в формализме и порочном идейном замысле. В 1968 г. выгнали из Союза во второй раз, за подпись под заявлением о политических процессах.

Всплыли слова Александра Галича о Пастернаке:

— И над гробом стали мародеры
И несут последний ка-ра-ул!

После лживой речи представителя оркестр принялся по его сигналу пикировать свой марш.

Стали выступать друзья Аллы. Представитель пытался «закрыть» похороны, но на него просто не обратили внимания.

Выступавшие говорили нетвердыми, прерывающимися голосами.

Первым выступил Александр Сергиенко (сейчас он сидит во Владимирской тюрьме). Он ответил представителю по сути тем же, что сказал Дзюба, защищая когда-то память Василя Симоненко от этих грязных людшек: «Она открыто презирала чиновников и дельцов от искусства. Они не выносили твердого насмешливого взгляда ее серых глаз и платили ей за это черной ненавистью. Они ненавидели ее за то, что мы ее любили».

Филеры, стоявшие кучкой в стороне, аж тряслись от злости, слушая открытую «пропаганду» любви к своему народу и ненависти к чиновникам.

Некоторые мысли, слова были похожи на слова официозных похорон. Но мы знали Аллу и знали: правдой были слова о том, что она всегда будет с нами, что она не может отойти в небытие (слова Е. Сверстюка, ныне отбывающего свой срок в лагере).

И все говорили о ней как об опоре, как о человеке силы и энергии. Сверстюк говорил о ней как о живой. И голос его, и лица вокруг делали невыносимыми неискренность, искусственность, риторику. Сверстюк напомнил путь ее — «открытие Украины», участие в Клубе творческой молодежи, дискриминацию ее как художника, витраж, исключение из Союза, смерть и слух (!?) о посмертном принятии в Союз.

Из Львова приехал Иван Гель, слесарь, отсидевший уже свои три года лагеря (и ныне повторно сидящий).

Он сказал о неясности причин гибели, о продолжении жизни Аллы внутри нас и самое важное — сказал, что

перед лицом случившейся трагедии должно быть отброшено в наших отношениях все мелкое, трусливое, приспособленческое. Ведь жизнь наша так коротка.

Слушая выступавших, я воспринимал все это двойственно.

Настолько жива была Алла при жизни, что действительно невозможно ощутить, что ее нет. Совсем недавно мы с Таней провожали ее домой от Светличных. И смеялись над глупостью — всеобщей глупостью — государства, над их страхом перед нами, огромного партийно-полицейского аппарата перед горсткой людей, разбросанных по городам Союза. Лина Костенко бросила цветы подсудимым во время процесса 66-го года, и милиция так и легла, увидев «бомбу». Почти не бывает террористических актов, а товарищи из ЦК даже на встречи со школьниками приходят с охраной, а ГБ тщательно проверяет присутствующих, чтобы не попали подписанты.

Когда в Житомире к больному поэту приехали друзья из Киева, то один из местных поэтов случайно «забыл» альбом японской живописи. В альбоме обнаружили микрофон. Хозяин «альбома» разволновался:

— Это же за валюту куплено. Это больших денег стоит. А вы разломали!

В ответ на упреки в стукачестве он ответил:

— Все равно о вас всё знают.

Это было совсем недавно — этот разговор, ее смех, издевательские слова, долгий путь через весь город от Светличного к ее дому.

И все правы: она жива, т.к. невозможна ее смерть, эта смерть жизни вообще, настолько в ней была сконцентрирована жизнь. Она сама синоним жизни, ее символ. Жизни открытой и самосознающей себя — открытая любовь, открытая ненависть, громкий смех радости и презрения.

Но когда я отрывался от этих ощущений-воспоминаний, то видел посиневших от злости и холода шпиков, видел пораженные горем лица друзей, и невозвратность

потери (а ведь я не был близким ей человеком — что же ощущали ее близкие?) обрушивалась на сознание, за-тапливала его отчаянием: уходят друзья навсегда, одни в смерть, другие в предательство.

И эти морды палачей — товарища из Союза, шпиков.

Шпикив — некоторых — я хорошо знал. Видел их в 66-м возле суда над украинскими патриотами, в 69-м — на суде над Кочубиевским, в 70-м — на суде над Бахтияровым.

В петлицах у них, как и у людей, — калина.

Я процедил одному, захлестнутый ненавистью:

— А что тут кагебисты делают?

Он испуганно забормотал, что я его с кем-то путаю.

В это время Василь Стус читал свои стихи:

А ти шукай — червону тїнь калини,
на чорних водах — тїнь її шукай,
де горстка нас. Малесенька щопта.

Ярїй душе, ярїй, а не рїдай.

После похорон кто-то начал распространять слухи о том, что Аллу убили украинские националисты, за то, мол, что она, зная их тайны, выдала их КГБ. И даже, кажется, не КГБ запустило эту парашу, а либералы, сидящие по своим квартиркам и сплетничающие о власти, об участниках сопротивления.

Эти же круги запустили другую парашу: это-де сексуальная драма.

Одним не давало покоя мужество Аллы, другим — ее энергия, отсутствие ханжества. И тем, и другим — ее смех, открытое лицо без страха и комплексов неполноценности, национальной, женской, художественной.

Кое-кто из тех, кто голосовал в 68-м году за исключение ее из Союза, стали говорить, что она вообще не украинка, а... еврейка. Как будто она оскорбилась бы этим подозрением! Она никогда не интересовалась национальностью как «пятым пунктом» в паспорте. Она

отличала лишь дураков от умных, подлецов от честных, любящих Украину от ее предателей и палачей.

Только психически ущербные люди ненавидели ее.

Я много рассказывал ей о Петре Григорьевиче Григоренко. Она читала его статьи и очень хотела встретиться с ним, чувствуя родство. Для меня же они оба всегда вызывают в сознании лучшее в истории Украины — Запорожскую Сечь с ее свободой, демократией, энергией и смехом.

После похорон выгнали с работы Александра Сергиенко, а Гелю вклеили выговор. Заместитель прокурора Киевской области угрожал Гелю наказанием за «слухи» об убийстве Аллы за убеждения.

Выступления на похоронах Аллы и материалы суда над Морозом стали широко распространяться в самиздате. И тут ГБ снова проиграло по сути: читая о суде и смерти, отсеивались трусы, но росло число сопротивленцев, росла политическая активность. Судом над Морозом ГБ подчеркнуло принципиальную правоту Мороза в споре с Дзюбой. Это усиливало именно политическую часть украинского движения.

Жестокость приговора Морозу была показателем нового этапа репрессий.

В США шло следствие над Анджелой Дэвис. Наши газеты захлебывались от возмущения. А мы все сравнивали гуманизм судей Мороза и неслыханную жестокость следователей Дэвис. Она из тюрьмы пишет письма, критикующие строй, дает интервью. (Фантастика! Разве это можно представить: к Морозу приходит корреспондент не для клеветы на него, а чтобы мир узнал о его состоянии, взглядах и т. д. Да что ж это? Неужели американская реакция столь погрязла в своей античеловечности, что допустит и советских журналистов, как писали советские газеты? Ведь это же «вмешательство во внутренние дела» США. О чем думают президент, империалисты, ЦРУ и ФБР?)

Как трогательны были статьи о том, что Анджеле

ограничивают время встреч с адвокатом и — волосы дыбом встают! — дают холодный (!) кофе.

Именно в этом духе комментировал «Украинский вестник» дело Дэвис и дело Мороза.

В то время как судили за слово, Президиум Верховного Совета помиловал бериевца, бывшего министра внутренних дел Азербайджанской ССР Емельянова, приговоренного в 53-м году на 25 лет за его зверства.

Возле Ленинграда живет полковник ГБ Монахов, садист, под непосредственным руководством которого истребительная команда палками со свинцовыми наконечниками убила несколько сот коминтерновцев. Монахова даже не исключили из партии: не позволил секретарь Ленинградского обкома партии Толстиков (а западные коммунисты как ни в чем не бывало ездят в Ленинград, встречаются с Толстиковым, пожимают ему руку, улыбаются человеку, который поддерживает палача их соотечественников, их товарищей по партии, их вождей!)

*

Созерцание окружающего, изучение истории шло параллельно изучению «художественных» особенностей литературы соцреализма. Я все более ощущал важность анализа «моих орлов» — ведь это ключ к психо-идеологии нашего государства. Те случаи общественной патологии, которые разбросаны по страницам официальной философии, по судам, в секретных инструкциях, в практике тюрем и лагерей, — у Кочетова и Шевцова сконцентрированы в их романах. Нет статистики, нет социологических исследований — но есть богатая соцреалистическая литература, раскрывающая психологию «инженеров человеческих душ», фразеологию идеологии и ее подтекст.

Например, садизм с фекальностью, с патологическим влечением к самопачканию и пачканию всего человеческого все более вырисовывался при анализе Кочетова-Шевцова.

Садизм и пачканье идейного врага очень хорошо вы-

ражено в издевательской, унижающей интерпретации фамилий, имен отрицательных героев. Огнев превращается у Кочетова в Горелого, реальная Патриция Блейк в Браун — коричневую. У Шевцова комсомольцы Вонючий тупик называют проспектом отрицательного героя Гризула. Я почувствовал, что имею дело с аспектом психологии более интересным, чем сексуальная патологическая подоплека соцреалистической идеологией. Значение семи букв фамилии героев для Кочетова или шести для Шевцова наводит на мысль о каббале. Но коверкание фамилий, разоблачение псевдонимов (шевцовский Аркадий Остапович — Арий Осафович из Одессы; Троцкий — Бронштейн и т. д.) показывает, что это *магия имени*. Имя должно иметь смысл отрицательный или положительный, в зависимости от сущности героя. Герои Шевцова прямо об этом говорят. Они считают имя «Марат» бессмысленным (лучше уж Март), возмущаются некрасивыми (жидовками, конечно) Розами, Магнолиями и т. д.

Когда пограничник раскрывает положительной героине истинное имя и отчество (по паспорту) Аркадия Остаповича, это магическое разоблачение, и оно предваряет разоблачение его как шпиона.

Грамматическая ошибка — «эмиграция» рыб вместо «миграция» — оказывается подсознательным эквивалентом этого магического разоблачения имени-маски.

Моя знакомая М. К., талантливейший и глубочайший филолог, ознакомившись с моими предварительными результатами, посоветовала изучать работы по анализу магического сознания первобытных людей. Она же сказала, что по сути мой подход является структуралистским. (В который раз меня ткнули в факт, что говорю прозой и открываю Америку!)

Пришлось забросить психоанализ и засесть за Леви-Брюлля, «Золотую ветвь» Фрэзера, «Происхождение человечества» Семенова, «Морфологию волшебной сказки» и «Исторические корни волшебной сказки» Проппа

и за труды Тартусского университета по структурному анализу.

Наконец-то я нашел близкий мне метод анализа интересующих меня явлений — сочетание структурного анализа с психологической интерпретацией обнаруженной структуры.

Чтение структуралистской литературы шло параллельно анализу, что помогало критически воспринимать структурализм и глубже понимать магию Кочетовых, магию «социалистического» государства. К сожалению, работ западных структуралистов не было (кроме одной статьи Леви-Стросса в «Вопросах философии»), как не было работ К. Юнга, Э. Фромма, Г. Маркузе. Пришлось по крохам выуживать цитаты, искривленное изложение их работ в «критической» литературе. На Западе представить не могут этой пытки — глотать сотни «критических» «марксистских» статей ради нескольких достоверных цитат, из которых приходится извлекать истинный смысл (а ведь вне контекста они могут восприниматься искаженно!).

Со структурным анализом легче — он дозволен в той или иной мере. А неофрейдизм, а психоанализм фашизма, а социальная психология?! Мучительно продираешься сквозь фальсификации, мучительно осознавать, что тратишь столько усилий на повторение задов современной науки, на самостоятельное изобретение велосипеда. Утешает только, что самостоятельный анализ дает возможность внести нечто свое в давно известное.

Советские психоаналитики 20-х годов только отталкивали примитивизмом, мифологичностью, произвольностью анализа литературы.

Из Фромма я воспринял понятие «невротическое общество» в его связи с «невротической личностью». Прочел «Психологические типы», «Психологию и поэзию» Юнга. С новыми идеями Юнга познакомился в некоторой степени по работам С. Аверинцева — одного из самых интересных в стране филологов. Но это была интерпретация, а не сам Юнг. Слова «коллективное

бессознательное», «архетип» заинтриговали — но что они означают?

Феномен пачкающего юмора положительных героев Шевцова—Кочетова привел меня к изучению работ великого М. Бахтина о Рабле, Достоевском, Гоголе. Стало ясно, что упреки М. К. об односторонности анализа соцреализма, о позитивной функции магии и фекальности в искусстве справедливы. Не только у хама, но и у культуры фекальная символика имеет значение. И Рабле, и Гашек (в Швейке), и советские шансонье тоже пачкают. В чем же разница? В направленности, в объекте пачкания. В культуре пачкается то, что отжило себя, что угнетает человека, что ему враждебно. Дело не в фекальной или магической структуре, а в ее функции. Когда Шевцов магически накликает на жида карающий меч ГБ, то это, сочетаясь с пачканием жида, дает античеловеческий эффект. Магия же культуры — магия красоты, очищения человека, возвышения его, магия веры в человека. Магия пронизывает и символику поэзии Шевченко, Пушкина, Галича, Лины Костенко, и произведения хамской культуры соцреализма. Но магия культуры не отменяет логику, разум. Она лишь делает рассудок разумом, эмоционально насыщает логику, превращая ее в диалектику.

Так работа над хамской психикой вдруг опять привела меня к проблеме культуры, в частности к феномену национального гения — Шевченко.

У Шевченко формально есть те же особенности, что и у соцреалистов.

Штампы хамов у него — фольклорные и личные клише (образы); пачкание святого — заземление образа Мадонны; большая художественная роль сексуальных проблем, социальных и личностных, — образ «покрытки», падшей женщины, центральный в «Кобзаре» (не Украина, не классовый протест, не Бог, а «Покрытка»!); искажение грамматических норм — гениальные, бьющие прямо в сердце читателя пропуски слов и «неправильный» синтаксис.

Я достал частотный словарь Шевченко, начал записывать «штампы», логические «ляпсусы», абракадабры, противоречия.

Частотный словарь пришлось упорядочить по-своему: по порядку уменьшения частоты слова в «Кобзаре». Оказалось, что самыми частыми словами являются слова религиозного содержания и слова, связанные со зрением.

Уже это опровергает тезис об атеизме Шевченко.

Наметились линии образов Шевченко. Линия «байстрюка» — «Христа»: байстрюк, «я», «кобзарь», Гонта (вождь восстания гайдамаков против польской шляхты), декабристы, Прометей, Христос, Ян Гус. Линия «вампира»: Гонта, цари, варнак (убийца, душегуб), Бог-отец (Сатана), байстрюки. Линия Бога-отца-природы: природа как земной рай, художник, кобзарь, Бог. Линия «покрытки» — Катерина, Марина, княжна, батрачка, казачка, Украина, Богородица. Это центральная линия, детерминанта психики и поэзии Шевченко.

Я сконцентрировал силы на этой линии, стержневом образе «Кобзаря».

Оказалось, что в основе образа «покрытки» лежит проблема «греха» — грехопадение, кара за грех и искупление. Грешны все, караются все за грех свой. Шевченко берет лицо угнетенной нации, угнетенного класса, угнетенного пола, самой угнетенной части этого пола. И бьется над проблемой: за что она карается, в чем ее грех, и как искупить его? Такая постановка проблем сближает Шевченко с Достоевским — выбрать самое сложное явление на грани света и тьмы, не упрощая себе художественной задачи. И решать вечные вопросы добра и зла именно здесь, на грани.

Грех покрытки — религиозный (рождение дитяти вне церковного брака), социальный (измена классу — прелюбодеяние с помещиком), национальный (измена нации — прелюбодеяние с москалем, евреем, поляком). Грех этот может быть и не по вине женщины — отсюда образы насилуемых женщин и самой Украины.

Шевченко от стиха к стиху рассматривает все варианты прелюбодеяния и его плодов.

И, наконец, в завершение святотатствует, пишет поэму «Мария». Но как она отлична от святотатства «Гаврилиады» Пушкина. У Пушкина — это отклик на вольтерьянство Парни, это не его личностное, больное, это зубоскальство, эстетически прекрасное хулиганство, издевательство над Церковью, ее ханжеским пониманием Богоматери.

У Шевченко — это решение личной, национальной, классовой, общечеловеческой проблемы «грехопадения» и «искупления». То, что это решение личного «невроза», видно из последующей поэзии Шевченко: пометка исчезла. В «Марии» Шевченко изжил, разрядил проблему. В чем же это решение?

Мария нарушила формальное табу церкви, но не изменила ни Богу (отец Христа — апостол, предтеча Христа), ни своей нации. И плод ее «греха» воспитан ею в заветах отца — апостола Бога. Согрешив, она дала миру Спасителя, Искупителя родового греха. Плодом своим оценивается грех, а не фактом нарушения табу. Грешники-то как раз — карающие грех и плод греха — Христа. Грешник: Бог-Отец, отдающий своих детей на смертные муки.

Шевченко «Марией» своей создал новое Евангелие, Благою Весть Украины. Богом этого Евангелия является женщина, грешница, рождающая и воспитывающая Спасителя. И она, а не его Ученики, несет Его слово т.е. ее слово) людям. Евангелие Украины, Мадонны-«Покрытки» — это песнь женщине, матери, очищенному греху. И вспоминаются слова самого Иисуса:

«Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет человека».

Я попытался проследить путь шевченковского самоочищения — от «Катерины» до «Марии» — детально, во всех его аспектах, и вдруг обнаружил, что нельзя рассматривать этот путь как непрерывный прогресс. В «Ка-

терине» не только постановка проблемы, но и неявный ответ. Катерина, согрешив с москалем-паном, бросает сына в свет без помощи и сама губит себя — совершая грех посягательства на свою жизнь (уже в первом стихе «Причинна» проблема этого греха — нежелание нести крест жизни — поставлена). Грех покрывки — в отказе от «виховування» ребенка («вы-ховывать» — прятать от врагов — соблазнов, чужих людей, Бога-Сатаны, завоевателя), в отказе от самоочищения и искупления личного греха (родовой искупил Христос). Катерина предлагает сыну искупить ее грех сиротством. Это решение заложено и в словах, в их семантике и в фонетике. Покрывка — покрывается, как и замужняя женщина, платком. В «Катерине» Шевченко говорит о ночи, покрывающей счастье и слезы, о земле, покрывающей умерших, воде пруда, укрывшей тело «покрывки» («покрытой» ранее москалем). Покров в «Катерине» потенциально содержит уже превращение покрывки Марии в Покров Богородицы). Фонетика линии этого образа грешницы связывает «покрывку» с «криницей» (народный символ чистоты, девичества), с чистой дикой лилией — «крыном» и далее — с «кровью» и «кривдою» (неправдой, вредом, нанесенным матерью сыну). В «Марии» те же мотивы, те же образы — но ставшие явными. Вот в «Катерине» Мать говорит сыну:

«Оставайся шукать батька,
А я вже шукала».

Тут «батько» — москаль, пан, отрекшийся от сына и любимой, соблазнитель. Но он же — неявно — Бог. Грех Катерины в отказе от поисков Бога, в отказе от Бога.

Мария же ждет любимого, апостола Бога. Она видит Мессию до рождения Сына, она распята сама, как распят ее «соблазнитель», как все люди. Она ищет, она рождает Сына на дороге, спасая его от Ирода. Вся ее жизнь в пути. Она разбудила Сына огненной слезой своих страданий и пошла за ним в поисках Правды, Бога, Отца.

Еще до «Евангелия от Шевченка» — «Марии», во всём пути Кобзаря к этой поэме, видно, что где-то, в глубинах поиска, было закодировано в фонетике, в образах, в сюжете, во всем — решение, благая весть, еретическая украинская интерпретация христианского мифа.

У меня возникло предложение, что в украинском языке еще с доисторических времен закодирован миф Шевченко, что всякий язык несет в себе национальный древний миф. Иван Светличный поддержал этот вывод, сославшись на слова Хлебникова о том, что в древности словотворчество было магическим актом, чудотворчеством. Пришлось обратиться к проблемам языкового творчества детей (исследования Корнея Чуковского) и древних народов, к проблемам мифотворчества. Ведь язык возникал вместе с мифом. Миф забыт, но он зашифрован в фонетике, морфологии, синтаксисе*.

Смысл гения нации заключен в том, что через себя, язык, через личность свою, сознание и подсознание, генотип и фенотип, гений создает личный миф, адекватный языковому мифу и современному этапу развития нации (понятны поэтому языковые поиски Солженицына — в диалектах, древних пластах русского языка). Гений дешифрует языковый миф — дешифрует по-своему, субъективно. Но без этой субъективности не было бы ни объективного смысла мифа творений гения, ни объективного значения гения в развитии национальной культуры. Шевченко был не «одним из гениев» Украины, а ее культурным Богом. Богом — создателем культуры, или «культурным героем», выражаясь структуралистски.

*) Впоследствии мне удалось прочесть работу выдающегося русского ученого о. Павла Флоренского о слове как мифе. П. А. Флоренский еще в 1922 г. написал «У водоразделов мысли», где есть прекрасная, глубочайшая по мысли «заметка» о строении слова. Как всегда, власть предрешающие дали работе отлежаться, пока мировая наука в других странах подойдет к идеям русского ученого. Лишь в 1973 г. часть работы П. А. Флоренского была опубликована (Строение слова. В сб.: Контекст. 1972. М., «Наука», 1973). Сколько еще великих открытий 20-70-х годов лежит в семейных и государственных архивах, ожидая читателя? Россия, как Сатурн, пожирает своих детей, опасаясь их слова. Лучших своих детей и их лучших слов.

Если древние языческие боги Украины, *украинские* Христос и Мадонна были вложены в культуру до Шевченко главным образом неявно (за исключением близкого Шевченко философа Сковороды и иерархов украинской церкви), в фольклоре, верованиях народа, в думках кобзарей и в обычаях Запорожской Сечи, то Шевченко создает современную культуру, он Прометей Украины, ее Бог. И верующий, и атеист украинский — если он украинец, а не малополяк, малоросс — связан духовно с Шевченко. Шевченко — Ретранслятор Украины, через него идет связь между современниками и связь поколений.

И это лицо Шевченко — ретранслятора и создателя культуры, ее генератора — ощущается советской властью как нечто враждебное ей. Это и есть национализм. Поэтому Шевченко усиленно интерпретируют, «изучают» в школе — искажая, выхолащивая из него противоречивость, иррациональность, оставляя уплощенный классовый протест, атеизм, делая его предтечей позднего Тычины — московского раба и певца террора. Сейчас, после шестидесятников, истинный Шевченко разрывает свой памятник-могилу, оживает, и потому все чаще чтение его стихов и пение песен на его слова власть прямо запрещает как национализм.

Работа над «Кобзарем» помогла мне лучше понять особенности Кочетова-Шевцова. Вначале я расчистил пласт первобытно-мифологического мышления. Все мифы фашизма налицо.

Миф крови. Потомок положительного героя — положительный. Исключение — евреи у Шевцова. У положительного Гершковича — отрицательные дети, сионисты. У Робермана — старого большевика — сын издает сионистский журнальчик под названием «Унитаз» (намек на «Униту»). Положительный еврей — это чудо белой магии революции, а чудо не передается по крови.

Миф земли. Евреи плохи тем, что они чужеродный элемент, у них нет кровной связи с землей русской.

Миф мужчины и женщины. Женщина — слабое зве-

но, сосуд порока. Через женщину — даже позитивную — враг (жид, шпион) воздействует на позитивного мужчину. Этим объясняется парадокс: некоторые позитивные по крови дети — отрицательны. Но ненадолго — приходит положительный герой, белый маг — парторг Глебов, и заклинанием (письмом отца) уничтожает злые чары (алкоголь, секс чужеродный). К женщинам ходят с плетью или бьют их по заду. Слабым местом обороны страны у Шевцова являются и мужчины-нацмены (татары, украинцы, армяне). Украинец для Шевцова — слабый русский или же скрывающийся еврей. Одного только Шевченко он признает за своего, еще бы: фонетически «шев», да и по семантике сын «шевца» — так сказать, украинизированный, подпорченный Шевцов.

Мифы крови, земли, чужестранца и пола пронизаны всеми формами магии. Тут и магия наименования, и магия заклинания и проклятия, магия волшебного зелья (авторы четко различают правильный и неправильный алкоголь: у Кочетова плох зарубежный, у Шевцова плохи и армянские вина, коньяки; водка — вот наше, советское, волшебное зелье), магия дотрагивания рукой, магия сексуальная (расслабляющая наши священные рубежи между миром загробным и миром живым).

Но Кочетов «подарил» мне и другое — элементы церковно-православной символики. Оказалось, что автопортрет его в «Чего же ты хочешь?» тянется от петуха, Птушкова-Евтушенко, Мамонова* на отрицательной, теневой части до Булатова-Сталина, молодого поэта — рабочего Феликса Самарина и раскаявшегося белогвардейского писателя Серафима Сабурова, которые представляют собой три ипостаси Бога: Бога-Отца — Булатова, Бога-Сына — Сабурова (Серафима Распятого), и Бога-Духа Святого — Ф. Самарина (он же — Савонарола).

Есть и змея-соблазнительница, даже две: позитивная Ия Паладина, своя, родная, советская (змея-эксгибиционистка), и Порция Браун, посланница ЦРУ-Сатаны, тоже

* Как мне сообщил поэт Вадим Делоне, Мамонов для сознания Кочетова — Делоне (бабушка Делоне — Мамонова; Кочетов присутствовал на суде над Делоне. Тут проекция своей Тени на врага-Делоне, как Птушков — клевета на Евтушенку).

эксгибионистка. В романе есть структурно одинаковые сцены: Ия соблазняет «святого» (слова Ии) «Савонаролу» (слова Порции) Самарина Феликса — «железного» Феликса, а Порция — Мамонова, т.е. служителя Мамоне, а не Богу-Отцу-Булатову-Сталину. Феликс выдерживает натиск, сохраняет Ию для Булатова, а себя для Валерии Васильевой. Мамонов же напивается, соблазняется «коричневой змеей» и предает святую Русь.

Как хорошо виден смысл этого церковно-православного слоя подсознания — это оязыченное, варварское, суеверное христианство с инквизиторским оттенком. Так злая змея Порция связана с Жанночкой, которая обладает всеми признаками Бабы-Яги (т.е. дохристианское божество): костяная нога, птичий гвалт и запах, всеведение, пограничность положения между тем и нашим миром, функции советника зла и провокаций.

Миф-мир обоих писателей существенно отличен только в одном. У Кочетова в центре мироздания «я» — «сверх-я», «минус-я», т.е. это положительная религия во главе с позитивным Богом. У Шевцова в центре — Сатана-жид, негативный Бог, а «я» — произведено от него, «я» — антисатана, заслон от Сатаны. Обе мифологии манихеистичны, лишь доминанты, акценты у них разные.

Когда я подошел в анализе к этому месту, то понял, что мне нужна фашистская художественная литература, книги по фашистской идеологии и мифологии. А их не было. Я смотрел, правда, фильм Ромма «Обыкновенный фашизм». Очень много общего с обыкновенным сталинизмом. Но у фашистов больше иррационального, красоты, эстетизма, яркости. Сталинизм предпочитает серые краски, серокрасные, сероголубые, серозеленые, рационализированные (хотя и там, и там — в глубине разгул иррациональных сил).

В этом Шевцов ближе к фашизму, как и в своем антисемитизме, как и в отсутствии охамленного христианства, в своей близости к земле (термина «диктатура пролетариата» у Шевцова нет).

Анализ Шевцова — Кочетова наталкивался почти на непреодолимое психологическое препятствие — необходимость перечитывать эту патологию по много раз, с карандашом в руках, изучая грамматические ошибки, особенности стиля, построения сцен, развития тем, мотивов. Этот утомительный труд скрашивался только эмоциями раскрытия тайны и смехом над анекдотичностью, абсурдностью соцреализма.

Вот в поэме А. Софронова вдруг Данте любит... Лауру. Товарищ коммунист, по словам Ленина, долженствующий овладеть всей человеческой культурой, решил поменять любимых женщин Данте и Петрарки — Беатриче и Лауру. И ведь читала это редакция журнала «Молодая гвардия», а потом издательство, где поэма вышла отдельной книжкой. Никто не пожалел беднягу Данте — ему дружным коллективом подсунули чужую даму сердца. А ведь сколько он старался, чтоб имя Беатриче стало бессмертным — благодаря его, а не Петрарковой любви. Но манихеизм не различает позитивных героев — жен и мужчин. Они взаимозаменяемы, т.е. эквивалентны своей позитивностью.

*

Разрядку от страшной атмосферы шевцовских романов давала работа над психологией игры. Мы вдвоем с Таней написали большую статью о методике (и методологии) игрового воспитания. Центральной мыслью было использование главного в игре — эмоций — как рычага морального, сенсорного, интеллектуального развития. Была сформулирована и основная цель «коммунистического воспитания» — гармоническое воспитание личности, социализация ребенка. Фрейд, положенный в основу работы, был тщательно спрятан. На поверхности от него осталась социализация вместо сублимации, осталась и генерализация эмоций (перенос влечений я обозвал павловской иррадиацией). Наметили мы также основные темы будущих исследований: анализ структуры игры, эмоциональных процессов в игре, логической,

моральной, эстетической граней сенсорики, разработка повозрастной системы игр, развивающих определенную психическую функцию.

Окончив работу, мы поняли, что нащупали нечто, объединяющее все мои предыдущие поиски: психоанализ; культура и хамство; структурный анализ. Игра и ее закономерности, ее классификация охватывает все сферы человеческой жизни, культуры. И в ней, как нам казалось, ключ к проблеме культуры, к проблеме становления человека, сублимации биологического в явление культуры.

Специалисты-психологи посоветовали нам познакомиться с работой Л. Выготского об игре, т.к. мы в своих выводах были близки его теории игры. В Выготском мы открыли для себя психолога высокого уровня, не имеющего ничего общего с убогой павловской психологией.

Теории Выготского и его ученика Эльконина показали, что главным в игре как ведущей форме деятельности дошкольника является желание, потребность стать взрослым.

В глаза бросается параллелизм эмоциональной основы волшебной сказки и детской игры. В волшебной сказке, по Проппу, отражен миф превращения подростка в мужчину, обряд инициации. В этом мифе, обряде после испытаний мальчик становится взрослым, т.е. мужем, охотником и магом (т.е. *могущим* управлять окружающим миром). И те же три ипостаси, потребности «стать взрослым» мы обнаружили в игре.

Играя в «педагогическую» игру, дети всегда вносят в нее, улучшая ее, сексуальный момент, магию абра-кадабры, ритуальные слова и жесты.

Критик Мирон Петровский написал в 60-х годах статью о «критерии цирка» в детской литературе. Ребенок любит цирк за то, что человек там все может, любые чудеса творит — акробат, жонглер, силач, фокусник. Шут, клоун символизирует неумейку, самого ребенка. Но клоун смешон, он символизирует прошлое ребенка, а остальные — его будущее, всемогущество

взрослого. Коронный номер цирка для ребенка — чудесная трансформация смешного неумейки (в смехе над ним ребенок изживает комплекс своего детского неумения) во всемогущего: клоун легко, шутя, чудесно повторяет всю программу — жонглера, акробата, силача. Он наглядно изображает будущее ребенка — превращение во взрослого.

И в литературе ребенок любит именно всемогущество простого человека, побеждающего сверхестественное, могущественное Зло — Змея Горыныча, Карабаса-Барабаса, Людоеда и других.

Петровский имел несчастье привести в качестве примера Алексея Маресьева: безногий калека, преодолевший непреодолимые препятствия и вернувшийся в конце концов к профессии летчика, Маресьев могуч как человек, т.к. победил и внешнее зло — мороз, голод, фашистов, и собственный физический недостаток.

И вдруг на Съезде писателей Агния Барто, признанный «классик» советской детской литературы, обрушилась на «критерий цирка»: Петровский сравнил «настоящего человека» с циркачом! Опять все то же соцреалистическое безмыслие: дети должны видеть в Маресьеве «обыкновенного» советского человека, коммуниста, героя (исходя из неявного тезиса, что советский человек — супермен). Они должны! И не важна для педагогов специфика детской психики.

Идеологизируется все. Вот дают детям криптограмму. После расшифровки оказывается, что это одна из самых трогательных строк Шевченко, страдающего в ссылке, в солдатах. Педагогу не важна действительная дидактическая задача криптограммы — он лепит в нее идею. Идея опошляется, она ведь не нужна ребенку в процессе игры. Она нужна глупому педагогу, пичкающему детей идеями и рассматривающему любовь к игре как вкусную облатку для педагогического лекарства против детскости детей.

Непонимание сути сказок, игр сказывается во всем.

Некоторое время педагогами владела пацифистская

идея (как всегда, спущенная сверху), что детям вредны ружья, пистолеты, сабли, оружие вообще (было это в период хрущевского «разоружения»). И дети играли палками, камнями, пугачами. После 68-го года потребовали военно-патриотического воспитания и снова начали милитаризировать игрушки. Пришлось дать зеленую улицу детскому оружию.

Педагоги старой закалки смутились: оружие будет способствовать развитию агрессивности. Вначале я, как и старые педагоги, возмутился милитаризмом новой педагогики. Некоторое время потихоньку выбрасывал оружие своих детей. Но они продолжали «ба-бахать», «тр-р-р-ракать», отступать и наступать, прятаться в засадах. Им нужна борьба со злом, война с ним, нужен подвиг, победа, нужна тактика и стратегия боев. И не имеет значения похожесть их палок на ружья и сабли. Лук им интереснее танков и атомных бомб.

После изучения работ Эльконина и Выготского я понял, что глупы и «пацифисты», и «милитаристы». Если мальчик играет в «шофера», «полицейского» или «вора», то он не обучается профессии, профессиональным навыкам или даже специфическим эмоциям. Он эмоционально «изучает» роли, социальные функции мира взрослых, он входит в мир взрослых, разрушает свой страх перед могуществом и бесконечностью, загадочностью взрослого мира. Многообразные игры развивают эмоциональную сферу, обучают владеть собой, сублимировать свои влечения, замещать нереализуемые влечения реальными действиями, подчиняться внутренним правилам игры.

Дидактизация, идеологизация игры чаще дает противоположный замыслу «педагога» результат — отвращение к взрослой идее, непонятной и скучной. Если взрослый отбирает оружие, то в итоге, сочетаясь с другими факторами, этот запрет оставит в подсознании оружие как мечту о чем-то таинственно-прекрасном, как средство свободы от преград. Искусственная милитаризация детства дает изживание свойственного детям стремле-

ния к борьбе и подвигу, вызывает протест против дисциплины в игре, борьбе, труде. Часть детей, правда, может увлечься ролью героических «болванчиков». Но в целом игра в войну не имеет отношения к взрослой войне. Потребность в игре-войне может потом развиться в любовь к борьбе в шахматах, к борьбе с теоремой, проблемой. Все зависит от общей структуры игрового процесса в системе игр, от роли педагога в ней, от успехов в игре, от эмоциональных процессов в играх, от психики ребенка.

Детская «война» луков, пистолетов, мечей — благородная, аристократическая игра ума, военной хитрости и мужества. Что общего в ней с войной «кнопок», машин, ракет — войной, где личность, как и целые народы, — ничто?

Именно не изжившие свое детство в смелых играх борьбы становятся инфантильными взрослыми — садистами, доносчиками, ханжами, инквизиторами-кагебистами, хладнокровными профессорами типа профессора Лунца.

Со Славиком Глузманом мы обсуждали эту проблему — роль игры в борьбе с инфантилизмом, психоневрозами, роль игровых правил в становлении гибкой цензуры в психике. Мы хотели даже, изучив эволюцию игры, эмоции в игре, разработать игротерапию для лечения сумасшедших детей — так тесно связана игра с проблемами изживания фобий, запретных влечений, с созданием механизмов сублимации, замещения предметов влечения, смещения влечений и т. д.

Но ни у него, ни у меня не было времени для игротерапии. Он еврей и потому не смог устроиться на работу в Киеве. После института поехал работать в Житомир. Лечил истерию, психопатию и более сложные болезни. Положение психиатрии, ее низкий уровень, неспособность лечить большинство психозов (если не все) привили ему отвращение к врачебному обману, к глупым коллегам. Посещение тюрем привело его в ужас: сколько там больных психически, сколько здоровых,

брошенных в одни камеры с больными. Он старался добиться перевода сумасшедших уголовников в больницу, но удавалось это с трудом. Как человеку, воспитанному на великой русской литературе, в семье врачей, ему трудно было стать хладнокровным лекарем, молчаливо созерцающим мучения больных и бездушие коллег. А тут известия о психушках, угрозы психиатрией, антисемитизм, с которым ему приходилось сталкиваться каждый день. Даже охрана, надзиратели тюрем, боящиеся его как начальства, психиатра, проверяющего положение больных в тюрьмах, имели перед ним преимущество невежества, бездушия, толстокожести, власти карателей и расовой чистоты. Последний легавый чувствует превосходство над евреем, если даже еврей — Лунц. А что уж говорить о еврее с ранимой совестью, со столь тонкой нервной системой, что она откликается на все боли ближних?

Славик писал рассказы. Вкусы наши существенно отличались. Когда он написал рассказ о своих поисках работы, мне рассказ очень понравился, ему же не очень. Он искал художественное обобщение в сюрреалистических образах, в сюрреалистическом построении сюжета. Как психиатр он видел советский абсурд, паралогизм очень хорошо. Ведь это страна шизофрении, существование двух (и более) «стран» — страны, стоящей «на пороге коммунизма» и страны, стоящей на уровне древнего Рима, средневековья, Ивана Грозного, Петра I, Пугачева. Но это и параноидальная страна, с манией величия и бредом отношения — советско-русское мессианство и страх перед происками империалистов, сионистов, украинских националистов, ревизионистов, троцкистов. Все виды болезни есть в этой стране, нет только здоровья. Тут и людоедство, и вампиризм, и чрезмерная конкретность мышления и чрезмерная абстрактность. Огромный сумасшедший дом, где здоровых людей лечат параноики, шизофреники, психопаты, истерики.

И как психиатр, как человек большой совести и куль-

туры, он при всей своей нелюбви к политике написал контр-экспертизу по делу П. Г. Григоренко. Он изучил письма Григоренко, его работы, беседовал со знакомыми.

Эту работу передали в Москву.

Садиться в тюрьму Глузмани вовсе не хотелось. Он не «герой». К «героям», энтузиастам-политикам относится скептически. Но «не могу молчать» Льва Толстого, Петра Григоренко — это всеобщее качество нашей протестующей интеллигенции.

Сейчас Славик в лагере, на семь лет плюс три года ссылки. Он стал борцом на уровне Мороза, Буковского, Джемилева, борцом без страха, борцом с садизмом полиции и лагерных палачей, с бесчеловечным абсурдом полицейской страны.

На Запад пришли его письма-протесты, ответы интервьюеру и «Открытое письмо родителям». Все, кто знает Глузмана, не могут без слез и чувства благодарности читать его письмо родителям. Это документ огромной силы, в нем изложена суть демократического движения. Я хорошо знал Глузмана, но не знал в нем такой силы духа. КГБ своими репрессиями отбрасывает от движения все слабое, трусливое, а в лучших людях выжигает прекрасноту, либерализм. Лагеря и тюрьма — школа силы, ума, духа. И за это «спасибо» Брежневу. Он готовит себе врагов — умных, честных, сильных, высокодуховных. Правда, воспитывают в лагерях (и особенно в психушках) и истеричных, злых человеконенавистников. Но Глузманов больше.

Вот как идет воспитание борцов в лагерях. Глузмани направили вскапывать контрольную следовую полосу, окружающую лагерь (какой символ! Ведь такая же полоса идет по границам страны: вся страна — лагерь, окруженный колючей проволокой и следовой полосой, и ээки — свободные советские люди — обязаны заниматься, по словам Глузмани, «самоохраной»). Ради того, чтобы получить свидание с родителями, Глузман совершил «аморальный» поступок, пошел на компромисс (первый и последний, по его словам). «Оперуполномочен-

ный КГБ капитан Утырь как-то сказал, что у меня есть одно слабое место — мои родители. Он ошибается: у меня нет слабых мест. Эта роскошь для меня непозволительна». Я думаю, что Глузман тут неточен. КГБ использует «слабости»-достоинства, а Глузман эти слабости превращают в свою силу, КГБ их этому обучает, выжигая слабость духовной силы.

Лагерный каратель сказал другу Глузмана Мешенеру: «Я могу вас поставить на голову, если захочу». Глузман комментирует: «Именно в такой акробатике и заключается гуманизм социалистической пенитенциарной системы».

«... в 50⁰ мороза ночью меня укладывали в снег «на всякий случай»...»

Это пипет типичный, т.е. лучший, выражающий смысл движения сопротивления политзаключений. Тут нет фанатизма, озлобления, тут юмор и спокойный тон ученого, излагающего факт и суть садизма своих палачей, тут сила духа.

«У меня диссертация — «Заочное судебно-психиатрическое исследование по делу Григоренко», и я благодарю судьбу за то, что холост. Оперы из КГБ, подслушивающие в лагерном доме свиданий, не станут свидетелями моего адюльтера», — отвечает Славик родителям по поводу крушения их надежд на его научную карьеру и семейную счастливую жизнь.

«Я не настолько силен, чтоб переступить собственную совесть. И не настолько слаб». В этом смысл нашей борьбы. В основе ее — совесть. КГБ использует силу ума Дзюбы, совестливость и алкоголизм Якира, преклонение Л. Середняк перед Глузманом и Плюцом — все слабости и достоинства наши, чтобы мы предали. И предадут трусы, алкоголики, моралисты, рационалисты и истерические протестанты. Не предадут трусы, алкоголики, моралисты, рационалисты и даже истерики. Все слабости становятся опорой, все достоинства могут стать основой предательства.

Как поется в одной песне: «Здесь сила против правды...»

Увы, у КГБ не только сила численности, бесчеловечности, экономики, но и сила слабости фобий, государственных маний и бредов.

А у нас и правда, доведенная до истерического правдолюбия, может стать слабостью.

И все-таки певец прав. У нас правда — главное оружие, наша сила, а у них бессилие лжи «Правд», дезинформации «Известий».

«...Ваше поколение контужено 37-м годом. [...] Страх, страх, страх. [...] Некий трансцендентный страх, кафкианский. И разве не счастье, что я лишен его, что совесть моя чиста? [...] Вам тяжело, но неужели вы хотите, чтоб я предал мать Яна Палаха?»

Это тоже главное в нашем движении — отсутствие кафкианского страха предыдущего поколения. И память о Яне Палахе.

Как поет Галич о Мадонне, бредущей по Иудее и думающей о Сыне:

А вокруг шумела Иудея
И о мертвых помнить не хотела.

А Славик Глузман помнит о миллионах замученных в ГУЛаге, об Эльзе Кох и Данииле Лунце, о Бабьем Яре, о своем еврействе, обо мне в психушке.

Вместе с Владимиром Буковским он в лагере пишет рекомендации попадающим в руки Кох-Лунцу, садистам-психиатрам. Он думает о других, потому что уважает память погибших и уважает себя.

Пока Славик писал экспертизу по делу Григоренко, я взялся за «Психологические методы на допросе». К этой работе меня подвела предыдущая моя статья — «Психоидеология интеллигентного предательства». Последняя, в свою очередь, была мне подсказана эволюцией моих бывших друзей, спорами с ними. Они доказывали, что всегда было, есть и будет дерьмо. Дерьмо в самом человеке, в государстве, в борьбе. Они смако-

вали абсурд, отчаяние, патологию общества и бросали обвинения участникам сопротивления: они-де несут новую кровь, новый ГУЛаг, дерьмо вонючее, ибо советское дерьмо уже подсохло, и если его не трогать, то не слышно его вони. А мы-де «бесы»-«демократы» (по аналогии с «Бесами» Достоевского).

Мой самый близкий тогда друг Эдуард Недорослов несколько раз ловил меня на бесовщине и однажды раздраженно заявил:

— Ты всегда выскользаешь.

Я передал через одну девушку опасное письмо в Москву. И «друг» обвинил меня в том, что я вовлекаю ее в борьбу, игнорируя ее нежелание участвовать в ней. Я объяснил, что не предупредил девушку, т.к. тогда она при задержании вынуждена была бы признать в КГБ, что сознательно участвовала в распространении антисоветчины. С другой стороны, она знала меня и адресата и понимала, что я не любовную записку передал.

— Хорошо. Но если бы ее схватили, она бы не захотела выдать твоё имя и тем самым встала бы на путь борьбы с КГБ. Ты заставляешь людей бороться, опираясь на их совесть.

— Я подписал письмо своей фамилией и даже подчеркнул, что с передающим не надо говорить о политике.

И так было несколько раз. Мой друг долго ловил меня на бесовщине, пока однажды не резюмировал:

— Вы честные люди, но вы прокладываете дорогу технократическому фашизму, который вас же и уничтожит.

Мысль об этой угрозе подсказал ему я сам, как и марксистский тезис о различии субъективного и объективного в движениях. Он не признавал марксизм, но тут не побрезговал «страшным» марксистским тезисом, чтобы обвинить марксиста. Когда он выступал против неомарксизма, я предложил ему связаться с религиозным движением, близким ему по духу. Но и на это он не пошел.

Он заявил мне, что, придя к власти, я его расстреляю за жалостливость к людям, к врагу.

— Да, если ты спасешь палача и тот по твоей вине убьет еще сотни людей, то придется поставить тебя к стенке за твое соучастие в палачестве.

Он отошел от друзей, от самиздата и стал сытым, самодовольным работником технической пропаганды. Он помогал своей работой распространению официальной лжи, а о тех, кто борется с этой ложью, говорил как о будущих палачах либо настоящих бесах. А впоследствии дал обо мне ложные показания на суде.

Были и другие знакомые этого типа — абсурдисты, пессимисты.

Я описал в своей статье взаимосвязь абсолютно пессимистической идеологии со шкурной психологией предательства самого себя и друзей. Я попытался проследить логику перехода от абстрактного пессимистического отрицания общества к соглашательству с наличествующим злом во имя отрицания зла будущего, а затем и к сотрудничеству с этим злом. Логика эта переплетается с психологическим переходом: шаг логический, шаг психологический, потом логический — так до конца падения. На самом деле, нет чисто логических или чисто психологических шагов морального регресса, они взаимно порождают друг друга при психологической детерминанте, примате социально-психологических факторов.

Но работа над психоидеологией предательства абсолютных пессимистов показала мне, что все не так просто, как мне казалось в начале работы.

Это лишь путь эстетов, филологов. Есть путь предательства технической интеллигенции, эмоционального национализма, политических истериков, философский путь, путь спокойного, самоуверенного либерализма, путь бесов (любящих играть с полицией в кошки-мышки).

В основе всех путей — нечестность с собой, примат личной боли, личной судьбы над идеологией. Идеология

для них — психозащитный механизм, спасающий человека от собственной совести, сострадания к людям и т. д.

Я понял, что такие шкурные идеологии базируются на мифологизации идеологии. Стал собирать материал для статьи о либералах, неомарксистах, «чистых» демократах, технократах, националистах. На самом деле, чистых идеологий нет, все они есть психоидеологии, сплетение разных идеологий между собой и с психологией; комплексов неполноценности, вины, страха, стыда, совести, истерии и сексуально-социальной патологии.

Во введении к статье я провел это разделение, ввел ориентировочную классификацию психоидеологий, упомянул о роли «шкурности», мифов, моды, бессознательных идеологий, в частности, бессознательной политичности, в сознании считающей себя аполитичной.

Так как социальной базой демократического движения пока является интеллигенция, то, значит, нужно использовать все ее социальные достоинства: эрудицию, знание, умение мыслить, анализировать — и бить ее слабости: склонность отрываться от грешной земли, склонность к самокопанию, к анархизму в политических действиях и в быту, к кастовой замкнутости, преувеличению роли слова, идеологий.

Все эти недостатки использует ГБ. И потому-то я хотел написать статью о психологии следователя и его жертвы: недостатки и достоинства следователя, недостатки и достоинства интеллигентов.

Номер «Вопросов психологии» со статьей Выготского об игре как раз содержал статью о психологических приемах следователя на допросах. Я смог опереться на описание легальных, законных приемов следствия. Оставалось обратиться к рекомендациям следователям в рекомендации подследственным, свидетелям и дополнить их опытом друзей, своим опытом и материалами «Хроники», «Белой книги» А. Гинзбурга, работами Литвинова, «Юридической справкой» Есенина-Вольпина.

В статье я успел дойти до противозаконных методов следствия: шантажа, провокаций, фальсификаций, пси-

холологического террора, использования фармакологических средств, «наседок».

Свою статью я прочел большому числу тех, кто уже сидел или же прошел через следствие свидетелем. Они вносили поправки, дополнения.

К концу 1970 г. я поехал в Москву. Нужен был самиздат, нужно было отдать наши материалы, информацию об Украине. Мне нужна была также фашистская дореволюционная литература и литература современного анти- и просоветского фашизма для третьей части «Наследников Сталина». Во второй части, под названием «Обмолвки реакции», я обобщил анализ Шевцова — Кочетова на все советское общество, рассматривая понятия общественного сознания, подсознания, цензуры, общественной символики. Тут были процессы над Левиным-Лениным, путаница с Лениным-Бауэром, маразматические мемуары Микояна, выдающие «тайны» Кремля.

В качестве символа особенно заинтересовало меня «белое пятно» в гимне СССР — отсутствие слов. Гимн без слов выдает суть нового этапа сталинизма: слова о Сталине подразумеваются, но произносить их пока стыдно. А новых не хотят. Этому соответствует нежелание выполнить обещание — заменить Конституцию «диктатуры пролетариата» Конституцией «общенародного государства». Им кажется слишком либеральной Сталинская Конституция, а ведь придется сказать еще более прекраснотушные слова. Слова никогда не мешают им, но «антисоветчики» используют их же слова против них. Это неприятно. Технократы собираются вовсе отказаться от добрых слов — зачем им слова о демократии, свободе и гуманизме? У них кибернетика, ракеты, атомные бомбы, вся техника, промышленность и наука. Бюрократы же уважают бумажки и любят хорошие слова. Это их слабость.

Гимн без слов означает то же, что белый круг на красном флаге национал-демократов в ФРГ. Но у НДП это сознательный намек, кулак в белых перчатках (по типу статьи русского фашиста под названием «Без жи-

дов», тут вкус тонкого эстетизма, в дореволюционном «Бей» заменено лишь «й» на «з» — и гуманно, и последовательно). А у Брежнева белое пятно в гимне — бессознательная угроза и растерянность, слабость, неустойчивость власти*.

Понятие «общенародное государство» — алогично для марксиста. Это абсурд, алогизм, раскрывающий причины отсутствия слов в гимне. Всенародное государство — ложь, такая же как и «диктатура пролетариата» при Сталине, но ложь алогичная, ложь и правда отказа от доктрины марксизма. Ведь «общенародное государство» — это «грубый казарменный коммунизм» по Марксу. Но и это, наиболее точное определение алогизма оборота не точно, ибо нужно говорить об «антинародном государстве», о машине подавления всех классов (ведь и бюрократы придавлены машиной, и они недовольны им: одним хочется безнаказанно пользоваться материальными благами открыто, всенародно; другим хочется открыто подчиняться Сталину и тотально терроризировать народ, третьи хотят улучшить работу народного хозяйства, четвертые мечтают о прекрасном буржуазном Западе, пятые... все чего-то не того желают). Государство — машина для подавления одного класса другим (Ленин). Общенародное? Всенародная машина подавления всего народа всем народом... Что это? Пауки в банке? Ну нет, крестьяне крадут, пьют, но никого как класс не грызут. Рабочие? То же. Интеллигенты? То же, разве что врет больше, унижается больше. Но она угнетена не менее других. Значит, не всенародное взаимоугнетение. Если бы что-то марксистское осталось у идеологов КПСС, то они должны были бы сказать: определения государства, данные Марксом, Энгельсом, Лениным, устарели. Вот вам новое, более точное. И тогда «общенародное государство» приобрело бы какой-то логический смысл, пусть и не соответствующий

*) В 1977 г. белое пятно наконец заполнили. Новая Конституция — по сути хуже сталинской. Новый гимн — видоизмененный сталинский. Остается ждать НДП — чтобы и они наконец поставили точку над «!» и змалевали свастику в свой флаг.

реальному советскому государству. Но ведь для этого нужно мыслить, а не фальшиво бить поклоны отцам-основателям теории.

Интересна и бессознательная символика советского государства. В Киеве стоит памятник Ленину в виде фаллуса. Возник обычай ездить к памятникам Ленина после бракосочетания. Они, отцы народа и его слуги, любят ездить в авто черного цвета, работать в зданиях из черного гранита (в Киеве два года назад здание ЦК уже облицевали, прикрыв свою черную работу, — поняли, что ли, смысл черноты, которая у славян означает смерть, удушье, болезнь, сатанизм?), располагать в газетных статьях вождей по порядку их близости к очередному Вождю или же в соответствии с их действительным значением в олигархии, ездить в машинах, номера которых точно соответствуют месту в иерархии. Фуражки на офицерах все более приближаются к красивости гитлеровских, обмундирование к «белопогонному» с ею роскошью ментиков, леонточек, красок, кастовых различий. Все больше термин «советский патриотизм» вытесняет лживый «интернационализм». Как забавно мне было в Киевской тюрьме прочесть статью о торжественном введении звания «прапорщик», а потом увидеть моих надзирателей уже в виде прапорщиков.

Как-то вся история России заглянула мне в камеру, когда я на 1-е Мая — праздник трудящихся — увидел пьяное улыбчивое лицо прапорщика в... голубом праздничном мундире.

Ну как тут обойтись без поэзии:

И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ...

Все та же лермонтовская страна — страна голубых мундиров, страна рабов, терпящих по триста лет, чтобы восстать в ослеплении, а потом опять погрузиться в терпение на очередные триста лет. Я не хотел бы, чтоб это поняли как презрение к русскому народу. Шевченко писал о «миллионах свинопасов» в казацком вольно-

любивом народе, о гетманах — «варшавском мусоре, подножье Москвы». Но когда я слышу сейчас опять о богоизбранности, мессианской роли русских, мне становится не по себе. 300 лет монгольского ига, 300 лет самодержавного, 60 — пока — советского. Зачем русские патриоты мечутся между низкопоклонничеством перед Западом и шовинистической гордыней своей... чем гордятся?

Обе крайности — проявления комплекса национальной неполноценности. У Лермонтова, Чернышевского, Герцена, Сахарова этого комплекса нет. Да и зачем он русским? Это же национальная ущербность — мессианство, слепая национальная любовь и гордыня.

Первое, что я узнал в Москве, было известие о суде над философом Егидесом. Я знал о нем лишь то, что он написал работу о смысле жизни — одну из трех, что появились на эту тему. Чувствовалось по этой работе, что автор думает и понимает всю значимость проблемы, так долго считавшейся религиозной псевдопроблемой.

Егидеса посадили в обычную психушку («идеи величия и реформаторства»); он написал проект устава КПСС и Конституции, а также «клеветнические» статьи «К основным направлениям социализма» и «Единственный выход»).

Москвичи обсуждали статью А. Михайлова «Соображения по поводу либеральной кампании 1968 г.» — критика либеральной оппозиции — в частности, Инициативной группы — с позиций социал-демократического марксизма. Многое из замечаний автора мне показалось верным, но даже верное написано таким снисходительным тоном, с изрядной дозой догматизма, с непониманием политической значимости законничества и морализма движения и со склонностью к подполью. Эти ошибки смазали все то близкое, что было в статье для многих, разделяющих сходные с михайловскими позиции. Совершенно возмутительной была фраза о бесноватости, истеричности демонстрации 25 августа 68-го года. Не понимать значения всплшек морального него-

дования — означает стоять на позициях плоского рационализма, прагматизма. Михайлов не понимал всей значимости — на этапе разрастания оппозиции в среде специалистов — идейности, бесстрашия, морального протеста и правосознания в стране бесправия.

Все это ослабило силу его тезиса о том, что многие участники мистифицируют социальные корни демократического движения: противоречия между уровнем производительных сил и бюрократической системой распределения, организации и управления, в классовом отношении — между научно-технической и гуманитарной интеллигенцией, специалистами и бюрократами. Мистификация состоит в трактовке движения как чисто морального протеста, внеклассового. Михайлов совершенно точно указал на то, что борьба за общенародное право — свободу слова, убеждений, мысли — есть узко классовая позиция, т.к. без требования самоуправления на предприятиях, без права на забастовки, без указания на желаемую форму управления государством — хозяйством, армией, культурой — это выражает в общенародных потребностях интеллигентское начало: интеллигенция не может творить без свободы мысли, слова, печати, организаций.

Однако товарищ Михайлов столь традиционен в своем марксизме, что даже стилем своим, формой полемики отталкивает от себя: «Морализаторство, юридическое крючкотворство, громкие фразы» (преувеличение ошибок движения, нарочито оскорбляющее), «это — разлад и деградация» (о пассивных либералах; по моей терминологии — просто либералах), «действия их носят объективно . . . провокационный характер» (об активных либералах, т.е. демократах).

Так как все мои друзья возмущались его статьей («сидит у себя в углу, молчит в тряпочку, ни черта не делает и гордо поучает и смеет разбрасывать обвинения, рекомендовать теоретические исследования по домам, не высовывая носа из норы»), я пытался его защищать. Нужно перешагнуть через снобизм «теоретика»,

«ученого марксиста», через его неумение мыслить конкретно: без «истерических демонстраций», шумной, открытой части айсберга самиздата все остальное будет развиваться очень медленно и в подпольно-авантюрном направлении. И тогда видно рациональное в его критике. В самом деле, почему мы не публикуем материалов о забастовках, почему не свяжемся с бунтовщиками г. Новочеркаска, г. Прилук и т.д.? Я лично передал в «Хронику» три сообщения о рабочих забастовках на Украине, но их не опубликовали, т.к. «это политика, а политикой мы не занимаемся». Почему право на забастовки менее существенно, чем право на свободу совести? Потому, что оно вторично, зависит от других прав? Но это регуляторы отношений между рабочими и государством, регулятор производственных отношений, шаг к самоуправлению, специфически пролетарское оружие за права, наиболее понятное рабочим. Преимуществом ли является «идеальность» свобод, которых хотят интеллигенты? Да, поскольку в свободе мысли и ее выражения — политическая предпосылка национальных и экономических свобод. Но абстрактная, идеальная свобода бессильна в своей «чистоте», если она не «затряснется» материальными свободами — свободой выборов, забастовок, массовых организаций, правом контроля масс за руководством.

Демократическое движение затрагивает все материальные свободы, но слишком недостаточно.

Снобизм слов П. Якира о том, что его не интересует, идут ли за нами массы, выражает как раз индивидуализм и интеллигентский анархизм демократов.

У украинских патриотов нет этого снобизма по отношению к массам. Наоборот, здесь можно встретить преувеличенное поклонение массам в форме абстрактной, мистической любви к нации. Но это не мешает патриотам Восточной Украины быть оторванными от нации, народа живого, — из-за культурничества, филологизма, аполитизма, непрактичности.

У русских демократов и у восточнукраинских патри-

отов общее — абстрактность сознания, мистифицированность политической направленности. Эта абстрактность особенно видна у «либеральных марксистов» (т.е. немарксистов), например, у Роя Медведева. Медведев с его «классовым» подходом столь же далек от рабочих и крестьян, как и его оппоненты — демократы и русские националисты. Его «объективизм» — нежелание мыслить до конца, нежелание уйти в «марксистскую» ересь, отойти от устарелых догм, и потому у него субъективное восприятие страны и истории, не научно-объективный анализ, а неосознанный страх перед потерей «основ» под ногами, перед будущей кровью народного бунта.

А демократы, издеваясь над его несмелостью мысли и либеральных надежд на смягчение власти, ее эволюцию, разделяют его формальную аконцептуальность, беспрограммность, неполитичность (т.е. «объективно-исторический» анализ) — основы его иллюзий.

Я сам в себе нес этот «первородный грех» интеллигента: рефлексия, абстрактность, отчужденность от быта, материи жизненной практики, миф чисто личностного протеста — и потому ощущал силу и слабость «общего» в движении сопротивления. Романтическая реакция на советскую действительность: русский монархизм, славянофильство, национализм — демонстрировали обратную сторону «первородного греха».

В самиздате появились статьи русских националистов «Слово нации» и «Три отношения к Родине». Дико как-то было читать голос из пещерных веков, клич назад, к «самодержавию, православию и народности», трем китам царизма, русского славянофильства и черных сотен. Но три кита в добрые старые времена были все же формально более приличны. А тут уже чувствовался век рационалистического «романтизма»: белая раса, «беспорядочная гибридизация», «голос крови».

Еще когда я собирался в Москву, Таня попросила, чтоб я встретился с В. Гусаровым, автором замечательных публицистических работ «В защиту Фаддея Булга-

рина» (Гусаров «доказывает», что Булгарин — патриот типа Кочетовых, настоящий блюститель «правильной» литературы) и «Мой папа убил Михоэлса» (об убийстве кагебистами знаменитого еврейского режиссера и актера Михоэлса).

Гусаров написал в своем обычном ироническом стиле «Слово о свободе» — ответ «Слову нации». Но заканчивает он отнюдь не иронически: «Всеобщее разложение следует приостановить не с помощью кнута и розги, а с помощью гласности».

Когда я пришел к Гусарову, он только обдумывал письмо в психушку Петру Григорьевичу — в ироническом стиле, но без сарказма, а с любовью и глубоким уважением к нему. Уже два письма он написал, а теперь решил их продолжить и сделать публичными, открыть диалог с Петром Григорьевичем о неполитическом, но более, быть может, важном.

Авторы «Слова нации» заинтересовали меня. Оказывается, они приходили к Гусарову. Гусаров описывал диалог с ними юмористически, т.е. сочетая уважение к их самоотверженности, искренности со смехом над их «романтизмом», отсутствием чувства юмора, приводящим к безвкусице словесной и идейной, к сладкому пафосу.

Эта ирония преобразуется в сарказм, когда сквозь сахариную эстетику страшной российской истории проглядывает расизм, фанатизм церковно-монархический и мессианский. Искренность и субъективная честность не означает обязательно гуманного отношения к человеку. Наоборот, доведенные до предела, они порождают изуверски-садистское отношение к человеку. Предел этот достигается тогда, когда идея, стремление к истине не самоограничиваются сомнением в себе, в Идее, не смягчаются «безыдейной» любовью к людям и уважением в них — даже в извергах — человеческого, презрением и ненавистью к античеловечному в себе, в единомышленниках, в Идее, в ограниченности своих истин.

Насмешка над противником (а «русские патриоты» — пока не враги типа КГБ, а идейные противники демократов; но может прийти время, когда они сменят КГБ: их идеи имеют тенденцию к воплощению в реальности) носит человеческий характер, если что-то ценишь в противнике и стоишь с ним на равных — и они, и мы пока узники ГУЛага, а не его руководители. «Русские патриоты» считают, что власть мягче относится к нам, а мы думаем обратное. Так или иначе, сажают и тех, и других. А то, что наверху есть люди, симпатизирующие им или нам (есть ли они? Медведевы верят, я — нет), этически не столь уж важно: условия спора, идейной борьбы у демократов и руситов этически одинаковы.

Я остановился на этом вопросе потому, что проблема моральности выступлений против противника, сидящего в лагере, возникает постоянно.

Когда группа Фетисова—Антонова написала гнусную фашистскую работу, в которой солидаризировалась с властью, с ее русским национализмом, расизмом, то в самиздате появилась злорадная статья о сумасшедших, заслуживших от родной и близкой им власти тюрьму.

«Хроника» осудила злорадство антифашиста, ставящее его на уровень Фетисова и Антонова.

Как всякая практическая моральная проблема, эта не имеет формулы решения. Вот некто призывает резать крымских татар, евреев, украинцев, русских, арабов, кого угодно. Более того, власть проповедует в это время то же. Моральное чувство требует ударить по погромщику, парализовать его человеконенавистническую пропаганду словом, раскрывающим внутреннее содержание пропаганды (она может оформляться в словах христианства, любви к Родине, коммунизма) точным словом — фашист, садист, расист, погромщик, изувер.

Но это слово другой, властвующий бандит может использовать против безвластного. Можно ли дать на него показания? Формулы выхода из ситуации нет и не может быть — она сама будет бесчеловечной, если создать ее. Приходится искать меру в реакции на Фети-

совых, т.е., например, искать стиль, форму, слово и аргумент полемики, «недоносящие», иными словами, не пригодные для прокурора и судьи.

Вот фашист сидит с евреем в одной камере. Фашист прямо говорит, что власть — враг второстепенный, а главный — это еврей, интеллигент, либерал и демократ. Идут споры, крики, обмен оскорблениями. Но демократ получает передачу, а у фашиста ничего нет, он голодает, он болен, он умирает.

У одного моего друга возникла как-то именно такая проблема. Но решить ее было легко. И он решил по-христиански. Сложнее, когда небольшую собранную сумму приходится распределять между большим демократом и умирающим фашистом. А ты не сидишь, не видишь мучений фашиста, ты о нем лично не знаешь, он не ближний, а потусторонний тебе духовно. Все тебе враждебно в нем, в конкретном зле, а не просто в символе зла.

Как быть? Я решил эту проблему в пользу больного демократа, но всегда ощущая безнравственность своего выбора (проблема на деле еще сложнее и глубже, т.к. безнравственен сам выбор, но тут сами деньги, их нехватка создает проблему). Когда тебе сделали зло, то нравственно простить его, врага, обидчика (хотя и тут есть безвыходные теоретические ситуации). Но кто смеет прощать Сталина, ЧК, ГПУ, НКВД, КГБ, Генерального прокурора Руденко — не за себя (как «фаворитов коронованного фельдфебеля» Николая I прощал декабрист Иван Александрович Анненков)? Как можно простить человека, который не тебя, а других мечтает резать? Который посадил в тюрьмы людей своим доносом — из страха, из корысти?

Этот вопрос смыкается с вопросом об отношении к Достоевскому. Гениальный писатель, мыслитель. Но и патологический русский националист с дичайшими идеями о нацменах. Когда соберешь все его высказывания о евреях, поляках, украинцах, то за величайшим мыслителем проглядывают «Протоколы сионских мудрецов».

Человек, верящий в миф о ритуальных убийствах, о борьбе евреев за власть над миром, не может внушать уважение к себе (в этой своей грани).

Спор о Достоевском велся со многими москвичами, так как они не хотели видеть его политической идеологии — только эстетику, духовные поиски (как будто не было связи между его глубочайшими идеями и его антисемитизмом).

Нежелание смотреть всей правде в глаза — зародыш мифологизации идеологии и видения мира.

*

После Гусарова я пошел на вечеринку к В. Л. Он бывший сотрудник пионерского журнала, занимался детским литературным творчеством. Писал и подписывал письма-протесты против судов, против смертной казни и к этому времени был безработным.

На вечеринке присутствовал Владимир Буковский, вышедший совсем недавно из лагеря. Володю я расспрашивал о психушках. Я хорошо запомнил его рассказ о самом ужасном.

У тебя в психушке появляется друг, с которым можно поговорить. Он любит тебя, ты — его. Идет своеобразная взаимоподдержка. Но вдруг однажды он по секрету сообщает, что он Сталин, Наполеон или еще кто-либо. У него не было ранее даже намек на бред, на манию. Что же делать теперь? Не хочется его ни видеть, ни слышать — так страшно изменение личности. Но ты для него единственное близкое существо, он ревниво следит за тем, что ты говоришь с другими, молчишь, удаляешься от него. Начинаются сцены, и месяцами приходится делать вид, что между вами ничего не изменилось.

Страх перед тем, что и сам сломаешься психически, становится почти трансцендентным.

Личность Володи Буковского мне очень напомнила Валентина Мороза. Та же сила духа, воли, тот же личный магнетизм, личное обаяние, объединяющее людей совсем разных.

Я прочел Володе свою статью о психологических методах на допросе. Он сделал замечания о различии в психологическом состоянии свидетеля и подследственного, но в целом считал такую статью ненужной: человек сам должен решать проблему поведения, никто ему не подскажет.

Как показал опыт, он (как и многие другие уже опытные в отношениях с КГБ) был не прав. Дело в том, что те, кто впервые попадает в КГБ, часто ошибаются из-за остатков наивной веры, что в кагэбистах есть что-то человеческое или законническое.

Через день-два я сидел ночью у Якира и писал открытое письмо Петру Григорьевичу. Зинаида Михайловна дала мне прочесть его письма, и я был потрясен человечностью, красотой его «обмолвок». Если даже в подсознании Григоренко столько доброты и гуманности... Он стесняется своей искренней любви к людям, и поэтому лишь «обмолвки» выдают эту любовь. Эти «обмолвки» напомнили мне «обмолвки» Шевченко, обмолвки целомудрия, гуманизма, столь контрастирующего с рекламным, пропагандистским гуманизмом Брежневых.

Телефонный звонок. На ломаном русском языке западный журналист сообщил, что Володю побил филер и что его забрали.

Я разбудил Петра, и мы всю ночь обзванивали всех кого могли. Володя объявился под утро. Да, филер пытался воспрепятствовать встрече с журналистом, но это напугало лишь журналиста. Володя собирал материал о психушках, он не мог забыть увиденного своими глазами.

Особенно сблизился я в это время с Григорием Подъяпольским и его женой Машей. Их семью называли «Гриша-Маша»: вечер у «Гриши-Маши», «Гриша-Маша рассказали» и т. д.

Гриша — член Инициативной группы, физик, поэт. Ночь спора на кухне — маркеизи, марсисты, поэзия, философия науки...

Гриша познакомил меня со своими друзьями, в том числе с Гариком Суперфином. Гарик — ходячая энциклопедия по истории партии, филологии, философии, ГУЛагу, современному и прошлому. О чем бы мы ни заговорили, он уточнял даты, имена, названия книг и т. д. Об украинских заключенных знал такие подробности, о которых я и не слышал.

Обычно такая память отражается на интеллектуальных творческих способностях. Но Гарик — интересный историк, филолог, знаток психологии, ее основных течений.

У Гриши я еще ближе сошелся с переехавшими из Умани Виктором Некипеловым и Ниной Комаровой. Было больно думать, что придет и их черед (что и случилось в 73-м году с Витей). С Виктором мы много обсуждали проблемы национальные (в отличие от москвичей он их хорошо знал), проблемы воспитания ребенка. Он с прохладцей относился к Фрейду, к его пансексуализму, вокруг этих проблем вульгаризации подсознания и шел преимущественно наш спор.

Политика не по душе Некипелову, но невозможность дышать этой атмосферой лжи и террора, невозможность молчать неизбежно вела к самиздату, протесту, в тюрьму. И все же известие об его аресте, которое я получил в психушке, было ошеломляющим:

— Опять забирают поэтов, за честное слово, за искреннюю поэзию. Да что же это? Убили Пушкина, Грибоедова заставили выполнять поручения русского империализма и довели до страшной смерти под ударами возмущенных персов. Смерти... От самоубийства, от чахотки, от сумасшествия, от голода. Духовные смерти...

Григорий Подъяпольский умер, не выдержав нервного напряжения борьбы с советской мерзостью.

Гарик Суперфин сидит, голодает за свой талант, за свою память, которая помнит о мертвых и живых.

Владимир Буковский умирает от голода в тюрьме, а его мать взывает ко всему миру спасти ее сына, спасав-

шего других людей, весь мир от тотальной, всеземной психушки — ГУЛага*.

Лжат стихи Виктора Некипелова, полные таланта, разума и любви и которые так трудно здесь опубликовать: кому здесь нужны стихи? А Виктору грозит новый срок.

*

А из окна — прекрасная Норвегия, «страна суровых норвежцев» (куда-то вглубы веков ушло свирепое мужество их предков — варягов, викингов, осталась спокойная уравновешенная доброта). Озеро, каменные уступы, лес, слегка напоминающий родные Карпаты. И кажется, что если бы наши люди могли ездить сюда, в Швейцарию, Англию, Францию, увидели бы живых людей, столь непохожих национально, но столь близких общечеловечески, то все эти Андроповы тут же испарились бы, как злой сон. Стало бы ясно, что все зло Запада тысячекратно преувеличено, а свое тысячекратно преуменьшено и что можно жить так же по-человечески, как норвежцы.

Норвежцы по-настоящему, не на словах любят свою природу, своих детей, свою свободу и благосостояние. И дискутируют в парламенте: год службы в армии — не слишком ли обременительно для человека? Стараятся, чтобы и этот год не был зачеркнутым, уничтоженным годом жизни.

А наш хозяин украинец (Господи, кто б мог подумать, что Шевченко своим символом Украины-Иудеи предсказал украинское рассеяние: 2 миллиона в Германии, Франции, Австралии, Канаде, США!), украинец во всех своих чертах, но уже в чем-то норвежец, рассказывает о приходе «братьев» в 39-м году на Западную Украину, о расстрелах, пытках, потоках лжи, обрушившихся на бедное, угнетенное ранее Польшей украинское население.

*) Слава Богу, для новых изданий этой книги я могу внести поправку к мрачному карнавалу истории, на сей раз поправку светлую: и Буковский, и его мать уже на воле, но лишились Родины, России.

ние, о рыцарях украинского партизанского движения.

... Озеро милое, Родина милая ...

Норвежский украинец (и любящая далекую Украину норвежка и их дети), французские, немецкие, американские украинцы ... как не похожи и похожи они ... Болгарин и негр — украинские патриоты (жены — украинки), ирландец (друзья — украинцы), баск, говорящий об Украине.

*

После каждой встречи мой портфель наполняется самиздатом. В конце концов, с туго набитым портфелем в одной руке и с восемью томами Маркса в другой (Ира Якир отдала их мне) я поехал в аэропорт.

Погода была нелетная. Посидев несколько часов с майором КГБ, одетым в парадный кагебистский мундир и читавшим «Любовь и ненависть» Шевцова, я отправился на вокзал. На вокзале стояли огромные очереди. У меня раскалывалась от боли голова (грипп), уже ничего не интересовало, исчезли опасения, что следят.

Подошел легавый.

— Вы что тут делаете?

— Покупаю билет.

— Билетов уже нет.

— Я жду, может, кто продаст.

Посмотрел документы, книги Маркса (портфель с самиздатом случайно оказался вне его поля зрения).

Через некоторое время я увидел знакомое лицо украинского патриота.

Я подошел к нему, напомнил о себе (ни я не помнил его фамилии, ни он не знал моей), об общих знакомых.

Он предложил сесть к ним в вагон без билета («по дороге заплатим проводнику»). Я объяснил, что со мной самиздат и потому мне опасно сталкиваться с милицией, с контролерами.

— Я буду держать портфель при себе.

Он вскочил в вагон, а меня не пустили.

Поезд пошел, а вместе с ним мой самиздат в руках полужнакомого человека.

Я вернулся к Ире Якир, рассказал о приключении. Она смеялась над моей «конспирацией».

— Ты всегда ругаешь москвичей за неосторожность. Но так, как ты, еще никто не поступал.

В Киев я приехал через день, в пять часов утра. По дороге девушка из моего купе сказала, что живет на Русаковке (район Киева) и что за ней приедет дядя на машине. Я обрадовался: мне ведь туда же.

Когда я вышел из вагона, увидел дядю рядом с ней.

Метров через пять:

— Пройдемте!

Рядом двое легавых.

— А что такое?

— По телеграфу сообщили, что вы, напившись, буянили в вагоне.

— Но ведь я не пьян. И откуда вы знаете, что именно я буянил? Вам что, фотографию мою передали?

— Где ваш билет?

— Выбросил. Давайте-ка лучше вернемся в вагон, спросим проводника, буянил ли я.

— Нечего спрашивать.

Завели в привокзальное отделение. Все тот же бессмысленный спор.

Майор был пьян, рядом лейтенант в нетрезвом состоянии.

— У вас нет билета, вы ехали без билета, мы будем судить проводницу: вы ей заплатили. (Успели шепнуть ему мои провожатые, что выбросил билет.)

— Обыскать.

— Что искать будете? Билет?

Опять споры, мелькают законы с моей стороны и алогизмы с его.

Просматривают постранично 8 томов Маркса.

— А зачем вам Маркс? Его что, нет в Киеве?

— У меня денег нет, чтоб купить.

Нашли какие-то порезанные бумажки.

— Собрать, лейтенант!

Лейтенант не может. Я, увидав, что ничего нет опасного в бумажках, собрал ему (спешил домой, чтоб застать жену дома).

— «Поздравляю с праздником. Целую. Ю. Ким. Пошел за врачом».

— Что за враг?

— Не враг, а врач.

Начался спор — врач или враг.

Говорю:

— После поцелуя не идут за врагом, а за врачом могут пойти.

Ржут от «остроты»...

Майор побежал куда-то (сообщать о плодах обыска). Прибежал злой, но не на меня, а на хозяев. Ко мне отношение сочувственное. Видимо, сказали, что это не шифровка и что он — болван.

Дома посмеялись над приключением. Тот, кто получил мой портфель, ругался:

— Кому ты передал свой портфель?! Он же 300 рублей получает, он же в штаны наклап по дороге.

Я оправдывал себя дикой головной болью и тем, что неосторожность моя обернулась удачей.

На следствии 72 года напомнили:

— Вы что, думаете, что обманули нас тогда, на вокзале? Мы знаем, что в этом же вагоне ехал ваш человек с портфелем.

(«Мели, Емеля! Слышал звон, да не знаешь, откуда он».)

А через месяц ведут меня по коридору на допрос и вдруг... тот самый, «мой человек». Его как свидетеля вели на допрос, по другому делу. Это было неслыханно — такие встречи невозможны, запрещены. Я заподозрил провокацию. Ничуть не бывало. Он вышел сухим из воды, о портфеле никогда больше не заговаривали. Простая халатность конвоира. Сколько их было, этих халатностей. Работать и здесь не умеют «чисто». Мне же было приятно посмотреть на человеческое лицо с воли.

В Киеве я окунулся в теорию игры. Стал изучать структуру игр в ее связи с психологией и педагогикой. От «политической» деятельности все более становилось тошно.

71-й год был для меня, пожалуй, самым тяжелым. Московские впечатления, несмотря на знакомство с новыми прекрасными людьми, оставили на душе большую тяжесть. Я увидел зачатки бесовщины. В сочетании с аполитизмом многих, т.е. бесперспективной, хоть и благородной, неосознанной политикой, это усиливало ощущение бесплодности борьбы за свободу. Да и само понятие свободы требовало уточнения. Свобода — условие чего-то, а не самоцель. Средство чего?

Классический марксизм изжил себя. Возвращаться к прежним, домарксистским идеалам? Бессмысленно. Нужно искать новое впереди. Но что?

Стал анализировать причины перерождений. Какой-то страшный маятник революций и термидора. Христос — Константин, Робеспьер — Бонапарт, Февраль — Октябрь 1917 г.—1937—47 годы.

Что общего у Христа, Робеспьера, Ленина? А между Константином, Торквемадой, Сталиным и Бонапартом много общего.

Стал присматриваться к психологическим и этическим корням перерождения.

А 71-й год подбрасывал мне одну за другой «психологические истории».

Для меня это был год работы над игрой и Шевченко и год психологических «надрывов» моих близких, далеких. Трагедии профессии, семьи, любви, детей...

Трагическая история страны воплощалась в трагедию людей: оппозиционеров, конформистов и нонконформистов, врагов и друзей.

Навезчиво стучала в голову мысль Э. Фромма: невротическое общество порождает невротическую личность, невротическая личность создает невротическое общество.

Вот, например, бесовщина. Она сопровождает все гуманистические движения, когда возникает вопрос перед гуманистами: «Что делать, чтобы наши жертвы дали ощутимый результат?» И тогда один за другим возникают тезисы, постулаты бесов.

1. Цель оправдывает средства.

2. Человек — средство, цель — Идея («люби дальнего» — Будущее поколение, Человечество в целом, люби Свободу, Доброе, Прекрасное, Бога, Прогресс, Нацию, Народ, Трудящихся. И все с большой буквы, чтобы живой человек осознал свое ничтожество перед Идеей.)

3. Чем хуже, тем лучше.

4. Кто не с нами, тот против нас.

Это только логика бесов. А психология ведь переплетена с ней — каждому силлогизму соответствует психологическая установка.

Нечаев начинал с абсолютной, фанатичной любви к народу. А закончил ненавистью к его пассивности, к его рабству. Из любви к абстрактному народу, идее «народа», из мифа рождается ненависть к реальному народу, желание вздернуть его на дыбе.

Вот мой приятель Н. Умен. Ум — едкий, разъедающий скепсисом все бездоказательное, фальшивое. Но это только ум экспериментатора. А что если сделать так, попробовать это? Эдакое экспериментальное отношение к себе, к другим. Он мне очень много дал, указав на слабые места в моих взглядах. Я пытался ему доказать, что, т.к. невозможно *все* объяснить сразу, все обосновать, нужна осторожность в обращении с традициями, с живыми людьми, с моралью, со всем. Если древние придумали мифологическое обоснование табу кровосмешения, то это не значит, что надо выбросить это табу в мусор. Человечество вырабатывало многое эмпирически, методом проб и ошибок, и отказываться от этого только из требования достаточного основания смешно.

Еще более, чем запрет инцеста, научно не поняты психика, этика, тайна жизни, эстетика.

Но Н. не мог удовлетвориться этим объяснением.

Любопытство тянуло за грань, в глубины, в бездны. И, не сдерживаемое нравственным чутьем, которое заглушалось острым наслаждением жизненного эксперимента, оно грозило завести его в пропасть игры в «двойника», в тюрьму политическую или уголовную, в садизм, во что угодно. Меня особенно пугала его тенденция к игре с КГБ. Они, конечно, глупее его, но за ними опыт, практика. Знаменитый следователь царской охраны Судейкин в свое время запутал любителя двойной «игры» народовольца Дегаева. Сам себя запутал Азеф.

Даже если охранка-КГБ и не выигрывает, любитель острых наслаждений всё равно проигрывает.

Этот тип экспериментатора над людьми — одна из разновидностей «бесов».

Это Ставрогин «Бесов» Достоевского.

Аморализм Н., не столь талантливо выраженный, широко рассеян среди современной молодежи. Нет табу, чувство сострадания, сочувствие заглушены «мыслью»: Бог умер, и нет опоры в нем, есть поиски — у одних в виде «поиска» заменителя, суррогата, у других — Бог как протест против Бога безбожников.

Однако и у многих, пришедших к Богу, есть этот аморализм, т.к. старый Бог для них не жив, не обоснован, не соответствует их порывам, их разъедающему уму. Он может интегрироваться, вращаться в аморальное мироощущение как буфер между совестью и желанием, как прикрытие наготы своей бездуховности*.

Те же верующие, что в жизнь воплощают свою веру, уже имеют (благодаря заложенному в них в детстве, как это ни парадоксально в СССР звучит) мораль, а Бог лишь помогает им быть тверже.

Зная Фрейда, я смог более сознательно всматриваться

*) Можно привести в качестве свежего примера клеветническую статью «христианина», писателя Петрова-Агатова о Гинзбурге и Орлове в «Литературной газете» за февраль 1977 года. Все, кто знал автора, считают, что основным мотивом клеветы был не страх, а собственная безнравственность, приписанная им своим «жертвам». Забавно, что в атеистической, кагебистской газетке Агатов обвиняет большинство диссидентов в... атеизме. Профессор Орлов своим безбожием, выходит, оскорбляет религиозные чувства Брежнева.

в души ближних и в свою. Там не все было по Фрейду. Социальные противоречия и комплексы переплетались с сексуальными, и, как мне кажется, социальные более важны.

Вот семья близких мне людей. Все видят счастье, столь редкое в наше время и в нашей стране. Но и он, и она мечтают; все время какие-то невротические всплески. Вначале я увидел все в духе классического психоанализа: неосознанные навязчивые желания изменить, уйти, нежелание сделать боль другому. Но как только я увидал их семейную трагедию поближе, то увидел не чисто сексуальную неудовлетворенность и поиск, а обоюдное неуважение к образу жизни друг друга: каждый чувствовал, что оба живут не совсем по совести, но подсознательно обвинял другого. Когда же я увидел третий фактор — страх за мужа, которого вот-вот заберут за самиздат (а это переплеталось с неуважением к нему за его непоследовательность, с желанием другого, лучшего, с чувством вины и неудовлетворенности собой, своим поведением, своей профессией), то ощутил полную безвыходность, невозможность им выйти из невротического состояния.

И еще одна, быть может, более важная проблема. Сам человек может выйти из себя, самораспутаться, решить свои проблемы. Но когда он сплетен с другим в семье, другим «запутанным», то редко когда распутавшийся станет главным фактором в развитии семьи, любви. Чаще вначале создается единый «семейный комплекс», а затем запутывается он сам. Его запутала семья, т.е. другой запутанный человек. И это двое! А что ж говорить о государстве, о миллионах людей с их спутанной психикой, с их большим государственным строем!

Я пытался помочь некоторым друзьям. Самое большее, чего удавалось добиться, — смягчить взаимные удары любящих, немножко улучшить взаимопонимание.

Знание психологии, работа над психоанализом культуры и хамства, психоаналитические наблюдения за окружающим чуть-чуть помогали — до тех пор, пока

не входишь в близкие отношения с другими. Но если самоустранишься, уйдешь в себя, то себя же разрушишь; наполнишься презрением и ненавистью ко всем, т.е. опять же самозапутаешься.

Атмосфера подозрений, слежки, допросов все это гиперболизирует. И лишь единицам удается вырваться из себя ГУЛаг. Ведь человеку так свойственно делать отношения в среде своим качеством, овнутрять ГУЛаг. А потом этот внутренний ГУЛаг вырывается вовне, набрасывается на близких.

Мой товарищ как-то в пылу спора выбил табурет из-под собеседницы. Я выгнал его из дому!

— На хрен мне единомышленники, которые ведут дискуссию с девушками методом «дубинки», вымещающие свою ненависть к строю на его жертвах.

Ему было тяжело от разрыва, мне и его собеседнице тоже...

Мы переступили потом через эту историю, похоронили ссору в себе. Он вел себя прекрасно, человечно, умно. Но ГУЛаг все еще в нем, и нет-нет да и обрушится на близких.

Вот другой товарищ. Он любит «единомышленницу». Она нечаянно наступила на его больное место, и любовь превратилась в ненависть, вначале завуалированную вежливостью, а потом оформившуюся в «идейный разрыв». Ей приписывались всевозможные идейные недостатки: и нетвердость убеждений, и нежелание активно работать в самиздате, и оппортунизм к противнику. Всего этого не было — он один видел в ней безыдейность и прочие отклонения от «генеральной линии» самиздата.

То, что я пишу сейчас, дает перекошенный образ самиздатчиков. Но я ощущал этот образ в 71-м году именно таким, потому что все так устали тогда...*

Когда возникает ощущение безнадежности, психологические проблемы борьбы становятся в центре. Поэтому эмигрантская жизнь традиционно превращается в жизнь надрывов, взаимооскорблений, склок, трансфор-

* А сейчас всё еще гораздо сложнее, страшнее, напряженнее...

маций идейной борьбы в борьбу личностей и борьбы самолюбий в идейные расколы. Спасение — в уходе от эмигрантщины в жизнь народа, среди которого живешь, в уходе из гетто, в отходе от борьбы групп, от расколов, от самолюбия и тщеславия, от болезненной реакции на уколы и укусы.

В 71-м году эмигрантская болезнь была у некоторой части москвичей, крымских татар, украинских патриотов (подогретая, к тому же, полемикой вокруг Дзюбы). Некоторые обвиняли Дзюбу в чем угодно (особенно труссы), мстя за свою зависть к его былой смелости.

Галич стал на весь 71-й год моим лекарством и моим наркотиком. Неслучайно книга его песен названа «Поколение обреченных». Это неудачное название, т.к. в этих песнях не только тоска, чувство усталости, но и сила сопротивления, интеллигентского, этического, но сопротивления. Когда появился его цикл о Сталине (и Христе), то на первый план вышла сила духа (для многих, наоборот — пессимизм, неверие в победу Христа). Я часами слушал этот цикл и еще более глубокое, поэму «Кадиш» — о Януше Корчаке, польском писателе, педагоге, сожженном вместе с детьми в газовой камере.

Увлечение Галичем охватило всех моих друзей. Некоторые предпочитали «аполитичного» Окуджаву или песни Юлика Кима. Для меня же они дополняли друг друга.

Пройдя сквозь блатной карнавал, карнавал мотива, слов, сюжета, они все пришли к философскому карнавалу без костылей аргю. Правда, Галич и раньше почти не прибегал к блатным словам, лишь в силу художественной необходимости используя также образную систему и мелодику лагерей.

В «Кадише» карнавальность выражена в многоголосоии, в сочетании «грубых» слов и не связанных формально с трагедией Корчака образов с прозаическими словами Корчака: «Я никому не желаю зла, не умею, просто не знаю, как это делается».

В «Кадише» карнавал не ГУЛага, а всечеловеческий,

приближающийся к карнавальности Достоевского (и к Салтыкову-Щедрину). От впадения в истерический плач, крик, неискренне звучащий пафос спасают остатки лагерного словаря и память о том, что это поет Галич: все тот же голос, не претендующий на музыкальность, артистизм, все та же символика.

Интересно, что мало кому удается петь его песни. И его простые мелодии слишком сложны, и пафос врезается диссонансом в ухо или же исчезает, уступая место хрипу, алкоголическому надрыву. Исчезает галичевская гармония. А Окуджаву поют, Высоцкого тоже.

В психушке я слышал, как пели Высоцкого и даже Галича, но а ля Высоцкий (уклон в блатную сторону) или же а ля Окуджава (уклон в сторону от гармонии высокого и низкого).

Да и не знают и не любят блатные Галича. Другое дело — Высоцкий или сентиментализированный блатными Окуджава.

Желание неполитической, но адекватной состоянию страны песни привело к песням Юлия Кима, песням театра (циклы из «Недоросля», «Шекспировские», детские). Опять карнавал, но в форме традиционной клоунады.

Странно, но именно его слова звучали во мне на допросах, во время бесед с психиатрами. Я слушал этих негодяев и патологических существ и отстранялся от них Кимом, смотрел на них сквозь клоунаду истории.

... Белые да красные,
Да все такие разные,
А голова у всех одна,
Как и у меня.

Интересно, что если перед арестом внутренней опорой был Галич, то после — Юлий Ким, его «неполитические» песни. Ненависть исчезала, и возвращалась способность смотреть на «них» как на клоунское шествие уродов.

И в «Кадише» вспоминались другие образы, близкие Киму веселой гранью клоунады истории:

Шагают мальчишки, шагают девчонки,
И дуют в дуделки, и крутят трещотки . . .

Шагают они, правда, по сюжету — в газовые камеры...

Современный «карнавал» — трагикомедия и «оптимистическая трагедия» как-то неявно перекликались с песнями безумных женщин в «Кобзаре», а песня «Аве Мария» с «Марией» Шевченко.

Последняя связь — моя индивидуальная, эмоциональная, т.к. в явной форме почти ничего общего*. Нищая, убогая одежда Мадонны, Мадонна на пути, в пути, параллелизм современного и библейского (Украина-Иудея: Иудея и советская, гулагная Россия).

Я так много пишу о песнях, поэзии не потому, что это специфически мое восприятие происходящего. Мне кажется, что без песен и поэзии нельзя понять движения сопротивления (у украинцев — исторические «думы», народные песни, Шевченко, Леся Украинка и поэты-шестидесятники; у русских и евреев — Галич, Окуджава, молодые поэты, Мандельштам, Пастернак, Ахматова).

Галич адекватен чему-то общему в демократическом движении: если и не согласен с его мыслью, то видишь верность, истинность его образов.

И какие бы идеи ни исповедовал Александр Галич, куда бы он ни пришел, его самиздатские песни останутся точным образом-символом нравственного сопротивления, неприятия мира лжи и насилия.

Галич требует большого исследования — настолько глубок он, его мысль, эстетика, психология и язык, настолько взаимосвязаны они между собой и с его музыкой и хриплым голосом, обликом философа из ГУЛага, мудрого еврея из «Страны Советов», поджигателя «не то Кремля, не то Рейхстага» (Ю. Ким).

Карнавал, клоунада советских шансонье помогла мне в изучении игры. В ней тоже есть клоунские элементы, и не только в моторных играх-забавах, но даже в интеллектуальных. Играя в скучное взрослое лото, ребенок

*) Галич сообщил мне, что в детстве любил двух поэтов — Жуковского и Шевченко.

начинает «дразниться»: обзывать по-смешному или на языке абракадабры цифры, карты, кубики и т. д. Побежденному дают насмешливые прозвища. Эти прозвища амбивалентны: в них и радость победы, и унижение побежденного, и приглашение побежденному посмеяться вместе с победителем — ведь это игра.

Амбивалентность клоунады — способ изживания серьезных обид, зависти, злости и т. п. Это как бы детски-пророческое видение философии сильного взрослого, смеющегося над бедами, над смертью, над врагом, над своей собственной слабостью.

Только сильный смеется над собственным страданием. Слабый смеется над другими — либо слабыми, либо попавшими в беду сильными.

На этом маленьком примере видна внутренняя связь между детским и взрослым миром. Игра предваряет взрослую жизнь и служит эмоциональной школой овладения взрослым миром.

Я изучил восемь типов интеллектуальных игр. Но объемы игротек этих типов резко различаются. Пришлось придумывать новые — для пополнения игротек.

Работа над структурой игр типа трик-трак (нарды) показала, что эти игры — модели времени. И зависят эти модели от национального мифа о времени, о жизни и смерти. Возникло предположение, что нарды — модель волшебной сказки: путешествие из царства живых в царство мертвых и наоборот.

Опираясь на статью советского историка А. Я. Гуревича о разных представлениях о времени, удалось показать, что если нарды отражают миф о циклическом времени, то «гусек» (вверх-вниз) моделирует христианское восприятие исторического и личного времени.

Становилось все более ясно, что игра — не только сфера культуры, но зародыш и модель культуры в целом.

Коллега жены писала работу о технических игрушках. Мы вместе просмотрели имеющийся материал Кабинета — ассортимент игрушек, отражающих технику.

Оказалось, что основная мысль педагогов — дать ребенку все существующие виды техники и даже модели. Это и утопично, и вредно. Ребенок потонет в море машин, «машины» станут неинтересными.

Структурный подход показывает, что нужна не вся техника, а ее основные типы, принципы. Нужна эталонизация мира техники. Эталоны социальных функций, форм движения, типы двигателей, основных частей. Разнообразие должно быть сведено к разумному ограничению. Систематизация видения мира лишь помогает сделать мир ярче, богаче. Вот художник-конструктор выпятил шестерню. Вся машинка из шестеренок — колеса, кузов, крыша. В целом — волшебная фантастическая машинка. Принцип технический, выпяченный и оголенный, не только выражает техническую цель, но и становится интересным, красивым, волнующим.

Если не давать фантастических моделей, опирающихся на основные существующие принципы, эталоны и на чудо (магнит, загадочный механизм), то губится интерес к технике. Она вся знакома, «понятна» ребенку. Эмоция «полузнания», «понятности» мира — губительна для ребенка. Ему скучно понятное, доступное.

Всесторонний интерес к игровой деятельности позволил Тане по-новому посмотреть на свою работу. Мы составили программу исследований игр. В нее входила классификация, психологический и структурный анализ типов игр, составление каталога всемирной (или хотя бы советской) игры, разработка стандартной рецензии на новую игру, выработка критериев игры.

Когда нам попадались западные игры, удивляла внутренняя близость к советским. Тот же псевдорационалистический подход, только более продуманный. Интеллектуальные игры рассчитаны на дрессировку — это тренажеры интеллекта. Роль эмоций забыта либо сведена к эмоциям соревнования (в оголенной, примитивной форме). Главное в игре — эмоции, второстепенные во всех этих «математических» играх. Потому так много игр для подростков и юношей и так мало инте-

ресных, интеллектуальных игр для дошкольников и младших школьников.

Игры-дрессировка развивают поверхностность мышления, его простейшие функции: память, внимание, формальную логику. Все страсти сводятся к желанию «победы».

Это лучше, чем идеологизация игры, но не развивает глубинного творческого мышления. Если у нас педагогика рассчитана на дрессировку рабов слов, то западные игры, попадавшие к нам, говорили о рабстве у техники и технизированной науки. Странно — ведь там есть религия, разрабатывается психоанализ, существуют всякого рода «иррациональные» течения в искусстве.

Хотя в своей работе мы слишком разбросались, жене удалось опубликовать несколько статей в виде методических рекомендаций и статей. Мы решили пока не спешить публиковать самое важное — его нужно разрабатывать, уточнять.

Жена стала читать лекции студентам Педагогического института, воспитателям. Оказалось, что даже не очень существенные изменения в подходе к игрушке, игре очень заинтересовали педагогов-практиков.

Как-то к Тане подошла одна воспитательница:

— Вы знаете ведь, что на такие лекции все приходят с книгами, чтобы не скучать, и все посматривают на часы. А я не прочла на вашей лекции ни одной строчки.

Это было самое приятное — такая оценка.

И хотя в Министерстве все хуже смотрели на Таню, но непосредственный начальник стал где только можно хвалить ее: работой над игрой Таня все больше интересовывала коллег, всем было интереснее работать, решая те или иные проблемы игры по-другому, не по обычному шаблону. (А для нас это было важно и с другой стороны — это говорило о том, что под предлогом «плохой» работы не выгонят. Но как оказалось позже, ничто не помешало директору Кабинета, опустив глаза и краснея предложить в 72-м году Тане «подать заявление об уходе по собственному желанию». А на

вопрос: «На каком основании?» — уже зло крикнуть: «Вы не соответствуете званию методиста!»

Были, правда, намеки на то, что Таня защищает недостаточно «реалистические» игрушки. Отослав к работам Выготского и Эльконина, удавалось убедить начальство, что «формалистические» игрушки более точно характеризуют окружающий мир, чем «фотографические».

Были замечания и противоположного типа — не рационализируем ли, не засушиваем ли мы своим анализом, например, куклу? Страх перед мыслью в эстетике, в этике, в игре появляется как реакция на плоский рационализм. Алгеброй нельзя познать гармонию, т.к. для гармонии нужно свое оружие познания, отнюдь не отрекающееся от логики, от научного аналитически-синтезного метода, от эксперимента.

С. Аверинцев опубликовал статью об игровой теории культуры Хуизинги. Попросили москвичей, чтоб доставили перевод, — ведь мы пришли во многом к тем же выводам, что и Хуизинга, но с другой стороны, со стороны психологии. Опять та же мучительная ситуация — знать, что где-то разрабатывают то же, и не иметь возможности прочесть! . .

То же с изучением Шевченко. Чем лучше я понимал его индивидуальные психологические особенности, тем больше убеждался, что его индивидуальное не только отрицает общенациональное, но глубоко ему родственно. Индивидуальное выражает родовое. Видимо, есть национальное подсознание, которое формирует индивидуальную психику.

Когда я показал, что внутренним символом Шевцова является глыба (Глебов, пограничная застава в горах, Маяковский как утес, холмы России, Глыба парохода), то не связал это с антисемитизмом Шевцова. И вдруг у Сартра я прочел, что скала, утес — всеобщий символ антисемитов. Значит, существует типовое подсознание.

Есть подсознание государства — особенно легко изу-

чать его в странах с искривленной психикой тоталитарных.

Я знал, что у Юнга есть теория о коллективном бессознательном. Но в чем она состоит, насколько она научна, каковы методы? С трудом достали последние работы Юнга на французском и отдали переводить для самиздата.

Книга академика Семенова «Происхождение человечества» дала материал о роли семейных, сексуальных отношений на первом этапе развития человека, в отрыве от животного, о происхождении первых табу и их значении (позитивном и негативном). Семенов отрицает Фрейдовскую теорию истории, но сам дает основания для психологического анализа исторического процесса.

*

В 1971 г. несколько человек договорились отмечать шевченковские дни статьями о нем.

Я написал статью о «Молитве», в которой пытался доказать, что понятие дополнительности (сосуществования разных идей и принципов в видении мира, истории) применимо к психологии такого сложного поэта, как Шевченко. Но получилось очень сухо, был потерян художник, остался философ. А без художника философ Шевченко не столь уж и оригинален.

В это время мне дали прочесть двухтомный комментарий к «Кобзарю» Юрия Ивакина. Я знал об Ивакине как о человеке, любящем Шевченко и Украину. Но то, что я прочел в «Комментарии», настолько возмутило меня, что я за ночь написал триптих-памфлет «Разговор с Тарасом», «Комментарий к “Кобзарю”» и «Мои предложения властям».

Ивакин пишет, что Шевченко не понимал прогрессивности завоевания царизмом Кавказа, не понимал роли Хмельницкого в истории Украины (он снисходительно порицает этот грех: не мог же, дескать, Шевченко предвидеть Октябрьской революции, после которой Украина

так счастливо зажила). И это пишет «украинофил». Что ж говорить о «фобах»-интернационалистах!

22 мая, когда молодежь пошла к памятнику Шевченко, мы несколько человек, собрались прочесть свои статьи о Шевченко. Дзюба прочел об отношениях между русскими славянофилами и Шевченко. Статья была написана в академическом стиле и представляла интерес только для специалистов. Мне казалось непонятным, зачем собираться в узком дружеском кругу, чтобы прослушать столь специальную работу.

Сверстюк прочел статью «Шевченко — певец христианского всепрощения». Статья, как и все его работы, очень интересна, заставляет думать. Но я оспаривал основную мысль, я считал, что он допускает ту же ошибку, что и официальное шевченковедение: видит только одну сторону идей Шевченко. У Сверстюка получается всепрощение, у официальных критиков — атеизм и призыв к топору...

Меня поддержала Михайлина Коцюбинская. Она рассказала о своих исследованиях противоречивости Шевченко. Он столь же сложен, как Евангелие, как жизнь. И противоречия его содержательные, а не формально-логические. Непротиворечиво только отношение к царям и помещикам.

Василь Стус поддержал меня в том, что необходим психоанализ творчества Шевченко. Я специально заговорил о теориях 20-х годов, согласно которым Шевченко был гомосексуалистом. Я это отрицал и, главное, считал, что сам по себе этот факт внелитературен. Но мои близкие друзья, пришедшие на вечер, опасались, что само упоминание об этом вызовет возмущение. Еще бы! О самом Шевченко говорить так непочтительно! Впрочем, один только Дзюба гневно нахмурился, однако ничего не сказал*.

*) Когда Синявский написал книгу «Прогулки с Пушкиным», то на него напали многие эмигранты, преимущественно старые. Все-таки 60 лет после Октября что-то дали многим из нас. Многие поняли, что «любить» и «обожествлять» — не синонимы. По-настоящему любить — значит стремиться понять. Синявский, называя Пуш-

После вечера мы с Таней и Кларой Гильдман пошли к памятнику Шевченко. (Об этом, вернее, об имевшей там место антисемитской вылазке властей, рассчитывавших вбить клин между украинцами и евреями, и о провале этой вылазки я уже писал в статье «22 мая 1971 года», опубликованной в журнале «Сучасність».)

Михайлина Коцюбинская дала прочесть свое неопубликованное исследование о Шевченко. Это было самое лучшее, что я прочел по шевченковедению. Анализ языка, образов, «противоречий» совершенно нов. Ничего крамольного в работе не было, но после арестов 72-го года ей не позволяют печататься.

Под впечатлениями вечера, разговоров с Михайлиной и Иваном Светличным я написал конспективно, тезисно «Некоторые проблемы шевченковедения». Проблемы касались белых пятен в шевченковедении. А их так много, что они сливаются в единое пятно. Тут и психологические, и философские, и историко-литературоведческие, и лингвистические, и семиотические.

Возник замысел создать нечто вроде Вольной Академии украиноведения. Если принципиально в этой полулегальной Академии не трогать «опасных» зон — а развитие шевченковедения нуждается в массе исследований полуакадемического характера, — то властям трудно будет осуждать участников за «пропаганду». В то же время, если не оформлять Академию организационно, а просто встречаться и обсуждать проблемы культурологии, то это не даст формальных оснований властям запретить ее как организацию (запретили бы все равно).

Сил для такой Академии в Киеве хватило бы, а если

кина «вампиром», «пустым» и т. д., смотрит на Пушкина карнавальными глазами. А его противники — сквозь очки о гении. Снявский делает открытия (половина которых могут быть ошибкой), т.е. любит Пушкина практически. «Защитники» Пушкина повторяют «охи» столетней давности, т.е. лишь притворяются в своей любви к Пушкину. Старая эмиграция упрекает нас в том, что мы искалечены Советами. Возможно. Но мы думаем, а они застыли в России 30-60 летней давности (а некоторые попятнулись в «глубинку», на сотни лет назад). Россия уже не Россия, а Советы. И с этим надо считаться, а не повторять старое!

к этому присоединились бы львовяне и другие, то можно было бы изучать широкий спектр вопросов.

Однако на носу уже был 1972 год — год всесоюзного погрома и разгрома. И поэтому многие не соглашались с идеей Вольной Академии.

Я все более отходил от практической политической деятельности. Мне думалось, что нужен переход движения сопротивления на новый уровень. Если мы специалисты в той или иной области, то именно своими знаниями мы сможем сделать гораздо большее. Зачем писать памфлеты математику, если у него нет дара памфлетиста? Почему физики не продумают методов борьбы с заглушкой радио, с подслушиванием, методов, облегчающих печатание самиздата? Специалист по счетным машинам может провести анализ произведений Шолохова, чтобы решить, наконец, спор о «Тихом Доне»: Шолохов — талантливый автор или циничный вор?

Во всяком случае, для себя я нашел путь, сочетающий личные интересы с общими. Мне хотелось уйти с поверхности движения и работать над теоретическими вопросами: связь психологии и идеологии, этика и борьба, этические причины перерождения революций, проблема нации, становление личности, культуры и хамства. И метод этих исследований я видел в сочетании структурного и психологического (с элементами исторического и социологического) анализа.

Но с каждым днем приходили новые вести об арестах, личных трагедиях. Выйти из Инициативной группы я хотел, но не мог. Хотел, так как надоело подписывать письма протеста (нужны были новые формы протеста). А не мог потому, что подвел бы друзей.

Некоторые киевские мои друзья отрицательно отнеслись к тому, что я перестал заниматься самиздатом, не пишу политических статей, а если пишу, то не спешу заканчивать. Более того, целыми вечерами обсуждаю индивидуальные проблемы и даже играю со своими детьми в маджонг (древнекитайская игра, очень популярная нам всем). Было неловко видеть укоризнен-

ные взгляды, но что поделаешь. Когда видишь, что не можешь практически помочь политзаключенным, трудно думать, что борешься...

А маджонг раскрыл мне всю глубину древней игры, ее эстетическую и логическую ценность, гармонию эмоций и мышления.

Думаю, что если бы не некоторая передышка в 71-м, не детские игры, не индивидуальные проблемы друзей, то мне было бы в 72-76 годах гораздо труднее.

Но легко так говорить и трудно молчать... Демонстрации, чисто этический протест — «не могу молчать»... Без веры в какой-либо практический результат эмоциональный протест мне кажется бессмысленным. Хочется все же сочетать мораль с целесообразностью, практичностью и реализмом. Мне казалось тогда, что я почти нашел такой путь для себя. Для других, видимо, есть свой путь, например, тот же путь чисто нравственного протеста.

Как-то я попал на демонстрацию молчаливого протеста. И было не по себе, хотя митинг был посвящен годовщине оккупации Чехословакии. Отвращение к демонстрациям согласия настолько велико, что распространяется для меня и на демонстрации протеста. Я понимаю, что это глупое ощущение. Мне рассказывали участники многих московских демонстраций, что они чувствовали себя в них как-то особенно приподнято, счастливо, прекрасно. Так что каждому свое...

Все новые несчастья били по нервам. У Зампиры Асановой заболел раком брат. Он приехал к нам в Киев в специализированную больницу. Я приходил к нему, и он, угасающий, рассказывал, что у него не очень страшное заболевание, его просто побили кагебисты и что-то повредили. Когда он выходил из палаты, за ним выскальзывал «больной» кагебист (медицинские сестры все не могли понять, чем болен «товарищ»). Мы смеялись над уловками кагебиста, брат весело, я — не очень, ведь я знал о раке, и кагебист был как бы социальным символом индивидуальной болезни. Потом брат вернул-

ся в Ташкент, а через два месяца я получил письмо Зампиры — вопль боли, ужаса: в арыке утонула дочь брата.

Ответ Зампире я писал около двух месяцев — и написал только в тюрьме. Только в тюрьме я нашел слова, ведь там трудно утешать перед лицом смерти. Слов утешения нет, все они фальшивы, все лгут.

Раковый корпус — страна Советов — страшна и тем, что в ней заболевают, как и в других странах, обычным раком. И — что страшнее — физические, психические или социально-идеологические болезни трудно решить. Да и не разделяются они, эти болезни.

В Умани у нас был близкий друг, рабочий Виталий Скуратовский. В свое время ему не удалось поступить в тот институт, в который он хотел, а просто высшее образование ему было ни к чему. Он много думал, читал. Хотя и был самиздатчиком, но всегда чувствовалось, что он думает о более глубоких вещах, чем политические проблемы. В наших спорах он почти не участвовал, молча улыбался (раскрывался только очень близким, и тогда чувствовалась удивительно тонкая, чуткая душа этого «обычного» парня). Несколько лет назад он заболел. Боли его мучали страшные, но он старался не показывать виду.

Виталий иногда приезжал в Киев, в командировку. Приезжал также, чтобы достать самиздат или редкие книги. Я давал ему новый самиздат, читал свои статьи. Критиковал статьи он редко, чаще спрашивал, уточнял для себя понятия, идеи. Его мать работала в Уманском городском музее. Хорошо знала украинскую культуру, историю. К Виталию относилась со сдержанной лаской и скрытой жалостью.

И вот недавно я узнал, что он умирает от рака, уже нет сил, одни физические муки. В Париж он прислал теплое письмо. По почерку видно, как трудно ему держать ручку, писать. И он нашел силы не только написать несколько слов, но и вложить в них теплоту, зная как я люблю Софиевку — Уманский старинный

парк, прислал свои последние фотографии наших любимых мест. Все друзья — уманьчане, киевляне, москвичи — от бессилия жалости не знают, что делать, как помочь. Говорят, он с трудом прочел нашу открытку. Говорят, что мучиться ему недолго, но боль страшная...

Когда я был в Днепропетровской психтюрьме, он приезжал к Тане — помочь морально, похлопотать по хозяйству. Все друзья суетились, не знали, как ему помочь, как облегчить его физические страдания. А он молча, «безыдейно» облегчал душевные страдания киевлян...

Ни гроша не стоят идеи перед молчаливым Виталием, его немногословной человечностью. Не слово, а дело — смысл гуманизма. А слова лишь отражают доброе дело, либо искажают его.

Я описал уже ранее своего старого друга юности К., ставшего впоследствии врагом. Человеконенавистником.

И вдруг друзья сообщили, что он умирает от рака и знает об этом. Он передал через них мне в Париж привет, не прощение, а прощание. Он атеист, антисемит, слепой, социальный антисемит.

Но смерть сильного человека, бывшего друга, который, умирая, думает о своих старых друзьях (а ведь я, видимо, ему враг: спутался с евреями, бежал за границу; но, может, он уже так не думает?), как-то смещает все грани. Умирает и страдает человек, и куда-то уходит всякая идеология, разделяющая людей на врагов.

Как только мне сообщили, что он умирает, стало больно: как страшно я о нем написал. Что же делать — выбросить споры с ним, его гнусные фразы? Это будет неправдой и даже неуважением к нему как другу, ведь он что-то дал когда-то мне, в период дружбы. Да и как враг что-то дал — понять мою собственную «тень»...

Во всех трех случаях видна эта неразрывная связь социального, исторического, духовного и физического «рака». Нельзя дробить человека. Человек неделим, нация неделима, человечество и его будущее неделимы. И делимы — для неделимого познания.

Сейчас, когда я правлю рукопись для русского издания — нет уже ни К., ни Виталия. Ничего не хочу менять, дополнять. Перед глазами — Виталий: он настолько украинец в чем-то главном, что ничего специфически украинского во внешнем, на поверхности в нем нет. Он настолько пронизан Украиной — через своих предков, свою мать, свой интерес ко всечеловеческой культуре, любовь к знаменитой Софиевке — парку любви графа Потоцкого и Софии (помогавшей князю Потемкину склонить Потоцкого к измене Польше — во имя любви), настолько украинец, что не выделяет свое национальное, свой патриотизм как нечто особое, не делит людей по нациям. Ему непонятна искривленная, надрывная любовь к Родине, с ее неполноценностью и неоправданной гордыней.

Он работал на витаминном заводе, том самом, откуда выгнали Нину Комарову и Виктора Некипелова. Там он заболел «витаминной», «грибковой» болезнью. Врачи решили, что у него туберкулез легких, лечили два года — безрезультатно (правда, считалось, что туберкулез у него излечили и потому даже не обращали внимание на его жалобы).

Наконец в Туберкулезном институте (в Киеве, куда с большим трудом и благодаря знакомствам его приняли, хотя по существующим правилам любой трудящийся имеет право на лечение в таком институте) обнаружили в легких «грибок». Но через два месяца лечения его выписали из института — не могут ведь так долго лечить (он исчерпал свой «лимит» на бесплатное лечение) — и отправили на работу, во вредный цех, к аппаратам, к работе с кислотами. С трудом выдержал месяц — боли усилились. В институте вынуждены были его опять обследовать — обнаружили рак. А если бы обследовали раньше, три года назад, то операция бы отсрочила смерть, облегчила страдания. Но когда он заболел, ему морочили голову лечением от туберкулеза — без исследований, без стационара (в условиях районного городка; а кто знает советскую действительность, легко

себе представить, что это такое). Но ведь он «гегемон», у него власть, он рабочая, производительная сила, которую лечат «бесплатно»...

В конце концов ему вырезали $\frac{3}{4}$ легкого, но было поздно.

Друзья колебались — сказать ему, что это рак или нет. Решили промолчать.

Перед операцией он с Таней приезжал ко мне в псих-тюрьму. Но, как и всех друзей, его не пустили (почему? по какому закону?).

В 1972 г. у уманьчан прошли обыски. У Виталия нашли самиздат. Арестовали двоих его друзей. Дали по 3 года. У Надежды Витальевны Суровцевой-Олицкой забрали два тома воспоминаний.

По предприятиям Умани в лекциях рассказывали о раскрытой националистической организации, во главе которой была Суровцева. Сообщалось, что она воспитывала молодых украинцев в националистическом духе (т.е., в переводе на нормальный язык — в любви к Родине). У Суровцевой и Олицкой искали... типографию (еще раньше они всё пытались узнать, когда и зачем приезжал в Умань Солженицын).

Олицкая отказалась отвечать кагебистам, Суровцева издевалась над ними, а сарказма и иронии у нее хватит на все КГБ в целом.

От Виталия ушла, испугавшись «связи с антисоветчиком», жена. Забрала ребенка. Возникла история с разделением дома. А они всегда так противны, эти деления имущества, люди так гнусно в них выглядят! Для человека такого внутреннего благородства, как Виталий, особенно страшно видеть звериное, обывательское в близком человеке.

И все это на фоне рака. Или рак на фоне всех этих событий. Потом арестовали в Москве еще одного друга Виталия — Некипелова. В 1974 г. умерла Екатерина Львовна Олицкая. И умирала она на его глазах — тоже от рака. Он приезжал ко мне, так как знал, что я теряю

свой человеческий облик, ему хотелось увидеть меня до того, как из меня сделают сумасшедшего.

Некоторые из уманских друзей вели себя на допросах очень некрасиво. Предал Дзюба. Личная физическая боль у Виталия сопровождалась болью за близких.

Он любит пение своей матери и Надежды Витальевны Суровцевой. Это чуть-чуть помогает — украинские песни . . .

Провожая Таню за границу, он сказал, что ему будет трудно без нее. Совсем недавно он повторил это в письме к нам. Трудно . . . А сейчас его уже нет . . . Виктор Некипелов пишет об этом:

Как прожить эту странную зиму?
Вереницу метельных ночей?
Все слабее кольцо побратимов,
Все наглее кольцо стукачей.
(«Нине», январь 1972 г.)

Россия, метель, зима, ночь. Ночь после недолгой оттепели. Кто-то сказал, что чем глубже ночь, тем ближе к рассвету. Это хорошее утешение историку, исторический оптимизм.

Прощаясь, Таня спросила Виталия, что ему прислать из-за границы.

— Лодку.

Он почему-то всю жизнь мечтал иметь свою лодку и плыть на ней уманскими озерами.

И эта лодка не выходит из головы ни у Тани, ни у меня. Это все та же дорога, путь Шевченко, путь человека. Из варяг в греки и далее . . .

Дальнею дорогою, синевой морской,
Поплывет кораблик мой к острову Спасения,
Где ни войн, ни выстрелов — солнце и покой.

Я кораблик ладила,
Пела, словно зяблик.

Зря я время тратила,
Сгинул мой кораблик . . .

*Попросту при обыске
Смяли сапогами . . .*
(А. Галич, «Кадиш»)

*

Но возвращаюсь к доразгромному, 71-му году.

В ноябре должны были судить Анатолия Лупыниса. Я позвонил о дне суда Якиру. Вечером, за день до суда, позвонил А. Д. Сахаров и сообщил, что приехал на процесс Лупыниса.

Утром мы пошли к зданию суда. Я вкратце изложил суть дела: Анатолия судят за чтение стихов у памятника Шевченко 22 мая 1971 года.

У здания суда уже ждали Свеличный, Глузман, Александр Фельдман и другие знакомые. Очень мало. Светличный познакомил нас с отцом Лупыниса. Отец, колхозник, стеснялся «образованных» людей. Весь в боли за сына. Анатолий уже сидел до этого 10 лет. Пришел из лагеря с параличом ног: два года держал голодовку. Ходил на костылях. Вылечился, а теперь в «психушку» попадет. Как мы узнали позже, следователь уговаривал отца «спасти» сына — сказать, что у Анатолия с юности наблюдались странности.

— Ведь это же больница, а не тюрьма. Там он отдохнет, поправится. Часто дают свидания, можно передавать продукты.

Какой же отец, не знающий об истинном лице психушки, откажется от возможности помочь сыну избежать тюрьмы?

Если бы мы знали об этом разговоре со следователем в день суда, то мы бы объяснили отцу, что такое «больница» и что за «врачи» там опекают «больных» . . .

Как ни странно, нас всех пустили в зал суда. Я поблагодарил жену Сахарова Елену Боннэр:

— Вот видите, как с вами считаются! . .

Вышла секретарь суда и объявила, что в связи с болезнью председательствующего суд переносится на неопределенное время.

Который раз они показали, что нельзя строить иллюзий на их счет.

Мы достали стихи Лупыниса. Все тот же центральный образ «Кобзаря» — покрывка. Покрывка — Украина, рождающая сынов, издевающихся над матерью.

... Я бачив, як безчестили матір,
Мою матір (...)

Згвалтована,

одурена,

розп'ята,

З відтятим язиком, опльованим чолом,
Лежиш ти в пазурах коханця-ката (...)

Це я, твій син, народжений із блуду,

Прощу тебе, молю тебе, клянущу:

Зірви з очей облудливу полуду,

Розбий для тебе зроблену труну.

Да, за такие слова посадят надолго. Это не Сосюра, пролепетавший сквозь слезы и сострадание к Украине: «Російсько-польська потаскуха» и тут же извиняющийся перед Матерью-Украиной. Он не имел права на эти страшные слова, ведь сам в какой-то степени был «байстрюком»-«перевертнем».

У Лупыниса не истерический протест, а мольба и требование к «братьям»:

Хоча б на мить, хоча б перед здохом

Спокутуйте підлоту та обман.

На суд я к нему так и не попал: поехал в Одессу попрощаться с матерью и сестрой, т.к. уже уверен был, что арестуют, хоть и не было видимых признаков.

На этот раз они не предупредили никого из свидетелей, отца Лупыниса привезли в последнюю минуту.

(Мое обещание Сахарову позвонить — он обещал приехать в любое время на этот суд — так и осталось невыполненным.)

В Одессе шло следствие по делу Нины Строкатой-Караванской. Арестовали Притыку, того самого, что интересовался, на каком языке издевались над Ниной Антоновной. Притыка все, что знал и не знал, выложил перед КГБ. Арестовали других знакомых Нины Антоновны. Стали преследовать даже дальних знакомых.

Из Одессы я приехал домой больной (грипп). Новый год провел с друзьями. Приехала из Харькова Тамара Левина. Она рассказала об анекдоте с женой Володи Пономарева — Ирой Рапп, внучкой члена ЦК КП(б)У, ЦИК Советов Украины, академика-химика.

Ира приехала в лагерь к мужу. Лагерь находился в Каменец-Подольской области на родине ее деда — В. П. Затонского. В кабинете начальника лагеря висел портрет деда. Начальник с любопытством смотрел на Иру: пикантность ситуации он оценил (даже внешне она на него похожа).

Начальник как раз беседовал с матерью одного из уголовников:

— Ваш сын не хочет повышать свой культурный уровень, ничего не читает. Это нехорошо, он так и останется вором.

Ира попросила передать Володе книги.

— Слишком много вы возите ему книг. Он и так *слишком образован!*..

Ну, как тут не вспомнить слова её матери, дочери Затонского. Она долго слушала наши харьковские споры, а потом со вздохом сказала:

— Маленькой я до революции слушала те же споры отца. А теперь вы спорите о том же. Как не надоест вам вся эта политика?!

Когда уголовники узнали, что Пономарев — «политик», стали проявлять сочувствие и поддержку:

— Ну, ничего, вот будет революция — кровью коммунистов заполним ямы.

Володя иронически объяснил, что как раз за то, что он коммунист по убеждениям, его посадили. Никто ему не поверил. Кто же не знает, что коммунисты не сядут за убеждения, а за кусок хлеба — маму родную продадут!..

Тома сидела со мной, «болящим», и спорила. Все тот же спор Алеси и Ивана Карамазова (в трактире) — вечный спор в Российской империи.

Вечером, когда собрались друзья, вдруг позвонили. В комнату вошли «колядники». В старину по всей Украине (а сейчас — только по селам) ходили по хатам парни и девушки, пели «коляды», обрядовые песни, в масках с фигурами. И молодежь Киева возродила этот обычай, один из самых красивых.

Это было настолько неожиданно, настолько трогательно, что и колядники и мы все были растроганы. Я не знал обряда, не знал, что говорить, как отвечать на песни.

Одной из колядниц — художнице Люде Семькиной — шепнул:

— А чем можно одаривать?

Я помнил из деревенского детства, что колядникам в мешки сыплют все, что попадается — колбасу, фрукты, пряники, деньги.

Но это же «научные» колядники! Они изучали обряд в традиционной форме, древней, ная смысл всех масок. Люда посоветовала ответить как Бог на душу положит.

Я предложил гуцульские тосты:

— Будьмо (будем жить)!

— Най вони вси повыздыхають!..

Все рассмеялись...

Я вспомнил этот эпизод, так как это было последнее, что связывало меня в тюрьме с украинским патристическим движением и вспоминалось потом как символ. «Воны» не «повыздыхали», а только точили ножи и зубы, готовили всесоюзный погром, в частности, преследование участников «коляд».

Тамара через день уехала. Прощаясь, я сострил:

— Жаль, все не удастся пройти по тебе Фрейдом.

А сейчас она сидит здесь, в горах Норвегии, у камина, читает самиздат. И рассказывает об иврите, о Библии на иврите.

Оказывается, Авраам в Библии «играл» с Сарой, а Сара смеялась, узнав, что родит сына. Потому и сын их назван был Ицхак (Исаак) — от слова «смеяться».

Круг замкнулся, вернее, один за другим. «Отец народа», нации, т.е. создатель культуры, играл с жизнью, а жизнь преодолевала страдания смехом. И эти-то темы — культура, игра, смех и страдание — и были главными темами моей тюремной жизни.

Правда, когда я обещал «пройтись Фрейдом», ни она, ни я не знали об Аврааме этих деталей и не знали, что в сказочной Норвегии мы будем вместе, Фрейдом проходить по языку Ветхого Завета. И что новый круг начнем, и все те же темы будут волновать нас: Авраам—Абрам—Сара—Иудея—Украина—культура—игра—смех и страдания...

... Господи Боже,

Как я устал повторять бесконечно все то же и то же,
Падать и вновь на своя возвращаться круги.

Я не умею молиться, прости меня, Господи Боже,
Я не умею молиться, прости меня и помоги...

(А. Галич, «Кадити»)

СТАНЦИЯ ТЮРЬМА (В ЭПИЦЕНТРЕ СОЦЛАГЕРЯ). НА ЭТАПЕ

АРЕСТАНЬ

*Есть такая земля — непонятная, дальняя.
Помнишь детскую песенку? (...)
«Дождик, дождик, перестань —
Мы поедем в Арестань» ...*

*Дорогая, прости за тоску и метания,
Не кляни. Не грусти. Не остынь. Не устань.
И зачем же «прощай?»*

Я кричу — до свидания!

Пароход отплывает в страну АР-Е-СТАНЬ.

(В. Некипелов)

14 января 1972 года мне позвонил знакомый:

— Обоих Иванов забрали. (Иван Русин, мой русановский сосед, говорил о Светличном и Дзюбе.)

Я тут же позвонил об этом Тане и пошел к Сверстюку. Он жил по соседству. Мы всегда шутили по поводу нашей Русановки — Киевской Венеции (окруженной Днепром и каналом):

— Лагерь уже готов, тюремные рвы наполнены водой. Нужно окружить колючей проволокой, поставить вохру, вертухаев и все... в порядке.

На Русановке живут украинские патриоты, русские демократы и «сионисты». Мы с Таней были далеко не со всеми знакомы. Однажды, провожая друзей, мы увидели кагебистскую машину — значит, слежка за друзьями. На следующий день оказалось, что следили за соседним домом.

Сверстюк лежал больной. Когда я сообщил об аресте Иванов, он сказал, что вчера были и у него по делу о распространении антисоветской литературы в г. Киеве. Показал протокол обыска: очень много самиздата, но особенно опасного ничего не было.

— «Программа Украинской коммунистической партии»? Что это?

— Я сам не знаю. Мне дали незадолго до этого, и я не успел даже вскрыть конверт.

— А почему они не записали в протокол, что конверт был заклеен? Ведь тогда б тебе легче было доказать, что даже не знаешь, о чем речь идет.

— Какое значение это имеет? Если понадобится, осудят за ничто.

Сверстюк, как и многие другие, питал отвращение к юриспруденции — все равно весь закон лжив. А делать вид, что имеешь дело с блюстителями закона, кому приятно.

Когда кагебисты пришли, Евгений лежал с температурой 40°. Они послали за своим врачом. Хотели, видимо, арестовать. Забрали самиздат, но его самого оставили.

Евген был настроен спокойно. Жена Лиля молча слушала наш разговор. Я расспросил о количестве обыскивающих, о способах ведения обыска. Видимо, арест был решен заранее, т.к. обыскивали хоть и долго, но небрежно. Нашли все, т.к. Сверстюк ничего и не прятал, — и они это понимали, знали заранее, что ничего не спрятано.

Вечером с работы приехала Таня, и мы, схватив такси, поехали к Дзюбе. Срочно надо было сообщить в Москву об арестах и обысках. (Я думал тогда, что это кампания только против украинского национального движения.)

Мы были возбуждены — неужели новый разгром Украины? Говорили между собой намеками: где гарантия, что такси не специальное, кагебистское. Ведь они могли держать «такси» недалеко от нашего дома нарочно. («И сколько раз потом уже со мной это было —

«такси» подавали в любое время дня, иногда даже глубокой ночью. И иногда это было кстати — район дальний, не всегда поймаешь машину в нужное время». — Таня.)

Случаи услуг с их стороны всегда служили материалом для анекдотов.

Дзюба жил в доме для работников КГБ, ему дали квартиру от Союза писателей. Он шутил по этому поводу:

— Народ начнет бить стекла в этом доме, а я-то за что пострадаю?

У Дзюбы открыл нам незнакомый человек, явно «в штатском».

— Заходите, заходите! . . .

— А, Плющ! Вы зачем пришли?

— Весь город знает, что у Дзюбы идет обыск.

— А вы зачем пришли?

— Чтобы своими глазами увидеть, как вы опять преследуете украинскую интеллигенцию.

Я говорил еще что-то, понимая, что это все не нужно — отдает истерией. Но было страшно от мысли, что опять наша культура будет отброшена назад.

Испуганно слушали нашу перепалку измученная жена Дзюбы и ее мать. Выглянула дочь. Ее увели спать.

Дзюба спокойно смотрел на погром, улыбался и успокаивал нас с Таней.

Когда я заговорил о беззаконии, один из них закричал:

— Я прокурор по надзору за КГБ. Перестаньте спекулировать на законе. Обыск идет по закону. Вы, Плющ, не зная законов, всегда ссылаетесь на них.

Посреди комнаты — горы самиздата: стихи, стихи, стихи . . .

— Холодный . . . Холодный . . . Холодный . . . Симоненко. Зачем вы все это собираете?

— Я критик, и мне дают авторы для анализа их произведений.

Стало нудно. Дзюба устало молчал. Я потянулся к книгам.

— Не трогать!

Таня:

— Здесь не вы хозяева. А Иван Михайлович разрешает. Вы здесь уже прошмонали...

— Не нарушайте порядка.

Наконец позволили взять книгу Гарднера о *математических* играх...

Пришли кагебистки и увели куда-то Таню. Личный обыск. Почему же не обыскали меня?

Таня вышла разъяренная и шепнула мне:

— Эта сука порезала мне трусы и опоганила их своей кровью, порезалась...

Хотят унижить, запугать, толкнуть на истерические выходы...

Было около 12 ночи. Таня потребовала отпустить нас: дома остались дети. Они поторговались. То ли колебались — не задержать ли нас, то ли хотели поиздеваться? Наконец разрешили уйти. Я хотел попрощаться с Иваном, но он выглядел столь сдержанным, холодным, так что мы только кивнули на прощанье. Жены и матери не было видно. Дзюба сидел смертельно уставший, спокойный, с отсутствующим видом.

Глядя на него, на силу его спокойствия, силу неполи- тического, неюридического отношения к гестаповцам, я успокоился.

Но было все не ново,
Я знал: и в этот раз
Они искали *Слово*,
Которое — вне нас.

Которое взмывало
Голубкою с руки
Которое взрывало,
Их троны и замки.

(В. Некипелов)

Выйдя от Дзюбы, позвонили Леониде Павловне, жене Светличного. Дзюба ничего не сказал о Светличном. И мы не знали — взяли его или нет.

Леонида Павловна выслушала наш рассказ об обыске у Дзюбы и рассказала об аресте Ивана Алексеевича. Оказывается, во время обыска у Светличного зашел Дзюба с самиздатом. Кагэбисты обыскали его и увели на обыск к нему домой.

Потом увели Светличного в следственный изолятор. У него нашли много самиздата. Но ничего особенно опасного не было, если не считать моих «Наследником Сталина». Там стоял псевдоним, и никто, кроме Дзюбы, не знал, что это моя работа. Но был эпиграф, написанный моей рукой. Это уже ниточка для них (Дзюба дал не ниточку, он просто назвал фамилию автора).

Оказалось, что в Киеве арестовали Василия Стуса, Миколау Плахотнюка, Леся Сергиенко, Зиновия Антонюка, Селезненко, Шумука (это те, о ком стало известно в первые дни). На Западной Украине около десяти человек, среди них Славка Чорновила, Михайла Осадчего, поэтессу Ирину Стасив-Калынец, художницу Стефанию Шабатуру.

Мы поспешили домой и позвонили Якиру. Перечислили фамилии арестованных и тех, у кого были обыски. Якир пообещал сообщить Сахарову и позвонить завтра, чтобы узнать украинские новости для «Хроники».

Перед нами встал вопрос о нашем самиздате. Куда его деть? Я никогда не держал дома много самиздата, только тот, что был в работе. Но из-за моей болезни скопилось на этот раз много, плюс мои статьи, заметки, начало третьей части «Наследников Сталина» — об идеологии Шевцова. В «Любви и ненависти» он подарил мне ключ к природе своего «коммунизма». Разоблачая захвативших власть в больнице жидов, которые отравляли гениальных русских ученых, клеветали на талантливого русского врача, мешали ему лечить людей, Шевцов процитировал Достоевского о том, что во всякое переходное время со дна общества поднимается всякий

мусор. Из контекста следовало, что у Достоевского имеется в виду время либерализации при царе Александре II. Я поискал в «Бесах» и нашел цитату. Она имела продолжение о том, что за мусором стояли жидишки, полячишки, а за ними — «Интернационалка».

Эта обрезанная цитата показывала, что ненависть к евреям у Шевцова столь велика, что его «коммунизм» совпадает с ненавистью Достоевского к полячишкам, либералам, руководимым Интернационалкой.

Опираясь на это «обрезание» Достоевского (и Маркса), я наметил структуру третьей части.

Теперь все надо было прятать, сворачивать на время работу над статьями для самиздата.

Но где прятать? Они, видимо, следят, и если я повезу куда-то свой самиздат, то подведу других.

Прятать дома — где?

Жечь! А вдруг не придут, и потом будем ругать себя — столько труда пошло на перепечатку на машинке! Как сжечь западное издание «Украинского вестника»? Я не успел даже его прочесть — два дня как получил из Москвы.

Если придут, то арестовывать. А значит, если даже ничего не найдут, дадут срок и так — материала хватит.

Решили сжечь только то, что может навести на чей-нибудь след. Жгли долго — вся квартира в дыму (и где можно жечь в квартире с центральным отоплением, газом?).

Остальное запрятал, где попало — авось где-нибудь что-нибудь не найдут...

Утром условились, что Таня будет звонить. Встал вопрос, уносить ли ей самиздат. Но ее могли обыскать по дороге на работу. Они это практикуют.

Почти ничего не взяла с собой (а потом, конечно, жалела — не обыскали ведь!.. А если б обыскали, жалел бы я, что согласился отдать ей).

Я завалился спать. Разбудил звонок в дверь, типично нахальный.

Они вскочили, как бандиты, с испуганным и наглым

видом. Почему-то они всегда имеют испуганный вид — бомбы, что ли, боятся? Но ведь пока в них не бросают бомб! Может, накачивают себе мужественность, самоуважение за опасную работу?

Начался шмон. Я ехидно комментировал действия лейтенанта у себя в спальне. Он отшучивался. Шмонал небрежно — они были уверены, что ничего не найдут, ни разу ничего почти не нашли, да и гарью сильно пахло. Посмотрели на ведро в туалете:

— Все сожгли?

— Да.

— Значит, было что жечь?

— Да, например, книги Тагора.

Они рванулись, как на мед,

На давний мой дневник . . .

Они оставили помет

На переплетах книг . . .

(В. Некипелов, «Баллада о первом обыске»)

Лейтенант лихорадочно перелистывал мой дневник 1957-58 годов. Зачитал кое-что вслух.

— А! Хотите манию величия мне приписать, в психушку посадить?

— Ну, что вы, Леонид Иванович! Не мы сажаем в психушки, а психиатры. И ведь вы здоровый человек!

Я-то помнил, что они, а не психиатры поставили мне диагноз «шизофрения» еще в 69-м году, когда вели следствие по Бахтиярову.

— Вы мечтали совершить переворот в математике и философии?

— Посмотрите на год дневниковой записи. Мне тогда было 18 лет.

— Да, да, вы правы! В этом возрасте все мечтают о славе . . .

— Нет, не все, но многие.

Разрывался телефон. Видимо, звонила Таня, звонили москвичи. Мне запретили подходить к аппарату.

Периодически раздавались радостные вопли — что-то нашли. Понятые, которые вначале ожидали оружия, разочаровались. Но, увидев гору нелегальщины, воспряли духом — интересно все же, «живой антисоветчик». Один стал потихоньку от обыскивающих почитать обнаруженное. Стал смотреть на меня сочувственно. Но увидев «Украинский вестник», изданный на Западе (!), опять нахмурился — значит, в самом деле враг.

Я специально для него затеял спор с лейтенантом о Сталине, 37-м годе и т. д.; так сказать, «антисоветская пропаганда» на дому, среди КГБ и понятых.

Из школы пришел старший сын Дима. Он посмотрел на «товарищей» и сделал вид, что ничего не понял. Я шепнул ему, чтобы позвонил маме — надо всех предупредить.

Я ждал, что Таня бросит работу и приедет: вдруг не дадут попрощаться, а потом жди-дожидайся свидания в тюрьме.

Мой лейтенант понял, что в моей комнате ничего интересного не найдет. Много детских сказок, игр, обилие папок с надписями: «История игр», «Психология игр», «Миф и игра» и т. д. Он просматривал страницу за страницей и скучал. Одну папку отложил в сторону. Это была рукопись Михайлины Коцюбинской о Шевченко.

Я попытался уговорить не забирать:

— В ордере на обыск сказано об антисоветской и клеветнической литературе. А это филология, не содержащая ничего связанного с советской властью.

— На всякий случай мы проверим. А Коцюбинской мы отдадим.

— Неудобно как-то. Все-таки родственница самого Михаила Коцюбинского и полководца гражданской войны — Юрия. Совсем недавно шел фильм «Семья Коцюбинских». Вдруг на Западе узнают, что Вы обвиняете в антисоветчине «семью Коцюбинских».

— Ничего, ничего, Леонид Иванович. Запада мы не боимся.

(Но как еще бояться, если сначала шантажировали, а

потом просили не сообщать на Запад о том, когда и как нас выпустят.)

Взял книгу Шевцова с моими многочисленными замечаниями, с таблицей героев.

— Вы так внимательно читаете Шевцова? Зачем?

— Интересный писатель.

Отложил в кучу «изымается». Я опять запротестовал:

— Вы имеете обыкновение не отдавать. Но это официальная книга, зачем же брать?

Взял папки с записями о Шевченко и, почти не проглянув, «изъял».

— Зачем вам записи о Шевченко?

Он просмотрел и прочел, рассмеявшись:

— «Даже Тычина, продавший Украину, культуру, в день своего 75-летия сказал о Петре I: — Срать я хотел на этого тирана в ботфортах!» Он так сказал?

— Да, когда ленинградская писательская организация вручила ему значок Ленинграда с Медным всадником. Согласитесь, для украинца это не очень симпатичный подарок.

— Почему?

— После Полтавской битвы Петр затопил в крови мирного населения город Батулин. А потом на костях казаков построил Петербург-Ленинград.

— Откуда вы это знаете?

— Читайте «Кобзарь» Шевченко.

Вдруг вопль подполковника Толкача.

Все бросились туда. Я остался — ну что с того, что еще что-то нашел...

Толкач позвал и меня — думал, что удастся меня ушибить найденным тайником.

Тайник примитивный. Из фанеры и досок я сделал полки для книг. И в две из них вложил кое-что из самиздата, отнюдь не самое опасное. Когда я уезжал в Одессу, жена сделала уборку, и одна из досок немного отошла. Надо ж было, что именно самиздатская полка! Как часто подводят именно случайности...

Толкач лихорадочно перебирал бумажки.

— Ага! Статья о том, как сделать печатный станок! Хотели типографию сделать?

— Да нет. Это я переписал из журнала «Химия и жизнь» о том, как до революции печатали подпольники. Я хотел написать статью о том, как им трудно было. (Слава Богу, не обнаружили, что почерк Клары Гильдман.)

— Листовки!?

— Ничего антисоветского. Одна — призыв к Шостаковичу поддержать советских политзаключенных, вторая — к Косыгину о Григоренко, Габае, Джемилеве.

— А чьи листовки?

— Это два студента разбрасывали в ГУМ'е в Москве.

— А у вас откуда?

— Я там был, заходил купить кое-что.

Толкач прочел листовки. В самом деле, ничего антисоветского. Все же позвонил в КГБ, чтоб прислали фотографа. («Ага, хотят устроить шумную кампанию в газетах. А для обывателя «тайник» — лучшее свидетельство о «злых» и «хрых» врагах. Они сфотографировали в доме у Светличного стену, украшенную украинской оригинальной мозаикой как «показатель украинского буржуазного национализма».)

Остальное его не заинтересовало.

На полу навалены книги, папки, тетради, коллекции минералов, черепков («археологическая коллекция» сына).

Тани все не было. Стало не по себе: задержали, арестовали, допрашивают...

Пришла Клара («Таня позвонила»).

Я обрадовался ей и разозлился, что пришла.

Тут же вызвали кагебистку. Обыскали Клару. Она вернулась, дрожащая от унижения и гнева. Я стал уговаривать ее не переживать, рассказал о Танином обыске.

— Ведь унижают они только себя, а мы-то тут при чем? Мы остаемся людьми, они же превращаются в скотов.

Клара сердилась, что я по-толстовски отношусь к

кагебистам, к понятиям. А я вспомнил Дзюбу и наши с Таней выкрики обыскивающим у него.

Когда шмонают тебя, легче сдержаться, легче остаться в позиции насмешливого презрения.

Вечером пришла Ира Пиевская. Позднее — Таня с мужем Иры Сергеем Борщевским и учителем истории Владимиром Ювченко (за год до этого его выгнали из школы за «толстовскую пропаганду», за «пропаганду пацифизма», с лишением права вообще когда-либо работать с детьми).

Таня объяснила, что обежала всех, зашла к Саше Фельдману, прямо на обыск. Еле вырвалась.

Мы быстро попрощались — всех пришедших увели по домам на обыски.

Клара запротестовала: у ее матери было несколько сердечных приступов, она частично парализована, не вынесет шмона.

Прощание с Таней затянулось на всю ночь, до 6-ти утра, — обыск все шел. Толкач позвал меня проверять записи в протоколе. Я сказал, что хочу проститься. Мы перебирали с Таней в памяти последние четыре года. Пожалуй, ради них стоило сесть. Не войдя в движение сопротивления, мы не знали бы Олицкую и Суровцеву, Григоренку, Светличного, Сверстюка, Дзюбу, сотни чудесных людей. Эти четыре года были годами счастья, уважения к себе. Ведь не ради каких-то идей мы идем в тюрьму, а ради уважения друг к другу, к себе.

Понятые таращили очи на нас и на шмонающих. Один из них узнал Таню — в юности вместе участвовали в соревнованиях по фехтованию. Совсем ему стало неудобно перед «антисоветчиками»...

Стали забирать фото.

— Зачем вам 10 фотографий Лупыниса?

— На память.

Мы торговались за все фотографии. Слава Богу, Таня главную, наиболее дорогую, тогда спасла...

Наконец пора уходить. Кагебисты были вежливы, уступчивы. Чувствовалась удовлетворенность направ-

шегося зверя — столько арестов, столько самиздата! Дети спали. Попытался разбудить Диму, но он спросонок — хоть и просил разбудить, когда станут уводить, — пожелал счастливого пути — во Францию, видимо . . .

За полчаса до ухода я «шифром», т.е. на философском жаргоне, оставил Тане записку прощания, пожеланий и т. д. Понятно было, что это «всерьез и надолго».

Кагебисты просмотрели запись. Какая-то литературная мура — Лис, Роза, Принц.

— Это что за Принц?

— У французского писателя Экзюпери есть такая сказка — «Маленький принц».

— А-а-а! Слыхал. Хорошая книга!

Возле дома легковушка. Холодно и «как-то все до лампочки» . . .

*

Приехали. Тюрьма не принимает — нет начальника. Толкач оставил меня в своем кабинете. Он что-то говорил утешительное о хорошей еде, чистоте тюрьмы, о том, что меня пока только задержали, но еще не арестовали.

А мне было все до лампочки. Хотелось спать, хотелось, чтобы «доброжелатель» из КГБ ушел.

И я заснул за его столом. Он несколько раз будил, что-то болтал, а я лишь таращил на него глаза: я погружился в мир иной, где нет КГБ, нет жены, детей, друзей, нет ничего.

Наконец куда-то повели.

Забрали авторучку, часы, записную книжку. Я расписался.

— Мы отдадим вашей жене.

Потом раздели в специальной камере, в боксе. Прощупали все рубчики в одежде, заглянули в зад:

— Раздвинь ж . . .

Чего там искали? Вспомнились пираты у Вольтера. Те искали у женщин в потаенных местах драгоценности, но не женские, а больше по ювелирной части. А эти

явно не ювелирным искусством интересовались, не «материальным стимулом». Что же? Самиздат или взрывчатку?

А я, как будто дачник,
Смотрел на тот погром.

Что ищут? Передатчик?
Иль провод в Белый Дом?

. . .

Я знал: и в этот раз
Они искали слово . . .

(В. Некипелов)

Какой прогресс отчуждения! Пираты Вольтера искали в анальном отверстии отчужденный труд, товар — золотишко и брильянты. А эти — отчужденную мысль, слово печатное.

Не было ни унижительно, ни стыдно, ни больно. Немного неловко за парня, шмонавшего меня: все-таки человек, ему дана душа, а он использует ее только для пиратства, «социалистического по содержанию и национального по форме».

Привели в камеру № 40. Лег не раздеваясь. Приснился идиотский сон: шмонщик и начальник тюрьмы подполковник Сапожников пытаются изнасиловать меня. Мое подсознание попыталось придать «смысл» процедуре шмона, рационализировать, «очеловечить» ее. Проснулся с отвратительным ощущением грязно-сладкой улыбки Сапожникова.

И с тех пор при виде слащавой физиономии Сапожникова всплывал первый сон в первой камере, столь лестный для Сапожникова.

Но этой — голодной и нервной,
Теперь до последнего дня
Мне снится — как женщине первой,
Когда-то растлившей меня.

(В. Некипелов, «О первой камере» 1973 г.)

Днем я услышал крик. Какая-то старая женщина кричала, что принесла обед. Я, еще сонный, взял две миски: какая-то бурда и подгоревшая каша с чем-то непонятным, вроде ниток. Попробовал и подумал: «Как же я смогу это есть?» Уже потом я понял, что случайно, именно в первый день, каша так пригорела и что-то в миску попало. Но первое впечатление всегда преувеличивает хорошее и плохое.

Я опять заснул и проснулся от крика:

— Отбой! Ложись спать!

Разделся и опять нырнул в сон, слава Богу, без сновидений.

Фактически первым днем, днем сознательным, был день второй.

В коридоре тихо. Изредка надзиратель заглядывает в «глазок».

Первая мысль о «глазке» — по Марксу. Что такое «глазок»? Это замочная скважина в ее функции подглядывания. Первичная функция замка исчезла, а вторичная приобрела законный характер, не постыдный, а уважаемый государством.

Отчуждение в ГУЛаге представлено не только отчуждением замочной скважины в виде глазка, в который мужчины-надзиратели смотрят на женщин, сидящих на «параше», а женщины-надзирательницы — за мужчинами (неприятно поначалу ходить на парашу, когда дежурят женщины...).

Вот тебя ведут на допрос в соседнее здание. Надзиратель хлопает в ладоши, чтобы разминуться с другим подследственным, арестантом. А я, слушая эти хлопки, вспоминаю слова массовика: «Два прихлопа, три при-топа» и из советских газет: «Аплодисменты, переходящие в овацию».

Вот откуда идут эти аплодисменты — из тюрем. Хлопки надзирателей — содержание этих аплодисментов, а аплодисменты в газетах — форма тюремных хлопков.

В Лефортовской тюрьме не хлопают, а щелкают языком или пальцами. Щелкают от удовольствия? Нет, и

это отчуждилось от всякого человеческого содержания.

Советский Союз — страна максимального отчуждения всех порождений человеческого духа от человека. Отчуждены государство, экономика, наука, искусство, мораль, идеология, церковь, человек сам от себя, от природы. И поэтому даже в мелочах, в деталях государство пронизано фарсовыми символами — отчужденными от всего человеческого жестами, движениями, словами.

В тюрьме отчуждение от человеческого наиболее оголено, т.к. все отношения с государством предельно обнажены. Наиболее откровенна власть именно здесь, хоть и здесь она продолжает лгать.

Я наблюдал за надзирателями. Они в следственной тюрьме гораздо человечнее, чем в лагерях. Но и они во многом позабыли об элементарной человечности.

Молоденькая девушка-надзирательница. Холодное, непроницаемое лицо, смотрящее на тебя «бдительным» взором. Как только поступает новичок, она видит в нем врага (пожилая надзирательница ведет себя хуже, но в то же время не столь формально; она не видит в тебе ужасного врага). Потом, оставаясь формалисткой, относится лучше. Ведь видно же по поведению человека, что он не какой-то человеческий урод.

Но я никогда не мог видеть в ней женщину, т.к. она подсматривает за мужчинами по долгу службы. Мои сокамерники-уголовники считали ее красивой и даже симпатичной. И в самом деле, к уголовникам она относилась человечнее, даже улыбалась шуткам.

Ночью второго дня я услышал хриплые крики какой-то уголовницы. Она кричала что-то непристойное надзирателям, а они громко издевались над ней, над ее желаниями. Циничные предложения сыпались с обеих сторон. Надзиратели наслаждались крайним падением женщины, не задумываясь над тем, что они ей создали нечеловеческие условия, что ее цинизм вызван их собственной бесчеловечностью.

Я почти не читал в «лагерной» литературе о сексе в

тюрьме. Поэтому хочу специально остановиться на этом, дополнив соответствующую главу книги Анатолия Марченко «Мои показания».

Секс — почти единственная тюремная тема разговоров уголовников, мужчин и женщин. Женщины особенно несдержанны в своем поведении. Мужчины часто удовлетворяются матом, грязными рассказами, часто выдуманскими, о своих похождениях. Если же женщина теряет контроль над своим поведением, она падает ниже мужчины. В падении, правда, предпочитает кокетничать своей «скромностью». На этапе, в поезде она провоцирует уголовников-мужчин на циничные выкрики, рассказы, а сама при этом нередко притворно возмущается грубыми словами, прозвищами.

Меня на этапе всегда сажали в камеру между женщинами и мужчинами: все-таки политический, значит, не будет безобразничать.

Мужчины начинают говорить женщинам что-нибудь ласковое, нежное. Женщины в ответ воркуют:

— Ты хороший, красивый... Запиши мне хорошую песню...

Но потом женщина не выдерживает и «нечаянно» оскорбляет «кавалера». Тот обрушивает на нее самые циничные прозвища, явно ей приятные, — ведь это все же «секс», и мужчина в своем мате — предстает настоящим, грубым, мужественным...

Она либо возмущается, либо отвечает еще более циничными словами. Но если у мужчины это часто просто грубые слова, то у женщин, отбросивших кокетство, за словами — тонкие грязно-сексуальные образы.

Однажды после такой перепалки молодая девушка, «малолетка», игравшая со мной в романтическую, культурную, интеллигентную «любовь», а с другим — в обмен циничными репликами, попросила меня:

— Леник, скажи Сережке, чтоб он не матюкался.

Я ответил:

— А зачем ты его дразнила рассказом о переписке в тюрьме, о своей подруге — «ковьярялке»?

— Я ж не думала, что он будет матюкаться.

Сережа в это время похвастался каким-то своим достижением, обозначив его редким блатным словом (малолетки, да и взрослые женщины, любят слушать яркие описания половых особенностей, и достоинств своих собеседников). Она, прекрасно понимая, о чем он говорит (а говорил он о редком извращении — операции фаллуса, изменяющей его «анатомию»), спросила скоромным голоском:

— Серезенька, а что это обозначает?

Тот стал подробно объяснять, вникая во все детали. Выслушав его молча до конца, она обрушилась:

— Ах, ты петух, козел, пидар е...!

В диалог включился весь этап, даже конвойные. Лишь когда на шум выглянул офицер, конвойные стали укрощать «врагов».

Я с одной такой скромницей проговорил всю ночь.

Попала в 16 лет за хулиганство в детскую колонию. Там познакомилась с лесбосом (ругала старых лесбиянок очень, искренне ненавидя за насилие над собой). Говорила умно, честно, с чувством отвращения ко всякому злу. По национальности — литовка. Узнав, что я украинец, попросила, чтобы спел ей украинские песни. Я попросил ее спеть по-литовски.

— Я не знаю литовских. Давай спою по-русски.

И пошла вереница блатных сентиментальных песен.

Все эти блатные песни перемежались сентиментальными официальными. Даже матерные слова в ее песнях теряли свой грубый смысл, хоть и оставались грязно-сентиментальными. Прекрасными были песни не по содержанию, а по силе чувства, с которым она пела.

В тюрьме напротив моей камеры сидела валютчица. Она развлекалась эксгибиционистскими трюками, забавляя надзирателей. Я слушал каждый вечер их комментарии. С каждым новым вечером ее фантазия в развлечении своих охранников шла все дальше. Потом ее куда-то перевели.

На третий день я попросил каталог книг.

— Каталога нет. Завтра библиотекарь будет развозить книги, выберете из того, что покажет.

Я погрузился в воспоминания о доме, в предположения о друзьях: «нашли ли у них что-то, кого арестуют, кого нет, кто может предать?» К вечеру понял, что если не выработаю для себя «психологическую методику» жизни в тюрьме, то будет плохо. Страх за детей, жену, друзей может стать чрезмерным, иррациональным. Нужно не думать об этом, о прошлом. Но и о будущем — сколько дадут, направят ли в психушку — тоже не стоит думать. О будущем не думать легче — я мысленно дал себе максимальный срок или психушку. Если лагерь — можно будет читать, спорить, думать, писать что-нибудь по психологии, изучать людей (особенно интересовали меня уголовники, социально-психологические причины их преступности).

В психушке я надеялся тоже работать и изучать психику в ее оголенном виде — ведь там, за пределами нормы, все особенно выпукло выглядит.

Как оказалось потом, я просто не представлял себе психушку. И больные неинтересны психологически, т.к. все их реакции смазаны нейролептиками, и я сам ничего не мог изучать под влиянием все тех же нейролептиков.

Подготовившись к самому худшему в будущем, я почти не думал о нем. То, что не вызывали на допрос, тоже понятно — чтобы измучить ожиданием.

Запретить себе полностью думать о воле тоже нельзя — эта воля вылезет в виде чего-нибудь иррационального. Так оно и случилось, когда через полгода вдруг обнаружил у себя совершенно иррациональный страх за жену — ее арестуют, за детей — один попадет под машину, другой утонет. С этими страхами пришлось бороться более недели, используя «рациональную психотерапию», т.е. думая о том, что может случиться все что угодно, а потому нет смысла жить воображаемыми

несчастьями. Когда что-то действительно случится, тогда другое дело. Полная неизвестность о семье, о друзьях породила этот страх. Случайно помог один из надзирателей, сказав что-то о старшем сыне. Страхи исчезли.

Допросы не волновали. Давно уже избрана линия поведения, самая легкая психологически: отказываться от какой-либо игры с ними, от участия в следствии. Поэтому так смешны были все их «приемчики». Можно было смотреть на все с позиции снисходительного фатализма — худшее, чем психушка, мне не угрожает.

Когда я получил книги и узнал, что дают в неделю по пять книг, то распределил время между чтением книг и разработкой теории игры: психология, классификация, изучение их строения, конструирование.

В ларьке я купил бумагу, ручку и стал писать — вначале восстанавливал по памяти то, что прочел у Выготского, Эльконина, Венгера и других психологов, затем то, что успели мы с женой до ареста.

Работа шла быстро. Тишина, ничто не отвлекает. Быстро обнаружил, что «индусский» метод работы — лучший в этих условиях. После отбоя я «спускал обезьяну с цепи» — т.е. позволял себе грезить обо всем на свете, без какой-либо самоцензуры. Мифология, воспоминания о друзьях, искусство, история, математика, физика и философия. Мысли скачут от темы к теме по замысловатым ассоциациям. Если возникает что-то новое, кажущееся интересным, кратко записывал так, чтобы не видели надзиратели (положено спать). Так как все вертелось вокруг темы игры, то, о чем бы ни думал, все приводило к игре.

Утром прочитывал записанное ночью. Больше половины — ерунда. Но кое-что стоило продумать серьезно, развить.

Завел листки по темам. И каждый день развивал одну-три темы. Днем — «обезьяна посажена на цепь», грезы не дозволены, ассоциации взяты в шоры логики и известных мне законов детской психологии.

И это была та самая свобода, о которой пишет Некипелов: «Но только там, о, только там моя свобода».

Когда Толкач вызвал меня на первый допрос, я был уже уверен, что ничего у них со мной не получится.

Он показал ордер на арест по делу «о распространении антисоветской литературы в городе Киеве».

Допросы он вел неглупо. Быстро понял, что запугивание не пройдет, что вывести меня из себя не удастся.

Начал с комплиментов моей статье о психологических методах на допросе.

— Но почему вы сами не следуете своим советам, не хотите давать каких-либо ответов на вопросы следствия?

— Ну, зачем же мне быть рабом чьих-либо, даже своих, рекомендаций? Да и в статье я советую иметь предварительный план поведения на следствии, но всегда сохранять возможность изменить его, учтя какие-либо новые обстоятельства.

Он попытался выяснить причины моего отказа от дачи показаний. Я отказался отвечать, ограничившись записью в протоколе о том, что считаю незаконной абстрактную формулировку о «городе Киеве». Ведь ГБ может сформулировать еще шире — «в СССР», и тогда будет общее дело на весь народ. Весь народ будет поставлен под подозрение.

Давать положительные о ком-либо отзывы я тоже не хочу, т.к. знаю из практики многочисленных судов, что судьи фальсифицируют, перетолковывают в пользу обвинения любые ответы.

Толкач стал заводить разговоры общего порядка, не записывая моих ответов в протокол (я предупредил, что говорю не для протокола). Им это было нужно для записи на магнитофон.

Я пошел на эти дискуссии, чтобы хоть что-то узнать о товарищах.

— Леонид Иванович, за что вы так ненавидите меня? Я ведь ничего незаконного не сделал, в КГБ пришел после XX съезда.

— Нет, я не вас лично ненавижу, а вашу гнусную антисоветскую организацию. Вы — лишь винтик, обслуживающий организацию.

— Если бы у вас была только ненависть, я бы понял: мы враги. Но у вас столько злобы, а вот это уже плохо.

Он-таки внимательно читал мои статьи! Знает, с какого конца зайти, на что жать, чтобы я усомнился в себе.

— Нет. Злобы нет. Только ненависть к КГБ.

— Да вот вы и сейчас дышите злобой, в глазах у вас бешеная ненависть.

Улыбаюсь.

— Я себя уважаю настолько, чтобы не опускаться до злобы.

Так вот мы и философствовали каждый раз. Наконец оба заскучали. Я понял, что ничего из него не извлеку, он — то же самое обо мне.

Любил он упрекать меня в марксистском начетничестве, в догматизме, в абстрактном гуманизме. Чувствовалось, что вник в мои статьи, внимательно учился на политзанятиях.

19 января получил передачу от Тани.

Толкач разрешил написать письмо:

— Мы же люди, понимаем, что трудно вам без весточки.

А я подумал про себя: хотят внудить что-то из письма. А может быть, хотят вывести из равновесия тоской по дому, усиливаемой письмами. Они это практикуют. (Виктора Некипелова «случайно» столкнули в коридоре с женой, чтобы разбудить тоску, придавленную волей. Бывают случаи, когда люди сдаются именно из-за тоски по родным.)

Но я Толкачу ответил:

— Что ж, спасибо за любезность.

Я написал Тане только о работе над игрой, о книгах. Важно было показать, что я делаю именно то, что обещал, — работаю над все теми же темами. Это как бы

намек, что и в остальном на прежних позициях, показаний не даю.

Толкач просмотрел и стал расспрашивать о словах, фамилиях ученых. Я понял, в чем опасность. Они скажут, что я использую кодовые слова.

— Вы спросите у жены. Она покажет учебники, книги, над которыми мы с ней работали.

Ясно было, что играют какую-то комедию, но так хотелось получить хоть одно письмо...

На душе все эти первые дни было хорошо. Спало чувство долга, ежедневная напряженность, волнения из-за арестов. Политические проблемы ушли куда-то на второй, третий план. Вообще все житейские проблемы. Остались приглушенные волей воспоминания, просветленные расстоянием во времени и пространстве.

В мелких бытовых стычках с надзирателями помогала внутренняя насмешка над ними. Они думают, что жертва — я. Это частично верно — я жертва режима. Но еще более жертвы они, жертвы, не осознающие всего ужаса своего положения нелюдей. Осознание внешней несвободы помогает внутреннему освобождению.

Я неточно назвал их надзирателями. Официально они называются теперь контролерами, а тюрьма — изолятором. Весь советский гуманизм заключен в словах, за которыми скрывается все что угодно, кроме гуманизма. Вот они и меняют названия, слова, гуманизируют их или ужесточают.

Я возобновил свои наблюдения над словом у Шевченко. В библиотеке взял его русские повести, перечитал, сделал выписки. Повести автобиографические и потому дают материал для проверки наблюдений над стихами.

Но насколько ниже степень эмоционального воздействия Шевченко, пишущего по-русски! Круг символов, образов тот же, что и в украинских произведениях, но язык ослабляет их внутреннюю эмоциональную насыщенность.

Все же и русский Шевченко очень помогал. Помогали

также песни. Слава Богу, не было сокамерников, и я мог петь, не стесняя себя, вполголоса. С любопытством заглядывали и надзирательницы. Но они, видимо, привыкли к тому, что украинцы всегда поют в тюрьме...

Одно за другим вспоминались различия в культуре наших народов.

У украинцев почти не было декадентов. Сейчас почти нет украинских анекдотов (а в старину, да и лет 20-30 тому назад они были — правда, скорее еврейские анекдоты, рассказываемые по-украински). Нет самиздатских певцов. Почти нет блатных украинских песен (хотя в лагерях в провинции говорят по-украински). Пьют украинцы меньше, матюкаются тоже меньше.

В современной поэзии только у Микола Холодного чувствуется некоторый надрыв. У него же есть «блатные» мотивы, но без глубины Галича или хотя бы Высоцкого.

В этих различиях есть преимущества у обеих культур, связанные с их же недостатками.

Мягкость, женственность украинского языка и всей культуры дает не только сентиментальность, она же порождает особую грубость и преданность власти украинских жандармов.

Надрыв и декаданс у русских дал многое для углубленного видения души человека. Земная любовь к Богу, украинский демократизм обернулся в украинской литературе многочисленными однообразно страшными повестями о жизни села. Но это же выражено и в том, что в «крестьянской» теме украинские писатели обходятся без покаяния перед народом. Не было на Украине пропасти между интеллигенцией и народом. Украинским патриотам в целом не приходило и в голову не считать себя частью народа. Если и было народопоклонничество, то под народом понималась вся нация. Украинские народники, которые психологически совпадали с русскими, не ощущали себя украинцами.

На народных песнях я увидел не только различия, но и общее. Оно в общей исторической трагедии наших на-

родов. Но у украинцев основной образ — чужбина, песни о далекой Родине. У русских же это — этап, жандармы, своя Сибирь, свои тюрьмы.

Вот почему Винниченко мог пошутить: «Долой кацапов из наших украинских тюрем».

Тюрьмы все еще «не наши». Русским похуже: у них все свое. Мотив чужбины в русских песнях тоже есть, но только чужбина географическая, не культурная. От того и тяжелее, и легче.

Ощущение внутренней вины за свое рабство у украинцев меньше. Может, поэтому я почти не видел в украинском движении сопротивления пессимизма. Парадоксально, но интеллигенция народа-повелителя более пессимистична. Сознание ее трагичнее.

Наиболее честные с собой украинцы и русские сближаются в бичевании пороков истории своих народов.

Если Лупынис бичует Украину, лежащую в объятиях своего палача, то Некипелов пишет о том же, но в иных образах, символах, отражающих как иную историю, так и иные пороки.

Наконец, получил письмо от Тани. И стал писать письма каждый день. Писал о книгах, об играх, которые сочинял.

Следователь мой к тому времени сменился. Капитан. Не помню фамилии. Он допрашивал иначе — не умничая, а любопытствуя и раздаривая улыбки. Эдакий «свой парень».

Его быстро заменили капитаном Федосенко. Этот страдает комплексом интеллектуальной неполноценности. Сразу же стал запугивать меня: и срок ожидает большой, и жена сядет в тюрьму, и вообще всех нас пересажают.

Если Толкач соглашался, что самиздат невозможно уничтожить («но самых активных политических самиздатчиков нетрудно переловить!»), то этот все гудел, что нас горстка, что КГБ найдет способы покончить с самиздатом.

Я написал уже несколько писем Тане и спрашивал

Федосенко, почему нет ответа. Он ссылался на Таню: ленится отвечать. Потом потребовал не употреблять иностранных слов, не употреблять выражений типа «за окном виднеется голубое небо» («это намек на то, что вы в тюрьме, а жена ваша передает письмо на Запад»).

Я потребовал, чтобы мне точно указали дозволенные темы, чтобы он не мог под предлогом «секретности» задерживать письма. После 8-10 писем я потребовал ответных писем жены.

— Вы пишете шифровки, и мы вынуждены были все письма задержать. После следствия они будут переданы вашей жене.

Сознательно морочили мне голову, чтобы я хоть что-то написал.

— К Анджеле Дэвис каждый день приходит адвокат, она пишет письма протеста, заявления для прессы, пьет кофе.

— Откуда вы знаете о кофе? Вы что, сидели с нею?

— В нашей прессе писали о том, что, издеваясь над ней, ей дают холодный кофе.

— Но ведь она прогрессивная деятельница.

Я не смог даже улыбнуться этому неотразимому аргументу. Напомнил ему о том, что Ленину давали в тюрьме молоко.

— Откуда вы это знаете?

— Читать книги надо. В книгах для детей есть рассказ о том, что Ленин писал шифровки молоком. Значит, давали ему молоко.

— Но ведь Ленин был прогрессивным деятелем.

— Удивительно, как гуманно обращаются все реакционеры с прогрессивными деятелями. Просто патология какая-то.

Подобные беседы очень быстро привели к тому, что Федосенко проникся личной ненавистью ко мне.

Как рассказывала впоследствии Тане Нина Антоновна Караванская-Строкатова, которую допрашивали по моему делу, кагебисты захлебывались именно от этой личной ненависти ко мне.

Ненависть Федосенко выросла из-за ощущения неполноценности, из-за моего явного презрения к нему. Я не оскорблял его сознательно, не издевался над ним, но, видимо, это как-то проявлялось.

Под конец следствия он стал проявлять свое отношение ко мне явно — угрозами, оскорблениями.

Он любил рассказывать о своих достижениях по раскрытию дел о сотрудниках гестапо, скрывающихся в колхозах, на заводах. Когда ему поручили какое-то дело в Черниговской области, он тут же похвастался передо мной. Вот, дескать, какие вещи мне доверяют, а вы-де считаете меня дураком!..

Как-то он стал хвалиться передо мной своими познаниями в истории.

Я спросил его с невинным видом:

— Скажите, как назывался договор с гитлеровской Германией?

Он попытался уйти от ответа. После повторения вопроса раздраженно заявил:

— Вы не занимайтесь демагогией.

— Ну, вот, видите, даже вам врут об истории. И вы боитесь попасть впросак, обнаружить свое незнание.

Во время обыска у меня забрали очень много фотографий. Не желая, чтобы фотографии использовались для компрометирования людей, я записал в протокол допроса, что буду отвечать только на вопросы об общественных деятелях и своих родственниках. В частности, я хотел из категории «общественных деятелей» удалить Суровцеву и Олицкую. Очень мне не хотелось, чтобы из-за обнаруженных у меня их фотографий у них произвели обыск, их допрашивали и т. д.

Но, конечно, это им не помогло. Однажды Федосенко, ехидно улыбаясь, наслаждаясь заранее подготовленным ударом, спросил:

— Ваших уманских старушек привезти на допрос сюда или повезти вас к ним в Умань?

— Лучше очную ставку провести в Умани. Может быть, проведете допрос в Софиевском парке, где я случайно встретил Суровцеву?

— Ну, что ж, поедете в Умань...

Спрашивали о фотографиях Яна Палаха и Януша Корчака.

О Палахе я записал, что это выдающийся национальный герой Чехословакии, покончивший с собой саможжением из протеста против оккупации Чехословакии. И тут же записал о Корчаке — о том, что его сожгли оккупанты.

Федосенко радовался, что я все-таки что-то записал в протоколе.

Но после обеда он вызвал меня опять на допрос и стал уговаривать, чтобы я изменил ответ, выбросив слова об оккупантах. Видимо, начальство объяснило ему, что я использовал допрос для пропаганды и издеваюсь над тем, что кагебисты не знают историю Корчака. Речь-то идет не об антисоветчине, а о жертве немецкого фашизма.

Когда я отказался менять показания, он порвал протокол и о Корчаке больше не спрашивал.

(История с фотографией Корчака повторилась и на допросах Тани: она попросила вернуть фото: «Его уже раз сожгли, может быть, хватит?» Фотографию так и не вернули.)

Однажды допрос был назначен на вечер. В кабинете сидел прокурор по надзору за КГБ и неизвестный мне следователь.

Ввели Виктора Б. Я обрадовался живому человеку. У Виктора был растерянный вид. Я радостно улыбнулся ему, пытаюсь приободрить.

Зачитали его показания. Он дал сведения о том, какой самиздат я ему давал, о том, что я был связан с Якиром, Григоренко, Светличным, Ниной Караванской.

Якира и Григоренко он назвал «руководителями демократического движения». Так как я не хотел давать

какие-либо показания, участвовать в очной ставке, то свои возражения построил в виде вопросов Виктору.

— Разве в демократическом движении есть руководители, разве самиздат — организация?

В. Б. и кагебисты всё не могли понять, чего я от них хочу.

Я объяснил:

— Вот посадят Якира, и тогда твое утверждение станет показанием против него.

Я надеялся, что он намекнет мне на то, как обстоят дела у Якира — не посадили ли его?

В. Б. согласился (и я потребовал это записать в протокол), что движение — не организация и что никто им не руководит.

Было еще несколько уточнений. В. Б. снял утверждение о том, что я ему дал несколько наиболее криминальных статей.

Они хотели доказать с его помощью, что я участвовал в создании программных документов.

Впоследствии Федосенко мне сказал, что В. Б. еще раз изменил показания — в пользу обвинения.

Я не сводил глаз с Виктора, всячески пытаюсь показать ему, что не презираю его, что готов помочь ему морально. К тому же я надеялся, что он потом расскажет Тане о моей тактике (вдруг они всем врут, что я даю какие-либо показания). Или хотя бы зайдет домой и скажет, что я вполне хорошо себя чувствую.

Когда кагебисты поняли мою тактику, они стали кричать, что я нагло себя веду, задаю наводящие вопросы и оказываю давление на свидетеля.

— Вы что это не смотрите на нас? Вы гипнотизируете Б!..

(Они знали, что я гипнотизировал людей в телепатических экспериментах.)

Я рассмеялся над их представлениями о гипнозе. Его увели.

Потом, где-то через месяц, я услышал однажды через

дверь, как с Виктором прощался его следователь. По тону я понял, что они его приручили*.

Я все время ожидал провокаций. Но была только одна попытка, непонятная мне. Появился новый надзиратель с неглупым и нетривиальным лицом. Он очень хорошо говорил по-украински, что сразу внушило мне подозрение. Однажды он молча сунул мне в кормушку лист бумаги. Я заколебался, но потом решил, что парализовать любую провокацию сумею. Я взял бумагу, но он вырвал ее из рук. С тех пор я его не видел. Впоследствии Таня рассказала мне, что какой-то надзиратель передавал Любе Середняк записки от меня и Семена Глузмана. В этих записках «мы» советовали ей все рас-

*) История Виктора Б. — одна из самых трагических. Человек он неглупый, но слабхарактерный. До 72 года ему уже приходилось иметь дело с КГБ, и они тогда еще поняли, кто перед ними. За несколько месяцев до января 72 года Виктор уехал из Киева и жил (по состоянию здоровья даже собирался переехать туда совсем) в Армении. 13 января его самолетом привезли в Киев, поместили в гостиницу КГБ, которая размещается напротив Республиканского следственного изолятора, и продержали фактически под арестом — 5 или 6 дней. В Киеве оставалась его семья — жена и сын. Ему позволили повидаться с ними только после «операции», ночью, с предупреждением ни с кем не видаться и никому не говорить о допросах. Он сделал все, что они требовали. Я случайно встретила его через полгода, когда он вернулся в Киев, — ему не удалось остаться в другом городе. И тогда при встрече, будучи уже выпивши, он рассказал подробности об очной ставке с Леной. Рассказал, что был очень испуган: он ничего не знал об арестах друзей. Его водили на допросы каждый день, в одном номере с ним находились два следователя КГБ. Его запугали — грозили, что вызовут на допросы жену, а у нее больное сердце, что их выселят из квартиры, а сына не примут в университет. И он сдался, он подписал все, что они хотели. Это были показания не только на Леню, но и на Светличного, Чорновила — его возили для этого во Львов — и других друзей. На суде над Леной Виктор был главным свидетелем. А после суда он пришел ко мне и плакал, что он всех предал, что ГБ его купило: сына, действительно, приняли в университет, и из квартиры не выгнали. Но работу он все равно потерял. Из-за всего пережитого у него усилилась болезнь мозга, которой он страдал и раньше, он стал инвалидом, с маленькой пенсией, на иждивении жены.

Виктор иногда приходил ко мне и потом. Однажды он рассказал, что на допросах часто давал показания, находясь в припадке, и даже не помнил четко, что говорил. Был в ужасе от того, что вот он, действительно больной человек, здесь, а Леня, здоровый, в сумасшедшем доме (болезнь его потом до такой степени обострилась, что на некоторое время он попал в психиатрическую больницу).

Сейчас это человек, раздавленный не только болезнью, но и нравственными муками предателя, это жертва КГБ, несомненно большая, чем те, кто осужден на муки в лагерях и тюрьмах. *Прим. Т. Плющ.*

сказывать: «ведь наше оружие — правда». Она поверила словам надзирателя о том, что он связан с украинским националистическим движением, и дала показания, считая, что помогает нам. Глузман, о котором она рассказала все, что могла, получил максимальный срок, а Люба до последнего времени считала, что спасла его (следователи уверяли ее, что, если она не даст показаний на Славика, его будет судить военный трибунал).

В феврале в камеру вскочил надзиратель:

— Собирайте вещи.

Меня завели в другую камеру, темную, сырую. Там лежал, укрывшись, какой-то старик. Он не пошевелился, даже когда я вошел.

В камере воняло от переполненной парашки.

Я стал расспрашивать, кто он, за что сидит и т. д. Он выглядел запуганным, отрешенным от всего.

Оказалось, что он — «взяточник». Срок — 10 лет.

Он — водопроводчик. Получил от нескольких человек 80 рублей на лапу за ремонт. Следователь приписал ему взятки в сумме 700 рублей и угрозами, советами, обещаниями выпустить добился от него подтверждения этого. На суде он объяснил, какими методами у него вырвали фальшивые показания. Но это не помогло. Почему дали ложные показания свидетели и зачем лгал следователь, ему непонятно.

В лагере товарищи объяснили Кузьме все его ошибки, и он написал около 25 жалоб на следователя, судью и прокурора. За эти жалобы его перевели в тюрьму КГБ.

— Но по какой статье вас обвиняют?

— Не знаю. Начальник лагеря сказал — по антисоветской пропаганде.

Оказалось, что ему еще не предъявили обвинения, ни разу не вызвали на допрос, хотя прошло несколько месяцев после перевода в тюрьму.

Я объяснил ему, что они нарушают закон. Расспросил о содержании его жалоб. Оказалось, что он ни разу не обобщил беззакония следователя и судьи на власть

в целом. Значит, не было не только «пропаганды», но и «клеветы на советский строй».

— Требуйте, чтобы вам предъявили соответствующее обвинение, чтобы стали допрашивать.

Он не решился. Ужас перед тем, что к 10 годам ему добавят еще годы за антисоветскую пропаганду, парализовал его настолько, что он целыми днями неподвижно лежал на кровати, не сходя с нее даже в туалет.

Постепенно удалось его приободрить. Через два дня его вызвали на допрос и предъявили обвинение в клевете на строй. Я объяснил ему, что эта статья в ведении Прокуратуры, а не КГБ. Но протестовать он не решался. Удалось уговорить, чтобы потребовал сообщить жене о переводе его в тюрьму.

Дней через 10 он получил передачу. Все эти дни он жаловался, что жена не будет ждать 10 лет и будет изменять ему.

Тема измены жены проходит через все разговоры женатых эков. Меня поражало то, что даже развратники, которые на воле никогда не интересовались своими женами, в тюрьме переживают воображенную измену. Я пытался доказать Кузьме, что она будет душой, если не будет ему изменять. Он согласился со мной и даже обещал намекнуть ей об этом в письме.

— Лишь бы не бросила меня.

Когда он получил передачу, то радость его быстро сменилась вспышкой гнева. Он не любит печенье, а жена передала именно печенье.

— Значит, совсем забыла обо мне . . .

Я обратил его внимание на форму печенья — в виде сердечка.

— Старый болван! Женщины всегда умнее мужчин. Она не могла передать тебе письмо со словами любви и придумала, как намекнуть тебе с помощью печенья. Ошиблась она только в твоих умственных способностях. Вместо того чтобы радоваться ее находчивости, ты, болван, злишься.

Он в течении недели, как ребенок, радовался пе-

ченью. И все восторгался ее душевной тонкостью и умом — так тонко разрушить его страх перед изменой. После этого эпизода он стал быстро изменяться в поведении. Стал смеяться моим анекдотам, рассказам о глупости ГБ, стал читать книги. Я ему советовал, какие книги читать, его интересовали только книги о любви. Очень удивлялся, что почти все книги посвящены теме тюрем. Мы читали индусов, немцев, американцев. Тюрем, тюрьмы, мучения людей...

Когда он прочел книгу Ирины Вильде «Сестры Рачинские», был удивлен тем, как точно она описала переживания героя, получившего от жены полотенце, которым она вытерла свое тело, чтобы передать ему хоть какую-то часть себя.

Он давно уже не интересовался сексом, но признался, что мечтал о таком полотенце.

Он долго — долго пах тобой,
Твой носовой платок.

(В. Некипелов «Баллада о носовом платке»)

Трогательно было слушать его целомудренные рассказы о жене, о первых встречах с ней. Он с отвращением рассказывал о женщинах в тюрьмах, на пересылках. Но эти рассказы как-то связывались у него с женой, в очищенной форме.

*

Нас перевели в другую камеру, с окном, выходящим на прогулочный дворик.

Однажды я услышал смех Жени Сверстюка. Потом голос. Значит, арестовали...

В газете появилось отречение Зиновии Франко. Я зло комментировал его. Кузьма же пытался как-то оправдать ее. За стеной в соседней камере находилась какая-то женщина. Кузьма очень переживал за нее: «Как она может жить здесь?»

— Может, это Зиновия? Если она здесь, то ее отречение понятно.

Я был уверен, что кагебисты не решились посадить Зиновию в тюрьму: все-таки внука Ивана Франко, столь превозносимого властями писателя (и цензурируемого в «Собрании сочинений»).

Федосенко спросил на допросе:

— Прочли письмо Франко?

— Какое?

— В газете.

И он со злорадством показал газету.

Однажды во время допроса зашел какой-то кагебист и принес Федосенко какие-то бумаги. Они захихикали, прочитав их:

— Ах, Леонид Иванович, если б вы знали, что здесь, вы бы написали письмо, подобное письму Франко.

Я догадался, что кто-то из близких друзей предал. Но кагебисты не понимали главного. Ведь не во имя абстрактного народа, абстрактной идеи мы боремся. А во имя себя как части этого народа, во имя уважения и любви к себе. И поэтому, если б даже все предали, отреклись, это б не изменило моей позиции.

Когда стало ясно, что психушка мне гарантирована, я попытался честно, не прячась от проблемы, посмотреть в глаза ужасу своего будущего.

Итак, с одной стороны, опасность сойти с ума, опасность «лечения», пребывания среди сумасшедших.

Страшно. Страшно лишиться разума, страшно потерять детей (а КГБ и на это пойдет), жену.

Но что бы, было, если б я пошел на предательство? Я мог бы выторговать свободу за не очень большую цену. Можно было бы даже не давать показаний на товарищей — только написать покаянное письмо в газету, обругать свои взгляды, обвинить себя во враждебности народу. А дальше? Жену потеряю все равно, уважение друзей тоже. Останутся вокруг меня только морды. Даже верноподданные будут презирать. Останется пуля в лоб или алкоголизм. Значит, я потеряю еще больше, чем если сойду с ума в психушке.

Страх перед последствиями предательства был во

много раз сильнее страха перед психушкой. Это ведь страх за себя как человеческую личность, а не как животное, тварь дрожащую.

В апреле Кузьме сказали, что его отправляют в лагерь за недоказанностью обвинения. Мы попрощались.

Полмесяца я был в одиночке.

Работа по игре продвигалась успешно. Мне не хотелось никаких сокамерников, чтобы они не отвлекали от работы.

Библиотека быстро была исчерпана. Я стал требовать произведения Ленина — хотелось пересмотреть его сочинения, оценить его позицию по разным вопросам. Сапожников заявил, что политическим не положено выдавать политическую литературу.

— Вы всегда извращаете Ленина, используете его в антисоветских целях!

Так как книги кончались, я обратился к начальнику изолятора с предложением, чтобы жена передала для тюрьмы классическую литературу — Гоголя, Лермонтова, Пушкина, Лесю Украинку, Ивана Франко. В библиотеке тюремной из классиков было один-два тома. Сапожников согласился. Но Федосенко возмутился:

— Наше государство не столь бедно, чтобы заключенные дарили ему свои книги. Требуйте от начальника, чтобы закупили литературу.

Как-то попалась книга «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова. Я от нечего делать стал выписывать остроты. Вспомнил работу Фрейда об остроумии и невропатолога Лука об стротах. Стал изучать логическую форму острот и ее связь с психологическим содержанием.

Стал собирать остроты из всех прочитанных книг. Интересны национальные различия в содержании острот. Наметилась даже некоторая классификация по нациям.

Начал искать общее содержание всех форм юмора. Мне показалось, что юмор связан с преодолением страхов, страданий. Он как-то внутренне связан с темой смерти. Эта связь видна из двойного смысла слова

«уморить» — умертвить и насмешить до смерти. Но более глубокой связи так и не удалось показать.

В мае ко мне посадили Виктора Шарапова. Виктор — вор. Он сел за «карман» на три года, а в лагере стал «раскручиваться» все на новые сроки — за то, что постоянно боролся «за справедливость». Бил стукачей, хулиганов, несколько раз участвовал в поножовщине — на почве все той же борьбы против гнусного поведения сокамерников.

Виктор — один из последних романтиков уголовного мира. Он рассказывал мне о воровском законе прошлых времен. Былой закон — страшный, своеобразный закон чести типа рыцарских, но только гораздо более жестокий. Виктор глубоко ненавидел полный аморализм современного уголовного мира и отстаивал «этичность» былого.

Я с ним много спорил о «законе», о его античеловечности. Однако в конце концов согласился с тем, что тот закон все же лучше отсутствия какой-либо чести, морали «бакланов» (хулиганов).

Виктор попал в тюрьму КГБ как свидетель по делу побега его друга из лагеря особого режима. Друг его пересек несколько границ, достиг Югославии. На югославской границе убил несколько пограничников.

Однажды мы услышали выкрики на прогулочном двореке:

— Говорит радио Пекина. Советские ревизионисты еще раз предали дело социализма. Да здравствует самое красное солнышко Мао Цзе-дун.

Виктор прислушался.

— Это он. Играет дурочку, тюльку гонит. Хочет избежать расстрела.

Шарапов рассказывал страшные вещи о морали лагерного начальства, о порядках, о сексуальных мерзостях начальства.

До меня Виктор сидел с Данилом Шумуком, участником партизанского движения на Украине — против фашистов и кагебистов. Шумук отсидел свое у Пил-

судского, у гитлеровцев, у Сталина, а теперь опять сел за воспоминания о тех временах.

Сидел Виктор еще с одним «политическим», бежавшим в Турцию. В Турции тот затосковал и вернулся домой. Теперь его обвиняют в «измене Родине».

С Виктором мы пробыли не более недели, но сблизились необычайно. Я рассказывал ему о самиздате, он мне — о лагерях, о нескольких годах воли. Отсидел он уже 16 лет, оставалось — 8, если не накрутит себе новый срок. Он хотел «завязать», мечтал жить возле нас, под Киевом.

Над нашей камерой находилась Надийка Светличная*. Она больна туберкулезом, постоянно кашляла, и он влюбился в нее заочно, по рассказам Шумука и моим. Виктор постоянно отвечал на ее кашель, что-то кричал ей в окно. Она стала его Вегой.

Мы почти не спали эти дни — «говорили за жизнь». Он не мог поверить, что меня отправят в психушку:

— Но ты здоровее всех, кого я знал.

Я смеялся над его наивностью: кого интересует состояние моей психики?

Два раза меня вызывали в кабинет начальника тюрьмы на беседу с психиатром из Киевской психиатрической больницы им. Павлова.

— Леонид Иванович, говорят, что вы ненавидите врачей, не верите медицине?

— Это ложь со стороны следователя. Я считаю нелюдями врачей типа профессора Лунца из института Сербского. Но я никогда не обобщал это на всех врачей.

Психиатр задала еще несколько вопросов: о психическом состоянии, о страхах, о причинах, толкнувших меня к «антисоветской деятельности».

5 мая Виктора вызвали на очную ставку с его другом. Пришел он в подавленном состоянии.

— Смертная казнь ему обеспечена. Он мечтает на прощание прихлопнуть хоть одного кагебиста. Хвалит

* Сейчас Надийка эмигрировала в США. О Викторе слышала, но числа «сидения» в Киевской тюрьме не совпадают.

югославские тюрьмы для политических: обжираются они там здорово.

6 мая дернули на допрос меня.

Федосенко злорадно предъявил постановление о направлении на психиатрическую экспертизу в институт имени Сербского в Москву. В постановлении перечислялись фамилии людей, говоривших о моих «странностях». Среди них была фамилия моего бывшего друга Эд. Недорослова. Я про себя засмеялся, вспомнив его моралистическую критику марксизма и демократического движения, его речи о неизбежности нашей «бесовщины».

Я давно говорил ему, что позиция «морализирующего пессимизма» угрожает его собственным предательством. А он утверждал, что я приду к «бесовщине» и к террору. И вот пока исполнилось мое предсказание об аморализме морализирующего пессимиста. Очередь за мной... за «бесовщиной»!

Я написал заявление о том, что хочу пройти экспертизу в Киеве, т.к. здесь почти все свидетели по моему делу. Потребовал также, чтобы жена назначила своего представителя в экспертизу (последнее предусмотрено даже в Уголовно-процессуальном кодексе).

— Хорошо, я рассмотрю ваше заявление. Идите.

Я рассказал о беседе Шарапову. Он, мрачный от вчерашней встречи с другом, был потрясен новым известием — мы так полюбили друг друга за эти дни. Он стал лихорадочно собирать мне вещи, подарил мешочек, сунул масло. Стал спешно рассказывать, как вести себя в вагоне поезда, в пересыльной тюрьме, чтобы уголовники не обокрали, не побили.

Я оставил ему список книг, которые отвечали его интересам, адрес жены — может быть, она сможет прислать ему книги.

И расстались — навсегда. Остался от него цветок из кости, который он прислал Тане из лагеря. Цветок зэка Шарапова в Париже! Звуки то-какие, слова — цветок, зэка, Париж! Карнавал XX-го столетия!

— Воры тебя не тронут. Они уважают политических.

А вот бакланье . . . Они трусливые, и ты покажи только, что не дашь спуску, — отвалятся.

На прощанье мы кашлянули наверх Надийке Светличной. Она ответила вместе с сокамерницей.

Мы лихорадочно договаривали невысказанное раньше, уславливались о переписке, когда в коридоре послышался крик: «Я не пойду в психушку!» И еще что-то. Знакомый голос, украинский язык. Кто это? Мне показалось, что Василь Стус.

Вывели с вещами. В боксе прошмонали. Зашел Сапожников.

— Вы ничего сейчас не слышали?

— Какой-то крик.

— О чем и кто?

— Не расслышал, — зачем-то соврал я.

— Верю. Вы никогда не обманываете.

Зашел торжествующий Федосенко. Он еле сдерживал ликование под маской холодного блюстителя закона.

— В ваших просьбах отказано. Институт Сербского — высший орган по судебной экспертизе. Если он поставит вам диагноз, то он будет точен. Предлагать своего эксперта должны по закону вы, а не родные. Это сделано для того, чтоб защитить человека от нечестных родных. Бывали случаи, когда жены сажали в психбольницу своих мужей.

— Глупый закон. А если у меня нет кандидатуры врача? А если я прошу, чтобы выбрала психиатра жена? Потом — почему вы не сказали мне вашу трактовку закона сразу? Я бы все же предложил своего психиатра. Давайте бумагу, я напишу заявление.

— Уже поздно. Пора отъезжать. За вами пришел конвой.

— Вы просто подлец. Вы не только служите в бесчеловечной организации, но и проявляете бесчеловечную инициативу.

— Ну, зачем же нервничать? Проедетесь в Москву и, если здоровы окажетесь, вернетесь к нам.

Путешествие в вагоне я описывать подробно не буду:

оно уже так часто описывалось в воспоминаниях советских эзков.

Сначала воронок до Лукьяновской уголовной тюрьмы. В воронке посадили меня в бокс — узкое, душное помещение. Я со своей нестигающейся ногой ни сидеть, ни стоять не мог. У Лукьяновки стояли больше часа. Начал протестовать, так как не выдерживал бокса.

Нагрузили несколько воронок эсками — и на вокзал, как раз к тем местам, где когда-то бродили с сыном по речушке Лыбидь (названной так в честь той самой сестры основателя Киева, картину о которой подарила моей сестре Алла Горская).

У вагона стояла вохра с собаками. Собаки глухо гавкали на нас. Меня посадили в отдельную камеру-купе, с зарешеченной дверью. Окна на противоположной стороне коридора занавешены. Возле моей камеры — женщины, набитое битком «купе». Шум, гам, крики конвоя и эзков. Считают, проверяют по фотографиям на папках с «делом».

Со мной — специальный провожающий, надзиратель тюрьмы.

В дороге основная тема перебранок с конвоем — вода (всем дают есть селедку) и туалет.

— Пить!..

Через полчаса, час приносят попить.

— Сцать!..

Кричит весь вагон. Старушка-соседка, член партии («хищение государственного имущества в небольших размерах»), шамкает:

— Солдатик! Скажи начальнику, что у меня большой мочевой пузырь.

— Не надо было воду пить, бабуся!

И пошло, и пошло...

Наконец, в положенное время начинают водить в туалет. Женщины по дороге заглядывают в «камеры». Мужчины восторженно вопят, «распределяют» женщин между собой.

После туалета все, умиротворенные, ведут неторопли-

вые разговоры: кто, за что, сколько получил, с кем встречался. Завязываются «романы». Солдатиков просят передать «бабам» пожрать, «мужикам» от «баб» — курево.

Моя старушка спрашивает:

— А вы за что сидите, сосед? Гомосексуалист?

(Мысль понятная — кого же еще могут посадить отдельно от всех.)

— Да нет, политик.

— Как политик? Разве за политику продолжают сажать?

— Еще как!..

— Неужели как при Сталине?

— Да нет, помене.

Она начинает стесняться передо мной за свою статью. Все-таки член партии, а так безыдейно села. Объясняет, что работала на молочном заводе:

— Вы же знаете, все тянут продукты домой. И меня поймали с маслом. Разозлились на меня на проходной и подловили.

Зэки ей кричат:

— Врешь, старая! Воровала целой машиной. За пару килограмм не посадят.

Старушка обижается. Что она, хищница, спекулянтка? Для себя брала, а не на продажу. В последнее никто не верит. Она все подчеркивает «брала», не желая проносить «крала».

Ее «товарки» начинают рассказывать, где что крадут, как крадут и сколько получают за кражу.

Бабоньки пожаловались еще немного на жизнь и, заскучав, перешли к «романтике» этапной.

— Сереженька, ты в какой камере был?

— 342.

— А! Над тобой Галька Сука сидела с коблом!..

— Да! Она мне «ксивы» писала.

— Она толстая!

— Я знаю. Видел ее на дворике.

— Она, дура, подхватила у одного. Трам-там-там...

Моя старушка стыдит малолетку. Малолетка обзывает ее по матушке.

Что значит партийный человек... И здесь воспитывает подрастающее поколение, зараженное ветрами Запада.

Малолетка заводит похабную песню:

А он с нею на кровать,
И давай роман читать,
Читал, читал, не дочитал...

Дальше идет история а ля «Декамерон»...

— Машка! Перепиши мне. Хорошая песня.

— Давай бумагу, Васенька.

Я восхищенно делаю пометку в записной книжке: игра словами «роман читать».

Романтика лагерей...

Взвейтесь кострами, синие ночи, — поют пионеры.

Вы здесь из искры раздували пламя,

Спасибо Вам, я греюсь у костра...

Последнее — о Сталине из популярной песни лагерей.

«Лингвистические» размышления уведут меня из «купе», вырывают из непосредственно данного этапного «контекста» блатных «ксив» и романов... на широкие просторы моей страны — географические и исторические.

Вспоминаю рассказ старой эчки о ее романе с афганским ханом. Хан у себя в Афганистане вдруг проникся коммунистической идеологией и приехал в страну победившего социализма. Но его не поняли, и он загремел в лагерь.

Из своей камеры он спускал ей «коня», т.е. ксиву на нитке. Она прочитывала его признания не без удовольствия. С каждой запиской хан смелел. Стал описывать свою страсть, свои мечты. Когда князь обнаглел настолько, что перешел к ханскому пути в любви, она отказала ему в переписке. Хан страдал, а они хохотали над его карнавальной трагедией: хан-коммунист живет

еще любовными мечтами тысячелетней давности, но принужден его единомышленниками жить по законам гулагной романтики.

Мы живем на этапном этапе развития России. Недаром слово «этап» из учебников по историческому материализму, истории партии, политической экономии перекочевало в блатной жаргон и зажило новой жизнью, как и слово «лагерь», а теперь, благодаря Солженицыну, — «архипелаг ГУЛаг».

Но не стоит вырывать новый этап из истории. По этапу гнали славян татаро-монголы. По этапу пошли в рудники Сибири «хранить гордое терпение» декабристы. По этапу шагал Достоевский, ехал поэт Полежаев. На новом этапе истории России при либеральном Александре II по этапам шли восставшие поляки, затем народовольцы.

Наконец Председатель Совета Министров Столыпин усовершенствовал, механизировал этапный путь. У Запада заимствовали поезда, паровоз, и эски стали ехать в Сибирь в «стольпине», в стольпинских вагонах. О Столыпине помнят теперь только интеллигенты, но «стольпин» хорошо знают рабочие и крестьяне. Увековечить хотел он самодержавную Русь с помощью новоиспеченных «серых баронов» (как умолял он историю подарить ему 20 лет для создания опоры самодержавию), а увековечил себя в этапных вагонах.

Весь путь России — этап.

Наши газеты любят писать о «зеленой улице» прогрессу, новшествам, новаторству. А в тюрьме я узнал о происхождении выражения «зеленая аллея». Так называли проход между рядами солдат, через который проходил провинившийся солдатик, а его били поочередно зелеными прутьями или шпидрутенами. Он умирал под палками, а царь-батюшка гордо заявлял Западу, что нет у нас смертной казни.

Этап — путь в неизведанное, зеленая улица, аллея...

... Озеро милое, милая Родина...

И мчится по ухабистым этапам истории Русь-тройка, в страхе перед ее величием останавливаются или отшатываются народы... И тащит эта тройка-«стольпин» за собой Украину, Литву, Грузию, Молдавию, все братские и небратские народы.

Пока я занимался филологией и клеветами на историю, «стольпин» остановился, и кто-то завопил:

«Станция Березай, кому надо вылезай!»

Харьков. Стоянка на вокзале, воронки, тюрьма на Холодной Горе.

Грязная камера — «тройник» (на троих). Окна выбиты. Слышны крики из камер на прогулочный дворик:

— Девки, разденьтесь, покажите.

— Пошел, козел вонючий. Вертухаиха стоит.

Звон выбитого стекла. Кто-то выражает свой протест. А я теперь мерзну из-за подобного протеста.

Стены исписаны. Ищу (хоть и понимаю глупость этого поиска) надписи Алтуняна, Недоборы, Левина и Пономарева. Есть одна 187¹, но фамилии такой не слышал. Мало ли их по клевете. Я хотел бы увидеть знак от своих «клеветников».

За окном перепалка. Слышно: «Ковырялки. Козлы. Петухи!»

*

Ужин. Какая склизкая масса. В кормушку заглядывает раздатчик, зэк.

— Статья?

— Политик.

— А-а-а!

С уважением.

Утром зову надзирателя.

— Почитать.

— Не положено пересыльным.

— А что же мне делать?

— Е... стенки.

Все же принес какую-то тягомотину. От скуки читаю. Первая мировая война, революция, гражданская

война в Харькове. Холодная гора. И вдруг... Затонский и его маленькая дочь. Я ведь знаком с дочерью. Она мать Иры Рапп, жены Володи Пономарева...

Итак, этапы разворачиваются и свертываются в кольца, идут «по спирали».

Затонский делает революцию, потом создает советскую власть на Украине, оказывается врагом народа, а потом реабилитируется. Его дочь страдает сначала за отца, потом за выгнанную с работы дочь и посаженного все на ту же Холодную Гору зятя. Дочь едет в лагерь и видит на стене в кабинете начальника лагеря портрет реабилитированного деда. Я ищу на стенках записи Володи и читаю книгу о Затонском.

Замечательный русско-украинский карнавал, поспиральный и поэтапный.

Я насмешливо затынул:

— Широка страна моя родная...

Книга давно прочитана, новой не дают — не положено, заматаю.

Писать и думать об игре неинтересно.

9 мая, день Победы. Надзиратели подобрили — подвыпили.

— Завтра этап.

Один заглядывает ко мне и объясняет, что к вечеру начнут приводить празднующих победу алкашей-хулиганов.

10 мая шмон в боксе, очередь в бане. Какой-то вор подмигивает мне и победоносно вытаскивает откуда-то неположенные иголку и лезвие бритвы. На груди татуировка — Кремль, Ленин, голая баба, которую в деликатное место клует орел (психоидеология вора-зэка, миф Ленина и Прометей).

Ленина на груди я вижу впервые. В психушке он был у многих. У одного спросил:

— Зачем Ленина наколол?

— Он всю жизнь по тюрьмам, и я тоже.

— Ерунда, он был в тюрьме пару месяцев, на следствии. Получил ссылку.

— Врешь, — с сожалением и негодованием возразил «псих». Но поверил все же.

Ведут к воронкам. На прощанье оглядаюсь на любившую надпись на плакате:

«Смысл жизни — в самоотверженном, честном труде для народа».

Как спеца по проблеме смысла жизни приводит меня в карнавальным восторг столь простое, четкое, прозрачное решение «вечной» проблемы тюремщиками. Глупые Экклезиаст, Будда, Толстой, Достоевский, Ницше, Иванов-Разумник. На Холодную 6 Гору их, всё бы поняли и не мучились бы от всяких там теодицей.

И какой-то смешной человек днем с фонарем выскочил на площадь и закричал:

«Я ищу Бога, я ищу Бога... Вы его убили... И Боги истлевают».

На воротах лагеря под Сталинградом как-то повесили плакат:

«Коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым». А теперь это же записали более философски.

«Прогресс, ребята, движется куда-то...» (Ю.К.)

А в Майданеке нацисты подпевали в том же духе:

«Труд делает свободным...»

Попрощавшись мысленно с пересылкой, сел в воронку с женщинами. Они всячески выражали сочувствие, орали на конвой, чтобы меня посадили в другой бокс, т.к. больная нога не давала мне сидеть, а потолок воронки не давал стоять.

В «стольшине» возле моей камеры стоял казах. Я попросил его отодвинуть занавески на окне.

— Хочешь посмотреть зелень?

— Да.

— Давно сидишь?

— Не очень.

Он раздвинул занавески. Поля, холмы. Я стал тихо напевать украинские песни. Он слушал, слушал и запел по-казахски.

Потом показал на холмистую местность и сказал, что живет в такой же, с такими же зелеными холмами.

Он знал, что я политик, но этой темы не касался.

Уголовники ненавидят «зверьков», считая их самыми злыми вертухаями. Но мой личный опыт говорит, что самые гнусные — русские и украинцы. Лучше всех прибалты. Среднеазиаты наиболее законопослушны, исполнительны, но никогда не делают на зло ээку.

Вот и этот казах. Когда его просили передать ксиву, он испуганно смотрел, нет ли начальства, и отказывался. Но махорку, еду передавал — со столь же испуганным видом.

За отказ передать ксиву уголовники кричали ему: «зверек», «косой». Он только виновато улыбался и объяснял:

— Лейтенант увидит.

Ночью у женской камеры собралась компания конвоиров. Они расспрашивали малолеток об их похождениях. Малолетки с удовольствием отвечали. Конвойные нагтели.

Было очень холодно, т.к. конвой открыл окно как раз против наших камер. Женщины тоже замерзли и просили конвойных уйти и закрыть окно. Но конвой разошелся. Они ведь солдаты и редко встречаются с женщинами столь близко. Да еще со столь откровенно завлекающими, циничными, сгорающими от желания. Я кутался в пальто, но от холода и выкриков конвойных не мог ни спать, ни думать.

Утром в Москве мне попался неплохой конвой. Женщины попросили офицера, чтобы меня поместили в широкий бокс. И я доехал до Лефортовской тюрьмы королем.

Шмон, баня, осмотр врачом, камера.

Не так чисто, как в Киевской тюрьме. Всюду трещины, осыпавшиеся стены. Но зато есть унитаз и умывальник. И много туалетной бумаги. Вот что значит столица первого в мире социалистического государства, а не «провинциальный» Киев. В Киевской у меня были

постоянные стычки с надзирателями из-за бумаги. Возле туалета постоянно повторялась все та же унижительная сцена.

Надзиратель выдает клочок бумажки.

— Еще.

Дает.

— Еще.

— Хватит.

Начинается дискуссия.

— Всем хватает, а вам нет. Бумаги на таких не напасешься.

Я поворачиваю и ухожу в камеру. Вызываю дежурного офицера. Через полчаса приходит. Если майор, то дело плохо.

— Почему всем хватает, а вам нет? Вы что — барин?

— Как вам не стыдно спорить с ээком о бумажке? Вы ж офицер, имеете какое-то образование.

Он, выпучив свои белесые бараньи глаза, кричит:

— Прекратите разговоры. Не хотите идти в туалет — не идите.

Сажусь писать «жалобу». Понимаю, что «жалобу» могут использовать психиатры, и потому пишу юмористически. Да и не только поэтому. Унижительно протестовать на тему туалетной бумаги. И хочется посмеяться над ними и над собой. К тому же, не хочется заработать геморрой.

Описываю спор с офицером и обосновываю свою правоту с точки зрения медицинской, философской, юридической и экономической. Пишу о проблеме равенства людей при социализме — равенства юридического, но не физиологического. Офицер жалуется, что страна бедна бумагой, пусть обратится к моей жене. Она обеспечит бумагой всю тюрьму, к тому же, более качественной. Пишу о достоинстве офицерского звания, о жандармских офицерах (цитирую «Былое и думы» Герцена).

Сокамерники хохочут.

Приходит Саложников, обещает уладить вопрос. Через неделю сцены повторяются. Особенно отличался

в этом «пустоглазый», как назвал его Шарапов. У него действительно удивительные глаза — без выражения, без цвета. Несколько раз я обозвал его жандармом. Девушка-надзиратель покраснела, а он хоть бы хны.

Туалетно-фекальная тематика занимает так много места в воспоминаниях потому, что жизнь в тюрьме обнаженно животная, сведена во многом к чисто биологической «проблематике».

*

Изучив камеру, я попросил книги.

— Библиотекаря пока нет. На, почитай вот книгу.

Том Льва Толстого. Педагогические статьи. Их я прочел впервые. Очень много интересного и близкого. Особенно близка мысль Толстого, что главное в воспитании ребенка — воздействие через бессознательное. Указывает Толстой и на роль игры.

Через день повезли в Институт Сербского. В приемной молодой врач записал мои данные. Побрили, искупали, переодели в больничное и завели в палату. Там сразу же стали подходить один за другим обитатели трехкомнатной палаты.

— Марксист. Мания реформизма и марксизма.

— А! Из Прибалтики? Читал о вас в «Хронике».

— Да. Севрук.

Следующий!

— НДП.

— ???

— Да, неофашист.

Следующий:

— Сионист. Не хотел служить в армии. А вон еще один сионист. Он у нас теоретик. Кандидат медицинских наук.

— А я никто, т.е. ни за что.

— Статья?

— Клевета на строй.

— Жаль, что вас не привезли раньше. Нам уже гово-

рили, что вас привезут. Здесь сидел один из УНФ, Красивский.

— Украинский национальный фронт? Из Львова?

— Да. Замечательный парень.

Севрук потащил покурить в туалет.

— С няней осторожно. Она целыми днями играет тут с нами в домино, слушает и доносит.

— А настоящие психи есть?

— Посмотрите сами. Я не хочу говорить.

Севрук показал юмористические дацзыбао Юрия Белова.

Граф Белов, маоист, обвиняет правого ревизиониста Брежнева и его ставленника профессора Лунца в преследовании настоящих коммунистов.

Очень хорошо написанная пародия.

Ю. Белов — верующий (сейчас находится в психтюрьме).

НДП начал рассказывать о себе. Вор. В лагере вначале был сталинистом, но передумал.

Кандидат наук смотрел на меня молча — изучал.

В углу свалена куча книг. Я просмотрел и порадовался. Это как раз то, что мне надо. Стендаль, Стефан Цвейг — биографические произведения.

Севрука вызвали к медсестре: он объявил голодовку протеста против лечения. Я советовал ему не протестовать — нет смысла делать это на экспертизе.

Подали роскошный обед. Вкусная каша, неплохой компот.

После обеда все сели играть в домино. Я перелистывал математические книги Севрука.

Вдруг вызвали. Одели и . . . повезли в Лефортово.

До сих пор не знаю, зачем возили в Институт Сербского. На 2 часа. Видимо, одна рука не знала, что делает другая. А может, пришло новое распоряжение сверху, отменившее направление следователя на стационарную экспертизу в Институт.

Несколько дней был один, без книг. Заниматься игрой не хотелось. Попросил тот же том Толстого. Дали ка-

кую-то соцреалистическую гадость — читал надзиратель.

Пришлось поскучать.

Наконец, однажды вечером занесли койку.

«Наседка или нет?»

Заводят. По глазам, по всем движениям видно, что бывалый зэк.

— Антик? — спрашивает.

— А что это такое?

— Антикоммунист.

— Да, статья 70-я. Но на самом деле не антикоммунист. А как вы догадались?

— Да ваших легко узнать. А я за валюту. Хотят приклеить. Перевели из Бутырки. Там сидел за хищение. Я — директор магазина. Михайлович Виктор. Меня только что перевели от вашего. От Ильи. Поэт.

— Илья? Москвич?

— Да.

— Габай?

— А ты что, знаешь Илью?

— Слышал (упоминание об Илье насторожило. «Наседка?»). Он приятель Якира и Кима?

— Да. Ким — певец.

Михайлович стал по памяти читать стихи Габая. Видимо было, что Габая он очень любил.

Поразило, что помнил даже большие поэмы. Кое-что я читал ранее в самиздате, например, поэму о Юдифи.

Уверенность, что передо мной «наседка», уменьшилась. Специально дрессировать «наседку» на поэзию? Вряд ли.

Он тоже присматривался ко мне и осторожничал. Когда узнал, что я из Инициативной группы, оживился.

Законы и все юридические тонкости знал на зубок. Объяснил, что мне проведут амбулаторную экспертизу, «пятиминутку». Врачи приедут в тюрьму.

— Не хотят, чтобы о тебе знали в лагерях и по психушкам.

Политика его не интересовала. Зато о литературе знал много.

Его отец — один из деятелей французской компартии. Специалист по политэкономии. Приехал в СССР помогать строить социализм. Вовремя сообразил, с чем имеет дело. Сам начал понижать себя в чине. Уехал в Среднюю Азию. Работал бухгалтером. Так удалось избежать ареста, обвинений в шпионаже и троцкизме.

Сына оставил у какого-то партийного босса. Виктор привык к роскошной жизни. Потом вернулся отец. Стали жить бедно. Вкус к сладкой жизни остался и привел Виктора в лагерь. После лагеря решил воровать законно. Окончив Торговый институт, стал директором магазина. Из Министерства торговли ему подбрасывали дефицитный товар, за который он брал двойную цену. Делился с благодетелями из Минисетрства, с продавцами (не дашь — донесут). Да и ОБХСС надо дать. И «народному контролю». Но на жизнь хватало.

Кампания из Министерства попалась. Возникло «дело Флиорента». Там и патологический секс, и хищения, и взятки. Попались из-за отказа дать начальству из Совета Министров «на лапу».

Группу Флиорента посадили. Так как Михайлович — умный человек, то никакой связи у него с Министерством не обнаружилось.

Жил очень богато, на всю катушку. Посещал закрытые магазины, отдыхал в «правительственных» санаториях, смотрел фильмы для «слуг народа».

Все его друзья — «торгаши», как он пренебрежительно их называет, — составляют особый слой москвичей (вместе с советской богемой, детьми советско-партийных боссов). Почти все в их кругу решается телефонными звонками.

Все дни наши в тюрьме были заполнены рассказами о «сладкой жизни». Много я знал ранее. Но техники связей, блата, хищений, мошенничества не знал. Оказывается, если бы Остап Бендер ожил, то быстро смог бы добыть свои миллионы.

Хочешь добыть билет на «Сладкую жизнь» Феллини или «8 с половиной» — звонишь администратору:

— Товарищ Иванов? Это из Министерства, Петров. Товарищ Сидоров хочет 10 билетиков в 15 ряд. Как нет в 15-м? Организуйте! Мой секретарь зайдет.

Важно не указывать чина, важно сказать жаргонное партийное словечко «организуите», заменить билет «билетиком» и указать ряд.

Администратор даже не заикнется что-либо уточнить. В «Крокодиле» рассказывалось о мошеннике, который таким звонком по дешевке закупил на базе несколько партий досок и продал их колхозам.

Силу звонка не могут достаточно оценить в «прогнившем от коррупции» буржуазном обществе. А в нашем большом ГУЛаге без звонка трудно что-либо сделать.

Михайлович надувал начальство чаще бескорыстно. Когда я спросил его, зачем он рассказывает мне некоторые детали (ведь могут посадить за это), он засмеялся:

— ГБ это не интересуется. А МВД знает, но не трогает. Я не наживался мошенничеством. Просто пользовался благами, дозволенными избранным. Пусть попробуют заговорить о них на суде — самих посадят.

По его мнению, купить нельзя только Политбюро и гебистов. Последних жестоко карают за взяточничество, а Политбюро в «нечистых» деньгах не нуждается.

Разговоры и песни мы перемежали чтением книг. Библиотека в Лефортово прекрасная. За шесть месяцев я прочел массу интересных книг, некоторые из них почти невозможно найти на воле.

Прочел все повести Гоголя, «Сентиментальное путешествие» Стерна, многие романы Диккенса.

В тюрьме эмоциональность восприятия красоты у меня резко возросла. Диккенс, например, который никогда мне не нравился, вдруг открыл для меня красоту старой Англии, мягкий, сентиментальный юмор доброты. В «Домби и сыне» я обнаружил, что послужило

толчком к «Алым парусам» Александра Грина. Это любовь дочери Домби к моряку. Тут и зародыш сюжета, и ассоциативные связи имен героев.

В тюрьму Михайлович попал из-за предательства знакомого. У того была ревизия магазина, и он попросил Михайловича подкинуть ему на время товар. Ревизоры открыли наличие в магазине «левого» товара (из подпольных цехов на заводах). Знакомый «раскрутился» и рассказал о Михайловиче. На суде этот знакомый, поняв, что погубил показаниями не только Михайловича, но и себя, стал менять свои показания. Умный адвокат Михайловича воспользовался противоречиями в показаниях, нарушениями закона в ходе следствия, и Михайлович получил 4 года. Через год поймался какой-то валютчик и показал на Михайловича. Теперь его привезли в Лефортово, т.к. валютные дела ведет КГБ, не доверяя продажным милиции и прокуратуре (КГБ берет на себя также крупные экономические дела, особенно в Грузии и Армении, республиках, насквозь пронизанных подкупом, спекуляцией, хищениями и взяточничеством бюрократии).

Михайлович не сомневался, что им не удастся приклепать ему валюту:

— Основное правило бизнесмена — не смешивать разных видов дела. Нужно специализированно работать. К тому же я знаю, что среди валютчиков большое число агентов милиции и КГБ. Они спокойно наживаются, а милиции подкидывают сведения о разного рода преступниках.

Я рассказал ему о Викторе Луи, агенте КГБ, который продает за границу ценные иконы, самиздат и т. д. В частности, передал Солженицына, псевдовоспоминания Хрущева и т. д. Оказалось, что Михайлович с ним был когда-то знаком. Луи тогда занимался спекуляцией и валютой, был почти что миллионером. В уголовном мире он вынырнул как раз тогда, когда Хрущов начал широкую кампанию против крупных советских бизнесменов, когда специально для миллионера Рокотова из-

дали закон о смертной казни для экономических преступников и применили его к Рокотову (хотя не имели права, т.к. преступления были совершены до введения закона; но Никита лично приказал расстрелять Рокотова).

Примерно через месяц занесли еще одну койку.

— Наседка, — решил Михайлович.

Ввели молодого парня с массой книг.

— Лифшиц Феликс, валюта.

Главный по их делу, «паровоз», отлетал в Израиль. У трапа самолета его задержали, провели в гостиницу и предложили рассказать об операциях нескольких его друзей:

— Вылетите следующим рейсом.

Он, чтобы отделаться от КГБ, выдал несколько товарищей.

Его жене, сидевшей в соседнем номере, предъявили его показания. Она, спасая мужа и поверив обещанию ГБ отпустить их в Израиль, рассказала гораздо больше. Потом он расширил ее показания. И так далее.

В итоге его и товарищей посадили. Среди них одну армянку, обвинявшуюся в валютных операциях и взятке при поступлении сына в институт. Больше всего дал показаний один работник алмазной фабрики. Он надеялся на антисемитизм судей и свои показания сопровождал антисемитскими репликами. Указывал на свою близость с кем-то из бериевцев, на свою медаль (за доносы).

«Паровоз» на следствии держался неплохо, брал вину на себя. Но было поздно...

Михайлович ознакомился с обвинительным актом:

— Зачем ты указал так много операций?

— Мне посвоятовал сокамерник, директор такого-то магазина Зубок.

— Зубок? Он ведь опытный жук. Он не мог посоветовать такой чуши. Ведь срок мотают больший за систематичность операций, за число эпизодов, а не за общий оборот. Он посоветовал тебе по их заданию.

Мы достали Кодекс. В самом деле, так и было.

— Зубок стал «наседкой». Ему дали большой срок, и он смягчает свою участь. Надеется на амнистию или помиловку.

О лефортовских наседках мы узнали очень много, перестукиваясь с другими камерами (по цепочке). Сверяя данные, удалось обнаружить около десяти «наседок». Все люди с большими сроками.

Вся Бутырская тюрьма — т.е. ее старожилы — знают капитана милиции «Золотую ручку» (или «Кривую ручку»: у него одна рука искалечена). Капитан был постоянной наседкой. Хотя о нем предупреждали всех новичков, но обычно опаздывали. Ведь новичок первым встречал в тюрьме «Золотую ручку». «Ручка» выспрашивал дело, давал советы. И многие ловились на «дошлого зэка». Старожилы несколько раз пытались «ручку» пришить. Но как это сделать голыми руками?

С помощью тюремной азбуки я узнал о других зэка Лефортово.

Афганец-студент. Родственник шаха. Шах зверски замучил его отца (закапывали по горло в землю и мучили так, как когда-то мучили вандейцы республиканцев: выкалывали глаза, мочились на голову и т. д.). Афганец поехал учиться в СССР, стал левым. Но левизна не помешала заняться валютой. Он попал в Лефортово совсем «теленком». Не знал законов, попался на удочку следователей. Не только «раскололся», но и наплел на себя.

Когда «дошлые» сокамерники объяснили ему законы, он люто возненавидел Союз, ГБ, надзирателей, левизну. Писал жалобы . . . шаху, замучившему его родных.

Был валютчик из ФРГ.

Несколько человек сидело за попытки продать «секреты» западным посольствам. Один грузчик нарисовал план порта, записал все корабли и еще что-то. Со «сведениями» проник в американское посольство. Там просмотрели его бумаги и предложили удалиться. Прямо у

ворот посольства грузчика схватили и посадили в Лефортово.

Какой-то майор утерял секретные документы. Его обвиняли в передаче их на Запад.

Лифшиц сидел с рабочим — фашистом, идиотом. Идиот вместе с приятелем разбрасывал в Кремле листовки против коммунизма. Листовки подписывали «Советская фашистская партия». Лифшиц развлекался тем, что гипнотизировал фашиста и заставлял танцевать. Фашист любил его, хотя в листовках было написано: «евреев нужно в газовые камеры — отправить, чтоб не воняли!»

Все ээки Лефортово рассказывали о докторе Плахотнюке. Плахотнюк отказывался говорить с начальством по-русски:

— Почему меня держат в РСФСР? По закону требую переводчика.

Плахотнюк побывал уже в Сербском и ждал этапа.

Вся тюрьма восхищалась «хохлом».

Сидел какой-то кандидат наук. Он выступил на партийном собрании с критикой ЦК партии. Потом дал нескольким знакомым запись выступления.

Сын одного из руководителей Московской области достал бомбу и взорвал ею своего учителя. «По политическим мотивам». О нем говорили, что у него нашли какие-то самиздатские книги.

Однажды на прогулочном дворике мы наткнулись на надпись: «Якир».

Мои сокамерники, увидав мое волнение, стали подсмеиваться:

— Завтра появится Сахаров, послезавтра — Солженицын.

По разным признакам я убедился, что Якир действительно сидит. Передал ему привет. Дошел ли привет, не знаю. Стал писать на стенах дворика свою фамилию и номер камеры. Ответа не было.

Получил передачу от Юлия Кима. Вновь зазвучали его песни.

— Видимо передает продукты и мне, и Якиру.

Наконец вызвали к психиатру. Какая-то дама из Института Сербского.

Она начала с секса. Я отказался отвечать.

Расспросила биографию.

— Ваша мама пишет, что вы со школы странно себя ведете!

— Покажите ее письмо. Может быть, я пойму, о чем она пишет, и объясню вам «странности».

— Письмо у следователя.

— Но вы читали его?

— Да.

Я представил себе, что мама действительно могла обругать меня в письме к родственникам:

«Ленька никогда меня не слушал, вот и попал в тюрьму». Вряд ли могли ее уговорить «помочь» мне.

Психиатр назвала несколько фамилий моих давних знакомых, говорящих о моих странностях.

Один — известный стукач. Второй со мной почти не знаком.

Перед арестом заходил какой-то Шевченко, отрекомендовался моим родственником и хотел меня устроить на работу. Он — бывший заместитель секретаря партбюро Академии Наук.

Шевченко уговаривал меня покаяться. Я с ним немного поспорил о Чехословакии, об украинском движении. Таня с ним поругалась из-за Светличного, так как он рассказывал о покаянии Светличного в тюрьме в 1966 году. Это было гнусной ложью, хотя Шевченко и клялся, что им в Академии читали письма Светличного.

Когда я спросил Светличного, он сказал, что слышал об этом письме. Они составили его из вырванных из протоколов допроса фраз, скомпоновав в виде покаяния.

Родственник как ушел, так никогда и не появлялся, пока не вынырнул в покаяниях на следствии, а затем и свидетелем на суде.

Психиатр приходила три раза для собеседования минут на 20.

- Зачем вы стали заниматься антисоветчиной?
 - Антисоветчиной не занимался.
 - Ну, политической деятельностью.
 - Я не хотел повторения 37-го года.
 - Но ведь с культом покончено.
 - А сажать за взгляды продолжают. Рабочие получают малую зарплату и крестьяне тоже.
 - Чего же вы добиваетесь?
 - Демократизации государства.
- Идет длинный спор о методах демократизации:
- Вы знаете, что будет, если позволить все печатать?
 - Но почему в капиталистических странах печатают Ленина, разрешают коммунистические партии? Почему только у нас боятся свобод?
 - Знаете, мы все же в капиталистическом окружении.
- И так по кругу. Я сдерживаю себя, чтоб не вспылить, не обозвать ее душой, а Лунца — негодяем.
- Требую своего психиатра.
- Это решает ваш следователь.
- Записывает с моих слов о моих самиздатских статьях. Я говорю лишь об изъятых. Требуется, чтоб я пересказал содержание. Трудно, т.к. я кое-что в самом деле забыл.
- Но почему же вы не думали о семье, о жене, о детях? Это опасный признак.
 - Думал. Спросите жену и детей.
- (Таниных показаний к этому времени у них не было. Ее начали вызывать на допросы только через месяц после того, как меня увезли из Киева.)
- Ну, они вас любят и потому не скажут, что вы их забросили, занявшись антисоветчиной.
- Протестую против слова «антисоветчина».
- В вашем дневнике и психология, и философия, и литература, и история, и Бог знает что.
 - В «Программе КПСС» сказано, что КПСС хочет, чтобы люди были гармоничными, всесторонне развитыми. Вот я и пытался следовать программе.
 - Дневник написан до составления программы.
 - Значит, я предугадал программу.

— Вы всё шутите, не думая о последствиях для себя. Вы подвергали сами себя и семью опасности, значит у вас неадекватная реакция на окружающее.

— В таком случае, у партии большевиков была еще большая неадекватность.

— Вы считаете себя вторым Лениным?

— Партия большевиков состояла не только из Лениных. Вообще странно получается. В школе меня учили быть смелым, принципиальным, честным, последовательным. А теперь в попытке следовать этому видят признак психического расстройства.

Она цитирует из дневника о том, что у меня болит голова и что я вынужден буду обратиться к врачу.

— Там такой записи нет. Покажите.

— Нельзя.

— Тогда пусть расскажет об этом периоде моя мать. Болела ли у меня голова после того, как я попал под трамвай?

— Мы проверяли. Врачи написали, что психических последствий падения не наблюдали. Но в дневнике люди пишут честнее, чем говорят другим.

— Покажите мою запись.

Однако хватит о беседах. Глупые дискуссии. Она перескакивала с предмета на предмет, не соблюдала логики, не считалась даже с официальными догматами, беседу превращала в бичевание моего алогизма, моих странностей.

Феликс Лифшиц — психиатр. Он пытался понять ее метод. Я, опасаясь, что он «наседка», больше слушал его, чем рассказывал о тактике моих ответов.

Однако за все время он не дал мне ни одного неправильного психиатрического совета.

У него было две собственные книги: «Психиатрия» и «Актуальные проблемы сексопатологии». «Психиатрия» под редакцией Морозова. Я прочел раздел о шизофрении. Жёваный, тарабарский язык, нечетко сформулированная симптоматика. Консультировался с Лифшицем,

но и он не мог объяснить морозовских методов диагностирования.

Наличие таких книг у Лифшица «доказывало», что он «наседка». Но чего они хотят добиться с его помощью?

«Психиатрия» попала в мои руки... Странно. Странно также, что в тюрьму пропустили сборник статей по сексопатологии.

Ведь начальство хорошо знает о так называемых «сеансах».

Почти из всех художественных произведений классиков ээки вырывают страницы с любовными сценами. «Воскресенье» Толстого испорчено частично, Мопассан почти весь изорван. Чтение таких вырванных страниц и называется «принятием сеансов».

Беседы с надзирательницами или врачами — тоже «сеансы». Некоторые симулируют «болезнь», чтобы посидеть с врачом и — вершина счастья — дотронуться до нее ногой, рукой. Рассказы друг другу о своих сексуальных похождениях — сеансы.

На стенках камеры вешают фотографии, портреты женщин — это тоже сеансы.

Одна камера в Лефортово повесила на стене портрет Анджелы Дэвис и коллективно занималась онанизмом, созерцая Дэвис. Это своеобразный политический «сеанс».

Вот в камеру заглядывает надзирательница Зоя:

— Как вам не стыдно матюкаться на весь изолятор? С ней начинают заигрывать, т.е. принимать сеанс.

Как же в этих условиях пропустили «Актуальные проблемы...»?

Просмотрел этот сборник. Наконец у нас серьезно занялись этим, решили, что и при социализме есть сексуальные проблемы. Есть несколько очень толковых статей.

*

У Михайловича кончилось следствие. Ему удалось опровергнуть обвинение в валютных операциях и вернуться в Бутырку.

Остались с Лифшицем вдвоем. Я обучил его многим играм. Мы делали их из бумаги, картона и играли. Игрок он первоклассный. Кроме шахмат, обыгрывал меня во всем. Я отметил одну интересную деталь. Чем более «вероятностной», зависящей от удачи была игра, тем чаще проигрывал я. С этим было связано и другое. Чем нахальнее, самоувереннее он играл, тем чаще побеждал. Я попытался сознательно применить подмеченное в игре и немного улучшил свои результаты.

Его игровое нахальство тесно связано с его удачливостью в бизнесе.

В институте он был отличником. Психологически он тип удачника. Мой первый сокамерник, Кузьма — «неудачник». Когда я играл с Кузьмой в домино, он проигрывал, даже имея преимущество. Он был уверен, что проиграет, и проигрывал.

Благодаря обоим я подошел к роли установки в игре.

Из картона я сделал свою любимую игру — маджонг. Лифшиц также увлекся ею. Однажды во время игры в маджонг в камеру вскочил корпусной надзиратель.

— Вы почему в карты играете?

— Это не карты, а китайские шахматы.

— Вам что, русских игр мало? (Выдают домино, шашки, шахматы.)

Он схватил часть «костей» маджонга и ушел.

Мы сели писать жалобу, чтобы развлечься.

Я описал сцену и прокомментировал. Так как я — украинец, а Лифшиц — еврей, заявление о русских играх мы рассматриваем как проявление великодержавного шовинизма. Нам китайские игры ничем не дальше, чем русские. Игра менее азартна, чем домино. Если надзиратель опасается, что игра антисоветская, маоистская, то спешу опровергнуть это. Игра насчитывает около пяти тысяч лет и пожалуй, скорее феодальная, чем социалистическая, потому ничего враждебного советскому строю в ней нет.

Лифшиц написал юмористическую жалобу, пародируя дискуссию с надзирателем. Я опасался, что за рез-

кость пародии его посадят в карцер. Но обошлось. Нам не ответили на жалобы, но и не мешали больше играть. Наоборот, надзиратели стали учиться у меня разным играм. Консультировались при решении кроссвордов, играли в «слова». Скучно ведь сидеть на посту!

Пока мы развлекались таким образом, психиатры-кагебисты изучали мои ответы. Наконец меня вызвали в кабинет врача. Там сидел старик с хищным и хитрым выражением лица.

— Вы профессор Лунц?

— Почему вы так думаете?

— Да рассказывали мне о вас много.

— Кто?

— Бурмистрович, Буковский, многие.

Лунц стал задавать вопросы. Задавал быстро, по какой-то системе. Алогизма в вопросах не было. Систему уловить я не мог, поэтому отвечал кратко, четко, понимая, что любая неточная фраза будет извращена. Правда, точную он тоже извратит. Но зачем помогать им в фальсификациях?

— Какие статьи вы написали?

Я начал с «Бабьего Яра» («Неужели, — думал я, — у тебя не осталось ничего еврейского, неужели мое выступление против антисемитизма хоть немного не затронет в тебе что-то?». Правда, знал я об этом человеке многое. Человек патологический, с большим запасом человеконенавистничества, ненавидимый родственниками, внушающий страх сотрудникам. Если нет ничего человеческого, то почему должно остаться национальное?)

«Бабий Яр» его не заинтересовал. Ведь это только фактографический материал. Говорить с ним было труднее, чем с предыдущим психиатром: Лунц довольно быстро замечал нечеткие, расплывчатые ответы, противоречия (я не хотел открыто говорить о всех своих взглядах, и потому были неясности в ответах).

Лунц окончил беседу минут через 15.

— Почему не стационарная экспертиза?

- А она не нужна. Ваш случай очень прост.
- Я требую своего эксперта.
- Это дело вашей жены и следователя.
- Но следователь сказал, что право требовать своего психиатра у меня, а не у родственников.
- Я не слышал вашей беседы со следователем.

Лифшиц, выслушав мой рассказ, решил, что я отвечал правильно.

— Главное — быть в ответах посредине. Нельзя быть веселым, нельзя быть печальным. Нельзя быть логичным, нельзя быть нелогичным.

Я рассмеялся:

— Но ведь слишком большая «серединность» тоже ненормальна?

— Возможно.

Проходили месяцы, а меня больше не трогали...

Мы играли, хохмили. Лифшицу я читал лекции по психоанализу, по йоге, по веданте, он мне — по психиатрии.

Наконец начался процесс над группой валютчиков, в которую входил Лифшиц. Когда Михайлович просмотрел их дело, он, основываясь на своем опыте, обещал Лифшицу «шестерку» как максимум, и мы были уверены в этом. Лифшиц, правда, мечтал о четырех годах. О пятерке говорил Лифшицу его адвокат Ария. Но приговор поразил всех. Лифшицу дали 10 лет, «паровозу» — 15, еще одному — 12.

Через некоторое время Лифшицу дали свидание с женой. Оказалось, о процессе раструбили во многих газетах. Всё: и шум вокруг процесса, и большие сроки — объяснялось тем, что «паровоз» хотел уехать в Израиль.

Лифшиц около недели не мог прийти в себя от неожиданного приговора, но потом наша камера опять стала оглашаться хохотом. Прибегали надзиратели, удивляясь смеху жертв.

У меня возникли небольшие трения с Феликсом. Один из надзирателей был психопат с садистическими склон-

ностями. Когда он заводил меня в камеру, у меня всегда холодела спина: столь патологическим было его лицо.

Лифшиц как психиатр быстро нашел его больные места и стал развлекаться. Одно-два слова — и надзиратель заводился. Он открывал кормушку и поливал нас матом. Но куда ему было до мата Феликса! Надзиратель заводился все больше, пока не начинал кричать на весь коридор, угрожая нам побоями.

В конце концов прибежал корпусной, желая поставить «бунтовщиков» на место. Но Лифшиц был безукоризненно вежлив с ним, тогда как надзиратель все не мог прийти в себя, продолжая выкрикивать угрозы («я тебя в . . . , я тебе жрать не дам, я тебе . . . вырву»). Лифшиц, зло усмехаясь, ставил ему диагноз и предлагал коридорному вызвать Лунца для подтверждения диагноза.

Еле удалось уговорить его не писать жалобу. Он хотел продолжать потеху, перенеся ее на начальство (неявно показав, что начальство тюрьмы — тоже психи).

Мне жаль было беднягу. Да и месть несчастному за гнусность других неприятна.

— Ты толстовец. Тебе надо в монастырь идти.

Я рассказал ему анекдот на эту тему.

«В камере сидят волк, лиса и цыпленок.

— Волк, а волк! Ты — за что?

— Дык я хмыря одного пришел . . . А ты, лисонька?

— Ах, я так соблазняла, так соблазняла . . . А ты, цыпа?

Цыпа поднял гордо клювик к потолку и произнес:

— А я . . . я . . . по-ли-ти-ческий! Я пионера в попку клюнул».

Анекдоты у нас так и сыпались. У обоих был запас на все случаи жизни.

Развлекались мы еще тем, что угадывали в пятнах на стенах, дверях, потолке фигуры.

Однажды, еще когда был с нами Михайлович, Феликс показал на потолок как раз у лампочки:

— А это что?

Я присмотрелся и увидел Христа. Только руки он

поднял, как Мадонна в Софиевском Соборе в Киеве. Он не был распят, но и не торжествовал (я вспомнил страшную картину «Христос торжествующий» — злобный, кровавый Бог-палач). Столько муки и просветления было в этой фигуре . . .

Узнал Христа и Михайлович.

Так эта камера и осталась в памяти, как камера с Христом на потолке.

Никто из нас не зубоскалил над «явлением Христа», хотя издевались мы надо всем на свете.

Интерес к игре у меня остался, но почему-то больше философский.

Прочел «Капитал» Маркса. Нашел кое-что из теории стоимости, в характеристике труда и капитала, применимым и к игре, игровой деятельности.

Вместе с Феликсом опробовали несколько моих игр. У всех сокамерников расспрашивал об уголовных играх. Удалось собрать большую коллекцию.

Оказалось, что большинство из них по своим игровым качествам — на уровне дошкольных. В каком-то смысле даже ниже, так как основная роль в них принадлежит внеигровым элементам — награде, прозвищу, брани-похвале, остротам, игровым поговоркам, мести. И непропорционально большое место занимает азарт, подогреваемый внеигровыми мотивами. Следующим шагом в сторону деградации является «боление» в спорте. Ведь «гусек» ребенка 5-ти лет принципиально не отличается от игры эмоций болельщика.

Сюжетно-ролевая игра деградирует в наркоманские грезы, в коровью музыку для *раздражения* нервов, а не эстетического наслаждения. Недаром на некоторых концертах молодежь настолько раздражалась, что затевала драки. Своеобразной деградацией игры, т.е. культуры, является мода, погоня за сенсацией, спорт, щекочущий нервы.

Бездушная культура — игра эрзацев, культура механистического, механизированного онанизма.

У моих друзей-валютчиков, отнюдь не грешивших

духовностью, я все же видел глубокое жизнелюбие, пусть и искривленное.

Мы много спорили о ценностях жизни. И, конечно же, никто никого не убедил. Они меня уважали за «идейность», но считали, что я пропустил «сладость» жизни. Я же доказывал, что их «эпикурейство», гедонизм — поверхностны, нервораздражающи.

Они рассказывали о роскошной жизни «торгашей» и партийной элиты, пытаюсь доказать, что это и есть жизнь.

— Будешь умирать — и пожалеешь о пропущенных б... , о роскошной вкусной еде, первоклассных ресторанах.

— Будешь умирать — и пожалеешь о растроченной на мелочи жизни.

Объединало нас все же именно жизнелюбие и смеховое отношение к святыням и богам: демократическому движению, свободам, коммунизму, Солженицыну.

Солженицына я им рассказывал по памяти. Они жалели, что я плохо запомнил сюжет.

Михайлович спросил как-то своего следователя:

— Что будет, если у меня найдут Солженицына?

— Если не будете распространять, то отделаетесь испугом.

Я очень жалел, что не прочел «Август четырнадцатого». Перед моим арестом заезжала к нам Екатерина Львовна Олицкая. Она очень любила Солженицына, но к «Августу» отнеслась прохладно как с художественной, так и с содержательной стороны.

— Как толстовец мог обосновывать свое добровольное участие в войне 14-го года словами «Россию жалко»?!

Мне тоже показалось такое толстовство странным. Что же остается от учения Л. Н. Толстого? От «не убий?»

Я достал в 71-м году «Август 14-го», но прочел только начало — забрал хозяин экземпляра (12-я копия). А теперь в тюрьме приходилось по «критическим» статьям в «Литературке» пытаться понять замысел Исаича.

Обвинения Солженицына в герmanoфильстве и русо-

фобии были вздорными («Россию жалко» несовместимо с русофобией). Но что хотел сказать Солженицын в «Августе», мы так и не поняли из вырванных цитат.

Многие знакомые упрекали Солженицына в скрытом под маской натурализма антисемитизме. Я всегда злился, слушая эти доказательства. Если в лагере врачами или на складе работали преимущественно евреи, то почему, натуралистически отражая виденное, Солженицын не может, не имеет права (советский подход о «правах» художника!) назвать еврейскую фамилию завскладом? Замалчивание факта о большом проценте евреев и латышей в ЧК было бы неправдой, которая как раз и была бы скрытым антисемитизмом. Это сейчас евреи составляют большой процент протестующих, сопротивляющихся власти. (Не потому, что евреи лучше других наций, а потому, что культурный народ, подвергающийся преследованию, естественно, бунтует.)

Антисемитизм не в объективном отражении фактов, а в интерпретации их, в акцентировке, в «объясняющей» концепции этих фактов, т.к. при интерпретации есть действительная опасность посмотреть на факты глазами шовиниста — русского, украинского или еврейского.

Когда погромщики используют большой процент евреев среди лавочников или же среди революционеров, то их антисемитизм в *выводах* из фактов, оправдывающих гнусность погромщиков. Когда же еврей-демократ указывает другому народу факты погромов с его стороны, то он сам скатывается на позиции, аналогичные погромщику, если умалчивает о ростовщиках и приписывает погромные наклонности целому народу. Правда, тут встает важный вопрос о морали межнациональных отношений. Если еврей говорит о том, что украинцы всю свою историю были погромщиками, то он недалеко ушел от антисемитизма. Если украинец говорит только о шинкарях-евреях, которые хранили у себя ключи от православных церквей, помогая иезуитам издеваться над украинцами, то это все то же. Все эти подсчеты: кто, кого, за что и в каком количестве резал и грабил —

безнравственны и вредны политически, так как помогают врагам всех народов, фашистам и сталинистам всех мастей. Если уж нужно вспоминать о национальных обидах, то более нравственно каждому говорить только о своих грехах, предоставляя другим говорить об их грехах. Нужна также неоченочная объективная историография, которая может помочь всем нам выпутаться из кровавого клубка национальной вражды. Что из того, что предки монголов когда-то что-то делали с нашими предками? Вот если монголы превратят Чингис-хана в национального героя, если русские сделают это же с Иваном Грозным, украинцы — с Кривоносом (погромы которого так часто приписывают Богдану Хмельницкому), тогда придется напомнить монголам о злодеяниях Чингис-хана по отношению к славянам, русским о злодеяниях Грозного по отношению к казанским татарам, украинцам — о Кривоносе. Но и в этом случае все же лучше, чтоб каждый помнил и о «своих» «героях» резни, человеконенавистничества.

Нельзя переносить закономерностей отношений между индивидами на отношение между «групповыми Я» — классами или народами. Но есть все же кое-что общее в этих отношениях. Когда возникает ссора между лицами, то никогда ничего хорошего не получается, если один из них злопамятен и помнит лишь об ошибках, отрицательном у другого. Если оба достаточно разумны и порядочны, то прежде всего они попытаются вспомнить то, чем сами вызвали ссору, и честно скажут об этом противнику. Говорить о людях «честен с самим собой» — почти банально. Но в отношениях между народами об этой банальности забывают постоянно. В украинском национальном движении я видел тех, кто все подсчитывает исторические преступления своих соседей, но видел и тех, кто критикует отрицательные черты своего народа — вернее было бы сказать, его исторические ошибки, наложенные временем недостатки (смешно говорить о генетических, внеисторических достоинствах или недостатках народов).

Но споры на различные темы занимали в Лефортовской тюрьме незначительное место. В основном, мы читали и играли.

Когда я прочел все самое интересное, что было в библиотеке, пришлось читать, что попадается. Так я наткнулся на Пришвина. О Пришвине дореволюционном я читал у Иванова-Разумника. Но то послереволюционное, что я читал раньше, было настолько серым, что я сомневался в оценке Разумника Васильевича. А в Лефортове мне попался «Корень жизни» — и превзошел все похвалы Иванова-Разумника. Я понял, что Пришвин, как и Экзюпери, — мой писатель, оба они наиболее близки мне по проблематике, по подходу к решению проблемы культуры и личности в культуре.

Еще до чтения Пришвина я начал серию писем Тане. Федосенко обещал передать Тане после суда все мои работы и письма, если там не будет крамолы. Опасаясь, что в психушке меня превратят в сумасшедшего или как-то иначе сломают, я попытался под видом литературоведения и психологии успеть передать ей свои основные выводы о смысле жизни, о культуре и хамстве, об игре и становлении человека. И о чисто личном, выраженном через внеличное (и о внеличном — через личное).

В двух письмах, анализируя пришвинские «Корень жизни» и «Капель», я попытался развить два понятия: «приручения» и «присвоения». Совпадение идей Пришвина и Сент-Экзюпери во многих деталях было поразительным, особенно если учесть, что идеологически они были достаточно далеки друг от друга и ничего друг о друге не знали.

Понятие «приручения», введенное Сент-Экзюпери в «Маленьком принце», разработано у Пришвина в обрванной форме. Он детально рассмотрел психологию отношений между людьми — дружбы и любви. Он связал само понятие культуры с проблемой очеловечивания отношений. Все то же есть и у Экзюпери.

Написав несколько писем о «приручении» у Пришви-

на, я подошел к проблеме культуры с другой стороны — со стороны процессов очищения и сублимации человека.

Культура как система человеческих отношений оказалась человеческой системой сублимации. Психоанализ игры, Кочетова-Шевцова, Шевченко и нации, любви, приручения, смеха — все эти проблемы слились в единую проблему культуры и антикультуры. Обе функции культуры: очеловечивание связей между людьми и очеловечивание животного — в кратких формулах указаны в «Философско-экономических рукописях 1844 года» Маркса и в некоторых местах «Капитала». Проблема коммунизма определилась для меня как проблема культуры и борьбы с формами общества, охамляющими все человеческое.

Вторая серия писем Тане — это тема «сказки любви», т.е. позитивной функции идеала, сказки, мифа. О позитивном в мифе я писал еще в 1970 году в «Этической установке». Пришвин и Экзюпери дали художественный материал для уточнения этого в виде понятия «сказки любви». Я помнил, что кое-что по психологии роли «сказки» в развитии любви, в очеловечивании половых отношений есть у Стендаля (понятие «кристаллизации»). Но в Лефортовской тюрьме Стендаля не было. Не было и в Киевской.

Интересный образный, психологический материал я нашел у Александра Грина и в «Саге о Форсайтах» Голсуорси. Обе стороны культуры — «сказка любви» и «приручения» — в «Саге» освещены по-своему. Понятие «приручения» по «Саге» необходимо поставить в оппозицию к «присвоению». При «приручении» Я дарит себя Другому, любит Другого за то, что тот отличен, не похож на Я, обладает самоценностью, самосущностью.

Делая «подарок» Другому, бережно, осторожно, уважительно относясь к Другому, Я выходит за свои пределы, расширяется. Трагедия абсолютного одиночества частично разрешается культурой — любовью, дружбой,

искусством, религией, наукой. Отдавая себя, приобретаешь мир, Другого, т.е. Друга.

В основе присвоения лежит та же потребность — расширить себя. Но при этом Я посвящает на особенность Другого, на его самоценность (в сказке о Царевне-лягушке это выражено в образе сжигания лягушечьей шкурки, в сказке о Царевне-лебеди — в желании съесть лебедя). «Остановись, мгновение», «море, лес, картина, женщина — мои», «ты — слуга», Каин убивает Авеля, «мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача». Убить, сломать, сожрать, присвоить, покорить. Это все разные формы присвоения.

Присваивая окружающее, Я расширяет свое физическое тело, но убивает своеобразие Другого. Обесценивая окружающее, Я остается в полностью пустой среде и тем самым само исчезает как Некто.

Легенда мистиков о вампирах, поглощающих психическую энергию окружающего и при этом все более обессиливающих, теряющих свое внутреннее либидо, мифологически отражает трагедию присвоителя.

Волшебная сказка как поиск недостающего или украденного кончается свадьбой, превращением героя в мага, мужа и короля (или святого, Бога). Но перед свадьбой у героя появляется опасность. Дочь, жена или мать Змия преследует героя — победителя Змия, Горыныча, Кащея Бессмертного. Все виды опасности с их стороны сводятся к *поглощению* ими героя. В свадебном гимне Ригвед выражен страх жениха перед браком, перед невестой. Это страх перед поглощением в браке (одна из сторон этого — страх лишения невинности, страх столь непонятный в патриархальной культуре). Царевна-лягушка покидает мужа, когда он посягнул на ее границы — шкурку.

Пришвин в «Корне жизни» связал сказку о Лебеди, свою сказку об олене-цветке с проблемой мифа любви в обобщенном виде. В «Корне жизни», в «Фацелии», во многих зарисовках природы, философских притчах он развил оппозицию «приручения» и «присвоения», куль-

туры и хамства, связал чувство любви к Другому с творчеством, проблему сублимации любви с ее генерализацией.

Дело не в том, что ушла Она от тебя, дело в том, что Она была. Если Она ушла, то поиск ее приводит тебя к раскрытию красоты природы, человечества, культуры — расширению Я, к творчеству как осуществлению Я, к преодолению в творчестве и в любви смерти и абсолютного одиночества как формы смерти.

А хамство — это умерщвление и среды, и Я, это разрушение «уз» (термин Экзюпери), охамление и деградация личности.

Такую деградированную личность в виде профессора Лунца я уже наблюдал на первой комиссии, комиссии Института Сербского. К сожалению, беседа с этой комиссией сливается у меня в памяти с предыдущими беседами с женщиной-психиатром, отказавшей себя называть, и с Лунцем. На комиссии я спросил у ее членов их фамилии, но они тоже отказались назваться.

*

15 сентября исполнилось 9 месяцев моего пребывания в тюрьме. По закону дальнейшее содержание под следствием возможно лишь после обращения следователя, поддержанного Генеральным прокурором СССР, к Президиуму Верховного Совета. В случае обоснованности просьбы следствия, в случаях, исключительно сложных для проведения следствия, Президиум особым указом может продлить срок ведения следствия.

Я написал заявление в Административный отдел ЦК КПСС (долго колебался — ведь такое заявление признает де-юре то, что всем известно как де-факто: всё в стране зависит не от Советов и не от правительства, а от верхушки партии), Генеральному прокурору Руденко, Прокурору по надзору за КГБ. Я описал, как проходило следствие, как готовилась с 1969 года психиатрическая расправа. Я потребовал, чтобы были проведены дополнительные исследования электрофизиоло-

гические (в книгах Снежневского они указываются как один из методов диагностирования), биохимические и другие, так как одних допросов — к тому же проведенных необъективно — недостаточно. Потребовал я также своего представителя в комиссии экспертов и проведения экспертизы в стационарных условиях.

В заявлении начальнику Лефортовской тюрьмы потребовал объяснения, на каком основании меня держат в тюрьме, и запросил, есть ли соответствующее разрешение Президиума Верховного Совета СССР.

Через день в камеру зашел начальник и заявил, что следователь уже послал Руденко свою просьбу о продлении срока следствия по моему делу.

17-го меня вызвали в кабинет прокурора по надзору. Там сидела группа людей, среди них Лунц и женщина-психиатр, беседовавшая со мной ранее.

В группе выделялся седой человек с интеллигентным лицом. Выделялся он именно этим «интеллектом» на лице.

Он объяснил мне, что это вторая комиссия, от Министерства здравоохранения.

— А вы кто такой?

— Я — Снежневский.

— А, слышал. Виктор Некрасов писал вам письмо о Григоренко и получил ваш ответ.

— Да, я отвечал ему.

— Зачем вторая экспертиза?

— По просьбе следователя.

— Странно. Следствие заинтересованно в том, чтобы объявить меня шизофреником, а я сомневаюсь, чтобы предыдущая комиссия объявила меня здоровым.

— Почему?

Я перечислил факты.

— Но ведь вы тоже хотели второй экспертизы?

— Да. Стационарной, с объективными исследованиями, с участием психиатра, которому я или жена доверяли бы.

Снежневский затеял спор об объективных исследованиях, о доверии к психиатрам.

— Электроэнцефаллограммы ничего не показывают. Тесты тоже, как и биохимия.

Я сослался на его же работы.

— Вы ведь сами, Леонид Иванович, исследуете методами структурного анализа. А в психиатрии структуру составляют симптомокомплексы.

Начались споры о структуре, об объективизации ее анализа.

— Но почему нет психиатра, которому я бы доверял?

— А почему вы нам не доверяете? Вы же нас не знаете.

— Знаю из самиздата. Наджаров, Морозов, вы и профессор Лунц довольно известны интеллигенции.

— Назначение психиатра зависит от следователя. А он считает, что наша комиссия достаточно компетентна.

— Но ведь есть закон, дающий мне и жене право иметь своего представителя в экспертизе.

— Я думаю, что вы путаете закон, неверно его толкуете.

Снежневский стал спрашивать о демократическом движении, об Инициативной группе.

Я заколебался. Отказаться от разговора в знак протеста, что нет своего психиатра? Что это даст? Без меня что-нибудь напишут да еще манию преследования, бред отношения впишут. А так все-таки я дам ответы, которые будут противоречить диагнозу и будут использованы адвокатом.

Я объяснил, что демократическое движение борется за продолжение демократизации, начатой на XX и XXII съездах, и я не считаю себя антисоветчиком, так как я и мои товарищи требуем того же, о чем формально говорилось на этих съездах. Свободы, которых мы требуем, записаны в Конституции.

— Итак, Вы считаете себя хрущевцем? Но ведь вы о Хрущеве писали очень плохо!

— Да, писал. На безрыбье и рак рыба. К тому же я

повторяю: мы за развитие половинчатых реформ Хрущева и против возвращающегося сталинизма.

— В чем вы видите сталинизм в нынешнее время?

Я перечислил: вторжение в Чехословакию, незаконные суды, преследование за участие в национальном возрождении, за демонстрации, за самиздат и прочее.

— Значит, вы — реформист?

— Вы хотите поставить мне бред реформизма?

— Мы ничего не хотим ставить.

— Да, я за коренные реформы в СССР.

— И вы думаете, что маленькая кучка самиздатчиков реформирует страну?

— Нет. Все решит развитие экономики и развитие международных отношений.

— Под коренными реформами вы понимаете, как у вас написано, разрешение многопартийности?

— Не только. Это и рабочие советы, и реализация Конституции.

— Но ведь в Конституции однопартийность.

— Формально многопартийность не запрещена.

— Представьте себе, если разрешат другие партии — что из этого получится?

— Странно. Буржуазные государства не боятся своих компартий, не боятся произведений Ленина, газеты «Правда», а у нас всего боятся. Что ж это за идеология, которая боится других идеологий? А ведь хвастается своей непобедимостью. Странно — более 55 лет прошло, а думают, что население перейдет на сторону капитализма, если почитает Каутского или Рузвельта.

— А что за работы вы писали в тюрьме?

— Я продолжал начатое нами с женой еще до ареста. Это структурный и психологический анализ игр. Я хотел бы, чтобы то, что я написал, было передано моей жене, а она бы показала другим специалистам. Я хотел бы продолжить эту работу и в психушке.

— Ну, знаете, там вас будут лечить.

— Но я все же прошу отдать жене или мне все мои материалы для дальнейшей работы. Догюремные мои

работы положительно оценивались специалистами, да и жена моя — специалист в этой области.

— Говорят, вы придумали сами некоторые игры.

— Да, я играл в них с моими детьми и с сокамерниками. Им понравились.

— Хорошо, я передам, чтобы вам позволили все материалы забрать с собой.

На этом беседа закончилась.

Как я узнал впоследствии, Снежневский на основании этой беседы поставил мне диагноз: «идеи реформаторства перешли в идею изобретательства в области психологии». И поэтому предложил направить меня не в спецтюрьму, а в обычную психбольницу.

Через день дернули на этап.

В вагоне обыск. Ко мне зашел какой-то кавказец.

— Это что?

— Песня про Сталина.

— А тебе за нее не будет?

— Хуже уже не будет.

— «Былое»? Про революцию? А про Кавказ есть?

— Нет, только про Крым.

— Ну, теперь их выгнали из Крыма, татар.

— Да, я как раз этим занимался, за что и сел.

— Ты из Инициативной группы?

— Да.

— Я слушал по радио ваши обращения в ООН. Но ООН — дохлая собака, они никому не помогают.

— Согласен. Но нужно, чтобы мир знал, что у нас творится.

Подошел еще один солдат. Замолчали.

— Я к тебе ночью подойду. Поговорим.

Ночью он разбудил меня и стал расспрашивать о моем деле, о самиздате.

Сам он осетин. Видел, как из Дагестана выселяли некоторые народности, как раскулачивали. Сторонник частной собственности на землю.

— А заводы пусть лучше государственные. Колхозы вот совсем невыгодны, плохой урожай дают.

Попросил у меня список книг о политике. Я осторожно написал только официальные издания: Эренбург «Люди, годы, жизнь», статьи и рассказы из «Нового мира», Солженицына («Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор»). Список получился длинный. Посоветовал связаться с движением месхов, с армянскими группами. Адресов не давал — вдруг провокатор?!

На прощанье он спросил:

— А чем тебе помочь?

— Позвони жене сегодня, скажи, что я уже прибыл в Киев.

Как оказалось впоследствии, звонил, но зайти не решился.

В Киевской тюрьме соседом по камере оказался домушник — квартирный вор, специализировавшийся по домам зажиточных граждан. Попался он из-за одной проститутки, посещавшей дом какого-то замминистра. С ее помощью разузнал, где что лежит, и обокрал. Но, когда милиция опросила всех проституток, посещавших слугу народа, она призналась, что рассказывала знакомому вору о квартире. У него почти ничего из краденого не нашли, зато обнаружили валюту. И как валютчик он попал в следственную тюрьму КГБ.

Опять пошли рассказы о роскошной жизни, о закрытых кино для начальства.

С этим валютчиком мы «не сошлись характером». И ни разговоры, ни игра у нас не клеилась. Он обижался на меня, а я на него.

Презрение его к советской буржуазии сочеталось с советским «народным патриотизмом» и антисемитизмом. И как я ни доказывал, что в верхах буржуазии евреев сейчас мало, он продолжал в продажности властей винить евреев.

Сам будучи очень развратным, обвинял в развратности детей советской верхушки, в связи с Западом («оттуда они набираются наркотиков, порнографических фильмов, группового секса и других видов дикого разврата»). Когда я попытался добиться от него кри-

териев' различия хорошего и дикого, западного разврата, он так ничего и не ответил. По сравнению с моими московскими спецами по разврату он выглядел провинциалом-самоучкой. То, что в Москве считалось модным, в Киеве пока еще «унижало человека».

То ли в 71, то ли в 72-м году таинственно исчез сын секретаря ЦК Украины Борисенко, который был связан со многими кильдимами, занимавшимися групповым сексом, порнографией, наркотиками, валютой и т. д. КГБ и милиция перевернули весь уголовный мир Киева. Труп не нашли. Арестовали многих друзей сына Щербицкого, пригрозили другим, чтобы не связывались с ним. По Киеву и в пригородах развесили фотографии разыскиваемого. Но так и не нашли.

Отголоски этой истории с сыновьями Борисенко и Щербицкого я слышал потом и на этапе, и в психушке.

Связь детей верхушки правительства и ЦК с богемой и уголовным миром — явление всеобщее. Это наблюдается и в Москве, и в Киеве, и в Тбилиси, и в Ереване. С одной стороны, от пресыщенности, с другой — от неверия в красивые слова родителей, которые сами часто ведут себя постыднейшим образом, сами развлекаются шлюхами и порнографией, с третьей — от желания властителей стать на ноги твердо и пользоваться властью всласть, стать потомственными родовыми властителями, а не калифами на час.

Советская буржуазия имеет тенденцию превратиться из «выборной» в наследственную. Льготы, которые она имеет и передает детям, юридически не оформлены, всё еще зависят от переворотов наверху. А дети их либо хотят стать полноправными хозяевами, либо выступают против отцов, участвуя в уголовных преступлениях, в фашистских организациях или даже в демократическом сопротивлении (известны случаи, когда дети крупных деятелей ГБ выкрадывали у родителей запрещенные для народа книги и запускали их в самиздат).

Киевская тюрьма встретила меня сюрпризом: закуп-

лена большая серия книжек, среди них Лермонтов, Тычина, Леся Украинка, Шиллер, Шевченко, и разрешен, наконец, Ленин.

Начал я с Шевченко. Меня заинтересовал его последний период, когда он свою основную тему, тему греха и искупления, уже разрешил в поэме «Мария». И решением этим было — плодом греха искупишь свой грех. После «Марии» резко меняется тематика, образы «Кобзаря». Религиозная тематика усиливается, но обращается Шевченко главным образом к Пророкам, раздумывая над будущим Украины и сближая судьбу Украины с Иудеей.

Вот-вот должен был выйти указ о раскрепощении крестьян, а он пишет о несытых царских и помещичьих очах. Он не верит царю, ожидая, что тот сплетет новые цепи людям. И все-таки ждет обновления земли, издевается над Византийским Богом, мечтает стать украинским Гомером, написать «Одиссею» Украины.

Он обратился к истокам народного фольклора, языка, стремясь через начало прийти к будущему. Образ «Перембенди», слепца-кобзаря, говорящего с Богом, с небом, с горами, плачущего с людьми и веселящего молодежь, стоял перед ним. Последние его стихотворения — обращение к древнегреческим символам прощания с землей и мечта еще пожить, чтобы создать эпопею.

Не дала судьба ему создать «Илиаду» и «Одиссею» Украины, хоть и был материал в народных преданиях, думах, былинах, сказках, летописях.

И недаром сейчас все чаще культура обращается именно к истокам человеческой жизни: к первобытному человеку, его мифам, к структуре языка, к языковым мифологемам, к подсознанию личности, народа, общества. По этому пути идет психоанализ, зоопсихология, антропология, структурализм. Где-то там корни нашего человеческого бытия, нашего национального бытия. Вот, может, почему украинские шестидесятники пошли в своей поэзии к первомифам Украины, почему такой интерес к Ветхому Завету, к структура-

лизму, переводам мифов всех народов мира. Может, где-то там в начале мы найдем концы и выясним, кто мы есть и на что способны в добре и зле.

И путь Шевченко лежал туда, к Гомеру, греческому кобзарю-слепцу.

У какого-то народа аристократия ослепляла соловьев, чтоб они лучше пели. Наши соловьи, кобзари, теряли глаза в бою и, чтобы продолжать битву с врагом, становились певцами борьбы, смеха слез, любви к Богу, к природе, к женщине. Они стали символом украинской души, а с ними Кобзарь кобзарей — Шевченко.

В 30-х годах расстреляли не только Украину, но и символ ее души, слепых мудрецов.

В тюрьме мне попался двухтомник Тычины. Замечательно музыкальные «Солнечные кларнеты». Образ Матери, Мадонны, благословляющей погибавшую Землю Украины. Потом перед Тычиной встает вопрос: «Что нужно народу — его сонеты и октавы или хлеб?» Гений мучается и выбирает простой хлеб, срочную коллективизацию, отрекается от красоты во имя хлеба. Но коллективизация принесла не виданный еще голод — 5-10 миллионов умерших и аресты протестовавших. Страх перед происходящим заставляет бывшего гения закрыть глаза, самоослепиться и петь гимны террору.

Вот его страшный гимн «Прометею»:

Рвонув усе це к чорту, аж камінь закричав
Бо подавив свого й чужого люду
без ліку . . .
Дивлюсь тепер на кров,
на корчі тіла, на руїни.
Заплакати? Себе убить?
Щоб знов орли? Щоб знов тирани?!
О! ні . . .
Піду життя творить нове
хоч би й по трупах —
сам!

Певец красоты и Солнца становится певцом террора,

романтизируя ЧК, ГПУ, Сталина. А затем и на это не хватило таланта — стал министром, стихоплетом.

Пока я изучал падение Тычины, меня вызвали к адвокату Кржепицкому. Тот сообщил, что его наняла моя жена и что так как я направлен в психбольницу, то он будет меня защищать сам. Я заявил ему, что не был подготовлен к этой беседе. Но хочу, чтобы на суде он не признавал антисоветской направленности моих статей, доказывал, что они были конституционными, требовал новой экспертизы с участием наших психиатров.

Услышав от меня слово психушка, он сделал замечание:

— Зачем вы, культурный человек, пользуетесь жаргоном уголовников?

После столь существенного юридического совета он мне стал скучен (больше адвоката я не видел).

В день юбилея Ленина мы развлекались анекдотами о Ленине. Каждый представлял мавзолей — языческий пантеон фараону, труп погибшей революции, где солдаты-автоматы, роботы меняют нечеловеческими ритуальными движениями караул, глядят не мигая. Культ мертвеца с мертвой, механической обрядностью, красотой роботов, нелюдей. Какой символ омертвления идеи превращения ее в языческую религию мумий!

Роль смеха в основном сводится к борьбе со страхом, со смертью, со всем мертвящим, устарелым. Вот откуда идет этот карнавал анекдотов о партии, о вождях, идеях. Анекдот и песни Галича продельвают большую работу очищения от старого хлама, чем весь самиздат, они очищают место для новой серьезности, новой борьбы живых идеологий, покончив с умершей идеологией вождей.

Говорят, смех Рабле подготовил Французскую революцию. Октябрьская революция сопровождалась всевозможными всенародными буффонадами, сатирой.

Новый смех — анекдотов, самиздатских сатириков

готовит новое очищение общества от грязи всевозможных предрассудков.

Правда, карнавализация вводилась свыше еще Грозным и Петром I. Но это была карнавализация издевательств, надругательств над живыми людьми — с кровью, изнасилованием, унижением.

Вводя опричное веселое надругательство над боярами, Иван Грозный запрещал светские песни, скоморошество, гуслиаров, игру в кости (и даже в шахматы). Это было веселье свыше, смех над низшими, смех унижающий и садистический. То же было у Петра I.

Так же садистически смеялись Сталин и Берия. Их смех был палаческий, не освобождающий.

Настоящий смех — смех не свыше, а снизу, народный — над тем, что давит народ, мешает его свободе.

Попалась газетка со стихами Евтушенко. Он все продолжает вести с Советами себя двойственно — то крамольный стишок в самиздат, то что-то высокопартиейное сочинит.

Еще до ареста я написал статью «Камо грядеши, Евгений Евтушенко?», где обвинял его в трусливой «гражданской поэзии»: он мужественно защищает негров и чилийцев, клеймит тюрьмы где-то там, а о собственных тюрьмах не пишет. Евтушенко как поэт уже сдох, как и многие его предшественники, подмахивавшие власти.

При этой власти талант гибнет, если он не борется с властью, если подчиняется ее требованиям.

В мае меня перевели в другую камеру, к новому сокамернику. Взятки, спекуляции, контрабанда, валюта. Толстый, жирный детина сразу же спросил меня:

— Политик?

— Да.

— Я тут с одним 15 дней сидел, с Лисовым, философом. Так он меня выгнал — не любит мата.

— Я тоже не люблю, но как-нибудь вытерплю.

Вначале было с ним терпимо. Он читал, я писал об

игре. Когда он мешал, я просил подождать час-два. Но с каждым днем он распоясывался все больше:

— У меня справка психопата. Что хочу, то делаю.

Горланил идиотские гнусные частушки. Рассказывал, как будет насиловать дочь следователя, как поджарит всю его семью и будет есть.

Потом пошли фашистские речи. Начал писать донос на подельников.

Я ему заявил, что он сам себя губит. Дав на них показания, он спровоцирует показания на себя.

— И вообще я понимаю, что твои подельники такие же гады, как и ты. Но зачем же продавать?

— Все равно жидовские морды меня продадут.

После этой беседы он совсем обнаглел, кричал глупейшие матерные песни, портил воздух, срал тут же в камере — и все мне назло.

Больше месяца я не выдержал и потребовал нас развести.

Неделю я пробыл в одиночке.

ПСИХУШКА

*Пришла
и голову отчаянием занавесила
мысль о сумасшедших домах
(В. Маяковский. «Облако в штанах»)*

16 июля 1973 года.

Дочитываю книгу В. Г. Кузнецова «Эйнштейн» (1972 года издания). Я эту книгу уже читал на воле и считал лучшей из того, что встречал об Эйнштейне. Когда я увидел на повозочке библиотекаря лицо Эйнштейна, то обрадовался настолько, что забыл поискать другие книги (тома Ленина, правда, у меня оставались).

Из книги Кузнецова выписал о роли «чуда» магнита, о «детскости» Эйнштейна, об эмоциональном поле его мышления, роли игры, чувства прекрасного, меры и юмора в его творчестве, о любви к людям, о некоторой духовной близости поисков Достоевского и Эйнштейна, Моцарта и Эйнштейна.

Достоевский писал о том, что красота спасет мир. Христос говорил то же о любви. А справедливость, а истина, а смех, а игра?

Василий Стус написал:

И перед диктатурой красоты
Отступятся чудовищ диктатуры!

Но, увы, японские фашисты были тонкими ценителями и знатоками прекрасного. Эстетизм философии Ницше не помешал немецким фашистам использовать ее. Среди советских фашистов-НКВДистов и кагебистов тоже есть любители прекрасного. Один из следователей Киевского КГБ наизусть знает прекрасные стихи молодого Тычины, стихи поэтов-шестидесятников, Сергея Есенина, Лермонтова.

Наука? Да, без правды-истины вряд ли удастся выпутаться из апокалипсиса «соцлагеря» и всего XX-го столетия. Но наука сама становится мифом, истина используется ложью Левиафана-государства.

Ложь можно уничтожить той же наукой и правдой смеха.

Кузнецов пишет, что юмор Моцарта и юмор Эйнштейна «втекает в очень широкий и мощный поток всеразрушающего смеха», который М. Бахтин так удачно назвал «карнавальной культурой».

Смех уничтожает все старое, отжившее и рождает новое из старого. Но можно ли смеяться над старым, над старостью? Видимо, можно, если эта старость говорит, что «после меня хоть потоп», если эта старость гниет и тянет в могилу рождающееся, если это — ходячая смерть. Народная смеховая культура дает основания найти меру в отношении между традициями, столь нужными культуре, и догмами, мешающими человеку жить. Хам пачкает все молодое (как библейский Хам пачкал своим смехом Ноя, вкусившего вино молодости), смех культуры уничтожает мудрость саддукеев и ханжество фарисеев, пачкает все пачкающее, унижающее и угнетающее человека. Но где мера смеха культуры? Если смех в совокупности своей порождает диалектическое отношение к миру, то и сам он должен быть диалектичен, не только отрицанием старого, но и созданием нового. Не умеренным, а по мере полноты жизни. Иначе он редицируется в смех нигилизма, цинизма или безумия.

На книге Кузнецова штамп тюремной библиотеки. Как раз на лбу, на морщинах лба Эйнштейна — номер, как номер на зэке Солженицыне (на одной из ходивших в самиздате фотографий).

Я смеюсь над этим фарсом — нет, не фарсом, а трагикомедией истории. Ирония судьбы, фарс истории, трагикомедия — триада Гегеля в смеховой культуре человечества. Нет, такой смех — плохое оружие в борьбе со страхом перед психушкой . . .

И надо ж было, что именно в этот день раздумий над биографией Эйнштейна, над трагикомедией истории, науки, атомной бомбой и личной трагедией Эйнштейна, научной и общественной, над трагедией основателя кибернетики Н. Винера меня дернули на этап...

В камеру вошел заместитель начальника тюрьмы, майор:

— Леонид Иванович! Соберите свои вещи! Мы посмотрим их и отдадим...

— Уже! В Днепропетровск?..

— Вы сами увидите...

— А свидание с женой? Вы ведь обещали.

— Вы едете по месту вашего назначения.

— В психушку?

— Увидите...

— А мои письма? Статьи? Позовите Федосенко, он обещал передать их жене! Там нет ничего крамольного.

— Мы посмотрим...

— Я хочу продолжить в психушке свою научную работу и потому, если не отдадите жене, оставьте мне.

— Не я решаю эти вопросы. Но я думаю, что вы получите все, что вам нужно.

Я собираю все свои письма жене и детям, матери и сестре, черновики и чистовики работ по игре, смеху, загадкам и сказкам.

В боксе на первом этаже это все отбирают — на просмотр. Шмонают, просматривают меня. Заглядывают за щеки, под мышки, в зад...

Мне на все наплевать, лишь бы только мои записи отдали жене («Не отдадут, конечно, с..., — мелькают мысли. — Хоть бы письма отдали!»).

Заходят солдаты. Небрежно шмонают: доверяют тюремным шмональщикам.

У выхода из тюрьмы дают расписаться на разных бумагах о том, что всё мне отдали. Я протестую: не отдали номер «Былого» и дореволюционную «Русскую мысль» (лефортовские подарки Ильи Габая и В. Михайловича), авторучек, кое-чего из одежды.

Бегают, ищут. Конвой негодует — нужно уже ехать на вокзал.

Наконец:

— Леонид Иванович! Мы вам все вышлем. У нас никогда ничего не пропадает.

Я слабо протестую — впереди психушка, нужно беречь нервы. Ведь ничего не отдадут, разве что белье, утерянное библиотекарем (он же банщик, он же каптенармус, то есть завхоз). Не отдали-таки и белья...

Сквозь щели в боксе «воронка» пытаюсь что-то увидеть. Опять нога мешает сидеть.

Лукьяновская тюрьма... Стоянка — подбирают уголовников...

Чоколовка, станция... Собаки, вохра... Считают поштучно: «Один, два, три...» и так до тридцати. Я, как всегда, между женщинами и мужчинами. Стоим... час, два, три, четыре. Бабоньки, а вслед за ними и мужики, просятся в туалет. «Не положено на станциях...»

Вечером двинули... Ночь прошла спокойно. Рано утром девушка-малолетка просит поесть чего-нибудь несоленого. Я передаю ей апельсины и колбасу. Завязывается «роман».

— Так вы политик?

— Да.

— Правильно. На х... их всех, в п...

— Да, пора бы...

Слева от меня кто-то откликнулся:

— Ты по украинским делам?

— По всяким...

— Вот тут один есть... Только тихо...

— Ты с Дзюбой знаком?

— Да.

— Я когда-то во Львове ваши листовки разбрасывал.

— Политический?

— Ты его не очень расспрашивай!

— Нет, вор. Дохлое дело — политическое.

— А какие листовки?

— Ты там шлюхам (взрыв негодования в женском купе) жрать давал. Мне не дашь?

— А ты за что?

— Тоже вор. И мокруха одна — лагерная.

Разговорились. Армянин с Бессарабки (район Киева). Воровал, спекулировал. Олег (для баб — Алик).

Мой «политический» вор замолк. Зато Алик разговорился с бабами. Одна из них жила в том же районе, имеет с ним некоторых общих знакомых (алкаши, воры, проститутки). Обмениваются с Аликом общими историями. Алик, узнав ее солидный возраст, остывает. Начинает роман с «моей» малолеткой.

— У меня тут десятка спрятана. Я дам вохре — вместе в туалет пойдем!

— А если он откажет?

— Лишь бы ты не отказала!

— А что делать будем?

— Посмотрим...

— Ладно...

Идут переговоры Алика с вохровцем. Вохровец ломает комедию, но десятка ни за что соблазняет. (Деньги эку нельзя иметь при себе. Но десять рублей — большая сумма для солдата.)

— Ладно...

— Нин, а Нин! Все в порядке!

— Что в порядке?

— Вместе выпустят!..

— Зачем?

— Ты що, не знаеш? Мы ж договорились!..

Подруги Нинки ей комментируют. Она не согласна. Чего-то боится. Алик-Олег ругается.

Наконец оправка. Начинают с дам, как с более крикливых.

Выводят Нинку. Что-то очень долго.

Олег начинает вслух выражать свое негодование. Я долго не могу понять, в чем дело. Наконец понял. Спрашиваю, проверяя догадку, у «знакомой» Алика:

— Он что, правду говорит?

— А ты думал?!.

В голосе старшей дамы и зависть и разочарование: почему не ее солдатик там держит. И досада на Алика: почему за эту суку, продавшуюся вохре, он готов платить десятку, а за нее, землячку, не хочет.

Но я понимаю и Олега. Ему как-то стыдно предложить «это» сверстнице, землячке (у них такой трогательный разговор «земляков» до этого был, что он не решается предложить ей стать курвой).

Бабы поднимают вой — почему долго не ведут на оправку.

Нину приводят. Олег обрушивает на нее потоки мата. Молчит. Женщины с ней тоже не разговаривают. Олег обещает передать в лагерь о ее проступке. Она все молчит.

Ночь. Утро. Подъезжаем к Днепродзержинску. На станции дети с цветами, с музыкой. Кого-то встречают.

Вагон хохочет: «Нас встречают».

Олег рассказывает, что здесь недавно, полгода назад был бунт: милиция кого-то убила. Об этом бунте мне потом часто говорили.

ПЕРВЫЕ ДНИ. КАРАНТИН

О, Боже, не дай мне озлобиться!

Спаси — не обрушивай молот! . .

(Ю. Даниэль. Стихи из неволи)

Сгрузили всех и сразу в баню. Когда я вышел из бани, надзиратель шепнул:

— Политический?

— Да.

— По делу Сахарова, Григоренко и Дзюбы?

— Не знаю . . .

— А их знаешь?

— Не знаю . . .

(«Провокация, видимо...»)

Привели к врачу, Элле Петровне Каменецкой.

Осмотрела.

— Ничего, скоро вылечим от политического бреда.

— Но вы ж еще даже не знаете, о чем речь идет!..

— Академик Снежневский знает. Он никогда не ошибается.

Привели в палату. Там уже все новоприбывшие: Олег, Микола («политический» вор) и другие. Новоприбывшие почти все — воры со стажем и потому сразу же завоевывают жизненное пространство, сгоняя с лучших мест старожилов.

Мне не достает кровати, потому фельдшер кладет посередине между Миколой и еще одним, с лицом идиота, тоже новоприбывшим. Микола шепчет: «Со мной не разговаривай. Я тюльку гоню. Твой сосед, видимо, тоже». Оказывается, все, кто со мной приехал, симулируют: решили откормиться на больничных харчах.

Воры сразу же взяли надо мной опеку.

Когда мой сосед справа, «идиот», намазал калом ноги, они прогнали его и положили меня на его место. Я за-протестовал.

— Ты что — малахольный? Здесь не проживешь, если будешь панькаться с гнидами. Он же тюльку гонит! Не мог выбрать что-нибудь полегче для других. Воняет.

Воры быстро снюхались с санитарями. Санитары — уголовники, отбывающие срок по легким статьям сроком от года до четырех лет (хулиганство, воровство, спекуляция). Рядом с психтюрьмой — обычная тюрьма. Вот оттуда и набирают санитаров. Большинство охотно идет: вместо того чтобы вкалывать в лагере, можно жить припеваючи, присматривая за психами.

Моих воров не трогают и позволяют делать что угодно (боятся, что сами попадут в лагерь и там встретятся с жертвами). Отношение к ворам распространяется и на меня, их приятеля.

Один из санитаров спрашивает меня, не нужно ли чего-нибудь. Я расспрашиваю о порядках, о методах борьбы политических с администрацией.

— Здесь беспредел (то есть полное беззаконие). Если заешься с врачами, медсестрами или санитарями — конец. Заколют лекарствами, санитары будут бить и не пускать в туалет. Все политики помалкивают, и ты помалкивай.

— Лекарства какие дают политикам?

— Всекие. Кому легче, кому потяжелее. Лишь бы галоперидол или мажептил не давали.

Действие галоперидола я вижу на сокамерниках в карантине. («Но почему дают в карантине? Ведь болезнь еще не выяснили, не знают противопоказаний...»)

Один весь корчится в судорогах. Не может лежать, встал. Голова скрутилась на бок, выпучились глаза. Второй задыхается, высунул язык. Третий кричит, зовет медсестру, просит корректор — лекарство, снимающее физические последствия галоперидола.

Выясняется, что дают так много галоперидола, чтобы запугать, сломить волю к сопротивлению и выявить симулянтов. Мои воры приуныли — вот так попались! В первый же день сдался симулирующий отсутствие памяти (не помнил своей фамилии, дат, дела своего). Попросился к Элле Петровне на прием — признаваться.

Следующий день произвел на меня еще более угнетающее впечатление. Проснулся рано — рядом били моего опекуна Олега два санитаря. Он не сопротивлялся (боялся наказания лекарствами). Оба санитаря били что было мочи. Олег только бормотал:

— Ведь в лагере встретимся... Жалеть будете...

Удары ужесточились.

Насладившись победой, санитары ушли.

— За что они тебя?

— В туалет требовал, курить хотел.

(Курить положено пускать только трижды на день.)

Утром меня дернули к врачу.

Элла Петровна расспрашивала о деле: что писал, кому передавал, зачем занимался антисоветчиной.

Я отрицал антисоветскую направленность своих статей, рассказывал содержание.

Она слушала невнимательно. Изредка делала пометки.

Ворвался санитар.

— Больной пытался избить меня. Возбуждился.

Элла Петровна:

— Дать серу. Передайте сестре.

Санитар ушел, а Элла, как ни в чем не бывало, допрашивает меня.

— Как относилась ваша жена к вашим писаниям?

— Никак. Она политикой не интересуется.

— Но ведь она видела, что вы что-то пишете? К вам кто-то приезжал, вы ездили в Москву, во Львов, в Одессу. Где вы деньги брали на это? Ведь вы не работали.

— Товарищи помогали . . .

— Значит, у вас была подпольная организация и касса денежная?

— Вы — следователь или врач? На медицинские вопросы я буду отвечать, на следовательские — нет.

— Хорошо. Вы на все наши вопросы ответите, если хотите выйти отсюда на волю.

Пришел в палату. Там шум, гам. Больной, которому назначили серу, пытался повеситься в туалете.

Зашла Элла на шум.

— А, повеситься захотел? . . . Не удастся.

Мои воры пытаются объяснить ей, что не он бил санитаров, а они его.

Она вызывает объясняющих к себе: назначает серу, некоторым — галоперидол.

Все воры признаются в симуляции. Все, кроме одного. Этот считает, что лагерное начальство сознательно хочет упрятать его в психушку, т.к. он знает их тайны. Я расспрашиваю его сочувственно и выясняю для себя, что он-таки болен. Мания величия и преследования.

(Всех моих товарищей по этапу через несколько месяцев выпустили в лагерь, «полечив» предварительно лекарствами. Но симулянтов позже, чем этого несимулянта.)

К Олегу пришли извиняться санитары:

— Мы ж не знали, что ты настоящий вор. Думали, псих.

И с этого дня наше положение резко улучшается.

Исчезает махорочный голод — санитары приносят много махорки. Пускают нашу группу в туалет в любое время, если не видят сёстры и нет Эллы Петровны.

Но я подавлен муками окружающих, корчащихся от судорог, от галоперидола.

Политические передали мне совет, чтобы я признал себя сумасшедшим и покаялся (только не письменно). Это меня удивляет. О некоторых я слышал раньше как об очень смелых людях. Меня они уже ожидали. Кто-то несколько месяцев назад видел приказ у врача: «Плюща не допускать к общению с Плахотнюком». Значит, еще до суда врачам было известно, что придет особо опасный.

В палате шум, гам. В углу — пассивный педераст. К нему каждый день подходят санитары и надзиратели, расспрашивают о «сношениях»:

— Приятно? Не больно? А как ты в первый раз? А мне не дашь?

Педерасту дают большие дозы галоперидола. А тут еще каждодневные издевательства. Издеваются и больные над ним. Я пытаюсь вступить.

На меня сердятся мои воры:

— А тебе что, жалко пидера?

— Да.

— Этого петуха, козла, Машку вонючую?

И в самом деле он весь грязный, ободранный, жалкий...

Но все мы тоже ходим в рваных кальсонах и рубашках.

Вначале я стесняюсь перед медсестрами, так как кальсоны не держатся, без пуговиц, без завязок.

Но потом озлобленно думаю:

— Сами доводите людей до бесстыдства! Зачем же мне стыдиться вас, бесстыдных баб?

Эта мысль постепенно приучает не обращать на медсестер внимания.

Привели новый этап. Санитары сообщают:

— Политический. Из Киева.

Бросаюсь в коридор.

Знакомое лицо с казацкими усами. Вспоминаю его, читающего свои замысловатые философские стихи.

Он протягивает руку:

— Василь Рубан.

Так и есть — молодой киевский поэт. Но за что? Стихи его были аполитичны. Он принадлежал к группе молодых поэтов-философов: Кордун, Григорив.

В коридоре появилась Элла Петровна:

— А, встретились?! В палату. Санитары, почему позволили выйти Плющу в коридор?

В этот же день меня переводят на второй этаж.

В палате сразу же спрашивают статью.

— А, политик? Сегодня только перевели отсюда Плахотнюка, киевлянина.

Старик рядом, знакомится:

— Мальцев. Я тоже политический. Гражданин США.

Мальцева все называют мистером.

Мистер глубоко болен. Распад сознания. Но в чем-то остался человеком. Не любит мата, культурен в обращении. Каждый день пишет жалобы в прокуратуру, в КГБ, в которых обвиняет врачей в том, что они совместно с его бывшей любовницей травят его лекарствами. Из-за него, мол, убили Кеннеди. Милиция украдала все золото, что он вывез из США.

Какой-то родственник привозил ему передачи. Все передачи съедали санитары за то, что якобы передавали его жалобы на волю.

Когда над больницей пролетал самолет, мистер хватал полотенце и махал им в окошко, крича:

— Американцы!!! Бросайте на этих фашистов атомные бомбы!!! Пусть вся эта проклятая страна сгорит!!!

Ко мне как антисоветчику он относился хорошо.

Впрочем, к политическим хорошо относятся почти все больные и большинство санитаров.

Не успел я освоиться с палатой, как меня перевели в «надзорку», т.е. палату с наиболее тяжело больными, агрессивными, припадочными, умирающими от тех или иных физических болезней.

Здесь я познакомился с Борисом Дмитриевичем Евдокимовым. Евдокимов — член Народно-трудового союза, антисоветской организации. Писатель. Отсидел много лет при Сталине. Работал журналистом в Ленинграде. Пожилой человек, физически болен — астма, что-то с сердцем.

Моральное состояние подавленное: ему прямо сказали, что выпустят нескоро. Он признал себя больным, признал свою вину перед государством. Но это не помогает.

Я целыми днями просиживал у него на кровати и разговаривал на всевозможные темы: о живописи, литературе. Много спорили, т.к. по взглядам мы были далеки друг от друга. Другие политические удивлялись нашей дружбе.

Его положение особенно тяжело тем, что по разным причинам к нему плохо относились почти все больные и санитары. И особенно плохо — медсестры и врачи.

Элла Петровна (больные называют ее Эльзой Кох или Эллочкой Людоедкой) меня несколько раз спрашивала:

— Почему вы дружите с этим негодяем, фашистом?

Санитары и медсестры распространяли о нем всевозможные грязные сплетни. Особенно доставалось ему за «вонючий» сыр камамбер.

Эллочка Людоедка говаривала:

— Вы же культурный человек, а такой жадный. Ваша жена привозит гнилой сыр, а вы его едите.

Я пытался ей объяснить, что в Европе едят такой сыр вполне культурные люди. Увидав, что между нами трудно вбить клин, меня перевели обратно в прежнюю палату. А так как мы встречались в туалете и столовались вместе, санитарам было приказано не допускать наших встреч. Но санитары считались со мной как с политическим. К тому же, и от Евдокимова, и от меня им перепали продукты из передач.

Еще когда мы были в одной палате, медсестра сказала больным, что мы — жида, антисоветчики и мешаем лечить больных. На это купился только один, тяжело больной. Он стал кричать, что мы своими антисоветскими разговорами мешаем ему спать.

Другой больной, изнасиловавший пятилетнюю девочку и убивший ее, доносил надзирателям и санитарам о том, что мы прячем у себя табак.

Вообще Эллочка, как и другие врачи, хоть и плохо обращалась с доносчиками, охотно пользовалась их доносами.

Ни с того, ни с сего наказывают кого-нибудь. Санитары сообщают: такой-то стукнул... То, что многое из доносов было ложью, врачей не интересовало. А так как врачи формально не наказывают, а назначают «лечение», то поди опротестуй. Да и за протест можешь быть наказан.

Кара: привязывают ремнями к кровати (от нескольких часов до суток), повышают дозу нейролептиков, избивают санитары.

Медсестры прямо говорят:

— Вот за это получишь галоперидол.

Но самым страшным наказанием считалась сера. После укола серой у человека поднимается температура (до 40°), место укола болит, невозможно ни ходить, ни лежать. С каждым разом доза серы повышается. Потом начинают постепенно снижать. В 12 отделении обычно давали курс в 10-15 уколов. Все со страхом

говорили о 9-м отделении; там курс до 20-25 уколов, и дозы побольше.

(Именно в это отделение перевели Плахотнюка, чтобы мы не встретились.)

Чтоб яснее был смысл «больницы», расскажу вкратце о ее устройстве.

Формально она называется специальной психбольницей, так как в ней особо строгий режим. Хотя на суде, направляя в нее, в приговоре зачитывают: «освободить из-под стражи», т.е. тюремного заключения, на самом деле это эвфемизм для психотюрьмы. Она ограждена забором (вместе с обычной тюрьмой) и колючей проволокой. По углам, как и в тюрьмах, — «попки», автоматчики. Кроме обычных надзирателей, над тобой стоят санитары-уголовники, медсестры, врачи. Так что стражи здесь больше, чем в обычных тюрьмах.

Режим. В 6 часов утра — подъем. Раздача махорки или папирос. Туалет. Водят или все палаты разом, или попалатно. Часто ведут строем. В туалете идет борьба за место. Тех, кто прорвался к дырке, подгоняют. Тех, кто послабее и «презреннее», сгоняют. Некоторые не могут мочиться, когда их подгоняют (вырабатывается своеобразный невроз ожидания). Возникают драки. В туалет врываются санитары, бьют дерущихся, выгоняют из туалета. За сутки — шесть выводов в туалет. Из них три — с курением (выдается три чайных ложечки махорки или 2-3-5 сигарет). Трижды в день — кормежка.

Перед завтраком и ужином специальный дежурный из больных выдает продукты, закупленные в ларьке или переданные родными. Выстраивается очередь (или выпускают по 3-5 человек).

Рядом с раздатчиком сидит медсестра, записывает, кому сколько выдано. Это делается для того, чтобы не брали себе продукты санитары, чтоб не разбирали другие больные. Но это не помогает. Санитары, не получающие из дому продуктов (им не положено по режиму содержания), всегда голодны и потому, как хищ-

ники, поджидают тебя, как только направляешься за продуктами.

— Колбаса есть? Банку консервов и яблок! Сахару еще набери — мне и Ваське.

Приходится ухитряться из-под носа медсестры стащить банку или кусок колбасы в карман (все положено оставлять в мисках, которые унесешь потом в столовую).

Попробуй откажись, не дай санитару. Ни достаточно-го количества курева, ни в туалет вне распорядка не выпустят. И нужно еще так распределить, чтоб за пол-месяца каждый санитар получил что-то (из посылок, которые из дому разрешается присылать два раза в месяц, из передач во время свиданий да закупленное в ларьке). И стыдно не дать больным, тем, кто ничего не имеет из дому (а таких — половина).

Некоторые, действительно больные, отдают санитарам почти все продукты — лишь бы курить пускали.

Врачи пытаются бороться с этим, пытаются ловить тех, кто отдает масло или консервы. Однажды в 9-м отделении устроили облаву и обнаружили у многих недостачу (по списку имеющихся, вернее, должных быть продуктов). Стали вызывать больных и, угрожая серой, требовать, чтоб сказали, какому санитару отдали продукты. Некоторые «выдали» санитаров.

Вызвали и меня.

— Леонид Иванович! — строгим голосом начала Нина Николаевна Бочковская, начальник 9-го отделения. — Кому вы отдали банку консервов?

— Вы же понимаете, что не скажу.

— Как вам не стыдно. Эти негодяи грабят больных. Вы же стоите за «справедливое» общество, а сами покрываете грабителей.

Молчу, так как каждое слово — потом — будет интерпретироваться как обострение заболевания. Правда, молчание — тоже плохой симптом.

Пытаюсь как-то отговориться:

— Брать все равно будут, пока не отменят ограни-

чения на курево и туалет, пока в руках санитаров власть.

— Нет, мы вовсе запретим пускать в туалет без разрешения медсестры.

— Тогда у многих заболит мочевой пузырь.

Серу мне так и не назначили — побоялись моей жены. Другим не выдавшим — назначили. Но «брали» продукты всё так же.

После завтрака или обеда — одночасовая прогулка. Положено по закону два часа, но начальство говорит, что мал прогулочный дворик. И в самом деле, 13 отделений пропустить через него трудно. Приходится набивать по 2-3 отделения. В теплые месяцы — по 100 человек. Наплевано, наблевано (от лекарств у многих рвота). Я ходил туда лишь для того, чтобы встретиться с другими политическими, узнать новости.

Раз в 7-10 дней — баня. Набивают в нее так, что под одним душем 3-4 человека. Толкаются, дерутся. На все мытье отводится так мало времени, что многие — те, кто не умеет бороться за место под душем, — успевают лишь грязь по телу развести. Вода то ледяная, то кипятки.

В 10 часов вечера — отбой. Всю ночь в глаза — яркий свет лампочки.

Раз в неделю из библиотечки, составленной из книг больных, выдают книги. В основном такая гадость, что читать невозможно.

Раз в несколько месяцев трусят от пыли матрацы и подушки, прожаривают от насекомых. Многие заключенные настолько слабы физически, что не могут нести на себе матрац. Санитары взваливают дополнительный матрац на другого больного. Тот ругается...

Выбивают пыль палками. Но для этого нужно еще захватить себе место для матраца. Многие уносят матрац назад, так и не выбив пыль, — подгоняют санитары.

ДЕНЬ ОБЫЧНЫЙ

Туалет, перекур, завтрак. Сплю под влиянием нейролептиков. Просыпаюсь от криков. Санитары бьют больного за нахальное поведение. Тот кричит, что хочет в туалет (а продуктов у него нет или давно уже как не давал этому именно санитару). Прибегает сестра:

— Иваненко! Ты почему хулиганишь?

— В туалет хочу.

— Курить опять.

— Нет. По . . .

— Не выражайся. Обманываешь, опять курить.

Если медсестра «добрая»:

— Ладно. Только присмотреть, чтоб не курил. Все пальцы вон обгорели от махорки.

Кто-то громко поет матерную песню.

Другой столь же громко поет другую, еще похабнее. Третий рассказывает о своих сексуальных похождениях:

— Заскочили мы в село к финнам. Ни души. Смотрю, прячется одна. Я «дуру» (пистолет) вынимаю и на нее. «Ложись» — говорю, потом показываю. Легла . . .

Далее следуют все подробности расправы с финкой.

Я с интересом слушаю его: он самый интересный рассказчик. В его рассказах проскальзывает сюжет, психология участников тех или иных событий.

Моралист. Борется с врачами и медсестрами за справедливость. Особенно любит рассказывать причины и подробности убийства им своей жены.

О своем преступлении рассказывают многие, часто с патологически-сексуальными подробностями.

И от этих рассказов не уйдешь, как и от гнусных частушек, песен, споров, бреда.

Вот у Толи начался бред.

— Ой встала та черная хмара . . .

Этой песней он часто начинает. Потом кричит, матюкается. Бред у него — в рифму.

Чаще всего рифмует «конституция».

— Конституция, туция, туция, туция, туция... , протитуция, туция, туция...

К нему почему-то относятся все очень хорошо.

Если в начале припадка не свяжут, он, здоровенный детина, лезет к окну бить стекла или в туалет, крушит все подряд. Тогда приходится на помощь звать надзирателей и санитаров из других отделений.

Связанный, он, как эхо, откликается на последние слова чьей-либо фразы:

— Толя, толя, толя, оля, оля, оля, ... Лекарство, лекарство, арство, царство, дарство...

Ах, ... твою мать, мать, мать, с..., в..., ... ные, ные, ные...

Однажды про черные хмары. Припадок тянется часами. Его колют, и постепенно он успокаивается.

Припадки эти у него могут начаться и ночью. Тогда уж не спишь, ждешь конца.

Вот кого-то дернули на беседу с врачом. После беседы приходит, рассказывает.

Изредка на допросы дергают и меня.

Опять — что писал, зачем писал, почему не думал о семье.

Однажды Эльза Кох, она же Эллочка Людоедка, она же Элла Петровна Каменецкая предложила:

— Леонид Иванович! Чтоб вам скорее выйти на волю, вы должны нам помочь понять причины вашего заболевания. Напишите вашу автобиографию. Какие причины принудили вас заняться антисоветской деятельностью?

— Это что-то вроде исповеди, духовной автобиографии?

— Вот-вот. Не бойтесь. Это ведь для вас самого нужно.

— М...м...м...

— Вы боитесь? Нет, нет, можете не писать о ваших друзьях. И о ваших увлечениях... женщинами, о ваших отношениях с ними. Вы — фрейдист, но почему-то стесняетесь об этом говорить откровенно.

— Вот уж это-то я точно не буду описывать, так как считаю это своим личным делом. Да и духовную исповедь вряд ли напишу. Я не могу гарантировать, что ее как-то не использует ГБ...

— Нет. Я же вам сказала — это не для ГБ, а психиатрам. КГБ не вмешивается в наши дела.

— Хорошо. Я подумаю.

— Подумайте. Это же не только вам нужно — осознать ошибочность ваших взглядов. Чем скорее мы вылечим вас от них, тем скорее вы вернетесь к семье. Мы не предлагаем вам выдавать антисоветские тайны, тайны вашего «движения демократов и националистов».

Я вернулся в палату, рассказал о предложении другим политическим. Оказалось, такие предложения делались только тем «политикам», о которых было более или менее широко известно. Тех, кто написал такую исповедь, на беседах с врачом заставляли потом отречься от каждой идеи, и не только отречься, а и письменно доказывать бессмысленность этих идей, их утопизм, алогичность, глупость. Вынуждали отречься под аккомпанемент самооплевывания. Бывали случаи, когда такое самооплевывание показывали родным. И даже после самооплевывания ГБ ждало год-два, пока не давало разрешения выписать из психушки (то ли проверять, не будет ли рецидива протеста, то ли просто так).

Некоторые политические сами, без приглашения, писали покаянные автобиографии. Обычно это были всамделишные больные.

Исповеди служили предметом острот со стороны санитаров, медсестер и врачей.

— Ну что, Иванов, не хочешь теперь выступить по телевизору перед народом?

— Нет, Нина Николаевна. Это я дураком был.

— А теперь ты не дурак?

— Вылечился.

— А ты уверен, что вылечился?

— Да. Я политикой больше не интересуюсь.

— А газеты читаешь?

— Только про спорт.

Интерес к спорту служил показателем излечения от политики.

Был у нас в 12-м отделении Лежа Пузырь. Он когда-то написал в областную газету письмо с критикой политики партии в какой-то области промышленности, но с обобщающими выводами. Письма этого он даже никому из знакомых не показывал. В провинции этого достаточно, чтоб сесть в лагерь или в психушку.

Когда я прибыл в психтюрьму, Пузырь (фамилии не помню) отсидел уже три года. Со мной и Евдокимовым он почти не разговаривал (раз только сказал мне, что за дружбу с нами врачи всем угрожают продлением срока). Когда на комиссии, проверяющей изменения в ходе заболевания, его спросили, читает ли он газеты, Пузырь ответил без запинки:

— Нудно. Я только о шахматах и футболе.

Эллочка Людоедка подтвердила, что он все время играет в шахматы и увлекается спортом.

После комиссии Леже по секрету сообщили, что его дело подали на выписку в суд.

После разговора с Эллочкой я вспомнил свой разговор с Дремлюгой у Павла Литвинова, свое собственное желание еще в 69-м году написать о путях, которыми люди приходят к отрицанию порядков в СССР. Ну, что ж. Надо будет по выходе из психушки это сделать, написать такую «Исповедь сына века».

Мы обменялись воспоминаниями с Евдокимовым. Он из потомственной петербургской интеллигентной семьи. Он болеет за Россию, ее культуру. Будучи журналистом, повидал всю фальшь прессы, неустроенность жизни рабочих и крестьян, безалабность руководства. Был на фронте...

А у меня...

Фрунзе. 1944 год. Какое-то пустое здание с подвалами. Говорят, что там живут разбойники, которые крадут детей и на мыло их варят. Испуганно заглядываю в подвалы. Темно, крысы...

Киев. 1963 год. Я иду с ведрами по полю выливать водой сусликов для сына. Приглашаю крестьянского мальчика помочь мне. За ним бежит его мать и громко шепчет ему: «Этот дядя из Киева. Он заведет тебя в лес и высосет всю кровь». До нее дошли отголоски борьбы с космополитизмом и сионизмом, и она отлила их в классическую формулу ритуальных убийств, сочетав со сказками о вампирах.

«Восемь грамм свинца тебе и на мыло» — написал Петру Якиру какой-то «гомо советикус». 1969 год.

Во Фрунзе, в 1943 году, мама отдала нас с сестрой в больницу, здоровых детишек. Отдала, чтоб хоть что-то ели, ведь еды-то нет, идет война, а отец без вести пропал.

А теперь я, здоровый, должен подыграть им и помочь им превратить меня в душевнобольного.

1941 год. Мы едем с мамой в машине, эвакуируемся. Самолеты с черными крестами. Мама хватает меня и прячет где-то в кустах. Деревья, кусты, земля летят вверх. Гром... Мне два года, и это самое раннее воспоминание: земля летит вверх, а сверху, в небе — немцы.

Бабушка рассказывает мне, шестилетнему:

— И приснился мне сон. Иван, твой отец, на белом коне приехал. К смерти, значит. Или приедет... Утром забегал. Он лейтинантом був. Их у дисанты якись пускалы. «Мамо, мамо, зачем ты их в икуацию вид-пустила! Там же бомблять нимцы все»... А потом пришли нимцы. Булы итальянцы, румыны, мадьяры. Найкраци итальянцы. Нимцы ничего, тилько курей кралы.

47 год. Голодно. Полгода — борщ из свеклы, полгода — суп с фасолью. Ходили на поле собирать колоски, оставшиеся от жатвы. Взрослым нельзя — засудят за кражу колхозного имущества. Детям можно. Лазили на бахчу — красть помидоры, огурцы, арбузы и дыни. Сторож стреляет солью, но — куда ему попасть!

В лесу бабушка собирает сухие дрова и тащит на себе. Тяжело, видимо, если и мне тяжело тащить ло-

маки. Все боятся объездчика — оштрафует за кражу государственного имущества. А чем зимой топить печь? Торф не горит без дров.

Вот все местечко заговорило о том, что из английского плена вернулся кто-то. Говорят, что англичане всех наших пленных забрали из немецких лагерей и переправили в свои, в Африку. И кто бежит, того привязывают к дереву и муравьи африканские съедают его, одни кости остаются.

Бабушка плачет и клянет англичан за то, что и отца вот так где-то съели муравьи. Я ярко представляю его скелет — недавно нашел скелет ящерицы в муравейнике. Начинаю ненавидеть англичан больше, чем немцев.

«Надо их разбить, как немцев разбили».

То же говорит и бабушка.

Вот оно, второе по счету обвинение власти: детско-взрослое. Вначале товарищ Сталин забросил отца с одним пистолетиком — десантником против немецких танков, а потом стал распространять слух об англо-американских лагерях, где держат наших солдат.

Санаторий. Потом опять Киргизия, город Фрунзе. 1954 год.

По городу нельзя вечером молодым парням и девушкам ходить вольно. Все объединяются в шайки. Староста класса и комсорг принадлежат к воровской шайке. Организуем шайку и мы, пятеро друзей. Вооружаемся одним кинжалом. Собираемся связаться с милицией, так как у меня возник замысел создать *шайку против* воровских и хулиганских шаек (потом это было осуществлено в форме «Легкой кавалерии» и бригад содействия милиции). Меня, естественно, назначили комиссаром нашей идейно-безыдейной шайки.

Я — староста зоологического кружка Дворца пионеров. Ловим мышей в поле. Зима. Из сугроба торчит рука. Бегу с братом в милицию. Одно за другим отделения милиции отказывается ехать с нами, на место происшествия: «Не наш район». Наконец, едут из городского. Изнасилование с убийством.

Неподалеку шатры цыган. Начальник, приехавший с нами, сразу же указывает на них. Я верю — ведь все знают, что цыгане — воры, обманщики, убийцы (никому в голову не приходит, что они не глупцы, чтоб оставлять труп неподалеку от шатра).

Я верю рассказням о чеченах, ингушах, курдах, кавардинцах и прочих малых народах, что живут возле Фрунзе. Они предали Родину немцам и теперь им не дозволено не только жить в городе, но и появляться там. Как только милиционер поймает кого-либо из них, того посадят. Все дети моего возраста — и взрослые вместе с ними — верят, что эти «предатели» убивают русских и украинских детей. Мы с друзьями идем в горы вооруженные — с охотничьим ружьем.

В школе заставляют учить киргизский язык. Я вначале гордо отказываюсь — зачем мне их язык, но потом все же учу грамматику. И смеюсь над киргизятами. Я знаю не более 15-ти киргизских слов, но зато без труда отвечаю на вопросы по грамматике. Киргизята почему-то плохо усваивают грамматику. И потому у меня за четверть — «4», у некоторых из них — «2». Я презираю училку по киргизскому — киргизку. Меня никто сознательно не воспитывает в духе презрения к коренному населению. Но это носится в воздухе. В те времена киргизов и узбеков еще не называли «зверьями». Но полгорода — русские и украинцы (украинцы больше на окраинах. Это бывшие раскулаченные). Они грамотнее, занимают лучшие посты. Они — носители передового, прогрессивного, культурного...

Вот этого я тоже не забуду власти — как из меня, украинского пацана, делали великорусского шовиниста, угнетателя чеченов, курдов, киргизов, белого расиста, ослепленного своей интернационалистической миссией культуртрегера.

И сейчас, когда в Киргизии подымает голову «местный» национализм, то все симпатии мои на его стороне, даже в тех случаях, когда он перехлестывает в сторону ненависти к колонизаторам, русским. Особо жалкая

миссия у украинцев. В то время, когда Украина все более русифицируется, украинцы русифицируют Киргизию.

После Фрунзе мы переезжаем в Одессу.

30 рублей зарплаты у матери. Она вынуждена оставить сестру мою во Фрунзе — невозможно прокормить нас обоих, Женское, «девичье» общежитие. Мой слепой классово-национальный протест — кагебизм. И это тоже на счету против власти — фактическое воспитание детей в шовинистском духе антисемитизма и кагебизма.

1956 год. Крах веры.

Разве можно забыть убийство миллионов? Уничтожение всех чаяний революции? Уничтожение русской литературы, искусства? Торможение научного развития? Чудовищную эксплуатацию всего народа? Уничтожение наций, как физическое, так и культурное? Ложь и террор? Полное отсутствие свобод? Фальсифицированные процессы, тюрьмы и лагеря, психушки, безработицу «диссидентов» и голод их семей?

И, может, главное — невозможность честно жить, честно работать — ни в одной области?

И если не главное, то, может, самое страшное — вот эта психушка, издевательства над больными, уничтожение психического здоровья у политических?

Ненависти и у больных, и у здоровых хоть отбавляй.

Вот рабочий парень. Попал сюда из-за пустяка. Политикой по сути никогда раньше не интересовался. Добряк. Всегда кому-нибудь помогает. Но как только заговоришь с ним на политические темы — весь искажается от злобы.

— Правильно Пиночет делает. Всех этих коммунистов и социалистическую либеральную погань надо резать, в крови их же черной топить.

И такой не один, созревший в психушке.

Слушая его, я поставил себе целью не озлобиться, не стать рабом своей ненависти, чувства мести.

Да, общественное бытие определяет общественное со-

знание. Но это не значит, что личность неизбежно становится рабом своего индивидуального бытия, своего быта. Если меня бьют слева, то я еще посмотрю, левые ли в самом деле бьют меня и как ответить бьющим.

Свобода — осознанная, т.е. принятая моим сознанием и приемлемая для него необходимость, долг перед собой как самосознающей себя личностью, должное, т.е. выбранный мною в данных условиях при данных возможностях путь в жизни.

После митинга в Нью-Йорке, на котором я сказал пару слов о муках чилийцев, о скрипаче, которому полиция отрубила руки, ко мне подошел ослепленный яростью знакомый по Москве:

— Тебе что, России мало? Зачем тебе Чили? Что ты знаешь о них? Откуда ты знаешь об этом музыканте?

Я считал его одним из самых уравновешенных людей в Москве. А тут передо мной стоял задыхающийся от злобы человек, считающий себя, кажется, христианином.

Но почему пытки чилийские считать более приятными, чем психушечные? Почему Запад должен верить нам, нашим свидетельствам о ГУЛаге, а мы чилийцам — нет? У них еще меньше оснований верить нам, так как их лучше обманывают про СССР, им легче узнать о зверствах в Иране и в Уругвае, чем в СССР.

Перуанский социалист Куантас Квадрос рассказывал о том, что они в своей перуанской тюрьме радовались, читая официальные, государственные газеты, сообщавшие о моем освобождении. А ведь это были сообщения их врагов. Откуда они знали, что я буду поддерживать их, а не их правительство, что я не стану вести фашистскую пропаганду? И как я рад, что наш Комитет помог выйти из тюрьмы Куантасу и его адвокату.

У какой бы ни встал я заплеванной стенки,
Все равно буду петь, не склонив головы.
Проклинаю любые на свете застенки,
Безразлично: Сант-Яго, Афин иль Москвы.

(В. Некipelов. После допроса, 1973)

Пытки, ложь не становятся лучше, человечнее, если их применяют во имя благой идеи спасения, христианской или коммуно-гуманистической идеи. Пытки, к тому же, имеют особенность иррадиировать по стране, применяющей их, переноситься на самих пытающих, превращать их в зверей, переходить к врагу и заражать их пыточной психоидеологией: око за око, зуб за зуб. Психушки в СССР чреваты психушками на Западе, а пытки Ирана, Уругвая и Чили чреваты пытками в Грузии. Гестапо, ГПУ и НКВД в свое время поощряли друг друга в размахе пыточной науки. Как пишет Евгения Гинзбург в «Крутом маршруте», немецкие коммунистки, попавшие из лап гестапо в лапы НКВД, недоумевали: кто у кого учился пыточному делу. Во время процесса Сланского чешское ГБ брало уроки пыток у старых полицаев фашистского периода и у советских «советников».

Когда Анджела Дэвис поддержала сфальсифицированные процессы против социалистической оппозиции в ЧССР, то она поощряла проникновение в американское право методов фабрикации дел, охоты за ведьмами. И спасет ее и ее друзей от психушек и тюрем только то, что в США народ привык иметь значение в государстве и вряд ли допустит возвращение даже маккартизма, не говоря уже о ГУЛаге советско-чехословацкого типа.

Вот такого типа дискуссии мы вели с поклонниками Пиночета и Ку-Клукс-Клана в психушке.

К этому времени мне дали свидание с женой.

Я увидел ее, наконец, через полтора года. Рассказать ей было много чего. Многие ушли, струсили, а другие, те, на кого не было больших надежд, оказались мужественными и даже сблизилась с Таней, идя на риск столкновения с ГБ.

Многие либеральствующие витии, активные самиздатчики так и не показались ни разу, хоть бы проведать. Не верящие в самиздат, «неполитичные» — из чисто моральных соображений, из уважения к себе — стали пренебрегать опасностью. В целом, друзей не

уменьшилось, только оставшиеся и новые стали ближе, пройдя через искус страха.

Таня намекнула на недостойное поведение Петра Якира и Виктора Красина. Вот уж этому я не мог поверить. Выразила также сомнение в позиции Дзюбы. Это было неприятно и делало собственную позицию более шаткой.

Таня увидела это и напомнила мою любимую вьетнамскую сказку:

— Мы разделяем себя и народ? Ради себя, а значит народа, не ради единомышленников. Ведь последние могут оказаться и не на высоте.

Затем она просила, чтоб я не озлобился (она увидела по моему тону, что ненависть переполняет меня).

Я рассмеялся — ее просьба так совпала с тем, что я поставил целью: сохранить хладнокровной голову при переполненном ненавистью и любовью сердце.

Таня напомнила также любимую мою фразу из А. Камю: «Длительная борьба за справедливость поглощает любовь, породившую ее».

Я намекнул, что хотел бы, чтоб были собраны все мои работы под псевдонимами в один сборник, чтоб я смог хотя бы так бороться.

Попросил добиться разрешения получить ей все мои письма из тюрьмы и все мои работы по игре. Я хотел, чтоб она продолжила их. Отказали под тем предлогом, что это все подшито к истории болезни.

Заказал книги по структурному анализу, психологии игры и искусства, по юмору, по исследованиям эмоций.

В связи с тем, что Таня еще в предыдущий приезд — когда свидания под каким-то предлогом не разрешили — привезла мне несколько книг: «Итальянские пьесы», книгу Гарднера о математических играх, сказку Янсон о мумии-троллях, — у меня был допрос.

Эллочка удивленно спросила:

— Зачем вам детская сказка?

— Эту сказку любит мой сын. (О том, что я ее тоже

люблю, предпочел умолчать — это свидетельствовало бы о моем инфантилизме.) Он и передал ее мне.

— Странно, наряду со сложными философскими книгами, в которых даже я и словечка не могу разобрать, вдруг детские.

— Я занимался и занимаюсь детской психологией сказок и игр, детским смехом и загадками. А это требует сложного научного аппарата. Вот видите эти формулы?

Я показал ей первые попавшиеся, чтоб доказать связь моих детских интересов со взрослой наукой.

Но так подозрение в шизофреническом впадении в детство и осталось, усиливаемое обилием книг на разные темы — о культуре Китая, о мифах, о морфологии искусства, об играх.

*

Когда по просьбе младшего сына я написал ему начало сказки о камышонке — мышонке, живущем в камыше, — она, прочтя, заявила, что ничего не поняла (это и намек на мое спутанное сознание, и проявление ее комплекса неполноценности). Я объяснил, что сказка специально для сына, а не «в литературу». А он все правильно поймет, все детские образы.

Элла сказала, что не пропустит, так как это может стать хорошим материалом для истории болезни.

Ответил, наконец, сын на сказку. Она ему понравилась.

— Вот видите, сын понял сказку. Она ведь вся построена на детском, незрелом восприятии мира.

После второй части сказки я понял, что не смогу ее продолжить — не могу сосредоточиться, оторваться от шума и бреда больных, от событий в психушке. И трудно будет писать непессимистическое продолжение — которое послужит к тому же психиатрам как симптом.

За все время в 12-м отделении случилось два ЧП. Один раз ночью повесился больной в туалете. Случайно

его спасли. После этого его избили, забрали у всех носовые платки. Санитары и больные издевались над ним, как только могли. А он только извинялся тем, что не выдержит такой жизни.

Другой раз на втором этаже, под нами, взбунтовались «карантинщики». В карантине всегда есть еще несломившийся бунтарский дух лагерей. Когда санитары побили малолетка, за него вступились воры. Они пару раз ударили санитаров. За бунт им дали серу. Зная, что сера сломит всех через несколько часов, они перегородили двери в палату кроватями. Пока другие сооружали баррикаду, самый сильный вышел с лавкой в руках и, как палицей, отгонял санитаров и надзирателей. Его схватили и зверски избили. Бунтовщики побили все стекла, порезали себе груди и животы (обычный способ протеста уголовных), выломали радиаторы и угрожали кинуть их в прорывающихся. Собралось все начальство тюрьмы. Приехал прокурор области.

Стали вести переговоры. Бунтовщики требовали прекратить использование серы для наказания, избиение санитарями и выпустить их под честное слово без наказания. Слово дать было нетрудно. Их всех потом отправили в тюрьму, а оттуда разбросали по отделениям как буйнопомешанных.

Этот бунт сразу отразился и на нас. Всем, кто слишком громко обсуждал события и даже просто высказывал радость по поводу бунта, назначали курсы серы. Меня пытались связать с бунтовщиками — не удалось (хотя связь в виде передачи им махорки была).

Через день после бунта Эллочка вызвала меня и, неловко улыбаясь, сказала:

— Вы переводитесь в другое отделение.

— В 9-е?

— Да... Ну, что вы сразу помрачнели? Там такое же лечение, как и здесь, и меньше произвол санитаров. Просто Плахотнюк добивался перевода ко мне, и вы пойдете на его место.

В самом деле, порядки здесь иные. Произвола сани-

таров, избияения больных меньше, потому что все подчинено единому террору Нины Николаевны Бочковской. Вот кого надо было назвать Эльзой Кох. Тонкое, холодное лицо, говорит уверенно, спокойно. Изредка освещается холодной, презрительной улыбкой. В дискуссии с больными не вступает:

— Лечить вас — наше дело. Нам за это платят. Сера вам поможет. Болит?.. Но вы же мужчина, а не баба. Терпеть надо. Вы ведь на фронте ранения имели и терпели. А тут вас лечат.

Моим лечащим врачом назначили Людмилу Алексеевну Любарскую. Положили в «надзорную» палату с тяжело больными, агрессивными. Я попросил перевести в нормальную. Долго отказывали, потом перевели. Тихо, спокойно, нет криков. Зато радио кричит с утра до 10 вечера.

Но были и преимущества в обычных палатах. Всего человек 13-14 в палате. Спокойные. Можно найти с кем поговорить.

Молодой парень, сын профессора философии, увлекается научной фантастикой. Мы с ним сблизились в беседах о науке, о книгах.

Провели вместе два вечера... На третий день его перевели из палаты, а меня спросили, зачем мне нужен этот пацан, убивший своего брата?

— А что, мне и разговаривать нельзя? Поместите тогда с политическими.

— Чтоб вы заговоры составляли?

— Какие?

— Да уж известно какие.

Мальчика тоже предупредили, чтобы он со мной не общался, стали давать повышенные дозы галоперидола.

Как-то я спросил его, почему за все время я не встречал кающихся искренне воров, убийц, проституток? Он так и не понял, что вопрос был и к нему, к его убийству. Ведь не каются ни больные, ни выздоровевшие, ни здоровые. Единственно, о чем жалеют, — плохо скрыл следы преступления («дак ведь дурак был»).

Не каялся ни один вор, валютчик или мошенник, встреченный в тюрьме.

У каждого своя философия:

— Я же только у богатей: полковников, директоров, министров — дома обворовывал.

— Государство крадет у людей, а я у него.

— На валюте никто не страдает. Я провел операцию — и ты, и я доволен.

— Я — спекулянт. Я справляюсь с той задачей, с которой государство не может справиться, — доставить всем нужный товар.

Проститутка:

— Пусть мне платят на заводе побольше, чтоб я одеться могла получше и наестся. А то их чиновные дочки ходят в заграничном, а я в задрипанном пальто. Чем я их хуже? . .

Один вор-моралист объяснял мне резкий рост сексуального разврата международным фестивалем, на котором наши шлюхи научились модным способам секса, а от них переняла молодежь партийной элиты. К тому же, партийная элита крутит у себя дома западные порнографические фильмы, к их детям ходят друзья, и потому порнофильмы начинают гулять среди молодежи, богемы и у торгашей.

Рассказами о сексе заполнены все дни. Одни повторяют одни и те же истории, другие ярко фантазируют, выдавая мечты за прошлое.

Приходят послушать санитары. Сами рассказывают...

Меня опять переводят к буйным. В палате «надзорке» от 18 до 21 человека. Бывали надзорки по 40 человек.

Шум не прекращается — крики, песни, драки между собой и санитарями.

Нина Николаевна Бочковская. Заведующая отделением.

Это она — настоящая «Эльза Кох». Что там Эллочка Людоедка, просто истеричка и сексуально любопытная. Та покричит, покричит, назначит наказание и уйдет. Вершиной ее цинизма было то, что она села на голову больного, назвавшего ее Эльзой Кох. Сама смеется над этим прозвищем: бояться, дескать, мужики меня. Очень хочет, чтобы ее считали интеллигентным человеком.

Евдокимову она как-то похвасталась, что купила Эрих-Марию Ремарку. Тот и прозвал ее «Ремаркой». Она отомстила ему, прописав галоперидол.

Нина Николаевна разбирается в психологии людей, легко ловит меня на недоговоренности (а я и не собирался говорить им все, что думаю о власти, я отвечал лишь на вопросы о моих работах). Удивила меня тем, что любит моего любимого художника — Чюрлениса. Упрекала меня в том, что я люблю психически ненормальных художников: Иванова «Явление Христа народу», Врубеля, позднего Ван-Гога, Марка Шагала.

— А Чюрленис-то хоть был здоров?

— Нет. Он покончил с собой.

— Почему же вы любите его?

— Это уж мое дело.

Таня передала книгу Перрюшо «Жизнь Ван-Гога». Бочковская прочла и запретила давать другим больным: «Это же история психического заболевания».

Все мои письма к жене и детям издевательски комментировала — «ласковые слова», «советы детям», «жене», мечты о совместной работе.

Учитывая, что в этом отделении выдавались максимальные дозы нейролептиков и серы, мало кто решался вступать с ней в дискуссии.

Врывалась она в палату и холодным, безжизненным голосом говорила:

- Петров, ты опять обругал сестру! Сера!
- Иванов, говорят, что ты занимаешься онанизмом.
- А к тебе, Сидоров, больше не пристают с грязными предложениями?

И всем — новые дозы нейролептиков.

Кто-то жалуется — больно.

— Ничего, прежде чем изнасиловать девочку, задумайся, вспомнишь про серу. Вы лечитесь сюда пришли, а не отдыхать.

— Нина Николаевна? А когда я выздоровлю?

— Когда я на пенсию выйду, а ты онанировать перестанешь.

— Плющ, почему вы никогда не здороваетесь с нами? Это принципиально или из-за невоспитанности? Вы же культурный человек, какие книги читаете.

Допрос ведет резким, унижающим голосом:

— Вот вы дружите с этим убийцей, что двоих жен убил.

— Не дружил я с ним, а просто слушаю его интересные рассказы.

— Все про разврат, небось?

— А про что еще слушать? Про убийства?

— И как вы слушаете все это? У вас же жена есть, вон вы ей какие нежные названия в письмах даете, а сами слушаете гадости!

— Вы же сами обвиняете меня наоборот, что я ни с кем, кроме политиков, не разговариваю. А с Володей развели из-за разговоров о фантастике. С кем же мне говорить и о чем? Книг вы выдаете мало.

Она пристала, чтоб я написал покаяние в духе Дзюбы, Якира и Красина.

— Вы же сами понимаете, что в их возрасте так быстро не меняются. Вы хотите, чтоб я написал лживую бумажку?

— Нет, нет, мы знаем, что вы правдивый человек. Но, может, под их влиянием вы передумаете, измените свои взгляды.

Когда по радио слушали лживые покаяния Красина

и Якира, мы, все политические, были потрясены их иудиными словами. Многие не могли ни думать, ни говорить. Евдокимов ожидал чего-то подобного от Якира, я же ни от него, ни от Красина (особенно от Красина) не ждал. Повторять жеванные лживые фразы — и кому? — Якиру, который так мучительно пережил судебный фарс над своим отцом, издеательства над собой и матерью. Мне казалось, что он скорее покончит с собой, чем пойдет на предательство друзей.

Потом пришло предательство Дзюбы, за ним Селезненко и поэта Холодного. Всех украинцев особенно задел Дзюба, так долго бывший символом нестигающей, молодой Украины.

Возникли даже мысли о пытках. Но Таня на свидании объяснила проще: не захотел в лагере умирать от туберкулеза легких, покинуть жену и дочь, которую он так любит.

От Холодного в знак протеста против предательства ушла жена, которой он писал когда-то:

Ти — моя церква, Маріє
Я — твій дзвін.

Еще он когда-то писал, защищая свою нацию:

В хаті над морем крик
Там хтось під воду зник, —
І «потопаю» чується.
— Не заважайте спати
Витримку треба мати:
Завтра усе з'ясується.

Церкви у него уже нет, осталось спать на пустыре или напиваться, чтоб не слышать криков тонущих друзей и Украины.

К Плахотнюку приехали из ГЕ, получить показания по новым делам. Он отказался, сославшись на то, что считается невменяемым и потому его показания недействительны.

— Ничего, мы пошлем вас на новую экспертизу, там вас признают здоровым.

Он отказался. (Подобный случай был и с политзаключенным М., которому при переводе из спецпсихтюрьмы в общую психбольницу ГБ предложило стать стукачом. Он отказался, сославшись на то, что он «псих». «Вы этим не прикрывайтесь!»)

К Анатолию Лупынису вначале было хорошее отношение. Но позже он выкрал свою историю болезни и написал заявление, в котором показал всю фальшивость, лживость и нелогичность комиссий, которые ставили ему «диагнозы», и потребовал контрэкспертизы. К нему тоже приезжали из ГБ, о чем-то разговаривали.

После этого к Анатолию применили новое сильнодействующее лекарство — дэпо, — изготовленное в США. Он, человек очень большого мужества, сник.

Всех политических предупреждали, чтоб они не общались со мной как с наиболее опасным врагом. Разговаривал я, главным образом, на прогулках с Александром Полежаевым и Виктором Парфентьевичем Рафальским.

Рафальский — учитель истории. В 1954 г. подпольную марксистскую организацию на Западной Украине, в которой он участвовал, раскрыли. До 59-го года скитался из психушки в психушку. Ленинградская ставила ему диагноз — нормален, институт Сербского — шизофрения.

В 1964 г. его посадили в Казанскую спецпсихбольницу, так как обнаружили знакомство с какой-то киевской подпольной марксистской группой.

В 1969 г. у него обнаружили давно написанную им книгу с националистическим уклоном. И, как он ни доказывал, что книга старая и он ее никому не давал читать, — его держали в психтюрьме, как шизофреника.

Наконец, врачи объявили ему, что он вылечен. Но, чтобы выйти, нужен «опекун». Мать его, старуха, сама находится в доме для престарелых в Ленинграде. Старых друзей не решается просить, чтоб их не подвести.

Одна из медсестер оформила опекунство над ним. Но

ее стали выживать за это с работы. Он упросил ее отказаться от опекунства.

Предложил я ему в опекуны Клару Гильдман.

Заведующий отделением Николай Карпович посмотрел на фамилию:

— А! За границу, в Израиль хотите бежать!

Через полчаса вызывает:

— Оказывается, это ставленница Плюща. Ищите что-нибудь получше.

Ему прямо говорят, чтоб он не разговаривал со мной. Но тогда с кем же?

Правда, я и сам к этому времени становлюсь малоинтересным собеседником — под влиянием лекарств все становится скучным, читать и думать нет охоты. От политики совсем тошно.

Свиданий и книг, которых так ждал, — уже не хочется. Более того — страх перед ними: вдруг жена увидит опять судороги от галоперидола (а такое уже было), начнет тормозить, рассказывать о новых арестах. Стыдно перед ней за апатию, сонливость. И мучительным становится свидание — особенно тяжело перед детьми. Искусственно улыбаюсь, пытаюсь шутить.

Не остается никакой воли к жизни, к борьбе.

Только одно: не забыть, что здесь видел, не озлобиться и не сдаться.

Когда Таня передавала о том, что за меня борются Эмнести, Комитет математиков, украинские организации, я уверен был, что ничего не поможет, но радостно было, что все-таки чем-то участвую в борьбе. Однажды Таня передала засахаренный ананас из Нью-Йорка. Он пошел по психушке как символ свободного мира.

А вокруг все то же.

Ночь под новый, 1976 год. Санитар грубо сбрасывает с больного одеяло — тот перерезал себе горло. Нас всех выгоняют в туалет. Целую ночь над ним колдуют врачи. Спасли! А потом его бьют санитары...

Во время показа кинофильма (на эту дрянь я никогда не ходил) один из больных где-то раздобытым гвоздем

бьет по голове другого. Я зову санитаров. Спасают и бьют обоих.

Один старик назвал Нину Николаевну гестаповкой. Ему сразу — большие дозы серы. Он хрипит, завывает, кричит от боли (спать невозможно)!

— Леонид Иванович! Я не умру?

Я сердито:

— Нет, от серы не умирают!

— Хлопцы, я умру?

— Заткнись, не умрешь!

Однажды он, обезумев от боли, выбил стекла и попытался перерезать себе горло. Укутали, избили.

На третий день кто-то заметил посинение лица. Зовут медсестру. Та меряет пульс, зовет врача. Собираются врачи. Начинают переливание крови, дают *кислородные подушки*. За три дня откачали.

Когда назначали серу, да еще в больших дозах, не проверили противопоказаний...

Мой лечащий врач, Людмила Алексеевна Любарская, лучше Нины Николаевны. Она не садистка, а просто дура. Она искренне верит, что человек, отказавшийся от карьеры, поставивший под удар себя и семью, математик, занявшийся политикой (пусть ею занимаются политики!), — ненормален. И с позиций своей нормализовала она и ведет со мной допросы.

— Напишите покаяние, перестаньте писать письма друзьям-антисоветчикам, скажите жене, чтоб она перестала скандалить.

По тому, как она говорила о жене, видно, что главным-то психом и врагом является она, а не я. Боятся Таню настолько, что нарушают даже распоряжение не пускать на свидания детей младше 16 лет.

Людмила Алексеевна несколько раз просила урезонить жену: а то и ее посадят, и детей отберут.

Я пытался было «урезонить» Таню, но понимал, что глупо это выглядит: она делает все, что может, чтоб вытащить меня, а я ей мешаю уговорами действовать потише. В конце концов, махнул рукой — ей виднее.

Приезжала мать. Очень переживала из-за того, что я поверил этим подлецам, будто она писала в ГБ о том, что у меня есть странности. Наконец-то мама поняла, что есть советская власть. Никогда она не верила моим рассказам о жизни и методах советской буржуазии.

А в палате появилась новая жертва для всеобщего «веселья». Когда его привезли, он совсем не двигался. На обед сажали и кормили с ложечки. Постепенно начал сам хватать руками кашу и есть. В туалете хватал и ел кал. Кто-то заметил, что если над ухом произнести ему слово «конячка», то раздражается диким хохотом. Приходили санитары, надзиратели, медсестры послушать этот смех от *души*, совершенно неопиcуемый, действительно веселый (с долей истерии).

Но с каждой неделей Коля менялся. Стал смеяться лишь в ответ на смех. Заметили, что очень хочет колбасы. И вот все, вплоть до медсестер и надзирателей, спрашивают:

— Хочешь колбасы?

— Да. Где?

— Завтра принесу.

Назавтра бросается навстречу обещавшему с радостным смехом идиота: «Давай».

Когда игра с колбасой всем надоела, стали угрожать тем, что, когда выйдут, переспят с его женой. Он плакал, жаловался врачу. Жену и дочь он очень любил (хранил рисунок дочери).

Стали играть в изнасилование, которого он панически боялся. Несколько человек держат его за руки, а другой идет, спуская штаны. Все хохочут, он выкручивается и кричит.

Так и развлекаемся каждый день: то крики врачей — до избиения больных, то крики припадочных, блатные частушки и ругань по принципиальным вопросам спорта, стоны от боли, плач от безвыходности, допросы врачей, публичный онанизм, калопожирание в туалете, в бане, у дверей палат.

Санитары забавляются тем, что спрашивают у желающего выйти в туалет:

— Баб имел? Много? А что ты с ними делал? А как?

— Потанцуй «Гопачок». Плохо... плохо. Лучше буги-вуги... Прыгай выше.

Крик медсестры:

— Что там за шум?

— Да это Петька в туалет просится. Пустить?

— Так он же недавно был.

— Ничего, он танцует хорошо... сцать хочет, пусть идет.

Дали щелобан, дали махорки. Пустили.

Ищут новых развлечений.

Вот стравливают двух нервных:

— Он про тебя сказал, что ты козел.

— Сам он петух вонючий.

И начинается поединок вонючими словами. Кто-то не выдерживает и бьет по голове.

Назначается сера — возбудился.

Если провести градацию по аморализму, то наиболее безнравственны врачи. Ни стыда, ни совести, ничего, кроме издевательств над больными, я у них не встречал. Медсестры, самые худшие, — просто служанки. Часть любит подшутить над больными или покричать на них. Со мной обращение вежливое (видимо, был приказ не разговаривать со мной). Были и такие, что шепотом разговаривали, говорили, что считают нас здоровыми, и советовали делать вид, что мы исправились. Одна, послушав мой разговор с женой на свидании, предложила не давать лекарств:

— Я все поняла. Мне очень жалко вас. Но ничем бóльшим я не могу помочь.

Надзиратели тоже, видимо, были предупреждены — им было запрещено со мной разговаривать. Но они, оглядываясь, спрашивали о Сахарове, о Солженицыне.

Жена одного, послушав западное радио, заявила ему:

— Если ты не уйдешь из этого проклятого места, я

разведусь с тобой.

И он жаловался нам:

— Не отпускают...

Посоветовали, чтоб пообещал жене помогать политическим, чем сможет.

Несколько раз подходили санитары спросить о демократическом движении, выражали сочувствие. Вообще санитары более человечны не только к политическим, но и к больным. Некоторые предупреждали об обысках, помогали прятать записки, махорку. После надзирательского обыска часть отобранного отдавали хозяевам. Я почти всегда получал назад свои письма, книги и папиросы.

(Избивали и издевались, в основном, те, кто подхалимничал перед медперсоналом.)

Плахотнюку врач разрешил вести какие-то записи. Надзиратели их обнаружили, донесли. Врач получила партийный выговор. Надзор за бумагой и ручками еще более усилился.

Писать письма можно только раз в неделю — всем вместе, при шуме и гаме.

Рафальский в своем отделении заведовал бельем и выдачей продуктов. Один из больных, бредовой, донес, что Рафальский, Троцюк (боец Украинской Повстанческой Армии, немой) и Василий Иванович Серый (учитель; попал за намерение самолетом уйти за границу) составляют антисоветский заговор.

Не опросив «заговорщиков», всем троим стали давать большие дозы серы и барбамила (под действием которого якобы человек рассказывает всё, даже тайное). Измученных, их приносили в палату. Так ничего выяснить и не удалось — за что, почему? Сера противопоказана Рафальскому — здоровье его резко ухудшилось. Куда делась его всегдашняя жизнерадостность. Позже врач Карп Наумович Алексеев сказал ему, что не надо связываться с такими, как Плющ и Троцюк (Троцюк долго ходил под подозрением, что симулирует немоту).

Под влиянием чувства безвыходности, неограничен-

ности пребывания в этом сумасшедшем аду у многих здоровых появляется мысль о самоубийстве.

Рассказывают, что во времена организации больницы в 68-м году было все страшнее. Спали на полу, санитары били смертным боем. Несколько человек просто убили. Заведующую Любарскую перевели простым врачом к Бочковской после убийства некоего Григорьева.

Сам я под влиянием увиденных сцен и больших доз нейролептиков постепенно менялся в сторону эмоциональной и моральной глухоты, терял память, связную речь. Держался только самозаклинаниями: не забыть все это, не озлобиться, не сдаться. Никакие интересы, ни юмор уже не помогали. Все более усиливался страх действительно сойти с ума и тем помочь палачам. Расспрашивал у опытных политиков, сидевших уже десятки лет:

— Уж больно ты впечатлителен! Говорят, что действительно есть такая «психическая индукция», «заражение».

Когда Любарская намекала на то, что мой младший сын тоже шизофреник — увлекается букашками, камнями, сказками, играми, — то ссылалась на генетику. Ненормальность жены объясняла индукцией с моей стороны, предлагала разойтись — чтоб я не вредил своим психозом детям и жене.

Если протестовал против шума радио:

— Видите, это в вас антисоветское ваше нутро не выдерживает.

Не здороваюсь — «врагами чувствуете».

Говорю о советской буржуазии — «неадекватное восприятие действительности».

Протестую против обывательского подхода к общественно-политической жизни — «мания величия», «Лениным себя воображает».

Широкий круг интересов — «шизофрения».

Под конец угас интерес к книгам — «аутизм», «мизантропия».

Когда действительно стало трудно сосредоточиваться

на допросах над их вопросами и перестал спорить:

— Тактика умалчивания. Озлобился. В себя ушел. А взгляды-то какие бросает — так бы и порезал всех.

Пытаюсь улыбнуться:

— Я против тех, кто режут.

— С убийцами разговариваете, а с нами не хотите. Посмотрите, сколько презрения и ненависти у вас на лице. Даже говорить боитесь — боитесь выдать свои мысли...

Нина Николаевна неплохо изучала мои письма и мои слабые точки, и поэтому изредка ей удается вырвать из меня вспышку гнева:

— Да как вам не стыдно вызывать меня на политическую дискуссию? Когда я еле соображаю под нейролептиками, когда мне все безразлично и когда любое мое неточное слово будет записано как обострение болезни! А вам за любую нелепость заплатят большими деньгами и отпуском. Вы же живопись любите! Неужели любовь к прекрасному не связана с любовью к людям?

— Вы напрасно горячитесь и так неверно трактуете наши слова. Именно из любви к больным мы должны знать, что вы таите в душе, почему вы так грубы с персоналом, не здороваетесь, отводите глаза, даже не улыбаетесь. Может, вы убить кого замыслили или сами из отчаяния, назло нам захотите покончить с собой?

— Такими разговорами вы сами наталкиваете на такие мысли. Почему у вас вместо успокаивающей психотерапии постоянные упреки больным, оскорбления, угрозы наказанием, бесконечностью лечения, издевательства над онанистами, над всеми недостатками и пороками?

— А вы напишите докладную обо всем этом.

— Чтоб вы подшили в историю болезни как развитие бреда реформизма?

— У вас явная мания преследования. Во врачах вы видите врагов. Почему бы вам все-таки не написать духовную автобиографию: какие причины в юности подтолкнули вас к неправильным взглядам, каких книг

начитались, с какими людьми встречались, что писали. И о том, как сейчас передумали. Но не одной фразой, а подробно изложите, в чем вы видите порочность своих прежних взглядов и как теперь оцениваете нашу действительность и свою антисоветскую деятельность. У вас болезненная черта — не называть других антисоветчиков. И не надо. Их и так те, кому надо, знают, и тех, кто вам пишет. Вот эта Клара — кто она?

— Кочегар.

— Неправда. Она пишет такие тонкие замечания о литературе.

— А что, кочегар не может ценить литературу?

— Но не так тонко.

— Ее выгнали из университета.

— Вот видите, все ваши друзья — антисоветчики. Ходорович, Гильдман, Фельдман. Как мы можем выпустить вас, если вы сразу же очутитесь в их окружении и опять ваш бред возобновится. Перестаньте с ними переписываться, и это станет показателем, что вы выздоравливаете.

Когда один мой знакомый, по моему совету, наконец, признал себя больным, Нина Николаевна ему прямо сказала:

— Нет. Вы здоровы, но будете здесь до тех пор, пока не откажетесь от своих антисоветских взглядов и от разговоров с антисоветчиками.

Признать себя больным — первое условие выздоровления. Затем — покаяние во вредности своей деятельности. Но выпускают все же не врачи, а суд. Суд может постановить, что больной нуждается в дальнейшем лечении.

По сути диагноз ставит КГБ, КГБ назначает лечение (моей жене говорили в КГБ, что если будет вести себя тише, то мне будут давать меньшие дозы) и КГБ лечивает.

В последние месяцы моего пребывания в психушке отношение медперсонала изменилось к лучшему, меньше было издевок.

— Хотели ли бы вы выйти сейчас? Кем бы вы хотели работать?

— Кем угодно.

— А не хотели бы вы уехать за границу?

— Нет. Но если бы пришлось выбирать между психушкой и границей, то предпочел бы выехать.

Я уже знал, что Таня добивается выезда, но не верил в эту возможность. Хотел от них добиться, чтобы выпустили на волю.

Жизни на Западе я себе не представлял. Как математик я дисквалифицирован. Имеют ли там какую-либо ценность мои работы по игре? Приспособимся ли мы к новым условиям жизни, темпам, ценностям? Все лучшее и все худшее, что я знал о Западе, всплывало в голове. На этом пыталась спекулировать Бочковская, со всей своей изощренностью Эльзы Кох. Но когда я прямо спросил, не выпишут ли сейчас, она заявила, что я еще не вылечен.

*

Не прошло и полумесяца, как меня вызвали к начальнику психтюрьмы. Там сидела Каткова, начальник медчасти, и начальник тюрьмы Бабенко. Они огорченно сообщили, что вся моя верхняя одежда пришла в негодность и они за больничные деньги купили мне брюки и рубашку. Брюки оказались малы. Побежали покупать новые. Снова малы. Купили третьи. От галстука я отказался — хотят в Европу выпустить европейцем. (Однако всю эту бутафорию сложили в чемодан, тоже купленный тюрьмой.)

На стол подали роскошный мясной суп. Я обрадовался, что не спрятал за щеку список шестидесяти политзаключенных, который составляли с большим трудом месяцами. Суп подвел бы меня.

Я похвалил суп.

— А разве вам не каждый день дают такую порцию мяса и фрикаделек?

- По дороге сжирается поварами.
- Леонид Иванович! А вы знаете, куда вы едете?
- Надеюсь, в Киев, попрощаться с родными.
- Нет. Вы едете туда, куда ваша жена взяла визу.

(Язык у них не поворачивался произнести это гнусное слово «Израиль».)

- На станцию Чоп? В Израиль?
- Да.

Посадили в самолет, но он почему-то приземлился в Мукачево. Там мне позволили в сопровождении товарищей в штатском походить по городу, прощаясь с Украиной.

В Мукачево продержали целый день: сокращали время прощания с матерью и сестрой. В Чоп приехали за час до отхода поезда. Какой-то тип настойчиво фотографировал счастливую встречу семьи.

Как в тумане, прошло прощание с мамой, с Адой, встреча с женой и детьми. Ощущал себя чурбаном, захлестнутым противоречивыми чувствами.

Общмонали нас деликатно, неделикатно задержав всех остальных отъезжающих.

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ.
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им преданный народ...

Озеро милое, Родина милая...

Когда я вернусь,
Засвистят в феврале соловьи
Тот старый мотив,
Тот давнишний, забытый, запетый.
И я упаду,
Побежденный своею победой,
И ткнусь головою, как в пристань,
В колени твои.
Когда я вернусь...
А когда я вернусь?

Т. ЖИТНИКОВА-ПЛЮЩ. ПРИЛОЖЕНИЕ

Министерству внутренних дел УССР

Житниковой Т. И.

(Киев-147, ул. Энтузиастов, д. 33, кв. 36)

Плющ А. И.

(Одесса-38, ул. Амундсена, 81)

ЗАЯВЛЕНИЕ

30 апреля около 11 часов вечера на пороге своего дома мы были схвачены тремя лицами — одним в форме младшего лейтенанта милиции и двумя в штатском. Ничего не объяснив, вывернув нам руки, нас в автомашине «Волга» привезли в Подольское РОВД г. Киева.

Там лица, назвавшиеся лейтенантом Жилинским, капитаном Филоненко и Смирновым Валерием Николаевичем (в штатском), объяснили нам, что мы похожи (!?) на спекулянтов и что нас подозревают в хранении наркотиков, оружия и порнографии, которые находятся якобы в наших сумочках или спрятаны в одежде. Тут же мы были подвергнуты личному обыску. Понятыми были штатские, которые нас задержали и привезли в РОВД.

Но после обыска выдумка о спекуляции была уже не нужна. Они требовали отдать записную книжку, обещая за это тут же выпустить, а в противном случае угрожали 15 сутками «за неподчинение властям» и «попытку скрыться». На возражение Житниковой, что такое обвинение — неправда, они шантажировали тем, что «понятые» ложно покажут на суде о нашем «сквернословии», «оскорблениях» должностных лиц и отказе давать «показания».

На наше заявление, что мы будем жаловаться, Жилинский издевательски ответил: «Да жалуйтесь сколько

хотите, все равно эта жалоба придет ко мне». Он употреблял при этом какие-то жаргонные милицейские выражения.

Вопросы милиционеров и штатских уж вовсе не касались порнографии, наркотиков и оружия. Почему-то спрашивали о Плюще Л. И. (он сейчас находится в следственном изоляторе КГБ), о том, где мы были во время прогулки по городу, и все время угрожали расправиться с нами.

Забрав все же записную книжку, нам не дали ни расписки, ни копии перечня вещей, подвергшихся изъятию. Домой мы добрались лишь в пять часов утра.

Вся эта история — от хамства в обращении до странных вопросов — заставляет думать, что истинной причиной была не «спекуляция», а нечто другое. Если бы при этом мы не находились в помещении районного отделения милиции, мы были бы твердо уверены, что подверглись нападению переодетых нарушителей закона и сразу же после освобождения пожаловались бы в милицию.

Просим Вас разобраться в происшедшем и принять меры, чтобы указанные должностные лица не позорили мундир, который им доверили носить.

3 мая 1973 г.

*Житникова
Плющ А.*

... Трудно передать, чем были эти последние четыре года. Как рассказать тем, кто не жил «в стране победившего социализма», что значит простое уважение к себе, нежелание мгать, в стране, где преступлением считается свободная мысль и свободное слово.

Эти годы не были случайностью, несчастьем, драмой — это не было неожиданностью. Это было всем!

С первых лет осознания себя личностью встал вопрос: КАК ЖИТЬ? Постепенно пришел ответ, единственно возможный в стране, где лицемерие, ложь — норма.

Жить уважая себя. А это значит — самиздат, который надо печатать, распространять, это значит — искать единомышленников и думать, думать . . .

Когда стало ясно, что впереди заключение, ничего не изменилось. На душе было легко . . . и свободно. На укоризненные слова доброжелателей можно было ответить: да, у нас есть дети, да, мы знаем, что окажемся в тюрьме. Но мы не можем спасти детей, если будем рабами, мы погубим их души.

Поэтому, когда 13 января вечером мы оказались на обыске у Дзюбы, не было страха, все воспринималось как должное. У нас был опыт своего обыска, опыт других людей, изложенный в «Хронике». Была только боль за Ивана — неужели его черед пришел? Хотелось хоть чем-то помочь, разделить с ним этот кошмар. А он сидел спокойно и улыбался, успокаивая нас. Когда они вывели меня на кухню, мне было абсолютно безразлично — и они сами, и то, что предложили раздеться догола. Проводили «операцию» две надзирательницы в форме, они ощупывали волосы, смотрели в рот, заставляли присесть. Потом стали ощупывать каждый шов одежды, спорили даже этикетку с юбки, вытащили резинку из трусов. Что они искали? Самиздат? Бриллианты? Нет, они хорошо знали, что там этого нет (а вот сумку осмотрели плохо: не заметили клочка бумаги с данными для «Хроники»). Было понятно, что это только способ испугать, ошеломить, унижить. И позже, когда это опять повторялось: и в полицейском участке, и в доме у Виктора Некрасова, — они снова искали что-то, заставляли присесть, заглядывая не только в рот, а и в другие места; они всегда знали, что ищут страх.

Когда после обыска нас отпустили и мы поспешили к Светличным, там были тоже следы погрома. Милая Леля, она сидела одна в разгромленной квартире — в углу сброшенные с полок книги, вся квартира в книгах. И потом все эти годы все оставалось так, как будто о н и только что вышли из дому. Комната Ивана была закрыта, Леля жила на пяточке, оставшемся у кровати.

Через сутки я поняла, что она пережила.

Ночь прошла в угаре, не было сил обдумать, что делать. Я с апатией смотрела, как Леня сжигает бумаги. Утром, как всегда, отправили детей: Лесика в детский сад, Диму в школу. На всякий случай Диму предупредили: «Если после школы придешь и застанешь обыск — позвони маме».

Собралась на работу. На всякий случай — а вдруг!? — взяла с собой самое дорогое, что было в доме: фотографию Александра Исаевича Солженицына с автографом и теплой надписью (в 1969 г. он подарил ее Лене в благодарность за статью «Камо грядеши, Евгений Евтушенко?»). На всякий случай взяла и две рукописи — работы двух киевлян, они принесли незадолго до этого свои заметки. (В конце рабочего дня — звонок: «Мама, у нас гости».)

Первая мысль — предупредить друзей. Кое-как закончила лекцию. Кого можно, предупреждаю по телефону. К остальным надо идти. Не позволяю себе думать о том, как же дома, главное сейчас — успеть.

Зашла в один дом. Знала, что у них много самиздата. На всякий случай заходила и на следующий день — успели, вынесли; к счастью, к ним КГБ не приходило, но и хозяев дома я больше не видела: испугались. Тогда и выработалось правило — общаться только с теми, кто сам придет в дом, кто не испугается. А раз не приходят, значит, и не надо.

Так по-новому началась эта жизнь. Рубеж прошел четко и сразу: жизнь до 15 января и после. И последний страх был выбит в этот день. И друзья определились: остались только те, кто не испугался, кто не задекларировал своих чувств, а пришел и был все эти годы рядом. Тихо, незаметно, и вызовы в КГБ их не испугали, и с работы выгнали — не испугались.

Последний визит по дороге домой был к Саше Фельдману. Зашли, а у него обыск. Главное, успели сказать, у кого обыски, перекинулись хоть несколькими словами.

Стало окончательно ясно, что начался погром. Обыски, аресты длились несколько дней.

У Саши в тот раз забрали еврейскую литературу — учебники иврита, статьи. Саша вел себя четко и резко — никаких разговоров с кагебистами, только протесты против беззакония (его время тогда еще не пришло, через три дня его выпустили).

Потребовала, чтобы нас выпустили: у меня дома дети, мне некогда. Отпустили довольно быстро. Как стало понятно позже, в этот день у многих шли обыски, и они не очень согласовывали их.

(Были мы в этот день вдвоем с Владимиром Ювченко. Он как раз один из тех друзей, кто твердо держался все годы. Историк по образованию, к этому времени уже безработный: год назад его выбросили из школы за то, что был «толстовцем», за «пропаганду пацифизма». Лишили права работать с детьми, а потом не оставляли в покое уже за знакомство со мной.)

В квартире было полно народу. В каждой комнате по 2-3 кагебиста. Здесь и друзья, которых я предупредила об обыске, — а они взяли и пришли. Леня уже уставший, — обыск идет с утра.

Друзей вскоре увезли в КГБ. Детей с трудом уложили спать. Дима понимал, в чем дело, Лесик чувствовал, что происходит что-то страшное, не хотел спать, с ненавистью смотрел на чужих.

Леня успокаивал, говорил, что все выдержит, только чтобы я вела себя тихо, ведь остаюсь одна с детьми. У меня же никаких мыслей, до конца не осознаю, что это — все. Вначале кагебисты запретили нам даже сидеть рядом, но и они уже устали, да и мы не обращали на них внимания, так и просидели до утра.

Под утро, когда всё переписали, стали отбирать фотографии. Забирали все, что им хотелось. Взяли зачем-то фотографии лениной мамы, моего отца. Зачем? Молчат. Вот попалась фотография Януша Корчака.

— Зачем вам? Это же Корчак.

Молчание.

— А может быть, уже хватит с него?

— ...

— Одевайтесь.

Все перевернуто. Ищу теплую одежду. В доме только три рубля денег, еще очень рано, чтобы зайти к соседям одолжить.

Прощаемся. Кагэбисты говорят что-то утешительное. Вышли. Всё.

Прилегла. Еще не поняла, что случилось.

Звонок. Лена Костерина из Москвы:

— Что у вас?

Петр Якир: «Танечка, что бы ни было, помни; мы всегда с тобой!»

.

Январь.

Февраль.

Март. Доходят сведения от разных людей, что их вызывают по лениному делу. Постоянно говорят о том, что он «ненормальный», «такой же сумасшедший, как Григоренко».

Что делать?

На работе узнаю, что на совещании руководства Управления было сказано, что я — сионистка, веду антиобщественный образ жизни.

Прокурору Украинской ССР
Копия: старшему следователю КГБ
при Совете Министров УССР
г. Федосенко

Житниковой Т. И.

ЗАЯВЛЕНИЕ

24 мая 1972 г. директор Республиканского методического кабинета игр и игрушек Министерства просвещения УССР г. Бортничук предупредила меня, что моя

запланированная ранее командировка в Крымскую область отменяется.

Ранее администрация уже предпринимала попытки ущемить мои права, отменив две командировки в г. Москву: на международную выставку игрушек и на Всесоюзный семинар по игрушке.

При этом во втором случае проявилась удивительная согласованность действий администрации и сотрудников КГБ, которые сообща предотвращали мой вылет в Москву.

Но только сейчас директор Кабинета официально заявила, что командировка отменяется в связи с тем, что меня вызывают на допросы в органы КГБ и мне как методисту выражено недоверие. Я, по словам директора, не только не могу выезжать в служебные командировки, но вообще не могу работать в Кабинете.

Таким образом мне дали понять, что я могу быть уволена с работы в связи с арестом моего мужа Плюща Л. И., в качестве свидетеля по делу которого я и вызывалась в КГБ.

Я считаю, что такая угроза является актом шантажа и психологического давления на меня как свидетеля.

Я настаиваю, чтобы мне официально было подтверждено мое право по-прежнему оставаться на моей работе, и прошу органы Прокуратуры помочь мне в этом.

Настоящее заявление прошу внести в дело моего мужа Плюща Л. И.

25 мая 1972 г.

Подпись

С 11 мая начались допросы в Республиканском КГБ.

Первый день.

— Татьяна Ильинична, вот тут письмо для вас от Леонида Ивановича. Но я не могу вам его дать в руки. Хотите прочтете?

Слушать, как эта погань будет читать мое письмо?

— Нет, не хочу, чтобы вы читали. Или дайте его мне, или совсем не надо.

(Сволочи, ведь как рассчитали всё. Четыре месяца ни слова, полная неизвестность. На допросы согласилась, чтобы хоть что-то узнать о нем. Но слушать, как этот нечеловек будет читать слова, написанные, обращенные ко мне? Лучше пусть опять неизвестность.)

— Ну, хорошо. Я вот тут закрою несколько строчек, а остальное можете читать.

Допросы. О литературе, которую забрали: откуда, кто дал, кто читал. Кто приходил в дом, о чем говорили.

Постепенно выработывалась тактика — говорить минимум. «Не знаю. Не помню. Нет. Не читал. Не давал».

Но это потом, а вначале казалось: ну, что особенного сказать, что знакома с Ирой Якир, с Юликом Кимом, — ведь это свои, близкие люди. Говорить, что не знаю, значит отрекаться от друзей. Не вели антисоветских разговоров? Не вели. Привозили антисоветскую литературу? Нет, не привозили. Знакома? Да. Как относиться? Как к друзьям.

Казалось естественным не скрывать знакомств, постыдным для себя отказываться от друзей.

Но с каждым допросом своим, с каждым допросом других, таких же близких, становилось понятно, что веду себя неправильно.

КГБ не нужна истина, им нужно всех связать как «антисоветчиков», доказать, что раз знаком, значит враг. Даже положительная характеристика о друге оборачивается во вред ему и тебе.

С запозданием поняв это, перестаю признавать друзей. Утешаюсь только тем, что нет ни слова в моих показаниях по существу обвинения.

Житниковой Т. И.

27 мая 1972 г. меня через ст. лейтенанта милиции Юречко пригласили на беседу в Дарницкое отделение милиции, где начальник отделения капитан Селехов и ст. лейтенант Юречко, никак не объясняя причины, заставляли меня дать расписку в том, что 27, 28, 29, 30 мая я не буду посещать общественные места города, выходить в центр города (за исключением следования по месту работы). Если же я нарушу это требование, то буду нести ответственность как за нарушение общественного порядка и буду привлечена к уголовной ответственности. На мое требование объяснить причину, по которой я должна дать подобную расписку, капитан Селехов ответил, что «государство — орган насилия» и все граждане обязаны подчиняться его требованиям, тем более, что это требование исходит не только от милиции, но и от КГБ.

На мой отказ дать расписку, которую я рассматриваю как оскорбительную и незаконную, ст. лейтенант угрожал, что мне в таком случае дадут 15 суток за сопротивление властям, а эти четыре дня я уж точно отсижу в камере предварительного заключения, и не хотел выпустить меня.

После моего категорического отказа написать совершенно непонятную и не мотивированную органами милиции расписку меня выпустили, и ст. лейтенант заявил, чтобы я шла за объяснениями на Владимирскую, 33 в республиканское КГБ.

Такое поведение органов милиции дает мне основание ожидать любых самых незаконных действий, умышленных провокаций. У меня нет никаких гарантий в том, что под любым вымышленным предлогом я не буду арестована.

Я прошу вас расследовать действия вышеназванных лиц, объяснить мне случившееся и оградить меня от произвола и насилия.

27 мая 1972 г.

Подпись

Бедный Димка, как он испугался тогда. Мне пришлось взять его с собой, чтобы хоть кто-нибудь знал о том, куда меня увезли. Ведь накануне точно также увезли из дома Сашу Фельдмана, а брату сказали, что не знают, где он, и вообще отказались даже разговаривать с ним. Только через шесть суток Саша «нашелся» — его держали в КПЗ (где даже по закону не имеют права держать больше трех суток, не предъявив обвинения; а какой уж тут закон, ведь в эти дни в Киев должен был приехать Никсон).

В эти дни многих «сомнительных» личностей вроде меня вызывали в милицию и требовали подобных расписок, а некоторых так же, как Сашу, просто арестовали.

Генеральному прокурору СССР
г. Руденко
Копия: Прокурору Украинской ССР

Житниковой Т. И.

ЗАЯВЛЕНИЕ

25 мая 1972 г. следователь КГБ г. Федосенко, ведущий следствие по делу моего мужа Плюща Л. И. (арестованного в г. Киеве 15 января 1972 г.), сообщил мне, что муж направлен на психиатрическую экспертизу. Мотивами для этого, по словам следователя, является то, что муж «много болел», и «некоторые основания» самого следователя. У меня отказались принять очередную передачу и сообщить, куда направлен муж.

Я знаю мужа на протяжении 14 лет (поженились мы, когда ему было 19 лет) и поэтому имею все данные для того, чтобы говорить о его психическом здоровье, а болел он только в детстве: перенес в возрасте 9-14 лет костный туберкулез ноги.

Основаниями опасаться за тенденциозный подход в решении судьбы моего мужа являются и факты, имевшие место задолго до отсылки его на экспертизу. Уже в феврале месяце сотрудник КГБ т. Сур (также занимающийся делом Плюща Л. И.) заявил в беседе одному из знакомых мужа — Диденко Ф. А., — что в КГБ есть письмо матери Плюща, в котором она пишет о «странностях» сына. На самом же деле такого письма она не писала и подобных заявлений органам КГБ не делала. Надо полагать, что следователь хотел услышать о «странностях» Плюща и поэтому решил «помочь» собеседнику.

В то же время, т.е. в самом начале следствия, одному из свидетелей по делу Плюща (фамилия его мне известна, но я не хочу назвать ее, чтобы не навлечь на него неприятностей) было заявлено, что «Плющ — такой же сумасшедший, как и генерал Григоренко».

Все эти факты заставляют меня обратиться к Вам с просьбой не допустить беззакония в ходе следствия по делу Плюща Леонида Ивановича (в частности, в вопросе о психиатрической экспертизе) и не допустить произвола в решении его дела.

4 июня 1972 г.

Подпись

... Ответов, конечно, на эти заявления я не получила. Потянулись месяцы ожидания. В Москве Леня находится в Лефортово, об этом мы узнали, так как передачи принимали именно там.

Доходят слухи, что его признали невменяемым и направят в Днепропетровскую психиатрическую тюрьму.

На телеграммы, письма о сроках следствия — никакого ответа.

В ноябре дело закрывается. Нашли адвоката. У него тоже никаких надежд нет.

В ответ на одно из заявлений вызывают в республиканскую прокуратуру к начальнику отдела по надзору за КГБ Малому. Какой там надзор! Безпомощный лепет, ни одного вразумительного ответа на мои требования. Зачитал результаты экспертиз.

По его сообщению, их было две.

1-я длилась с 12 июня по 14 июля, когда Леня находился в Институте им. Сербского, и названа она стационарной.

Члены комиссии — доктор наук Качаев, профессор Луци, ст. научный сотрудник Гарцев.

Председатель комиссии — член-корреспондент Академии наук Морозов.

Диагноз: материалы дела, рукописной продукции, результаты обследования свидетельствуют о том, что Плющ Л. И. страдает психическим заболеванием — вялотекущей шизофренией; с юношеского возраста страдает паранойяльным расстройством, которое характеризуется элементами мессианства, идеями реформаторства, расстройством эмоциональной сферы; некритическое отношение к своему состоянию; представляет социальную опасность; следует считать невменяемым; подлежит направлению в специальную психиатрическую больницу.

Органы КГБ усомнились в диагнозе и вошли с ходатайством в Министерство здравоохранения с составе новой комиссии, которая и была организована в составе:

председатель — академик А. Снежневский (директор Всесоюзного института психиатрии);

члены комиссии: заведующий кафедрой Института усовершенствования врачей Морозов, заведующий 4 клиническим отделением Научно-исследовательского института судебной психиатрии Луци, руководитель отдела профессор Ануфриев.

Диагноз: страдает хроническим психическим заболеванием в форме шизофрении. Указанное заболевание характеризуется ранним началом с формированием паранойяльного расстройства — элементами фантазии, навязностью суждений, что и определяет поведение. За время от 1 до 2-й экспертизы состояние улучшилось. Появилось расстройство эмоционально-волевой сферы (апатия, безразличие, пассивность). Стабильная идея реформаторства трансформировалась в идею изобретательства в области психологии. Присутствует некритическое отношение к содеянному. Представляет социальную опасность, нуждается в лечении.

От адвоката я узнала, что вторая экспертиза признала возможным лечение в больнице общего типа. Адвокат виделся с Леной, передал привет, говорит, что держится хорошо. Сам адвокат убедился в его абсолютном психическом здоровье, но иллюзий не строит.

25-29 января шел суд.

Председателю Верховного Суда УССР

Житниковой Т. И.

5 февраля с.г. адвокатом по делу Плюща Л. И. было подано ходатайство о пересмотре дела в Верховном Суде УССР. Прошу также рассмотреть в связи с этим и мое заявление . . .

Николай Викторович!

Леонид Ильич!

Алексей Николаевич!

Если бы не крайняя необходимость, я бы не осмелилась отнимать у вас время этим частным письмом. Помогите мне, иначе произойдет нечто страшное. Я обращаюсь к вам, так как вы являетесь сторонниками сказанного на XXIV съезде КПСС:

«Любые попытки отступить от закона или обход его, чем бы они ни мотивировались, терпимы быть не могут. Не могут быть терпимы и нарушения прав личности и ущемление достоинства граждан. Для нас, коммунистов, сторонников самых гуманных идеалов, это — дело принципа».

15 января 1972 г. сотрудниками республиканского КГБ был арестован мой муж Плющ Л. И. и в нашей квартире был произведен обыск. Дело в том, что Леонид Иванович, математик по профессии, входил в Инициативную группу защиты прав человека в СССР и подписал несколько писем-обращений к нашему правительству и в ООН. Во время обыска были изъяты некоторые материалы, не издававшиеся в СССР. Но, главное, сами по себе эти факты еще не могут быть основанием для осуждения.

Я полагала, что степень виновности моего мужа будет определена законом, а не личными конъюнктурными соображениями отдельных должностных лиц.

Но некоторые сотрудники КГБ, не имея материалов для предания моего мужа суду и будучи уверенными в полной безнаказанности, встали на путь откровенного беззакония.

Втайне от меня мой муж был подвергнут медицинской экспертизе, признавшей его невменяемым и рекомендовавшей принудительное лечение в лечебнице *специального* типа. Чтобы необходимость в этом изверстве ни в ком не вызывала сомнения, КГБ направило мужа (и опять втайне) через несколько месяцев после первой экспертизы на повторную экспертную комиссию, членами которой были несколько академикопсихиатров. На этот раз принудительное лечение рекомендовалось в лечебнице *общего* типа.

Все, кто хоть немного знает Леонида Ивановича, все его родные, друзья и знакомые, среди них есть и врачи, никогда не имели повода сомневаться в его психическом здоровье. Никто из них не сомневается в этом и сейчас. Да и любой непредубежденный врач-психиатр, ознако-

мившись с поставленным моему мужу диагнозом, не согласится в данном случае с выводами о необходимости принудительного лечения. «Вялотекущая шизофрения» («идеи реформаторства, мессианства, наивности суждений») неизвестна не только мировой, но и отечественной психиатрии. Ее, например, отвергает киевская психиатрическая школа.

Лишь через двенадцать с половиной месяцев после ареста состоялся суд, на котором могли присутствовать только трое членов суда, адвокат и прокурор. Несмотря на все мои старания и просьбы — устные и письменные, — ни я, ни мой муж на судебное рассмотрение дела допущены не были. Несмотря на письменные заявления друзей моего мужа о том, что они желают дать суду показания по сути дела, ни один из них на процесс не был допущен. Всех, кто приходил в те дни к зданию суда, чтобы попасть в зал заседания, какие-то чины в гражданском с помощью милиции переписывали поименно, а потом требовали покинуть здание (хотя находились мы все в вестибюле), угрожая арестом.

Основываясь на *первой* экспертизе, суд постановил направить Плюща Л. И. на принудительное лечение в лечебницу специального типа, где содержатся убийцы, насильники — больные с патологическими агрессивными наклонностями, где может неисправимо сломиться психика здорового человека, бесконтрольно и бессрочно отданного на гибель. Это ужасающее постановление было мною опротестовано в кассационной инстанции.

Верховный суд УССР, основываясь на данных второй экспертизы, вынес определение о принудительном помещении Плюща Л. И. в лечебницу общего типа. Сам по себе факт помещения нормального человека в психиатрическую больницу — верх жестокости по отношению к нему и его близким, тот предел, после которого людей ожидает самое страшное — безнадежность. Но даже этого кому-то показалось мало.

Прокуратура УССР опротестовала кассационное определение Верховного суда УССР, абсурдно объяснив это

особой опасностью действий моего мужа и настаивая на лечебнице специального типа. Чем же опасны его действия? Да и какие действия? Мой муж не совершал противозаконных действий. Настаивая на больнице специального типа, меня хотят лишить возможности хотя бы изредка видеть мужа, разговаривать с ним, переписываться, поддерживать его. Это бессрочное мучение может даже сильного человека духовно раздавить и привести к медленному умиранию. Это уже находится вне того, что могут выдерживать люди, это вне всяких человеческих возможностей.

Я прилагала все усилия к тому, чтобы дело Плюща Л. И. не выпадало из-под контроля закона: письменно и устно обращалась с заявлениями, просьбами, протестами во всевозможные инстанции вплоть до Прокуратуры СССР и Верховного Совета СССР. Но это ни к чему не привело. Я была лишена возможности предотвратить обвинительный уклон следствия. Мне не дали возможности иметь своим представителем на медицинских экспертизах кого-либо из известных мне врачей-психиатров. Мне не сообщили о выводах экспертиз и тем самым не дали возможности пригласить адвоката в период следствия, на что Плющ имеет право. Я была лишена возможности присутствовать на судебном процессе над моим мужем. Мне до сих пор не дали постановления суда или хотя бы выписку из него. Меня дважды запугивали репрессиями в отделении милиции (на мое возмущение мне цинично заявили: «Можете жаловаться, все равно жалоба к нам придет»). Я ни разу не получила свидания с мужем (со дня его ареста прошло уже свыше 16 месяцев). Мне запретили даже переписываться с ним.

Заместитель прокурора УССР Самаев и начальник следственного изолятора КГБ Сапожников с нескрываемым садизмом официально заявили мне: «Вы никогда не получите свидания с мужем. Да и никто вам не разрешит переписку с ним. Он же сумасшедший. Зачем вам что-либо писать психически больному? И,

тем более, зачем вам видеть этого больного? О чем с ним можно говорить? Чтоб вас здесь больше не видели!»

Чтобы такое сказать женщине об отце ее детей, мало очерстветь душой, надо страдать патологией бездушия, надо вытравить в себе все человеческое.

Мой муж совершенно здоров. Его арестовали не за антисоветскую деятельность (такой деятельности не было), а за взгляды, которые в чем-то отличались от взглядов Самаева и Сапожникова. Но ведь за выражение некоторых взглядов, допускавшихся после 1953 года, до 1953 года человека расстреляли бы, за выражение иных взглядов, допускавшихся после 1964 года, до 1964 года могли бы заключить в лагерь.

Сейчас для моего мужа кто-то из КГБ изобрел инквизиторский способ расправы — «без пролития крови», как говорили в средние века. А Самаев, Сапожников и иже с ними не рассматривают свои действия как незаконные, а прикрывают самодурство красивыми словами.

Я поняла, что если безнаказанно допускается беззаконие хотя бы в малом, то оно неизбежно потянет за собой большее беззаконие, которое нарушители вынуждены будут прикрывать еще большим. Если допустить, что «целесообразность» хоть в каком-то случае может подменить или подправить закон, то и в других случаях эта целесообразность будет заменять закон, будет вытеснять его.

Но ведь жизнь нашего общества сейчас основана на принципах более гуманных и демократичных, чем до XX съезда КПСС. И я не верю в то, что все, случившееся с нашей семьей, — государственная необходимость. Напротив, я думаю, что эта несправедливость исходит от отдельных личностей, имеющих ложное представление о чести мундира.

Помогите нам, иначе совершится верх бездушия, предел бесчеловечности — заключение здорового человека в лечебницу специального итап. Угроза этого адского ужаса нависла над мужем, надо мной и нашими детьми

в середине второй половины XX века, в нашей стране.

Безнадежность охватывает не тогда, когда нет никакой помощи, а тогда, когда уже и не хочется никакой помощи. Но не может быть, чтобы не осталось в мире ничего святого.

22 мая 1973 г.

г. Киев-147

ул. Энтузиастов д. 33, кв. 36

Житникова Татьяна Ильична

Это была еще последняя надежда при полной безнадежности. Перед этим отправила большое письмо Председателю Верховного Суда УССР, где со ссылками на нарушения статей закона описала, как проходило следствие, суд:

... при оценке психического состояния Плюща Л. И. принимались во внимание показания свидетелей, мало знавших, почти не знавших Плюща или не видевших его последние 5-10 лет. Так, например, на суд были вызваны свидетель Шевченко, видевший Плюща один раз в жизни (в течение одного часа), свидетель Колесов, эпизодический знакомый в течение очень короткого времени в 1963 году — времени, вообще не рассматриваемом в деле.

Никто из вызванных в суд свидетелей не имеет медицинского образования, но в то же время четверем свидетелям (Борщевскому С. Е., Верхману А. А., Фельдману А. Д., Ювченко В. Е.), пожелавшим дать показания и хорошо знавшим Плюща Л. И., было отказано в даче на суде показаний на том основании, что они не психиатры.

Меня, знающую Плюща Л. И. уже 14 лет и имеющую основание говорить о психическом здоровье его, на суд не вызвали. Даже не была вызвана ни следственными органами, ни судом родная сестра Плюща.

...

Ответов, конечно, не последовало. Ответов по существу. А если приходили, то такие.

Верховный Суд УССР

Народный суд Ленинского района г. Киева.

№ 809/1

24. VIII. 1973 г.

СПРАВКА

Выдана настоящая жене должника Плющ Л. И. Житниковой Татьяне Ильичне в том, что его долг 73 р. 35 коп. по определению Киевского областного суда от 29. 1. 1973 г. полностью уплачен в народном суде Ленинского района г. Киева.

Судоисполнитель *Лысенко.*

(И ведь гуманно — только 75 процентов моей месячной зарплаты, а ведь могли бы и больше).

Разговор в суде, куда я пришла по вызову судебного исполнителя, был короткий: оплатить судебные издержки. В противном случае судебный исполнитель тут же выезжает со мной и описывает имущество в уплату долга. Я согласилась на опись имущества. Тогда судебный исполнитель зачитала, что подлежит описи, — оказалось, что описывать нечего, так как в доме только самые необходимые вещи. Объяснила чиновнице, за что и почему она должна брать у меня деньги, — она была поражена. Ей не приходилось еще иметь таких «клиентов». Провожая нас, она заплакала. Стала просить простить ее за то, что она вынуждена исполнять свою работу.

Были ответы и по существу.

Прокуратура

Украинской Советской Социалистической Республики

гр-ке Житниковой Татьяне Ильичне
Киев-147, ул. Энтузиастов № 33, кв. 36

На Ваше заявление сообщаю, что Плющ Л. И. помещен на излечение в психиатрическую больницу на законных основаниях.

Что касается просьбы о возвращении Ваших заявлений, то по этому вопросу следует обратиться к следователю, изъявшему указанные документы.

Начальник отдела по надзору за следствием
в органах госбезопасности

Старший советник юстиции Макаренко.

А бумаги изъятые были всё те же: письма в ЦК КПСС, в Верховный Совет, Верховный суд УССР. Изъяты при новом обыске, на этот раз по делу Виктора Некипелова, арестованного в это время. А затем «беседа» в Дарницком районном отделении прокуратуры со следователем Кондратенко. Привезли прямо с работы.

«Беседа» почти домашняя, «дружеская». Почему отказываюсь от дачи показаний по делу Некипелова, ведь за это и посадить могут, что связывает меня с сионизмом? (зачитывает длинное письмо «из Израиля» — вот видите, как там плохо; через 3 дня получила вызов, присланный мне). И, наконец, последнее:

— Я понимаю ваше положение, желание облегчить участь мужа. Я и сам, возможно, стремился бы к этому. Но должен предупредить, что формы защиты вы выбрали не те. За такую защиту (показывает фотокопии изъятых заявлений) могут и уволить, вы ведь находитесь на идеологической работе.

— Если бы вы не вели себя так, судьба вашего мужа была бы другой.

...

А 5-го июля состоялось заседание Верховного Суда УССР, где было подтверждено на этот раз решение о направлении Плюща Л. И. на принудительное лечение в специальную психиатрическую больницу.

Но только 23 июля мне официально сообщили в Киевском следственном изоляторе КГБ, что он направлен в г. Днепропетровск («Адрес вам скажет любой милиционер»). 24-го мы с Татьяной Сергеевной Ходорович были уже у ворот Днепропетровской тюрьмы, хорошо известной не только милиции, но и жителям города.

То, что называется в официальных документах «больницей», находится на территории Днепропетровской областной тюрьмы, за общим каменным забором, наверху колючая проволока, через которую пропущен ток. На вышках автоматчики. В середине ведет железная дверь с глазком, небольшой коридор — решетка снизу доверху. И здесь охрана. Внутри еще такая же каменная стена с колючей проволокой. Вдалеке видны каменные стены старой царской тюрьмы, зарешеченные окна.

Это и есть «больница», которую сотрудник советского посольства во Франции назвал «больницей улучшенного типа, примерно как для академиков» в беседе с членами Международного комитета математиков в 1974 году.

По пять-шесть часов проводила я под стенами этой «больницы» для того, чтобы получить очередное свидание.

Но в первый раз меня не приняли, отказали в свидании под предлогом, что Леня проходит карантин. Взяли бумагу, ручку, фотографии детей. Вышла врач, назвалась лечащим врачом Эллой Петровной. Стала предлагать оформить пенсию на детей (это около 20 рублей в месяц). Я отказалась:

— Я никогда не признаю моего мужа больным, а получить от вас пенсию — значит признать это. (Оказалось, что Леня тоже отказался от пенсии.)

Постепенно беседа превратилась в допрос. Как оцениваю «антисоветскую деятельность» мужа? Ездил ли я в Москву, зачем? Какие у нас друзья и кто? Какие письма и документы я составляла вместе с Леонидом Ивановичем?

Начальнику

Управления исправительно-трудовых учреждений
Министерства внутренних дел УССР

г. Макогону В. Е.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мой муж Плющ Леонид Иванович, 1939 г. рождения находится в настоящее время в Днепропетровской спецпсихбольнице. Посещение его на свидании, разговор с ним, с врачом и дежурным по режиму (т.е. ведающим военнизированной охраной) заставил меня обратиться к Вам по ряду вопросов, касающихся содержания моего мужа.

Тяжелое моральное его состояние, условия содержания, которые имеют место, заставляют меня просить Вас о переводе мужа в другое учреждение. Основные мотивы для этого таковы: моему мужу не дают вести переписку даже с ближайшими родственниками; письменные принадлежности дают только один раз в неделю по воскресеньям, и даже эти письма не приходят по адресу. Так, за полтора месяца его пребывания в больнице я не получила от него ни одного письма; ему не дают возможности работать, то есть читать, работать с книгами. Такое запрещение не вызвано медицинскими показаниями, а объясняется установкой лиц, ведающих режимом содержания (так мне было объяснено дежурным по режиму). Ведь если даже считать (а ни муж, ни я не считаем этого) его психически больным на почве «идей реформаторства и мессианства», т.е. на почве проблем сугубо социального характера, то это никак не дает основания запрещать мужу заниматься вопросами сугубо теоретическими, т.е. связанными с его непосредственной профессией математика. Как мне и было объяснено, по характеру содержания муж имеет право на получение интересующей его литературы из области математико-психологической теории игры (это та область науки, которой он занимался последние годы).

Удручающее впечатление оставил у меня и внешний вид мужа: его одежда на 2-3 размера больше, чем нужно, чрезвычайно старая, застиранная. Учитывая, что для человека в его положении это очень существенно, т.е. даже одежда помогает сохранить человеческий облик, я обращаю Ваше внимание и на это.

Я не прошу никаких исключительных условий для моего мужа, просто прошу выполнения обычного режима. Я опасаюсь, что кем-то в отношении моего мужа создаются условия, в которых нет минимально необходимого элемента здравого смысла сострадания по отношению к людям, оказавшимся в таком положении, как мой муж.

Убедительно прошу Вас помочь мне.

29 августа 1973 г.

Подпись

Обращение помогло — разрешили передать пижаму («только темных расцветок»), а через некоторое время даже еще одну для смены. Как потом выяснилось, последнюю выдавали только на время свиданий. К свиданиям Леню начали готовить — брили, переодевали. Меня пригласил на беседу начальник учреждения п/я ЯЭ 308 подполковник Прусс:

— Исследования показали, что ваш муж — душевно тяжело больной человек, которого надо лечить. И задача родственников вместе с врачами помочь этому, поэтому вам надо привозить ему поменьше книг. Ему трудно их читать, а будет еще труднее. Книги будут лежать, и он будет расстраиваться, что не может их читать.

И на свидания вам лучше пореже приезжать.

19 октября, в пятницу, приехали на очередное свидание вместе с Димой. Но в свидании отказали:

— Плющ переведен в другую палату. А там больной на соседней с ним койке заболел каким-то острым инфекционным заболеванием, поэтому ваш муж на ка-

рантине. Попробуйте прийти в понедельник, может быть, к тому времени картина прояснится, и вы получите свидание.

Пятница, суббота, воскресенье... Что случилось? Почему в другом отделении? А тут еще и филера неотступно за нами. Знакомые, у которых остановились, — люди хорошие, отзывчивые, и привести к ним «хвост»? Но что делать? Куда деться?

Что карантин — выдумка, только предлог не пустить — это совершенно ясно. Но почему? Значит, с ним что-то случилось?

В 9 утра уже были под воротами. Свидание дали, разрешили войти и Диме (до этого не разрешали: есть указание детей до 16 лет на свидания не пускать). Комната для свидания — узкая, темная, с искусственным освещением, единственное окно отрезано перегородкой, за которой принимают после свидания передачи. Вдоль стены длинная скамья, перед ней барьерчик до самого пола, поэтому больного можно видеть только до половины, барьер на уровне груди. На расстоянии приблизительно 2,5 метров такая же точно скамья с барьером, за которую сажают родственников. Подойти, даже только поздороваться нельзя. Посередине между больным и родственниками постоянно сидит надзиратель, иногда их двое. Поэтому любое слово они слышат раньше, чем тот, кому оно предназначено. Мне еще было хорошо: власти настолько боялись распространения каких-либо сведений о Лене, того, что я ему говорила, что мне свидания давались всегда только с ним одним. Обычно же для других заключенных таких вольностей не было: приводили сразу 6-7 человек больных, а родственников всегда больше, т.к. к одному больному можно было приходиться двоим. Шум такой, что плохо слышно, кто что говорит, а тут еще и комментарии охраны, предупреждения, советы. Это было ужасно — видеть, в какие мучения превращены свидания: к больным чаще всего приезжают матери, простые крестьянские женщины, измученные дорогой, растерявшиеся в го-

роде; в этом общем крике они умоляют своих детей вести себя хорошо, слушаться начальства, рассказывают новости, плачут. Сыновья хмурятся и с жадностью спрашивают о вольной жизни. Потом по общей команде, ровно через час, а иногда и раньше — с ними особенно не церемонятся — уводят, пропуская через решетку родственников, а уже после — заключенных. Передачи принимают тут же, за перегородкой: допотопные весы, на которых извешивают те пять килограммов, котсрые положено больному. Все строго ограничено: килограмм сахара, 300 г колбасы, килограмм фруктов, 500 г сыра, килограмм овощей, 2-3 банки мясных консервов, последние периодически запрещают и разрешают только овощные и рыбные; полкило табака — ни папирос, ни сигарет нельзя; 500 г хлебных изделий, 10 яиц вареных, 500 г меда, 400 г масла, 500 г конфет, не шоколадных — из этого набора можно составить 5 кг.

Когда нас ввели, Леня уже сидел. Был он странный — согнувшийся, жалко улыбался. Говорил с трудом, с перерывами, часто откидывался в поисках опоры, наконец не выдержал, лег на стол. Лицо исказилось судорогой, стало сводить руки и ноги. Почти ничего не слышал. Не дожидаясь конца свидания, попросил, чтобы его увели.

Оказалось, ему начали давать лекарство, перед этим перевели в 9-е отделение — «самое страшное в тюрьме», в камере 20 человек, есть и агрессивные. Трижды в день дают препараты (как потом выяснилось, галоперидол).

Попросила вызвать врача. Вышла Людмила Алексеевна (фамилию не говорит: «не положено»).

— Я еще не успела ознакомиться с Леонидом Ивановичем как следует, поэтому могу сообщить немного. Пока еще не обнаружила у него «философской интоксикации». Однако у больного отмечается склонность к «математизации психологии и медицины».

Пытаюсь что-то объяснить, привожу примеры из теории и практики применения математики в медицине.

Говорю, что Леня работал в отделе, который занимался именно применением математики в медицине.

— Я врач и понимаю, что математика не имеет никакого отношения к медицине. Нам, врачам, это не нужно.

— Какое лекарство принимает Леонид Иванович?

— Зачем вам это знать? Что надо, то и даем. Вот вы ему посылаете много книг, зачем ему это? Он больной...

На следующем свидании Леня рассказал, что в тот день ему было очень плохо: судороги сводили все тело, не мог ни лежать, ни сидеть. Не спал всю ночь.

МВД УССР

Управление внутренних дел
Исполнительного комитета
Днепропетровского областного
Совета депутатов трудящихся

Учреждение ЯЭ-308/РБ

11.XI. 1973 г.

№ Ж-5

Киев-252147,

ул. Энтузиастов, д. 33, кв. 36
Житниковой Т. И.

На Ваше письмо от 25.X.73 г. сообщаю, что Ваш муж находится на лечении в больнице, состояние здоровья его удовлетворительное.

На свидании он с Вами был 22.X.73 г. в обычном его состоянии, расстройств речи и судорог у него не было. Во время свидания с Вами присутствовал врач.

Что касается диагноза и лечения Вашего мужа, согласно Положения о психических больницах, родственникам никаких медицинских сведений не даем.

Начальник учреждения ЯЭ 308/РБ

Прусс

Снова заявления... и ответы

УССР
Министерство внутренних дел

Медотдел

27 декабря 1973 г.

Гр-ке Житниковой Т. И.
г. Киев-147, ул. Энтузиастов, д. 33, кв. 36

Ваше заявление об ухудшении здоровья Вашего мужа Плюща Л. И. проверено. Изложенные в заявлении сведения при проверке не подтвердились.

Во время Вашего свидания 22.10.73 г. присутствовал врач, у Вашего мужа судорог не было, разговаривал свободно, каких-либо нарушений мимики не отмечалось.

По своему психическому состоянию Ваш муж нуждается в продолжении лечения в условиях психбольницы специального типа.

Зам. начальника Медотдела МВД УССР

В. Яценко

С каждым днем Лене все хуже и хуже. Ему продолжают давать галоперидол. Опух до невероятных размеров, стал почти квадратный. Еле-еле, с большим трудом разговаривает во время свиданий, вялый, апатичный. Почти ни о чем не спрашивает. Все безнадежно, бессмысленно. Никто и ничто не в силах помочь.

Книги просит не передавать: не может не только читать, но и думать о чем-либо. Просит всех извинить, что не отвечает на письма, но ему просит писать:

— Письма выдают мне только для прочтения, а потом отбирают. Забрали и фотографии.

Просит, чтобы похлопотала о переводе в другое отделение, в № 12, в котором был вначале и о котором на первом свидании сказал: «Здесь страшно, здесь так страшно».

Во время свидания вошла лечащий врач, с радостной

улыбкой поздравила всех с праздником Великого Октября. Молчу, а как хочется сказать все, что думаю о них, но понимаю, что надо сдержаться: Леня в их руках.

— Меня интересует диагноз моего мужа. Почему ему дают галоперидол? Дают ли корректор и какой?

— Какой корректор? А вам зачем знать?

— Но ведь я знаю, что дается галоперидол. Именно этим объясняется тот приступ у моего мужа, свидетелем которого мы с сыном были.

— А что, разве Леонид Иванович жалуется? Ведь у нас с ним прекрасные отношения. Неправда ли, Леонид Иванович?

Леня молчит. Но его взгляд отвечает очень ясно на этот вопрос.

— Что касается вашего вопроса, то я ничего говорить не буду: ни диагноза, ни чем мы лечим.

Иду на прием к заместителю начальника медицинской части тюрьмы Катковой В. Я. Прошу перевести в другое отделение и разрешить иметь при себе письма и фотографии.

Каткова медовым голосом начинает рассказывать, как у них здесь хорошо, как все больные и родственники довольны, как много желающих попасть к ним.

— Они ведь не знают, за что здесь люди, но они знают, что у нас лечат. Мы — московской школы.

— Снежневского?

(С гордостью): — Да, Снежневского. Вы не думайте, у нас не экспериментируют, а лечат строго по методике. Нами все довольны, приезжают к нам и профессора.

Она еще долго говорила, как у них хорошо и как они заботятся о больных.

О переводе в прежнее отделение: — Это невозможно, там у нас соматическое отделение. Там находятся люди, у которых наряду с нервными болезнями и туберкулез, язва, печень. Мы часто перемещаем больных. Да там и места сейчас нет, некуда и койку поставить.

— А насчет писем и фотографий?

— Письма, знаете, их ведь много набирается, а могут прусаки завестись. У нас их, конечно, нет, но всякое может быть. А фото — ну, хорошо, это просьба скромная — и письма некоторые, я это постараюсь решить, думаю, можно будет оставить.

Да, школа была Снежневского. С ним я уже была «знакома»: в ответ на мой крик души получила уведомление о вручении. Он получил это письмо:

Андрей Владимирович!

29 января 1973 г. Киевский областной суд вынес постановление по делу моего мужа Леонида Ивановича Плюща: признать его невменяемым и поместить для принудительного лечения в психиатрическую больницу специального типа.

Основанием для этого послужила медицинская экспертиза, под которой стоит Ваша подпись как ее председателя.

Вам, может быть, неприятно будет читать это письмо, но, честное слово, писать мне его еще горше. Прочитайте, пожалуйста, его без предубеждения.

Не буду рассказывать обо всех унижениях человеческого достоинства, о циничном пренебрежении к закону, о следственных и судебных издевательствах, которым подверглась наша семья из-за Вашей медицинской экспертизы (если Вас интересует документальное изложение фактов, Вы найдете его в моем заявлении в Верховный Суд УССР о кассационном рассмотрении дела).

Скажу только о том, что непосредственно касается Вашей подписи.

Смею Вас уверить, что во всей этой истории Вы объективно не были самостоятельны. Вы только исполнитель чужого замысла. Буквально с первых же дней следствия над мужем сотрудники КГБ всячески подсказывали свидетелям их ответы о ненормальности Плюща, о его странностях. Следствием были подобраны именно сто-

ворчивые свидетели (мы, родственники и друзья Леонида Ивановича, видели большинство свидетелей впервые). Да и без свидетелей, уводя мужа из дому, сотрудники КГБ не сомневались, что Вы поставите свою подпись под «выводами» экспертизы.

В КГБ меня спрашивали о муже, когда он был уже направлен на экспертизу. На суде же мне запретили быть свидетелем или представителем мужа (ведь он не был допущен в зал заседания). Весь процесс был закрытым, мне запретили даже присутствовать в зале заседания. Суд не нуждался в свидетелях, знавших мужа, главным свидетелем была Ваша экспертиза. Еще до суда прокурор объяснил мне все это: «Мы здесь ни при чем, у нас есть выводы экспертизы».

Так, прикрывшись Вашей подписью, сотрудники КГБ увильнули от открытого суда над моим мужем.

Человеку свойственно ошибаться. Но если ошибка ведет к мучительству и жестокости — то это уже не ошибка. Это называется по-другому.

Чем Вы, Андрей Владимирович, руководствовались, ставя свою подпись?

Ведь каксе-то отклонение человека от общепризнанных норм, если оно не является болезненным, не есть еще признак шизофрении, даже если прикрываться весьма удобным и безразмерным термином «вялотекущая». Не мне Вам объяснять, что сомнениями и отклонениями от нормы, когда они становятся массовыми, осуществляется общественный прогресс. Норма — явление историческое, преходящее.

Сомневались и отклонялись от нормы Радищев и Чаадаев, декабристы и петрашевцы, религиозные подвижники и революционеры, обуреваемые *реформаторством*.

Какие бы выводы сделала Ваша экспертиза, если бы исследовала человека, вздумавшего бродяжничать, соблазнять людей душеспасительными притчами и в случае их внутреннего самоусовершенствования обещать им этический рай? Выводы об отклонении от нормы, о *мании мессианства*? А ведь именно таким был вождь

христианства, которое Ф. Энгельс назвал «массовым революционным движением», — Христос.

А если бы обследуемый, достаточно старый, чтобы довольствоваться достигнутым, вдруг тайком оставил дом, бросил жену и детей, протестуя таким странным образом против установившейся нормальности? Это ли не отклонение от нормы и отсутствие *критического* отношения к содеянному? А ведь так поступил Толстой.

Ну, а уж человеку, бросившему материальную обеспеченность и любимую работу и неожиданно решившему облагодетельствовать Африку, куда его никто не посылал, Ваша экспертиза приписала бы, по меньшей мере, *наивность суждений*. Так бы Вы, олицетворяя собой нормальность, определили деятельность великого Швейцера.

Так чем же Вы руководствовались, каким эталоном нормы, приписывая моему мужу «идеи мессианства, реформаторства, отсутствие критической оценки содеянного и наивность суждений»? Чем Леонид Иванович отклонился от нормы, защищаемой Вами?

Я познакомилась с мужем, когда ему было 19 лет (сейчас ему 33). У нас двое детей, старшему 13 лет, младшему — 7. Я люблю своего мужа, люблю так, что Вы и понять этого не сможете. Я благодарна судьбе, что моя жизнь наполнена этим человеком. Его арестовали 15 января 1972 года. С тех пор я больше его не видела, свидания с ним мне не дают. У меня отняли мужа, у наших детей — отца.

Мой муж — хороший, честный, умный и добрый человек. Уж кто-кто, а я, зная его 14 лет, имею все основания утверждать, что он душевно совершенно здоров и духовно абсолютно нормален. Леонид Иванович обладает высоким достоинством никогда, никому не переверять свой разум. Во всех своих мыслях, словах и поступках он руководствуется исключительно нравственными побуждениями и собственной совестью, а не номенклатурными соображениями.

То же о нем могут сказать все, кто близко знает его.

Ваша подпись швырнула этого человека в лечебницу *специального* типа на бессрочное заключение. Что значит это для вполне здорового человека, Вы знаете не хуже меня. Зачем, во имя чего Вам понадобилось сломить, смять, духовно уничтожить моего мужа? Какими высокими идеалами Вы руководствовались при этом? Ведь не взыскиваемыми с Плюща 73 рублями судебных издержек, в которые входит и стоимость Вашей экспертизы! Где Вы приобрели такую покладистую совесть, где изыскали моральное право обречь здорового человека на полную изоляцию среди душевнобольных и на незащитность перед любым произволом, не поддающимся никакому контролю извне?

Ведь это хуже тюрьмы, хуже каторги, хуже убийства. Как посмели Вы это сделать, Вы, давший клятву Гиппократа?! Вас не терзали сомнения? Вы не боялись захлебнуться горем и слезами детей Плюща?

Вы — палач моего мужа.

Не знаю только, сознательный или без умысла. У меня есть все же капля надежды, что Вы не сознавали содеянного. Если это так, то Вы приложите *все* усилия к тому, чтобы после кассационного рассмотрения этого дела (осталось около 2-х недель) Л. И. Плющ не был водворен в ту пропасть, которую Вы ему уготовили росчерком пера.

Если же случится, что мое письмо не попадет к Вам, я постараюсь довести его текст до Вашего сведения любым другим способом.

Киев-252147,
ул. Энтузиастов, д. 33, кв. 36
Житникова Татьяна Ильична

14 февраля 1973 г.

Письмо попало по назначению. Попадали по назначению и другие письма: адресат у всех был один — Комитет государственной безопасности. И неважно было, какой адрес стоял на конверте. Я знала это, на это и

рассчитывала. Выбора другого не было. С каждым свиданием Лене было все хуже и хуже.

Ответ я получила. Это не было письмо или извещение. Это было страшнее. Один из друзей (мы очень любили его) согласился стать посредником между мной и КГБ. Ультиматум был твердый — перестать писать и обращаться за помощью к общественности, иначе будет хуже.

Первый ответ: Нет! Ни за что! Никакого сговора с Государственными Бандитами.

И тут же: «А Леня? Могу ли я отвечать так? Ведь я-то здесь, а он — там!»

Поговорить, посоветоваться с ним? Можно ли, имею ли право взваливать на него это решение? Ведь он держится, он не сдается ни на какие их предложения, а я ему как нож в спину?

Нет!

А Лене все хуже и хуже: распух до невероятных размеров, уже и не разговаривает на свиданиях. Все время стараюсь подбодрить его, утешаю, веселю (а сама только думаю, как бы не расплакаться, не подать ему вида, что он такой страшный... Когда приезжает к нему мама, надо еще поддерживать и ее — Леня не должен видеть маминых слез).

Жизнь превратилась в сплошное ожидание — от свидания к свиданию: что еще они с ним сделали, как он? Галоперидол продолжают давать.

Наступил 1974 год.

4 января на свидание поехала с Танечкой Чернышевой (нет сил выходить после свиданий с одной и той же мыслью, что оставляю его опять одного в этом кошмаре). Танечка терпеливо ждет все пять часов на морозе, ведь даже увидеть через решетку в коридоре тюрьмы не разрешают. Ей только удалось заглянуть снаружи в глазок. И потом больше никто из друзей не смог увидеть Леню: охрана бдительно следила, автоматчик вставал спиной к глазку, чтобы и этой возможности не было.

Никогда в своей жизни я не ощутила, что значит

тепло дружбы, как в эти годы. Милая моя «сестренка» Танечка Чернышева, сколько ее таскали по КГБ, сколько увещательных «бесед» провели: зачем она обращается с такими плохими людьми, знает ли она, что ей грозит самой. И она, никакой не борец, не оппозиционер и не диссидент, отвечала только одно: «Буду ходить, буду помогать. У моих друзей горе, и я должна быть с ними». (Уже когда мы жили в Париже, получили от нее несколько писем и книг по детской психологии. Ушла из жизни и она — трагически, случайно... Даже последнего лениного письма ей КГБ не пропустило. Так и не свиделись они больше...)

А Лене опять хуже, и он вправду начинает походить на больного человека. Боюсь даже брать с собой на свидание детей, настолько страшно он выглядит.

17 января звонок в дверь. Звонок стандартный, привычный настолько, что уже и не вздрагиваешь. КГБ. Обыск.

ПРОТОКОЛ ОБЫСКА

г. Киев

17 января 1974 г.

Старший следователь УКГБ при СМ УССР по Киевской области капитан Берестовский, следователь этого же Управления старший лейтенант Вандин и старший оперуполномоченный УКГБ старший лейтенант Левуцкий по поручению следотдела КГБ при СМ УССР с участием понятых:...

...

с целью отыскания и изъятия предметов и документов, указанных в постановлении на обыск (а в постановлении указано «по делу № 62» (!?))

... был произведен обыск... в процессе которого обнаружено и изъято:

1. Машинописный документ (из-под копировальной бумаги) под названием «Этическая установка», начинается словами: «Заяц предупредил Медвежонка...», за-

канчивается: «... политической борьбы. И. Л. 1970», на одиннадцати пронумерованных листах папиросной бумаги стандартного размера. Обнаружен в (книжном) письменном столе в первой от входа комнате.

2. Письмо А. Твердохлебова к Житниковой Т. Текст письма на одной странице тонкой бумаги отпечатан на пишущей машинке, начинается словами: «Здравствуйте, Таня. Ко всем Вашим бедам...» и заканчивается: «... ко мне. 25 мая 1973 г. А. Твердохлебов»...

3. Магнитофонная лента типа 1. фабрики 3 на кассете ГОСТ 7704-61. При проигрывании этой ленты на ней обнаружена запись песни идейно не выдержанного содержания, в которой имеется фраза: «Достаю газетку-маму»...

4. Клочок бумаги из тетради в линейку с текстом, написанным фиолетовыми чернилами: «Шевчук Феде». В адрес Канады...

5. Книга В. Некрасова «В жизни и в письмах», изд. «Советский писатель», Москва, 1971. Изъята в связи с наличием на ней дарственной надписи: «Лене Плющу — с любовью и уважением. В. Некрасов. 17. IX. 71 г.».

6. Фотопленка 24×36 мм., экспонированная, на 33 кадрах ее засняты рукописные документы. На первом кадре текст начинается словами: «Здравствуй, мой хороший Леня...»

При окончании обыска в квартиру Житниковой зашла гр-ка Гильдман Клара Ефимовна, а через несколько минут после нее гр-ка Кригсман Наталья Борисовна...

По приходе Гильдман была осмотрена ее сумка и снятое ею пальто. У Кригсман было осмотрено снятое ею пальто. При осмотре этих предметов ничего не обнаружено и не изъято.

После протокола гр-ка Житникова заявила, что она возражает против изъятия фотопленки, на которой засняты письма ее мужа Плюща Л. И., и книги В. Некрасова с дарственной надписью ее мужу, поскольку она считает, что эти предметы не могут иметь отношения к какому-либо делу.

...
Гр-ка Гильдман от подписи отказалась, мотивируя, что она «не желает иметь дела с КГБ». Гр-ка Кригсман от подписи отказалась, заявив, что она делает это, поскольку считает себя гражданкой Израиля.

Обыск проходил тихо, «по-домашнему». Выдали даже «оправдательный документ».

СПРАВКА

Дана в том, что гр-ка Житникова Татьяна Ильична привлекалась мною для производства следственного действия по уголовному делу с 8.00 до 16.00 17 января 1974 г.

Старший следователь УКГБ при СМ УССР
по Киевской области капитан

(Берестовский)

Служебный телефон 918-542

«Следственное дело»... какое, по кому теперь? Как видно, связано и с Некрасовым (когда изымали книгу, бегали куда-то звонить — советоваться). Надо предупредить москвичей: ведь и пленка, и текст статьи «Этическая установка» готовился нами для книги о Лене для передачи ее за рубеж. Да и просто так, надо поделиться «новостями», услышать родные голоса друзей. А потом — к В. Некрасову, узнать, что у него, сказать об изъятой книге (благо, что «Справка» дает право сегодня уже не идти на работу).

Слежку за собой обнаружила сразу: значит, что-то серьезное. Подошла к дому Некрасова, заглянула в замочную скважину: странно, коридор завален кипами газет, горит свет.

— А, Татьяна Ильична! У вас уже что, закончили? На пороге незнакомый в штатском.

— А вам зачем сюда, разве мало своего обыска?

Оказалось, что к Некрасову пришли тоже в 8 утра и тоже по неведомому никому делу № 62.

В квартире все вверх дном, вся комната завалена книгами, бумагами. Кагэбистов в комнатах много, с трудом увидела хозяев. Меня завели на кухню, посадили рядом понятую. Молодая девушка, откуда-то из домоуправления, ей стыдно, неловко. Хозяева так мало похожи на уголовных преступников, и так много книг.

А кагэбисты обосновались, как видно, надолго: принесли термосы, пьют из них чай.

Через некоторое время разрешили войти на кухню хозяевам, мы сели обедать.

Разговариваем.

— Виктор Платонович, не надо об этом. (А мы — о Дзюбе, об арестах.)

Прошел час. Кагэбисты приходили и уходили, появлялось какое-то начальство, заглядывало на кухню:

— А вы, Житникова, что здесь делаете?

Пришла молоденькая девушка в форме прапорщика КГБ. Галина Викторовна, жена Некрасова:

— И вы в КГБ служите? Такая красивая, молодая... И вам не стыдно?

ПРОТОКОЛ личного обыска

гор. Киев

17 января 1974 г.

Сотрудники КГБ при СМ УССР прапорщик Томашевская по поручению старшего следователя следотдела КГБ при СМ УССР майора Колпака в присутствии понятых:

Бакулиной Натальи Ивановны, проживающей...

Кудимовой Валентины Ефремовны,...

Богуславец Виталины Семеновны,...

в квартире № 10 дома № 15 по ул. Крещатик города Киева, занимаемой гр-ном Некрасовым Виктором Платоновичем, с соблюдением требований ст.ст. 184, 188 и

189 УПК УССР, произвела личный обыск у гр-ки Житниковой Татьяны Ильичны, 1937 г. рождения, проживающей в гор. Киеве, ул. Энтузиастов, № 33, кв. 36, которая прибыла на квартиру гр-на Некрасова В. П. в дом № 15 по улице Крещатик, г. Киева, где в это время производился обыск.

Гр-ка Житникова Т. И. вошла в указанную квартиру в 16 часов 40 минут.

...

При личном обыске у гр-ки Житниковой Т. И. ничего не обнаружено и не изъято. Обыск производился с 17 ч. 35 мин. до 18 ч. 5 мин.

40 минут четыре женщины «работали» — одна перешивала швы одежды, заглядывала во всевозможные отверстия. Три других молча наблюдали, чтобы подписать, что «ничего не обнаружено и не изъято». А что они искали в ушах, во рту?

Что делать?

Слежка идет явная и круглые сутки. Прихожу на работу — из окна вижу машину, которая «отрабатывает» свои часы вместе со мной.

20 января. Еду в командировку в Крым.

Встречает на вокзале местное начальство — руководители дошкольного воспитания области. В этот же день мы должны из Симферополя выехать в Ялту. Едем машиной первого секретаря райкома партии (его жена, заведующая детским садом, тоже едет на семинар, где я читаю лекцию).

За нашей машиной сразу же другая, кагебистская. Проверить это легко: город небольшой, к тому же, никто из моих спутниц не догадывается о слежке, поэтому по городу едем разными дорогами, как удобнее. А петляющая машина сразу заметна. Случайно оказывается так, что в одном из переулков новых кварталов, где нам нужно было остановиться, «хвост» теряется. Мне смешно, жду, что будет дальше.

Выезжаем в горы, поднимаемся на перевал. На самом верху — дорожный пост автоинспекции. Нашу машину останавливают. Жена секретаря райкома возмущается: оказывается, и х машину останавливать не должны (милиция хорошо знает номера местного начальства). Шофер возвращается:

— Это не милиция. Это КГБ, спрашивали, кто едет в машине. Я перечислил.

Через некоторое время «заблудившаяся» машина нас догоняет.

В гостинице, где нас размещают, мне сразу же отводят номер вдалеке от моих коллег, в глухом коридоре и почему-то не с ними, а с какой-то девушкой.

Всю неделю работаю нормально: я в детский сад — и «они» за мной. Здесь уж и вовсе слежка неприкрыта — в горах, на крутых улочках приморских городишек, где зимой пусто и почти нет отдыхающих.

Филеров уже узнаю в лицо — их семеро.

Мои коллеги «знакомятся» с двумя мужчинами — приехали в командировку. Знакомят и меня.

27 января. Командировка кончается. В предпоследний вечер, после лекции, коллеги приглашают в ресторан. Предлагают пригласить и своих новых знакомых.

К сожалению, не могу рассказать, как и от кого я узнала о готовящейся провокации. Цель — напоить и сделать так, чтобы меня «нашли» в номере гостиницы у незнакомого мужчины и потом обвинили в проституции.

Во время ужина я поняла, что коллеги тоже привлечены к этой операции. Стал понятен неожиданный отъезд и возвращение старшей из них.

После ужина коллеги пригласили меня (и обоих своих «знакомых») продолжить беседу в номере одного из них. По дороге одна из коллег «исчезает». В номер мы входим вчетвером. Садимся. Тягостное молчание — все «участники операции» дрожат мелкой дрожью буквально (я предполагаю, что и мужчины не были профессионалами). Один из них под каким-то нелепым

предлогом встает и, увлекая за собой свою спутницу, быстро выбегает из номера, захлопывает дверь и закрывает ее на ключ.

Страшно мне не было — не успела испугаться, только быстро бросилась к двери и стала изо всех сил барабанить в нее. Я так быстро это сделала, что они не успели убежать, — только слышно было, как гулко разносился по коридору топот. Видно, стучала я очень громко, потому что мужчина вернулся назад и открыл дверь. Он что-то бормотал, но я уже не слушала. Пошла в свою комнату и бросилась на кровать.

Все произошло так быстро, что осознала я ситуацию, только немного успокоившись. Не спала всю ночь, не спала и «соседка» по номеру. За неделю я поняла, что это за «соседка»: ее рассказы, почему она находится в городе, в гостинице «Интурист» (простая телефонистка, по ее словам), были нелепы. К тому же ее рассказы были неуклюжи, а плохо поставленные и неаккуратно уложенные мои вещи говорили сами за себя.

Охватило отчаяние. Я так остро ощутила беспомощность одиночества среди людей, ужас от того, как легко и просто человека можно сломать. Зачем они это сделали? Отрадно было только то, что предупредили же меня, и предупредили люди чужие, незнакомые — им и вовсе это было ни к чему.

(После освобождения Леня рассказал мне, что о «факте» пребывания моего с «чужим мужчиной» ему сообщили в психушке. Даже место «преступления» указали и время — час ночи. Леня, написавший в свое время статью «Психологические методы на допросе», предвидел такое и, еще не угнетенный препаратами, намекнул мне в письме о своей реакции на такого типа «психологический метод». Такие методы давления на политзаключенного особенно циничны, и КГБ охотно пользуется ими, пытаясь сломать человека, разбить семью, внести раздор и подозрения.)

Утром позвонила в Москву к Ходорович, рассказала обо всем. Татьяна Сергеевна не выдерживает — догово-

риваемся, что она выезжает в Днепропетровск, где мы с ней встретимся (поезд из Симферополя идет через Днепропетровск).

30 января. Два часа ночи. Сижу на вокзале, ожидаю Татьяну Сергеевну. Вокруг почему-то собирается милиция. Каким-то чувством ощущаю, что это неспроста. Входит Татьяна Сергеевна. Подбегаю к ней. Нас окружают.

— Татьяна Сергеевна, пройдемте.

— Куда, в чем дело?

— Пройдемте, нам надо поговорить. Пройдемте в отделение милиции.

Повели. Это тут же на вокзальной площади. Татьяна Сергеевна несет мешок — привезла продукты для Лени: консервы, колбасу (в Киеве этого нет). Мешок передать не разрешили. Ее завели в комнату. Меня не пустили.

Через некоторое время мне предложили зайти в соседнюю комнату. Милиционер встал в дверях, не выпускает. Слышу голос Татьяны Сергеевны — ее уводят. Выскакиваю мимо милиционера — машина уже отъезжает. Куда? Почему ее забрали?

В ту ночь уже казалось, что сил больше не хватит: за последние две недели — обыск, слежка, история в Крыму, арест Татьяны Сергеевны. На утро свидания не дали — «карантин». Это было странно; предварительно я отправила телеграмму-запрос о возможности свидания. Сообщила, что приеду 30 января. В тюрьме объяснили, что ответили мне. Действительно, в Киеве лежала телеграмма, но отправленная почему-то в 11 часов 40 минут, а я была в тюрьме в 10 часов утра.

Возвратилась в Киев в совершенном отчаянии: что с Татьяной Сергеевной? Неужели арестовали? Чего еще ожидать?

Не было сил идти домой: там надо быть собранной, ведь дети смотрят. Зашла к Илье Владимировичу Гольденфельду. Профессор физики, он за год до ареста взял Леню к себе на работу в лабораторию. После ареста

Лени мы особенно сблизилась, в его доме я всегда могла найти поддержку и утешение.

Пошли с ним на телеграф. Слава Богу! На этот раз пронесло — Татьяну Сергеевну отправили самолетом в Москву: ей запрещено приезжать в Днепропетровск, так как Днепропетровск — закрытый для иностранцев город, а она знакома с иностранцами.

Вечером зашел знакомый, которого я плохо и поверхностно знала. По секрету сообщил: ему известно, что была медицинская комиссия и продлила срок пребывания Лене и что состояние его тяжелое. Откуда-то он узнал, что уже есть решение и о моем аресте.

Что это? Новая провокация?

А чтобы закончить о провокациях, расскажу еще об одной, которая последовала вскоре. Схема и цель была все та же — компрометировать и шантажировать.

Однажды вечером пришла к Некрасову. Он был в отъезде, и в это время у него жил Илья Владимирович. Засиделись допоздна. Звонок, и опять знакомый. Милиция с понятыми:

— У нас есть сигнал от соседей, что тут идет попойка и находятся какие-то подозрительные люди.

Проверили документы. Довольны. Составили протокол.

Привлекли к этому и моих родителей — посветили, предложили повлиять. Тут я не выдержала, рассказала родителям и о Крыме (до этого я мало что им рассказывала). Отец пошел узнать, ему ответили:

— А зачем она в ресторан ходит?

Февральское свидание состоялось — состояние такое же, дают инсулин.

Отправила письмо Подгорному с просьбой выпустить за рубеж. Ответа нет. Только вызвали отца в райком партии и сообщили о моем письме, опять угрожали отобрать детей.

Узнала, что Андрей Дмитриевич Сахаров обратился на Запад в защиту Лени.

16 июля с.г. я обратилась к Вам с просьбой оказать моей семье содействие в выезде за границу. Ответом на эту просьбу я рассматриваю беседу в областном КГБ УССР с т. Бондаренко А. Ф., который объяснил, что органы КГБ не имеют отношения к моему вопросу.

Такой ответ меня не убеждает по ряду причин.

Следствие органов КГБ привело моего мужа Плюща в психиатрическую тюрьму, так как уже с первых дней оно велось с таким уклоном (еще до всяких экспертиз).

В беседах, которые имели место в марте и мае месяце сего года, сотрудники областного КГБ т. Давиденко М. С. и Бондаренко А. Ф. совершенно определенно объяснили мне, что положение Леонида Ивановича целиком зависит от моего поведения. Имелось в виду, что я перестану обращаться в различные организации, и в свою очередь прекратятся требования общественности освободить Леонида Ивановича. И как «выполнение» этих условий Леонид Иванович был переведен в апреле месяце в другую камеру, где ему заменили введение галоперидола на инсулин («Вот видите, как мы сдержали свое слово», — сказал мне Давиденко).

Одновременно с этим и в отношении меня были предприняты всякого рода провокации и шантажи. Это и очередной обыск по неведомому мне делу № 62 (?). Имела место и прямая провокация с целью скомпрометировать меня и представить перед коллегами женщиной легкого поведения. Сотрудники органов КГБ в беседе с моим отцом не отрицали своей информированности об этом, не говоря уже о свидетелях.

И, само собой, уже ставшая привычной слежка, запрещение публикации моих работ.

Да и само лечение, как и нахождение мужа в спецтюрьме ставится в зависимость от выполнения им предложений, далеких от медицины. Так, ему снова предложено сделать публичное письменное заявление такого

же характера, как в свое время сделал Якир и Красин, т.е. признать, что все действия Леонида Ивановича по защите прав человека носили антисоветский характер. А на вопрос, от чего же лечат Леонида Ивановича, лечащий врач ответил: «Он должен изменить взгляды».

Все это: и сам факт помещения в спецтюрьму, и так называемое «лечение», при котором здоровому человеку вводят препараты, разрушающие психику, и обстановка вокруг нашей семьи — без сомнения для меня связаны с функциями органов КГБ.

Вопрос о выезде за рубеж мной и мужем обстоятельно обдуман, поэтому я вновь обращаюсь к Вам за содействием в отмене принудительного лечения Леонида Ивановича и выезде нашей семьи за рубеж.

Житникова

Отправила в городской ОВИР бумаги для оформления выезда. Порядок оформления таков, что требуют характеристику с места работы.

Решила с работы уйти: вопрос о выезде внутренне уже был решен, нужно было направлять на это все усилия.

А главное для меня все же было не в этом. Больше уже не могла жить двойной жизнью. Раздвоенность становилась все невыносимее. Ходить по понедельникам на политзанятия, долбить, как попугай, идиотизм официальной пропаганды, слушать лекции о «националистах-сионистах», молчать, когда поносят Солженицына и Сахарова, а вечером читать того же Солженицына и привозить самиздат с письмами Сахарова.

Уволилась — стало легко на душе. Решила искать работу какую-нибудь ручную, не связанную ни с какой идеологией.

...

В начале августа Лене отменили инсулин, в последние дни он уже был в предшоковом состоянии. Начали давать трифтазин.

Сонный, вялый, но все же легче, чем при инсулине и галоперидоле.

В камере душно, прогулка один час. Одежду (нижаму и нижнее белье) стирает сам в умывальнике, сушит на кровати. Предложила передавать чаще белье — не хочет: лучше казенное, его все-таки меняют. Спрашиваю о сокамерниках:

— Всех их мне очень жалко.

Трифтазин все увеличивают, уже дают по 45 миллиграмм в день. Плохо с глазами — трудно читать.

Начальнику медотдела МВД УССР

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мой муж, Леонид Иванович Плющ, с 15 июля 1973 г. находится в специальной психиатрической больнице г. Днепропетровска.

С 29.XI. 74 года его состояние резко ухудшилось в связи с введением ему недопустимо больших доз трифтазина.

Поскольку год назад аналогичные инъекции галоперидола довели его до почти полной потери жизнедеятельности — он не мог разговаривать, читать, писать, передвигаться, — у меня возникли опасения, что и на этот раз его хотят довести до такого же состояния.

Мои опасения полностью подтвердились, когда 13 декабря от имени начальника учреждения мне предложили явиться на следующий день, т.е. 14 декабря. Но 14 декабря свидания не дали. Не увидела я и подполковника Прусса, так как, по сообщению медицинского персонала, он срочно отбыл в командировку. Ни один из мотивов, по которым мне отказали в свидании, не представляется достоверным. Достоверно для меня другое: мой муж доведен опять до такого состояния, что мне бояться его показать. Моя уверенность основана еще и на том, что в течение месяца я не получила от него ни одного письма.

Ввиду того, что в последнее время я обращалась в различные советские инстанции с заявлениями о выезде за границу, я расцениваю нынешнее состояние моего мужа как ответ органов ГБ на мое законное право на эмиграцию, как шантаж и запугивание, как психологическое давление на меня. Я расцениваю это как практику заложников: мой муж находится в руках МВД — организации, никому не подотчетной. Весь мой опыт трехлетней борьбы за освобождение Плюща и защиты его прав и человеческого достоинства подтверждает это.

Напоминаю: Леонид Иванович болен туберкулезом, он инвалид, его здоровье, плохое и до заключения, совсем подорвано пребыванием в тюрьме и в спецпсихбольнице. Препараты, которые ему вводят, рассчитаны на тяжелые формы шизофрении.

Леонид Иванович психически абсолютно здоров. Но даже если ориентироваться на тот лживый и бездоказательный диагноз, который ему был поставлен в институте им. Сербского, то это «вялотекущая форма шизофрении», не предполагающая такого жестокого курса «лечения».

Ни Вы, ни Ваши подчиненные не можете гарантировать благополучного исхода при таких препаратах и дозах. Я опасюсь уже не за здоровье, а за жизнь моего мужа.

Я требую немедленно, в течение ближайших суток, свидания. В противном случае я намерена обвинить персонал Днепропетровской спецпсихбольницы в сознательном и намеренном убийстве моего мужа Леонида Ивановича Плюща.

16 декабря 1974 г.

Ответа не последовало . . .

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим ходатайствую о возбуждении уголовного дела против медперсонала Днепропетровской специальной психиатрической больницы, в которой с 15 июля 1973 г. находится мой муж Леонид Иванович Плющ.

У меня есть все основания (аргументация будет мною изложена при расследовании) привлечь к судебной ответственности всех тех, кто имел и имеет отношение к содержанию и лечению моего мужа в указанном учреждении.

В течение полутора лет моего мужа *сознательно* неправильно лечили. Это дает мне право расценивать действия медперсонала больницы как преступные и требовать их судебного разбирательства.

Конкретно ходатайствую о возбуждении уголовного дела по ст.ст. 165 и 172 УК УССР в отношении начальника Днепропетровской специальной психиатрической больницы (г. Днепропетровск, ЯЭ 308/РБ) подполковника медицинской службы Прусса Ф. К., против лечащего врача моего мужа, начальника 9-го отделения больницы Часовских Л. А.*, против бывшего лечащего врача моего мужа, начальника 12-го отделения этой же больницы Каменецкой Э. П.

Методы и продолжительность (полтора года) лечения, а также условия, в которых оно проводится, свидетельствует о том, что здесь речь идет не о профессиональной ошибке, уголовно не наказуемой. Речь идет о преднамеренном разрушении физического и психического здоровья Л. И. Плюща усиленными дозами медицинских препаратов в течение длительного времени в антисанитарных условиях.

За время пребывания в больнице у моего мужа появились боли в желудке и в сердце; введение препара-

*) Я не имела возможности узнать фамилию лечащего врача, поэтому ошиблась. Настоящая фамилия ее Любарская.

тов не раз вызывало у него отеки и подавленное психическое состояние. Здоровье его разрушается, жизнь в опасности.

Неоднократно я взывала к гуманности и милосердию. Но в ответ не было даже и капли сочувства. Теперь я полагаюсь на Ваше срочное вмешательство.

20 декабря 1974 г.

Житникова

Одновременно с этим я обратилась в международные ассоциации юристов и ассоциацию врачей-психиатров:

... Я обращаюсь именно к этим организациям, ибо сейчас речь идет не о защите прав человека, а о совершенно конкретных нарушениях принятых во всем цивилизованном мире (в том числе и в Советском Союзе) законов, касающихся юрисдикции и здравоохранения.

Я не сомневаюсь в том, что и в Советском Союзе есть адвокаты, которые могли бы представлять в суде мои интересы, как это бывает в тех случаях, когда они защищают интересы частного лица в его конфликте с государственным учреждением. Есть и честные врачи-психиатры, которые понимают всю абсурдность диагноза и всю преступность так называемого «лечения». Но те государственные организации, которым я предъявляю обвинение, находятся вне досягаемости обычных общественных институтов. Это закрытый мир, в который ни достучаться, ни докричаться нельзя. И только поэтому я обращаюсь к международной общественности и международным организациям.

Моя цель — осуществление законного права на эмиграцию всей моей семьи.

Эмиграция, как было официально объявлено ответственным сотрудником Киевского городского ОВИРа, возможна только в случае, если (и когда) Леонид Иванович Плющ будет на свободе. Но на свободе он может

оказаться *только* в случае признания его здоровым (или выздоровевшим).

Таким образом, все опять сводится к событиям в Днепропетровске.

О резком ухудшении состояния Леонида Ивановича я сужу по тому, что за мной опять началась неприкрытая и круглосуточная слезка. Ее начало совпадает с отказом мне в очередном свидании.

Значит, меня хотят запугать, понимая, какие выводы я сделаю из отказа в свидании. Меня хотят заставить молчать. Это — прямое признание органами МВД тяжелого положения Леонида Ивановича Плюща, и весь мой предыдущий опыт подтверждает это.

Я поставлена в положение, при котором все мои действия упираются в действия МВД, ибо и ОВИР, и спецпсихбольница закреплены за этим ведомством.

Я хочу прорвать этот заколдованный круг. Я прошу помощи. Я со всей ответственностью заявляю, что речь идет о человеческой жизни.

Житникова

Вскоре последовал и «ответ».

Опять через «посредника». От имени заместителя Андропова мне было предложено заняться оформлением опекунства — дескать, тогда можно будет и говорить о выписке. Более конкретный ответ было обещано дать со дня на день. Иногда даже говорилось, что Лене, возможно, выпустят в конце января. «Возможно» звучало даже как «почти точно».

И хотя инстанция, которая обещала это, называлась очень внушительно, я знала, что это какая-то оттяжка, уловка. Как выяснилось впоследствии, когда мы уже были здесь, на Западе, нужна была только оттяжка: оказывается, каким-то «сотым» пунктом в переговорах Брежнева с Фордом во Владивостоке стоял и вопрос о Лене. Форд благополучно уехал, опять была «скрепле-

на» дружба между американским и советским народом, и все осталось по-прежнему.

Я все же решила последовать совету «доброжелателя» из КГБ попробовать оформить опеку. Пошла по инстанции. Но оказалось, что это не просто.

Председателю
Дарницкого райисполкома г. Киева

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я снимаю свое предыдущее заявление в Дарницкий райисполком с просьбой об опеке над моим мужем Плющом Леонидом Ивановичем, находящимся в данное время в спецпсихбольнице (г. Днепропетровск, п/я ЯЭ 308/РБ).

Мотив отказа: поскольку опеку означает признание наличия психического заболевания у опекаемого, я отказываюсь от опеки, так как не признавала, не признаю и никогда не признаю своего мужа душевнобольным, не соглашалась, не соглашаюсь и не соглашусь никогда с поставленным ему диагнозом.

16. 1. 75 г.

Житникова

Мне объяснили процедуру оформления: я должна сама подать в суд заявление, что признаю мужа больным и прошу передать его мне под опеку. Но и это не решало вопроса, так как могли принять мое заявление, признать его сумасшедшим на этом основании и одновременно не передать мне под опеку. Основания для этого были: моя «политическая неблагонадежность» и «тунейство».

ОТРЫВОК ИЗ СТАТЬИ Т. ХОДОРОВИЧ
И Ю. ОРЛОВА

*«Леонида Плюща превращают в сумасшедшего.
С какой целью?»*

... Получасовое свидание 10 февраля 1975 года. (Свидание разрешено, несмотря на объявленный карантин. К чему бы это?)

Вводят Леонида Плюща. Лицо опухшее, с красными пятнами, очевидно, следами только что перенесенного рожистого воспаления. Но не это главное.

Главное, пугающее и новое, — пустые, ничего не выражающие глаза: бессмысленный, лишенный интеллекта взгляд; полное отсутствие эмоций; безразличие и вялость. Даже при виде жены потухшие глаза не оживляются, выражение лица не становится осмысленным.

Плющ молчит: ничего не рассказывает, ни о чем не спрашивает, даже о детях.

— Ты плохо себя чувствуешь?

— Все хорошо.

— У тебя болит сердце?

— Все хорошо.

— Температура?

— Все хорошо.

Это не он! Это — психически больной человек. Обратимо ли это? Станет ли он прежним?

Из коротких ответов — и только на прямо поставленные вопросы — жене удастся узнать следующее:

Леонид Плющ по-прежнему находится в той же палате, среди буйных сумасшедших. Не гуляет — холодно, вообще не хочется, «трудно все это». Читать не может, писать письма тоже. Все время лежит, много спит. Принимает два раза в день по 3 таблетки какого-то препарата.

Вот и все.

После свидания состоялась беседа Т. Житниковой с главным врачом Пруссом.

— В связи с ухудшением психического состояния Вашего мужа мы перевели его в надзорную палату.

— В чем выразилось это ухудшение?

— Вы же сами жалуетесь, что не получаете от него писем. Он не хочет писать — это и есть симптом ухудшения. И еще вялость. Вы же сами только что в этом убедились.

(Так вот почему дали свидание даже во время карантина!)

— Но ведь такое состояние наступает у него только после введения ему лекарственных препаратов! И, кроме того, разве «вялого» человека надо помещать вместе с агрессивными больными?

— Мы не обязаны давать Вам отчет в своих действиях, лечении, диагнозе: у нас инструкция.

Дома Т. И. Житникову ждал ответ от заместителя начальника медотдела Министерства внутренних дел СССР Попова:

«Сообщаем Вам, что, действительно, психическое здоровье Вашего мужа несколько ухудшилось. В связи с этим он был помещен в наблюдательную палату (а не камеру, как Вы ее назвали). Содержание в этой палате никакой опасности для его жизни и здоровья не представляет. Лечение его проводится по медицинским показаниям. Дозы лекарственных препаратов ему назначаются с учетом его психического и соматического состояния и не могут вызвать какого-либо ухудшения его здоровья. Сведения о его здоровье Вы регулярно получаете в беседе с врачами и на свиданиях».

... И опять пишу письма, пишу сама, пишут друзья, обращается ко всему миру Сахаров.

Реакция однозначная — шантаж.

После свидания хотела сразу же поехать в Москву. Прихожу на вокзал — билетов на московский поезд нет. Через три часа будут два проходящих. Хожу по городу — слезка обычная, филеры те же, что и раньше, узнаю

их по лицам. На этот раз приехала со мной Тамара Левина из Харькова, близкий наш друг, она хотела попытаться увидеть Леню. На улице холодно, некуда деться. Решили зайти в кинотеатр погреться. В очереди за билетами сзади встала женщина-филер. Тамара обернулась к ней: «Пойдем в кино?» — «Да», — радостно ответила та (они ведь тоже мерзнут, мы-то хоть иногда можем в кафе зайти, а им, видно, нельзя, торчат за дверьми).

Поэтому когда стояли в кассе за билетами на Москву, не удивлялись, видя филеров. Станным было то, что кассир долго не выдавала билеты. Поезд уже должен был отходить, когда она, извиняясь (было видно, что и сама она ничего не понимает), сказала:

— Извините, но билеты почему-то сказали не продавать.

Стало ясно, что в Москву не выпускают. Пришлось ехать домой.

Решила съездить в Москву обязательно, обратиться непосредственно в Министерство внутренних дел. Учла опыт Днепропетровска: решила ехать автобусом, который не доходит до Москвы, а только до Орла. И уже оттуда добираться в Москву. Билеты покупала Клара Гильдман, она тоже решила ехать со мной «на всякий случай». Все разыграли, как в дешевом детективе. Я подошла к автобусу без вещей (все они были у Клары). Села в автобус в последнюю минуту. За окном остались несколько растерянные кагебисты (их машина сопроводила меня от самого дома). Но... это все же не Сименон и не Кристи. При выезде из города автобус остановило дорожное ГАИ. Придется возвращаться домой.

В автобус вошел милиционер-регулирующий и «товарищ в штатском». Не колеблясь, направились прямо к нам.

— Татьяна Ильична, выйдемте!

— Почему?

— Выйдемте, мы вам все объясним!

— Не выйду, у меня есть билет, и я должна ехать! Не вижу оснований для задержания!

Попросила документы. Предъявили. Капитан милиции.

— Вы же понимаете, что автобус все равно не пойдет, пока вы не выйдете. Из-за вас вот люди нервничают, выходите.

Люди, действительно, нервничали. Сначала ничего не понимали: почему снимают человека с автобуса? Когда я громко стала протестовать, спрашивая, на каком основании меня ссаживают, кто-то даже поддержал:

— А действительно, по какому праву? У нее же есть билет.

Но время шло. Автобус стоял. Прошел час, и видно было, что на самом деле не пойдет, пока я не выйду. Ситуация была непонятна для окружающих, хорошо знакомых с милицией: с одной стороны, если требуют, надо выполнять; а с другой — почему такие тихие, почему так вежливо обращаются. Да видно, и на «клиентов» милиции мы были мало похожи.

Посоветовалась с Кларой — решили выйти. Действительно, почему должны страдать люди, ведь до Орла еще целую ночь ехать, а завтра понедельник, людям на работу.

Выйшли, нас провели в будку регулировщиков. Опять спрашиваю, на каком основании ссадили с автобуса:

— Вам завтра надо явиться в милицию, в районное отделение. Дома вас ждет повестка.

— Но я только час тому из дому, никакой повестки там нет.

Отвезли домой. Действительно оказалось, что недавно пришел милиционер и принес вызов в районное отделение милиции.

В милиции допрос: почему не работаю? На какие деньги живу? Дали подписать бумагу — предупреждение, что если не устроюсь на работу в течение двух недель, то буду привлечена к судебной ответственности за тунеядство.

В марте состояние Лени прежнее. К апатии и сонливости добавилась сильная отечность. Он все еще в надзорной палате и принимает все те же таблетки. В палате старается отключиться, уйти в себя. Такое, теперь уже привычное для него отключение случается с ним и во время свиданий. Взгляд тухнет или устремляется куда-то мимо. В это время он ничего не видит и не слышит. Приходится его окликать, и тогда он «возвращается».

На это невозможно смотреть. Осторожно начинаю уговаривать его написать заявление и в нем признать, что он оценивает статьи как «отклонение от нормы». Но Леня твердо заявил: «Писать им я ничего не буду».

В Днепропетровской прокуратуре, куда вызвали наконец, четко было сказано, что мне отказано в возбуждении уголовного дела против врачей Днепропетровской больницы, поскольку в конце марта медицинская комиссия под председательством профессора Блохиной (которая возглавляет по поручению Министерства здравоохранения СССР постоянную комиссию в спецтюрьме) проверила лечение и условия содержания Плюща и не нашла никаких нарушений. (На следующем свидании Леня опроверг это: никакой комиссии не было, и его никто не обследовал.)

Прокурор сообщил даже новый диагноз — «шизофрения в паранойяльной форме», — который поставлен теперь Лене. Стал говорить о том, что ему известно о появлении во французской печати статей о Плюще и что он советует обращаться не в западные газеты, а в советские инстанции: «Ведь вас могут привлечь за клевету!»

... У преступления есть своя логика, преступная логика: оно не ограничивается уже содеянным, но разрастается, влечет за собой преступление новое и еще более страшное.

Сначала — заведомо лживый диагноз, потом «лечение», не соответствующее, преступное по отношению к

тому же лживому и преступному диагнозу; «вялотекущую шизофрению» не лечат галоперидолом, инсулином и трифтазином. Что произойдет на следующем этапе? Чем завершится этот логически неизбежный процесс санкционированного и спровоцированного государством преступления?

Предугадать нетрудно! Либо не выдержит телесное здоровье Леонида Ивановича, и тогда наступит смерть физическая. Либо рухнет природа воли и духа, которую воздвиг он в отчаянной борьбе со своими палачами, и тогда наступит смерть духовная. Я с полной ответственностью утверждаю, что то и другое равно возможно, что времени осталось мало, может быть, его уже нет совсем. Человек послан в мир не для того, чтобы доказывать свое превосходство над изделиями химической промышленности . . .

(Из статьи Т. С. Ходорович «Эскалация отчаяния», самиздат).

Опять еду в Москву. Вместе с Юрием Орловым идем в Медицинское управление МВД СССР, передаю заявление, в котором ходатайствую о приостановлении лечения мужа нейролептиками до рассмотрения Киевским областным судом (куда я в настоящее время обратилась) вопроса о принудительном лечении и о переводе Леонида Ивановича Плюща из Днепропетровска в другую больницу.

В этот же день мы с Юрием посетили академика Снежневского. Он не знал, кто мы (его сбила с толку фамилия и звание Орлова — доктор, профессор), и поэтому открыл двери и впустил. Вынужден был прочитать и мое заявление.

Андрей Владимирович!

12 октября 1972 г. экспертиза института им. Сербского, в которой и Вы принимали участие, диагностировала

моему мужу Леониду Ивановичу Плющу «вялотекущую шизофрению».

Ни я, жена Леонида Ивановича, ни его мать и сестра, ни один человек из круга родственников, друзей, просто знакомых или бывших сослуживцев мужа — никто не поверил в правдивость, профессиональную добросовестность и научную истинность поставленного в институте им. Сербского диагноза.

В диагнозе усмотрели приговор политически неуголному инакомыслящему, вынесенный заинтересованной организацией и реализованный, осуществленный руками покладистых и послушных врачей.

... К Леониду Ивановичу применяется лечение абсурдное, а значит, преступное и с точки зрения международных психиатрических норм, и с точки зрения норм, принятых в советской психиатрии: ведь в обычных, «нормальных», т.е. не подведомственных МВД, психбольницах «вялотекущую шизофрению» нейролептиками не лечат.

Я квалифицирую это сознательное и преднамеренное уклонение от установленных норм как чудовищную попытку медицинскими препаратами. Цель этой попытки «лечением» — вызвать симптомы, совпадающие с признаками шизофренического заболевания.

И Ваши коллеги добились поставленной цели: Леонид Иванович теряет память, трудоспособность, интерес к книгам, науке, близким, т.е. всему тому, что составляло подлинный смысл и содержание его жизни не только на свободе, но даже и в нечеловеческих условиях Днепропетровской спецпсихбольницы до тех пор, пока его не подвергли длительному интенсивному «лечению». Из Медицинского отдела МВД УССР я получила уведомление об *ухудшении состояния* Леонида Ивановича.

Стало быть, единственный вывод, к которому я могу прийти, — это вывод о том, что *ухудшение* наступает в *результате* «лечения», а единственный вывод, к которому может и должен прийти любой честный врач-психиатр, — это вывод о том, что ухудшившееся состояние

есть не что иное, как *нейролептический синдром*, который всякий раз снимается после прекращения «лечения» нейролептиками.

Леонида Ивановича «лечат», чтобы он стал больным, и он болен, потому что его «лечат».

... Я уже требую не справедливости, но хотя бы логики, есть предел, за которым несправедливость переходит в откровенный цинизм, попирающий не только право и достоинство человека (это делает несправедливость), но само существование таких понятий. Представители «самой гуманной профессии» перешли этот предел: не диагноз у них предопределяет лечение, но лечение предопределяет и определяет диагноз.

Я обращаюсь в Киевский областной суд с заявлением об отмене принудительного лечения и требую Вашего немедленного вмешательства. Вы, признанный глава советской психиатрической науки и один из авторов диагноза, обрекшего моего мужа на бессрочное заключение в тюремную психиатрическую больницу, несете полную моральную и профессиональную ответственность за все происходящее.

Я требую, чтобы до решения суда Леонида Ивановича перестали накачивать нейролептиками: очередная медицинская комиссия должна увидеть перед собой *человека*, а не *воздействие на человека* варварски, бесчеловечно применяемых медицинских препаратов.

7 апреля 1975 г.

Т. Житникова

КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ЛЕОНИДА ПЛЮЩА

В день защиты Леонида Плюща я считаю необходимым огласить несколько эпизодов.

1. Девятого апреля 1975 г. я вместе с женою Леонида Плюща посетил Медицинское управление МВД. Посреди длинного разговора ответственный чиновник управления, в частности, заявил: «Вы плохо относитесь прежде

всего к самому Плющу. Разве лучше было бы ему пойти в лагерь?»

2. В этот же день, вечером, нам удалось посетить известного психиатра проф. А. В. Снежневского на его квартире. В ходе напряженной беседы он задал нам, между прочим, следующий поразительный вопрос: «Разве лучше было бы для Плюща получить 7 лет строгого режима?»

3. Жене Плюща Татьяне Житниковой через подставных лиц было еще раз передано, что способы принудительного лечения Плюща прямо зависят от ее поведения: если она перестанет апеллировать к мировому общественному мнению, то по прошествии 1-1,5 лет Леонид Плющ может быть переведен из спецпсихбольницы в больницу общего типа. В противном случае ему будет хуже.

Я полагаю, что факты эти не нуждаются в комментариях. Могу сказать только то, что уже высказывал профессору Снежневскому: *аналогичные методы были осуждены Нюрнбергским трибуналом.*

22 апреля 1975 г.

Проф. Ю. Орлов

Снежневский обещал нам, что попросит директора института им. Сербского Георгия Морозова немедленно направить своих экспертов в г. Днепропетровск, где находится Плющ.

Ни ответов на письма, ни комиссии экспертов так никогда и не было.

Я обратилась также к участникам митинга в защиту Леонида Плюща, который состоялся 23 апреля в Париже. Международный комитет математиков, который проводил этот митинг, уже два года вел борьбу за его освобождение здесь, на Западе.

... Со дня ареста моего мужа прошло три с половиной года. Из них год он провел в тюрьме, остальное время в спецсикхбольнице г. Днепропетровска. О тюрьме он вспоминает как об утраченном рае: там можно было разговаривать, читать, а главное, там не «лечили».

На Западе о Леониде Ивановиче вышли две книги, печатались статьи, собирались подписи. Из разных стран звонили врачи-психиатры, члены ассоциаций и обществ по защите прав человека и политзаключенных, незнакомые люди присылали письма, исполненные сочувствия и понимания.

Я не ощущала себя одинокой, оставшейся один на один с огромной и жестокой государственной машиной, способной отнять у меня детей и свободу, как она уже отняла мужа. Но главным было даже не это внимание и участие: каждый раз, узнавая о новом шаге в защиту Леонида Ивановича (книга, статья, выступление, обращение, подписи, запрос), я думала: «Теперь все, выпустят. Ну, пусть не выпустят, но хотя бы прекратят пытку «лечебными» препаратами, дадут передышку. Останутся. Подумают. Пусть не из милосердия, не из добрых побуждений, так ради собственного престижа и морального авторитета. Нужно ли, «прагматично» ли из-за *одного* своего ослушного и недостаточно дойяльного гражданина возбуждать негодование и протест, скажем, *пятисот* французских математиков?» Оказалось, что у советского государства свои представления о «разрядке», о престиже и моральном авторитете.

Сейчас, по истечении трех с половиной лет, я могу с уверенностью сказать: мой разговор, «диалог» с государством не состоялся и состояться не может, ибо у государства на все один ответ: я посылаю жалобы, заявления, прошения, документы во все мыслимые советские инстанции — от районного суда и до ЦК — Леонида Ивановича «лечат»; в защиту мужа выступают международные организации, пресса, общественное мнение Запада — Леонида Ивановича... «лечат».

В КГБ прямо, а потом по каким-то таинственным ка-

налам, идущим от них ко мне, предлагают помолчать, успокоиться, и тогда, по их словам, все решится к обоюдному удовольствию — Леонида Ивановича все равно, даже во время этих переговоров со мной, «лечат», увеличивают дозы, ограничивается время свиданий, не выдаются книги, письма. У такой эскалации есть свой предел, дозы они могут повышать, но Леонид Иванович не в силах переносить их.

Я хочу сказать, что того Леонида Ивановича Плюща, «математика Плюща», как называют его в передачах западных радиостанций, о котором написали книги и статьи, чьи письма и работы опубликованы, того Леонида Ивановича, которого знала я, дети его, родные, близкие, друзья, — такого Леонида Ивановича больше не существует. Есть доведенный до предела мучений, теряющий память, способность к чтению, письму, размышлению, бесконечно больной, уставший человек.

И те, кто непосредственно, своими руками убивает его, знают об этом, знают, что совершают преступление. Если раньше мне казалось, что я имею дело с послушными чиновниками, которых и обвинять-то по-настоящему нельзя, ибо они «не ведают, что творят», то теперь я убеждена в обратном: ведают — и творят. «Ведают» все: от врачей Института Сербского, на пытку безумием пославших заведомо психически здорового человека, до начальника охраны, который приказал часовому с автоматом в руках закрыть глазок в двери, чтобы наш близкий друг, приехавший со мной в Днепропетровск, не увидел, что они с ним сделали.

... Мое положение мучительно, дети издерганы, они живут в постоянном напряжении и страхе за меня. Возвращаясь домой, я всегда вижу бледные, настороженные лица своих сыновей: они боятся, что наступит день, когда и я исчезну, как отец. Круг знакомых редет. Мы — отверженные, «меченые», общаться со мной в наших условиях — значит проявлять мужество, на которое способны немногие. Вокруг — обычная, нормальная жизнь со своими радостями и заботами, жизнь,

из которой мы исключены, вычеркнуты, ибо нет для моих сограждан ничего страшнее, чем печать «политической неблагонадежности», которую ставит КГБ.

Чего я хочу от государства, в котором живу? От общества, в котором выросла и воспитывалась? Милосердия. Но почему я должна просить о милосердии? В милосердии не отказывали и преступникам, вина которых доказана и признана, и потому остается уповать только на милосердие.

Но кто преступник? В чем преступление? Преступление — мыслить, быть самим собой, жить в согласии с совестью, подчиняясь нравственному долгу, а не навязанным правилам благонравного поведения?

Я отдаю себе отчет в том, что в мире существуют проблемы первостепенной важности, что мы живем в трагическую эпоху, когда угроза всеобщей гибели отодвигает на второй план трагедии индивидуальных судеб. И все же я уверена в том, что в данном случае речь идет не столько об отдельном человеке, сколько о самой сути человеческого бытия, о таких его принципах, разрушение которых ставит под сомнение саму нашу способность сопротивляться злу и смерти.

Нет «дела Плюща» — есть дело человеческой свободы, человеческого достоинства.

Если мир привыкнет к преследованию свободной и независимой мысли, к аморальности и полной безнаказанности поступков, совершаемых государством, ответственным за судьбу всего человечества, чего мы должны ждать от будущего? На что надеяться? На какое «завтра» мы обрекаем своих детей?

Думайте не о нас — думайте о себе: мое страшное «сегодня» может стать таким же «завтра» для огромного множества людей, если опустятся руки, если хоть на миг покажется, что усилия спасти разум и совесть безрезультатны.

Леонид Иванович хотел немногого: жить в своей стране, приносить ей пользу как творческая, то есть свободная личность. Его отправили в сумасшедший дом. Я

приложила все усилия, чтобы доказать его нормальность, абсолютную психическую полноценность, душевное здоровье.

Нелепая затея: ведь те, кто наказывал его безумием, не хуже меня знали, что он психически здоров. Я хотела видеть ошибку там, где было преднамеренное преступление.

А теперь я говорю: да, он болен. Болен страшно, его нужно спасти уже от худшего, чем болезнь, от смерти.

В своей стране мне больше надеяться не на что. Теперь все мои усилия сводятся к тому, чтобы у меня приняли документы на эмиграцию соответствующие организации. Но у соответствующих организаций непробиваемая логика: документы они принять не могут, пока муж находится на излечении. Учреждение, в котором его «лечат», числится по тому же ведомству (МВД), что и учреждение, выдающее дела эмиграции. И по мнению этого медзаведения, состоящего при МВД, «лечение» Леонида Ивановича должно быть продолжено.

КГБ, МВД — вот круг, по которому я должна ходить без малейшей надежды на выход и просветление.

Я безмерно благодарна всем зарубежным математикам, всем, кто озабочен судьбой Леонида Ивановича. Но я поняла и другое: молчат советские коллеги Леонида Плюща, они глухи к несправедливости так, будто препараты, от которых глохнет Леонид Иванович, оказывают свое влияние и на них. Государство, хорошо зная своих подданных, спокойно выдерживает редких инакомыслящих, как случайные и редкие сорняки выдерживают с хорошо ухоженного и аккуратно подстриженного газона. Но я не хочу, чтобы моего мужа постигла судьба сорняка.

Пусть отдадут мне мужа, больного, каким они сделали его, и пусть разрешат нам всем уехать из этой страны.

Право на эмиграцию — единственное из всех прав, осуществления которого я требую.

Т. Житникова

В конце апреля на свидание поехала сестра Лени. Приехала в ужасе и отчаянии: у него снова рожистое воспаление, нос распух, занимает пол-лица, температура 38,9. Трифтазин прекратили давать на несколько дней, делают уколы пенициллина. Состояние тяжелое. С трудом пришел на свидание: молчит, не разговаривает, ни о чем не спрашивает. Настроение подавленное: не надеется выйти из тюрьмы.

Разговор со мной КГБ опять повело через «посредников»: обещают и угрожают. Но понятно окончательно: они никогда даже не собирались выпускать его, главное, чтобы было тихо, чтобы за границей не было шума и протестов.

С 1 июня и до начала сентября «лечат» комплексно: дают таблетки трифтазина и одновременно уколы инсулина. До шока, по-видимому, не доводят.

Настроение подавленное, пессимистическое: «Не вылезать мне отсюда!»

Рассказываю ему на всех свиданиях, что делается в его защиту, выбираю самые «анекдотические» случаи, чтобы хоть немного развеселить, поддержать.

В мае месяце ко мне заехала группа американских сенаторов, пришли ночью, в два часа. Расспрашивали о состоянии Лени, утешали. Они даже сами не представляли, какой поддержкой это было для нас всех, а не только для меня, — живые люди из почти неведомого мира. И таким это было контрастом с утром, когда пошла на работу, где меня обматюкали последними словами. К тому времени устроилась на работу в фотоателье, это называлось «агентом» — ходила по домам и собирала заказы на изготовление фотографий. Устроилась незаконно, так как при оформлении скрыла, что имею высшее образование, иначе бы не приняли: есть инструкция, по которой на должность рабочего людей с высшим образованием не принимают.

Шли месяцы — ничего не менялось в положении Лени. Я уже перестала верить в то, что изменения возможны. Скорее по инерции, чем с надеждой, про-

должала писать, но уже не в советские инстанции, а снова на Запад. Стало известно, что в октябре Международный комитет математиков вновь организывает митинг в защиту Лени. Но о чем писать — ведь никаких изменений нет, все идет «спокойно», размеренно», уже нечем «удивить», поразить, нет никаких сенсаций.

Как-то вечером к нам в дом пришли три французских адвоката (они представляли собой Комитет защиты прав человека), расспрашивали, как с Леной, объяснили, что хотели бы стодить в МВД. Решили, что пойдём все вместе. После всевозможных, порой анекдотических приключений, когда им говорили, что начальства в Министерстве внутренних дел сейчас никого нет — все срочно уехали в командировки (министр даже за границу был отправлен), попали на прием к начальнику медицинского отдела министерства, которому и подчиняется Днепропетровская тюрьма. А к нему попали только потому, что в отличие от главного входа в Министерство, который охраняется и куда без пропуска не пройти, в Медотдел можно войти свободно, и выход из него тоже один, поэтому подполковнику Ващенко пришлось нас принять. Разговор с ним был очень интересный своей курьезностью даже для меня, уже привыкшей к кафкианству советской системы. Надо сказать, что к тому времени я уже настолько «освоила» методы общения с различными инстанциями, что весь разговор стенографировала с тем, чтобы потом передать через адвокатов сюда, на Запад.

Вопрос: Каждый человек имеет право выбрать себе врача, в том числе и по выбору родственников. Жена Плюща считает необходимым освидетельствовать мужа другими врачами.

Ващенко: Я расцениваю это как недоверие к советским специалистам, у нас есть специалисты, известные за границей. У нас нет такой системы, чтобы приезжали и смотрели.

Вопрос: Мы как адвокаты не понимаем, как в таком

случае в Советском Союзе осуществляются принципы Декларации прав человека, и просим это разъяснить.

Ващенко: Как можно выбирать врача, если больной находится в больнице?

Вопрос: Если человек не может выбрать сам, есть родственники. Объясните, как это бывает у вас?

Ващенко: У нас есть врачи в больнице и, кроме этого, и другие врачи. А иначе получается, что высказывается недоверие.

Вопрос: В Советском Союзе достаточно высоких специалистов, кто они, назовите их имена.

Ващенко: Да, это так, у нас есть известные специалисты, и их знают за границей.

Вопрос: Данная группа адвокатов хотела бы из числа советских специалистов-психиатров выбрать и назначить врача для освидетельствования Плюща.

Ващенко: Зачем это вы будете выбирать, мы и сами можем назначить врача.

Вопрос: Назовите все-таки имена известных психиатров.

Ващенко: Я не готов отвечать. Непонятно, почему нам должны выбирать врача.

Вопрос: Не могли бы Вы нам сказать фамилии врачей, которые лечат Плюща. (После колебаний: Да, могу, но в конце дня.)

Вопрос: У нас есть приглашение для Плюща и его семьи, а также для Евдокимова выехать на лечение во Францию. Какие вы подскажете пути законных действий для выезда?

Ващенко: Есть Министерство иностранных дел, Министерство здравоохранения.

Вопрос: Можно ли лично вручить эти приглашения?

Ващенко: Нет, это больные, и нужно специальное решение медицинской комиссии, которая решит возможность отъезда.

Вопрос: Скажите, Вы считаете, что Плющ болен?

Ващенко: Да, болен.

Вопрос: В Советском Союзе нет закона, который за-

прещает видеть больного, могли бы мы видеть Плюща?

Ващенко: Если состояние больного это позволяет.

Вопрос: Просим разъяснить, почему мы не можем видеть больного?

Ващенко: Это психически больные люди, они бывают в разном состоянии.

Вопрос: Но это противоречит законам Советского Союза, разве есть такой закон, который не позволяет видеть больного?

Ващенко: Можно, если состояние больного это позволяет. А вы — туристы, и для вас должно быть разрешение ехать в Днепропетровск.

Вопрос: Такого разрешения у нас нет, но нам все же непонятно, почему мы не можем видеть Плюща, если к нам обратилась жена Плюща с такой просьбой?

Ващенко: Можно, если состояние здоровья это позволяет.

Вопрос: В чем выражается особенность состояния Плюща, которая не позволяет его видеть? (Адвокаты предъявляют свой мандат членов Комитета защиты прав человека, в котором содержится ходатайство оказывать содействие членам Комитета.)

Ващенко: В конкретном случае я не могу сказать. А вообще эти полномочия, которые вы предъявляете, никому не адресованы.

Вопрос: Можете ли Вы позвонить в Днепропетровск и узнать, позволяет ли состояние Плюща его видеть? Жена Плюща видела его 3 сентября и находит его состояние нормальным для общения. Если это так, узнайте, можем ли мы поехать в Днепропетровск вместе с женой Плюща?

То же самое и о Евдокимове — узнайте, пожалуйста, и о его состоянии и можно ли с ним видеться.

Ващенко: Хорошо, я это все узнаю. (Договариваемся прийти к концу дня.)

Вопрос: Мы просим также узнать в Днепропетровске фамилию врача, который лечит Плюща, а также фами-

лии врачей, которые в составе комиссии будут освидетельствовать Плюща в октябре месяце.

Ващенко: Хорошо, я все узнаю. К 17 часам я позвоню в Днепропетровск.

17 часов.

Вопрос: Вы обещали позвонить в Днепропетровск и сказать фамилию врача, который лечит Плюща, и его состояние здоровья.

Ващенко: Состояние здоровья такое же, как было, когда жена видела Плюща 3 сентября, оно такое же сейчас.

Лечащий врач Плюща — врач-психиатр со стажем работы 15 лет, прошел переаттестацию, имеет 1 категорию. Его фамилию знать не обязательно.

Вопрос: Является ли фамилия врача государственной тайной?

Ващенко: Врач опытный, знающий, и какое значение имеет фамилия?

Вы не являетесь официальными лицами, и поэтому обращаться должны в Министерство иностранных дел, а я принимаю вас неофициально.

(Чувствуется, что Ващенко уже подготовлен к встрече, получил инструкцию.)

Вопрос: Мы считаем, что мы, адвокаты, — официальные лица и вы — также. Вы носите форму, и мы пришли к Вам на прием в официальное учреждение. К тому же подполковник, начальник приемной МВД, направил нас к вам, в медотдел Министерства.

Ващенко: Вы лица неофициальные, и я вам в данном случае не отвечаю, я могу назвать фамилию врача, если ко мне обратится жена Плюща, а она не обращалась ко мне с этим вопросом.

Житникова (Плющ): Я прошу вас назвать мне фамилию врача, который лечит Плюща.

Ващенко: Я не буду называть фамилии лечащего врача.

Вопрос: Поскольку это ваш служебный долг, то, кроме вас, кто может ответить?

Ващенко: Вас должно интересовать, какой это врач — опытный или нет. Лечащий врач Плюща — это специалист со стажем, а фамилия его — это непринципиально.

Вопрос: Во всем мире и в Советском Союзе адвокат защищает интересов людей, которые к нему обращаются. Жена Плюща обратилась к нам как к адвокатам и для нас важно знать фамилию врача.

Ващенко: Я уже сказал. А вы — туристы и не имеете права задавать вопросы. Есть адвокатура, и разговор не должен быть в таком плане, как вы его ведете. А на медицинские вопросы вам ответили.

Вопрос: Мы представляем собой общественное мнение дружественной Советскому Союзу страны. У нас много контактов с коллегами в Советском Союзе. Мы хорошо знаем и интересуемся состоянием медицины в Советском Союзе. Имя Плюща широко известно на Западе, 500 математиков подписало обращение, в котором выразило тревогу о состоянии Плюща. И нас поражает, что на простые вопросы о Плюще мы не получили ответа. Мы и дальше будем пристально следить за судьбой и состоянием Плюща.

Заместитель начальника отдела Яценко (который присутствовал при разговоре): Мы благодарим за высокое мнение о советской медицине. Ответы на медицинские вопросы вы получили, а на остальные можете получить в соответствующих организациях.

Адвокаты: У нас еще три вопроса:

1. Что известно о состоянии Евдокимова?

Ответ: Он обеспечен квалифицированным уходом и согласно с его заболеванием находится в хорошем состоянии, его состояние не внушает тревоги.

2. Если состояние Плюща достаточно удовлетворительное, почему он должен находиться в больнице?

Ответ: В его психическом состоянии он удовлетворителен, а как больной он должен там находиться.

Вопрос: Можно ли считать состояние Евдокимова таким же, как и Плюща?

Ответ: Будет комиссия, она и решит эти вопросы.

Вопрос 3: Нами направлены приглашения на лечение во Франции Плющу и Евдокимову. Получили ли Вы такие бумаги?

Ответ: Мы не получали таких писем. Вопрос о таком лечении решает Министерство здравоохранения СССР и Министерство иностранных дел.

Вопрос: В какую компетентную организацию можно послать такое письмо?

Ответ: Мы не компетентны решать такой вопрос.

Вопрос: Не укажете ли вы адрес Министерства иностранных дел?

Ответ: Мы не имеем связей с Министерством иностранных дел и их адреса не знаем.

(Министерство иностранных дел Украинской ССР находится в 500 метрах от медотдела Министерства внутренних дел, на той же улице.)

Вопрос: Мы поражены тем, что вы не знаете адреса Министерства иностранных дел. Мы должны будем посылать такие приглашения во все министерства, пока оно попадет в нужное. Разве это нормально?

Есть ли надежда, что Плющ и Евдокимов попадут во Францию?

Ответ: На такой вопрос я не могу ответить. Это вопрос не наш.

Вопрос: Можно ли прислать медикаменты Плющу и Евдокимову?

Ответ: Если они показаны при лечении и соответствуют нашим ГОСТам, т.е. тем, по которым мы закупаем лекарства за границей.

Вопрос: Как вы относитесь к тому, что в лечении Плюща применяются такие препараты, как галоперидол и инсулин, они ведь очень вредные?

Ответ: В Советском Союзе это принятые лекарства, мы читаем литературу и знаем, что за границей они тоже применяются. И у вас во Франции. Если вы этого

не знаете, то это значит, что вы не читаете вашей медицинской литературы.

(Встает: Я ответил на все поставленные вопросы.)

Нелепость происходящего обескуражила французов, для нас же это было естественным. Государство, где все анонимно: преступление, суд, палачи — только жертвы реальны; где круговая порука безответственности помогает надежно скрывать любые преступления.

Обращение к математикам вылилось в своеобразное подведение «итогов» взглядов на общество, в котором мы живем, на себя в этом обществе. Письмо было названо:

ПЫТКА ВРЕМЕНЕМ. Октябрь 1975 года

(взявшим на себя труд откликнуться на страшную судьбу Леонида Плюща адресуем).

В день, который назван именем моего мужа Леонида Плюща, я обращаюсь к вам со словами благодарности и печали. Неизмерима благодарность и неизмерима печаль.

Вглядываясь в те страшные три с половиной года, которые Леонид Иванович пробыл в тюрьме, думая о будущем, пока беспросветном, мы неустанно задаем себе один и тот же вопрос: зачем, с какой целью государство обрушило такие муки на одного человека, зачем, с какой целью оторван муж от жены, отец от детей, друг от друзей. Кому и зачем нужно, чтобы через каждые две недели, после поездок в Днепропетровскую больницу мы убеждались в том, что физические силы самого близкого и дорогого для нас человека иссякают под действием непрекращающейся пытки лекарственными препаратами, тускнеет светлый ум, притупляется тот страстный интерес к жизни, который был основой существования, самой сутью личности Леонида Ивановича?

За что Леонид Иванович приговорен к бессрочному умиранию, а нас обрекли на роль бессильных свидетелей со стороны?

Вначале казалось, что Леонида Ивановича хотят заставить отказаться от своих убеждений, перечеркнуть свое прошлое, публично покаяться в «грехах» и вымолить за них прощение. Но попытки эти ни к чему не привели: Леонид Иванович выстоял нравственно, не пшел на диалог со своими палачами.

Мы думаем теперь, что в самой длительности заключения Леонида Ивановича в спецпсихбольнице, в очевидной бессмыслице такого заключения даже с точки зрения того абсурдного диагноза, к которому приговорили Леонида Ивановича, можно найти ответ на наши вопросы. Леониду Ивановичу не просто отстоять за стойкость, мужество и верность своим убеждениям.

Его, нас, семью, друзей и близких, всех, кто знает о «деле Плюща», пытаются временем, т.е. приучают к тому, что происходящее с нами естественно, закономерно, обыденно и нормально, что так и должно быть, что иначе быть не может.

Естественно и закономерно для нашей страны, что психически здоровый, одаренный человек, когда-то полный неистощимой социальной энергии, встречает 36-й год своей жизни не в кругу семьи, друзей, научных и общественных интересов, а в одной камере с 28-ю маньяками-убийцами, патологическими преступниками.

Личностная социальная активность считается в советской стране социально опасной, как только она выходит за рамки общепринятой догматики. Таков неписанный закон. Социально опасные должны быть изолированы. Этот закон уже «писан», и по нему Леонид Иванович осужден.

Будущее покажет, проводят ли над Леонидом Ивановичем Плющом очередной научный эксперимент: ведь и впрямь интересно и «научно необходимо» знать, до какой степени и как долго может продержаться нормальная человеческая психика, беспрепятственно атакуемая

огромными дозами медицинских препаратов, обычно применяемых к людям, психически неполноценным.

Но то, что и над Леонидом Ивановичем, и над всеми нами поставлен социальный эксперимент, — несомненно. Нас приучают чувствовать себя изгоями, отщепенцами, каждый шаг которых незаконен, а оставление «на свободе» — неслыханная милость. Даже простое общение с нами затруднено, ибо требует от окружающих мужества, на которое способны немногие: ведь в любую минуту знакомство с нами может обернуться преступлением в глазах КГБ.

Советские руководители подписывают документы в Хельсинки, а участковый милиционер останавливает на улице 16-летнего сына Л. Плюща и спрашивает: «Это что за сволочи собираются у твоей матери?» Речь шла о посещении нас американскими конгрессменами и французскими адвокатами.

Декларация Прав Человека, разрядка, Хельсинки — не для нас и не про нас.

Пытка временем продолжается.

Вот почему так огромна наша благодарность всем людям и организациям, отстаивающим права человека на свободу совести, мысли и выезда из страны, в которой жизнь для него стала невыносимой. Каждое вмешательство извне, каждый голос, раздающийся на Западе в нашу защиту, независимо от того, достигаются ли этим немедленные практические результаты, — это прорыв в той страшной психологической и социальной изоляции, на которую нас обрекли: свидетельство того, что беззаконие не узаконено, что смирение с насилием, согласие и сотрудничество с ним еще не стали общечеловеческим достоянием, что политическая конъюнктура и газетная шумиха на тему «разрядки» и «невмешательства» не заглушили голоса узников-«невольников чести», не заглушили человеческого достоинства и разума.

Только это вселяет надежду. Только это помогает жить».

Подписали это письмо мы вдвоем с Татьяной Сергеевной Ходорович, человеком, который душу и жизнь свою «кладет за други своя». С первых дней ареста Татьяна Сергеевна приняла наше горе в свою семью, наших детей как своих детей. Угрозы, шантаж, обыски, отключенный телефон, слежка — это быт Татьяны Сергеевны. Ночи в вагонах Москва—Днепропетровск—Киев, дождь и холод под стенами Днепропетровской тюрьмы тоже стали ее бытом. Она не знала Лени и, может быть, не сможет никогда уже с ним познакомиться как следует, но наше сердце, наши мысли остались с ней, а ее заботы — с нами здесь, в Париже. Сегодня она опять у стен тюрьмы — одесской, где сидит Слава Игрунов, московской, где заточен Петр Старчик, и снова и снова она занята своей «антисоветской деятельностью» — говорит правду о своей стране. И нет для нас человека ближе и дороже, и она для нас — оставленная нами Родина.

Время шло... Прошла комиссия, которая опять приняла решение оставить Леню на лечение.

Прошел митинг в защиту Лени, и мы знали, что протесты не утихают. Было это уже почти безразлично: была благодарность, признательность и... никакой надежды.

Но просто ничего не делать? Молчать? Писать? Куда?

Написала на всякий случай в Министерство здравоохранения СССР — «вспомнила» разговор в медотделе МВД. Как всегда, тот же результат — молчание. В письме просила выпустить на лечение, ссылаясь на приглашение из Франции, которое так никогда и не было мне передано, я только знала о его существовании.

26 ноября получила короткое уведомление, просили зайти в Министерство здравоохранения УССР. Пошла. (Ну, еще одна отписка». Ничего другого не жду.) В отделе внешних связей какой-то случайный чиновник:

— Нам позвонили из Министерства здравоохранения СССР и просили передать, что ваша просьба на отъезд

за границу удовлетворена. Мы уже связались с ОВИРОм, идите туда, там скажут, что делать.

Я не помню, как мы дошли до ОВИРа, о чем говорили с Виталием Скуратовским, который пришел со мной в Министерство. Шла, говорила и не верила, что это правда.

В ОВИРе принял начальник, хорошо известный всем евреям Киева, — сколько горя принес и принесет этот безликий человек, облаченный в форму полковника МВД. Это он год назад издевался надо мной, когда говорил, что не примет наши документы, пока Леня «не вылечится». На этот раз он был другим: вежливым, приветливым и словоохотливым.

— Вот вам анкеты на вас и сына. Заполняйте их, вносите деньги, собирайте документы и принесете их ко мне.

— А Леонид Иванович? Как с ним?

— Этого я не знаю. Вы сначала заполните анкеты, а потом мы скажем, что делать. Вопрос с мужем будет решен потом. Руководство над этим думает.

Что это? О чем они еще думают? Ведь ясно, что вопрос уже решен, раз есть указание ОВИРу оформлять документы. Что делать? Ехать к Лене? А вдруг это какая-то ловушка? До первого ехать не могу: конец недели, в тюрьме в субботу и воскресенье не принимают (это сделано специально, чтобы меньше к ним ездили, особенно издалека).

Началась гонка со сбором документов и одновременно очень странное поведение работников ОВИРа: в назначенные дни их не оказалось на месте, дни приема переносились со дня на день. В Днепропетровске ничего не знали о принятом решении, а может быть, начальник делал вид, что не знает. К тому же в это же время прежний начальник Прусс был снят, а новый заводил «новые порядки»: стало жестче с передачами, чувствовалось, что пришел человек «образованный», у него на мундире подполковника прикреплены два значка — ме-

дицинский и юридический, это означает, что у него два высших образования. Его ответы были стереотипны:

— Я ничего не знаю. Когда будет указание, тогда мы вам скажем.

А Лене продолжают давать трифтазин, он все в той же камере.

Наконец я попала на прием к начальнику ОВИРа, потребовала окончательного решения вопроса с визой для Лени (наши с сыном бумаги они приняли). Окончательного ответа он опять не дал: «руководство решает этот вопрос», но снова попытался шантажировать.

— Зачем вы за границу сообщаете? Начальству это может не понравиться. Учтите, что такое ваше поведение не ускорит решения, а наоборот.

— Если бы я вас слушала, то еще долго бы с вами не увиделась. Мое поведение я определяю сама, а не в зависимости от какого бы то ни было руководства.

В последних числах декабря я почувствовала, что решение начальством принято: уже работники ОВИРа разыскивали меня, а не я их. 29 декабря оставалось получить подписи на документах, которые нам было разрешено брать с собой, получить визы.

Был канун Нового года, во всех учреждениях было не до меня. Когда я приехала в нотариальную контору, которая единственная в Киеве снимает копии и заверяет их, — там как раз сотрудники получили новогодний «паек» — яйца, селедку, мясные консервы, гречневую крупу. На мою просьбу все-таки сделать мне бумаги резко ответили: «Придите завтра».

— Но я не могу завтра, утром я уже должна получить визы.

— А нам все равно. Да и кто вам завтра будет их давать — получите после Нового года.

— Но ведь еще три часа рабочего времени, и я первая в очереди.

— Сегодня вы ничего не получите.

Работники этой консультации знали, как зависимы от них уезжающие, ведь никто больше не мог помочь и

сделать то, что делали тут: перепечатать на машинке последние документы, еще свидетельствующие о принадлежности к советскому государству.

Только после моего звонка начальнику ОВИРа и после его указания все было сделано быстро и в тот же день. Видно, что-то важное сказал Сифоров: начальник консультации приказала отложить все пайки и заняться моими бумагами. Машинистки недоумевали — что за спешка и что я за «персона».

То же самое произошло в Министерстве юстиции, где мне должны были поставить всего-навсего печати на копии дипломов об образовании и метриках. И хотя я пришла к открытию Министерства, мне было назначено зайти за бумагами к концу дня (несмотря на то, что я была единственным посетителем в этот отдел). И опять «волшебный» звонок Сифорова решил всё за: через 15 минут я уже имела бумаги на руках.

«Сервис» Отдела виз и регистраций продолжался на всех этапах — впервые в жизни я ехала в Москву поездом, в который невозможно обычно достать билеты, не говоря уже о том, чтобы выехать из Киева в канун Нового года. Билет меня ждал в том самом отделении милиции, в котором пять лет назад обыскивали Леню вместе с Марксом.

За полдня этого последнего для нас года на Родине я получила визу для права проезда через Австрию, а также в голландском посольстве, которое представляет интересы Израиля. Визы оформили как «положено»:

Глава семьи — Житникова Татьяна Ильинична...

Член семьи — Плющ Леонид Иванович.

Цель поездки — постоянное жительство.

В пункты — Израиль.

Действительна для выезда из СССР — до 10 января 1976 и въезда в СССР до —.

Через пограничные пункты СССР, открытые для пассажирского движения, — ЧОП.

Выдана — 30 декабря 1975.

К паспорту № —.

Так официально было заверено, что мы больше не советские граждане и не имеем права на возвращение к себе домой. И не только заверено, но и пришлось заплатить по 900 рублей за каждого. 900 рублей — такова цена по официальному курсу советскому гражданину, советскому гражданству.

И хотя была спешка, и видно было, что есть строгое указание нас поскорее выбросить, после Нового года — опять неизвестность. 3 января в ОВИРе мне предлагают ехать в Днепропетровск «отвезти одежду». Приезжаем. Дали обычное свидание — Леня все такой же. Осторожно говорю ему, что уже окончательно все улажено, визы у меня в руках. Я наивно думала, что речь идет о выдаче Лени, оказалось, нужна была только одежда. Начальник говорит мне, что он ничего не знает, так как они только что провели медицинскую комиссию в связи с запросом, а суд еще должен «решить» — выпускать или нет.

У меня в голове полная чехарда. Бегу в областной суд.

— Да, дело у нас. Мы с ним знакомимся. Не волнуйтесь, мы всё будем решать по закону.

— По какому закону? У меня на руках виза, Леонид Плющ уже не советский гражданин. 10 января мы уже должны покинуть СССР.

Молчит. Просит посмотреть визу.

Здесь уж все логично: незаконное осуждение и такое же незаконное освобождение. Обычно существует очень жесткая процедура освобождения: медицинская комиссия должна признать человека здоровым, затем дело переходит в суд, там решают, выздоровел ли он в самом деле. Затем длительная процедура оформления опекунов, и тогда только — освобождение. Этот процесс может длиться месяцами, а то и годами, когда уже выздоровевшие люди продолжают находиться в камерах с больными в ожидании суда.

Но государственная машина может крутиться и по-другому. Выдавая мне визу, Сифоров сказал:

— Вы пока оформляйте, а мы будем считать, что уже

все в порядке. Вы только напишите заявление, что просите назначить комиссию. И я это заявление передам в Днепропетровск, я быстрее это сделаю.

Так я никогда и не узнаю, а был ли вообще и суд, освободивший Плюща. Тот самый суд, о котором я столько хлопотала, исписав горы заявлений во всевозможные инстанции.

Да, все решается ЗАКОНОМ. Законом беззакония.

Одежду, которую мы привезли, я не отдала.

— Я не хочу участвовать в ваших спектаклях. Отправляйте его за границу в том, в чем он у вас ходит.

Билеты до Чопа нам тоже продали по заявке ОВИРа. Сначала отказались продать билеты матери и сестре Лени. Пришлось устроить скандал. Разрешили.

Проводы. Приехали друзья, все, кто только смог приехать в будний день. Такси, на которых отъехали от дома, шли в сопровождении эскорта машин КГБ. Вагон оцеплен — ближе милиция, подальше — «в штатском».

Так и стояли: МЫ и ОНИ.

Мать и отец — увижу ли я их когда-нибудь!

В Чопе нас уже ждали, провели в комнату для интуристов, попросили никуда не выходить с территории вокзала. Лейтенант, который нас «опекал», объяснил, что ничего не знает, ему сообщили, чтобы мы ждали: когда будет самолет из Днепропетровска, он не знает.

В Чоп нельзя взять билет, не имея документа о выезде. Точнее, билет можно взять, но из вагона в Чопе не выпустят. Клара Гильдман, которая решила попробовать выйти из вагона, в котором она ехала, была задержана милицией.

В ожидании мы просидели на вокзале весь день. Нас любезно провели в ресторан для интуристов; специально открыли только для нас. Было удивительно, что больше никого из отъезжающих не видно. Уже потом, в Братиславе, мы встретились с группой людей с Украины, которые ехали вместе с нами из Чопы. Они догадались, кто мы, потому что осмотр в таможене им провели очень быстро, не так, как это делается обычно.

Днем мне предложили взять билеты до Вены. Я отказалась, заявив, что не буду их брать, пока не увижу мужа здесь.

В 9 часов вечера открылась дверь — ввели Леню. Он еле шел. С ним по бокам — люди «в штатском». Мы бросились к нему; откуда-то появился фотограф и начал нас всех фотографировать.

Леня был роскошно одет во все новое. И тут я не выдержала, стала сдирать с него одежды и швырять им в лицо. Кричала: «Убирайтесь вон, чтобы я вас здесь не видела!». Они пытались что-то говорить, но, видно, я и вправду сильно орала — они ушли. Мы переодели Леню — оказалось, что вся одежда мала. Столько раз видя Леню распухшего, толстого, я не подумала, что ему нужна другая одежда. Но брать то, что они дают? Нет!

Одежду выбросила им вместе с чемоданом, который они «заботливо» внесли. Предусмотрели действительно все: даже галстук и к нему заколка, даже запонки (к рубашке без запонок).

Немного успокоились: Леня сидел с мамой и сестрой, его била дрожь: мальчишки плакали: папа не смог даже сам раздеться и одеться. Они ему помогли. Вошел лейтенант, предложил пойти за билетами и предупредил, что поезд отходит через час.

В комнату опять вошли все те же сопровождающие, один из них был врач Днепропетровской спецсихбольницы, и опять фотограф. Предложили мне на подпись бумагу. В ней было написано, что я беру под свою опеку Плюща Леонида Ивановича и обязуюсь, что он не будет заниматься а н т и о б щ е с т в е н н о й деятельностью.

Очень резко я сказала, что ничего подписывать не буду. Опять потребовала, чтобы они убирались вместе со своим фотографом (он был фотографом ТАСС, как они объяснили). Леня разволновался, начал просить меня успокоиться, объяснил, что это врач, который его привез.

Было жутко смотреть на Лёню, хотелось, чтобы скорее все убиралось, чтобы не видеть их. Увидев, что я успокаиваюсь, врач предложил:

— Татьяна Ильинична, мы предполагали вашу реакцию и приготовили второй экземпляр. Подпишите, как вы хотите, в любой редакции.

Я вычеркнула все, что касалось какой-либо деятельности и подписала, что Леонид Иванович Плющ передан мне под опеку.

Вся эта сцена энергично снималась фотографом.

Вошел офицер пограничных войск и сказал, что уже время идти. Мы спустились под конвоем вниз в таможенную, вход в которую был оцеплен.

Была оказана и последняя «милость»: обыскав Лёню, ему разрешили остаться с матерью еще несколько минут, пока обыскивали наши вещи и нас.

И опять конвой — прямо к вагону. Через несколько минут поезд тронулся.

Нас провожала Родина — пограничники и люди «в штатском».

ПРИМЕЧАНИЕ — ПОСЛЕСЛОВИЕ ЛЕОНИДА ПЛЮЩА

Прошло три года на воле, на Западе. Эмиграция (и эмигрантщина), правозащитная борьба, партии и правительства разных стран, сотни новых друзей и врагов, сотни книг, дел, историй. Западный карнавал и балаган политики.

Я уже давно не «ленинец» и давно — «антисоветчик» в прямом смысле слова. Многие передумано, много нового во взглядах. Больше стало пессимизма.

Перечитывая «Карнавал», вижу спешку, в которой писал, установку на французского читателя, которому многие простые вещи советские надо объяснять, установку настолько сильную, что она сказалась даже на корявости языка.

Сама эта книга стала для меня точкой отсчета в дальнейшем развитии мировосприятия и мироощущения. Имеет ли смысл переделывать то, старое, в соответствии с нынешним восприятием? Разоблачать большевизм, меньшевизм, ленинизм как таковые, спорить со славянофилами, отказываться от части характеристик, выбрасывать те или иные факты?

Имеет ли смысл копаться дальше в самоэволюции? Вряд ли. Когда мне покажется, что я уже достаточно знаю и чувствую Запад, тогда, возможно, будет какой-то смысл писать о западном карнавале — глазами человека «оттуда», глазами жителя уже западного, но бывшего-советского, «всё еще марксиста», если вообще какой-либо «изм» имеет самостоятельное значение.

Я лишь чуть-чуть подправил язык, выбросил общеизвестное для читающего по-русски читателя и восстановил «непонятное» иностранцам.

Л. Плющ

Париж, март 1979

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
ОТ АВТОРА .	5
КИЕВ	41
СРЕДИ «ОТЩЕПЕНЦЕВ»	213
ПСИХУШКА	584
ПЕРВЫЕ ДНИ. КАРАНТИН	589
ДЕНЬ ОБЫЧНЫЙ	600
ВРАЧИ, ПАЦИЕНТЫ, ЛЕЧЕНИЕ	615
Т. ЖИТНИКОВА-ПЛЮЩ ПРИЛОЖЕНИЕ	629
ПРИМЕЧАНИЕ —	
ПОСЛЕСЛОВИЕ ЛЕОНИДА ПЛЮЩА	710

copyright: Peter Reddaway

